

Семь искусств 8-9/2014



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

8-9/2014

Журнал

**«Семь искусств»
№ 8-9 (55) 2014**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2014

Журнал «Семь искусств» № 8-9 (55) /2014 — Ганновер:
Семь искусств. 2014. — 466 с., 29,1 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2014

Оглавление

<i>Евгений Беркович</i> Антиподы. Альберт Эйнштейн и Филипп Ленард в контексте физики и истории	5
<i>Яков Галл</i> Два Гаузе	32
<i>Юрий Солодкин</i> Его божеством было слово	42
<i>Игорь Фунт</i> Дядя Яша-Макао и Манька-Суматоха	55
<i>Валерий Хаит</i> Гердт читает стихи	60
<i>Лев Бердников</i> Наказанная добродетель. Правительница российская Анна Леопольдовна	66
<i>Александр Левинтов</i> Судьбы	82
<i>Ефим Курганов</i> Шпион Его Величества, или 1812 год. Историко-полицейская сага в четырех томах	91
<i>Семён Талейсник</i> "Пациенты" на картинах русских художников	142
<i>Андрей Алексеев</i> Страсти человеческие и производственные. Из записок социолога-рабочего	156
<i>Андрей Масевич</i> De natura humana... Я тоже знал Кона	185
<i>Ирина Чайковская</i> Опыт "длинной жизни" Мусика Каганова, учёного, коммуниста, еврея	219
<i>Семён Резник</i> Против течения. Академик Ухтомский и его биограф. Документальная сага с мемуарным уклоном	225
<i>Виктор Лихт</i> Жаркое лето 1972 года	254
<i>Александр Боровой</i> 2003 и другие годы	261
<i>Дмитрий Бобышев</i> Я в нетях. Человекотекст, книга 3	285
<i>Ольга Кольцова</i> "Человеческой плоти не тяжек оброк". Стихи	319
<i>Александр Куликов</i> Катрены на приход тайфуна Болавен	328
<i>Лариса Миллер</i> Стихи, написанные в Италии. Апрель, 2014 г.	345

<i>Виктория Жукова</i> Два рассказа	365
<i>Владимир Фридкин</i> Три непридуманных рассказа о любви	374
<i>Марианна Гончарова</i> Янкель, инклоц ин барабан	388
<i>Давид Шраер-Петров</i> Бюст Есенина	393
<i>Михаил Юдсон</i> ВБР Глава из романа "Лестница на шкаф"	414
<i>Владимир Гандельсман</i> Уинстен Хью Оден, Джеймс Мерилл и Ричард Уилбер в переводах Владимира Гандельсмана	422
Моисей Борода Переводы из итальянской прозы XX века. <i>Наталья Гинзбург</i> : Мать	437
Борис Геллер Переводы. POETRY TRANSLATION	445
<i>Эфраим Кишон</i> Юмористические рассказы. Авторизованный перевод <i>Бориса Гасса</i>	447
<i>Виктор Фет</i> О, теснота истории	458
<i>Михаил Сидоров</i> Ступени слов	461

Евгений Беркович

АНТИПОДЫ.

Альберт Эйнштейн и Филипп Ленард в контексте физики и истории

(окончание. Начало в №7/2014)

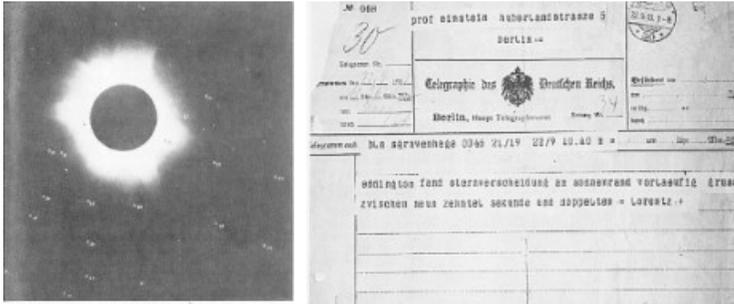
«Теория относительности Эйнштейна как научный массовый гипноз»

Капитуляция Германии в ноябре 1918 года стала для Ленарда, как и для миллионов его сограждан, настоящим шоком. Ничто внешне не предвещало катастрофы, ведь в ходе войны практически ни один вражеский солдат не ступал на немецкую землю. Как и многие немцы, Ленард объяснял поражение предательством правящих элит и, прежде всего, кайзера Вильгельма, бежавшего за границу и бросившего свой народ в трудную минуту (Lenard, 156).

Эйнштейн олицетворял все, что ненавидел и презирал Ленард. Убедленный пацифист, Альберт не подписал *«Манифест девятиности трех»* и не одобрял участие Германии в мировой войне. Он ощущал себя «гражданином мира», не проявлял никакого патриотизма, что для националиста Ленарда было возмутительно. Эйнштейн с первых дней приветствовал демократическую Веймарскую республику, которую консерватор и монархист Ленард считал *«еврейским господством»*. Кроме того, физик Эйнштейн ставил теорию выше эксперимента и готов был легко расстаться с краеугольными камнями классической науки, если они не вписывались в новую теорию. А тут еще ненавидимые Ленарду англичане сделали автора общей теории относительности буквально всемирно известным человеком.

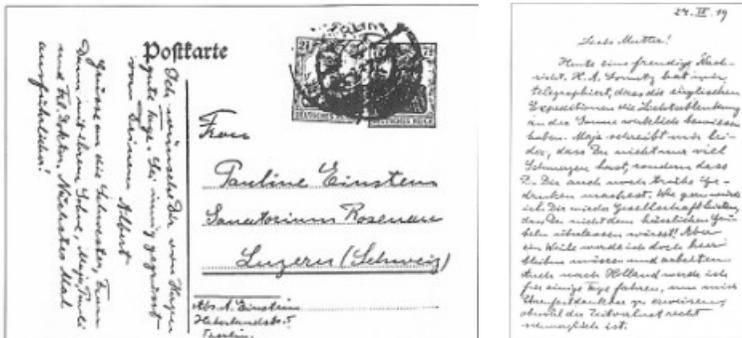
Мы уже упоминали о неудавшейся попытке экспериментально проверить выводы общей теории относительности во время солнечного затмения 1914 года. Тогда Эрвин Фройндлих с двумя сотрудниками был интернирован в России как представитель враждебного государства и не смог произвести нужные измерения. Следующее полное солнечное затмение должно было состояться 29 мая 1919 года. Его можно было наблюдать в Южном полушарии. О том, что директор астрономической обсерватории в Кембридже Артур Эддингтон [1] готовит две экспедиции для проведения соответствующих наблюдений, Эйнштейн узнал в 1917 году. Из-за войны контакты между учеными воюющих стран были сильно ограничены. В марте 1919 года одна из экспедиций английских астрономов направилась в Бразилию (город Собрал), а другая — на один из островов, расположенных возле африканского материка (остров Принсипи). Снимки, сделанные во время солнечного затмения, подтвердили эффект, который следовал из теории Эйнштейна: луч света, проходя мимо Солнца, отклоняется под воздействием гравитационного поля светила на величину, предсказанную общей теорией относительности. Эти результаты Эддингтон докладывал на заседании Королевского общества 6 ноября 1919 года. Эйнштейн узнал об этом триумфе своей теории еще раньше — из телеграммы гол-

ландского друга Хендрика Лоренца [2], отправленной 22 сентября: «Эддингтон нашел отклонение звезд на солнечном диске предварительно между девятьюдесятью секунды и удвоенной величиной» [3].



Фотография звезд вблизи Солнца во время затмения. Телеграмма Лоренца Эйнштейну

Альберт тут же поделился радостью с матерью, отправив ей открытку, которая начиналась словами: «Дорогая мама, сегодня радостное известие. Х.А. Лоренц прислал телеграмму, что английская экспедиция действительно доказала отклонение света Солнцем» [4].



Открытка Эйнштейна матери от 27 сентября 1919 г.

Сообщение Эддингтона произвело настоящую сенсацию, о теории Эйнштейна писали газеты всего мира, новость обсуждали на улицах, в пивных, на вокзалах...

Эйнштейн не очень любил публичность, но быстро понял, что против прессы выступать бесполезно. Любое его высказывание тут же попадало в газеты, любой его поступок становился предметом обсуждения. В письме другу Макс Борну от 9 сентября 1920 года он сравнил себя с царем Мидасом: «Как у персонажа из сказки все, к чему он прикасался, превращалось в золото, так и у меня все становится криком газет» [5].

Портреты Эйнштейна печатали крупнейшие журналы и газеты мира. Так, «Берлинская иллюстрированная газета» в номере от 14 декабря 1919 года поместила фотографию ученого на первой странице [6].

Такая популярность имела и оборотную сторону: она сделала великого физика мишенью для недоброжелателей и сторонников иных политических взглядов.

Да и среди физиков не было единства в отношении принципа относительности. В этом смысле Ленард не был одинок.



Фото Эйнштейна на обложке "Иллюстрированной газеты"

Наиболее громко заявило себя противником Эйнштейна так называемое «Общество немецких естествоиспытателей в поддержку чистой науки» («Arbeitsgemeinschaft deutscher Naturforscher zur Erhaltung reiner Wissenschaft e.V.»). Его организатором и председателем был некий Пауль Вайланд [7], никому в науке до того не известный тип, выдававший себя за эксперта по теории относительности.

Вайланд считался активистом Немецкой национальной народной партии [8] и принадлежал к ее расистскому крылу, требовавшему исключения из партии всех еврейских членов. Он попытался объединить различные ультраправые, антисемитские группы в «Немецко-фёлькиши блок» («Deutschvölkischer Block»). Сам Вайланд резко критиковал НННП за излишне мягкое отношение к евреям и основал «Немецко-фёлькиши ежемесячный журнал» («Deutschvölkische Monatshefte»), на обложке которого была изображена свастика с латинскими словами «in hoc vinces» («под этим [знаком] ты победишь»). Цели журнала были названы четко: «За восстановление монархии! За немецкие нравы! За национальное единство немецкого народа! За немецкий характер!» (Goepner, 180).

Правда, первый номер журнала оказался и последним. Но Вайланд продолжал активную нацистскую пропаганду, выступая на многочисленных собраниях, организованных Пангерманским союзом (Alldeutscher Verband).

Эта антисемитская деятельность бурно расцвела после 1921 года, а началась она годом раньше. Каким-то образом Вайланд раздобыл для своего Общества крупную сумму денег и развернул мощную атаку на теорию относительности и ее автора. В газетной статье он пообещал премии тем ученым, которые примут участие в организованной им серии докладов, разоблачающих теорию Эйнштейна. Размер премии был немаленьким — от десяти до пятнадцати тысяч рейхсмарок. Вайланд публично объявил о предстоящих двадцати докладах, в числе авторов которых были названы известные физики. Конечно, самым крупным из них являлся Филипп Ленард.

Первые два публичных доклада из задуманной серии состоялись во вторник 24 августа 1920 года. Мероприятие было хорошо подготовлено. Местом для него был выбран большой зал берлинской филармонии — самый вместительный зал в городе. В программе стоял доклад Пауля Вайланда «Теория относительности Эйнштейна как научный массовый гипноз». Со вторым докладом, названным «Критика теории относительности», должен был выступить уже встречавшийся нам на этих страницах профессор Герке.



Пауль Вайланд

Готовясь к этому мероприятию, Вайланд опубликовал в нескольких газетах полемические статьи, в которых называл теорию относительности обманом, а Эйнштейна клеймил как плагиатора, при этом всячески превозносил Ленарда и Герке. На подобную статью Вайланда в «Ежедневном обозрении» («Täglichen Rundschau») от 6 августа 1920 года с возмущением откликнулся Макс фон Лауэ (заметка там же 14 августа), на что Вайланд посоветовал ему придти на доклады в Берлинскую филармонию 24 августа и лично поdiscutировать с Ленардом и Герке (заметка от 16 августа) (Schönbeck, 25).

Подобные перепалки в прессе настолько подогрели интерес к планируемому Вайландом мероприятию, что огромный зал Берлинской филармонии в восемь часов вечера был заполнен до отказа. Сам Эйнштейн сидел со своей приемной дочерью в ложе и слушал, как докладчик поносил его теорию относительности.

Вайланд практически пересказал содержание своих антиэйнштейновских статей. Он, прежде всего, осудил «ликующую эйнштейновскую прессу», которая незаслуженно восхваляет автора ложной теории, лишь вводящей общественность в заблуждение. Много раз докладчик ссылался на Ленарда как на авторитетнейшего специалиста и расхваливал его упомянутую выше брошюру «О принципе относительности, эфире и гравитации». Эту брошюру специально привезли в фойе и продавали желающим по шесть марок. Вайланд даже прервал свое выступление на четверть часа, чтобы слушатели смогли сделать эту важную покупку.

У слушателей создавалось впечатление, что уважаемый гейдельбергский профессор, один из первых Нобелевских лауреатов Германии, является главным противником теории относительности. Более того, можно было подумать, что Ленард полностью разделяет антисемитские взгляды Вайланда. На самом же деле, вплоть до

этого дня Ленард ни разу не позволил себе подчеркнуть происхождение Эйнштейна и публично высказать что-либо против евреев. Вайланду удалось в своем докладе указать только на одно место в брошюре Ленарда, имевшее расистский оттенок.

Речь идет о примечании, которое Ленард поместил внизу страницы. Не называя автора теории относительности, но явно имея его в виду, он пишет об ученых, которые с отчаянной смелостью вводят новые гипотезы, не доверяя проверенной временем научной литературе. И чем смелее они делают это, тем больше мест в их публикациях, которые не выдерживают проверку временем. Такая «смелость», пишет Ленард, не в немецком характере [9].

Пожалуй, это был первый симптом того болезненного направления в науке, которое усилиями Ленарда и его единомышленников пышно расцветет в Третьем рейхе под названием «арийская физика». Пока же упрекнуть Ленарда в антисемитизме не было никаких оснований. Через два года таких оснований, как мы увидим, будет предостаточно. А пока вернемся в Большой зал берлинской филармонии, где Альберт Эйнштейн, еле сдерживая раздражение, слушал безграмотные доклады Вайланда и Герке о теории относительности.

Наверно, для Эйнштейна было бы разумно проигнорировать эти нападки, не ввязываясь в публичное обсуждение. Тем более, либеральная берлинская пресса выступила на следующий день в его защиту. Газеты вышли с такими заголовками: «Атака против Эйнштейна» («Берлинер Тагеблатт»), «Борьба против Эйнштейна» («Фосшише Цайтунг»), «Борьба вокруг Эйнштейна» («Форвертс») и слегка иронично «Один «знаток» Эйнштейна — борьба против теории относительности» («Восемьчасовая вечерняя газета»).

Еще через день коллеги Альберта физики Макс фон Лауэ, Вальтер Нернст и Генрих Рубенс в берлинской газете «Ежедневное обозрение» (Tägliche Rundschau) выразили свое сожаление тем, что Эйнштейн-ученый подвергся нападкам самого оскорбительного свойства. Они подчеркнули, что даже без теории относительности другие его работы навсегда обеспечили ученому место в истории науки. Кроме того, никто не может сравниться с Эйнштейном в уважении к чужой интеллектуальной собственности, в личной скромности и презрении к рекламе.

Несмотря на защиту коллег, молчать Эйнштейн не мог, он чувствовал себя униженным всей этой грязной возней вокруг его имени и его теории. Хорошо продуманная провокация Вайланда удалась: через три дня после злополучного вечера в Берлинской филармонии в газете «Берлинер Тагеблатт» (Berliner Tageblatt) появилась обширная статья автора теории относительности.

Проходимец Вайланд мог торжествовать, он добился своей цели: стал центром общественного внимания. Теперь он мог вовлекать в свои многочисленные группы и объединения новых членов. Его кампания против Эйнштейна хорошо соответствовала антисемитской атмосфере Берлина того времени, у него, наверняка, появилось много сторонников и сочувствующих.

Антисемитскую подоплеку «антиэйнштейновских докладов» в Берлинской филармонии почувствовала и Лиза Мейтнер [10], написавшая Отто Гану [11], что не уважает немцев за происшедшее, которое можно с полным правом назвать варварством. «*Неужели снова на сцену выйдет святая инквизиция с господином Герке в роли Великого инквизитора?*» (Goenner, 184).

Эйнштейн тоже назвал антисемитизм главной причиной атаки на него: «*Я полностью отдаю себе отчет в том, что оба докладчика недостойны ни одного ответа из-под моего пера, так как у меня есть хорошие основания считать, что*

не стремление кистине, а другие мотивы лежат в основе этого предприятия. Был бы я немецкий националист со свастикой или без, но я еврей со свободным образом мыслей...» (Goenner, 182).

Статья Эйнштейна называлась «*Мой ответ антирелятивистскому предприятию*» [12]. Чтобы понять сарказм, заложенный в это название, нужно сказать несколько слов о принятых в Германии формах предприятий и общественных организаций. Обычно эти формы указываются в виде аббревиатур, включенных в название предприятия. Так, Общество Вайланда имеет в конце буквы «e. V.», означающие «eingetragener Verein» («зарегистрированное общество»). Как правило, к этому типу объединений относятся некоммерческие (еще говорят «идеальные») предприятия, не стремящиеся извлечь прибыль из своей деятельности. Эйнштейн сознательно употребил другую аббревиатуру «GmbH» («Общество с ограниченной ответственностью»), которая предполагает коммерческое предприятие, стремящееся извлечь из своей деятельности максимальную прибыль. Иначе говоря, великий физик высмеял «идеальный» характер «*Общества в поддержку чистой науки*».

На Вайланда он не стал больше обращать внимания, а для опровержения второго доклада Эйнштейн привел имена десяти крупнейших авторитетов в области теоретической физики и математики, поддерживающих его теорию, и убедительно разбил все возражения Герке. Но этим оскорбленный ученый не ограничился. Вайланд и даже Герке были фигурами не того масштаба, чтобы противостоять академичу Прусской академии наук и признанному лидеру теоретической физики. Чтобы окончательно рассчитаться с «антирелятивистским предприятием», Эйнштейн решил нанести удар по Ленарду, главной фигуре движения, чьим авторитетом прикрывался Вайланд и его единомышленники. Удар получился очень болезненным и навсегда сделал гейдельбергского профессора заклятым врагом Эйнштейна.

В другой ситуации и Эйнштейн, наверное, не стал бы переходить на личность оппонента. Но в данный момент он был слишком взбешен. Вот как был оценен почтенный Нобелевский лауреат Ленард в статье в «*Берлинер Тагеблатт*» (Эйнштейн в это время еще не имел Нобелевской премии):

«Я восхищаюсь Ленардом как специалистом по экспериментальной физике; но в теоретической физике он еще ничего не совершил, и его возражения против общей теории относительности настолько поверхностны, что я до сих пор не считаю нужным обстоятельно на них отвечать» (Goenner, 183).

Заканчивая свой ответ на провокацию Вайланда и Герке в Берлинской филармонии 24 августа 1920 года, Эйнштейн, который ощущал себя швейцарцем, не удержался, подобно гражданке Австрии Лизе Мейтнер, от общего упрека немцам: «*За границей это произведет сильное впечатление, когда они увидят, что подобную теорию, как и ее автора, в самой Германии так безобразно порочат*» (Goenner, 183).

Судя по дошедшей до нас переписке Ленарда, Эйнштейн преувеличивал его участие в кампании Вайланда. Этот авантюрист объявил о двух десятках докладов против Эйнштейна, среди авторов которых назвал и Ленарда, но последний, похоже, и не знал о деталях своего участия во всем этом предприятии.

Из объявленных двадцати докладов после 24 августа состоялся только один — физика-прикладника Людвиг Глазера [13], никакого отношения к теории относительности до того не имевшего. Остальные заявленные докладчики от выступления отказались, а некоторые, как выяснилось, и не знали о том, что их имена используются в атаках на Эйнштейна.

Так, известный астроном Макс Вольф [14] писал 30 августа 1920 года Эйнштейну: *«Я не обещал господину Вайланду никакого доклада и поэтому пришел в ужас, когда обнаружил свое имя в списке докладов»* (Kleinert, 327). К этому он добавил, что всю эту затею с травлей теории относительности и ее автора решительно осуждает.

С осуждением гонений на Эйнштейна выступили не только его коллеги, но и известные «гуманитарии»: знаменитый артист Немецкого театра в Берлине Александр Моисси [15], художественный руководитель этого театра Макс Рейнхард [16], писатель Арнольд Цвейг. Они возмущались *«всегерманской травлей»* великого физика и заверяли его в *«симпатии всех свободных людей, которые с гордостью видят Эйнштейна в своих рядах и считают его одним из лидеров мировой науки»* (Goepner, 184).

Показательна депеша в Берлин немецкого посла в Лондоне Фридриха Штамера [17] в начале сентября 1920 года. Посол информирует министерство иностранных дел о том, что английские газеты сообщают о яростных нападках на Эйнштейна и даже говорят о возможном переезде Эйнштейна из Германии в США. И далее посол отмечает: *«Профессор Эйнштейн в настоящий момент является для Германии культурным фактором первого ранга. Мы не должны изгонять из Германии такого человека, с которым мы можем проводить эффективную культурную пропаганду»* (Goepner, 184).

Под «культурной пропагандой» посол имел в виду лекции Эйнштейна о теории относительности в разных странах, в том числе, в Великобритании, которые разительно меняли отношение к поверженной Германии, прорывали научную блокаду, в которой оказались немецкие ученые. После войны немцев не приглашали на международные симпозиумы и конгрессы, их статьи не принимали научные журналы других стран. Выступления Эйнштейна сделали для восстановления престижа немецкой науки и для прекращения научной изоляции Германии больше, чем все усилия дипломатов вместе взятые.

Слухи о том, что Эйнштейн может покинуть Германию, имели под собой основание. В письме Максу Борну от 9 сентября 1920 года Альберт признавался: *«В первый момент атаки я подумал, вероятно, о побеге. Но скоро пришло новое понимание ситуации, и прежнее спокойствие вернулось. Сегодня я больше думаю о покупке яхты и дачного домика под Берлином у воды»* (Einstein-Born, 59).

Возможно, «новому пониманию ситуации» помогло участие прусского министра культуры Конрада Хениша [18]. В письме от 7 сентября министр выразил Эйнштейну свое *«чувство боли и стыда за те злобные публичные нападки, которые он вынужден терпеть от людей, называющих себя коллегами»*. Хениш сожалел, что даже личные качества ученого не остались защищенными от клеветы и оскорблений, и выразил надежду, что, несмотря на это, слухи об отъезде Эйнштейна из Берлина окажутся ложными, так как этот город *«гордился и продолжает гордиться глубокоуважаемым господином профессором, который причислен к светилам своей науки»* (Goepner, 184).

Решение Эйнштейна мы уже знаем из письма Борну, министру физик ответил чуть более официально: *«Берлин — это место, с которым я, благодаря человеческим и научным отношениям, сроднился больше всего. Я последую вызову из-за границы только тогда, когда к этому меня принудят чрезвычайные обстоятельства»* (Goepner, 184-185).



Хедвиг и Макс Борны

Такие обстоятельства наступят через 13 лет, когда к власти в Германии придут нацисты. А пока успокоившийся Эйнштейн стал готовиться к съезду Немецкого физического общества, который должен был состояться в сентябре 1920 года в небольшом курортном городке Бад Наухайм, расположенном в часе езды на поезде от Франкфурта на Майне, где тогда жил и работал Макс Борн. Эйнштейн решил остановиться у Борнов, чтобы иметь больше времени для обсуждений событий съезда. А события обещали стать «горячими», так как в повестке дня съезда стояла дискуссия по теории относительности.

«На алтарь человеческой глупости»

Как уже говорилось, в ангиэйнштейновской кампании центральную роль должен был сыграть авторитет Филиппа Ленарда, наиболее титулованного противника теории относительности. Поэтому опытный интриган Вайланд стремился заручиться поддержкой гейдельбергского профессора и приехал к нему лично первого августа 1920 года, почти за месяц до запланированного доклада в Берлинской филармонии. Об этом визите мы знаем из письма Ленарда единомышленнику Йоханнесу Штарку, написанного на следующий день:

«Некто господин Вайланд — весьма воодушевленный в нашем направлении, борьбе с антинемецким влиянием — был вчера у меня и хочет создать «Общество немецких естествоиспытателей в поддержку чистой науки». Я ему посоветовал, прежде всего, связаться с Вами, чтобы не создавались ненужные новообразования и чтобы никакой раскол не помешал бы нашей позиции в Наухайме» (Kleinert, 327).

Как мы видим, ни о каком своем докладе в программе Вайланда Ленард не говорит. Куда больше его заботит предстоящая дискуссия по теории относительности, где он вместе со Штарком собирался дать бой Эйнштейну.

Проженному авантюристу Вайланду удавалось иногда вызвать симпатии единомышленников, но только на короткое время. Даже Герке, единственный про-

фессиональный физик, вставший на сторону Вайланда в 1920 году, уже в феврале следующего года писал о нем Ленарду: *«это один из многих сомнительных типов, которых породил большой революционный послевоенный город»*. На этом письме есть рукописная ремарка Ленарда: *«Вайланд, действительно, оказался аферистом! Не зря он хотел меня подставить, будто я ему обещал какой-то доклад»* (Kleinert, 327).

Если бы не статья Эйнштейна в *«Берлинер Тагеблатт»* от 27 августа 1920 года, то Ленард и сам бы рано или поздно отмежевался бы от Вайланда и его компании. Но эта статья сожгла все мосты, по которым могло бы произойти сближение позиций двух прославленных физиков.

В тот день, когда вышла берлинская газета с едкой статьей Эйнштейна, Ленард проводил отпуск в живописном Шварцвальде и не сразу узнал о случившемся. Штарк поспешил информировать его в письме от 29 августа: *«Вы, конечно, уже читали о скандале с Эйнштейном, который разыгрался в Берлине и в местной прессе („Берлинер Тагеблатт“). Эйнштейн отказал Вам в теоретической деятельности, да еще приписал поверхностность»* (Kleinert, 328).

Легко представить себе, как глубоко был обижен Ленард, признанный патриарх немецкой научной школы, директор одного из лучших в Европе физических институтов, второй немецкий нобелевский лауреат, когда его публично обвинили в незнании теоретической физики. Кстати, теорию Ленард всегда считал подчиненной эксперименту, а умение грамотно проводить опыты ставил выше способности их теоретически объяснять.

Вернувшись из Шварцвальда, Ленард нашел газету со статьей Эйнштейна в своем почтовом ящике. Заботливый Герке послал ее в Гейдельберг из Берлина. О своей реакции на статью Ленард рассказал Штарку в письме от 8 сентября:

«Я поражен тем личностным моментом, который господина Эйнштейн, а также Лауэ (ранее в „Ежедневном обозрении“) привнесли в обсуждаемый вопрос, и тем, что они верят, будто им можно нападать на меня, хотя я в своей работе выступал чисто по-деловому и до последнего не обнаруживал ничего, что оправдывало бы направленную против меня грубость этих господ. Если мои, чисто деловые возражения против обобщенной теории относительности можно опровергнуть, то это господин Эйнштейн должен был показать — вместо того, чтобы становиться невежей; я буду рад, причем не только я, многие интересующиеся физикой испытали бы чувство удовлетворения, прочитав четко высказанные возражения» (Kleinert, 328).

В этом же письме Ленард возвращается к предстоящему в Бад Наухайме съезду Немецкого физического общества, которое он называет «обществом господина Эйнштейна»:

«Что касается главного вопроса, то я должен сказать, что очень сомневаюсь в том, было бы это правильно для меня, участвовать в Наухайме в реформах Общества — и вообще, оставаться его членом — если из центра этого Общества исходят такие грубости, которые, по всей видимости, поддерживаются его уважаемыми членами, вместо того, чтобы публично отмежеваться... Короче, у меня нет ни малейшего желания хоть как-то относиться к Обществу господина Эйнштейна, — особенно сейчас, когда я не вижу никакого смысла в том, чтобы, будучи жертвой, оправдываться — если не будет твердо подтверждено, причем публично, что я при этом

являюсь не беспомощной мишенью, а частью целого, которое либо всё стоит, либо падает. Рабочее общество господина Вайланда не может служить таким целым, так как, хотя ее производственные цели вполне справедливы, но оно чуждо моему характеру» (Kleinert, 328-329).

Председателем Немецкого физического общества в том году являлся глава мюнхенской физической школы профессор Арнольд Зоммерфельд. Он прекрасно понимал, какую опасность для всего Общества представляет публичная ссора двух уважаемых его членов. Поэтому он сделал попытку их помирить. Некоторый шанс на успех давал тот факт, что Эйнштейн готов был признать свою статью в «*Берлинер Тагеблатт*» ошибкой. Это стало ясно из его переписки с Максом и Хедвиг Борн.



Арнольд Зоммерфельд

Жена Макса Борна, готовясь принять Эйнштейна в гости на время съезда в Бад Наухайме, написала ему 8 сентября 1920 года письмо, в котором откровенно высказала свое отношение к его скандальной статье в берлинской газете [19]:

«Мы всем сердцем сочувствуем Вам из-за той склоки, которой Вас мучают. Как Вы страдаете, доказывает столь не похожий на Вас текст, к написанию которого Вы в своем более чем справедливом гневе дали себя увлечь: к сожалению, весьма неловкий ответ в газете» (Einstein-Born, 58).

Эйнштейн ответил на следующий же день:

«Дорогие Борны! Не будьте строги ко мне. Каждый должен время от времени приносить на алтарь глупости свои жертвы, на радость богам и людям. И я сделал это своей заметкой. Это подтверждают в этом смысле на редкость единодушные письма всех моих дорогих друзей» (Einstein-Born, 59).

В тот же день, 9 сентября 1920 года, Эйнштейн признался в письме Зоммерфельду: *«Наверно, я не должен был писать ту статью»* [20].

Зоммерфельд обратился к обеим сторонам конфликта. В письме Эйнштейну от 11 сентября он предлагал *«написать Ленарду слово примирения... Если Вы ему скажете, что Ваша защита направлена не против ученого критика, а против че-*

ловека, которого ошибочно принимали за соратника Вайланда, и что Вы при необходимости можете это заявить публично, то это смягчило бы его гнев» [21].

Письмо Зоммерфельда Ленарду от того же 11 сентября не сохранилось, но по ответу обиженного профессора его содержание ясно. Ленард категорически отверг возможность примирения с Эйнштейном:

«Я с возмущением отвергаю даже мысли о том, что посчитаю удовлетворительным простое извинение господина Эйнштейна передо мной, да еще сделанное с условием приятного ему высказывания с моей стороны. Высказывания господина Эйнштейна (в трех местах его статьи) приписывают мне такие качества, которые должны унижить меня в глазах читателей; в любом случае, они есть знак пренебрежительного ко мне отношения со стороны господина Эйнштейна, и перерождение этого отношения в требуемое глубокое уважение на основе одного заявления было бы в высшей степени странно.

Если же господин Эйнштейн находит свои высказывания достойными сожаления, другими словами, полностью неверными, то он должен от них так же публично, как он их высказал, отказаться; иначе он никак не сможет исправить сделанную по отношению ко мне несправедливость, если это вообще еще можно сделать» (Kleinert, 328).

Так как до предстоящего в Бад Наухайме заседания публичного извинения Эйнштейна не последовало, то ожидаемая там первая встреча двух ученых обещала стать очень напряженной.

«Сейчас уже слишком поздно»

Строго говоря, в Бад Наухайме должен был состояться съезд Общества немецких естествоиспытателей и врачей. Это старейшее объединение немецких ученых разных специальностей было создано в 1822 году. Многие сообщества по отдельным научным дисциплинам — математическое, физическое и др. — существовали поначалу как секции этого большого Общества. И даже выделившись в самостоятельные объединения, они по традиции продолжали проводить свои съезды совместно со своей «материнской организацией».

Поначалу съезд 1920 года — первый после недавно закончившейся мировой войны — планировался во Франкфурте на Майне, но из-за опасения беспорядков и демонстраций было решено перенести его «на природу», в небольшой курортный городок Бад Наухайм. Доклады о теории относительности в рамках совместного заседания Немецкого физического и Немецкого математического обществ были запланированы на 23 и 24 сентября. Вот тогда-то и состоялась давно ожидаемая очная дискуссия между Ленардом и Эйнштейном. О предстоящей дискуссии Эйнштейн объявил в статье в *«Берлинер Тагесblatt»* 27 августа 1920 года и пригласил туда *«каждого, кто осмелится выступить перед научным форумом, изложить свои возражения»* [22].

Современники оставили весьма противоречивые отчеты об этих заседаниях. Герман Вейль, например, писал о драматическом словесном поединке, а Пауль Эрэнфест описывал научное противостояние как вполне вежливое, в ходе ко-

торого стороны оставались строго в рамках обсуждаемой темы. Макс Борн отмечал антисемитские атаки Ленарда против Эйнштейна:

«Часто упоминаемое большое собрание Общества немецких естествоиспытателей и врачей состоялось в сентябре 1920 года в Наухайме. Там и случилось злополучное столкновение между Эйнштейном и его противниками, чьи мотивы ни в коем случае нельзя назвать чисто научными, так как они были сильно смешаны с антисемитскими чувствами» (Einstein-Born, 60).

Все время, пока длился съезд Общества, Эйнштейн жил у Борнов во Франкфурте. Вместе с Максом они каждое утро ехали поездом в Бад Наухайм, а вечером возвращались назад. У друзей было время обсудить все происходящее на заседаниях. Борн вспоминает:

«В секции физики Филипп Ленард допускал острые и злые выпады против Эйнштейна с неприкрытым антисемитским подтекстом. Эйнштейн позволил себя вовлечь в острую полемику, и я припоминаю, что я ему подыгрывал» (Einstein-Born, 60).

Мне представляется, что память немного подвела Макса Борна: выпады Ленарда против Эйнштейна стали антисемитскими двумя годами позже и продолжались далее до самой смерти гейдельбергского профессора. Во время же съезда в Бад Наухайме его выступления хоть и были резкими и эмоциональными — обидая на злосчастную статью в «Берлинер Тагеблатт» давала себя знать, — но оставались в рамках обсуждения физических проблем, а не личности и национальности оппонента. Ни одна из публикаций о заседаниях в Бад Наухайме ничего не говорит о том, что Ленард в научном споре лично оскорбил Эйнштейна. Как отмечает биограф Эйнштейна Фёльзинг, «не только Эйнштейн, но и Ленард вели себя на подиуме так, будто никакой статьи в „Берлинер Тагеблатт“ никогда не было» [23].

Председателем на заседании, посвященном теории относительности в Наухайме, был Макс Планк. Он делал все, чтобы исключить выход дискуссий за принятые научные рамки. На всякий случай даже пригласили в зал полицейских, дежурящих у дверей.

Откровенно антисемитские атаки можно было ожидать от Вайланда и его сподвижников, которые прибыли в Бад Наухайм с нескрываемым желанием досадить Эйнштейну. Группа Вайланда была хорошо организована. Как минимум одному известному физическому, Феликсу Эреххафту [24] из Вены, были предложены деньги за то, чтобы он примкнул к противникам общей теории относительности (Beyerchen, 128). Во время выступлений Эйнштейна группа Вайланда всячески стремилась ему помешать, шумела, выкрикивала оскорбления. В своих воспоминаниях Эреххафт пишет:

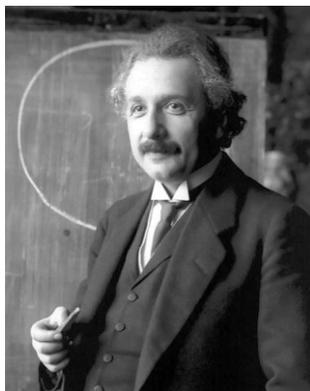


Макс Планк

«Очевидно, это были организованные акции, чтобы помешать выступающему. Тогда вмешивался Планк и был бледен, как мел, когда повышал голос и призывал нарушителей порядка к спокойствию» (Beyerchen, 128).

Имеется два официальных отчета о заседании Немецкого физического общества в Бад Наухайме. Один подготовил Герман Вейль для «Ежегодника» Немецкого математического общества, другой был опубликован в «Физическом журнале». Ни в одном из них нет и упоминаний об антисемитских нотках в выступлениях участников. Ничего не говорится об этом и в публикациях в берлинских газетах «Форвертс» («Vorwärts») и «Берлинер Тагеблатт», появившихся после завершения дискуссий. Противник Эйнштейна физик Герке цитирует в своей книге «Массовый гипноз теории относительности» отрывок из «Кёльнской газеты» («Kölnische Zeitung») от 30 сентября:

«Особое впечатление произвел обмен мнениями между Эйнштейном и знаменитым гейдельбергским физиком Ленардом. <...> Добиться какого-то согласия между Ленардом и Эйнштейном не удалось, и после того, как некоторые высказались «за» (например, проф. Борн) и «против» (проф. Палагий, Будапешт) теории относительности, дальнейшая дискуссия была остановлена, так как председательствующий на заседании знаменитый физик Планк из Берлина заметил, что теория относительности, к сожалению, не может пока еще продлить отведенное для заседания абсолютное время с девяти до часу» (Goenner, 186).



Альберт Эйнштейн и Филипп Ленард

Наиболее убедительным свидетельством того, что Ленард не пытался обыграть еврейское происхождение Эйнштейна, являются записи самого Филиппа, сделанные в разные периоды его жизни.

Сразу после съезда Общества немецких естествоиспытателей и врачей Ленард подготовил к печати третье издание упомянутой выше брошюры «Принцип относительности, эфир, гравитация», в которую внес примечание, озаглавленное так: «Дополнение, касающееся дискуссий в Бад Наухайме о принципе относительности» [25]. Тон этого комментария был острее, чем в предыдущих работах, но в нем не было ни одного антисемитского высказывания и каких-либо политических ярлыков. Все оставалось в рамках корректного научного обсуждения.

Совсем иначе выглядит эта же работа, появившаяся в четвертом томе собрания сочинений Ленарда, вышедшем в 1938 году. Там оказалось такое примечание автора:

«Я рассматривал тогда еврея как нормального арийского человека и соответственно с ним обращался, и это было ошибкой (даже в специальных вопросах). Такова была моя точка зрения в то время (работа Гюнтера о расовой теории [26] появилась только в 1922 году). Но даже если бы расовая теория в то время была уже известна, то все равно бы в профессорском собрании ничего не изменилось, так как господа даже сегодня (1938) еще слепы. Председателем во время дискуссии был Планк; ей предшествовали три утомительных доклада в пользу Эйнштейна» (Schönbeck, 30).

Из этого замечания можно сделать вывод, что только с 1922 года в своих публичных выступлениях Ленард стал обращать внимание на национальность оппонента. С этого времени антисемитская риторика вошла в его оборот. В Бад Наухайме ее еще не было. Хотя поворот к националистическим группировкам наметился раньше.

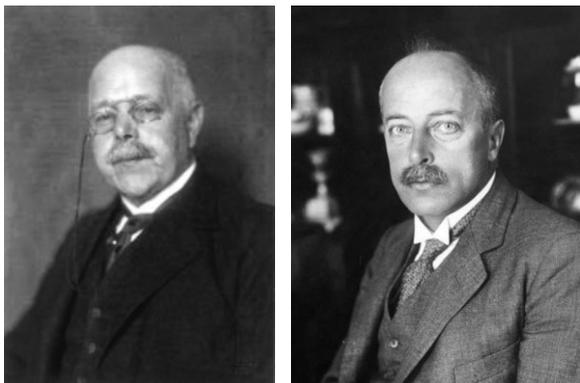
В своих воспоминаниях Ленард писал, что, пытаясь разобраться в причинах поражения, он начал читать речи Антона Дрекслера [27] и Адольфа Гитлера, которые печатались в газете «*Мюнхенер Беобахтер*». С благодарностью вспоминал Ленард о четырехчасовом выступлении Гитлера 24 февраля 1920 года в Мюнхене, на котором будущий диктатор озвучил программу из 25 пунктов национал-социалистической немецкой рабочей партии. Пятидесятивосьмилетний профессор из Гейдельберга, по его словам, наконец, понял, чем его так раздражали «участившиеся наглые выступления еврея Эйнштейна с его «теорией», противоречащей всем естественно-научным достижениям прошлого» (Lenard, 158). Однако до 1922 года у Ленарда не было оснований использовать антисемитские клише в рамках научного диспута. Книга Ганса Гюнтера такие основания ему дала.

В этой книге Филипп нашел, как ему казалось, простое решение терзавших его проблем: во всех бедах Германии виноваты евреи, представляющие собой враждебную человечеству расу. В соблазн подобных «легких» решений легко впадают слабые, не уверенные в себе и обиженные на судьбу люди. После 1922 года нобелевский лауреат быстро стал убежденным антисемитом, преданным сторонником Гитлера, хотя в партию своего кумира он долгое время не вступал.

Но вернемся в Бад Наухайм. По существу научная дискуссия там не содержала ничего принципиально нового, по сравнению с уже опубликованными доводами обеих сторон. Ленард настаивал на необходимости эфира, без которого физика теряет свою наглядность и выходит из подчинения здравому смыслу. Теория, которая не может на простые вопросы дать ответы, использующие простые понятия, он считал неудовлетворительной. Кроме того, Ленард отказывал принципу относительности во всеобщности, считая его верным только для отдельных частных случаев, когда сила пропорциональна массе. Эйнштейн, который не выступал с докладом, но был активен в дискуссиях, убедительно опровергал все возражения Ленарда. Насчет наглядности автор теории относительности тогда заметил, что совсем не очевидно, что считать наглядным, а что нет, и добавил: «*Я думаю, что физика строится больше на понятиях, а не на наглядности. Как пример изменяющегося отношения к наглядности я вспоминаю мнения о наглядности механики Галилея в различные времена» [28].*

В целом, подавляющее большинство присутствующих физиков оказались на стороне Эйнштейна. Ленард чувствовал себя непонятым и одиноким. В уже упомянутом *«Дополнении, касающемся дискуссий в Бад Наухайме о принципе относительности»* он писал: *«Ликвидация эфира была объявлена как достигнутый результат на общем собрании при открытии заседания. Не смешно. Я не знаю, было бы все иначе, если бы объявили о ликвидации воздуха»* [29].

После того, как Планк объявил дискуссии закончившейся, многие физики попытались успокоить Ленарда и сгладить его конфликт с Эйнштейном. Как вспоминал Филипп в конце жизни, Вальтер Нернст особенно старался убедить его, что *«Nos amis sont vos amis»* [30]. Макс фон Лауэ тоже сделал попытку погасить ссору, заявив: *«Эйнштейн же — просто ребенок»*. На что Ленард жестко возразил: *«Дети не пишут статьи в „Берлинер Тагеблатт“!»*



Вальтер Нернст и Макс фон Лауэ

Видя, что усилия коллег не приносят успеха, Эйнштейн сам догнал Ленарда в гардеробе и попросил прощения. На что обиженный профессор только бросил: *«Сейчас это уже слишком поздно»* (Schönbeck, 31).

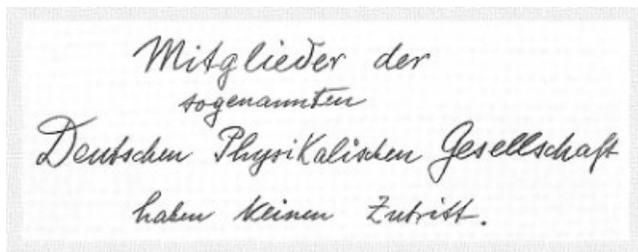
После этой сцены оба физика покинули зал заседаний и порознь отправились на вокзал. Герке, который не успел даже попрощаться со своим кумиром, бросился за ними и тоже поспешил на вокзал, но опоздал: поезд на Франкфурт уже отходил от перрона. Через несколько дней в письме Ленарду Герке рассказал, что в окне одного купе он увидел Эйнштейна, и тот его тоже узнал.

Помирить Ленарда с Эйнштейном не было никакой возможности. Правда, Альберт сделал последнюю попытку и выполнил требование Ленарда о публичном извинении. В литературе, посвященной событиям в Бад Наухайме, на этот факт не часто обращают внимания [31]. А между тем, на следующий день после окончания дискуссий по теории относительности, 25 сентября 1920 года в той самой газете «Берлинер Тагеблатт», где была опубликована статья Эйнштейна против Вайланда и Ленарда, появилось следующая заметка:

«От профессоров Ф. Химштедта [32] (Фрайбург) и М. Планка (Берлин) к нам из Бад Наухайма поступило для публикации следующее заявление: в „Берлинер Тагеблатт“ от 27 августа была опубликована заметка господина профессора Эйнштейна под названием „Мой ответ антирелятивистскому предприятию“ как защита от „Общества немецких естествоиспытателей“»

тателей в поддержку чистой науки“, на первом собрании которого, как известно, господин Вайланд зло напал лично на него. В этой же заметке он также упоминал господина профессора Ленарда, который, наряду с другими физиками, был внесен в список докладчиков. Недавнее заседание естествоиспытателей в Бад Наухайме дало нам возможность установить, что господин Ленард был включен в список помимо его воли. На основании этого господин Эйнштейн уполномочил нас сообщить о его крайнем сожалении, что он в своей заметке не удержался от обвинений, направленных против глубоко им уважаемого коллеги господина Ленарда» (Schönbeck, 33).

Это запоздалое извинение уже ничего не смогло изменить. На дверях кабинета Ленард повесил рукописное объявление: «Членам так называемого Немецкого физического общества вход воспрещен». Сам он из этого общества демонстративно вышел.



Записка на двери кабинета Ленарда

Альберт Эйнштейн был крайне раздосадован тем, как он вел себя в Бад Наухайме. Спустя месяц после съезда Немецких естествоиспытателей и врачей в открытке, отправленной из Голландии Макс Борну, великий физик признавался:

«Все, что меня ожидает, я переживу как безучастный зритель и не позволю втянуть себя в скандал, как в Наухайме. Непостижимо, что я из-за дурного общества так основательно потерял чувство юмора» (Einstein-Born, 67).

«Антисемитизм очень силен»

В сентябре 1922 года Общество немецких естествоиспытателей и врачей отмечало столетие со дня основания. Юбилейный съезд проводился в Лейпциге. Одно из заседаний предполагалось снова посвятить обсуждению принципа относительности. Ленард надеялся, что ему удастся убедить коллег перестать восхищаться теорией Эйнштейна и признать ее фикцией. Об этом говорит его интенсивная переписка с Максом Планком, Вилли Вином и другими именитыми физиками. Но все усилия оказались тщетными, специалисты по-прежнему высоко ценили теорию относительности и отдавали должное гениальности ее автора. Директор гейдельбергского института физики был глубоко разочарован. Это видно по тону его «Предупреждения немецким естествоиспытателям», добавленного в качестве

предисловия ко второму изданию брошюры «*Эфир и праэфир*», опубликованной в июле 1922 года, специально к съезду в Лейпциге [33].

В «*Предупреждении*» Ленард критикует физиков и математиков, придающих слишком большое значение теории относительности, которая, по его мнению, есть просто гипотеза, и его книга делает ее просто ненужной. С тем, что о ней трезвонят газеты, еще можно было бы смириться, но куда опаснее, что ее восхваляет научное сообщество:

«Есть разница, когда безобразие (имеется в виду реклама теории относительности и Эйнштейна) творится только на страницах газет, и когда в этом участвует общество, от которого ожидают разумного и взвешенного приговора» [34].

Теорию относительности, считал Ленард, поддерживают математики, которые видят в ней одну из форм схоластики: «они стремятся к знанию в своих головах, вместо того, чтобы экспериментировать собственными руками и наблюдать природу собственными глазами» [35].

Летом 1922 года Ленард, не забывший обид Бад Наухайма, сводит счеты со своими обидчиками. Своих критиков он скопом обвиняет в нечестности, саркастически подчеркивая их еврейское происхождение: «Известна еврейская черта — легко переводить деловые вопросы в область личной перебранки» [36].

Ленард, естественно, не замечает, что сам переводит «деловые вопросы в область личной перебранки». Особенно раздражает его наглость Эйнштейна в Бад Наухайме, когда тот сравнивал «свою собственную недоказанную гипотезу», как называл Ленард теорию относительности, с прославленной и многократно проверенной системой Галилея, лежащей в основе классической механики.

С лета 1922 года Ленард начал отрицать справедливость даже специальной теории относительности, хотя раньше его возражения вызывала только общая теория. Заодно все достижения Эйнштейна объявляются плагиатом. То, что автору теории относительности удастся ввести в заблуждение такое множество людей, Ленард объясняет «подменой понятий, которая постоянно витает вокруг господина Эйнштейна, представляемого в качестве немецкого естествоиспытателя» (Schönbeck, 35). Эта подмена очевидна знатоку расовой теории, замечает автор «*Предупреждения немецким естествоиспытателям*».

Через много лет, редактируя в 1940 году собрание своих сочинений, Ленард сделал в этом месте рукописное примечание, что указание на расовую теорию «в то время столкнулось с диким сопротивлением».

Написанное в июле 1922 года «*Предупреждение*» знаменует поворотный пункт в жизни Ленарда. До этого он не позволял себе в научных публикациях хотя бы в малой степени проявиться антисемитским чувствам. Теперь же юдофобия Ленарда стала публичной. «Прозревший» под влиянием националистической, «фелькиш» пропаганды, он начинает видеть в творчестве своего научного антипода, прежде всего, еврейский дух, смертельно опасный для здорового немецкого творчества. Как раз в это время в голове Ленарда закладываются основы нового учения, которое он назовет «немецкая», или «арийская», физика. Расистский взгляд на науку, развитию которого гейдельбергский профессор посвятит все оставшиеся годы жизни, будет поначалу одобрительно встречен руководством Третьего Рейха, пока бесперспективность и научная бесплодность такого подхода не станут очевидными даже далеким от физики людям.

Не только неприятие теории относительности, вытеснявшей из науки привычное понятие «мировой эфир», стало причиной преобразования некогда корректного профессора. Как и многие немцы, вложившие свои сбережения в государственные военные облигации, Ленард потерял накопленные деньги, в том числе, оставшиеся от Нобелевской премии. Инфляция обесценила все ценные бумаги. Филипп был убежден, что его состояние присвоило «еврейское правительствование» Веймарской республики, которую он называл «еврейским господством» (Lenard, 166).

В 1922 году случились еще два события, далекие от науки, оставившие глубокий след в судьбе ученого. В феврале умер его двадцатидвухлетний сын Вернер, последний носитель фамилии Ленард. Филипп страшно переживал из-за страданий сына, болезнь которого он относил на счет лишений в годы войны (Lenard, 221).

Винновиками войны и последующей разрухи были для него, естественно, евреи. Когда члены правокстремистской националистической организации «Консул» в августе 1921 года застрелили министра финансов Веймарской республики Маттиаса Эрцбергера [37], Ленард приветствовал этот террористический акт и публично призывал так же расправиться с другим членом правительства — евреем Вальтером Ратенау, близким другом Эйнштейна. Новое политическое убийство не заставило себя ждать: 24 июня 1922 года министр иностранных дел, выдающийся предприниматель, политик и публицист был застрелен членами той же организации «Консул». День похорон Ратенау — 27 июня — был объявлен в Германии траурным днем. Естественно, Ленард не мог с этим смириться: объявил для своих сотрудников день 27 июня рабочим и отказался вывесить траурные флаги над Физическим институтом в Гейдельберге.

Члены «Социалистической студенческой группы» под руководством Карло Мирендорфа [38] вместе с рабочими, поддерживающими правительство, ворвались в здание института и арестовали профессора. Не помог даже приказ Ленарда поливать нападавших холодной водой из пожарного шланга со второго этажа: рабочие просто перекрыли воду во дворе института. Для нобелевского лауреата было невыносимым унижением оказаться в кутузке даже на несколько часов. Ленард вспоминал потом, что рабочие предлагали бросить его в воды реки Некар, так что инцидент мог закончиться еще одним политическим убийством. К счастью, директор института отделался слегка помятыми ребрами, из-за чего должен был провести несколько дней в постели (Lenard, 255). Однако моральная травма осталась на всю жизнь. Естественно, что университетский профессор считал виноватыми во всем евреев.

С таким настроением прибыл Ленард в сентябре 1922 года на юбилейный съезд Общества немецких естествоиспытателей и врачей в Лейпциге. Руководство Немецкого физического общества решило отметить роль эйнштейновских идей в науке: пленарный доклад поручили сделать самому автору теории относительности.

Эйнштейн хорошо понимал важность этого выступления. Ради него он отказался участвовать в совместной немецко-голландской экспедиции в Батавию (нынешняя Джакарта) для наблюдения полного солнечного затмения. На этой поездке, сулившей укрепление позитивного образа Германии в мире, настаивало министерство иностранных дел. В письме директору департамента министерства Хайльброну (Heilbron) от первого июня 1922 года Эйнштейну пришлось объясняться:

«Я согласился на доклад перед собранием естествоиспытателей, что препятствует моему участию в экспедиции по наблюдению солнечного затмения, только после многократных уговоров моего коллеги Планка и после

длительного внутреннего сопротивления. Если я теперь откажусь, то это вызовет серьезную размолвку, в том числе, между мной и частью ведущих немецких физиков, в отношениях с которыми и без того имеется постоянное напряжение, отчетливо проявившееся во время съезда естествоиспытателей в Бад Наухайме. В интересах доброго согласия с моими местными коллегами я должен избежать всего, что приведет к срыву моего доклада» [39].

И все же на съезде в Лейпциге Эйнштейн не появился. В последний момент он отказался от выступления, и доклад «Принцип относительности в физике» читал Макс фон Лауэ. Друзья Альберта убедили его не рисковать, очень надежные источники утверждали, что великий физик, друг убитого Вальтера Ратенау, тоже внесен организацией «Консул» в «черный список» приговоренных к смерти. В письме Максу Планку от 7 июля 1922 года он объяснил свой отказ: *«так как я принадлежу к той группе, против которой националистическая (фёлькиш) сторона планирует покушения... Теперь ничто не поможет лучше, чем терпение и отъезд в путешествие»* (Grundmann, 175-176).

Другу еще по бернским временам Морису Соловину Альберт пояснял: *«меня все время предостерегают, я официально в отъезде, но на самом деле еще здесь. Антисемитизм очень силен»* (Grundmann, 175-176).

Президент Немецкого физического общества Макс Планк сразу понял, что опасения Эйнштейна основательны, и в письме Макс фон Лауэ жаловался: *«Эти люмпены довели дело до того, что они уже в состоянии зачеркнуть событие немецкой науки мирового значения»* (Grundmann, 223).

На согласие фон Лауэ заменить Эйнштейна Планк реагировал с облегчением: *«С чисто практической точки зрения эта замена, вероятно, имеет и преимущество, ибо те, кто вечно думают, что принцип относительности есть, по сути, еврейская реклама для Эйнштейна, получают хороший урок обратного»* (Grundmann, 223).

Ленард еще не знал, что Эйнштейна не будет на съезде, когда увидел программу заседаний. Стерпеть почет, оказанный ненавистной теории, было выше его сил. Он и еще восемнадцать его единомышленников - профессоров и докторов наук - сделали специальное заявление для прессы и подготовили яркую листовку на плотной красной бумаге, которую раздавали всем желающим у дверей в зал заседаний. В заявлении и в листовке говорилось:

«Мы, нижеподписавшиеся физики, математики и философы, решительно протестуем против впечатления, будто теория относительности представляет собой высшую точку современного научного исследования. Считаем это несовместимым с серьезностью и достоинством немецкой науки, когда в высшей степени спорная теория поспешино, на манер базарного зазывалы, вносится в мир дилетантов и профанов» (Goepfer, 193).

В докладе на съезде Ленард высказал об Эйнштейне и его теории все, что в этот момент думал, не стесняясь в выражениях. Однако антисемитские нападки не прибавили сторонников Ленарду, напротив, большинство физиков принимало теорию относительности как выдающийся вклад в познание Вселенной.

Три летних месяца Эйнштейн провел в Голландии, а потом вместо Лейпцига уехал с докладами в далекую и более безопасную Японию.

В ноябре 1922 года из Стокгольма пришла давно ожидаемая весть: Эйнштейну присуждена Нобелевская премия по физике за 1921 год. Сам лауреат находился в это время на пути в Японию, куда прибыл 17 ноября, так что в церемонии

вручения премий 10 декабря он участия не принимал. В формулировке Шведской академии наук слов о теории относительности не было, премию присудили *«за заслуги в теоретической физике, особенно в открытии закона фотоэффекта»*.

Ленард не мог пережить такой успех своего заклятого врага. Тем более, в открытии законов фотоэффекта он сам принимал непосредственное участие, проведя в 1902 году знаменитые эксперименты, позволившие Эйнштейну объяснить явление с точки зрения квантовой теории. А теперь снова вся заслуга приписывалась «этому еврею». В начале 1923 года Ленард направил в Стокгольм письмо, в котором протестовал против награждения, *«компрометирующего престиж Шведской академии наук»* (Schönbeck, 37).



Чествование Эйнштейна в связи с награждением медалью Макса Планка. Медаль вручает сам Макс Планк

«Пришло наше время»

После съезда в Лейпциге основные усилия Ленарда были направлены на то, чтобы опорочить теорию относительности и лично ее автора Альберта Эйнштейна. Наука отходила на второй план. В Физическом институте в Гейдельберге образовалась группа сотрудников, приверженцев идеологии фёлькиш, многие из них примкнули к национал-социалистам. Аспиранты и ассистенты Ленарда занимались, главным образом, написанием пасквилей об Эйнштейне и рассылкой их в разные газеты и журналы. Молодой физик Пауль Книппинг [40], приглашенный Ленардом в Гейдельберг для подготовки второй докторской диссертации, так описывает в письме Лизе Мейгнер обстановку в институте:

«Существенная часть научной деятельности состоит здесь в том, чтобы готовить и рассылать в газеты публикации (естественно, не уклавывая имени автора), которые не содержат ничего другого, как личные выпады против ненавистного деятеля. Когда я сюда попал (начало 1923 года), то тут писалась одна «сочная» заметка «Эйнштейн как еврей», которая, как мне рассказали, должна содержать только личные оскорбления... Самое печальное в этой истории это то, что эти художества творятся не

молодыми, неопытными людьми, а за всем за этим стоит Ленард, чего я ранее не знал. Как только мое отношение [против такого рода публикаций] стало известным, наступила моя изоляция» (Schönbeck, 38).

Книпшину так и не удалось защитить диссертацию в Гейдельберге, ему пришлось для этого переехать в Дармштадт и защищаться в местном Техническом университете.

Сын известного физика Вилли (Вильгельма) Вина писал домашним в 1925 году о положении в институте Ленарда:

«Я еще не могу сориентироваться, нужно ли сначала стать фёлькиши и только потом кандидатом в доктора или наоборот. В любом случае, институт кажется в этом смысле довольно однородным, и противостояния с университетом, ректором и другими функционерами энергично Ленардом подавляются» (Schönbeck, 38).

Сам директор института все теснее сотрудничал с лидерами национал-социалистической партии, прежде всего, с идеологом Розенбергом и правой рукой Гитлера — Рудольфом Гессом, хотя в партию Ленард вступил только в 1937 году.

Благосклонность будущего фюрера гейдельбергский профессор физики завоевал в 1924 году. Первого апреля того года за участие в «пивном путче» в ноябре 1923 года Гитлер был приговорен к заключению в тюрьме Ландсберг. Уже восьмого мая 1924 года в «Великогерманской газете» (Großdeutsche Zeitung), выходящей несколько месяцев вместо запрещенной «Фёлькише беобахтер», появилась статья, написанная Ленардом и подписанная еще и Штарком. Статья называлась «Дух Гитлера и наука». В Гитлере и его соратниках Ленард видел проявления того же высокого творческого начала, которое отличало гигантов естествознания: Галилея, Кеплера, Ньютона, Фарадея. И это начало неразрывно связано с арийско-германской кровью.

Статья Ленарда содержала множество выражений, которые использовал Гитлер в книге «Моя борьба», хотя публикация в «Великогерманской газете» состоялась до появления книги в свет. Объяснение этому простое: и Ленард, и Гитлер, да и Розенберг, в те же годы писавший книгу «Миф двадцатого века», придерживались идеологии фёлькиш и пользовались устоявшимися формулировками и оборотами речи, принятыми в этом движении. Сходство языка было следствием общности идеологии.

Гитлер не забыл преданность своего ученого почитателя. Шестого марта 1928 года он вместе с партийным секретарем Рудольфом Гессом посетил Ленарда на его квартире в Гейдельберге. Позднее Ленард назовет это событие самым значительным в его жизни (Lenard, 267). Беседа касалась, в основном, немецкого религиозного движения, и профессор с радостью отмечал в своих воспоминаниях, что полностью согласен с Гитлером в оценке всех ветвей христианства, и католического, и протестантского, как инструмента, используемого в еврейских целях. В частности, постоянную поддержку Планком Эйнштейна гейдельбергский физик связывал с тем, что предки Макса были, в основном, теологами или пасторами (Lenard, 237).

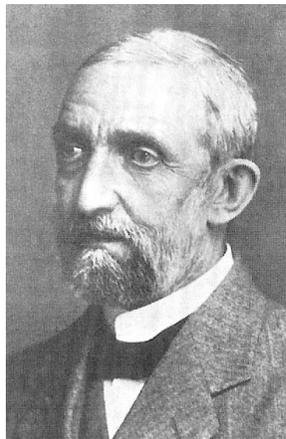
На протяжении всей своей долгой жизни Ленард постоянно ощущал, что его научные заслуги недостаточно почитаются, что сам он не получает от коллег того признания, которого заслуживал, а его открытия частенько перехватываются другими исследователями. Когда с возрастом его научная деятельность практически сошла на нет, все надежды на признание и уважаемое место в обществе он стал связывать с национал-социализмом. С приходом Гитлера к власти в 1933 году стало

казаться, что мечты и надежды Ленарда скоро сбудутся. Вот и Штарк написал Ленарду 3 февраля, всего через четыре дня после назначения нового рейхсканцлера: *«Наконец-то пришло наше время, наконец-то мы можем добиться признания нашего понимания науки и методов исследования»* (Beyerchen, 483).

Подтверждения его словам пришлось ждать недолго: первого мая 1933 года министр внутренних дел Третьего рейха Фрик назначил Штарка президентом физико-технического института в Берлине, а еще через год Йоханнес стал руководителем *«Чрезвычайной ассоциации содействия немецкой науке»* (Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft).



Йоханнес Штарк



Филипп Ленард в 1930-е годы

Дождался своего часа и Филипп Ленард, которому в 1933 году пошел уже восьмой десяток. Власти объявили его патриархом немецкой науки, в 1935 году его именем был назван институт физики в Гейдельберге.

Свой вклад в дело национал-социалистической революции Ленард старался внести в области расовой идеологии: он усиленно развивал введенное им понятие «арийская, или немецкая, физика», которая противопоставлялась «физике еврейской». В 1936 году вышел в свет его учебный курс *«Немецкая физика»* в четырех томах [41].

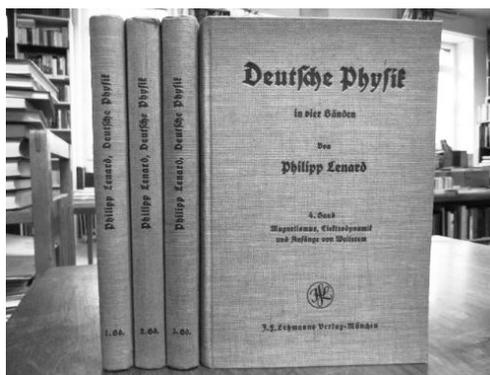
Пожилый профессор не ограничивался лишь теоретическими построениями. Он призывал власти к немедленным практическим действиям. Это хорошо иллюстрируют документы из так называемого *«Дела Эйнштейна»*, которое вело Прусское министерство науки, искусства и народного образования с ноября 1919 года. Тогда автор общей теории относительности впервые получил деньги от министерства после триумфального подтверждения теории во время полного солнечного затмения. *«Дело»* было закрыто в 1934 году после лишения Эйнштейна немецкого гражданства и выхода ученого из состава академии. Одним из последних в этом собрании документов значится письмо, отправленное Ленардом рейхсминистру народного просвещения и пропаганды Йозефу Геббельсу 8 октября 1934 года. В нем профессор настоятельно предлагает, даже требует разбить остатки влияния Эйнштейна на научное сообщество. Прежде всего, по мнению Ленарда, *«надо изгнать сторонников принципа относительности со всех ученых кафедр, из всех учебных заведений,*

ибо теория Эйнштейна не только покоится на ложных допущениях, но и является политически вредной) (Grundmann, 438).

Если не помогали обращения к властям, последователи «арийской физики» не брезговали прямыми политическими доносами. Когда решался вопрос о назначении Вернера Гейзенберга профессором теоретической физики в Мюнхенский университет, Йоханнес Штарк опубликовал 15 июля 1937 года в еженедельнике СС «Черный корпус» большую статью под многозначительным названием «Белый еврей в науке». В ней, в частности, ставится новая цель для преследования:

«В то время как влияние еврейского духа на немецкую прессу, литературу и искусство, так же как и на немецкую правовую жизнь, теперь уже исключено, он находит защитников и последователей в немецкой университетской науке среди арийских ученых, являющихся друзьями или воспитанниками евреев. За кулисами профессиональной научной деятельности и в рамках международного признания он действует с неослабевающей настойчивостью и пытается укрепить и усилить свое господство путем тактического влияния в наиболее важных местах» (Grundmann, 484).

Такие арийские пособники еврейского духа назывались в статье «белыми евреями», и с ними нужно было бороться еще активнее, чем с «расовыми евреями». Один из «белых евреев» был назван прямо: Вернер Гейзенберг, которого Мюнхенский университет хотел бы видеть своим профессором теоретической физики. После статьи в «Черном корпусе» речи о назначении в Мюнхен уже не могло быть. Гейзенбергу пришлось более года бороться не только за научную и гражданскую репутацию, но и за свою жизнь [42]. В конце концов, ему удалось доказать, что можно поддерживать теорию относительности и не быть противником Третьего рейха. Всемогуший рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер снял с него все подозрения и разрешил продолжать работу.



Филипп Ленард. "Немецкая физика"

Однако профессором в Мюнхене стал не нобелевский лауреат Гейзенберг, а Вильгельм Мюллер [43], чью кандидатуру предложил национал-социалистический Союз доцентов. Худшей кандидатуры трудно было найти. Собственно теорией Мюллер никогда не занимался, у него не было ни одной научной статьи в физических журналах. Он даже не стал членом Немецкого физического общества. Область его интересов ограничивалась прикладной аэродинамикой, где он никогда

не выходил за пределы классической физики. Главной заслугой нового преемника Зоммерфельда была полемическая брошюра *«Еврейство и наука»* [44], вышедшая в свет в 1936 году, в которой он остро критиковал теорию относительности как типично еврейское создание.

Не лучше обстояло дело и в других университетах Германии. Странники «арийской физики» вытесняли «нормальных» ученых, положение с теоретической физикой в университетах Германии становилось критическим. Усилия Ленарда, Штарка и их последователей стали приносить плоды. Использование релятивистской математики стало приравниваться к преступлению против национал-социализма. Казалось бы, основоположник «немецкой физики» мог быть доволен. Все, к чему он стремился, воплощалось в жизнь.

Однако победа Ленарда, Штарка и их единомышленников оказалась пирровой. Физика в Германии стремительно приходила в упадок. Научные школы распались, количество студентов-физиков катастрофически уменьшалось. Чистки университетов от неарийских и политически неблагонадежных сотрудников, проводимые после закона *«О защите чиновничества»* от 7 апреля 1933 года, привели к потере очень ценных кадров. Только к зимнему семестру 1934/35 годов были уволены и большей частью принуждены к эмиграции 1145 ученых и преподавателей, среди них 313 ординарных профессоров и 468 экстраординарных профессоров и приват-доцентов. К 1939 году обновилось 45% преподавательского корпуса Германии. Среди тех, кто был вынужден эмигрировать, числилось двадцать человек, имевших или вскоре получивших Нобелевские премии, в том числе 11 человек — по физике! Последователи «арийской физики» сделали эту и без того громадную интеллектуальную потерю еще более значительной.

Падение уровня немецкой науки становилось все более заметно на фоне растущего научного потенциала стран, ставших во Второй мировой войне противниками гитлеровской Германии. Например, в области атомных и ядерных исследований в 1927 году в Германии было опубликовано 47 статей, а в США и странах Европы — только 35. К 1933 году эти показатели сравнялись: как в Германии, так и в США и Европе было опубликовано по 77 статей. Но уже через четыре года положение изменилось явно в пользу американцев и европейцев — 329 статей против 129 немецких авторов. А к 1939 году разрыв еще увеличился: 471 статья против 166. В США действовало 30 ускорителей заряженных частиц, в Англии — 4, а в Германии — только один (Weyerchen, 249).

Бесплодность «арийской физики» стала к концу войны понятной и нацистским властям, до того всячески поддерживавшим расовый подход к науке. Сохранилась докладная записка *«О положении в физике»* от 15 апреля 1944 года, поданная на имя рейхслайтера Альфреда Розенберга. В ней констатируется: *«Поспешное признание партийных функционеров одного из двух научных направлений единственно верным ведет к тому, что уже ряд лет некоторые ведущие физики-теоретики весьма скептически относятся к научной политике партии. Так как именно их научные взгляды, в том числе, и в области создания нового вооружения, доказали свою плодотворность, можно с полным основанием считать, что они правы»* (Grundmann, 489).

Надеяться на результаты, в том числе, в создании нового сверхмощного оружия, можно только опираясь на истинную науку, не скованную расистскими предрассудками. Ленард с его постоянными советами, как перестроить политику в

области науки и образования, становился надоедливым и докучливым. Власть перестала обращать на него внимание.

Это не осталось незамеченным: Ленард очень чутко реагировал на отношение к себе. В 1943 году, когда торжества по случаю его восьмидесятилетия остались позади, он написал следующие горькие слова на обороте грамоты, врученной ему в 1935 году по случаю присвоения имени Ленарда руководимому им институту:

«Было сказано много прекрасного и доброго, и сделано это убедительно и понятно. Но ни одно министерство науки Третьего рейха ничего в этом направлении не сделало. Как раз наоборот, в области физики или естествознания действия сверху были противоположными. Меня снова и снова чествуют, однако моим мыслям и советам не следуют. 6 лет назад я восставал против подобного безобразия. Сейчас с моими 80 годами стал я слишком стар, чтобы вмешиваться, как это происходило раньше в моих работах» (Schönbeck, 39).

Сделка с дьяволом окончилась, как и следовало ожидать, обманом: Ленард так и не нашел в нацизме желанной поддержки и подлинного признания. Его последнее увлечение — расово чистая наука — стало серьезным стратегическим просчетом. Герои нашего рассказа и здесь оказались антиподами: благодаря знаменитому письму Эйнштейна президенту Рузвельту начался знаменитый Манхэттенский проект. Страны, воевавшие с нацизмом, создали атомную бомбу, поставившую точку во Второй мировой войне. Сторонники же «арийской физики» Ленарда всячески тормозили развитие исследований атома в Германии. Это обернулось счастьем для человечества, ибо Гитлер так и не получил в свои руки смертоносное сверхоружие. Как тут не вспомнить бессмертные слова Мефистофеля из гётевского «Фауста»: *«я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»?*

Примечания

[1] Артур Эддингтон (Arthur Stanley Eddington, 1882-1944) — английский астрофизик.

[2] Хендрик Антон Лоренц (Hendrik Lorentz, 1853-1928) — нидерландский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1902 год.

[3] Sugimoto Kenji. Albert Einstein. Die kommentierte Bilddokumentation. Verlag Moos&Partner, Gräfelfing vor München 1987, S. 56.

[4] Там же, стр. 57.

[5] Albert Einstein — Hedwig und Max Born. Briefwechsel 1916-1955. Nymphenburger Verlags-handlung, München 1969, S. 59. Далее ссылки на эту книгу будут обозначаться заключенными в круглые скобки словами «Einstein-Born» и номером страницы.

[6] Sugimoto Kenji. Albert Einstein. Die kommentierte Bilddokumentation (см. прим. 63), стр. 60.

[7] Пауль Вайланд (Paul Weyland, 1888-1972) — немецкий мошенник и аферист, прославившийся нападками на Эйнштейна и на теорию относительности. Вступил в СА, но в 1933 году исключен за криминальное прошлое. Бежал за границу, где выдавал себя за борца с нацизмом. После войны оказался в США, где написал донос на Эйнштейна, что он коммунист. По этому доносу ФБР провело даже специальное расследование.

- [8] Немецкая национальная народная партия (Deutschnationale Volkspartei сокр. DNVP, НННП) — националистическая консервативная партия в Германии во времена Веймарской республики.
- [9] Доклад Вайланда, в котором приводится эта цитата из Ленарда, опубликован в: *Schriften aus dem Verlag der Arbeitsgemeinschaft deutscher Naturforscher zur Erhaltung reiner Wissenschaft*. Berlin 1920, Heft 2.
- [10] Лиза Мейтнер (Lise Meitner, 1878-1968) — выдающийся австрийский физик и радиохимик.
- [11] Отто Ган (Otto Hahn, 1879-1968) — выдающийся немецкий химик, открывший вместе с Лизой Мейтнер расщепление урана, лауреат Нобелевской премии по химии за 1944 год.
- [12] *Einstein Albert. Meine Antwort auf die anti-relativitätstheoretische GmbH*. Berliner Tageblatt, 27. August 1920, S. 1.
- [13] Людвиг Глазер (Ludwig Glaser, 1889-1945 — предположительно) — немецкий физик-прикладник, один из первых примкнувший к «арийской физике».
- [14] Макс Вольф (Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf, 1863-1932) — немецкий астроном, первооткрыватель множества астероидов, а также комет и сверхновых звезд.
- [15] Александр Моисси (Alexander Moissi, 1879-1935) — немецкий и австрийский актёр.
- [16] Макс Рейнхардт, собственное имя — Максимилиан Гольдман (Max Reinhardt, 1873-1943) — австрийский режиссёр, актёр и театральный деятель, который с 1905 года и до прихода к власти нацистов в 1933 году возглавлял Немецкий театр в Берлине.
- [17] Фридрих Штамер (Friedrich Sthamer, 1856-1931) — немецкий адвокат, в годы Веймарской республики Первый бургомистр Гамбурга и посол в Великобритании.
- [18] Конрад Хениш (Konrad Haenisch, 1876-1925) — немецкий журналист, редактор, политик.
- [19] В книге *Schönbeck Charlotte. Albert Einstein und Philipp Lenard* (см. прим. 3), стр. 27, это письмо ошибочно приписывается Максу Борну, хотя подпись недвусмысленно указывает автора: Хеди Борн.
- [20] Albert Einstein — Arnold Sommerfeld. Briefwechsel. Herausgegeben und kommentiert von Hermann, Armin. Basel 1968.
- [21] Там же.
- [22] Цитируется по книге *Albrecht Fölsing. Albert Einstein. Eine Biographie*. Suhrkamp, Ulm 1995, S. 526.
- [23] Там же.
- [24] Феликс Эренхафт (Felix Ehrenhaft, 1879-1952) — австрийский физик.
- [25] *Lenard Philipp. Über Relativitätsprinzip, Äther, Gravitation*. 3.Aufl. 1921., S. 37, Fußnote 1.
- [26] *Günter Hans. Rassenkunde des deutschen Volkes*. J.P. Lehmann, München 1922.
- [27] Антон Дрекслер (Anton Drexler, 1884-1942) — основатель Немецкой рабочей партии («Deutsche Arbeiterpartei»; DAP), которую позднее (под названием НСДАП) возглавил Гитлер.
- [28] *Albrecht Fölsing. Albert Einstein. Eine Biographie* (см. прим. 82), стр. 527.
- [29] См. прим. 85.
- [30] Nos amis sont vos amis (фр.) — Наши друзья — твои друзья.
- [31] См., например, *Beyerchen Alan. Wissenschaftler unter Hitler: Physiker im Dritten Reich* (см. прим. 45).
- [32] Франк Химштедт (Franz Himstedt, 1852-1933) — немецкий физик, профессор Фрайбургского университета.
- [33] *Lenard Philipp. Über Äther und Uräther*. 2. Auflage. Verlag Hirzel, Leipzig 1922.
- [34] Там же, стр. 5.

[35] Там же, стр. 6-7.

[36] Там же, стр. 9.

[37] Маттиас Эрцбергер (Matthias Erzberger, 1875-1921) — немецкий политик, министр в правительстве Веймарской республики.

[38] Карло Мирендорф (Carlo Mierendorff, 1897-1943) — немецкий политик, социологи и писатель.

[39] *Grundmann Siegfried*. Einsteins Akte. Wissenschaft und Politik — Einsteins Berliner Zeit. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2004, S. 222. Далее ссылки на эту книгу будут обозначаться заключенными в круглые скобки словом «Grundmann» и номером страницы.

[40] Пауль Книппинг (Paul Knipping, 1883-1935) — немецкий физик

[41] *Deutsche Physik in vier Bänden von Philipp Lenard in Heidelberg*. J.F. Lehmanns Verlag, München-Berlin 1936.

[42] Подробнее об этом см. в моих статьях *Беркович Евгений*. Гейзенберг и время. «Человек», №1 2014, стр. 154-166; *Беркович Евгений*. Корни и ветви, или О «белом еврее» в науке. «Зарубежные записки», №21 2013.

[43] Вильгельм Мюллер (Wilhelm Müller, 1880-1968) — немецкий физик, преемник Зоммерфельда на кафедре теоретической физики Мюнхенского университета.

[44] *Müller Wilhelm*. Judentum und Wissenschaft. Theodor Fritsch Verlag, Leipzig 1936.



Яков Галл

ДВА ГАУЗЕ

До сих пор бытует мнение, что в России работало два Гаузе: один — широкий эколог и эволюционист, другой — специалист по антибиотикам. На самом деле это был один человек, Георгий Францевич Гаузе, обладавший даром и экспериментатора, и теоретика. Его ранние исследования по экологии и теории эволюции в последующем составили фундамент для блестящих работ по антибиотикам. Работы по конкуренции вошли практически во все учебники по общей и популяционной экологии.

Первые шаги

Георгий Францевич Гаузе родился в Москве 27 декабря 1910 г. Его отец Франц Густавович Гаузе родился и вырос в Литве в рабочей семье (дед Георгия был столяром), а учиться уехал в Санкт-Петербург, где получил специальность архитектора. Впоследствии стал профессором и деканом факультета Московского архитектурного института. Мать Гаузе, Надежда Михайловна (в девичестве Иванова), была балериной Большого театра, ее отец — скрипачом в его оркестре.

Еще в школе Георгий заинтересовался зоологией беспозвоночных. Часто бывая в Зоологическом музее Московского университета, в 15 лет познакомился с хранителем коллекций музея В.В. Алпатовым. Под влиянием этого известного московского зоолога, обладавшего широким научным кругозором, особенно в области биометрии и эволюционного учения, Гаузе еще до поступления в университет подготовил первую научную работу по изменчивости у азиатской саранчи с использованием биометрических методов [1].

В 1927 г. Георгий поступил в Московский университет на биологическое отделение физико-математического факультета. Тогда студентов набирали из представителей рабочего класса, поэтому в поступлении ему очень помогло ходатайство Алпатова и директора Зоологического музея университета Г.А. Кожевникова.

В том же году Алпатов уехал в длительную научную командировку в США и попросил своего коллегу и друга Е.С. Смирнова опекать его ученика. Через год Смирнов пригласил первокурсника «по совместительству» поступить младшим научным сотрудником в возглавляемую им лабораторию Биологического института им. К.А. Тимирязева при Коммунистической академии. Тогда в этом крупнейшем биологическом научном центре, руководимом М.С. Навашиным, работали многие выдающиеся биологи. Гаузе окупился в жизнь института: участвовал в научных конференциях и семинарах, в решении вопросов математической биологии (которой увлекался и Смирнов). В 1929 г. Гаузе отправился в путешествие на Северный Кавказ, где изучал изменчивость и экологию прямокрылых методами математической статистики, продолжая в природных условиях тему первой статьи, выполненной на музейном материале под руководством Алпатова. Руководил этими интереснейшими работами, сочетающими натурализм и математику, Смир-

нов. Гаузе оставался благодарен ему и сохранил с ним связь на всю жизнь. В том же году Алпатов вернулся из США, из лаборатории популяционных исследований Р. Перля, директора Института биологических исследований при Университете им. Дж. Хопкинса в Балтиморе. Свои популяционные исследования Перль начал во время изучения численности населения США, затем перенес их в лабораторию и проводил на самых разнообразных объектах, среди которых после посещения лаборатории Т. Моргана любимым стала дрозофила. Алпатов, включившись в «дрозофильный» проект Перля, в экспериментах изучал воздействие температуры на продолжительность жизни насекомых при различных плотностях популяции. С работ Перля и Алпатова началась экспериментальная биодемография. Авторы выдвинули концепцию «скорости жизни»: ее длительность сокращается пропорционально ускорению метаболизма^{1*}.



Георгий Францевич Гаузе

Рассказ Алпатова о выдающихся работах Перля по математической и экспериментальной экологии побудил Гаузе немедленно начать работу в области популяционной биологии в лаборатории экологии Биологического института. Заведующий лабораторией Смирнов, по словам Гаузе, прекрасно понимавший важность этих работ, обещал не мешать исследованиям.

От экспериментов к теории

Вначале Гаузе, как и Перль, исследовал рост человеческих популяций и уже в начале 1930 г. подготовил статью для журнала «Доклады АН СССР» под названием «Логистическая кривая роста населения Ленинграда и европейской части СССР» [2]. В 1930-1931 гг. Гаузе выполнил ряд работ с культурами дрожжевых клеток, изучая рост изолированных и смешанных популяций различных видов [3]. При этом у молодого исследователя была возможность общаться в Биологическом институте с известными микробиологами того времени (Е.Е. Успенским, проф. А.Н. Первозванским), активно переписываться с Вольтеррой, Перлем и Лоткой^{2*}.

После окончания университета в 1932 г. по приглашению Алпатова Гаузе стал научным сотрудником в организованной им лаборатории экологии и полезных

беспозвоночных биологического факультета МГУ. (В личном деле Гаузе есть справка, что с 25 марта по 10 октября 1931 г. он работал младшим научным сотрудником во Всесоюзном институте каучука и гуттаперчи^{2*}.) Именно в МГУ он выполнил все свои основные экологические и эволюционные работы.

Привлекательность экспериментов Гаузе по конкуренции заключается в их красоте и простоте. Хотя некоторые натуралисты говорили о конкурентном вытеснении видов, никто не мог экспериментально показать, как это происходит. Микроскопические организмы (дрожжевые клетки, простейшие) оказались столь удобны, что в кратчайший срок были получены результаты необходимой точности, которые и по сей день нельзя получить на других объектах.

Сначала в опытах по конкуренции Гаузе использовал инфузорий *Paramecium aurelia* и *P. caudatum*, которые питались одним кормом и обитали в одном пространстве. Конкуренция между ними всегда заканчивалась вытеснением одного из видов, что зависело не только от факторов среды, но и от наличия продуктов обмена веществ у конкурентов.

По-иному складывались отношения между *P. aurelia* и *P. bursaria*. Хотя и эти инфузории конкурировали за пищу и пространство, оба вида могли существовать неопределенно долгое время. Поскольку пищей для них в этой серии опытов служил смешанный корм, состоящий из дрожжей и бактерий, причину сосуществования инфузорий можно было усмотреть в пищевой специализации, которая должна была ослабить конкуренцию. Действительно, оказалось, что *P. bursaria* обитала в основном на дне пробирки и питалась оседающими дрожжевыми клетками, а *P. aurelia* находилась в верхней части пробирки и питалась преимущественно бактериями. Но и на корме, состоящем из одних только дрожжевых клеток, достигалось равновесие между видами, только при одном условии: если пробирка интенсивно освещалась. Объяснялось это тем, что вид, обитающий на дне пробирки, неминуемо исчез бы не от недостатка пищи, а от недостатка кислорода. Вид, более чувствительный к недостатку кислорода, обитал в верхней части пробирки, где его было вполне достаточно. Следовательно, каждый вид существовал в своей собственной зоне, но выживание одного обеспечивалось симбиозом с водорослью.

Еще в 1932 г. Гаузе послал письмо Перлю с предложением опубликовать в США свою книгу «Борьба за существование». Гонорар от публикации он планировал потратить на приобретение оборудования для своих дальнейших исследований. Перль поддержал идею издания книги и даже дал согласие написать к ней предисловие. При этом, указав на возможные трудности с получением гонорара, заверил: «Публикация такой книги косвенно даст Вам значительно большие преимущества, чем деньги»^{4*}. В конце 1934 г. книга «The Struggle for Existence» с предисловием Перля вышла в Балтиморе [4]. В течение 60-70-х годов ее несколько раз переиздавали в США, в том числе в 1972 и в 2003 гг. в серии «Классики математической биологии и экологии». Сегодня эту работу легко найти в Интернете^{5*}.

Эта книга представляла собой очень естественный синтез теоретической, экспериментальной и полевой экологии. История биологии не знает случая, чтобы исследователь в возрасте 24 лет издал книгу, ставшую настольной для многих поколений экологов, натуралистов и математических биологов. Один из лидеров современной экологии Э. Хэтчинсон назвал книгу Гаузе «The Struggle for Existence» краеугольным камнем современной экологии.

Гаузе хорошо чувствовал, что после экспериментов и полевых исследований, показавших важность концепции экологической ниши, необходимо совершен-

ствовать дарвиновскую теорию борьбы за существование. Для такой работы необходим был партнер, безукоризненно владеющий математическим аппаратом. В 1934-1937 гг. им стал известный математический физик А.А. Вигт^{5*}, с которым Гаузе познакомился на заседаниях биофизического центра МГУ. Они опубликовали несколько теоретических статей по математическому моделированию таких важнейших процессов, как конкуренция, симбиоз, комменсализм, мугуализм.

Гаузе и Вигт исследовали возможные ситуации, когда виды принадлежат к одной или к нескольким экологическим нишам, что и предопределило дальнейшие работы, в которых понятие экологической ниши заняло центральное место. Совместные работы Гаузе и Вигта широко цитировались и переиздавались, особенно известной стала статья 1935 г. [5].

Работы Гаузе по экспериментальному и математическому изучению борьбы за существование на моделях популяций микроорганизмов и простейших привлекли к себе большое внимание многих экспериментальных биологов из разных стран. В 1936 г. Гаузе успешно защитил их как докторскую диссертацию «Исследования по динамике смешанных популяций», официальным оппонентом которой был Владимир Иванович Вернадский.

Впервые Гаузе заинтересовался биологическим действием оптических изомеров и проблемой асимметрии протоплазмы (аминокислоты, сахара) еще в 1931-1932 гг., когда работал в биохимической лаборатории Политехнического музея в Москве, где в то время трудились известный биохимик А.Р. Кизель^{2*} и его ученики А.Н. Белозерский и В.Л. Кретович. Здесь у Гаузе сложились дружеские отношения с Белозерским, которого он впоследствии попросит выполнить биохимический анализ грамицидина S.

В чем же суть совершенно новой исследовательской программы Гаузе, которая уже относится к области молекулярной биологии? Известно, что все аминокислоты — L-изомеры, а сахара — D-изомеры. Изучение этого феномена началось еще с фундаментальных исследований Л. Пастера, который назвал его диссимметрией. Но проблема эта занимала в основном химиков-органиков и физиков. Гаузе рассмотрел диссимметрию в аспекте биологической эволюции как прогрессивное явление: возникновение оптически активной протоплазмы усиливало функции клеточных структур. Организмы с такой асимметричной (термин Гаузе) протоплазмой получали преимущество в борьбе за существование. Оптически «чистая» протоплазма формировалась мутациями и естественным отбором, а не таинственными силами, как предполагали Пастер и его последователи. Соединение эксперимента с эволюционным подходом в проблеме стереоизомерии клетки и предопределило столь внезапный, можно даже сказать, непредсказуемо огромный успех монографий Гаузе.

Летом 1933 г. Вернадский пригласил Гаузе и Алпатова к себе в санаторий Академии наук «Узкое», где тогда отдыхал. Рассказ Георгия Францевича о своих работах по асимметрии протоплазмы очень заинтересовал Владимира Ивановича, и он предложил Гаузе работать в своей лаборатории. К сожалению, тот не смог реализовать эту возможность, но уже через год, в августе 1934 г., передал Вернадскому первую часть своих «Исследований по диссимметрии протоплазмы» лаборатории Вернадского [6]. Начиная с 1934 г. Георгий Францевич часто встречался с Владимиром Ивановичем, который раз в месяц приглашал его к себе домой. Они обсуждали проблемы асимметрии протоплазмы и экологии, которые очень волновали Вернадского, так как его исследования были связаны с закономерностями роста живого вещества в биосфере.

Исследования по асимметрии протоплазмы выросли из ранних работ по экологии и теории эволюции. Гаузе просто расширил методы изучения экологических и эволюционных процессов, вводя новый биохимический аспект. Его эксперименты по эффектам оптических изомеров аминокислот, алкалоидам и синтетическим компонентам, воздействующим на рост простейших и дрожжей, были подробно изложены в книгах «Асимметрия протоплазмы» и «Оптическая активность и живая материя», изданных в СССР в 1940 г. и в США в 1941 г. [7].

Еще в 1937 г., Гаузе в лаборатории экологии МГУ начал выполнять важнейшие эксперименты по изучению естественного отбора. Эти работы стали логическим продолжением исследований по борьбе за существование. Используя разработанные и хорошо апробированные в лаборатории методы и ранее использованные культуры простейших, можно было прямо решать фундаментальные проблемы теории естественного отбора.

Эти работы он продолжал вместе со своей сотрудницей Н.П. Смарагдовой. Были проведены обширные исследования по выявлению связи между модификациями и мутациями в процессе естественного отбора [8], которые Гаузе обобщил в монографии «Экология и некоторые проблемы происхождения видов». Но эта книга, подписанная к печати 29 июня 1941 г., не увидела свет. Почему? Ведь во время войны, особенно поначалу, выпуск научной литературы не прекращался, тем более в Москве. Вероятно, это было связано с фамилией Гаузе, поскольку она скорее немецкого, чем русского происхождения (такие подпадали под особый контроль НКВД). После окончания войны монографию издали в США в сокращенном виде под названием «Проблемы эволюции». В полном объеме она вышла лишь в 1984 г. в тематическом сборнике «Экология и эволюционная теория».

В сентябре 1939 г. началась Вторая мировая война, ситуация в мире резко изменилась, и Гаузе начал активно работать по оборонной тематике. В 1940 г. по его инициативе Дезинфекционный институт Минздрава СССР заключил договор с лабораторией экологии МГУ по вопросам изучения действия дезинфицирующих веществ. Все те методы, которые применялись Гаузе для изучения борьбы за существование и естественного отбора в культурах простейших, стали использоваться для изучения дезинфицирующих веществ. Эти исследования имели оборонное значение и были связаны с защитой от бактериологического оружия.

Новизна работ Гаузе состояла в том, что для тестирования дезинфицирующих веществ вместо культур бактерий он использовал культуры простейших, а это позволяло резко ускорить темпы и надежность научно-исследовательских работ. Часть исследований в этом направлении по представлению Е.Н. Павловского вышла в «Докладах Академии наук СССР». Важнейшее значение в этом цикле имела статья «О действии некоторых дезинфицирующих веществ на бактерии и на простейших» [9].

Антибиотики

Работая по оборонной тематике, Гаузе близко познакомился с П.Г. Сергиевым, главой Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, председателем медицинского ученого совета и директором Института малярии и медицинской паразитологии НКЗ СССР. Именно он оказал влияние на переход Гаузе в область медицины, подобное тому, которое ранее имел Алпатов.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Гаузе покинул университет и возглавил отдел санитарной инспекции Сталинского района Москвы, одновременно по совместительству работал в Институте медицинской паразитологии и малярии Наркомздрава СССР. В это время из заметки, опубликованной в лондонском журнале «Nature», он узнал об успешном применении в американских военных госпиталях тиротрицина, антибактериального препарата микробного происхождения, полученного доктором Р. Дьюбо. В то время значимость антибиотиков для медицины понимали немногие, в их числе был Сергиев. В январе 1942 г. он по предложению Гаузе организовал в своем институте в Москве лабораторию антибиотиков и назначил Георгия Францевича ее заведующим.

В 1937 г. Гаузе женился на аспирантке Всесоюзного института экспериментальной медицины Марии Георгиевне Бражниковой (1913-1998). Познакомились они на лекциях по биохимии в МГУ, которые читал Е.С. Северин. Гаузе, будучи доктором наук, непрерывно пополнял свое образование в области биохимии и микробиологии. Так, по словам Марии Георгиевны, в 1939-1940 гг. он прослушал и проработал полный практикum по медицинской микробиологии. Бражникова в то время работала над диссертацией под руководством Д.Л. Рубинштейна на тему «Обмен эритроцитов калиевого и натриевого типов». В 1940 г. у них родился сын Юра, ныне известный специалист в области молекулярной биологии, который выполнил важные исследования по изучению молекулярных механизмов действия антибиотиков.

Уже летом 1942 г. Гаузе и Бражникова изолировали из линии *Bacillus brevis* (var. *Gause—Brajnikova*), обитающей в почвах Подмосковья, первый оригинальный отечественный антибиотик грамицидин S (грамицидин советский). Талант Бражниковой как химика, выделяющего новые природные соединения, в сочетании с подходом Гаузе как микробиолога и широкого биолога-эволюциониста очень быстро дал важные результаты [10]. Грамицидин S оказался весьма эффективным при лечении гнойных инфицированных ран. Его удалось быстро внедрить в практику здравоохранения, и уже в 1943-1944 гг. он широко использовался в госпиталях и в военно-полевых условиях. Этим первым лечебным антибиотиком, открытым в СССР, до сих пор лечат горловые инфекции, только почему-то в аптеках его называют грамидином.

В начале 1944 г. грамицидин S был передан по линии Красного Креста британским ученым для более детального структурного анализа. Его циклическую декапептидную структуру изучил нобелевский лауреат Р. Синж^{3*}, а трехмерную структуру установил другой нобелевский лауреат Д. Хочкинс в соавторстве с Г. Шмидтом, беженцем из Германии, а также Б. Аутоном. В работе принимала участие и Маргарет Робертс (тогда сотрудник лаборатории Хочкинс) — она проводила измерения кристаллов с помощью рентгеновских лучей. Впоследствии она ушла в политику и (под фамилией мужа) стала всемирно известной Маргарет Тетчер.

В работах Гаузе по антибиотикам сошлись практически все линии ранних довоенных экологических, эволюционных и цитологических исследований. Сама судьба подготовила Гаузе к тому, чтобы стать одной из важнейших мировых фигур в области изучения антибиотиков.

В декабре 1944 г. подполковник медицинской службы Гаузе возвратился со Второго Прибалтийского фронта, и сразу же произошла его последняя встреча с Вернадским. Во время встречи Гаузе рассказал о работах по испытанию антибиотиков в полевых госпиталях под руководством академика Н.Н. Бурденко. Влади-

мир Иванович очень обрадовался результатам этих работ и попросил Гаузе подготовить книгу по антибиотикам, адресованную широким кругам медиков, микробиологов и химиков. Книга с посвящением памяти В.И. Вернадского вышла в научно-популярной серии АН СССР под названием: «Лекарственные вещества микробов». Она читается как увлекательная повесть, в которую вложено столько мастерства, творческой энергии и прозрачной ясности!

В 1943—1945 гг. Сталинские премии не присуждались, видимо, ввиду большой занятости Сталина (все списки номинантов он всегда просматривал лично). В 1946 г. среди большой группы писателей, музыкантов и ученых Сталинской премии третьей степени удостоили Гаузе, Бражникову и Сергиева — за открытие и внедрение грамицидина S в медицинскую практику. В 1979 г. Американский институт по истории фармацевтики при финансовой поддержке Американского химического общества провел представительную конференцию по истории антибиотиков, выбрав при этом три важнейших антибиотика: пенициллин, грамицидин S и стрептомицин. В статье, посланной участникам международного симпозиума, Гаузе подчеркивал, что антибиотики — это естественный продукт, который представляет собой химическое оружие, используемое микроорганизмами в конкуренции за ресурсы в конкретной среде.

До августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. Гаузе работал в рамках широкой международной кооперации, публикуя новейшие данные по антибиотикам в престижных международных изданиях. Но сразу же после сессии, в сентябре 1948 г., на расширенном заседании Президиума АМН СССР было принято постановление об освобождении от работы Г.Ф. Гаузе, Л.Я. Бляхера и Д.Н. Насонова в силу их «меделистски-морганистски-вейсманистских» взглядов. Одновременно в «Правде» появилась статья, в которой Гаузе был обвинен в шпионаже за передачу грамицидина S Великобритании. Однако большая трагедия прошла мимо Гаузе и его сотрудников. Руководство страны и высшие военные чины уже хорошо понимали, что антибиотики — решающее средство в защите против бактериологического оружия, поэтому жизнь и деятельность ученого не только продолжились, но и получили новое развитие.

В 1948 г. лабораторию Гаузе вывели из состава Института малярии и медицинской паразитологии и преобразовали на правах самостоятельного института в Лабораторию антибиотиков АМН СССР, которая просуществовала до марта 1953 г. Постановлением Совета Министров СССР от 23 октября 1953 г. на основе лаборатории, возглавляемой Гаузе, был организован Всесоюзный научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков (НИИИНА) АМН СССР. Директором института назначили С.Д. Юдинцева^{9*}, по специальности фармаколога, заместителем директора института по научной работе и заведующим отделом микробиологии — Гаузе. Возглавить институт тогда он не смог, поскольку не принял предложение вступить в КПСС, что тогда было обязательным условием.

В 1949 г. Гаузе и Бражникова открыли альбомоцин — антибиотик с очень низкой токсичностью, который широко применялся при лечении воспаления легких даже у детей [12]. В 1951 г. Гаузе и его сотрудники изолировали линию, производящую антибиотик колимицин, который позднее был идентифицирован с неомицином, открытым в то же время Ваксманом.

Директором института Гаузе стал в 1960 г. и продолжал работать в этой должности до кончины. Деятельность института протекала в трех основных направлениях. Гаузе возглавлял отдел микробиологии, главная работа которого со-

стояла в поиске продуцентов антибиотиков. Отдел химии, возглавляемый Бражниковой, отвечал за изоляцию и изучение химических и физических свойств антибиотиков, в том числе методом ядерно-магнитного резонанса. В.А. Шорин организовал отдел фармакологии и химиотерапии, и результаты деятельности отдела широко использовались медиками как базовые в практической деятельности.

Обстановка в институте была творчески напряженной и дружеской. Гаузе полагал, что должен знать по имени каждого сотрудника, поэтому штат состоял из 200 человек, включая лаборантов и административных работников. Всякие предложения сверху по увеличению штата категорически отвергались. Сами же сотрудники называли свое учреждение «Институтом Г.Ф. и М.Г.».

В институте было открыто много антибактериальных и противораковых антибиотиков, часть из которых вошла в медицинскую практику (оливомицин, брунеомицин, рубомицин, карминомицин), а другие широко использовались в структурных и функциональных исследованиях, особенно в области молекулярной биологии. Хорошо известны среди открытых и изученных в институте антибиотиков такие антибактериальные препараты, как мономицин, ристомидин, линкомицин, канамицин, гелиомицин. Для идентификации новых антибиотиков Гаузе успешно комбинировал теоретические принципы с практикой, требующей внедрения новых препаратов в медицину. Он разработал эколого-географическую стратегию поиска новых антибиотиков, основанную на допущении, что в почвах, богатых разнообразной микрофлорой (в субтропиках и тропических областях), содержится больше антагонистических линий, чем в почвах умеренных климатических зон. Согласно Гаузе, сами антибиотики подвергаются процессу эволюции. Эти принципиальные идеи были изложены им впервые в законченной форме в монографии 1957 г., которая была переведена на английский и немецкий языки.

Наряду с огромной научно-исследовательской работой Георгий Францевич в 40—50-х годах преподавал на биологическом факультете МГУ, читая оригинальный курс «Учение об антибиотиках». Он имел огромный успех у студентов и преподавателей, лекции Гаузе, впервые изданные в 1949 г., несколько раз переиздавались [13]. Постоянные связи Гаузе с МГУ позволили ему отбирать студентов для работы в свою лабораторию, а позднее и в отдел микробиологии.

В 1950 г. С. Хакманн открыл противораковое действие актиномицина, и Гаузе сразу же окупился в новую область. Позднее, используя *in vitro* культуры раковых клеток, он вместе со своим учеником Ю.В. Дудником разработал модели для изучения механизмов действия антибиотиков на молекулярном уровне [14]. Деятельность Георгия Францевича и его института быстро получила мировое признание. В 1966 г. его пригласили прочитать лекцию в Обществе химической индустрии Лондона на тему «Аспекты исследования антибиотиков». Он посвятил ее методам поиска противораковых антибиотиков и дал сравнительный анализ таких работ, проводимых в США, СССР и Японии. Созданный Гаузе, Т.П. Преображенской и их учениками в 1983 г. оригинальный «Определитель актиномицетов» был переведен в Венгрии на английский язык [15].

Заслуги Гаузе в области теории эволюции были высоко оценены в юбилейный год Ч. Дарвина. В 1959 г. Георгия Францевича пригласили в Чикаго на конференцию, посвященную 150-летию со дня рождения Дарвина и 100-летию выхода в свет «Происхождения видов». Эта конференция вошла в историю науки как триумф современного дарвинизма. Как почетный гость, Гаузе на первом заседании находился в президиуме вместе с Ф. Добржанским, Э. Майром и Дж. Симпсоном,

а затем выступил с докладом «Дарвинизм, микробиология и рак». Его поездка состоялась благодаря гранту, полученному от Национальной академии наук США. Впоследствии Гаузе принял участие в подготовке первого тома «Проблем эволюции» и в издании коллективной монографии «Развитие эволюционной теории в СССР». В последние годы жизни он интересовался методологическими и философскими проблемами биологии и вместе с Р.С. Карпинской, написал много статей и рецензий. Во всей своей разнообразной научной деятельности Гаузе следовал эколого-эволюционному подходу, который он разработал в молодые годы.

Умер Георгий Францевич 2 мая 1986 г., в Чернобыльские дни. В 2002 г. по ходатайству Президиума РАМН Институту по изысканию новых антибиотиков РАМН присвоили имя Г.Ф. Гаузе.

* * *

Перечитывая труды Гаузе по борьбе за существование и естественному отбору, приходится удивляться выбору тем. Он умел отсекать все «лишнее» и творил, как настоящий скульптор, хорошо зная, что экспериментально полученные результаты выпадут в твердый осадок вне зависимости от темпа исследований. На основании многочисленных экспериментов Гаузе предложил свою концепцию экологической ниши, в которой объединил положение вида в пространстве и его функциональную роль в сообществе. Эти опыты по конкурентному вытеснению видов составили экспериментальную основу положения, вошедшего в мировую литературу под названием закона Гаузе, или принципа конкурентного исключения. Заслуга Гаузе в том, что он подошел к решению экспериментальных проблем не с позиций специализированного направления, например экологии или генетики популяций, а как широкий зоолог, владеющий всем арсеналом знаний, необходимых для «проведения работ такого сорта». Поэтому, когда уже в наши дни резко возрос интерес к проблеме адаптивных модификаций с позиций эпигенетики и мобильной генетики, вновь следует вернуться к экспериментам Гаузе, которые несут в себе универсальное знание.

Литература

1. Гаузе Г.Ф. К изменчивости у азиатской саранчи *Locusta migratoria* L. // Бюлл. постоянного Бюро Всерос. энтомофитопат. съездов. 1928. Т.IV. №6. С.915-929.
2. Гаузе Г.Ф. Логистические кривые роста населения Ленинграда и СССР // Докл. АН СССР. 1930. Сер. А. №25. С.663—666.
3. Гаузе Г.Ф. Математическая теория борьбы за существование и ее применение к популяциям дрожжевых клеток // Бюллетень МОИП. 1934. Отд. биол. Т.43. Вып.1. С.69-87.
4. Gause G.F. *The Struggle for Existence*. Baltimore, 1934; 2nd. N.Y.; L., 1964; 3d.. N.Y., 1972; 4th. N.Y., 2003.
5. Gause G.F., Witt A.A. *Behaviour of Mixed Populations and Problem of Natural Selection* // Amer. Nat. 1935. V.69. №724. P.526—609.
6. Гаузе Г.Ф. Исследования по диссимметрии протоплазмы. I. Сравнительный анализ влияния изомеров цинхонина на простейших // Тр. биогеохим. лаб. 1937. Вып.4. С.295—299.
7. Гаузе Г.Ф. Асимметрия протоплазмы. М.; Л., 1940.

8. Смарагдова Н.П., Гаузе Г.Ф. Исследования по естественному отбору у простейших. II: Сравнительный анализ приспособления *Paramecium caudatum* к повышенной солености среды и к растворам хинина // Зоол. журн. 1939. Т.18. Вып.4. С.642—655.

9. Гаузе Г.Ф. О действии некоторых дезинфицирующих веществ на бактерии и простейших // ДАН СССР. Новая серия. 1940. Т.27. №6. С.622—625.

10. Гаузе Г.Ф., Бражникова М.Г., Белозерский А.Н., Пасхина Т.С. Биологическая и химическая характеристика кристаллического грамицидина С // Бюлл. экп. биологии и медицины. 1944. Т.13. №10-11. С.3-6.

11. Гаузе Г.Ф. Антибиотики и оптическая активность // Усп. совр. биол. 1947. Т.23. Вып.3. С.404-412.

12. Гаузе Г.Ф., Бражникова М.Г. Новый антибиотик — альбомин (экспериментальные данные и применение в педиатрии) // Новости медицины. 1951. Вып.23. С.3-7.

13. Гаузе Г.Ф. Лекции по антибиотикам. 3-е изд., доп. М., 1959.

14. Гаузе Г.Ф., Дудник Ю.В. Исследование молекулярных механизмов действия и применение противоопухолевых антибиотиков в СССР // Антибиотики. 1982. №12. С.9-18.

15. Гаузе Г.Ф., Преображенская Т.П., Свешникова М.А., Терехова Л.П., Максимова Т.С. Определитель актиномицетов. М., 1983.

Примечания

^{1*} Концепция и эксперименты Перля—Алпатова были проверены в 2006 г. М.Д. Голубовским и Н.Я. Вайсман. Подробнее см.: Голубовский М.Д., Вайсман Н.Я. Гены рака, стресс и долголетие: гармонический антагонизм // Природа. 2006. №12. С.11-19.

^{2*} См. также: Гиляров А.М. Экология, обретающая статус науки // Природа. 1998. №2. С.89-99.

^{3*} Архив МГУ. Ф.443. Оп.1. Ед.хр.36. Л.16.

^{4*} American Philosophical society. В. Р.312. Pearl paper.

^{5*} <http://www.ggause.com/titpagru.htm>

^{6*} Александр Альфредович Витт (1904-1938), ученик академика Л.И. Мальдештамма и прекрасный специалист в области теории колебаний и теории относительности, в 1937 г. арестован и в 1938 г. расстрелян.

^{7*} Александр Робертович Кизель (1882-1944), основатель кафедры биохимии растений МГУ, из-за своего немецкого происхождения арестован в 1941 г., расстрелян в 1944 г.

^{8*} Александр Робертович Кизель (1882-1944), основатель кафедры биохимии растений МГУ, из-за своего немецкого происхождения арестован в 1941 г., расстрелян в 1944 г.

^{9*} Подробнее см.: Корсаков С.Н. Декан С.Д. Юдинцев // Природа. 2010. №3. С.63-71.



Юрий Солодкин

ЕГО БОЖЕСТВОМ БЫЛО СЛОВО

Человек рождается поэтом, ещё не зная ни языка, ни предназначения, и только много позже, когда этот человек научится говорить и писать, в нём включается при наличии каких-то жизненных обстоятельств, самых разных у разных поэтов, удивительный механизм сочинения стихов. Далеко не всегда это происходит. Многие проживают жизнь, не зная своего Божьего дара.

Он родился и стал поэтом. Очень непростая судьба вознесла его на высокий пьедестал лауреата Нобелевской премии, обеспечивший ему мировую славу. Тут же посыпались широкие публикации его стихов и эссе и многочисленные интервью для удовлетворения любопытства читающих масс. Из воспоминаний его друзей и литературных исследований его творчества уже может быть составлена солидная библиотека. Мне, привыкшему с прогрессивным сомнением относиться к трактовкам и комментариям, захотелось самому обратиться к первоисточнику и понять или не понять, что есть поэт Иосиф Бродский. Я исходил только из того, что написано или сказано самим поэтом. В дальнейшем тексте выделенные курсивом слова Бродского перемежаются с моим ощущением, с моим пониманием этих слов.

Естественно, меня как читателя изначально интересовало, как поэт отвечает на вопросы, возникающие в моей собственной голове. С одной стороны, это то, что в философии называется метафизикой, рассуждающей о первопричинах всего существующего, о том, что вне опыта и поэтому предполагает игру воображения, не исключаящую мистику. Тут поэту, как говорится, и карты в руки. С другой стороны мне, рождённому в тот же год Дракона, что и поэт, и тоже от еврейских родителей, было любопытно, как это повлияло и повлияло ли на творчество поэта. Эти две стороны мне были интересны в первую очередь, и тем, как они мне открылись, я решил поделиться.

Его божеством было Слово. Вся его поэзия — это поклонение Слову. Мы вторичны, Слово первично. Об этом Бродский пишет и говорит постоянно.

...Я сказал бы, что поэт в конечном счете поклоняется только одному, и это одно не выразить ничем, кроме слов, короче, это ... язык.

...мы считаем, что язык - орудие поэта. Ровно наоборот: поэт - орудие в руках языка, ибо язык существовал до нас и будет существовать после нас. Что касается меня, если бы я начал создавать какую бы то ни было теологию, я думаю, это была бы теология языка. Именно в этом смысле Слово для меня — это нечто священное.

...Детская привязанность к языку... завершается для взрослого человека преклонением перед поэзией как формой высшей зрелости данного языка.

...Многие вещи определяют сознание помимо бытия, одна из таких вещей — язык.

...религиозное сознание нуждается в языке ... для молитвы. Вполне возможно, что будучи голосом человеческого сознания, язык вообще во всех его проявлениях и есть молитва.

...Поэт всегда знает, что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктат языка; что не язык является его инструментом, а он — средством языка к продолжению своего существования.

...К чему поэт действительно прислушивается — это к языку: именно язык диктует ему следующую строчку.

...У поэта есть только один долг перед обществом: писать хорошо. Собственно, это долг не столько перед обществом, сколько по отношению к языку. Поэт, долг этот выполняющий, языком никогда оставлен не будет.

...Язык выталкивает поэта ...туда, откуда язык пришёл, туда, где в начале было Слово или различимый звук.

...дух, ищущий плоть, но находящий слова. (Это о Мандельштаме, но то же самое он мог бы сказать о себе).

... поэзия не развлечение и в определённом смысле даже не искусство, но наша... генетическая цель, эволюционный... путеводитель. И в момент чтения вы становитесь тем, что вы читаете, вы совпадаете с состоянием языка, которое зафиксировано в стихотворении.

...Я родился в России и в её языке.

...Единственное, во что я действительно верю, что даёт мне опору в жизни — язык. Если бы мне пришлось создавать Бога для самого себя, кого-то, кто безраздельно правит, это был бы русский язык. Во всяком случае, русский язык был бы его важной частью.

...Самое святое, что у нас есть, — это, может быть, не наши иконы, и даже не наша история — это наш язык.

Можно продолжать и продолжать цитировать. Всё творчество Бродского пронизано обожествлением Слова, поклонением Языку. Но поэту мало поместить язык в начало начал, наделить его независимой от человека духовной мощью. Бродский всерьёз говорит о материальности языка.

...Язык есть ... первая линия информации неодушевлённого о себе, представленная одушевлённому. Или ... язык есть разведённая форма материи. Создавая из него гармонию или даже дисгармонию, поэт, в общем-то бессознательно, перебирается в область чистой материи ...

...Помимо своей функции голоса сознания язык ещё и самостоятельная стихия, способность которой сопротивляться ... выше, чем у сознания как такового.

Бродский приписывает языку невероятную внутреннюю силу, борьбу внутри себя, где сосуществуют все грани мироздания, где воистину реализует себя единство и борьба противоположностей. Имя этой силы —

...всеядная прозорливость языка, которому в один прекрасный день становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда он набрасывается на себя.

Набрасывается на себя, сжирает себя до бессмыслицы, до нелепого набора звуков, отражающих безумный хаос и никчемность существования.

Бродский не может смириться с тем, что понимание поэзии — это удел избранных.

...Поэзия — самая высшая форма высказывания в любой культуре. Откавшись от чтения стихов, общество обрекает себя на низшие речевые стереотипы в устах политика, бизнесмена или шарлатана, т.е. на собственные речевые возможности. Другими словами, оно лишается своего эволюционного потенциала, ибо то, что отличает нас от животных, это дар речи. Обвинения, то и дело предъявляемые поэзии, что она трудна, темна, герметична и что там ещё, говорят не столько о состоянии поэзии, сколько о том, на какой низкой эволюционной ступени задержалось общество.

Бродский иронизирует, напоминая, что он сотрудник библиотеки Конгресса, и считает своей должностной обязанностью предложить выпуск лучших стихов миллионными тиражами по доступной каждому цене. Только это, по его мнению, может спасти общество от «низших речевых стереотипов». Книга лучших стихов, считает он, должна лежать рядом с Библией в каждом гостиничном номере. Но кто будет определять, какие стихи лучшие в многотонных книжных собраниях, а теперь и в гигабайтах памяти? Бродский предлагает, туг можно смеяться, двухтрёх назначенных авторитетов (интересно, кем?!). Уверен, попроси его назвать этих двух-трёх, он с присущим ему чувством юмора назвал бы одного-двух. От скромности поэт Бродский не страдал.

В блестящем от начала до конца стихе «Испанская танцовщица» есть два подряд четверостишия, которые являются, на мой взгляд, ярчайшей демонстрацией, что есть язык для Бродского в своём наивысшем поэтическом выражении. Зажигательный танец, вызывающий сам по себе восторги публики, для поэта всё — все времена в одном мгновении, всё пространство в одной точке.

*В нём скорбь пространства
о точке в оном,
себя напрасно
считавшем фоном.
В нём — всё: угрозы,
надежда, гибель.
Стремленье розы
вернуться в стебель.*

Бесконечное пространство сошлось в точку. Танцовщица — его создание, его воплощение. Пространство не фон. Оно Творец. Энергия бесконечной пустоты сублимировалась в точке, в танцовщице. Она прекрасна, но временна, мгновенна, мимолётна, и пространство скорбит по этому поводу вместе с поэтом, который тоже его создание. В танцовщице, в её танце всё, что нас ждёт — угрозы, надежда, гибель и всё, что прошло, что утрачено, к чему нет возврата и есть только воспоминания, которые сродни стремленью розы вернуться в стебель. Диссонансная рифма «гибель — стебель» с совпадающим безударным слогом заставляет остановиться, почувствовать важность момента и отдать должное мастерству поэта по имени Иосиф Бродский.

Метафоры в коротких рубленных строчках перехлёстывают друг друга. Вертикаль, уходящая в небо, мстит горизонтали, опоясывающей Землю. Разряд молнии казнит равнину, и танец уже, как «кровь из раны, побег из тела в пейзаж без рамы». Мало? Тогда вот вам ещё:

*О, этот танец!
В пространстве сжатый
протуберанец
вне солнца взятый!*

И этого мало? Тогда есть ещё и рай, и всемирное тяготение, и престол небесный:

*...виденье Рая,
факт тяготенья,
чтоб, расширяя
свои владенья,
престол небесный
одеть в багрянец.
Так сросся с бездной
испанский танец.*

Вот бездной можно уже и закончить стих. Танец, как и бездна, без дна, т.е. неисчерпаем. В нём вся Вселенная, как в капле воды океан.

После такого стиха становится понятным мистическое ощущение автора, что строки ему диктуются сверху. Это ощущение подкрепляется кажущейся лёгкостью написания на одном дыхании, под сильным впечатлением от увиденного. Испанский танец в блистательном исполнении разбудил такие вселенские видения в поэте, что ему ничего не оставалось, как исполнить предназначение и написать блистательный стих.

Слова, считал Бродский, как и люди, имеют свою судьбу, свой статус. Слово «русский» у Бродского было не национальностью, а определением к слову «язык», а слово «еврей» — несомненным подлежащим, отягчённым последствиями.

...В печатном русском языке слово "еврей" встречалось так же редко, как "пресуществование" или "агорафобия". Вообще, по своему статусу оно близко к матерному слову или названию венерической болезни. У семилетнего словарь достаточен, чтобы ощутить редкость этого слова, и называть им себя крайне неприятно... Помню, что мне всегда было проще со словом "жид": оно явно оскорбительно, а потому бессмысленно, не отягощено нюансами. ...Всё это не к тому говорится, что в нежном возрасте я страдал от своего еврейства; просто моя первая ложь была связана с определением моей личности.

...Подлинная история вашего сознания начинается с первой лжи. Свою я помню. Это было в школьной библиотеке, где мне полагалось заполнить читательскую карточку. Пятый пункт был, разумеется, "национальность". Семи лет от роду, я отлично знал, что я еврей, но сказал библиотекарише, что не знаю. Подозрительно оживившись, она предложила мне сходить домой и спросить у родителей. В эту библиотеку я больше не вернулся, хотя стал читателем многих других, где были такие же карточки.

Я не стыдился того, что я еврей, и не боялся сознаться в этом ... Я стыдился самого слова "еврей", независимо от нюансов его содержания.

...В школе быть "евреем" означало постоянную готовность защищаться. Меня называли "жидом". Я лез с кулаками. Я довольно болезненно реагировал на подобные "шутки", воспринимая их как личное оскорбление. Они меня задевали, потому что я еврей. Теперь я не нахожу в том ничего оскорбительного, но понимание этого пришло позже.

Да простятся мне столь длинные цитаты, но они для того, чтобы вызвать некоторое недоумение. Что за «еврейские» шутки! Слово «еврей» одно, еврей Бродский — нечто другое.

В редких интервью не возникали вопросы о еврействе Бродского, его отношении к национальным корням, к истории предков и их вере. Тем более, что в стихах Бродский практически не касался этих вопросов. Упоминаются в этом контексте обычно два произведения Бродского: «Еврейское кладбище около Ленинграда» и «Исаак и Авраам». Первое было написано Бродским в 18-летнем возрасте. Вот что он сам о нём сказал:

...Серьезное стихотворение, потому что это кладбище. В общем, это место довольно трагическое, оно впечатлило меня, и я написал стихотворение ... на этом кладбище похоронены мои бабушка с дедушкой, мои тётки и т. д. Помню, я гулял там и размышлял, в основном, об их судьбе в контексте того, как и где они жили и умерли.

*Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.*

Для меня здесь ключевая строчка - Кривой забор из гнилой фанеры. Не просто забвение, а наплевательское, даже больше, глумливое отношение ко всем, кто здесь лежит, кто

*...в этом мире, безвыходно материальном,
толковали Талмуд,
оставаясь идеалистами.
Может, видели больше.
А, возможно, верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы
и стали упорны.*

Да, терпимости и упорству учили нас родители, сами прошедшие горнило испытаний да так и не нашедшие успокоения при жизни,

*...они обретали его
В виде распада материи.
Ничего не помня.
Ничего не забывая.*

В этом парадоксе «не помня — не забывая» уже чувствуется почерк будущего поэта.

Будучи на пять лет старше, в 23 года, Бродский написал поэму «Исаак и Авраам». К этому времени он познакомился с Библией, но поэмой откликнулся только на историю с жертвоприношением Исаака. Много позже на вопрос в одном из интервью: «Как по-вашему, жертвоприношение вообще целенаправленно?» — Бродский ответит:

Только не для меня. Все зависит от целостности вашей личности. В этом заключается смысл истории Исаака и Авраама. В ней мне было интересно (если я правильно помню, столько лет прошло), мне было интересно не то, что ... (здесь не мой многозначие, а пауза Бродского, ищущего ответ). Сама по себе идея проверки на вшивость мне была не по душе, она идет вразрез с моими принципами. Если Он всевидящ, к чему проверки? Мне просто нравилась сама история, не ахти какая по смыслу и всё-таки великая. Может быть, потому, что в ней было что-то от литературы абсурда.

Вот те раз! Не просто литература, а ещё и абсурда. А как его обозвать богову затею проверкой на вшивость? Это уж Вы совсем, Иосиф Александрович. И почему Вам в голову не пришла простая мысль, что Богу было важно знать, готовы ли мы пожертвовать во Имя Божье своими детьми? Есть и более прозаический взгляд на эту историю — прекратить человеческие жертвоприношения, которые ещё бытовали в ту пору.

В поэме «Исаак и Авраам» всё от начала до конца — это фантазии автора на заданную тему. Они не имеют никакого отношения к Библии, кроме названия и факта жертвоприношения.

***И Снова жертва на огне Кричит:**
Вот то, что "ИСААК" по-русски значит.*

Подчёркнутые буквы образуют слово «Исаак». Их игра завораживает автора. Он обращает внимание на то, что еврейское «Исаак» стало русским «Исак»:

*...По-русски Исаак теряет звук.
Ни тень его, ни дух (стрела в излёте)
не ропщут против буквы вместо двух...*

И Авраам утратил второе А, и в результате:

*...Будто слух
от мозга заслонился стенкой красной
с тех пор, как он утратил гласный звук
и странно изменился шум согласной.*

Разве имеет какое-то значение для поэта, что Исак-Исаак изначально Ицхак, а Авраам получил второе «А» от Бога, который тем самым изменил его судьбу, и Сарай, ставшая Сарой, родила ему сына. Бродского больше занимает игра с буквами, со словами. У него своё божество — Язык, диктующий ему строчки. В поэме много красивых образов и метафор, но ни малейшего представления о месте драмы, об её подоплёке, о природе, на фоне которой она происходила. И в каменной иудейской пустыне, к примеру, возникают в поэме песчаные барханы. Поэту всё можно, но при чём тут Библия?

Есть, мне кажется, более глубокая причина, почему именно жертвоприношение Исаака стало темой поэмы. «...Мне просто нравилась сама история...», но

судьба четырёх поколений семьи от Авраама до Иосифа изобилует не менее потрясающими историями. Не исключено, что на подсознательном уровне поэт сам себя ощущал жертвой. Среда отторгала его, как инородное тело, убивала его. В истории с жертвоприношением поэт отразил собственную судьбу. О чём бы ни писал поэт, он всегда пишет о себе.

Почти десять лет спустя Бродский написал «Сретение» - новозаветную историю, посвящённую Анне Ахматовой. Вот что он сам сказал о ней в одном из интервью:

...Я также написал довольно неплохую вещь о Сретении. Знаете о таком празднике? Это о переходе от Старого Завета к Новому Завету. Это первое появление Христа в Библии, когда Мария приносит его в храм. А еще это о первой христианской смерти — святого Симеона. Мне кажется, хорошо получилось.

На 32-ой день после обрезания, сорока дней от роду Мария и Иосиф по традиции принесли первенца в Храм, где их встретили

*...Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли...*

Три человека. А где же Иосиф? Он отсутствует в стихе. Уверен, по одной-единственной причине. Он тёзка автора, поэтому стал бы очевидным побудительный мотив к написанию стиха - Иосиф и Анна, Бродский и Ахматова, которая пророчески предрекла «рыжему» карьеру.

Неразрывна связь новорожденного сына Божьего со Старым Заветом. ... И слава Израиля в нём — говорит Симеон. И благодарный Господу за то, что сподобился увидеть лучезарного младенца, почтенный старец заканчивает своё существование во времени и уходит в небытие, ...по пространству, лишённому тверди.

Вечные категории Времени и Пространства постоянно волнуют поэта. Наша жизнь всего лишь точка в Пространстве и мгновение во Времени. Когда в одном интервью была упомянута известная фраза Маркса, Бродский отреагировал: «Я её переделал на "небытие определяет сознание"».

Для Бродского не столь важно, ветхозаветная история или евангельская, эллинская или римская. Всё это лишь фон для осознания, что есть Человек в этом бесконечном и вечном мире. Отвечая на вопрос о роли библейских сюжетов в поэзии, Бродский говорит:

...Самое неприятное во всём этом, когда человек пытается библейскому, в частности, евангельскому, сюжету навязать свою собственную драму. Т.е. нечто нарциссическое, эгоистическое в данном случае имеет место, да? Когда современный художник начинает выкручиваться, демонстрируя свою замечательную технику за счет этого сюжета, мне всегда неприятно. Тут вы сталкиваетесь с фактом, когда меньшее интерпретирует большее.

Может, Бродский себя и не имел в виду («мне всегда неприятно»), но поэт всегда поэт, и что бы он ни писал, он присутствует сам в любом сюжете. А уж Бродский так в максимальной степени.

Бродский многократно подчёркивал, что не исповедует никакую религию, не принадлежит ни одной конфессии. Тем не менее, в интервью постоянно возникали вопросы о его религиозных убеждениях.

Она: Каковы ваши религиозные убеждения?

Он: *Религиозные убеждения каждого человека — это его сугубо личное дело.*

Она: Именно поэтому я об этом и спросила...

Он: *Именно поэтому я ничего рассказывать не стану.*

В другом интервью на вопрос: вы человек религиозный, верующий? — Бродский отвечает: «Я не знаю. Иногда да, иногда нет». Далее он соглашается, что он человек не церковный, не православный и не католик. «Может быть, — продолжает любопытствовать интервьюер, — какой-то вариант протестантства?» Следует ответ:

...Кальвинизм. Но вообще о таких вещах может говорить только человек, в чём-то сильно убеждённый. Я ни в чём сильно не убежден. В протестантстве тоже много такого, что мне в сильной степени не нравится. Почему я говорю о кальвинизме, не особо даже и всерьёз, потому что согласно кальвинистской доктрине человек отвечает сам перед собой за всё. Т.е. он сам до известной степени свой Страшный Суд. У меня нет сил простить самого себя. И с другой стороны, тот, кто мог бы меня простить, не вызывает во мне особенной приязни или уважения.

Вот оно как — и убеждений сильных нет, и отвечать надо самому за всё, и всепрощение не вызывает приязни. Как это всё сочетается друг с другом? А дальше ещё больше:

...у меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы. Вот и всё. И... вот и всё. Я просто не в состоянии подробно излагать свои соображения и т.д. — я способен только реагировать. Я в некотором роде как собака, или лучше, как кот. Когда мне что-то нравится, я к этому приноживаюсь и облизываюсь. Когда нет, то я немедленно... это самое... Главный орган чувств, которым я руководствуюсь, обоняние.

В другой раз на вопрос, можно ли сказать, что он стопроцентный безбожник, Бродский забыл, что он кот, и изложил своё кредо.

Я не верю в бесконечную силу разума, рационального начала. В рациональное я верю постольку, поскольку оно способно подвести меня к иррациональному. ...именно здесь вас ожидают откровения на стыке рационального и иррационального. Все это вряд ли совмещается с какой-либо четкой, упорядоченной религиозной системой. Вообще я не сторонник религиозных ритуалов или формального богослужения. Я придерживаюсь представления о Боге как о носителе абсолютно случайной, ничем не обусловленной воли.

На вопрос, о чём бы он хотел поговорить с теми, кого считает своими учителями, Бродский сказал: «Много о чём. Прежде всего, это вас может удивить, о своеволии и непредсказуемости Бога ...»

Противоречивы высказывания Бродского о Ветхом и Новом Завете. Этому не в укор. Истина всегда парадоксальна. Заслуживают и внимания и уважения вы-

сказывания ищущего человека, пытающегося не принять на веру, а понять, в согласии или несогласии догматы веры находятся с тем Богом, которого он чувствует в себе самом.

...И начинаешь ощущать, что разнообразные формы религиозных доктрин (даже чрезвычайно тебе близкие) оказываются неудовлетворительными. Они не отражают твоего внутреннего метафизического ощущения. Это особенно часто происходит с поэтами. Я не знаю, происходит ли это со мной, но, видимо, и со мной тоже.

Эта неуверенность, сомнение в собственных оценках постоянно звучит практически во всех интервью, данных Бродским. «Я люблю доводить вещи до алогичного, до абсурдного конца», - признаётся он.

...Наверное, я христианин, но не в том смысле, что католик или православный. Я христианин, потому что я не варвар. Некоторые вещи в христианстве мне нравятся. Да, в сущности, многое.

Тут же на просьбу пояснить, что он имеет в виду, Бродский продолжает:

Мне нравится Ветхий Завет, ему я отдаю предпочтение, поскольку книга эта по своему духу более возвышенна и ... менее всепрощающа. Мне нравится в Ветхом Завете мысль о правосудии, не о конкретном правосудии, а о Божьем, и то, что там постоянно говорится о личной ответственности. Он отвергает все те оправдания, которые даёт людям Евангелие.

— Значит, — не унимается спрашивающий, — вам нравится сочетание правосудия из Ветхого Завета и сострадания и всепрощения из Нового?

В Евангелии мне нравится то, что развивает идеологию Ветхого Завета. Вот почему я написал стихотворение о переходном этапе между этими двумя книгами (имеется в виду «Сретение»). К примеру, мне нравится в Новом Завете замечание Христа, страдающего в саду, когда он говорит, что он делает то, о чём говорится в Писании.

В другом интервью о сосуществовании двух Заветов сказано ещё более определённо:

Люди на Западе не могут должным образом принять то, что в России христианство и иудаизм не настолько разделены. В России мы рассматриваем Новый Завет как развитие Старого. В каком-то смысле мы скорее изучаем оба Завета, а не поклоняемся им ... (Кто это «мы», неужели весь российский народ? Бродский чуть помедлил, не погорячился ли он с этим «мы», и закончил) ...по крайней мере, я.

А вот просто заблуждение, приписывающее христианству то, что ему не принадлежит:

По сути, есть один критерий, который не отвергнет самый утончённый человек, вы должны относиться к себе подобным так, как вы бы хотели, чтобы они относились к вам. Это колоссальная мысль, данная нам христианством.

Эта мысль была высказана еврейским мудрецом Гилелем, когда странник попросил его объяснить суть иудаизма, пока тот будет стоять на одной ноге: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе».

На прямой вопрос о слухах, что Бродский обратился в христианство, он резко ответил: «Это абсолютно бредовая чушь!»

Трудно объяснить отношение Бродского к синагогам. В отличие от церкви у него было полное неприятие, даже отторжение синагоги как места, где он может появиться.

Я был в синагоге только один раз, когда с группой приятелей зашёл туда по пьяному делу, потому что она оказалась рядом. Любопытства ради... Особого впечатления это на меня не произвело.

Об этом посещении вспоминает в книге о Бродском бывшая в этой группе приятелей Людмила Штерн. Иосиф кипел по поводу условностей. Мужчин заставили надеть на головы завязанные на концах узелками носовые платки, затем девушек не пустили в основной зал, а попросили подняться наверх. Службы не было, смотреть и слушать было нечего, и минут через десять они ушли.

Далее Людмила вспоминает, что её муж уже в Америке стал ортодоксальным евреем и несколько раз звал Иосифа пойти с ним на службу хотя бы в Йом-Кипур, Судный день, день искупления грехов и Высшего суда, когда многие, даже нерелигиозные евреи приходят в синагогу послушать Кол Нидрей — еврейскую молитву всепрощения. «Бродский, — пишет Людмила, — пожимал плечами и говорил, что ему неинтересно и не надо: «Я, Витя, со своим ощущением Божественного ближе к Богу, чем любой ортодокс».

Удивительна и другая история, рассказанная Людмилой Штерн, которая позволяет говорить об отторжении. Весной 1995 года Людмила уговорила Бродского поехать с выступлениями по Америке. В некоторых городах были арендованы залы в синагогах. Многие синагоги в Америке сдают свои залы для светских мероприятий. Увидев список снятых залов, Бродский резко сказал: «Никаких синагог, пожалуйста. В синагогах я выступать не буду». Уговорить его не удалось. Устроители потеряли довольно много денег.

Загадочным (это определение Людмилы Штерн, знавшей Бродского с младых ногтей) было и отношение Бродского к Израилю. Его не единожды приглашал Иерусалимский университет для чтения лекций и выступлений с вечерами. Ему предлагалось турне по шести израильским городам на великолепных условиях. Он даже не желал это обсуждать, каждый раз просто отшучиваясь.

Понимаю, что не всё можно объяснить, но не исключено, что Бродский даже в малейшей степени не хотел, боялся, что его присутствие в синагоге, даже не на службе, а на встрече с читателями, или, тем более, в Израиле, даст повод говорить о его особости, о его еврействе. Ему важно было оставаться человеком мира. Даже близкие друзья не могли его уговорить, что быть евреем и быть человеком мира — совсем не взаимоисключающие понятия.

— Какое значение для вас имеет факт, что вы еврей? Идентифицируете ли вы каким-то образом с этим наследством, с этой традицией? — спрашивают Бродского, и он отвечает:

— Я абсолютный, стопроцентный еврей, т.е. на мой взгляд, быть больше евреем, чем я, нельзя. И мать, и отец, и т.д. и т.д. ...Я думаю, что человек

должен спрашивать самого себя прежде всего о том, честен ли он, смел, не лгун ли он — да? И только потом определять себя в категориях расы, национальности, принадлежности к той или иной вере. Если уж говорить, еврей я или не еврей, думаю, что, быть может, я даже в большей степени еврей, чем те, кто соблюдает все обряды. Я считаю, что взял из иудаизма — впрочем, не столько считаю, сколько это просто существует во мне каким-то естественным образом — представление о Всемогущем как существе совершенно своевольном. Бог — своевольное существо в том смысле, что с ним нельзя вступить ни в какие практические отношения, ни в какие сделки.

В одном интервью стопроцентный еврей, а в другом:

...Я, в сущности, до конца не осознавал себя евреем. ...Если вы живете в контексте тотального атеизма, не столь уж важно, кто вы - еврей, христианин или не знаю, кто ещё. В каком-то смысле мне это помогло забыть свои исторические и этнические корни...

Следующее интервью, и опять возвращение к своей стопроцентности:

...С течением лет я чувствую себя куда большим евреем, чем те люди, которые уезжают в Израиль или ходят в синагоги. Происходит это оттого, что у меня очень развито чувство высшей справедливости. И то, чем я занимаюсь по профессии, есть своего рода акт проверки, но только на бумаге. Стихи очень часто уводят туда, где ты не предполагал оказаться. Так что в этом смысле моя причастность... не столько, может быть, к этносу, сколько к его духовному субпродукту, если хотите, поскольку то, что касается идеи высшей справедливости в иудаизме, довольно крепко привязано к тому, чем я занимаюсь. Более того, природа этого ремесла в каком-то смысле делает тебя евреем, еврейство становится следствием. Все поэты по большому счёту находятся в позиции изоляции в своём обществе.

Тут Бродского и спросили, как он относится к строчке Цветаевой "Все поэты — жида..."

...Именно поэтому она так сказала. Ремесло обязывает. Или ты просто плохой ремесленник. ...Их ситуации не позавидуешь. Они изгнанники. Они не нужны. Отчуждённые... Русская литература изрядно проперчена еврейским присутствием. Как минимум пятьдесят процентов из тех, кто в этом веке считал себя поэтом, были евреями. ...Говоря коротко, это происходит оттого, что мы народ Книги. У нас это, так сказать, генетически. На вопрос о том, почему евреи такие умные, я всегда говорил: это потому, что у них в генах заложено читать справа налево. А когда ты вырастаешь и оказываешься в обществе, где читают слева направо... И вот каждый раз, когда ты читаешь, ты подсознательно пытаешься вывернуть строку наизнанку и проверить, всё ли там верно.

Как это блестяще, ёмко и исчерпывающе подмечено! Но вот новое интервью, и на вопрос о самоидентификации Бродский отвечает несколько иначе:

Я... всегда старался, возможно самонадеянно, определить себя жёстче, чем то допускают понятия "раса" или "национальность". Говоря иначе, из

меня плохой еврей. Надеюсь, что и плохой русский. Вряд ли я хороший американец. Самое большее, что я могу о себе сказать: я есть я, я писатель.

Я есть Я! Вам это ничего не напоминает?

Откуда этот клубок противоречий и парадоксов, самоуверенности и сомнений, глубочайших мыслей и непонятных глупостей, широких знаний и не менее широких незнаний — и всё это по имени Иосиф Бродский? Самый простой ответ — таким мама родила. Каким же?

В четыре года мать научила его читать. Казалось бы, замечательный и смыслённый мальчик. Но в школе возникли серьёзные проблемы. «Из всех эмоций, переполнявших меня, - вспоминает Бродский, - я помню только отвращение к себе за то, что я слишком молод и многому позволяю управлять собой». Мальчика заставляли делать то, что было для него совершенно чужеродным, что он просто не мог воспринимать. Физика и химия явились непреодолимыми препятствиями. Детский протест выражался плохим поведением. «...Меня в пятом или шестом классе несколько раз пытались исключить из школы за поведение». Когда он остался в седьмом классе на второй год, его перевели в другую школу.

В общем, я учился в семи или шести школах до восьмого класса, из которого я просто сбежал, во-первых, потому что мне всё это уже осточертело, а во-вторых, в семье не очень благополучно было с деньгами, даже крайне неблагоприятно: мать работала, отец работал, и этого едва хватало. И я пошел на завод, когда мне было пятнадцать лет, и стал работать фрезеровщиком. Сначала был три месяца учеником, потом получил разряд и работал около года. После этого начались другие пассажи: я пошел работать в морг, потому что у меня была такая амбиция - стать нейрохирургом. После начал ездить в геологические экспедиции, чтобы путешествовать. Несколько лет так прошло, а после этого, я уже не помню, работал фотографом, кочегаром, матросом... смотрителем маяка.

Стоп. Вполне достаточно, чтобы заключить — мальчик, а затем и юноша не совсем адекватен окружающей среде. Психика остаётся самой неизученной областью медицины, и неискушённые в медицине люди ставят собственный диагноз — «не от мира сего». После возвращения из ссылки в 1965 году Бродского, который генетически не мог приспособиться к коллективному сознанию, дважды помещают в психиатрическую больницу.

Он вспоминает:

Это было самое ужасное из того, что мне довелось пережить. Действительно, ничего нетхуже. Они добиваются многого — публично покаяния, перемены в поведении. Они вытаскивают тебя среди ночи из постели, заворачивают в простыню и погружают в холодную воду. Они пичкают тебя инъекциями, используя всевозможные подтачивающие здоровье средства.

— Вы ненавидели людей, которые проделывали с вами такое? — спрашивают его.

Не то чтобы. Я знал, что они хозяева, а я это просто я. Люди, которые делают скверные вещи, заслуживают жалости. Понимаете, я был молодым и довольно легкомысленным. В то время у меня был первый и последний в моей жизни серьёзный треугольник. Обычное дело, двое мужчин и жен-

щина, и потому голова моя была занята главным образом этим. То, что происходит в голове, беспокоит гораздо больше, чем то, что происходит с телом.

Не ненависть к мучителям, а жалость, как у того, который всех простил, «ибо не ведают, что творят». Правда, это Бродский говорит уже в Америке, где он, наконец, обрёл право быть личностью, где он, по его признанию, жил, ещё находясь в Советском Союзе.

Поэт Бродский сказал про себя:

У тебя, что касается тебя самого, есть только две вещи: твоя жизнь и твоя поэзия. Из этих двух приходится выбирать. Что-то одно ты делаешь серьёзно, а в другом ты только делаешь вид, что работаешь серьёзно. Нельзя с успехом выступать одновременно в двух шоу. В одном из них приходится халтурить. Я предпочитаю халтурить в жизни.

Улыбнёмся самоиронии поэта по поводу халтуры в жизни. Но жизнь это жизнь, а поэзия — божество, которое нашло в Иосифе Бродском своего ярчайшего проповедника.



Игорь Фунт

Дядя Яша-Макао и Манька-Суматоха

*От писателя внешне должно
меньше всего пахнуть писателем.*

Александр Грин

*За рекой в румянном свете
Разгорается костёр.
В красном бархатном колете
Рыцарь едет из-за гор.*

*Ржёт пугливо конь багряный,
Алым заревом облит.
Тихо едет рыцарь рдяный,
Подымая красный щит...*

— Почти вся известная нам история человечества, — шутил спорил Грин по поводу дальнейшего мирового развития, — творилась на маленьком полуострове, который мы называем Европой. Почему нельзя допустить, что в дальнейшем её возьмут в свои руки люди, населяющие основной и притом колоссальный материк — Азию? В душе Востока много для нас таинственного и непонятного.

После подобных заявлений, пусть и курьёзных, Куприн, извечно взволнованный вопросами всего человечества, не менее, — вдобавок будучи по матери чистейшим татаро-монголом, да и со стороны отца инородцем, — насупивался и умолкал. Тем более ежели вдруг кто-нибудь начинал распространяться о миллионных полчищах Чингисхана, наваливавшихся в своё время на Россию. Или о китайцах с их бесконечной Стеной.

— Насчёт азиатов — слишком страшно и слишком серьёзно, дабы отделяться шутками... — напряжённо отвечал Куприн спорщикам.

Купринская группа приятелей-литераторов, к которой принадлежал и Грин, после революции 1905-го года отнюдь не впала в уныние и декадентство. И не стала, по-горьковски, собирательницей унылых писателей-«смертяшкиных». А вполне себе продолжала творческие искания при наступившей властной реакции.

Куприна Грин любил. Равно и наоборот, несмотря на крайнюю нетерпимость Александра Ивановича к похвалам новой литературной поросли, пускай заслуженным.

Грин часто ездил к нему в Гатчину и дарил подарки, бывало неподъёмные по деньгам, однако приобретённые каким-то образом, — в долг, под залог, неважно. Куприн с ироничной ласковостью говаривал: «Люблю тебя, Саша, за золотой твой талант и равнодушие к славе. Я без неё жить не могу».

Грин стоически вынашивал план написать о дорогом сердцу Куприне, впрочем, как и вообще о людях Серебряного века. План остался в нереализованных мечтах...

Грин обожал Питер. В Петрограде создана самая знаменитая книга «Алые паруса». Питерским воздухом пропитаны годы необузданной молодости, первые рассказы, придумка псевдонима, связанная с тем, что был в бегах. Аресты, любовь, кутежи, лихачество...

«Город беден, как пустой бычий пузырь...»

Яшу-Макао, прозванного так за карточную страсть, к тому же одинаково усердно и бурно празднующего как еврейские, так и православные праздники, — добродушного, общительного, гостеприимного, — упоминали многие. Писал о нём и Куприн. Только у Куприна тот был Яшенькой Эпштейном, а не Бронштейном, каковым Яшу знала питерская богема. И слыл он «милого лику», обаятельным, широкой души — известным всему городу покровителем и меценатом театра, литературы, искусства. Хотя на деле, в сути своей — типичный бретгартовский Джек Гемлин «в русских условиях».

Именно Яков Адольфович познакомил Куприна с «великим еврейским писателем и с бесподобным юмористом» Шолом-Алейхемом. Именно у «дяди Яши», — так его звал Петербург, — одалживался Грин в роковые минуты. Когда же находился при деньгах, как правило небольших, именно дяде Яше вручал «мазу» на подъём, — чтобы в общем выигрышном банке получить хоть мизерную прибыль.

По обыкновению, Яше «чертовски не везло». Невезень он смело сваливал на чужие принятые «мазы», сбивающие удачу, в том числе гриновские. Но продолжал брать деньги на прикуп.

— ...Первый раз вижу такие карты. Где вы их взяли? — спросил Бронштейн.

Юнг гладко солгал:

— Это карты неизвестно какого происхождения. Ко мне они перешли от отца, вывезшего их из Дагестана. Слушайте, Яков Адольфович. У меня есть примета — если я впустую играю перед настоящей игрой один удар с кем-нибудь этой колодой, — мне должно тогда повезти за любым столом.

— Хорошо, — сказал Бронштейн. — Все мы игроки — чудачки. Делайте вашу игру. Закладываю в банк на первый случай, солнце и ... хотя бы... луно...

Быстрыми, летающими движениями привычного игрока он сдал, как всегда в макао, на четыре табло и со скучающим видом приподнял свои три карты.

— Девять, — с неизменяющим игроку никогда, даже при игре в «пустую», удовольствием сказал он.

Юнг еле успел взглянуть на свои карты, т. е. на те, что покрывали предполагаемое первое табло. Он проиграл. У него было три...

Так изображена Яшина игровская хватка, — инда в противостоянии судьбе и неумолимой Смерти, — в повествовании Грина «Клубный арап». К слову, деваться Грину было некуда, и он нёс и нёс дяде Яше свои гроши в надежде на прибыль с казино. Питерская довоенная жизнь решительно не отличалась экономией и благостью. Слагалась она эдак: «...получка, отдача долгов, выкуп заложенных вещей и покупка самого необходимого, — вспоминала первая гриновская жена Вера Павловна. — Если деньги получал Александр Степанович, он приходил домой с конфетами или цветами, но очень скоро, через час-полтора, исчезал, пропал на сутки или двое и возвращался домой больной, разбитый, без гроша».

Однажды дядя Яша негодуя воскликнул:

— Больше мне своих трёшек не приноси, иначе я пойду по миру!

На что отчаявшийся Грин, одним поздним вечером в Купеческом клубе, еле-еле уговорил Яшу принять-таки пять рублей на ставку. «Это были последние его деньги, — пишет близкий друг Ник. Вержбицкий. — На завтра не был обеспечен даже двадцатипятикопеечный обед в студенческой столовой».

Той ночью, точнее, уже под утро, дядя Яша снял банк в несколько тысяч.

Оба они числились в огьявленных неугомонных гулёнах, транжирах и балагурах, — посему сразу же решили обмыть финансовый успех в кабаке. В такую рань пришлось ехать в знакомую чайную не слишком высокого ранжиру, полную всякого мелкого отребья и проституток, к которым Яков Адольфович питал отеческие чувства. Ну или почти отеческие...

Среди путан особенно выделялась неказистостью одна деваха по прозвищу Манька-Суматоха. Самая бедная из персонала, некрасива и неудачлива даже на фоне и так не слишком роскошной женской доли питейного подвала. От осознания сего стала она чрезвычайно замкнутой, неразговорчивой, — из-за чего от неё за километр веяло непроходимой тоской и депрессухой.

И вот шустрый, богемный, набриолиненный дядя Яша и долговязый, хмурый, но возбуждённый писатель Грин, изрядно выпив, задумали развеселить «старушку», а заодно себя и всю холопскую округу до кучи. Они решили выдать Маньку замуж.

И не за абы кого, а за очень пристойного кандидата — невзыскательного, но чинного коридорного из меблированных комнат, находящихся тут же, неподалёку. Претендента величали Ванькой. И когда нашли его и отпотчевали «заокеанским» пойлом, то оказался он вполне интеллигентского склада, выражался пристойно, не спеша. Клиенты интим-салона иначе как «сволочью» Ваньку не называли — за невыносимое двурушничество, крутой нрав, скупость и невероятную алчность. Ну, да то друзьям-филантропам было без надобности.

Вскоре, поддакивая благодетелям, чуть заикаясь от волнения и алкоголя, наречённый застенчиво признался Маньке в старинной тайной любви к ней. Что только ускорило ход событий. Сию минуту замыслили свадьбу, причём богатую, с шиком: аки у порядочных.

Давненько церковный люд не видывал похожего чуда...

В оживлённом центре столицы, в соборе на Невском, собрался народ, поразивший окружающую публику своим видом и запахом. «Огромная церковь была набита битком», — продолжает Ник. Вержбицкий. Обитатели-босьяки горьковской ночлежки представились бы наблюдателю высшим кругом по сравнению с разношерстным «дном», заполонившим в то утро Вознесенский Храм: оборванные, затасканные, испитые, убогие и хромые, источающие из себя аромат отходов и нечи-

стот всех видов и качеств. Единственно, в чём их нельзя упрекнуть — это в искренней поддержке и бескрайней симпатии к брачующимся, заворожено стоявшим перед алтарём под аккомпанемент знаменитых певчих из Александро-Невской лавры. Более того, — что несомненно и недвусмысленно поднимало градус восторженного кипения, — праздничный обед не за горами, господа, э-эх!

Гулкая толпа в сто человек «господ», — под стать накрытой огромной зале в трактире недурственного «второго» разряду, — собралась опосля венчания торжественно отпировать свадьбу. Сам пристав полицейского участка Семён Семёныч, пошпатавшись-побеседовав с дядей Яшей, охранял действо, сходное разве что с булгаковским балом у Сатаны — с жирнющим знаком «минус». Жаль, сравнить себя с воландовской нечистью участники описываемого бала смогут только лет через 15...

Непонятно откуда взявшийся цыганский табор встречал свадебщиков куплетами из «Живого труп»:

*С вашим-да покровительством
Мы не пропадём,
Весело и звонко
Время проведём!..*

Городовые стояли на улице с приказом ни в коем разе не пускать внутрь «чистых». А запускать только проституток, жуликов-воров, нищих и конченных голодранцев и пройдох.

Во главе стола неистовствовал «посаженный отец» Грин, — пьющий уже почти сутки, — подаривший счастливой заплаканной невесте букет из померанцевых флердоранжей — символ неприкрытой девственности. Жених, в свою очередь, наряжен был в новый фрак «с галунами и большими медными пуговицами с буквой “Л”» — Лиссабон — по названию мебелировок для доступных по цене сонитий. Суженый и впрямь казался влюблённым. Невеста — скромной.

Танцы начались одновременно с пиршеством — внезапно и без ожидания горячих блюд и десерта...

Дикое буйство длилось до следующего утра: «Пировали долго. Ели, пили, пели и танцевали падепатинер и польку “Трам-блям”». — Музыкай и оркестром командовал второй «посаженный отец» — дядя Яша, — пригласивший сразу шестерых баянистов, падающих от усталости, сменявших друг друга, — чтобы пляс, покрытый взвизгивающим воплем в сто глоток и топотом двух сотен каблуков, стоял без перерыва и умолку.

Распорядитель трактира Липатыч собственноручно выводил на улицу чрезмерно распоясавшихся гостей со словами: «Имей уважение! Ты не с фраерами сидишь, а с писателями!» — Что обладало сильным воздействием, и нетрезвые замызганные гости тут же приосанивались и успокаивались, сдуваясь, стравливая кипящую спесь: ведь они свои среди «высших» — непристойно устраивать бузу в приличном обществе: «Базара нету, командир!»

Манька-Суматоха, оказавшись средоточием столь пышных событий, парила на седьмом небе от счастья, словно в сказочном сне. В меру уравновешенный Ванька, впервые видевший пред собою море жратвы, утрамбовавший в желудок столько, что больше уже не лезло, осоловело мигал зенками, прихватывая кое-чего из закусона на карман и даже успевая подпевать набитым едою ртом:

*Девки стукнули ногами!
Щеголяй, Ваня, щеголяй!*

*Ширмачи, гуляйте с нами!
Щеголяй, Маня, щеголяй!*

...Нам неведомо, сложилось ли дальнейшее семейное бытие Ваньки и Маньки. Дальнейшая же разгульная предреволюционная гульба «посаженного отца» Грина продолжалась в привычном русле, поражая воображение насыщенностью и необыкновенностью эпизодов и ситуаций: «Его расколотость, несовместимость двух его ликов: человека частной жизни — Гринеvского и писателя Грина была в глаза, невозможно было понять её, примириться с ней. Эта загадка была мучительна...» — Драматическая загадка кровосмешения забавного и трагичного в одном человеке. Загадка писательского гения и низкосортных человеческих страстей — неразрешимая, извечная задача мне и всей мировой литературе. На многие века — читателям, почитателям, критикам. Влюблённым в Грина. Восторгающимся Грином.

— Обрати внимание, — хвастался Александр Степанович своей жене после выхода «Алых парусов», — какое у меня богатство слов, обозначающих красный цвет!

Красный цвет великолепному творцу-романтику, абсолютно равнодушному к большевизму, — означал яркое многословие, многоголосие оттенков, изображающих мученическое почти отношение к советской действительности, отнюдь не расцветшей, к сожалению, «как в сказке, за одну ночь».

Сам Грин завял и умер в немой позорной нищете, получив соболезнования от Литфонда на собственную смерть ещё при жизни. ...Оставив нам фееричную мультиполифонию тайн, загадок и лихачеств, полных фантастическою верой в светлое радостное чудо. Боже, как это невероятно близко и родно великим символам и образам великой русской литературы!

*...И заря лицом блестящим
Спорит — аlostью луча —
С молчаливым и разящим
Острием его меча.
Но плаща изгибом чёрным,
Заметая белый день,
Стелет он крылом узорным
Набегающую тень.*

А. Грин. «За рекой, в румяном свете...». 1910 г.



Валерий Хаит

ГЕРДТ ЧИТАЕТ СТИХИ

Познакомил меня с Зиновием Ефимовичем кинорежиссер Петр Тодоровский. Это было на Одесской киностудии, куда я был приглашен для участия в пробах на роль главного героя в будущем фильме Тодоровского «Городской романс».

А началось все с того, что Петр Ефимович по просьбе одесских властей принял участие в первой встрече одесской команды КВН в сезоне 1969/70 гг. (это был так называемый «Кубок чемпионов») в качестве режиссера. Он поставил нам домашнее задание, которое, помнится, и сыграло решающую роль в нашей встрече со знаменитой когда-то командой подмосковного города Фрязино. Тодоровский и в нашем случае использовал только ему одному присущее в кино сочетание лирики и юмора. Таким же характерным для него было и умелое использование музыки. Я помню, как волшебным, вызывая каждый раз восторг в наших душах, звучала на репетициях мелодия итальянца Нино Рота из фильма «Восемь с половиной», ставшая лейтмотивом нашего домашнего задания...

Конкурс, а вместе с ним и встречу мы выиграли, с Петром Ефимовичем поружились надолго, что, видимо, и было одной из причин принятия им странного решения пригласить меня на пробы. Я прибыл, мне дали текст, познакомили с прилетевшей из Москвы тоже на пробы актрисой (фамилию не помню) и включили камеру. Через пять минут не только я, но и Петр Тодоровский понял, что никакая я не киногерой, но попросил меня прийти и на следующий день: должна была пробоваться другая актриса, которой мне теперь предстояло просто подыграть.

Ее имя я уже запомнил, поскольку, выполняя техническую роль, совсем не волновался; это была Маша, ставшая впоследствии Машей Соломиной, хотя главную мужскую роль в «Городском романсе» в результате исполнил не только не я, но и по каким-то причинам не Виталий Соломин, а совсем наоборот — Евгений Киндинов. Я знаю, чем утешился, не получивший главную роль в фильме Виталий: он нашел себе на пробах будущую жену; меня же вполне устроило то, что я помог Маше успешно пройти эти самые пробы, сыграв таким образом решающую роль в ее встрече с будущим доктором Ватсоном.

И вот мы идем с Петром Ефимовичем по двору киностудии, а навстречу нам Гердт. Он был без проб утвержден на одну из ролей в «Городском романсе» и гостил в Одессе у друзей, часто видясь и с Тодоровским, которого уважал и любил. Причем любил до такой степени, что делал как раз в это время все возможное для переезда семьи друга в Москву. И насколько я помню, аргументы Гердта были, как он говорил, сугубо эгоистическими: он просто не мог дня прожить без Пети. Тот платил Зиновию Ефимовичу тем же; даже район съемок «Романса» в Москве, где были необходимые для фильма объекты, выбрал рядом с домом Гердта, чтобы тот мог приходиться на площадку пешком.

Тодоровский представил меня, Гердт, сказал, что слышан (КВН тогда был в прямом эфире, да и интеллигенция его тогда еще смотрела), взял меня под руку, увел от Тодоровского и сразу стал мне читать Пастернака. В некоторых стихах я подхватил строки, некоторые мы прочли, так сказать, в унисон, а раз-другой я даже позволил себе уточнить некоторые слова. Со временем стало понятно, что у Гердта

это был такой своеобразный тест: знание стихов, и прежде всего Пастернака, было как бы пропуском в его мудрую поэтическую душу. После того знакомства я еще несколько раз виделся с Гердтом в доме его одесских друзей, куда и для меня была открыта дверь, а когда я вновь оказался в Москве, то несколько раз даже побывал в гостях в его двухкомнатной квартире на улице Телевидения в крашеном темно-синей краской новом доме. Помню, вот я прихожу на съемки, жду, когда Зиновий Ефимович отснимет свой эпизод, и мы идем с ним по свежему снегу к его отчетливо видимой синей девятиэтажке, где на первом этаже была его квартира. Он меня угощает обедом, потом уже в сумерках, не зажигая света, мы опять читаем Пастернака, перекидываемся строчками, потом доходим до романа в стихах «Спекторский», откуда я тоже знал наизусть какие-то куски, скажем такой:

*Привыкли выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.*

*Я бедствовал. У нас родился сын,
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст, взглядам смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.*

*Но я не засиделся на мели,
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны...*

Потом он начинает мое самое любимое из «Спекторского»:

*Поэзия, не поступайся ширью,
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся строчками в пунктире
И зерен в мере хлеба не считай...*

И я подхватываю:

*Недоуменьем меди орудийной
Стесни дыханье и спроси певца:
Неужто жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?..*

Потом я напоминаю ему волшебное, буквально сверкающее оттуда же:

*Поселок дачный, срубленный в дуброве,
Блистал слюдой, переливался льдом,
И целым бором ели, свесив брови,
Брели на полузанесенный дом...*

И тут выясняется, что я тоже когда-то обратил внимание и чуть ли не помнил наизусть напечатанный в пастернаковском томе «Библиотеки поэта» в разделе «Ранние редакции» потрясающий фрагмент из «Спекторского»:

*Когда рубашка врезалась подругой
В углы локтей и без участия рук,
Она зарыла на плече у друга
Лица и плеч сведенных перепуг.*

*То не был стыд, ни страсть, ни страх устоев,
Но жажда тотчас и любой ценой
Побыть с своею зябкой красотой
Как в зеркале хотя б на миг одной...*

В тот вечер Зиновий Ефимович подарил мне свою фотографию с очень теплой и очень лестной для меня надписью...

С тех пор я много раз слышал, как Гердт читал стихи. Это было неподражимо! Мне довелось бывать на концертах выдающихся чтецов. Я помню прекрасное чтение Пушкина Дмитрием Журавлевым; несколько раз слушал поэзию Гарсиа Лорки и Жака Превера в изысканном исполнении Вячеслава Сомова; до сих пор у меня в ушах звучит мгновенно запомнившаяся с сомовского голоса миниатюра Раймона Кено:

*Возьмите слово за основу
И на огонь поставьте слово.
Добавьте мудрости щепоть,
Наивности большой ломоть,
Немного слез, немного перца,
Кусок трепещущего сердца
И на конфорке мастерства
Прокипятите раз и два
И много-много раз все это.
Теперь пишите... Но сперва
Родитесь все-таки поэтом!*

Я слушал стихи Давида Самойлова в великолепном исполнении Рафаэля Клейнера, слушал Михаила Казакова, Сергея Юрского... Но я все равно считаю, что лучше Зиновия Гердта никто стихов не читал! Он читал просто, естественно, озабоченный лишь тем, чтобы донести до слушателя всю красоту и глубину стиха. Это не было актерским чтением. Он ничего особенно не педалировал. Он лишь подчеркивал мысль, чуть-чуть выделял особенно нравившиеся ему строки и сочетания слов, да, он как бы делился своим восторгом перед силой поэтического слова, но делал это сдержанно, благородно, никому ничего не навязывая.

Помню, как-то при мне он начал читать Лермонтова — «Наедине с тобою, брат...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»). Возникло ощущение, что я слышу эти стихи впервые, какая поэтическая мощь, какая красота! Эти три сна в одном в «Сне», эта ирония и печаль в «Брате»! И опять я запомнил стихи с голоса наизусть. Запомнил навсегда...

Как-то Зиновий Ефимович поведал мне, как он попал в театр Образцова. Я не помню рассказ буквально, но суть была в следующем. Гердт всегда мечтал стать актером. До войны он был участником Арбузовской студии и исполнителем одной из ролей в коллективно написанной знаменитой пьесе «Город на заре». С войны Гердт вернулся инвалидом, но мечта осталась. Какой театр согласится взять хромого? И тогда Гердт решил пойти к Образцову: это был театр кукол и актеры там

играли за ширмой. И когда Гердта пригласили в комнату, где заседала возглавляемая Образцовым некая комиссия и спросили, что он умеет делать, Гердт начал читать стихи. Он прочел несколько и остановился. Образцов сказал: «Еще!» Гердт снова прочел несколько. Образцов вновь попросил продолжать. «Я читал часа полтора, — рассказывал Гердт, — и меня зачислили. Образцов сказал: «Берем. В крайнем случае будете читать нам стихи».

Я еще раз прошу прощения, что решился написать об этом, не помня рассказ Зиновия Ефимовича дословно...

Гердт читал мне Самойлова, с которым близко дружил; благодаря Гердту я внимательно вчитался и полюбил Твардовского.

А вот рассказ о его личной встрече с Александром Трифоновичем. Гердты приобрели половину дачи в Красной Пахре (во второй ее части жила семья Константина Симонова). А в этом дачном поселке уже давно жил Твардовский. Так вот Зиновий Ефимович рассказал, как однажды встретил гуляющего в лесу поэта и, набравшись смелости, познакомился с ним. Они шли, беседовали, и вдруг Гердт неожиданно начал декламировать:

*В чем хочешь человечество вини,
И самого себя, слуга народа.
Но не при чем природа и погода,
Полны добра перед итогом года,
Как яблоки антоновские, дни...*

Эти стихи только что появились в «Новом мире», и Зиновий Ефимович сразу запомнил их наизусть. Он прочитал их поэту до конца...

*...Безветренны, теплы, почти что жарки,
Один другого краше дни подарки,
Звенят чуть слышно золотом листвы
В самой Москве, в окрестностях Москвы
И где-нибудь, наверно, в пражском парке.
Перед какой безвестною зимой,
Каких еще тревог и потрясений
Так чист и ясен этот день осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?..*

Гердт рассказывал, как он волновался, читая, даже опустил голову. Поднявши глаза, он увидел, что Твардовский плачет...

Нетрудно высчитать, что встреча Зиновия Ефимовича с Твардовским состоялась ранней осенью 1968 года, советские танки только что вошли в Чехословакию; строка о пражском парке подсказывала, в связи с чем было написано стихотворение. Это все мне тоже рассказал Зиновий Ефимович...

Как-то в один из своих частых в те годы приездов в Москву я позвонил Гердтам и услышал от Татьяны Александровны, жены Гердта: «Зямы сейчас нет, приходи вечером, расскажешь об Одессе...» Татьяна Александровна относилась ко мне тоже по-доброму, но несколько иронически. Так, за мою провинциальную привычку приходить в дом с цветами она называла меня одесским пижоном. В принципе завоевать доверие жены Гердта было довольно трудно, я, честно говоря, еще легко отделался... Но это так, к слову...

И вот я прихожу вечером, у Гердтов гости, меня приглашают к столу, и я оказываюсь рядом с Александром Моисеевичем Володиным - великим драматургом, автором киносценария знаменитого «Фокусника», снятого Петром Тодоровским в 1967 году с Гердтом в главной роли. Гердт ведет стол (это отдельная поэма), взрывы смеха идут без пауз, я быстро хмелею (поэтому, видимо, никого из гостей, кроме Володина, сидящего рядом, не запомнил). Время мчится, и вот мы уже едем, а потом идем с Александром Моисеевичем, которого я вызвался проводить, по снежной Москве и я с жаром читаю ему наизусть Твардовского, которого, по сути, открыл мне Гердт. Здесь и «Две строчки», и «Дробится рваный цоколь монумента», и «Немного надобно труда...», и «Полночь в мое городское окно», и начало «Геркина на том свете...». Читал я, видимо, хорошо, поскольку был пьян, а значит, смел. Александр Моисеевич не перебивал меня, восторгался стихами, говорил, что слышит их впервые, я удивлялся тому, что он может их не знать, и до сих пор во мне живет ощущение, что ироничный, склонный к мистификациям Володин просто меня тогда разыграл...

Еще одно яркое воспоминание, связанное с Зиновием Ефимовичем, - одесская Юморина 1976 года, к организации которой я имел тогда прямое отношение. Мы пригласили уже невероятно популярного к тому времени Гердта (фильм Швейцера «Золотой теленок» вышел в 1969 году). Он приехал с Петром Тодоровским, и на главном концерте Юморины в филармонии под гитарный аккомпанемент Петра Ефимовича они исполнили вместе, специально написанные Гердтом куплеты, начинавшиеся так:

*Послушайте, граждане, дамы, мужчины,
Мы выложим наш аргумент:
Какие быть могут еще Юморины
В такой напряженный момент?!*

*В то время как целый народ в Ламцедроне
Военищине рвет потроха,
Они в филармонии сидят как на троне,
И все им хи-хи да ха-ха...*

Номер имел бешеный успех, который только возрос после исполнения Гердтом и Тодоровским на бис таких же куплетов, посвященных Утесову.

А в девятые годы мне посчастливилось видеть Гердта уже на петербургском фестивале юмора «Золотой Остап», где он был и лауреатом и почетным гостем. Вот он выходит на сцену и тоже читает стихи, потом рассказывает невероятно смешной, тем более в его исполнении анекдот про случай с охотником. Помните? Охотник проваливается в медвежью берлогу, страшно пугается, видит там медвежонок и шопотом спрашивает: «Папа дома?» Тот: «Не-ет.» - «А мама?» «Не-ет.» Охотник, осмелев: «А ну вали отсюда!..» Медвежонок зовет: «Бабушка-а-а!..» (Ах, как Гердт это произносил!..) Потом Зиновий Ефимович зовет на сцену Валентина Гафта и просит прочесть новую, посвященную ему эпиграмму, и тот читает: «*О необыкновенный Гердт! Он сохранил с поры военной одну из самых главных черт: колено-он-непреклонный!*» и зал взрывается овацией. И Гердт, прихрамывая на свою негнушающую раненую ногу, сходит в четырехтысячный зал, который стоя приветствует его...

Тогда же (а возможно, это было и во время другого «Золотого Остапа») я, помню, спустился довольно рано в бар гостиницы, где жили гости фестиваля, выпить чаю и обнаружил там одиноко сидевшего за рюмкой коньяку Александра Володина. Я

поздоровался с ним и, поскольку он меня не узнал, сел за другой столик. Через минуту появился Зиновий Ефимыч, к которому, видимо, и пришел Володин. Они обнялись и стали выпивать понемножку уже вместе. Был какой-то живой разговор, потом пошли стихи, бар понемногу заполнялся гостями «Остапа», и вот уже всех нас приглашают к столу, где они сидели, и мы неожиданно становимся зрителями и слушателями невероятного бенефиса этих двух остроумнейших и доброжелательнейших людей, которые были так рады друг другу, что почувствовали непреодолимое желание поделиться этой радостью с другими. И конечно же, опять были стихи, стихи, стихи...

Я думаю, что поэзия значила для Гердта очень многое, в частности она заменяла ему религию: его мудрость, благородство, всегдашнее следование понятиям чести и достоинства, гармоничность его природы были в нем именно от русской поэзии. Он поклонялся ей, причем вполне допускал в этой своей вере многобожие: Пушкин, Лермонтов, Пастернак, другие замечательные поэты были для него всю жизнь истинными богами...

Возвращаясь же к временам, когда судьба в лице Петра Ефимовича Тодоровского подарила мне знакомство с выдающимся артистом и прекрасным человеком Зиновием Ефимовичем Гердтом, я вспоминаю одну встречу, когда я его немного подвел. Однажды, было это, кажется, году в семидесятом, Гердты взяли меня с собой к уже переехавшим к тому времени в Москву Тодоровским. Помню, мы пришли к ним в двухкомнатную квартиру на проспекте Вернадского, вытащили принесенные с собой бутылки и тут же сели к столу. Тем более что повод, по которому Тодоровские решили собрать гостей, красовался именно на столе: там сияла желтоватостальным светом огромная овальная банка югославской ветчины. Кто помнит советские времена, согласится, что стать тогда обладателем подобного деликатеса было не только огромной удачей, но и настоящим праздником. Мы выпили за удачу и приступили к ее уничтожению.

Со временем к нам присоединились дочь Гердтов красавица Катя со своим тогдашним мужем молодым театральным режиссером Валерием Ф. Конечно, банка ветчины была замечательным поводом для встречи, но по мере насыщения повод этот как-то стал меркнуть, и тут Зиновий Ефимыч намекнул, что раз я как-никак из Одессы, то должен взять по возможности художественную часть на себя. Я несколько раз пытался сказать что-нибудь если и не смешное, то хотя бы осмысленное, но не преуспел в этом: во-первых, здесь были Гердт с Тодоровским, шутить при которых было глупо, во-вторых, молодой театральный режиссер сидел за столом с таким видом, что ни у кого не возникало сомнений в его великом будущем, ну и наконец присутствие красавицы Кати, как ничто, питало мое косноязычие.

Гердт оставил свои попытки меня реанимировать и стал невероятно смешно петь малоизвестные одесские частушки из утесовского репертуара, помню, про какую-то Франечку. При этом он так виртуозно подражал утесовской манере, что мы просто падали со стульев.

Вечер «Гердт в роли Утесова» продолжался и дальше и завершился опять стихами: Зиновий Ефимович утомительно прочитал в образе Утесова лермонтовское «Выхожу один я на дорогу...». Я тогда впервые узнал, что Утесов в уже более чем зрелом возрасте полюбил стихи Лермонтова, причем полюбил до слез. Уверен, что и здесь не обошлось без Гердта...



Лев Бердников

НАКАЗАННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ

Правительница российская

Анна Леопольдовна

Существует предание, что жена царя Иоанна Алексеевича, родного брата Петра I, Прасковья Федоровна, прокляла всех трех своих дочерей. На смертном одре царицы ее деверь просил снять проклятие, но она смягчилась только в отношении средней дочери, будущей императрицы Анны Иоанновны; двух других чад она вновь прокляла с их потомством на веки вечные. И что же? Младшая дочь, Прасковья Иоанновна, вообще не имела детей, а старшая, Екатерина Иоанновна, стала матерью печально известной Анны Брауншвейгской, нашей героини.

Об Анне нельзя сказать — дитя любви. Супружеская жизнь ее матери и отца, герцога Карла-Леопольда Мекленбург-Шверинского, была несчастливой. Деспотизм, грубость, сварливость герцога в Ростоке, где родилась девочка, были совершенно невыносимы, и жена с трехлетней дочерью бежала тайно в Россию (1722). Первоначально они поселились в патриархальном Измайлово, при дворе Прасковьи Федоровны, который Петр I назвал в сердцах “гошпиталем уродов, ханжей и пустословов”. Раздражение великого реформатора объяснимо: несмотря на ветры петровских перемен, здесь господствовала обстановка русского XVII века, почитались старомосковские традиции. Посетивший измайловские покои Екатерины Ивановны и ее дочки Голштинский камер-юнкер Ф.В. Берхгольд в своем дневнике от 26 октября 1722 года пишет с нескрываемым презрением (понятное дело, немчура) о прескверной игре “полуслеплого, грязного бандуриста” и отчаянных плясках перед гостями “какой-то босой, безобразной и глупой женщины”. Но малолетняя принцесса воспринимала все это совершенно иначе — она оказалась в народной среде, в мире привычных для бабки и матери ценностей, и с этой средой сроднилась.

После вступления на российский трон Анны Иоанновны жизнь девочки изменилась самым решительным образом. Желая сохранить престол за своим родом — Романовыми-Милославскими, бездетная императрица приблизила к себе тринадцатилетнюю племянницу и окружила ее штатом придворных служителей. В вопросах веры Анну наставлял человек такого высокого уровня, как архиепископ Новгородский Феофан Прокопович, круг интересов которого был весьма обширным. Имея глубокие познания в истории, теологии, философии, он занимался математикой, физикой, астрономией, интересовался живописью, любил слушать инструментальную музыку, был пылким оратором. Он обладал крупной по тем временам библиотекой, в которой насчитывалось более трех тысяч книг, изданных в Европе.

Думается, этот энциклопедически образованный и веротерпимый пастырь, оперировавший логически стройными аргументами, привил воспитаннице любовь к знаниям и навык к чтению. Принцесса свободно говорила и писала на русском,

немецком и французском языках, запоем читала историческую, мемуарную и приключенческую литературу. Но более всего ей по душе были французские и немецкие романы. Позже, уже став правительницей, она будет обстоятельно расспрашивать президента Академии наук К. фон Бреверна об ученых занятиях профессоров, о раритетах библиотеки и Кунсткамеры, и будет просить выписать ей из-за границы новые книги (поскольку весь имевшийся запас для чтения был исчерпан). Как блекло выглядит на ее фоне искушенная в интригах, но малопросвещенная императрица Елизавета, до конца жизни уверенная в том, что Англия расположена не на острове, а на континенте!

В то же время “русская душой” Анна была глубоко религиозна и серьезно наставлена в православии. Как отмечает писатель К. Валишевский, она отличалась набожностью, “ставила образа во все углы своих комнат, следила, чтобы везде были зажжены лампы” (впоследствии она будет ревностно следить за воспитанием своих детей в духе православия и христианского благочестия).



Портрет Анны Леопольдовны

Императрица всерьез подумывала о наследнике престола, а соответственно, о династическом браке своей племянницы. В 1733 году в Петербург прибыл из Германии ставленник Австрийского императора герцог Антон-Ульрих Брауншвейгский. Он усердно принялся изучать русский язык (под руководством В.К. Тредиаковского), поступил на службу подполковником кирасирского полка, но “главным делом” герцога было его сватовство к принцессе Анне. Его встретили радушно, но многие не скрывали разочарования. Антон-Ульрих был невысок ростом, худощав, прыщав и белобрыс; к тому же он заикался и робел перед сильными мира сего. Да, он был весьма образованным и воспитанным юношей, толковым и отважным офицером, честным и прямодушным человеком. Как и его невеста, он был и записным книголюбом. Но вот беда! — в библиотеке, которую он привез с собой и которая считалась одной из лучших в России, начисто отсутствовали любовные романы. Наивный и неискушенный в любовных делах герцог вместо того, чтобы оболящать Анну по законам милого ее сердцу политеса, зачастую изводил ее скучными разговорами о фортификациях и прочих военных делах. Императрица, видя холодность племянницы к жениху, решила не принуждать ее к скорой свадьбе, а отложить брак до совершеннолетия невесты.

Жених не вызвал пылких чувств у девушки еще и потому, что сердце ее уже пленил польско-саксонский посланник при русском дворе граф Мориц-Карл Линар. Это был истый щеголь, отличавшийся светской любезностью и утонченностью, привитыми ему в Дрездене, городе, который соперничал в то время с блистательным Версалем. Портрета Линара не сохранилось, но, судя по отзывам современников, он был, что называется, роковым красавцем и кумиром всех дам, несмотря на то, что ему в то время было уже около сорока.

Но Анна не была бы Анной, если бы прельстилась пустым придворным франтом: в Морице-Карле ее привлекали острый ум и широкое образование (он был воспитанником ученого-географа А.Ф. Бюшинга). Их объединяла и страсть к чтению. И совсем как в прочитанных ими романах, между ними завязывается оживленная переписка. И продолжается она весьма долго, благодаря ловкости воспитательницы принцессы госпожи Адеркас, скрывавшей ее от чужих глаз. Говорили, что сия госпожа когда-то содержала бордель в Дрездене, и, возможно, поэтому поощряла невинные шалости своей царственной воспитанницы. Но совсем иначе посмотрела на это императрица: узнав о непозволительных цидулках, она немедленно выслала Адеркас за границу, а Линар, по ее просьбе, был отозван своим двором. За юной Анной же установили строгий контроль, чтобы уберечь ее от новых романов. После высылки графа она еще больше сблизилась со своей любимой фрейлиной Юлианой Менгден. Историк А.А. Бушков, ссылаясь на намеки некоторых мемуаристов, облыжно аттестует двух девиц “прилапанными” лесбиянками. И дело даже не в том, что подобные оценки грубы и несправедливы; здесь очевидна тенденция — снизить образ Анны Леопольдовны, показать ее ущербность и ничтожество.



Антон Ульрих Брауншвейгский

А что Антон-Ульрих? Он усердно служит России, тщетно надеясь, что любовь Анны можно завоевать на поле брани: возглавляет отряд при штурме крепости Очаков в июле 1737 года. В гуще боя под ним пала лошадь, другая пуля задела камзол. Но судьба хранила его и тогда, и в 1738 году, когда участвуя в стычках с неприятельской конницей, Антон-Ульрих вернулся если не оваянным славой, то уважаемым в армии командиром. Фельдмаршал Миних написал тогда императрице, что герцог вел себя в походе “как иному генералу быть надлежит”.

И вот, наконец, случилось то, чего так долго добивался жених: руку принцессы он получил. И подтолкнул Анну к сему решению ни кто иной, как герцог Курляндский Бирон, возжелавший женить на ней своего сына Петра. Но принцесса не ответила ему взаимностью. А тому доставляло неопишемое удовольствие дразнить Анну и ее жениха. Однажды Петр Бирон явился на бал в костюме из той же ткани, из которой было сшито платье принцессы, чем поверг двор в недоумение и шок. Всех возмутила сама идея проказника — составить искусственную пару с чужой невестой. Как писал об этом современник, все иностранные министры были удивлены, а русские вельможи и даже их лакеи “скандализованы”. Таким образом, выбирая между двумя одинаково нелюбимыми женихами, Анна предпочла незлобивога Антона-Ульриха, и к тому же родовитого. Но в сравнении с ними обоими, такими обыденными, каким притягательным ей казался возлюбленный ею Лионар! — в нем одном виделся ей романтический герой из прочитанных книг. Но граф был так далеко... Анна согласилась на помолвку, а затем и на помпезные торжества по случаю бракосочетания с нелюбимым Антоном-Ульрихом Брауншвейгским.

И гремели пушки, и салтовали беглым огнем войска, и били фонтаны с красным и белым вином, а для “собравшегося многочисленного народа пред сими фонтанами жареной бык с другими жареными мясами предложен был”. И вспыхнул ослепительный фейерверк с аллегорическим фигурами — “Россия и Германия, в женском образе представленные, с надписью: СОЧЕТАЮ”. Присутствовавшая на церемонии жена английского резидента Дж. Вигор так описала эту сцену: “На женихе был белый атласный костюм, вышитый золотом, его собственные очень длинные белокурые волосы были завиты и распущены по плечам, и я невольно подумала, что он выглядит как жертва... Принцесса обняла свою тетушку и залилась слезами. Какое-то время ее величество крепилась, но потом и сама расплакалась. Потом принцесса Елизавета подошла поздравить невесту и, заливаясь слезами, обняла”.

Конечно, плач, вытье, причитания — неперменные приметы русского народного свадебного действа, отраженные и в фольклоре. Но в нашем случае реально объяснимы и стелания и плач невесты, вышедшей замуж за постылого жениха, и грусть ведавшей о том императрицы, благословившей сей династический брак. Едва ли вызваны радостью и слезы Елизаветы — ведь замужество Анны с перспективой рождения наследника лишало ее каких-либо шансов на русский престол.

Говорили, что в первую же брачную ночь молодая жена сбежала в сад, и разгневанная императрица хлестала племянницу по щекам, загоняя ее на супружеское ложе. Однако вскоре принцесса, кажется, смирилась со своей участью — она стала мила с мужем и даже прилюдно целовала его. 12 августа 1740 года она родила сына, нареченного при крещении Иоанном. Манифестом 5 октября 1740 года его объявили великим князем и наследником престола. В манифесте оговаривалось, что в случае смерти “благоверного” Иоанна корона перейдет к принцам “из того же супружества рождаемых” (то есть к детям мужского рода Брауншвейгского семейства — Антона-Ульриха и Анны Леопольдовны). Понятно, что ребенок управлять государством не мог — надлежало назначить регента. Интриги Бирона, коему не смели перечить высшие российские сановники, привели к тому, что умирающая императрица подписала указ о назначении его регентом и, сказав своему любимцу напоследок ободрительное “Небойсь”, оставила сей мир.

Новоиспеченный регент несколько не боялся всячески унижать и третировать родителей державного младенца. Он позволял себе оскорблять Антона-Ульриха, потребовав, чтобы тот добровольно сложил с себя все военные чины. Бирон

даже наложил на него домашний арест. Анне он пригрозил, что вышлет ее с мужем из России, а сам призовет сюда Петра Голштинского (будущего императора Петра III). Поговаривали, что Бирон сам метил на престол, а потому обхаживал цесаревну Елизавету, дабы женить на ней своего сына Петра, к супружеству всегда готового. И для Брауншвейгского семейства регентство Бирона при живых родителях императора было странным и обидным. В их окружении открыто сомневались, а подлинна ли подпись Анны Иоанновны на указе о регентстве. После очередной стычки с Бироном Анна Леопольдовна обратилась за советом к фельдмаршалу Б.К.Миниху, который с ее одобрения составил план низложения временщика.



Младенец-император Иоанн Антонович

Вечером 8 ноября Миних ужинал у Бирона. Хозяин (которому нельзя было отказать в интуиции), между прочим, спросил гостя: “Случалось ли Вам предпринимать решительные действия ночью?” “Случалось, если того требовали обстоятельства”, — невозмутимо ответил Миних, поблагодарил за ужин, откланялся и удалился. А ночью отряд из 80 гвардейцев под командованием адъютанта Манштейна арестовал регента. “Караул!” — закричал спронежья Бирон. “Караул прибыл, Ваша светлость!” — ответил Манштейн и распорядился отправить арестованного в Шлиссельбургскую крепость.

А уже на следующий день был обнародован манифест о назначении Анны Брауншвейгской правительницей империи с титулами великой княгини и императорского высочества. Она становилась регентшей до совершеннолетия младенца-императора. Это известие было встречено всеобщим ликованием. “Еще не было примера, — писал французский посланник, — чтобы весь этот народ обнаруживал такую неподдельную радость, как сегодня”.

Первым делом правительница уволила всех придворных шутов и шутих, наградив их дорогими подарками. Виновником “нечеловеческих поуганий” и “учиненных мучительств” над шутами она объявила Бирона. Однако всем было известно, что не Курляндский герцог, а сама бывшая императрица выискивала их по всем городам и весям России, именно она забавлялась дикими выходками, драками до крови, сидением на лукошках с яйцами этой забубенной “кувыр-коллегии”. Правительница разгромила сам институт шутовства своей венценосной тетушки. И

необходимо воздать должное Анне, навсегда уничтожившей в России само это презренное звание (в шутовской одежде забавники при дворе больше уже никогда не появлялись).

Анна Леопольдовна явила себя прежде всего как правительница православная. Она отменила ограничения для желающих постричься в монахи; аннулировала фактически проведенную в 1740 году секуляризацию; возвратила архиерейским домам и монастырям церковные вотчины, управлявшиеся ранее Коллегией экономии, и жаловала им деньги, минуя официальные инстанции; примечательно, что при условии крещения она даровала прощение даже закоренелым преступникам-иногородцам, приговоренным к смертной казни. Был также издан указ об умножении духовных училищ и школ. Были возвращены из ссылки многие церковнослужители, в числе коих бывший префект Славяно-греко-латинской академии Феофилакт Лопатинский, епископ Воронежский Лев, епископ Воронежский Игнатий, а также православный ортодокс, бывший директор Петербургской типографии Михаил Аврамов. Известно также, что апартаменты ее и сына-императора были уставлены иконами, среди коих выделялся образ святых мучеников Аникиты и Фотия, празднуемых в день рождения Иоанна Антоновича, причем правительница приказывала украшать иконы драгоценными окладами. Возле сих икон постоянно теплились лампады. Она имела своего духовника, священника Иосифа Кирилова, который часто проводил богослужения в их покоях. Достоверно известно, что правительница постилась и строго соблюдала православную обрядность.

Еще в бытность своей августейшей тетушки Анна Леопольдовна тесно общалась с кабинет-министром А.П. Волинским, олицетворявшим собой “русскую” партию при Дворе; во время же ее регентства половину членов кабинета составляли русские, а из восьми камергеров немцев было только два. Патриотизм Анны проявился вполне, когда по ее повелению потомкам легендарного Ивана Сусанина выдали грамоту, подтверждавшую их освобождение от рекрутской повинности. Примечательно и то, что, придя к власти, она незамедлительно вызволила из северной глухомани представителей старомосковской знати — репрессированных родственников князей Голицыных и Долгоруковых, причем жене казненного князя Ивана Долгорукова, Наталье Борисовне Долгоруковой-Шереметевой, автору знаменитых “Своеручных записок”, она пожаловала село. Фактически было приостановлено уголовное дело видного русского историка В.Н. Татищева, а сам он был командирован управлять Астраханской губернией.

Между тем, в историографии едва ли не господствует мнение о немецкой ориентации правительницы Анны, в отличие от “русской” цесаревны Елизаветы (хотя доля русской крови у обеих была одинакова). “Принцесса и по месту рождения, и по браку с иноземным принцем продолжала оставаться для русских иностранкою. — заключает историк М.А. Корф. — При миропомазании она была наречена Анною, но отчество ее звучало настоящим немецким складом, а все немецкое уже давно... сделалось предметом общей в России неприязни. Ни принятие православного титула великой княгини, ни переход ее в православную веру не изменили тут ничего: для массы народа она была по-прежнему чужою, приезжею из-за моря принцессою... и никогда в его уме не связывалось с этим отечеством и с чужеземными именами ее мужа ничего родного, своего, тогда как имя русской великой княжны Елисаветы Петровны воскрешало в умах ряд воспоминаний о славных делах ее родителя, возведших Россию на неслыханную прежде степень могущества и величия”. Ему вторит писатель и журналист С.Ф. Либрович, описывая якобы повсеместный ропот по поводу

того, что “правительница окружает себя преимущественно иностранцами, что “проклятые немцы” захватывают власть в свои руки, что никаких законов в пользу народа и в облегчение его тяжелого положения не издается”. Когда исторические писатели делают такие заявления от имени “массы народа”, они, понятно, должны опираться на какие-либо документы, факты, свидетельства эпохи. Между тем, таковых не найдется. Напротив, приход к власти “принцессы из-за моря” Анны Леопольдовны был встречен с ликованием. Это отметил даже не расположенный к ней маркиз де Шетарди: “Еще не было примера, чтобы в здешнем дворце собиралось столько народа, и чтобы весь этот народ обнаруживал такую неподдельную радость, как сегодня”. Что до жалоб на мнимое “немецкое засилье” при правительнице, то и здесь никакого недовольства не было. Известный историк Е.В. Анисимов, изучивший дела Тайной канцелярии за указанный период, отметил, что жалобы на иностранцев во властных структурах, практически отсутствуют.

Регентшу вообще отличало исключительное милосердие. Очень точно сказал об этом современник Х. Манштейн: “Никто не имел повода жаловаться, так как Россия никогда не управлялась с большей кротостью, как в течение года правления великой княгини. Она любила оказывать милости и была, по-видимому, врагом всякой строгости”. Ему вторил прусский посол А. фон Мардефельд: “Нынешнее правительство самое мягкое из всех, бывших в этом государстве”. Примечательно, что современный историк А.В. Курганников называет время ее правления “новояннинской оттепелью” и замечает, что “Анна Леопольдовна словно оправдывала свое имя — благодать”. Несмотря на оскорбления, нанесенные ей Бироном, она не утвердила решение суда, приговорившего его к четвертованию, а ограничилась лишь ссылкой обидчика. Правительница утишила свирепство наводившей на всех страх Тайной канцелярии, где при ее тетушке по наветам шпионов пытали сотни безвинных граждан; и даже ходили упорные слухи об ее упразднении. Правительница вернула из Сибири всех, кто в царствование Анны Иоанновны попал в ссылку по политическим преступлениям. Были полностью амнистированы тысячи узников. От каторжных работ освобождались несчастные, отверженные, кандалные люди с “вырезанными ноздрями”, солдаты, драгуны, матросы, рекруты. Возвратились в Петербург брат и дети казненного “государственного преступника” А.П. Волынского. Освобождены из острогов и все сосланные сподвижники Волынского — Ф.И. Соимонов, И. Эйхлер, Ж. де ла Суда, а также другие фигуранты по сему делу, томившие в крепости. Возвращен к службе был знаменитый арап Петра Великого, прадед А.С. Пушкина Абрам Ганнибал. В числе прочих она распорядилась доставить в столицу и сосланного в Камчатский острог бывшего фаворита Елизаветы Петровны Алексея Шубина. О благодарности со стороны цесаревны говорить, конечно, не приходится. Но, может быть, именно пример Анны Леопольдовны повлиял на Елизавету, когда впоследствии, вступая на престол, она объявила, что будет править милосердно и что при ней в России не произойдет ни одной смертной казни. И обещание свое сдержала.

Анна соединяла природное остроумие с благородным и добродетельным сердцем. Поступки ее были всегда откровенны и чистосердечны, и ничто не было для нее несноснее, чем притворство и принуждение. Начисто лишенная изворотливости и житейской хитрости, правительница с ее открытостью и доверчивостью была, казалось, слишком нравственно чистоплотна, чтобы властвовать в такой огромной империи. Показательно, что Елизавета сказала о ней однажды: “Надобно иметь мало ума, чтобы высказываться так искренно, она дурно воспитана, не умеет

жить”. И как только не называли ее: и “беспечная”, и “легкомысленная”, и “недалекая”, — но историк Н.Я. Эйдельман нашел более точное слово — “простодушная”. Вот уж поистине в случае с Анной “прямодушье глупостью слывет”!

Иные нерасположенные к правительнице деятели отзывались о ней с нескрываемой враждебностью, аттестуя ее неспособной, избалованной, с дурными привычками, ленивой. Но предвзятость таких оценок очевидна. Характерно, что гофмейстер Э. Миних (сын фельдмаршала, ее ругателя), близко с ней общавшийся, дает совершенно иной образ: “Дела же слушать и решать не скучала она ни в какое время, и дабы бедные люди способнее могли о нуждах своих ей представлять, назначен был один день в неделю, в который дозволялось каждому прошение свое подавать во дворце кабинетскому секретарю. Она знала ценить истинные достоинства, и за оказанные услуги награждала богато и добродушно... Многих сознательных требовалось доводов, пока она поверит кому-либо впрочем и несомненному обвинению. Для снискания ее благоволения нужна была больше откровенность, нежели другие совершенства. В законе своем она была усердна, но от всякого суеверия изъята”.

Что до “празднолюбия”, чем корили Анну Леопольдовну некоторые недоброхоты, то, как показал известный историк И.В. Курукин, регентшу “можно было упрекнуть в чем угодно, но только не в лени... Комплекс документов императорского кабинета, проходивших через руки правительницы, хранит сотни ее резолюций... Правительнице предстояло посвящать себя нелегкому труду управления, заставить себя быть компетентной в делах, научиться искусству привлекать и направлять своих сподвижников или предоставить все другим, оставив за собой кажущуюся легкость окончательного решения”. В Полном собрании законов Российской империи зафиксировано 185 законодательных актов с ноября 1740 по ноябрь 1741 года, а это свидетельствует о достаточной интенсивности законотворческой деятельности. В некоторых ее указах сквозит импульсивность. Но импульсы эти продиктованы человеколюбием и добродушием правительницы и потому благотворны. Вот что говорит об этом вельможа уже екатерининских времен граф П.И. Панин: “Весь народ российский ощутил благотворную перемену в правлении; сострадательное и милосердное сердце правительницы устремилось к облегчению участи несчастных, пострадавших под грозным деспотизмом Бирона, как в регентство его, так и государственование Анны Иоанновны... Каждый день просматривала она дела о важнейших ссылочных, представив Сенату облегчить судьбу прочих. Число всякого звания людей, томившихся в заточении, простиралось до многих тысяч человек. Находившиеся под истязанием в Петербурге немедленно были освобождены”.

Оказавшись на вершине власти, Анна Леопольдовна была втянута в невероятный омут придворных интриг. Между министрами началась глухая подковерная борьба (писатель В.А. Соснора образно назвал ее “змеиным клубком вельмож”). Антон-Ульрих стал генералиссимусом и кавалером высшего российского ордена — Св. Андрея Первозванного; фельдмаршал Б.Х. Миних — первым министром, то есть главой правительства, но оставался на этом посту недолго — скоро последовала его отставка. Некоторые историки говорят о “несправедливости” Анны к фельдмаршалу, который и привел ее к престолу. При этом забывают о болезненном честолюбии Миниха и его неукротимой жажде власти. Он то и дело одергивал генералиссимуса и даже затеял с ним склоку. В конце концов, Миних был отставлен во вполне гуманном духе: с денежным пособием в 100 000 рублей, сохранением пенсии в 15 000 рублей, движимого и недвижимого имущества и даже периодическими приглашениями во дворец — был ли до сего времени подобный прецедент в истории России?

При Анне особо выдвинулся канцлер А.И. Остерман, пожалованный чином генерал-адмирала. Внешняя политика страны под его руководством склонялась в сторону Австрии. Этот талантливый дипломат обладал удивительным умением по-трафить самым сокровенным желаниям правительницы, а затем использовать их в своих политических целях. Ведь именно благодаря его, Остермана, инициативе в Петербург вместе с имперским послом Австрии маркизом де Ботта вернулся и столь ожидаемый Анной граф Линар. Канцлер всячески поощрял правительницу, желавшую возвысить любимого, и вот на нового фаворита обратила, наконец, свой взор капризная русская Фортуна: он стал обер-камергером Двора, кавалером орденов Александра Невского и Андрея Первозванного.

Стой стремительный взлет Линара был не по душе многим и прежде всего мужу правительницы. Однако Анна даже не считала нужным скрывать свои чувства к графу: она почти все время проводила в его обществе. При дворе ходили слухи, что часовые у ворот дворцового сада не пускали туда генералиссимуса, если Анна гуляла там с Линаром и Юлианой Менгден. Наконец, хитроумный Остерман задумывает комбинацию — выдать фрейлину Юлиану Менгден замуж за Линара! Это окончательно привяжет графа к русскому двору и сделает почти законным его двусмысленное положение при регентше. Из любви к Анне Юлиана согласилась на этот по существу фиктивный брак, а Линар заторопился на родину, чтобы уладить домашние дела для переезда в Россию.

Анна Браушвейгская вовсе не была модницей и щеголихой. Пышные наряды, корсет и фикмы она считала для себя невыносимой пыткой. По словам того же Б.Х. Миниха, “Она была от природы неряшлива, повязывала голову белым платком, идучи к обедне, не носила фикм и в таком виде появлялась публично...”. Однако желание понравиться франгу Линару произвело в ней заметную метаморфозу. Обыкновенно небрежная в своем наряде и мало занимающаяся своей наружностью, она теперь непривычно долго стояла перед зеркалом, охорашиваясь и поправляя напудренную прическу. Впрочем, придворный парикмахер-француз П.Я. Лобри сетовал, что в прическах Анна следовала не парижскому утонченному вкусу, но убирала волосы по собственному разумению.

Однако ее уборная комната (отделкой которой занимался сам Линар) заключала в себе все, что может придумать прихотливая мода. Ее называли уголком российского Версаля. На потолке виднелись полуобнаженные нимфы древнего Олимпа в грациозных позах. Вниз спускалась бронзовая люстра с амурами и хрустальными подвесками в виде древесных листьев. Комнату украшали шелковые портьеры, тонкие, с изящным узором кисейные занавеси на окнах, дорогие ковры, жардиньерки с тепличными растениями, привезенная из Парижа мебель розового дерева, отделанная золотом и обитая шелком. На туалетном столе были разбросаны лучшие дары французской и итальянской косметики: духи самых тонких букетов, благовонные помады, нежные пудры, благоуханные эссенции, дорогие румяна и белила.

Но кокетству Анна предавалась лишь от случая к случаю, и роскошный будуар, забытый ею, часто пустовал, словно ждал той поры, когда в нем появится другая хозяйка, которая будет понимать все тонкости женского туалета и проводить в нем несколько часов, пока не выйдет во всем блеске своего пышного наряда. (Такой хозяйкой и станет впоследствии самодержавная модница Елизавета Петровна).

Дворцовые приемы, несмотря на нелюбовь к ним правительницы, не утратили прежней, господствовавшей при Анне Иоанновне помпезности. Вот как описывает один из балов того времени газета “Санкт-Петербургские ведомости”: “Бо-

гатые украшения и одежды на всех туда собравшихся персонах были, по рассуждению искуснейших в том людей, так чрезвычайны, что подобные оным едва ли при каком другом европейском дворе видны были, причем благопристойность и приличный ко всему выбор и учреждение употребленному на то богатству и великолепию ни в чем не уступали". А очевидица, одного из приемов, живописав пышность уборов и обстановки, воскликнула в сердцах: И все это "заставляло меня вообразить, что я нахожусь в сказочной стране, и пьеса Шекспира "Сон в летнюю ночь" весь вечер не шла у меня из головы".

Анна Леопольдовна, однако, не только не принуждала подданных облачаться в дорогостоящую одежду, а наоборот, старалась всячески ограничить придворную роскошь. 17 декабря 1740 года она издает специальный указ "О ненюшении богатых платьев с золотом и серебром, и из других шелковых парчей и штофов". Здесь говорилось о необходимости "генерального запрещения" на такую одежду ("чтоб отныне вновь богатых с золотом и серебром и из других шелковых парчей и штофов дороже от трех до четырех рублей платьев никто из Наших подданных... делать и носить не дерзал, и у кого такое платье есть, оное дозволяется донашивать без прибавки вновь"). Чужеземным купцам вменялось в обязанность не ввозить в страну "излишнее" количество богатых парчей и прочих товаров, а также вывезти уже имеющиеся. Впрочем, для особ "первых трех классов,... придворных наших кавалеров, также... в службе Нашей не обретающихся чужестранцев" запрет на роскошь носил лишь рекомендательный характер, ибо, сообщалось в указе, им дозволялось носить то платье, кое они "сами пожелают".

Сближение России с Австрией, адептом которого выступал канцлер А.И. Остерман, было нежелательным для Франции: в конце концов ей удалось заставить Швецию объявить 28 июня 1741 года войну России. Шведы требовали от России пересмотра условий заключенного Петром I Ништадтского мира и возвращения прибалтийских земель. Начиная баталии, они манифестом, обращенным к русским, объявили себя защитниками прав на престол дочери Петра Великого Елизаветы. Любопытно при этом, что правительство Анны Леопольдовны они обвинили в "чужеземном притеснении и бесчеловечной тирании...русской нации". Но годовалый император Иоанн Антонович тотчас призвал Отечество к оружию. И 23 августа 1741 года российские войска под водительством фельдмаршала П.П. Ласси наголову разбили отряд шведского генерала Врангеля, захватив в плен его самого, 1200 солдат и 12 пушек, а также заняли крепость Вильманстрандт. По случаю победы М.В. Ломоносов написал торжественную оду, в которой назвал правительницу "надежда, свет, покров, богиня над пятой частью всей земли".

Тем не менее, интриги продолжались. В Петербурге шведский посланник Нолькен и французский посол маркиз де Шетарди пытались убедить цесаревну вступить на престол, обещая солидную финансовую поддержку. Но Елизавета понимала, что ее главная опора и защита — не шведы и французы, а гвардия, точнее, Преображенский полк (Семеновским полком командовал Антон-Ульрих). Гвардейцам же она, "милая взору" красавица, очень нравилась и потому, что водила с ними компанию, и потому, что откликалась на просьбы быть крестной матерью их детей. Сила Елизаветы — гвардейской кумы — заключалась в том, что она была дочерью Петра Великого, которую, по мнению преобразенцев, несправедливо отстранили от престола, отдав трон Брауншвейгской фамилии.

А.А. Бушков в своей книге "Россия, которой не было", сравнивая гвардейцев с турецкими янычарами, с легкостью выдвигавшими и свергавшими правите-

лей, говорит о гвардии как о реакционной общественной силе и о пропасти, пролегающей между ней и народом. А один иностранный посланник при русском Дворе сказал: “Не следует думать, что в здешней стране дела могли быть доводимы до благополучного окончания при помощи влияния значительных лиц, принимающих в них участие... Здесь солдатчина и отвага нескольких низших гвардейских офицеров производят и в состоянии произвести величайшие перевороты”.

Интриги сторонников Елизаветы велись неловко, и вскоре о них прознали при дворе правительницы. Еще Линар настоятельно, но тщетно рекомендовал Анне арестовать и заточить в монастырь цесаревну, а заодно выдворить из страны маркиза де Шетарди. Но Анна к советам не прислушалась. Не подействовали на регентшу и предупреждения А.И. Остермана, который отовсюду получал известия о готовившемся перевороте. Отвергла она и предостережения австрийского посла маркиза де Ботта: “Вы на краю пропасти. Ради Бога, спасите себя, спасите императора...”. А своему мужу-генералиссимусу запретила расставлять по улицам пикеты, сказав, что никакой угрозы не видит.

Последний, кто пытался спасти Анну, был обер-гофмаршал Р.Г. Левенвольде — ночью он передал правительнице записку, в которой уговаривал не пренебрегать грозящей опасностью. Анна Леопольдовна, пробежав ее глазами, сказала: “Спросите графа Левенвольде, не сошел ли он с ума? Все это пустые сплетни, мне самой лучше, чем кому-нибудь, известно, что цесаревны нам бояться нечего”.

Рассказывают, между тем, и об одном характерном предзнаменовании, которое получила правительница накануне ее низложения. Историк А.Ф. Бюшинг (со слов одной придворной дамы) живописует сцену, когда регентша, направляясь навстречу Елизавете, вдруг неожиданно споткнулась и упала прямо к ее ногам. Хотя суеверием Анна не отличалась, это падение произвело на нее глубокое и самое сильное впечатление. “Да, мне еще придется в ноги кланяться Елизавете”, - пророчествовала она тогда. Но то было настроение минуты, которое быстро оставило отходчивую и добросердечную правительницу. Она любила Елизавету и не сомневалась в ее преданности ей и малолетнему императору.

Такая уверенность зиждилась на несокрушимой вере Анны в добрые чувства своей двоюродной тети. “В самом деле, — поясняет историк Н.И. Костомаров, — между правительницей и цесаревною господствовало полное согласие и нежнейшая родственная дружба. В день рождения цесаревны, в декабре 1740 года, правительница послала ей в подарок дорогой браслет, а от лица малолетнего императора — осыпанную камнями золотую табакерку с гербом, и тогда же... указано было из соляной конторы выдать 40 тысяч рублей на уплату долгов цесаревны. Когда у правительницы родилась дочь, восприемницей ее при св. крещении была цесаревна”.

Наконец, Анна все же решилась на ... разговор с Елизаветой. 23 ноября 1741 года она на придворном вечере отозвала для беседы цесаревну и напрямую спросила, не собирается ли та совершить государственный переворот. Елизавета ответила, что присягала на верность Иоанну Антоновичу, что она, так же, как и Анна, тверда в православной вере и потому никогда не будет клятвопреступницей, что все на нее наклеветали ее враги, желая ее погибели (для пушей убедительности она, как пишут современники, “проливала потоки слез”). Разговор регентши и цесаревны вышел очень трогательным и душевным, и Анна Леопольдовна успокоилась.

А на следующий же день, в ночь с 24 на 25 ноября, Елизавета, сопровождаемая 300-ми гвардейцами Преображенского полка, совершила переворот, который некоторые писатели называют “разбойным захватом власти, свержением законного

императора”. Войдя в покои спящей правительницы, Елизавета бросила ей: “Сестрица, пора вставать!” Догадавшись, что случилось, Анна Леопольдовна произнесла, по преданию, такие слова: “Слава Богу, что дело кончилось так мирно и спокойно. И что Елизавета достигла своей цели без кровопролития. И за эту милость надо благодарить Бога”. Она попросила новоявленную императрицу только об одном — не причинять зла ее детям, и прежде всего Иоанну Антоновичу. Елизавета, конечно же, пообещала и взяла на руки младенца, который безмятежно улыбался. “Бедное дитя! Ты вовсе невинно: твои родители виноваты”, — изрекла она.

В преддверии неминуемой ссылки Анна Леопольдовна горячо настаивала, чтобы при них находился неотлучно православный священник. Первоначально решено было Брауншвейгское семейство отправить за границу, и Елизавета, зная о набожности племянницы, особым указом распорядилась, чтобы ссыльным предоставить “имеющуюся ныне в Риге походную церковь, которая в прошлом году...взята из Митава, с антиминсом, дароносицею, серебряными сосудами, тако ж с двумя переменами риз и с принадлежащими книгами”.

Однако потом Елизавета Петровна передумала и приказала перевезти узников сначала в город Раненбург Рязанской губернии, а с июля 1744 года — в далекую северную глушь Холмогоры. Их разместили в бывшем архиерейском доме, обнесённом высоким тыном, под неусыпным надзором сторожей, совершенно разобщившим их с внешним миром. Примечательно, что Елизавета настояла на том, чтобы Анна подписалась за себя и детей под текстом присяги на верность ей, новоявленной императрице: “Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом... в том, что хочу и должен ея императорскому величеству своей истинной и природной великой государыне императрице Елисавете Петровне... верным, добрым и послушным рабом и подданным быть”. Сама клятвопреступница, Елизавета Петровна могла не сомневаться в том, что богобоязненная Анна таковой не окажется. Впрочем, главным для монархини было получить бумажку - документ, который предъявить можно в доказательство того, что бывшая правительница — вовсе не иностранная принцесса, а своя, российская подданная, послушная раба “истинной и природной государыни” Елизаветы. Напомним, что ранее внушалась обратная мысль о немецких корнях Анны и инородческом засилье при ней; сейчас же оказалось вдруг уместным вспомнить о ее русскости.

В ссылке привыкаешь довольствоваться малым: вот служить в крестовой церкви архиерейского дома в Холмогорах допустили священника с дьяком и пономарем. И приставленный к ним чиновник Н.А. Корф удивленно пишет: “Я не в состоянии донести, какое обрадование при моем объявлении у известных персон было, когда я им объявил ея императорского величества высочайшую милость о дозволении службы Божией...; они с радости сами не знали, что на то мне ответствовать”. Развлекало заключенных чтение, а также прогулки по саду при доме и катанье в карете, но не далее двухсот сажен от дома, и то под охраной солдат. Заключенные, из-за ничтожности отпускаемых на них средств и произвола стражи часто нуждались в самом необходимом. Жизнь их была тяжела. Но и в этих условиях родители занимались воспитанием малолетнего Иоанна Антоновича (в 1744 году их с ним разлучили). Как утверждает Ф.И. Гримберг в своей книге “Династия Романовых. Загадки, версии, проблемы” (2006), “по воспитанию своему это был самый, да нет, что уж там, единственный настоящий русский император за всю историю всероссийской империи. Он умел читать по-церковнославянски, был наставлен в православии и едва ли не склонялся к “древлему благочестию”, к “раскольничьим убеждениям”.

В ссылке у супругов родились еще двое детей: Елизавета (1743) и Петр (1745). Обряд крещения Петра в глубокой тайне совершал приставленный к Анне крестовый иеромонах Илларион Попов, с коего, между прочим, была взята такая подписка: “1745 года марта 19-го призван был я, иеромонах Илларион Попов, к незнаемой персоне для отправления родительских молитв, которое как ныне, так и впредь иметь мне скрытно и ни с кем об оном, куда призван был и зачем, не говорить под опасением отнятия чести и лишением живота; в чем и подписуюсь”.

Анна Леопольдовна скончалась на 28-м году жизни 7 марта 1746 года от “огневицы”, родильной горячки (причем, когда несчастная обратилась с просьбой о повивальной бабке, ей в этом отказали). Историк М.А. Корф полагает, что в ее смерти повинны непрофессионализм и порочные методы лечения приставленного к ней штаб-лекаря, который знал только одну панацею от всех болезней — кровопускание. “Если прежде ее натура могла выдержать такие героические средства, — замечает он, — то на этот раз, измученная, истомленная разбитыми надеждами, тюрьмою, разлукою с сыном и с любимицею, бывшая правительница более не вынесла и за немногие месяцы, проведенные ею на русском престоле, окончательно расплатилась посреди снегов архангельских своею жизнью”. Родившийся у нее сын, нареченный Алексеем, по счастью, выжил.

Говорят, когда императрица Елизавета узнала о кончине Анны, она “очень плакала”. Но при этом императрица тут же потребовала от Антона-Ульриха “обстоятельного о том известия, какую болезнью принцесса супруга Ваша скончалась”. Елизавете надобен был политический документ, который можно предъявить Европе в случае появления “Лжеанны Леопольдовны”. Важно было и показать крещеному миру, что принцесса умерла не насильственной, а своею смертью. Тело принцессы анатомировал все тот же тюремный штаб-лекарь, его уложили в дубовую колоду и по мартовскому снегу повезли в Петербург, где и похоронили с большою торжественностью в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры...

Власти предрержащие стремились, как писал современник, “стереть самые следы царствования Иоанна Антоновича”. Последовали указы Елизаветы Петровны об изъятии у населения всех книг, русских и иностранных, указов, манифестов, церковных проповедей, а также монет с “известным бывшим титулом”. Их надлежало немедленно уничтожить; хранившие же оные подвергались самому жестокому взысканию — ссылке в деревню навечно, наказанию плетью или же “бить батоги” и даже отрубанию руки. Запрещено было даже упоминать имя Иоанна Антоновича в разговоре. За “правый донос” о сокрытии крамольных книг, монет и произнесении речей об “известных персонах” изветчика награждали, а злоумышленника препровождали в Тайную канцелярию, где каты-костоломы допрашивали его с пристрастием.

В такой обстановке всеобщего тотального молчания о Брауншвейгском семействе — молчания под страхом жесточайшего наказания! — тем более поражает тот еще не оцененный историками факт, что в самом сердце Петербурга, а именно высших придворных сферах, память о бывшей регентше империи продолжала жить. Как это ни парадоксально, но чуждая щегольству Анна Леопольдовна явила себя законодательницей моды, коей следовали многие знатные дамы. Характеристика этой самой моды содержится в “Записках” Екатерины II: “Волосы без пудры и завивки просто были гладко зачесаны на висках, над ушами; надевали очень маленький локон, из которого до половины щеки вытягивали немного взбитых волос; здесь из них делали крючок, который приклеивали в углублении щеки; потом окру-

жали голову на полтора пальца расстояния ото лба, над макушкой, очень широкой лентой, сложенной вдвое; эта лента кончалась бантами на ушах, и концы ее падали на шею; в банты эти втыкали с двух сторон цветы, которые помещались пальца на четыре выше над ушами очень прямо; мелкие цветы спускались отсюда на волосы, покрывавшие половину щеки; кроме этого, надевали массу лент из одного куска на шею и лиф, ... шиньон составляли четыре висячие букли волос”. Великая княгиня Екатерина Алексеевна тут же сообщает, что прическу Анны Брауншвейгской носил в 1740-е годы “и двор и город”. Если учесть приверженность модам Елизаветы Петровны, станет понятно, как уязвляло сию императрицу-шеголиху, обладательницу 15 000 платьев, это нежданное напоминанием о низложенной племяннице, посмевшей соперничать с ней там, где конкуренции она вовсе не терпела, ибо считала себя “всех милее, всех румяней и белее”...

Но вернемся к проклятию царицы Прасковьи. Кажется, что злой рок тяготел над всем Брауншвейгским семейством. Иоанн Антонович был отделен от семьи, а с 1756 года томился в одиночной камере Шлиссельбургской крепости; 5 июля 1764 года его вероломно убили при попытке освобождения, предпринятой поручиком В.Я. Мировичем. Остальные дети Анны, болезненные и припадочные, провели в ссылке более 36 лет. Антон-Ульрих после многочисленных напрасных просьб отпустить его с семьей за границу, ослеп и умер в Холмогорах в 1774 году. Только в 1780 году Екатерина II отпустила оставшихся в живых четверых детей Брауншвейгского семейства в Данию, определив им полное содержание русского правительства.

Принцы и принцессы, которые, кстати, уже не желали уезжать из России, были православными, говорили только на русском языке, причем с характерным северным “холмогорским” выговором. В Данию с ними прибыли священник и слуги. В 1782 году скончалась принцесса Елизавета, в 1787 году умер принц Алексей, в 1798 году — Петр. Дольше всех прожила глухая и косноязычная принцесса Екатерина. Тщетно просила она императора Александра I вернуть ее в Россию (1803), где она собиралась постричься в монахини. Она скончалась в Горсенсе в 1807 году и там же погребена вместе с сестрой и братьями. Так заканчивается рассказ о проклятом семействе. Судьбе было угодно на краткий миг вознести его на гребень российской власти, чтобы потом стремительно низвергнуть в пучину страданий и бед, длившихся всю оставшуюся жизнь...

Размышляя над причинами падения Брауншвейгского семейства, вспоминаешь характеристику классика исторической мысли С.М. Соловьева: “Не было существа менее способного находиться во главе государственного управления, чем *добрая* Анна Леопольдовна”. Спору нет, правительница ярким государственным умом не обладала, но разве отличались им менее образованные и интеллигентные — бывшая “портмоя” Екатерина I, капризный мальчишка Петр II, “царица престрашного зраку” Анна Иоанновна, “самодержавная модница” Елизавета?

Может статься, весь смысл здесь в этом слове “*добрая*”, ведь, наверное, душевная чистота, прямотушие, мягкосердечие, кротость в принципе неприемлемы для самодержца вообще, а в условиях России особенно? Выходит, прав Н. Маккиавели, сказавший в свое время, что государь, руководствующийся принципами добра, пропадет, поскольку живет среди людей порочных и злых? А ведь и “основоположники” К. Маркс и Ф. Энгельс отделяли мораль от политики, подчеркивая необязательность да и ненужность соблюдения правителем нравственных правил. А согласно Л.Д. Троцкому, основа личности руководителя — вовсе не его душевные качества, а целеустремленность, решимость, непримиримость к врагам. И мы знаем не

понаслышке: при коммунистическом режиме имморализм властей предрержащих, чуждых начаткам нравственности и творивших зло в небывалых доселе масштабах, прочно укрепился в СССР, где все было подчинено политике и утопическим доктринам. “Союз нерушимый” распался, разрушился, но просуществовал долго, продемонстрировав жизнестойкость самой идеи нечистой и аморальной власти.

Однако в рассматриваемый нами исторический период декларировались совсем иные постулаты: мысль о “добродетельном монархе” овладела, казалось бы, всеми. Подробно проследить генезис и историю сего понятия в здесь невозможно, но бесспорно, что традиция единства политики и морали укоренилась в общественном сознании еще в достопамятные времена. Плутарх предъявлял к правителю нравственные требования. Для великого Аристотеля во власти и политике должны участвовать лишь люди достойные. И Сенека в трактате “О милосердии” утверждал: тот правитель, у коего власть соединена с добродетелью, есть избранник богов. В этом же духе высказывались Плиний и Тацит. А говоря о временах более поздних, можно вспомнить Г. Мабли, который называл политику общественной моралью, а мораль — частной политикой. Хорошая политика, по Мабли, не отличается от здоровой нравственности. И согласно Ж.-Ж. Руссо, власть неотделима от морали, и все, что является нравственным злом, является злом и в политике.

Образ милосердного добродетельного монарха становится характерным и для европейских литератур барокко и классицизма. Под несомненным влиянием французского классицизма добродетельный монарх обретает голос в русской драматургии XVIII века. А в отечественной поэзии восхваление добродетелей венценосца предусматривалось самими законами панегирического жанра, и потому апогетика такого рода упорно и настойчиво повторяется практически в каждой торжественной оде или стихотворном посвящении. Стоит ли объяснять, что то был риторический прием, а приписываемые (всем) монархам и монархиням (одинаковые) “доброты” — мнимые и имели к ним такое же отношение, как “Моральный кодекс строителя коммунизма” к беспринципным партийным аппаратчикам брежневского застоя.

Но Анна Леопольдовна, какой она видится нам сегодня, личность и в самом деле обаятельная и притягательная. Беда ее в том, что бойцов, вставших на ее защиту во время “гвардейского” мятежа Елизаветы, не отыскалось. А все потому, что регентша не смогла создать свою “команду” и управлять ею. Не имея способности и воли авторитарного Петра Великого, добродетельная регентша допустила такой уровень дезорганизации высших эшелонов власти (мы говорили уже об интригах и склоках среди главных министров), который оказался губительным для ее правления.

Ее преемница, менее щепетильная, циничная и не верная слову Елизавета потому и царствовала два десятилетия, что умела держать под контролем и использовать в своих интересах борьбу придворных группировок (хотя в ее окружении не было государственных мужей такого масштаба, как Миних или Остерман). В отличие от своей двоюродной племянницы с ее пылким романтическим воображением, дочь Петрова отнюдь не идеализировала людей, не искала в них доброе начало, понимая, что с таким подходом к жизни на российском престоле не удержишься. “Анна Леопольдовна вполне могла бы быть английской королевой, — резюмирует историк И.В. Курукин, — как ее тетка, царствованию которой в 1702-1714 гг. при ожесточенной борьбе партий в иной, более устойчивой политической системе, ничего не угрожало. Но роль политика в условиях России была ей явно не по плечу”.

И становится понятно, что политический режим, сама система самодержавной власти обрекали на низложение и наказание правителей добродетельных и честных. Торжествовали же порфиноносцы двоедушные, лживые и безнравственные. Изменить этот — увы! — закоренелый обычай станет возможным только в правовом государстве, в коем столкновения политики и морали минимальны. Что до честной и добродетельной Анны Леопольдовны и Брауншвейгского семейства, то за свое прикосновение к власти в XVIII веке они заплатили очень дорого.



Александр Левинтов

СУДЬБЫ

(продолжение. Начало в №9-10/2013)

Старая дача

Эту дачу дали моему деду, ответственному работнику наркомата тяжёлой промышленности. Он отвечал за строительство всех танковых заводов в стране и был человеком известным: в газетах на фотографиях торжественных открытий этих заводов в Харькове, Челябинске, Омске и других городах СССР он стоял вторым-третьим от наркома Орджоникидзе, однако всегда так, что только родные, близкие знакомые и соратники могли распознать его под заретушированным до неузнаваемости портретом.

Органы жёстко следили за тем, чтобы такие люди, как мой дед, не попадали в досье германской, английской или американской разведок: в предгрозовые 30-е шла тайная технологическая война между этими странами, со странными и необъяснимыми обмёнами любезностями, подкупам, провокационными играми. Американские инженеры участвовали в строительстве гидроэлектростанций, автомобильных и тракторных, они же танковые, заводов, лётчики немецкого люфтваффе учились летать в липецком лётном училище, а наши конструкторы работали в авиастроительном бюро концерна Мессершмидта.

Мой дед принимал американских инженеров, был с ними на банкетах в московском «Метрополе» и на местах. Он даже ездил в Америку от Транспортного отдела НКВД с миссией закупки у непризнанного американского инженера Уолтера Крисби модели гусенично-колёсного танка, которая легла потом в основу серии быстроходных танков «БТ». Но обо всём этом я узнал много-много позже.

У нас тогда с Америкой были очень странные отношения.

В США на автомобильных и особенно на авиационных заводах работали русские инженеры, которые считались тогда лучшими в мире. НКВД на первых порах сильно рассчитывала на их патриотические чувства и ностальгические настроения, на то, что из них можно будет сформировать настоящую пятую колонну в американском военпроме, однако вскоре выяснилось, что Сикорский, Северский и все остальные им подобные ненавидят СССР больше, чем кто бы то ни было, и сторговаться с ними, шангажировать и запугивать их — бесполезно.

В Москве мы жили в большом новом доме у Песчаной площади. Тут не один дом, а целый квартал принадлежал Наркомтяжмашу. Все друг друга знали и должны были и дома соблюдать производственную дисциплину, производственные и служебные отношения: семьи мелких служащих жили в коммунальных квартирах на первых этажах, жёны этих служащих торчали на кухнях и судачили в очередях, начальство жило на верхних этажах в отдельных квартирах с ванными и балконами, а продукты им привозились на служебных машинах — и это всех устраивало.

Когда стали распределять дачные участки, то деду и его соседям, таким же, как он, членам коллегии наркомата, досталось 50 соток, с соснами, липами и огромным елями.

Дом построили быстро — рабочие, строившие ЗИС. Сад-огород также был разбит передовиками соседнего колхоза. Все яблоны были знаменитых мичуринских сортов, районированных для Подмосковья. Были поставлены также чудо-теплицы.

Этот мир был отгорожен ото всего остального мира высоким глухим забором. На нашей тесной дачной улочке все дачи были отделены такими же заборами. Мы жили вне пыли, гомона и трескотни внешнего мира. Никакие Мишки Квакины к нам за яблоками не лезли и никакие Тимуры со своими командами нас не защищали, но я знал, что всё это есть, где-то там, во внешнем мире, не касающемся нашей дачи. Здесь был свой мир.

Я любил здесь играть, один. Наш сад то представлялся мне лесом, дремучим, населённым разбойниками и чудовищами, с которыми я храбро сражался, то был запутанным лабиринтом, из которого почти нет выхода, то парком вокруг сказочного дворца, где спала в ожидании меня прекрасная принцесса. Я любил играть здесь в прятки — сам с собою и с взрослыми, которые в испуге искали меня перед вечером. Но более всего я любил сидеть на скамеечке под нашей липой, сладко пахнущей мёдом, смотреть сквозь её листву на ласковое и мягкое, коричнево-золотое предзакатное солнце и макать горячие бабушкины оладушки в бело-розовые пенки малинового варенья. И, конечно, я любил спать в нашей беседке: глаза закроешь, но не совсем, а только прищуришь их, и всё становится тёплым и розовым. И кажется, что весь мир в это время тёпл и розов и немного подрагивает от моих моргающих ресниц.

Нашу московскую квартиру и особенно нашу дачу я помню с самого своего раннего детства — ведь я родился и вырос здесь. И всё было своё, родное и одновременно немного сказочное, таинственное, но не страшное, а беззаботное, как и вся тогдашняя жизнь.

Когда дедушку взяли, мне было шесть лет. У нас ничего не отняли, как у других, ни дачу, ни квартиру, только служебную машину. Я тогда ничего не понимал: промпартия, диверсант, шпион, вредитель, троцкист, враг народа — какой враг народа, если мы и есть — народ, а дед никогда нашим врагом не был? Но «Правда» и радио ведь всегда говорят только правду.

Мой отец был инженером по гальванике, он делал броню для танков.

Когда началась война, нас эвакуировали вместе с институтом, экспериментальным заводом и оборудованием за Урал. Там мой отец стал крупным инженером, главным инженером танкового завода на Алтае, и у нас в семье опять появилась служебная машина, чёрная «эмка».

Я хорошо помню жизнь в Сибири, лютые и снежные морозы, так, что мы чуть не по полмесяца не учились и обязаны были сидеть по домам, но мы все эти морозы играли в снежную крепость и войну, мне ледышкой подбили глаз и дрыном сломали ключицу, но это всё зажило.

Зимой 43-го я впервые увидел немцев. Целый эшелон военнопленных пригнали в наш город — колонна растянулась на весь город. Немцы жили в тюрьме из нескольких одноэтажных бараков. Они строили наш завод, вторую очередь, чтобы наши танки били оставшихся ещё немцев. Ещё они играли на губных гармошках.

А лето в Сибири очень жаркое и пыльное. Часам к трём в небе собирались огромные грозовые тучи, громохало с перекатами, но никакого дождя до земли не долетало. До конца июня было полно комаров, а потом, до конца лета — огромных пауков, которые очень больно жалили и кусались. И — никакой дачи. Зато у нас был огород, где мы растили картошку и помидоры, больше здесь ничто не успевало вызреть, несмотря на жару. И еще был сарай во дворе и свой чулан в подвале. В чулане хранилась картошка и всякий хлам, в сарае — уголь, дрова и тоже всякий хлам. Летом, на месте поленицы, устанавливался топчан и можно было спать, как все соседские мальчишки. Но мне не разрешали. Ещё помню огромную уборную, обсаженную черёмухой. В мае черёмуха обсыпала нас своим белым цветом, по ночам летал сонные майские жуки, они ударялись вслепую о стволы, падали навзничь на землю, а утром мы собирали их в спичечные коробки и сдавали в аптеку.

А дачу и нашу квартиру на Песчаной, и всю довоенную жизнь я не вспоминал, будто это была вовсе и не моя жизнь, а какого-то другого мальчика.

В конце войны мы вернулись в Москву. Отец перешёл на работу в аппарат министерства оборонной промышленности, стал начальником главка. Я поступил в институт стали и сплавов на Калужской заставе — ехать с Песчаной надо было через весь город, почти час. Иногда меня подвозила отцовская служебная машина, но это было нечасто.

Дача во время войны сильно обветшала. Отцу дали небольшую бригаду строителей они за лето построили практически новый дом, а в дальнем углу сада — хозблок с мастерской, кухней, маленькой спальней и дровяным навесом для поленицы в три куба. Родители весь дачный сезон возились на даче, а мне было все не до неё, лишь пару раз за лето я приезжал сюда и непременно спал в хозблоке. И здесь, под россоист ночных соловьёв, дальние крики петухов и гудки паровозов мне снились самые сладкие и трепетные сны моей жизни.

Но сама дача стала для меня глухой, непроницаемой. Она утратила свою ответственность со мной, наше сверстничество (я чувствовал себя безудержно молодым, а она уже казалась не то, чтобы старой, но стареющей), таинственность и сказочность и превратилась в убежище, где за потаённость надо платить: весенней копкой, бесконечными подновлениями и поправками хилеющего хозяйства под неусыпным отцовским взглядом. Это была родительская дача, не моя. Пусть и гостеприимно, но она встречала меня с чопорным отчуждением и даже гордостью за свою плодovitость и урожайность. И корила меня за беспутность и целеустремлённость не на то, на что надо.

После диплома меня распределили в Гиредмет, что на Ордынке, который курировал мой отец.

И так началась волынка под названием судьба: шаг по жизни — шаг по работе, женился — дали группу, родилась дочь — вступил в партию, родилась другая — зав. сектором, дали двушку в Беляево — вошёл в партбюро. Каждый маленький шаг дома — маленькое продвижение или маленькая льгота на работе. Кто я? что я? зачем я? — никому неважно и неинтересно, ни на работе, ни дома, ни мне самому, никому на всём белом свете. Пробовал пить, по бабам — всё то же самое, только с нервотрёпкой и непонятным риском.

Иногда я брал отгулы, честно заработанные в дружинке, донорские или за участие в митинге по защите мира, уезжал на дачу, запирался там и проводил несколько дней в одиночестве: пил, пытался писать стихи, прозу, рисовал, но всё это было как-то нервно, неровно и не выражало меня. Я искал в этих одиноких поезд-

ках, в слякоть и в порошу, спасение, а находил лишь отдушину. Чтобы после неё вновь впрячься в напряжённые работы по семейному благополучию и мировому страху перед нами.

Так прошла почти вся жизнь, в угаре дом-работа, куя зарплату, квартальную и грозное оружие Родины, которое может донести смерть до любого уголка земли.

Ближе к пенсии я, наконец, прорвался. К самому себе и к Богу.

Меня попёрли отовсюду: с работы, из партии, из очереди на «Ниву», на гараж, на улучшение жилищных условий, обвинили в преждевременной смерти отца, зачем-то вспомнили реабилитированного деда, я так думаю, нацеливались отнять и дачу, но тут у них у самих всё начало разваливаться и рушиться, наступила перестройка — от меня отстали и партийные райкоматы разогнали.

И я, как и все, оказался на панели и не у дел. Попытался заняться коммерцией и бизнесом, пару раз меня так круто приложили, что я чуть не спился. Но — Бог уберёт. И даже указал дорогу.

Всю жизнь я отдал на то, что готовил смертоносное оружие, а, значит, участвовал в военных преступлениях моей истошной страны, убивал ни в чём неповинных мирных жителей и солдат чужих стран, пытавшихся отстоять себя от нас, за что нас и боялись и ненавидели, нас и меня. И теперь я искупаю этот мой грех перед Богом. Не наш грех, не грехи партии и правительства, а свой, персональный грех.

Я пошел работать простым санитаром на «Скорой»: эвакуировать больных, сумасшедших, сердечников, с травмами, таскать их на носилках и каталках, часто безо всяких лифтов по узеньким лестницам и лестничным площадкам — они такие узенькие и неповоротливые, потому что основные деньги и силы уходили мимо них на оборонку, на те самые танки, броню для которых сочинял я. И не архитекторов, а меня надо винить за то, что больше не протащишь к машине, стоящей внизу у подъезда. Приходилось порой и трупы вытаскивать — люди живут так, что покойника и положить-то негде в доме.

Я продолжал работал, хотя мне было уже сильно за семьдесят. Но я не мог уйти — кто будет таскать больных? Молодёжь в санитары не шибко идёт. Да и грех свой я не отработал и не отмолил и теперь уж вижу, что никогда не сумею отмолить и отработать, помру грешником.

Старая дача теперь моя. Мы вновь с ней сроднились и теперь понимаем друг друга с полуслова: я подвязываю ветки яблонь и подставляю осенью рогатки, чтобы легче было нести ей россыпь своих плодов. По осени я отпиливаю старые и умершие ветки. Эти ветки идут потом в маленькую копилку, на две-три рыбы. А ещё ими хорошо растапливать печку в доме и в бане. После долгих дождей и весенней распутицы надо поправлять дорожки, весной же надо белить стволы и сжигать мелкий растительный мусор.

Я люблю эти сизые осенние и весенние костры, пахнущие горечью прожитых лет, как будто сжигаешь со старой листвой и немного себя. От них щемит что-то непонятное внутри, и поневоле плачешь по всему на свете. Всех жаль.

После смерти матери я приватизировал дачу на своё имя, всё оформил, где надо и завещание составил на обеих дочек и трёх моих внучек. Вон самая мелкая под берёзой в песочнице возится со своими игрушками. По берёзе прыгает пушистая белка, заветная мечта моего кота, что лежит у меня на коленях и бурчит своим сытым нутром.

Стоит бабье лето — теплынь и благодать. Помидоры в тепличке еще не собраны, надо бы собрать, и яблоки осыпаются, и падает на землю перезревшая слива. За высоким глухим забором давно затихли на своих погостах Мишки Квакины и Тимуры со своими командами, ветви яблонь, лип и елей низко-низко припадают к земле, они устали жить, как и я.

Хозблок я переделал в баньку. Когда наезжают все, с шумом, суетой и гамом, я ухожу сюда: банька за день хорошо протопится, и в предбаннике, на узеньком диванчике хорошо спится. В углу — лампадка. Всегда можно помолиться в тиши и уединении. Мы стали очень похожи: старая, немного корявая дача и я, старый, немного корявый дед. Моя душа живёт здесь, но совсем тайком, невидимо для остальных.

В саду теперь гуляют чужие сказки и превращения — моих внучек. Что им грезится на этих скамеечках и в беседке, какой мир проступает сквозь неплотно прикрытые веки?

И я спокойно закрываю свои глаза.

Босисей

Моё детство кончилось 1 октября 1950 года. В этот страшный день мне исполнилось шесть лет, а в стране начался отлов инвалидов войны, прежде всего первой группы: безруких, безногих, словом, безнадежных.

Хватали не только уличных, но и по домам.

Мой отец был инвалидом первой группы. В самом конце войны ему пробило снарядом легкие, он кое-как выжил, вернулся с фронта и даже заделал мне сестрёнку, Лизку, но потом у него открылся туберкулез и, сколько я его помню, он никогда не вставал, лежал на топчане за шифоньером, всегда только навзничь. Мать завесила вход к нему нашей скатертью.

Мы очень боялись, что его заберут, но соседи по квартире его не выдали: и потому что было жалко, он ведь до войны был мастер золотые руки и всем всё починял бесплатно, и потому, что тогда бы у всех немного поднялась бы квартплата, а этого не хотел никто. И он никому не мешал.

Ему полагалась пенсия — 80 рублей в месяц. Это — неполных два кило воблы или полкило мяса. В его орденских книжках (я их прочитал только, когда отец умер) были написаны всякие блага, вознаграждения и льготы, но ничего этого, конечно, не было.

Мать работала в школе уборщицей и получала 320 рублей. Больше она работать не могла, так как надо было ухаживать за отцом и поднимать трёхлетнюю Лизку.

А я стал взрослым.

По дому всё делал я сам: стирал исподнее и верхнее, ходил в магазин, готовил (а чего там готовить: картошка с кильками, а по выходным макароны с плавленным сыром «Новый» или «Городской», ну и чай заваривал, мы его закусывали подушечками, потому что они были дешевле сахара), мыл полы — в нашей семиметровке, а ещё в местах общего пользования и на лестничной площадке, когда подходило наше дежурство.

Ещё я умел выпиливать лобзиком и обжигать. Это было очень важно: свои этажерки, коробочки, рамки и прочую мелкую ерунду я относил барыге на Измай-

ловском рынке: он торговал всей этой фигнёй по пятнадцать рублей штука, а мне платил по пятерке, да ещё из пятерки выдирали за фанеру, гад, чуть не по рублю. За неделю набегала целая торба этих изделий, иногда аж на пятьдесят рублей.

И был какой-то полулегальный заработок через артель инвалидов, где и лежала отцовская трудовая: я, мать и даже Лизка клеили почтовые конверты: 8 рублей за тысячу штук. Их надо было сложить, проклеить, дать высохнуть клею по краю крышки, сложить. Тут, конечно, нужна сноровка. Сначала у меня получалось очень медленно, но вскоре я запросто за час делал триста конвертов.

Так мы и жили. Отец за шифоньером и мы при нём. Он умер в 61-ом году, чуть-чуть не дотянув до моего выпускного, 9 мая (тогда никто и не праздновал день Победы, это стало праздником и выходным позже, при Брежневле).

1 сентября 1951 года я, как и положено, пошёл в школу. Мужская школа была у нас совсем рядом, да и женская недалеко — Лизка первый класс училась в женской школе.

Нас в классе было двадцать восемь человек, из которых трое — переростки. Они уже по третьему-четвертому году не могли переползти во второй класс. Эти лбы уже вовсю курили, но нас они не трогали и даже не замечали — мелочь пузатая, хотя пузатых среди нас никого не было: у всех «остатки рахита» и «хроническое недоедание», как записывалось при школьной диспансеризации.

Кто-то из этих троих назвал меня Босисеем, и это приклеилось ко мне на всю жизнь. Я и сейчас, когда мне уже семьдесят, Босисей. И никто, кроме меня не знает, что такое Босисей. А дело было именно 1 сентября 51-го года, на первом же уроке. Каждый должен был встать и назвать себя. Все говорили имя и фамилию, а я — полностью: Борис Алексеевич Коваленко. С камчатки раздалось «Босисей», все засмеялись, и я остался навсегда Босисеем. Да я никогда на это не обижался. Было бы на что. Смешно сказать, а так всю жизнь и прожил, по имени-отчеству.

Босисей, как я теперь думаю и понимаю, закрепился и держался потому, что я ни в каких внеклассных делах, субботниках там, походах, кружках и прочих благоглупостях не участвовал — и никто меня за это не трогал и не ругал. Все знали, что я тяну семью и мне возиться с этим некогда.

У половины пацанов отцов не было — и это никого не удивляло и не вызвало вопросов. У меня и еще у одного отцы были инвалидами первой группы, прятавшимися первое время от милиции (потом о приказе забыли, как и о самих инвалидах).

Сначала я учился неплохо и начальную школу окончил с похвальной грамотой: всего одна четверка. Но в пятом нас объединили с девчонками, появились предметы: и все наши четверки-пятерки посыпались на тройки-двойки. Вера Матвеевна, наша старая училка в младших классах, добрейшей души человек, ставила нам хорошие оценки не за знания, а по своему сердоболию.

Не знаю, зачем, но мать настояла, чтобы я непременно кончил десятилетку. Ну, кончил. Никуда не поступил, да и не поступал.

В девятом классе мы три дня учились, три дня работали на заводе. Это тогда называлось «политехническое образование» и поэтому нам за работу ни хрена не платили. Но я научился токарничать, освоил и фрезерный и револьверный станки, поэтому проходил в учениках всего месяц (другие по три месяца ждали разряда) и стал прилично зарабатывать, по тем временам, разумеется.

Потом армия. Я во Вьетнам загремел, в спецвойска. Там и стал лысым как арбуз. Зато живой и даже не инвалид.

Пришел из армии — все одноклассники институты-университеты позаканчивали. Все поступили! Мне не то, чтобы обидно стало, а скорее — стыдно. Поэтому Лизку я заставил поступить, хоть в какой-нибудь. А она, дурёха, подала в Физтех и даже поступила, и хорошо училась, и окончила, и на работу распределась в какой-то ящик в Свиблово.

А я что?

Токарить на заводе? — да пошли они все!

В военное училище меня взяли практически без экзаменов, за Вьетнам. Распределили в ЗаБВО, двести пятьдесят километров от Читы, потом перевели в САВО, в Красноводск. Оно, хоть и пустыня, и с водой проблемы, а всё-таки ничего, если бы не Афган.

Четыре года в Афгане — это, считай, вся предыдущая служба лишь тренировки.

К душману во двор ворвёшься, всех к стенке руками вверх, всю их технику: транзисторы, телевизоры и прочую дребедень выставишь рядом, обольешь из калаша вдребезги, вместе с хозяином — это не война, это ад и позор, на тебя афганские дети смотрят как на волка, женщины — молчат, но мы-то знаем, кто мы для них. У меня два ордена за Афган — никогда не одеваю. И рядом с отцовскими не держу.

Меня из армии вычистили аккуратно в перестройку. Военная пенсия, конечно, не то, что у вас, гражданских, но и жить на нее невозможно. Да я и здоровый, мало ли что остатки рахита. Какой рахит? Посмотри на меня.

Все торговали — и я торговал. У пустого «хозяйственного» сантехникой. Где брал — неважно. Но меня что тогда возмущало и бесило? — подходит мент, он на две звездочки младше меня, бабло собирает, да еще покрикивает на нас: «Спекулянты! дармоеды!» Ты еще ничего не успел продать, да и не факт, что продашь, а ему — отдай! День так отторгуешь, вечером накаатишь, зубовым скрипом закусишь — и бивнями к стенке, до утра. Я тогда сильно зашибать стал. Сейчас уже в таком темпе не осилю.

А всё-таки сейчас мы хорошо живём. Пенсии мне хватает, Лизка иногда из своего паршивого Беркли понемногу подбрасывает. А будем жить ещё лучше, как тогда: Крым вернули, Украину, Прибалтику, Молдавию — всё вернём, Средняя Азия и Кавказ нам и на хрен сдались, а если надо: я хоть завтра в строй, на передовую, американцев крошить. Я ещё крепкий. Ещё повоюем!

*Приложение №1 к приказу МВД СССР
№00639 от 18 октября 1950 г.*

Лимит пополнения особых лагерей заключенными

Совершенно секретно

«Утверждаю»

Министр внутренних дел СССР генерал-полковник

С. Круглов

1. Минеральный лагерь — 28 000 чел. (в том числе 11 000 инвалидов)
2. Горный лагерь — 20 000 чел.
3. Дубравный лагерь — 23 000 чел. (в том числе 12 000 инвалидов)
4. Степной лагерь — 34 000 чел. (в том числе 10 000 инвалидов)
5. Береговой лагерь — 35 000 чел.

6. Речной лагерь — 30 000 чел.
 7. Озерный лагерь — 45 000 чел. (в том числе 5 000 инвалидов)
 8. Песчаный лагерь — 17 000 чел.
 9. Луговой лагерь — 18 000 чел.
- ВСЕГО — 250 000 чел.

Начальник ГУЛАГа МВД Союза ССР
Генерал-майор Добрынин

Приемный отец

Дребезжащий отваливающимися расхлябанностями автобус с трудом продирался по усыпанной мелкими обломками улице. Все, кто был в нем, человек двадцать, понимали, что это — последний автобус из города, разбомбленного, закутанного дымом и пылью. Все, кто мог и хотел, уже выбрались из этого ада. Там, в подвалах и лабиринте разрушений хоронились и прятались последние защитники, мародеры и те, кто по старости и немощи приготовились к последнему вздоху.

Мои уехали одними из первых. По их колонне пикирующие бомбардировщики прошли несколько раз, проутюжив тщательным свинцовым дождем все одиннадцать автобусов и милицёрскую машину во главе колонны. Не осталось никого. Я видел фото, сделанное непонятно кем и распространявшееся в городе в виде листовок. Я узнал автобус, в котором были мои — и не поехал туда, я бы не выдержал вида растерзанных и разбросанных тел.

Когда они уезжали, власти сказали им и нам, остающимся, что федеральные силы предупреждены, что это мирное население и что это — исключительно русские, ни одного из местных. Неужели еще двести беженцев представляли какие-то проблемы для начальства или просто патроны девать некуда?

Мы протрясались по разбитой улице, ведущей вон из города, и я, как ни пытался, не мог узнать эту улицу, хотя часто здесь бывал, конечно. На бетонной плите с вывороченной арматурой стоит девочка в пестреньком платьице. Автобус взвизгнул, и руки подхватили девочку и втянули ее внутрь автобуса. Она тут же забилась на заднее сиденье и затихла, молча, по-звериному. Местная.

Ей на вид лет девять-десять. Как моей. Но они совсем непохожи. Ни внешне, ни по тому, как смотрят вокруг себя. Маленький зверёныш. Смуглая кожа, маленькие черные глаза, быстрые и зоркие. Худющая. Змейка.

У моей были широко распахнутые голубые глаза и она всё время хохотала, звонко, заливисто, счастливо. И даже когда они уезжали, она, упершись мне в грудь руками, смеялась и говорила: «Па! Па! Приезжай поскорей: я забыла своего Кешу». Этот Кеша теперь лежит в моей сумке, посеревший плюшевый мишка. Это и всё, это и всё.

Чего она боится? Неужели она нас боится? Ну да, мы ведь все русские. Конечно, она нас боится. Господи, кто ж тебя тронет теперь? И зачем? Но она никогда этого не поймет и не поверит, что она в безопасности. Прогляни к ней руку — и она непременно укусит, до крови. Мне нестерпимо стыдно за то, что она так очевидно затаилась и приготовилась к последней защите себя.

Я достал из сумки Кешу, слегка обтряс его от пыли: «на». Она, было, взяла игрушку, но тут же в ней что-то приказало бросить мишку мне под ноги. Я поднял его и виновато засунул опять в сумку.

Автобус уже почти совсем выскочил из города, поплыли склоны окрестных гор и на этих склонах там и сям — пятна жилья, и всегда-то угрюмого и настороженного, а теперь почти бездушного, глубоко потаенного. Каждый дом дышит ненавистью, удушающей ненавистью. Даже пустой. Хотя никто не знает, пуст ли он на самом деле.

Автобус неожиданно останавливается:

— Выбирайте: ехать дальше или выходить здесь. Впереди блокпост. Я обязан ехать дальше. А вы решайте каждый за себя.

Мы потянулись через незакрывающуюся дверь. Девочка прощмыгнула первой, и когда я увидел ее лопатки и загорелые, все в садинах и царапинах голышки, я уже решил всё про себя, и вдруг замешкался, засуетился, зачем-то застрял в этих дверях, зацепившись рубашкой за какую-то торчащую и отогнутую железяку, рванулся, вырвав клоч ткани и чуть задев плечо, тут же начавшее саднить — пропади оно всё пропадом! Я боялся упустить ее из виду, потерять, и потому взгляд сразу нашел ее, карабкающуюся по камням к горному потоку.

Я помчался не за ней — инстинкт толкнул меня в другую сторону, сильно правой того места, куда побежала она. И краем глаз я видел, я всё отчетливо и ясно видел, как она взлезла на большой серый камень над водой и, не раздумывая, бросилась в кипящую холодную воду. И еще два прыжка — и я на крутом повороте реки, там, где воду прижимает к отвесному уступу — и она не может уйти от меня!

И я дико, дико и бессмысленно, крикнул: «Юля!» — и дальше уже не кричал, а ревел, громче потока.

И вот, я увидел в воде ее руку, я поймал ее и рванул и выхватил из потока это тело, показавшееся мне совсем невесомым. Я вырвал, вырвал ее из потока смерти и навалился сверху и ритмично, двумя руками стал массировать сердце, совсем как настоящий спасатель, и делал искусственное дыхание, и всё время кричал: «Не умирай!» и «Да помогите же мне!». Сквозь пелену сознания я улавливал, что люди стоят рядом, молча наблюдая мои попытки спасти ее и боясь вмешаться или помочь, потому что я в иступлении, в безумии. Но я делаю всё правильно и не теряю необходимого ритма, и мне кажется, что у нее вот-вот вздрогнут веки, изо рта пойдет вода и ее начнет непрерывно рвать. И она вернется в жизнь. И будет моей дочерью, и мы выберемся отсюда и уйдем куда-нибудь и будем только вместе, и я буду ее звать так, как ее зовут, и так забуду мою Юлю. И вот сейчас блеснет слеза оживления.

«Она мертвая», — твердо сказал во мне кто-то. Сзади, из города, достался скрежет паленого танкового железа. Сразу несколько машин не спеша ползли к тому месту, где останавливался наш автобус.

Наверно, я очень долго пытался оживить труп. Уже никого вокруг не было. Я встал, подобрал камень и пошел на танк.



Ефим Курганов
ШПИОН ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА,
ИЛИ 1812 ГОД
Историко-полицейская сага в четырех томах

(продолжение. Начало в №6/2014 и сл.)

Том первый
ПЕТЕРБУРГ—ВИЛЬНА
МАРТ — ИЮНЬ 1812-ГО ГОДА

ЭПИЗОД ВТОРОЙ:
Александр Павлович в опасности,
или История одного покушения

ИЗ СЕКРЕТНОГО ДНЕВНИКА
ВОЕННОГО СОВЕТНИКА
ЯКОВА ИВАНОВИЧА ДЕ САНГЛЕНА

Публикация профессора Николая Богомольникова
Перевод с французского Сергея Гляделкина
при участии Александра Долинкина
Научный консультант профессор Роман Оспоменчик^[1]

От публикатора

Предлагаемые ныне вниманию читателя материалы чрезвычайно любопытны в двух различных аспектах — и литературном, и собственно историческом.

Знакомство с этими архивными материалами, до сих пор никогда не вводившимися в оборот, позволит совершенно по-новому понять и оценить русско-французские военно-дипломатические отношения в 1812-м году, непосредственно перед началом войны, и одновременно читатель, наконец, сможет ясно представить то, что, собственно, осталось за кадром «Войны и мира» Льва Толстого.

Хочу прежде всего напомнить, что третья глава третьего тома эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» целиком посвящена описанию бала в имении генерала Л.Л. Беннингсена «Закрет» под Вильной.

Начинается глава со слов о том, что русский император Александр I со своим двором переместился весной 1812-го года в Вильну, а затем автор излагает краткую предысторию бала: « В июне месяце одному из польских генерал-адъютантов государя пришла мысль дать обед и бал государю от лица его генерал-адъютантов. Мысль эта радостно была принята всеми. Государь изъявил согласие. Генерал-адъютанты собрали по подписке деньги. Особа, которая наиболее могла быть приятна государю, — была приглашена быть хозяйкой бала.

Граф Беннигсен, помещик Виленской губернии, предложил свой загородный дом для этого праздника, и 13 июня^[2] был назначен бал, обед, катанье на лодках и фейерверк в Закрете, загородном доме графа Беннигсена»^[3].

Ключевая сцена главы представляет собой описание того, как во время бала к императору подошел министр полиции А.Д. Балашов и сообщил, что войска Наполеона начали переправу через Неман: «Генерал-адъютант Балашев, одно из ближайших лиц к государю, подошел к нему и неприворотно остановился близко от государя, говорившего с польскою дамой. Поговорив с дамой, государь взглянул вопросительно и, видно поняв, что Балашев поступил так только потому, что на это были важные причины, слегка кивнул даме и обратился к Балашеву. Только что Балашев начал говорить, как удивление выразилось на лице государя. Он взял под руку Балашева и пошел с ним через залу, бессознательно для себя расчищая с обеих сторон сажени на три широкую дорогу сторонившихся перед ним»^[4].

Между тем, Александр I о том, что началась война с Бонапартом, узнал еще до бала, и узнал не от министра полиции Балашова, а от начальника высшей воинской полиции генерала Я.И. де Санглена — бывшего подчиненного Балашова, ставшего к лету 1812-го года вполне самостоятельной политической фигурой^[5].

Вообще балу предшествовали чрезвычайно острые и даже драматические обстоятельства, которые, видимо, остались неизвестными автору «Войны и мира».

В имение генерала Беннигсена «Закрет» предварительно были посланы французские шпионы, готовилось покушение на Александра I — танцевальный павильон должен был рухнуть прямо во время бала, погребя под собой и императора и весь российский генералитет, а заодно и дипломатический корпус и врагов Бонапарта, оказавшихся в ту пору в Виленском крае и приглашенных на бал (граф Поццо ди Борго и многие другие).

Достаточно полную информацию о том, как готовилось и как не состоялось это покушение, можно получить, ознакомившись с дневником Якова (Жака) де Санглена — записки за май-июнь 1812-го года, — несколько фрагментов из которого мы сейчас и предлагаем вниманию читателя.

При этом следует помнить, что события излагает их непосредственный участник, и отнюдь не рядовой участник. Это — человек многоопытный, многознающий, но одновременно неспособный отстраниться от этих событий, стать, так сказать, «над схваткой». О неизбежной глубоко субъективной подоснове дневника читатель должен все время помнить.

Рукопись дневника, представляющая собой три огромных фолианта, с 1867-го года хранится в муниципальном архиве города Ош, департамент Жер, Гасконь, Франция.

Как можно с большой долей вероятности предположить, в свое время дети Якова Ивановича де Санглена, видимо опасаясь хранить секретный дневник своего отца в России, передали его своим гасконским родственникам. Во всяком случае, других версий того, как дневник оказался во Франции, у нас к настоящему времени нет.

Может быть, в недалеком будущем загадка эта или прояснится, или возникнут какие-то другие версии.

В любом случае полная публикация дневника де Санглена сулит нам еще не одно открытие. Будет поднята завеса еще не над одной тайной русско-французских отношений эпохи наполеоновских войн.

Завершить же эту краткую вводную заметку, предвещающую настоящую публикацию, я хотел бы словами безвременно ушедшего от нас выдающегося знатока русской истории, культуры, быта александровского времени Вадима Вацура, с полным на то основанием и абсолютно точно написавшего о Якове Ивановиче де Санглене так: «Какая потрясающе интересная литературная фигура!»^[6]

*Профессор Николай Богомольников
г. Москва
18-го мая 2007 года*

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА О Я.И. ДЕ САНГЛЕНЕ

Яков Иванович де Санглен, действительный статский советник, лектор немецкой словесности в Московском университете, адъюнкт-профессор военных наук, военный советник, начальник канцелярии министерства полиции, сын de Saint Glin'a, выходя из Франции, родился в Москве в 1776-м году, умер там же в 1864-м году первого апреля.

Получив первоначальное воспитание в московских частных пансионах, де Санглен в 1786-м году поступил в Ревельскую гимназию и, окончив шесть классов, начал в 1793-м году службу переводчиком в штабе вице-адмирала Спиридова.

Воспользовавшись продолжительным заграничным отпуском, Санглен прослушал курс философии у профессора Платнера в Лейпциге и курс астрономии у профессора Боде в Берлине.

Затем по возвращении в Россию, после экзамена, он был назначен в 1804-м году лектором немецкого языка в Московский университет на место профессора Гейма и открыл на русском языке курс публичных лекций по военным наукам и тактике.

В 1806 году Яков де Санглен был назначен адъюнкт-профессором Московского университета, а в следующем, 1807, году он оставил службу в университете и был причислен к штабу генерал-адъютанта князя П.М. Волконского.

В 1812-м году Санглен состоял на службе при министре полиции, генерал-адъютанте Балашове, в должности начальника Особой канцелярии министерства полиции.

Действуя заодно с генерал-адъютантом Балашовым и другими лицами, добивавшимися падения государственного секретаря Сперанского, Санглен играл не последнюю роль в интриге, жертвой которой и сделался государственный секретарь.

Когда на Сперанского возвели обвинение в том, что он в утверждении министерств не следовал плану, данному ему для руководства, составленному на французском языке Лагарпом, император Александр поручил Санглену сравнить учреждение министерств с проектом Лагарпа.

Раньше чем решиться сослать Сперанского, государь неоднократно совещался с начальником тайной полиции Сангленом, не посвящая в тайны своих совещаний даже министра полиции генерала Балашова.

В день ссылки Сперанского Санглен присутствовал при опечатывании бумаг государственного секретаря, по поручению государя сопровождал Балашова при отправлении Сперанского в ссылку в Нижний Новгород и затем докладывал об этом государю.

После упразднения министерства полиции, с образованием департамента полиции при министерстве внутренних дел, Санглен вышел в отставку и, причисленный в 1816-м году по Высочайшему указу к герольдии с жалованьем в 4000 руб., удалился в деревню Клинского уезда, где и доживал свой век в уединении, под конец жизни разбитый параличом и преследуемый теми же страхами, которые он сам наводил некогда на других как начальник тайной полиции.

Близкий к императору Александру I, выполнявший неоднократно весьма важные секретные поручения государя, Санглен умел приобрести доверие и Николая I. В 1831-и году он был вызван в Петербург, и государь поручил ему заняться разбором доноса, поданного князем А.Б. Голицыным, «О иллюминатстве в 1831 г.» — фолианта огромных размеров, в котором объявлялись иллюминатами почти все лица, бывшие при Александре I и оставшиеся в живых при Николае I. Князь Голицын, автор доноса, был признан фанатиком. Николай I остался доволен разбором «доноса на всю Россию», пожаловал Санглену бриллиантовый перстень в 2000 рублей и 3000 рублей ассигнациями, а кн. Голицына выслал в Кексгольм.

Имя Санглена небезызвестно в русской литературе.

В 1804-м году появился его перевод с немецкого «Отрывок из иностранной литературы». Вместе с профессором Рейигартом он издавал в Москве в 1805-1806 гг. ежемесячный журнал «Аврора» (две части, шесть номеров).

В 1805-м году Санглен вместе с профессором Буле участвовал в издании «Ученых ведомостей».

Затем появились его сочинения: «О военном искусстве древних и новых времен», М., 1808; «Исторические и тактические отрывки», М., 1809; «Краткое обозрение воинской исто-

рии XVIII века», М., 1809; «В память графу А.И. Кутайсову», СПб., 1812; «Об истинном величии человека», 1814; «О храмах, жрецах, богослужении древних греков», ч. 1, СПб., 1815 (это же сочинение носит и другое название: «О начале и падении мифологического мира и богослужении древних греков»).

Затем в литературной деятельности Санглена наступил перерыв. Только через пятнадцать лет, после 1830-го года он написал романы «Жизнь и мнения нового Тристама», «Рыцарская клятва на гробе», издал историческое сочинение «Подвиги русских под Нарвою в 1700-м году» и затем, в 1843-м году, выпустил итоговый во многих отношениях труд свой «Шиллер, Вольтер и Руссо».

Кроме того, Санглен печатал свои статьи в «Трудах Московского общества истории и древностей», а с 1845-го года он начал сотрудничать и в журнале «Москвитянин».

Несмотря на весьма преклонный возраст, уже в 1860-м году Санглен начал писать «Записки — не для современников», в которых он успел охватить события с 1776 по 1831 гт.

«Записки Я.И. де Санглена» появились в печати почти чрез двадцать лет после смерти автора.

Первая часть их посвящена царствованию Екатерины II, часть вторая — Павлу и его времени (Русская старина, 1882, т. XXXVI, N 12, с. 443-498), части третья и четвертая «Записок» охватывают царствование Александра I и начало царствования Николая I, до 1832 года (там же, 1883 г., т. XXVII, N 1, 1-46; N 2, 374-394; N 3, 538-578).

Как по детальному знанию закулисных причин описанных событий, по искреннему тону автора, писавшего «не для современников», так и по богатству фактического материала и значительности охватываемого периода «Записки Санглена» составляют ценный вклад в отечественную историю.

Роман Оспоменчик, профессор. Иерусалим. 12 февраля 2007-го года

ИЗ СЕКРЕТНОГО ДНЕВНИКА ВОЕННОГО СОВЕТНИКА ЯКОВА ИВАНОВИЧА ДЕ САНГЛЕНА

Посвящается графине Н. Вальдштейн

ВИЛЬНА
МАЙ — ИЮНЬ 1812-го ГОДА
(20.V — 12.VI)

*О вы, которых долг природы
Зовет в путь чести к знаменам,
Держайте в ваши нежны годы
Проникнуть в страшный Марсов храм.
Не бойтесь, что герои пали
В пути, где с гордостью ступали,
Взнесенны славой до небес:
Они упали как герои
У стен великопленной Трои:
Так Гектор пал и Ахиллес.
Позибнет жизнь одна средь бою;
Не может слава умирать.
Простой неведомы толпою
Стези учитесь выбирать.*

М.Н. Муравьев

Мая 20 дня. Девятый час утра

Что за странная эта штука — репутация! Всегда приписывает она людям слишком много или слишком мало; середины нет. Иной имеет пять, шесть репутаций, а заслуженной — ни одной.

Древние говаривали: сиди смирно, что тебе нужно, то само тебя ищет. Пословица эта и у нас: сиди у моря и жди погоды. Но в наше время люди думают иначе: ничего обождать не хотят, беспокоятся, не зная, о чем, торопятся, не ведая, к чему, и признаться должно, многое переторапливают. Лучше ли это?

Я самым серьезным образом рассчитываю, что сегодня ничего экстраординарного не произойдет.

Устал от всего, в том числе и от хорошего. Хочется отдохнуть, наконец, вернее — передохнуть, хоть немного не думать ни о чем — ни о Бонапарте, ни о шпионах, ни о стремительно надвигающейся войне.

Может быть, не смотреть почту, не принимать агентов, не отдавать распоряжений?!

Обождать до вечера?! А сейчас расслабиться и прочитать заброшенного мною Шиллера, любимчика моего с юных лет!

И в самом деле — попробую. Вернусь-ка к моим обожаемым «Разбойникам».

Мая 20 дня. Полдень

Ходил по городу в сопровождении полицмейстера Вейса и квартального надзирателя Шуленберха.

По правой стороне Большой улицы на углу Шварцевого переулка в доме, принадлежащем госпоже Яновичевой, помещается самый замечательный в Вильне магазин, существующий тут уже не одно десятилетие. И удивительно, что магазин с каждым годом приобретает более блеску, а хозяин еще более доверия.

Магазин этот, как рассказал мне Шуленберх, основан в 1787-м году итальянским переселенцем Франциском Фиорентини, перешел по наследству к сыну его Антонию. В Вильне ни один магазин не представляет столько разнообразия, блеску, вкуса и доброты товаров, как туземных, так и заграничных изделий.

Там можно найти золотые, серебряные, бронзовые украшения, часы карманные и столовые, сукно, трико, шелковые и шерстяные материи, голландское полотно и батист, английские фортепьянные инструменты, смычки и струны, разные вины, ром, сигары, охотничьи приборы, лампы и проч., и проч., всего не перечтешь; и все это самых лучших сортов, прочности и изящной отделки. Прогулка по царству Фиорентини представляла собою для меня истинное путешествие.

Мая 20 дня. Одиннадцатый час ночи

Проклятье! Позор! Ужас! Форменный ужас! Как же эти недоумки, эти горе-полицейские Розен и Ланг совсем недавно доносили мне, что мое распоряжение в точности исполнено, и агент Бонапарта графиня Алина Коссаковская доподлинно убита, а мерзавка-то жива и как ни в чем не бывало расхаживает по Варшаве в сопровождении маркиза Биньона.

Графиня, как всегда, живнерадостна и ослепительна. Я полагаю даже, что особенно живнерадостна и ослепительна, ибо сумела одурачить моих матерых полицейских чиновников, а с ними и всю высшую воинскую полицию.

Сегодня я получил донесение от Якова Закса, в коем он скрупулезнейшим образом изложил все передвижения по Варшаве пани Коссаковской.

Я просил передать мальчишке, дабы он и в дальнейшем не спускал с нее глаз.

Хотя бы теперь надо во что бы то ни стало не упустить графиню, столько успешную нанести вреда российской короне и едва не загубившую самого императора Александра Павловича.

Не дай Бог, узнает обо всем министр полиции Балашов — непременно ославит меня перед Государем и приближенными его, и ведь сделает это, мерзавец, с величайшей радостью.

Еще я просил Закса разведать, какие поручения давал графине маркиз Биньон, до недавнего времени возглавлявший французское разведывательное бюро в герцогстве Варшавском (а маркиз, несомненно, давал графине разного рода инструкции, и несомненно, то были личные поручения императора Франции, в распоряжение коего Биньон в скором времени отбывает).

В высшей степени рассчитываю, что мальчишка справится с ответственной задачей.

Нам надо непременно знать, какую каверзу ныне поручено исполнить престелной графине Коссаковской.

Мая 21 дня. Одиннадцать часов утра

Завтракала у главнокомандующего Первой западной армией графа Барклая де Толли.

Кроме его злойшей супруги и полковника Закревского, старшего адъютанта Барклая и начальника его Особой канцелярии, был еще Иоганн Анштетт.

Анштетт — сын страсбургского адвоката, недавно принятый в русскую службу. Поговаривают, что Государь собирается назначить его начальником дипломатической канцелярии при командующем Первой западной армией (так и произошло: Анштетт возглавил дипломатическую канцелярию, но только уже при Кутузове — позднейшее примечание Я.И. де Санглена).

Дай-то Бог! Иоганн Анштетт — человек вполне достойный, хотя и дружит с негодяем Балашовым.

Мая 21 дня. Два часа пополудни

С утра заходил ко мне полицейский надзиратель Шуленберх, малый толковый и занятный. От него всегда можно узнать что-то интересненькое, касающееся виленских происшествий.

Я стал его расспрашивать о старом лютеранском кладбище, том, что расположено по правую сторону реки Погулянки, и полуразрушенном доме невдалеке от лютеранского кладбища, о коем в здешних местах рассказывали и рассказывают много чудного. Мне об этом доме велел как-то разузнать Государь наш Александр Павлович.

Вот что поведал мне многознающий и многоопытный Шуленберх.

Холм, на коем расположено кладбище, называют в народе Бауфаловой горой, и вот по какой причине.

В стародавние времена рядом с кладбищем в доме некоего Бауфала располагался ужасный кабаk, где царствовали веселье, шум, гам и вообще постоянный

разврат, где происходили дикие оргии; а виленские самоубийцы облюбовали сие место для ухода из жизни.

К началу нынешнего столетия Бауфалов кабак пришел в запустение. Теперь в нем обитают какие-то непонятные личности: то ли нищие, то ли привидения (в июле 1812-го года дом дотла сгорел; поговаривают что его определенно подожгли — последнее примечание Я.И. де Санглена).

Полагаю, что сия история весьма позабавит, а может, даже и заинтересует Его Императорское Величество.

О доме Бауфала в виленском обществе рассказывают истории самого таинственного свойства. Утверждают, что в нем обитают души самоубийц.

Мая 21 дня. Десятый час вечера

Все так и произошло. И даже более того. Александр Павлович, несмотря на скептические ухмылки генерал-адъютангов Балашова и Волконского (особенно вызывающе неприличным мне показалось поведение первого), загорелся желанием осмотреть пустующий дом Бауфала.

Мы условились, что завтра к семи часам вечера я с квартальным надзирателем Шуленбергом зайду за Его Величеством в Виленский замок, и мы отправимся все вместе на Бауфалову гору, к кладбищу. Генерал-адъютанты, не оставляя своих ухмылок, вывалились нас сопровождать. К нам обещал присоединиться и генерал от кавалерии Беннингсен, и это понятно, ведь Леонтий Леонтьевич — обитатель здешних мест, хотя Бауфалову гору никогда до сей поры не посещал.

Я вызвал к себе сегодня коллежского асессора барона Розена и капитана Ланга. Показал голубчикам донесение Закса из Варшавы.

Кажется, они были искренне потрясены сведениями, содержащимися в том донесении.

Я разнес полковников не только словесно — мой камердинер Трифон заметил потом, что стены дрожали, — но и на месяц оставил без жалованья (заведующий моей канцелярией губернский секретарь Протопопов и коллежский секретарь Валуа уже заготовили соответствующий текст приказа).

Я сказал также Лангу и Розену, что пока они живой или мертвой не доставят мне графиню Алину Коссаковскую, прощенья от меня им не будет, — грозился даже, буде графиня не будет разыскана, вообще уволить их со службы или понизить в звании.

Напуганные полковники божились, что на сей раз никак меня не подведут, не посрамят более чести мундира.

Мая 22 дня. Одиннадцатый час утра

Полицмейстер из Вильны Вейс и майор Бистром из Ковно передали донесения о положении дел на подведомственных им территориях. В высшей степени тревожно.

К двум я зван на обед к Барклаю. Званы также генерал-квартирмейстер Канкрин, начальник артиллерии граф Кутайсов, гражданский губернатор Виленского края Лавинский, генерал-адъютанты Балашов и Волконский.

Отставной гусарский ротмистр Давид Саван (Savant) прислал из Варшавы обширную докладную записку, обладающую чрезвычайной ценностью, — в ней приведены и суммированы все передвижения Бонапарта за май месяц.

Привожу выдержки по писарской копии. Оригинал я сразу же, ни минуты не мешкая, отослал Государю.

Добытые сведения отставной ротмистр почерпнул главным образом из бесед с маркизом Биньоном и несколькими чиновниками из его бюро, а также в ходе ознакомления с материалами, хранящимися в канцелярии бюро, к коим Давид Саван, пользующийся безграничным доверием маркиза, имеет постоянный доступ.

В беседе с Бонапартом один баварский генерал будто бы осмелился весьма робко заметить, что не лучше ли воздержаться от войны с Россией. — Еще три года, и я господин всего света, — ответил Наполеон.

В 6 часов утра мая девятого дня 1812-го года Бонапарт в сопровождении императрицы Марии-Луизы выехал из дворца Сен-Клу, что близ Парижа, и направился к Великой армии, которая уже шла разными дорогами через германские страны, устремляясь к герцогству Варшавскому и постепенно сосредотачиваясь на Висле и Немане; 16-го мая император Франции выехал в Дрезден в сопровождении короля Саксонии, который еще накануне направился ему навстречу. В Дрездене собрались короли и великие герцоги вассальных государств приветствовать своего верховного повелителя. Среди многих других монархов прибыл в Дрезден и король прусский Фридрих-Вильгельм III, прибыл также император австрийский Франц.

15 дней пробыл Бонапарт в Дрездене, окруженный своими раболепными вассалами. В его присутствии они все (включая и его тестя, императора австрийского) стояли с обнаженными головами — сам же Бонапарт был в своей знаменитой треугольной шляпе. Обращение Бонапарта с ними было вполне благосклонное: он их милостиво брал за ухо, и от такой императорской ласки они были вне себя от восторга, иногда достойнейших похлопывал по спине, иным делал очень резкие публичные выговоры, но в Дрездене это случалось редко.

Из Дрездена Наполеон выехал в Познань, где пробыл несколько дней. Шляхта приветствовала его с особенным энтузиазмом. Поляки могли надеяться на восстановление Польши в старых пределах или, по крайней мере, на отторжение от России Литвы и Белоруссии. Однако нетерпеливый, раздражительный, весь уже охваченный военной заботой, с раннего утра до поздней ночи занятый работой, император Франции остался не слишком доволен разряженной, завитой и напудренной шляхтой, демонстрировавшей свою преданность и обожание. «Господа, я бы предпочел видеть вас в сапогах со шпорами, с саблех на боку, по образцу ваших предков при приближении татар и казаков; мы живем в такое время, когда следует быть вооруженными с ног до головы и держать руку на рукоятке шпаги», — в таких словах обратился Бонапарт к знати, встретившей его под предводительством познанского епископа Горжевского.

Мая 22 дня. Двенадцать часов ночи

В восьмом часу вечера из императорских покоев вышел небольшой отряд — впереди был квартальный надзиратель Шуленберх, за ним — Александр Павлович, я и Беннингсен, а за нами — генерал-адъютанты Балашов и Волконский.

Вот мы уже на древнем кладбище, окруженном столетними липами и пересекающимися в разных направлениях густыми аллеями. В полном молчании наш отряд пересек всю центральную аллею кладбища и вышел к огромному бесформенному полуразвалившемуся строению — это и был знаменитый дом Бауфала.

Дверь заскрипела и от ветра сама открылась, прямо перед нами. Все услышали страшное стенание, как будто исходившее от умиравшего насильственной

смертью. Я заметил, что Балашов вздрогнул: кажется, ужас овладел им. Александр же Павлович, как мне показалось, насмешливо улыбался.

Вдруг над нами пролетело что-то, ударились о проемы дверей, взвивалось вверх, опускалось вниз и опять поднималось. Через несколько времени слышен был шорох по каменному полу, как будто извивалось по нем несколько огромных змей. И опять что-то взвилось вверх. Балашов вздрогнул и прошептал явственно: «Привидения!»

Между тем, летавшие по дому гости не были душами усопших, как полагал министр полиции. То были ночные птицы, кои в доме Бауфала завели гнезда свои. И не змеи ползали по полу, а товарищи мои, которые ползком на брюхе искали дверь, чтобы выйти. Стон происходил от генерал-адъютанта Волконского — в ту пору он был не в меру толст. Он счастливо дополз до дверей и благополучно проталил половину своего весьма объемистого тела. Но когда она тяжелым боком своим обхватила толстое княжеское брюхо, он далее пролезть не мог и испуганно застонал. Худошавый Балашов, отыскавший ту же дверь, наткнулся на Волконского, догадался, в чем состоит дело, переполз через несчастного, растворил дверь пошире и выручил князя. Генерал Беннингсен, не найдя дверей, выполз сквозь большое отверстие, род свода, в которое влетали и улетали ночные птицы.

В скором времени в доме Бауфала мы остались втроем — я, Государь и квартальный надзиратель Шуленберх.

Я начал оглядываться и заметил вдруг наверху тоненькую полоску света и шепнул о сделанном открытии Александру Павловичу и Шуленберху.

Мы двинулись в сторону света, на ощупь стали подниматься по большой каменной лестнице, склизкой и вонючей, и оказались перед маленькой дверью, изпод которой как раз и пробивался свет.

Я попробовал открыть дверь, но она оказалась заперта. Тогда я ударил по основанию двери носком сапога, и она не то что рухнула, а просто рассыпалась. Раздался треск, а затем и звон разбитого стекла, и стало слышно, как кто-то выпрыгнул из окна.

Мы вошли. На маленьком столике горела свеча, и были разложены стопки бумаг. Один лист был развернут — я подошел и увидел, что это записка маркиза Биньона к графу де Шуазелью. Речь в записке шла о численности и дислокации войск Первой западной армии в Виленском крае.

— Да тут не привидения, тут шпионы прячутся, — захохотал Александр Павлович.

Улов мы в этот вечер собрали знатный. Государь был весьма доволен и звал меня разбирать захваченные бумаги.

Мы условились, что назавтра к вечеру я явлюсь в Виленский замок, и отужинав, мы примемся детально оценивать то, что неожиданно-негаданно досталось нам в доме Бауфала.

Май 23-го дня. Десятый час утра

Завтракал с полицмейстером Вейсом в трактире Кришкевича. Новости он поведал весьма неутешительные: виленские французы, не так давно сидевшие тихо, казалось, боявшиеся нос высунуть, становятся все более нескрываемо активными и даже нахальными. «Бонапартизм просто выплескивается из них», — как верно заметил генерал Вильсон, главный шпион британской короны в здешнем

крае, когда мы с ним на днях пересеклись в городском саду и перекинулись парой словечек, весьма небесполезных для обеих сторон.

После Кришкевича мы с Вейсом зашли в кофейню Юльки, что на Большой улице. Над воротами дома красуется надпись «Kawiarnia» (кофейный дом), и в доме этом нет ничего особенного. В Вильне таких домов десятки, но этот известен в Вильне под именем кофейни Юльки. Несмотря на то, что Юлька уже умерла, кофейня не хочет расстаться с ее именем.

Кофейня эта никогда не бывает пуста. Тут пьют кофе (надобно прибавить — кофе прекрасный, лучший в городе), пьют чай, курят трубки, сигары, играют в бильярд, играют в шахматы, читают газеты, пересказывают друг другу городские новости.

Играют, выигрывают, проигрывают, наблюдают за игрой, принимают участие в той или другой стороне, предсказывают успех или неудачу, но все довольны, все веселы. И это не один, не два, не три дня, а во всякое время, когда вы войдете туда, вы встретите те же сцены.

Что же из этого заключить должно? Вот тут есть разрешение важного житейского вопроса? Кто доволен и весел — тот счастлив. Что ж это древние и новые мудрецы, философы, мыслители и все имеющие притязание на эти титулы, в продолжение нескольких тысяч лет искали местопребывание счастья и не могли до сих пор отыскать его? Вот оно где! — в кофейне Юльки!

Оставив кофейный дом, мы оказались на маленькой красивой площадке, обстроенной домами в виде неправильного полукружия. Место это называется «Большая Ремиза», потому что здесь останавливается самое большое число извозчиков в Вильне.

Но вот на правой стороне площадки находится заведение, которого нельзя пропустить без особенного внимания, а вместе с тем не принести искренней благодарности виновнику его существования, Александру Михайловичу Шульцу. Это большой каменный двухэтажный дом с надписью «Hotel Nizkowski». Отель этот энергическими действиями хозяина доведен до такой степени удобства и, можно сказать, даже комфорта, каких в подобных заведениях Вильна еще не видела.

Когда я вернулся к себе, меня уже ждала записка от Закса из герцогства Варшавского. Да, времени он там не теряет.

Закс сообщил, что графиня Алина Коссаковская уезжала в Познань и уже вернулась. Отсутствовала она ровно двое суток.

Вероятнее всего, графиня ездила на аудиенцию к Бонапарту. Ездила за новым заданием, видимо, строго секретным и важным.

Закс написал мне также следующее (передаю смысл его утверждений в самых общих чертах).

Он считает, что император Франции наметил для графини какую-то роль в организации нового покушения на жизнь нашего Государя. Но детали затеваемого можно будет уточнить только у них двоих — у Бонапарта и у прелестной Алины. И все-таки мы должны узнать подробности, обязательно должны узнать.

Мне почему-то кажется, что мальчишка (а умница он очевиднейший) совершенно прав: Бонапарт задумал новое покушение и исполнение его собирается возложить чуть ли не на Алину — не зря же он вызывал ее в Познань для конфиденциальной беседы, хотя, конечно, о чем они там говорили — Бог ведает. Но ясно одно: не новинки французской словесности обсуждали.

Вообще я давно уже понял: император Франции, видимо, хочет сделать из нее новоявленную Юдифь, да только Государь наш Александр Павлович — не Олоферн, не насильник и не захватчик, отнюдь. А Вильна — не Ветилуа (жидовская крепость, атакованная ассирийским сатрапом Олоферном — позднейшее примечание Я.И. де Санглена). Пора бы это понять корсиканцу, да, видно, он не дорос пока и не в силах сообразить, что любовь к историческим аналогиям до добра его не доведет.

Но уж если и теперь эту новоявленную польскую Юдифь упустят мои полковнички — не сносить им головушек: самолично откручу, никому не передоверю. И ничье заступничество им теперь не поможет, ничье, даже государево.

Непренемно попрошу Яшенку Закса любой ценой узнать подробности, связанные с тем новым заданием, которое получила прелестная Алина. И надо бы узнать, кто отдан ей в помощники, ибо одной ей тут явно не справиться.

Не сомневаюсь, что в ближайшие дни Алина появится в наших краях. И также не сомневаюсь, что появится она не одна.

Обедаю я у командующего артиллерией Первой западной армии генерала Кутайсова. Будет также генерал-квартирмейстер граф Канкрин и состоящие при особе Государя генералы Аракчеев и Беннингсен, а возможно, что и сам Александр Павлович, весьма расположенный к Кутайсову. Впрочем, как можно быть к нему не расположенным?!

А ужинаю я у Государя Александра Павловича — мы станем разбирать с ним бумаги, добытые в доме Бауфала, а их, кстати, мы набрали тогда немало — почитай, целый мешок.

Мая 24-го дня. Первый час дня

С утра я гулял в городском саду. У меня там были назначены встречи с полицмейстером Вейсом и приехавшим из Ковно майором Бистромом, а также и с квартальным надзирателем Шуленберхом, который становится постепенно моей правой рукой.

В одной из аллеек сада я провел собрание своего ведомства.

Вернувшись к себе, вызвал коллежского асессора Розена и капитана Ланга и приказал готовиться к возможному появлению в здешнем крае графини Алины Коссаковской уже в самые ближайшие дни.

Камердинер мой Трифон рассказал мне, что пока я гулял с полицейской братией в городском саду, приходил адъютант генерала Беннингсена и принес записку от своего повелителя.

Надо сказать, что произошло поразительнейшее событие. Генерал от кавалерии Леонтий Леонтьевич Беннингсен, необыкновенно сухой, заносчивый и невыносимый, прежде глядевший на меня как на какую-то букашку, пригласил меня к себе на обед. Перемена эта для меня совершенно необъяснима.

Может быть, Государь замолвил за меня словечко или, может, мое бесстрашное поведение в доме Бауфала сыграло тут свою роль, не знаю. Но я приглашен в его загородный замок «Закрет», и это, конечно, громадная честь.

Генерала Беннингсена я всегда не любил. Меня обижали его постоянные и глубоко несправедливые нападки на главнокомандующего Барклая де Толли.

И вообще, как можно уважать человека, коему сопутствует репутация убийцы?! И убийцы кого?! Убийцы императора?! Императора Павла?!

Конечно, Павел был тираном, был предметом ужаса для подданных своих. Но одновременно он обладал сердцем добрым, чувствительным, душою возвышенною, умом просвещенным, пламенною любовию к справедливости, духом рыцаря времен протекших. В любом случае убийство тирана все равно остается убийством.

Но решительно не одобряя поведение и поступки генерала Бенningсена, я почитаю за честь быть приглашенным к нему, тем более, что на такую честь я даже и надеяться не смел, не надеялся, что могу быть замеченным бароном Бенningсеном, высокомерие коего мне казалось безграничным. Что ему полицейский чиновник? — думалось мне, — пусть и обласканный вниманием самого Государя?

Кстати, вчера, после ужина и разбора бумаг, Его Величество заметил (и сделал он это в присутствии генералов Бенningсена и Аракчеева), что документам, извлеченным нами из дома Бауфала, цены нет! Государь прямо заявил: «Теперь вся деятельность виленских бонапартистов у нас как на ладони».

Так что полезно иногда по ночам посещать кладбища и прилегающие к ним строения.

Мая 24-го дня. Шестой час вечера

Заведующий моей канцелярией губернский секретарь Протопопов представил составленную по моей просьбе весьма обширную справку. Вот некоторые извлечения из нее.

Генерал от кавалерии Л.Л. Бенningсен и Виленский край

Прикосновенный к событиям 11 марта, унесшим жизнь императора Павла, Бенningсен отправляется к войскам в литовские губернии — не в опалу, но все же подальше от столицы.

В Виленском крае генерал от кавалерии женится, и это уже в четвертый раз, на польской аристократке Марии Бутовт-Андржейкович, которая тридцатью годами моложе его, и производит на свет еще сына и дочь — по счету они были у него шестой и седьмая.

1801-1805 гг. — служба и прозябание в Литве. Он присутствовал на коронации императора Александра в Москве, но вскоре должен был удалиться в Вильну, назначенный Виленским военным губернатором и начальником литовской артиллерийской инспекции. Почетная ссылка продолжалась до 1804-го года, когда Бенningсен был снова вызван в Петербург, и с этого времени начинается новый период в его жизни.

Зима 1806-1807 годов — апофеоз Бенningсена: он выстоял в сражении при Эйлау, не дрогнул перед Бонапартом, который имел репутацию непобедимого.

1807-1812. Бенningсен опять не у дел, он пребывает в своем имении «Закрет» близ Вильны. Государь отзывался о нем в том духе, что считает Бенningсена весьма коварным и что ему очень неприятно с ним видеться вследствие воспоминаний о прошлом.

Мая 25 дня. Одиннадцатый час утра

Из герцогства Варшавского прислал очередное свое донесение Закс. Ему удалось раздобыть сведения исключительной важности, и вот каким образом. Тут целая история, пожалуй, даже весьма занимательная!

Яков Закс завел знакомство с толстушкой Эльжбетой, горничной графини Коссаковской, и даже довольно быстро был допущен в ее уютную комнатку, расположенную под чердаком графского особняка. Из этой комнатки он несколько раз совершал прогулки по дому, дождавшись того момента, когда Эльжбета бросалась, наконец, в объятия к Морфею и все засыпали.

Во время одной из таких ночных прогулок Закс добрался до библиотеки, изучению которой посвятил добрых часа два, не менее.

Он стал перетряхивать книгу за книгой и уже потерял всякую надежду на успех, как вдруг из томика Эразма Роттердамского «Похвала глулости» выпал сложенный вдвое листок. Сын аптекаря поднес его поближе к свечке, и тут руки его задрожали, даже затряслись, и, в общем-то, было, от чего.

Листок, выпавший из Эразма Роттердамского, был приказом Бонапарта, отданным им графине Алине Коссаковской и некоему полковнику Сигизмунду Андриевичу. Речь в приказе шла об убиении ныне здравствующего российского императора.

Была в бумаге указана и дата исполнения страшного Бонапартова распоряжения — 12 июня сего года (оставалось без малого семнадцать дней). В приказе после знаменитого наполеоновского росчерка стояло: Познань, 21-го мая 1812-го года.

Закс списал в свою тетрадку текст приказа, оригинал вложил обратно в Эразма и отправился к неведшей ничего Эльжбете.

От такого рассказа руки задрожали и у меня. Но какой все-таки этот Закс умница! Что бы я делал без него?

Суметь проникнуть в дом графини Алины Коссаковской! Додумать в библиотеке перетряхивать книги! Обнаружить сам приказ Бонапарта! И какой приказ!

Я тут же написал Заксу, сердечно поблагодарил и попросил немедленно, исключительно срочно установить личность полковника Андриевича и его местонахождение, а также отслеживать буквально всех, с кем общается прелестная графиня.

А толстушку Эльжбету хочется просто расцеловать за то, что она оказалась благосклонной к нашему Заксу, спасая тем самым судьбу Российской империи!

Бегу к Барклаю — необходимо показать ему последнее донесение Закса (Да! Мальчишка превзошел все мои ожидания). И послал записки министру полиции Балашову и князю Волконскому, дабы они немедля явились к Барклаю. Записки аналогичного содержания были отправлены к генералам Бенningсену и Аракчееву.

Мая 25 дня. Шестой час вечера

Главнокомандующий стоял у карты и что-то аккуратно и неторопливо вычерчивал на ней. Не оборачиваясь, он сказал мне:

— Что новенького, Яков Иванович?

Я отвечал, что новости есть, но с изложением их придется обождать примерно с полчаса. Барклай, не требуя никаких объяснений, продолжал невозмутимо колдовать над картой, а я стал перечитывать записку от Закса, все более и более поражаясь разумению и догадливости этого мальчишки. Но молчание продолжалось недолго.

Скоро появился шумный, экспансивно-крикливый Балашов с недоумевающе-растерянным князем Волконским, затем вошел Аракчеев, окинув всех подозрительно-жестким взглядом, и последним появился Бенningсен, из коего высокомерие буквально сочилось.

Не мешкая, я вкратце рассказал о Заксе, о том, как юный каббалист, сын виленского аптекаря, стал неоценимым сотрудником высшей воинской полиции при военном министре. И затем сразу же приступил к чтению записки.

Закс все изложил живо и остроумно, но ни тени улыбки не появилось на лице у присутствующих, когда они знакомились с текстом записки.

Я закончил читать, но никто не издал ни звука. Выждав несколько минут, я сказал:

— Господа, вы поняли, что на Государя готовится покушение. Прошу вас самостоятельно ничего не предпринимать. Я сам сообщу, когда мне понадобится помощь кого-либо из вас. Пока мне самому еще неясно, какой род помощи мне будет нужен. Буду ждать дополнительных разъяснений от своего агента. Пока известен лишь один из исполнителей, детали же тонут в тумане. Государю прошу ничего не рассказывать. Охрану Александра Павловича следует усилить, но так, чтобы Его Величество ничего не заметил. Как только у меня появятся новости, тут же сообщу.

Все молча кивнули.

Вскипел только министр полиции Балашов:

— А почему мы должны верить какому-то вашему Заксу? На каком основании? Я его не знаю вовсе. У меня есть собственные агенты, и они о покушении на Государя еще ничего мне не доносили. Полагаю, что вы это выдумали все, желая выслужиться и отличиться.

Однако Александр Дмитрич тут же решительнейшим образом сник под выскомерно-осуждающим взглядом генерала Беннингсена.

Расходились все мрачные и насушенные.

Мая 26-го дня. Одиннадцать часов утра

Едва успел от меня выйти полицмейстер Вейс после своего очередного утреннего доклада, как принесли новую записку от Закса из герцогства Варшавского.

Упредив мой приказ о розыске неведомого полковника Андриевича, мальчишка по собственной воле начал его искать — и уже нашел, представьте себе!

Вот что было сказано в записке, на сей раз весьма краткой, но не менее ценной, чем предыдущая.

Полковник Сигизмунд Андриевич — адъютант генерала Фишера, который является начальником Генерального штаба армии герцогства Варшавского и одновременно курирует польскую войсковую разведку.

Полковник вот уже несколько дней, оказывается, совершает вместе с прелестной Алиной Коссаковской двучасовые конные прогулки в окрестностях Варшавы (обычно это происходит ранним утром, даже скорее на рассвете).

Далее Закс предупреждает, что ежели в ближайшие дни полковник Андриевич появится в Виленском крае, то у него, видимо, будет фальшивый паспорт, и он несомненно постарается изменить свою внешность.

Мальчишка прав. Думаю, Андриевича надо будет вычислить по Алине, с коей он непременно должен будет сноситься.

Я сразу же вызвал Розена и Ланга, показал им новую записку Закса и сказал им, что жду от них немедленных, решительных и успешных действий. Они вздрогнули, но потом бодро в знак согласия кивнули.

И конечно, отправил благодарственное письмо к Заксу, добавив, что за Коссаковской и Андриевичем необходимо следить неотступно, буквально ни на миг не выпуская их из виду.

Теперь бегу к Барклаю де Толли.

Нужно что-то срочно придумать касательно встречи Алины и Сигизмунда. Явно они постараются прибыть незаметно и затеряться до поры до времени.

Что-то я на Ланга и Розена не больно надеюсь. Они ведь уже прошили прелестную графиню, и не один раз.

Посоветуюсь еще с генералом Аракчеевым, коему вверена охрана Его Величества.

Тревожно что-то у меня на душе.

Ежели своевременно не обезвредить Алину — это может обернуться катастрофой, крушением целой Империи.

Конечно, моим невинным полковникам с графиней не совладать. Кажется, мне нужно действовать самому.

И еще я рассчитываю на Закса — мальчишка не подведет. Это уж точно!

А Барклаю я, естественно, все расскажу, но, полагаю, это мало что даст — он умен (по-военному), но слишком уж прям и доверчив, слишком уж лишен интриганской жилки. Однако доложить я ему все равно должен.

Неясно только, надо ли ставить в известность обо всем происходящем Государя. И неясно, с кем на этот счет стоит советоваться.

Мая 26-го дня. Десятый час вечера

Так все и вышло, как я предполагал.

Главнокомандующий оторвался от карты, забегал по кабинету, заволновался, заохал, но дельного ничего предложить не смог. Все только причитал: «Что же делать? Что же делать?»

Но в итоге совместно мы пришли к одному важному соглашению, от исполнения которого, как мне кажется, многое зависит в успехе нашего предприятия.

Михаил Богданович сегодня же обещал подписать указ об образовании особого сводного отряда, кой будет занят непосредственно поисками графини Алины Коссаковской и полковника Сигизмунда Андриевича на территории Виленского края. Командиром отряда назначаюсь я; мой помощник — полицмейстер Вейс; начальник разведки — квартальный надзиратель Шуленберх.

Вернувшись к себе, я, не дожидаясь, пока будет подписан указ военного министра, приступил к формированию сводного отряда. При этом мною было решено, что Ланг и Розен будут действовать самостоятельно, на правах отдельной группы, о чем я их незамедлительно оповестил. В помощь я придал им еще ковенского майора Бистрома (появление Алины и полковника Андриевича именно через Ковно более чем реально).

На семь вечера назначил первое собрание нашего сводного отряда. Длилось оно всего полчаса, но узловые вопросы были, кажется, решены.

С завтрашнего утра мы начинаем действовать. Собираемся все у меня в восемь часов утра.

Минут с сорок назад ординарец Главнокомандующего принес подписанный им указ.

А минут с десять, как явились за инструкциями полковники Ланг и Розен. Но я сильно разочаровал их, заявив, что они сами должны изыскивать способы для отыскания графини Коссаковской и полковника Андриевича. И отправились, голубчики, недовольные, но отправились. Надеюсь, что хоть до чего-нибудь сами додумаются.

Мая 27 дня. Три часа

С утра, когда все явились, я приказал Шуленберху и Вейсу установить постоянное наблюдение за всеми домами виленских бонапартистов (графа де Шуазеля, аббата Лотрека и других), а также попробовать подкупить слуг в этих домах с той целью, чтобы выяснить, не ожидают ли там в ближайшие дни парочку гостей. Принятые нами меры пока никаких результатов не дали (от сотрудничества с воинской полицией, ввиду скорого появления в здешнем крае французской армии, тут решительно стараются уклоняться), но еще не все потеряно. Мы ведь только начали действовать.

Пришла коротенькая записка от Закса, в коей он сообщил, что графиня и полковник все еще совершают по утрам конные прогулки в окрестностях Варшавы. По окончании каждой из них Сигизмунд Андриевич запирается на час-полтора в кабинете с генералом Фишером и ведет там с ним беседы.

В полдень я был принят генералом Аракчеевым. Он советует пока Государю ничего не рассказывать.

Ланг и Розен молчат — как в воду канули. Ну и шут с ними! Все равно толку от них мало.

Мая 27 дня. Десятый час вечера

Новость (узнал ее сегодня от государственного секретаря Александра Семеновича Шишкова, а потом это известие подтвердил и генерал Аракчеев): генерал от кавалерии Беннингсен утвержден исполняющим обязанности начальника Генерального штаба.

Да, эта ганноверская лиса все-таки вошла к доверие к Государю, закрывшему теперь глаза на то, что именно Леонтий Леонтьевич одиннадцать лет назад прикончил родителя его Павла Петровича!

Поразительно — Александр Павлович простил убийцу своего отца! Не хочется в это верить.

Может быть, это страх перед Наполеоном заставил Императора русского приблизить к себе Беннингсена? Может быть. Но теперь этот пролаз, который долгое время был полуопальным, лезет вверх.

Тяжело теперь придется Барклаю, ох, как тяжело: Беннингсен ведь не успокоится, пока не пожрет его, да с потрохами, без остатка, ибо он не только хитер, но и необычайно нахален.

В стане виленских бонапартистов — никаких волнений и никаких движений («тишь да гладь — Божья благодать»). Так что если они и готовятся к приему графини Коссаковской и ее спутника, то делают это чрезвычайно скрытно — и их, собственно говоря, можно понять: афишировать свои действия им нет никакого резона.

И все-таки нам необходимо узнать, кто же именно готовится принять эту парочку, пока что безмятежно гарцующую каждую утро в окрестностях Варшавы.

Надо будет таки или иначе узнать, что же именно спланировал генерал Фишер вкупе с представителями Бонапарта в герцогстве Варшавском.

А полковники Ланг и Розен так и не подают о себе никаких известий — видимо, пьют с горя. Да, где уж им разузнать про прелестную Алину — их она всегда обводила вокруг пальца. Но пока что и пронырливые Вейс и Шуленберх ничего не могут сделать со своими вездесущими помощниками. Да, пока что отряд наш себя не оправдал.

Ситуация сложная: даже уцепиться не за что. К виленским бонапартистам теперь и не подступишься. Между тем, совсем недавно это были, в основном, чистейшие болтуны. Увы, все изменилось: теперь, оказывается, пустые обещания даем мы.

Мая 28 дня. Одиннадцатый час утра

С утра появился у меня ковенский полицмейстер майор Бистром, коего я не видел уже давненько, хотя донесения он посылал мне весьма исправно.

Бистром пребывает в постоянной панике, не выходя из этого состояния, и его можно понять.

Коллежский ассессор Розен и капитан Ланг, с коими он должен был вести поиски тех мест, где осядут в ближайшее время полковник Андриевич и графиня Алина, исчезли и совершенно не подают о себе никаких вестей.

Я предложил майору плонуть на полковников и войти в наш отряд, откомандировав его к полицмейстеру Вейсу.

Прислал донесение отставной ротмистр Давид Саван из Варшавы, весьма любопытное и весьма важное, можно даже сказать, исключительно важное.

На днях он был приглашен на обед к генералу Фишеру, в ходе коего хозяин громогласно заявил своим гостям, что император Франции разгромит русскую армию уже в первом приграничном сражении и сделает тем самым дальнейшие боевые действия просто ненужными.

— А если русские попробуют уклониться от этого сражения? Как тогда? — спросил один из присутствующих.

Начальник Генерального штаба войск герцогства Варшавского после минутного раздумья ответил так:

— Если русские начнут отступать, то этим они нанесут Бонапарту самый страшный удар из всех возможных, ведь их отступление означает превращение войны из молниеносной в затяжную. Надеюсь, что они захотят драться.

Отставной ротмистр Саван довольно подробно, в лицах пересказал этот разговор.

Едва получив его донесение, я тут же кинулся к Барклаю.

И вот что мы с ним надумали, точнее, я предложил, а военный министр одобрил.

Барклай должен составить ложный приказ о дислокации русских войск на ближайшие месяцы. Из этого приказа должно следовать, что русские войска якобы не будут пытаться перейти Неман, а будут активно противодействовать переправе через нее «Великой армии» и дадут сражение в пограничной полосе.

Этот ложный приказ Барклай пересылается в Варшаву отставному ротмистру Давиду Савану, а тот, в свою очередь, передает его своему «благодетелю» генералу Фишеру, который доводит текст приказа до сведения самого Бонапарта.

С изложением этого плана мы пошли к Государю.

Его Величество сразу же и целиком одобрил его. Более того, Александр Павлович приказал немедля приступить к исполнению. Более того, он пообещал мне и Барклаю, что уже на днях он предполагает сделать следующее.

Государь сказал, что как бы в подтверждение ложного приказа Барклая он вместе с исполняющим обязанности начальника Генерального штаба генералом Беннингсеном демонстративно поедет производить рекогносцировку в районе Вильно, дабы французы и поляки уверились, что русские действительно разрабатывают план приграничного сражения.

Я, естественно, самым любезнейшим образом, и при этом совершенно искренне, поблагодарил Александра Павловича за помощь, которую он хотел оказать нам для успешного проведения весьма рискованной и ответственной операции.

В самом деле, Государь совершенно прав: одного ложного приказа Барклая было бы слишком мало. Бонапарт хитер и может догадаться о нашей уловке.

Сей приказ необходимо подкрепить какими-то действиями, ежели мы и в самом деле хотим, чтобы нам поверил сначала генерал Фишер, а затем и сам Бонапарт.

В некоторых отношениях задуманное мною должно определить ход предстоящей компании, должно нанести удар по победоносному шествию «Великой армии» (на основе полученной от Савана информации французский Генеральный штаб разработал схему разгрома русских войск именно в пограничном сражении. План с ложным приказом удался на славу — позднее примечание Я.И. де Санглена).

Мая 28 дня. Шестой час вечера

В полдень принесли записку от Яши Закса из герцогства Варшавского, в коей он сообщал, что исчез полковник Сигизмунд Андриевич, в то время как престелная Алина преспокойненько пребывает в родительском доме и утренних верховых прогулок уже не совершает.

Сам Закс считает, что адъютант генерала Фишера уже находится в Виленском крае.

Еще он пишет, что о миссии Коссаковской-Андриевича в Варшавском разведывательном бюро ровным образом ничего не известно. Видимо, миссия сия, в силу своей особой секретности, исходит от самого Бонапарта, не иначе.

Мне тоже так казалось, но сейчас не до раздумий: необходимы решительнейшие действия.

Я вызвал полицмейстера Вейса и приказал ему во что бы то ни стало разыскать полковников Розена и Ланга и тут же привести их ко мне, в каком бы состоянии они при этом ни находились. Но Вейс еще не успел выйти из моего кабинета, как голубчики явились. Хмеля в них не было ни капли, но при этом Розен и Ланг были в штатском платье, изодранном и выпачканном донельзя.

И вот что, яростно перебивая друг друга, они поведали мне.

Под холмом, на коем пересекаются улицы Субоч и Бакшта, расположены таинственные подземелья, а также подземный туннель, ведущий аж за двадцать с лишним верст от Вильны, в город Тракай.

Некий Янкель, владелец жидовской корчмы на окраине Тракая, указал Розену и Лангу ход в туннель и дал им в прожатые своего тринадцатилетнего сы-

нишку, давно облюбовавшего подземную дорогу из Тракая в Вильну для своих с приятелями игр.

Более семнадцати часов понадобилось им, чтобы пробраться по этому туннелю до подземелий, расположенных под улицами Субоч и Бакшта. И при выходе из подземелий Розен и Ланг обнаружили целехонький мундир полковника польской гвардии и шпагу, совершенно не заржавленную. Все эти трофеи они тут же продемонстрировали мне.

Все мы сошлись на том, что и мундир, и шпага принадлежат полковнику Сигизмунду Андриевичу, буквально сутки назад исчезнувшими из Варшавы.

Следовательно, получается, что адъютант генерала Фишера уже находится в Вильне. Все-таки его появление мы прозевали, хотя и знаем теперь, каким именно образом ему удалось проникнуть в Вильну.

Но как теперь искать полковника Андриевича?

План действий у меня созрел молниеносно. Я приказал полицмейстеру Вейсу, надзирателю Шуленберху и Розену с Лангом незамедлительно провести обыски у главных виленских бонапартистов — графа де Шуазеля, аббата Лотрека, графа Тышкевича и камергера Коссаковского.

Обыски они тут же произвели, но результатов нет никаких — следов полковника Андриевича, к моему величайшему сожалению, так и не отыскалось. Даже у Коссаковского, дядюшки прелестной Алины, подозрительного совершенно ничего не обнаружено.

Создается впечатление, что Алину и Андриевича тут совершенно никто не ждет, а очевидно, что это ведь не так. Необходимо продолжать поиски.

Одно в высшей степени любопытное известие передал из герцогства Варшавского отставной ротмистр Давид Саван (доставили мне с пол часа назад).

В своей записке он отметил, что графиню Алину Коссаковскую в последние дни каждый день стал приглашать к себе на ужин генерал Фишер.

Видать, и прелестная Алина скоро исчезнет, вернее, отправится в наши края. Хоть бы сейчас ее не упустить нам!

Надо будет мне самолично встретиться с ее простачком-дядюшкой — вдрут что и выболтает ненароком.

Полицмейстер Вейс как-то докладывал мне, что камергер Коссаковский облюбовал для прогулок небольшой, но чрезвычайно милый палисадничек на Остробрамской улице.

Но, собственно, камергер там даже и не прохаживается, а сидит часами под огромным раскидистым дубом и сосредоточенно читает французскую скабрзную поэзию, до которой он великий охотник. И неизменный его спутник — «Галантные дамы» Пьера де Бурдея, аббата де Брантома. Как говорил мне Вейс, особенно много закладок в камергерском экземпляришке «Дам» есть в рассуждении седьмом: «О замужних женщинах, вдовах и девицах и о том, какие из них горячее в любви».

Мая 29-го дня. Девятый час вечера

Дядюшка Алины был мною обнаружен сегодня в одиннадцатом часу утра как раз под вышеозначенным дубом и за чтением неизменного аббата де Брантома.

Увидев меня, камергер явно смутился, тут же захлопнул томик и немедленно сунул его в карман сюртука.

Беседовать начал он со мной с опаской и без особого желания, но постепенно разболтался, однако все вопросы, так или иначе связанные с Алиной, достаточно ловко обходил. Было ясно, что на сей раз толку мне от него не добиться.

Интересно, что и Коссаковский мне задал один вопрос, весьма меня озадачивший.

Когда мы уже расставались, он спросил, справедлив ли слух, что генерал Леонтий Леонтьевич Беннингсен назначен начальником Генерального штаба российской армии.

Я отвечал уклончиво, что в точности пока ничего не известно.

Забавно: камергер Коссаковский тоже решил что-то выведать — вот так-то.

Поразительно! Поистине поразительно! Начальник воинской полиции выпытывает у него, а он что-то захотел выпытать у меня.

Однако и самонадеян же оказался голубчик!

А я-то прежде думал, что он умнее и трусливее.

Да, осмелел граф, шибко осмелел. Вероятно, приближение «Великой армии» и его свело с ума. Этот выпивоха, видать, не сомневается в победе Бонапарта — иначе бы он так себя не вел.

В два часа пополудни вдруг позван я был к Государю.

Когда я вошел, Александр Павлович ходил быстрыми шагами по зале и, заметив меня, сказал:

— Слушай, Санглен. Мои генерал- и флигель-адъютанты просили у меня позволения дать мне бал на даче Беннингсена. Для этого они решили специально выстроить там особый зал со сводами, украшенными зеленью. Я дал согласие. А тебе препоручаю охрану. Наведывайся в «Закрет» к генералу Беннингсену и следи там за всем. Бал назначен на двенадцатое июня.

Вернувшись к себе, я тут же вызвал полковников Розена и Ланга, и мы все, не мешкая, помчались в «Закрет».

Беннингсен уже знал об идее бала и полностью одобрял ее. Еще бы! Принимая у себя Государя, он хочет еще более возвыситься.

Когда я попросил у генерала позволения, дабы полковники Розен и Ланг, опытные сотрудники высшей воинской полиции, из охранных соображений, пожили некоторое время у него в имении, то он сразу же согласился, но лукаво улыбнулся при этом. И, весело блестя глазами, сказал мне после минутной паузы:

— Конечно, пусть остаются: авось чем и помогут. Не те, так ваши. У меня уже второй день живет пятерка балашовских агентов.

Новость эта, конечно, была вполне прогнозируемая и даже неизбежная, но малоприятная.

Уезжая, я отозвал в сторону Розена и Ланга, сообщил им, что в «Закрете» уже живет пять людей Балашова, и запретил иметь с ними даже малейшее общение. — К балашовским прохвостам ни под каким видом не подходить! — так я сказал.

Вернувшись из «Закрета», я опять отправился к Государю и рассказал ему обо всех сделанных мною распоряжениях.

Естественно, я ни словом не обмолвился о том, что мне стало известно от генерала Беннингсена, о том, что знаю: охрана поместья «Закрет» поручена не только чинам Высшей воинской полиции, но и сотрудникам из ведомства министра Балашова.

Впрочем, как мне показалось, Государь смотрел на меня с лукавинкой и, значит, как будто догадывался, что я знаю. Но я и в самом деле должен был знать

о происшедшем, ибо Государь всегда так поступал: Балашов в начале нынешнего года следил за государственным секретарем Сперанским, а мне было поручено следить за Балашовым. Так что ничего удивительного!

Необходимо только любой ценой опередить балашовских агентов. Жизнь Государя должна спасти именно Высшая воинская полиция, но никак не министерство полиции.

Мая 30-го дня. Шестой час вечера

Только что мне доставили сообщение от отставного ротмистра Савана из Варшавы.

Графиня Алина Коссаковская по-прежнему живет в доме у своих престарелых родителей, выезжает крайне редко, но по-прежнему каждый вечер отправляется на ужин к генералу Фишеру и задерживается там допоздна. Конечно, генерал Фишер — известный поклонник женских прелестей, и конечно, Алина — невыразимо красива, но я уверен, что визиты графини к генералу замешаны отнюдь не на амурной основе.

Завтракала в девять часов утра с полицмейстером Вейсом в трактире Кришкевича. Увы, полицмейстер мало чем меня порадовал: полковник Сигизмунд Андриевич так и не разыскан, и до сих пор не нащупан буквально ни один след, кой может к нему привести.

Когда я вернулась к себе, то меня ждала записка от Розена и Ланга.

В ней сообщалось, что в «Закрете» все идет своим чередом и никаких причин для беспокойства пока совершенно нет.

Сегодня утром Беннингсен нанял архитектора, который будет весть возведением павильона, предназначенного для бала. Им оказался некий Рихард Шульц, голубоглазый великан с отличной офицерской выправкой.

На архитектора он походит довольно мало. Выдает себя за пруссака, но говорит с явным польским акцентом. Тем не менее обычно крайне подозрительный граф Беннингсен воспылал к нему особым доверием.

Граф утверждает, что Шульц — весьма искусный архитектор и что предложенный им проект павильона просто прелестен. Графиня Беннингсен, урожденная Бутовт-Андрейкович, придерживается того же мнения.

Наняли уже и рабочих, числом до тридцати человек. Разместили их в новеньком, недавно отстроеном амбаре. Подле рабочих все время крутятся балашовцы — проверяют, должно быть, не иначе.

В ответ я написал записку, в коей советовал Розену и Лангу попытаться как можно осторожнее и ненавязчивее сблизиться с Шульцем.

Принесли письмо от Закса из Варшавы, в коем зафиксированы последние передвижения Бонапарта.

Из Познани император Франции выехал в Торн, оттуда — в Данциг, где пробыл четыре дня. Из Данцига Бонапарт отправился в Кенигсберг, где провел пять дней в непрерывной работе по управлению армией и по организации ее снабжения.

В варшавском разведывательном бюро поговаривают, что в ближайшие дни Бонапарт отправится в Литву, в местечко Вильковышки, где он должен подписать приказ о начале боевых действий.

Мая 30-го дня. Первый час ночи

Был на ужине у гражданского губернатора Лавинского.

Встретил там немало представителей местного общества, и в частности графа Коссаковского и аббата Лотрека.

Почти все разговоры вертелись вокруг предстоящего бала, взмывающей карьеры престарелого Беннингсена и его юной жены, обворожительной польской аристократки.

Громче всех выступал министр полиции Балашов. Вообще он петушился ужасно и был даже не совсем приличен. Он буквально кричал (дабы услышали все), что идея бала принадлежит именно ему. При этом в другом конце стола сидел другой генерал-адъютант — князь Волконский, кой весьма скептически ухмылялся, но публично вконец обнаглевшего Балашова не опровергал.

Еще министр полиции взахлеб рассказывал присутствующим, что именно его людям доверена охрана имени Беннингсена «Закрет» в эти и в последующие дни, предбальные и послебальные. Тут уже настал мой черед ухмыляться. Однако Балашов ничего не замечал: его просто несло.

Даже губернатор Лавинский, близкий приятель Балашова, почуял неладное и забеспокоился, но на его знаки министр полиции никак не реагировал и не собирався реагировать: видимо, он хотел выговориться до конца.

Присутствующие не вытерпели и начали вслух смеяться, но Балашов так и не слез со своего конька.

Губернатор Лавинский укоризненно качал головой.

Такой вот был сегодня ужин.

Меня же по роду службы беспокоит вот что.

Предстоящий бал у Беннингсена буквально разболтан, разнесен по всему свету.

Речи, которые держал сегодня министр полиции Александр Дмитрич Балашов, просто недопустимы и, строго говоря, являются государственным преступлением: они сделали безопасность нашего императора чрезвычайно уязвимой.

О бале знает уже местное население, весьма враждебно к нам настроенное, — значит, знают и французы.

Вообще, сегодняшний ужин у гражданского губернатора Виленского края, кажется, был весьма поучителен: он на многое открыл мне глаза.

Наверняка Бонапарт теперь что-нибудь предпримет. Необходимо быть сверх меры осторожными в эти дни.

Июня 1-го дня. Десятый час утра

В половине восьмого принесли записку от Ланга и Розена из «Закрета».

Им уже несколько раз удалось побеседовать с архитектором Шульцем.

По их словам, он милый и приятный человек, большой друг России, сколько можно судить по его речам, и действительно весьма недурной архитектор. Польский же акцент не очень как будто у него заметен.

Да, что-то голубчики мои как будто пошли на попятный. Не покупает ли их Шульц? Нет, это чересчур, конечно. Но, видимо, не они вошли в доверие к Шульцу, а Шульц вошел к ним в доверие. Еще и проболтаются ему, что мы ищем некоего полковника Андриевича. Не приведи Господи!

Но вот что еще сообщили Розен и Ланг.

Им показалось, что графиня Беннингсен весьма равнодушна к архитектору.

На правах хозяйки она входит во все детали устройства павильона и сопровождает Шульца всюду, и не раз они оказываются наедине. Все бы ничего. Но графиня может знать от своего супруга что-то, чего не должны коснуться посторонние уши и глаза, и она может проболтаться, ежели она действительно влюблена.

В ответном письме я попросил коллежского асессора Розена и капитана Ланга аккуратно и предельно осторожно вести наблюдение за графиней Беннингсен, прежде всего интересуясь ее прогулками и беседами с архитектором.

И еще напомнил им, чтобы они не имели никаких контактов с балашовцами, но одновременно, по возможности, приглядывали за ними. И чтобы не забывали регулярно осматривать строительную площадку и каждый раз доносили о сделанных наблюдениях, обращая особое внимание на возможные подкопы.

В одиннадцать часов утра у меня была встреча в трактирчике на Немецкой улице с квартальным надзирателем Шуленберхом.

После полудня я просматривал бумаги моей канцелярии, подготовленные коллежским секретарем Валуа. Наиболее ценные я отобрал для представления Государю.

Июня 1-го дня. Одиннадцатый час ночи

Обедал я у Баркляя де Толли. Были все свои.

Когда заговорили о предстоящем бале, то я поведал о возмутительной болтовне министра полиции Александра Дмитрича Балашова во время недавнего ужина у гражданского губернатора.

Михаил Богданович ужасно рассердился и сказал, что непременно доложит обо всем Государю. Полковник Закревский, начальник Особой канцелярии при военном министре, подтвердил, что такое поведение является не чем иным, как форменным предательством.

В пять часов принесли донесение отставного гусарского ротмистра Давида Савана, переславшего текст воззвания Бонапарта к армии: «Солдаты, вторая польская война начата. Первая кончилась во Фридланде и Тильзите. В Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушает свою клятву. Она не хочет дать никакого объяснения своего странного поведения, пока французские орлы не перейдут обратно через Рейн, оставляя на ее волю наших союзников. Рок влечет за собой Россию: ее судьбы должны совершиться. Считает ли она нас уже выродившимися? Разве мы уже не аустерлицкие солдаты? Она нас ставит перед выбором: бесчестье или война. Выбор не может вызвать сомнений. Итак, пойдем вперед, перейдем через Неман, внесем войну на ее территорию. Вторая польская война будет славной для французского оружия, как и первая. Но мир, который мы заключим, будет обеспечен и положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы».

Я тут же схватил это воззвание, бросил его в портфельчик, где уже лежали бумаги, подготовленные для Государя, и ринулся в Виленский замок, забежал к Барклаю и, ничего не объясняя, но не скрывая таинственного вида, предложил немедленно отправиться со мною к Государю.

В императорском кабинете я продемонстрировал полученный от Давида Савана документ, который со всею очевидностью означал, что война начинается, и в самые ближайшие дни. Теперь же никаких сомнений в этом быть не могло!

Июня 2-го дня. Одиннадцать часов утра

Началось! Бонапарт приступает к исполнению задуманного!

Графиня Алина Коссаковская исчезла из Варшавы, а точнее не исчезла, а явно отправилась в наши края, в Вильну (полагаю, что ее доставили к границе в генеральской карете), поближе к Александру Павловичу.

Господи! Не прозевать бы ее теперь!

Вот как я узнал о происшедшем с Алиной.

С полчаса назад принесли письмо от Закса из Варшавы. Он сообщил, что после ужина у генерала Фишера Алина в родительский дом не вернулась, но на поиски ее никто не кинулся — родители, видимо, были заранее предупреждены.

Не медля, я приказал квартальному надзирателю Шуленнберху установить наблюдение за домом камергера Коссаковского и не снимать его впредь до особого распоряжения.

Да, коли разыщем Алину, то непременно найдем и полковника Андриевича.

Интересно, как они будут связываться с генералом Фишером? Вот получить бы доступ к их переписке!

Надо будет написать и Заксу, и Савану, чтобы они попробовали хоть что-нибудь узнать на этот счет.

Может быть, удастся выявить курьера — это было бы немало. Кстати, нужно будет проверить хотя бы пару раз подземный ход от городишка Тракай в Вильну: не исключено, что так и удастся обнаружить донесения Алины Коссаковской и Сигизмунда Андриевича.

Июня 2-го дня. Первый час ночи

В два часа дня я самолично спустился из подвального двухэтажного особняка, стоящего на пересечении улиц Субоч и Бакшта, в подземелье и стал отыскивать туннель.

Меня сопровождали полицмейстер Вейс и квартальный надзиратель Шуленнберх (последний, кстати, рассказал, что слово «Субоч» образовано от польского *Z UBOCZA*, что значит, собственно, С ОБОЧИНЫ).

Мы прошли весь туннель, что заняло не один час, и вышли уже в городке Тракай.

Не отыскали ничего, если не считать, правда, голубого капота и голубого же шелкового платка, покрытых не успевшей еще спрессоваться легкой, свежей пылью. И капот, и платок лежали при самом выходе из туннеля.

В Тракае я стал расспрашивать Августа Янкелевича, владельца корчмы, не видал ли он, кто спускался в подземелье.

Тот кликнул сынишку. Лукавый, смысленный мальчишка без обиняков поведал нам, что его попросила проводить по подземному ходу до Вильны одна незнакомая девица (видимо, из приезжих), одарившая его целой пригоршней золотых.

Сомнений быть не могло — то была несравненная Алина Коссаковская, с которой уже, почитай, алчет встречи моя страждущая душа.

Значит, все-таки Алине удалось попасть к нам в Вильну, и, в общем-то, легко удалось — благодаря нашему полнейшему попустительству.

Когда стало понятно, что Андриевич проник в Вильну по подземному ходу, надо было, конечно, тут же поставить своих людей в корчме Августа Янкелевича.

Под видом посетителей они могли легко следить, кто спускается вниз. Да, это непростительное упущение! Алина уже могла бы быть у нас в руках!

Но где же графиня скрывается теперь? Видимо, она находится где-то поблизости от полковника Андриевича, и это все, что я могу пока сказать. Увы, это все.

Вернувшись из подземелья, я тут же нагрянул с обыском к графу Коссаковскому, но обыск не дал совершенно никаких результатов: Алины там не было. Мы обшарили весь дом, долго допрашивали слуг, но не нашли никаких следов.

К позднему вечеру интересную новость принес мне квартальный надзиратель Шуленберх.

По его словам, владелец трактирчика на Немецкой улице видел, как в восемь часов утра девица, по приметам чрезвычайно напоминавшая Алину, пересекла быстрым шагом ратушную площадь в сопровождении голубоглазого гиганта с роскошной офицерской выправкой.

По свидетельству трактирчика, они сели в карету, которая тут же и тронулась.

И все. И более никаких следов. Как будто прелестная Алина растворилась в воздухе.

Где же ее искать? Ума не приложу, ей-Богу. И не с кем посоветоваться. Не с Балашовым же! Он, если и будет знать, где скрывается графиня, то не скажет ни за что — сам попробует ее схватить и, конечно, проворонит.

Как показали обыски последних дней, у здешних бонапартистов ее нет. Судя по всему, Коссаковская обрела пристанище там, где ее менее всего станут разыскивать.

Но что же это за место? В доме у гражданского губернатора Виленского края она уже жила, едва не сделавшись агентом Балашова. Второй раз, после решительного разоблачения, ей туда уже не сунуться.

Что же остается? Виленский замок, вот уже третий месяц являющийся местопребыванием Государя? Не может быть, это слишком рискованно (я, почитай, бываю в замке каждый день — если не у Александра Павловича, так у Барклая). Но где же тогда? Где? Теряюсь в догадках. Совершенно не могу представить, что на сей раз придумала эта чертовка.

Июня 3-го дня. Десятый час утра

Завтракал с полицмейстером Вейсом. Он вчера рыскал по всей Вильне, но об Алине и голубоглазом Сигизмунде ни слуху ни духу.

Когда я вернулся к себе, принесли записку от отставного гусарского ротмистра Давида Савана, из Варшавы. Ему удалось выяснить, что генералу Фишеру почти ежедневно курьер доставляет письма из городишка Тракай.

Короткая сия записка едва не свела меня с ума.

Господи! Прозевали полковника Андриевича. Затем прозевали графиню Коссаковскую. Но ни первый, ни второй раз мы так и не воспользовались полученным уроком.

Как только стало ясно, что адъютант генерала Фишера проник в Вильну через подземный ход, нужно было тут же устанавливать наблюдение за корчмой Янкевичича в Тракае. А когда прозевали Алину, нужно было хотя бы после этого установить наблюдение. Все равно установить. Очевидно же, что не по воздуху к этой парочке будут из Варшавы приказы лететь!

Так и оказалось. Поляки почту передают этим же подземным ходом. Ежели бы я удосужился хоть немного поразмыслить, то уже несколько бесценных писем было бы у нас в руках, не говоря уже о курьере, из коего бы я вытряс немало, это уж точно.

Как только прошла первая минута оцепенения после ознакомления с запиской отставного ротмистра Савана, я тут же вызвал квартального надзирателя Шуленберха, вручил ему пачку ассигнаций и велел, прихватив с собою двух караульных, немедленно отправляться в Тракай, денно и нощно пребывая там в трактире Янкевича и смотря во все глаза и на посетителей трактира и на служителей.

Шуленберх, не мешкая, тут же и отправился.

На него я крепко надеюсь. Он, пусть и с опозданием, но добудет нам курьера. С письмами, естественно.

Июня 3-го дня. Седьмой час вечера

Днем меня призвал к себе Государь. В кабинете находились также генералы Беннингсен и Аракчеев. Чуть позже к ним присоединился Барклай. Он сел поодаль, стараясь не глядеть на Беннингсена, который, видимо, бесконечно его раздражал.

Александр Павлович стал расспрашивать меня о новостях, касающихся до ведомства Высшей воинской полиции.

Говорил он неторопливо, мягко, но взгляд его был рассеянным и одновременно тревожным.

Потом Государь заговорил о предстоящем бале в «Закрете». Он живо интересовался строительством павильона, внимательно смотрел на план, отбирал рисунки обоев.

Когда начался разговор о бале, генерал Беннингсен заулыбался, расцвел, и с его сухого, неподвижного лица стала даже как будто спадать маска высокомерия и холода.

Все эти перемены не укрылись от внимания Александра Павловича, и он лукаво заулыбался.

— А правда ли, — спросил Его Величество, обратившись ко мне, что генерал-адъютант Балашов всюду болтает о бале?

Я молча кивнул и потупился. Государь помрачнел, хотел что-то сказать, но промолчал. Отошел к окну. Начал барабанить пальцами по стеклу. Наступила пауза.

Но вот Его Величество решительно повернулся к нам, стремительным шагом обошел кабинет, приблизился ко мне и заметил тихо, почти шепотом, но чрезвычайно внятно:

— Санглен, вот, собственно, по какой причине я тебя вызвал. Небезызвестный тебе генерал Вильсон, представляющий тут британскую военную разведку, проинформировал генерала Аракчеева, что есть указ императора Франции о подготовке покушения на мою жизнь. Тебе что-нибудь об этом известно?

Я отвечал, что уже не один день, как располагаю этой информацией и по ведомству Высшей воинской полиции уже принял соответствующие меры. Что в настоящее время идет активный поиск агентов-убийц, заброшенных по заданию Бонапарта в Виленский край.

Государь был вполне удовлетворен моим ответом. Мне показалось, что он полагал, вызывая меня, что информация, предоставленная генералом Вильсоном, повергнет меня в состояние крайнего изумления.

Июня 3-го дня. Двенадцатый час ночи

Гуляя после обеда в городском саду, я столкнулся с целой группой, состоявшей из государственного секретаря Шишкова, как всегда, растрепанного, но остроумного, пронырливого донельзя генерала Вильсона и бешеного корсиканца графа Поццо ди Борго.

Затем, выйдя на маленькую, уединенную аллею, встретил своего прежнего благодетеля и нынешнего соперника — министра полиции Балашова.

Александр Дмитрич не отвернулся, как обычно, а подошел ко мне и стал расспрашивать о том, как продвигается строительство танцевального павильона в «Закрете».

При этом расспрашивал он меня довольно-таки покровительственно, важно, сановито, видимо, желая показать свою особую роль в деле подготовки бала. Ему хотелось выставить передо мной свое значение.

Господи, и не стыдно Балашову так паясничать и представляться!

Вечером, около девяти часов, принесли записку из «Закрета» от полковников Розена и Ланга.

Вот о чем было сказано в записке.

Графиня Беннингсен встречается с архитектором Шульцем практически ежедневно, и, увлеченные возведением павильона, они проводят вместе все больше и больше времени.

Забавнее всего то, что граф благодарил супругу за оказываемую помощь в подготовке бала.

Беннингсен вообще придает этому событию исключительное, чуть ли не мировое значение.

Возведение павильона идет полным ходом. Работа кипит уже с самого раннего утра.

Интересно, что глубоким вечером, по окончании рабочего дня, архитектор Шульц, бесцеремонно отогнав балашовцев, запирается в амбаре с рабочими и часами, буквально целыми часами, о чем-то с ними беседует.

В «Закрете» есть еще одна новость, весьма любопытная.

Мадам Беннингсен по рекомендации архитектора взяла для своих детей новенькую гувернантку — мадемаузель Федерику де Фонтен-Шаландре. Но, кажется, та не столько гувернантка, сколько компаньонка: графиня подолгу гуляет вместе с Федерикой, и нередко к ним присоединяется сам архитектор.

Записка Розена и Ланга, без всякого сомнения, содержит массу интереснейших подробностей. Но меня особенно интересует личность гувернантки и обстоятельства ее появления в имении Беннигсенов.

Уж слишком подозрительно ее появление в «Закрете» почти сразу вслед за тем, как там объявился архитектор Шульц, и тут же они оказались вместе; графиня Беннингсен, присоединившаяся к Шульцу и Федерике, является лишь прикрытием тех тайных интересов, что соединяют эту парочку.

И что же выходит тогда?

Мадемаузель Федерика де Фонтен-Шаландре, принятая гувернанткой в дом Беннигсенов, есть никто иная, как наша несравненная Алина. А архитектор Шульц, получается, — это адъютант генерала Фишера полковник Сигизмунд Андриевич.

Но ведь Розен и Ланг отличнейшим образом знают графиню Коссаковскую, а они ничего не сообщили мне о том, что им известно, кто именно скрывается за личностью мадемаузель Федерики.

Напишу им и спрошу.

Их молчание тем более странно, что полковнички поклялись мне исправить допущенную ими оплошность и во что бы то ни стало разыскать неожиданно воскресшую Алину. А они встречаются ее и молчат — непонятно, необъяснимо.

Срочно набрасываю Розену и Лангу записку и отправляюсь на боковую.

И напоследок хочу обдумать еще одно соображение.

Судя по всему, поляки вместе с французами спланировали совершить покушение на нашего Государя в имении «Закрете».

Идея эта явилась не сразу. Из варшавских донесений ясно видно, что генерал Фишер не один день готовил операцию, обговаривая с Алиной Коссаковской и Сигизмундом Андриевичем разного рода детали. Вероятно, на этот счет были получены специальные инструкции от самого Бонапарта — свидание в Познани с императором Франции нашей престелной Алины, видимо, отнюдь не было случайностью.

Значит, враги Российской империи давно уже знали, что генерал-адъютанты Александра Павловича решили устроить в «Закрете» бал. Уж не болтовня ли Балашова тому причиной? В таком случае министр полиции — просто изменник и едва ли не государственный преступник. В любом случае виновные, кто бы они ни были, должны быть отысканы.

Июня 4-го дня. Одиннадцатый час утра

Во время утренней прогулки в городском саду встретил целую компанию — генерал-квартирмейстера Канкрин, генерала Кутайсова, полковника Закревского, государственного секретаря Шишкова, генерала Вильсона и графа Поццо ди Борго.

Они, посмеиваясь, рассказали мне, что и им Александр Дмитрич Балашов поведal, что это именно он, а не князь Волконский, второй генерал-адъютант, преbывающий в Вильне, предложил устроить бал в имении Беннингсена.

Господи! Можно ли найти в здешнем крае человека, коeму министр полиции не разболтал бы секрета! Это просто невероятно.

Оказывается, измену может породить не только предательство, не только легкомыслие, но еще и неудержимое хвастовство. Но министр-хвастун, министр-болтун — это все-таки чересчур, как мне кажется.

Двадцать минут назад принесли записку от Розена и Ланга, краткую и написанную явно второпях.

Записка повергла меня в состояние крайнего изумления.

Розен и Ланг убеждали, что мадемуазель Федерика де Фонтен-Шаландре является чистокровной французенкой и что к разыскиваемой нами графине Коссаковской упомянутая Федерика не имеет ровно никакого отношения. Более того, они ругались, что Алины в «Закрете» нет.

Что касается Шульца, то полковники писали, что это довольно известный архитектор, имеющий множество рекомендаций и что его офицерской выправке не стоит придавать особого значения.

Не понимаю — неужто Розен и Ланг идут на сознательный обман начальника Высшей винской полиции, во что трудно поверить?! Или же они просто обознались, но и в это трудно поверить, ведь не слепые же они?! Во что бы Алина ни укутывалась, ее личико настолько выразительно и неповторимо, что ее нельзя не узнать.

А ежели они правы, и мадемуазель Федерика де Фонтен-Шаландре — вполне реальное лицо?! В таком случае ничего не понимаю я, и мне пора отправляться в отставку, причем немедленно.

Из всех сообщенных Розеном и Лангом фактов вытекает, что новоиспеченная гувернантка и принятый на службу архитектор — агенты французской разведки в герцогстве Варшавском Алина Коссаковская и Сигизмунд Андриевич.

И то, что полковники наотрез отказываются узнавать в мадемуазель Федерике прелестную Алину, я могу объяснить лишь временным помутнением их разума, кстати, не шибко богатого.

Но как теперь выяснить истину? Как в точности узнать, не Алина ли, блистательно сыгравшая роль девицы легкого поведения, теперь выдает себя за гувернантку?

Полагаю, надо будет срочно заслать еще кого-нибудь из моих людей в «Закрет».

Конечно, из сотрудников Высшей воинской полиции если кто и знает графиню Алину Коссаковскую, так это я.

Так может, мне как раз и попробовать и явиться в «Закрет», к Беннингсену, дабы разглядеть новую гувернантку!¹⁷¹

Однако необходимо внимательнейшим образом разглядеть, но отнюдь не спугнуть ее. Это действительно — проблема, и серьезная. Но, кажется, я все-таки решусь. Просто больше некому. А узнать, что на самом деле собою представляет Федерика де Фонтен-Шаландре, нужно непременно.

Но прежде все-таки посоветуюсь с Барклаем де Толли. Дабы самому принять участие в операции, мне необходимо заручиться согласием военного министра.

Июня 4-го дня. Первый час ночи

Когда я явился к Барклаю, то мое предложение поставило его в тупик. Он сказал мне:

— Яков Иваныч, и что же — вы сами отправитесь в «Закрет» под видом нищего?! Но ведь вы же начальник Высшей воинской полиции! Полагаю, негоже вам этим заниматься и еще передеваться в нищего! Агенты ведь в вашем ведомстве еще не перевелись. Или как? Почему все-таки именно вы?

И все-таки в итоге я уломал военного министра. И прежде всего, конечно, на него подействовало то обстоятельство, что ни один агент не в состоянии в той мере, как я, опознать графиню Коссаковскую, ибо не раз с ней встречался и даже допрашивал ее.

Михаил Богданович только сказал:

— Но ведь и она вас, в таком случае, сразу узнает?

Я объяснил Барклаю, что камердинер мой Трифон — отличный рисовальщик, в пору моего двухлетнего пребывания во Франции, когда я состоял при особе генерал-адъютанта князя Волконского, подрабатывал подмастерьем художника парижской оперы. И еще я добавил, что Трифон разрисует меня хоть под самого Бонапарта, да так, что комар носу не подточит.

И тут военный министр сдался.

Заручившись его согласием, я тут же отправился к себе.

Первым делом я отправил в «Закрет» записку Розену и Лангу, попросив их под любым предлогом выманить к воротам имения в часов семь вечера мадемуазель Федерику де Фонтен-Шаландре.

Тем временем Трифон превратил мой старый, но вполне целый фрак в отличнейшие нищенские лохмотья, а потом принялся и за меня самого. И через полтора часа я превратился в седого, морщинистого горбуна.

Затем я вызвал полицмейстера Вейса, и мы отправились в направлении «Закрета».

Когда до имения оставалось версты две, я вышел из кареты и пошел пешком, опираясь на клюку, которую дал мне предусмотрительный мой Трифон.

У ворот имения стояла несравненная Алина, кокетливо держа за ладонь голубоглазого гиганта, выдававшего себя за архитектора Шульца, — может, это и был архитектор, но только не один год прослуживший в гвардии (вся посадка его была чисто гвардейская).

Собственно, к сей парочке можно было уже и не приближаться — все было и так ясно. Но тем не менее я подошел и для виду попросил милостыни.

Они брезгливо отвернулись от меня и стали всматриваться в дорогу, что вела к воротам, — видимо, Розен и Ланг сообщили мнимой горничной и мнимому Шульцу, что к ним кто-то пришел.

Выразив на лице своем сильное огорчение, я заковылял прочь, пока не скрылись из виду ворота имения, а затем припустил рысью.

Полторы версты до кареты, в косяк ждал меня полицмейстер Вейс, я буквально пробежал, на бегу скинув с себя аккуратно раскромсанный Трифоном фрак.

Еще только подбегая к карете, я крикнул кучеру:

— В Виленский замок! Мигом!

Рванул дверцу, заскочил, плюхнулся на сиденье и молвил вопросительно глядевшему на меня полицмейстеру Вейсу:

— Это — они. Никаких сомнений быть не может.

Барклай принял меня сразу же.

Информация о том, что в имении генерала Беннингсена два агента польско-французской разведки, взволновала его не на шутку.

— Что же делать? — спросил меня военный министр чуть растерянно.

— Не спускать с них глаз и делать это так, чтобы они не заметили ничего, — отвечал я.

Мои слова несколько успокоили Михаила Богдановича, и он признал, что мы должны знать буквально о каждом шаге лиц, засланных в «Закрет» по наущению самого Бонапарта.

Однако вернувшись к себе, я подумал вот о чем.

Конечно, необходимо, как я заявил Барклаю де Толли, чтобы мнимая мадемаузель Федерика и мнимый архитектор Шульц находились под нашим неусыпным наблюдением и одновременно ничего не заметили.

Однако ведь следят за этой парочкой коллежский ассессор Розен и капитан Ланг, с коими прелестная Алина в прошлом не раз уже встречалась. Значит, эта чертовка или уже узнала, или же в ближайшее время узнает — сомнений тут никаких нет.

Выходит, и Розена, и Ланга необходимо немедленно отозвать из «Закрета».

Это необходимо сделать еще и потому, что они странным образом отказывались и отказываются до сих пор признать в Федерике де Фонтен-Шаландре графиню Алину Коссаковскую, хотя я просто не представляю, как они могли не узнать последнюю.

Каковы бы тут ни были причины, обман начальника Высшей воинской полиции допустить никак нельзя. И я это так не оставлю! Голубчики у меня еще попляшут!

Июня 5-го дня. Шестой час вечера

Еще до завтрака я послал записку в «Закрет» к Розену и Лангу, приказывая им немедленно вернуться в Вильну.

В десять часов утра ко мне явился квартальный надзиратель Шуленберх, и мы отправились в трактир Кришкевича.

По дороге Шуленберх рассказал мне, что со своими людьми буквально ежедневно «прочесывал» подземный ход, ведущий из Тракая в Вильну, и вот вчера вечером в одном из переходов они обнаружили потертый кожаный портфельчик, в коем находились донесения Алины Коссаковской и Сигизмунда Андриевича к генералу Фишеру в Варшаву.

Портфельчик был вынесен на свет божий, с писем были сделаны немедленно копии, а затем портфельчик отнесли назад, в подземелье.

Шуленберх оставил людей в корчме Янкевича в Тракае бесшумно следить и выяснить, кто же придет забирать портфельчик, приказав арестовать курьера и доставить его ко мне.

Поблагодарив квартального надзирателя Шуленберха за отличную службу, я сказал, что направляю его в «Закрет» взамен отзываемых оттуда Розена и Ланга, и что главной его обязанностью теперь будет наблюдение за всеми действиями горничной Федерики де Фонтен-Шаландре и архитектора Шульца.

Шуленберх тут же (прямо из трактира Кришкевича) и отправился к новому месту службы — в роскошное имение генерала Беннингсена, в знаменитый «Закрет».

А копии с донесений, предоставленные мне квартальным надзирателем, я отослал Барклаю де Толли, дабы тот, просмотрев их, передал Государю Императору (после обеда была мною получена благодарственная записка от Александра Павловича).

В двенадцатом часу дня явились ко мне Розен и Ланг.

Вначале они пробовали отпираться, вяло убеждая меня, что горничная графини Беннингсен несколько не походит на Алину Коссаковскую. Однако под моим строгим взглядом полковнички скоро сникли, и вот в чем они, в конце концов, мне признались. Даю их покающую исповедь в весьма сжатом виде.

Графиню Алину Коссаковскую Розен и Ланг признали сразу же по появлении своем в «Закрете», как и она их, впрочем.

Графиня первая подошла к ним и предложила заключить следующее негласное соглашение. Вот к чему оно сводилось.

Алина пообещала, что будет передавать Розену и Лангу все указания, получаемые ею от генерала Фишера, а взамен просила не писать мне, что они узнали ее.

И полковники согласились. Иначе говоря, вся информация, которую они посылали мне из имения генерала Беннингсена, составлялась для нас, разрабатывалась в штабе генерала Фишера. Вот проклятье!

И теперь-то только я и постигаю присланное мне прежде сообщение Розена и Ланга, что покушение готовится на хозяина имения — на генерала Беннингсена. То Бонапарт хотел повести нас по ложному следу, дабы мы не могли прийти к заключению, что замышляется убийство Александра Павловича.

Далее Розен и Ланг рассказали, что в итоге, вызвав от них все сведения, они собирались все-таки выдать Алину и ее сообщника, поведав мне, наконец, правду.

Видимо, и в самом деле собирались, но это могло быть сделано слишком поздно, могло быть сделано тогда, когда крушение Российской Империи стало бы

неизбежным, что несомненно произошло бы, ежели бы насильственно удалось прекратить жизнь Государя нашего Александра Павловича.

В общем, ярости моей не было предела. Я, к вящему изумлению всех присутствовавших, был в совершеннейшем бешенстве. Топал ногами, неистовствовал (ломал гусиные перья, швырял об стены стулья, даже вылил на безропотные полковничьи головы склянку с чернилами).

Я в сердцах сказал Розену и Лангу, что они — изменники, и даже пригрозился засадить их в каземат, причем надолго.

Но, конечно, никуда я Розена и Ланга не посажу (их еще повысят, чует мое сердце) — сейчас вообще не то время, чтобы можно было разбрасываться людьми. Однако особенно полагаться на этих горе-полковников мне теперь никак нельзя. Придется установить за ними наблюдение — доверия к ним нету.

Отпустил я их только в пятом часу, от сильнейшего нервного напряжения еле держась на ногах.

Розен же и Ланг явно пошатывались и дрожали от ужаса: видимо, им казалось, что их карьера бесповоротно закончилась, и более того — что жизни свои им придется доживать в тюремных застенках, ежели только Бонапарт их не освободит.

Июня 5-го дня. Одиннадцать часов ночи

Около семи вечера ко мне явился Отто Зейдлер, помощник Шуленберха, коего вместо себя квартальный надзиратель оставил в Тракае.

Зейдлер явился не один, а с добычей: это был курьер генерала Фишера, застигнутый в тот самый момент, как из корчмы Янкелевича, что в Тракае, он спустился в подземелье и уже отыскал потертый кожаный портфельчик с бумагами.

Не медля, я начал допрос. Зейдлер все аккуратно и быстро записывал.

Курьер и не думал отпираться и сразу же все выложил как на духу.

Зовут его Андре Мушотт (Mouchotte). Ему 52 года. Он родом из Сан-Манде (Saint Mande), очаровательного местечка близ Парижа.

Губернатор Лавинский восемь лет назад был в Париже и тогда же переманил его к себе на службу.

Андре Мушотт забирал донесения из «Закрета» и самолично доставлял их к генералу Фишеру в Варшаву.

Так я все, в общем-то, и предполагал. Но далее начались неожиданности, сильно меня изумившие и даже озадачившие. Вот что, собственно, я узнал.

Польско-французский курьер постоянно проживает в Вильне. Но это еще не все.

Он служит в доме Лавинского, гражданского губернатора Виленского края, будучи причислен к штату министра полиции Балашова, квартирующего в доме Лавинского.

В Варшаве у Андре Мушотта — единственная дочка (жена преуспевающего польского банкира), чем формально и объяснялись его частые отлучки на территорию герцогства.

К работе в разведке Мушотта привлекла Алина Коссаковская, еще в тупору, когда она служила в доме Лавинского, в штате Балашова.

Так что сама Алина вынуждена была исчезнуть из губернаторского дома, а посеянная ею зараза осталась.

Оказывается, министр полиции прозевал не только Алину, личного агента Бонапарта, но так и не догадался, что в его штате находится французский лазутчик.

Просто поразительная слепота! Обязательно доложу об этом случае Государю — не имею права не доложить.

Я тут же составил довольно подробную записку, приобщил к ней материалы допроса и содержимое кожаного портфельчика. Получился довольно объемистый пакет, кой по моему приказанию был отправлен в Виленский замок, к Александру Павловичу.

Полагаю, что хоть теперь Его Величество в должной мере оценит профессиональные качества своего министра полиции.

А Андре Мушотта, естественно, приказал взять под стражу.

Теперь же, на сон грядущий, принимаюсь за Шиллера — ничто меня так не успокаивает, как его бессмертные «Разбойники».

Июня 6-го дня. После одиннадцати утра

Еще не было восьми часов утра, как явился ко мне Зиновьев, камердинер Государя, отлично мне известный.

Он вручил мне записку своего патрона. Я тут же пробежал ее глазами — Государь срочно призывал меня к себе.

Мы тут же и отправились в Виленский замок, я только едва-едва успел глотнуть кофею, предусмотрительно сваренного моим Трифоном, пока я беседовал с Зиновьевым и просматривал записку.

Александр Павлович взволнованно мерил своими огромными шагами пол кабинета. Не успел я появиться в дверях, как он буквально ринулся ко мне со следующими словами:

— Я хочу видеть арестованного курьера и самолично допросить его. Понимаешь, самолично?! Тебе целиком доверяю, но хочу допросить его, поглядеть в его глаза, проследить за его интонациями. Санглен, поезжай-ка за курьером и приведи его прямо сюда, в этот кабинет. И немедленно. Никак не могу поверить, что у Александра Дмитрича Балашова, моего генерал-адъютанта и министра полиции, не раз разгадывавшего самые каверзные дела, в камердинерах мог оказаться французский шпион, и не один день. И вот что еще меня мучает: неужели Бонапарт сумел подобраться к нам так близко? Значит, в услужении еще кого-то из моих приближенных могут оказаться его агенты?

— Да, Ваше Величество, так и есть, — отвечал я. — Уже доподлинно известно, что в имени генерала Леонтия Леонтьевича Беннингсена есть два французских агента.

— Ладно, об этом еще поговорим, а покамест поезжай за курьером, — сказал мне Государь, явно смущенный и одновременно раздосадованный.

Я тут же и отправился.

Через минут сорок курьер был доставлен. Я ввел его в императорский кабинет и вышел, оставшись ждать за дверями. Александр Павлович позвал меня опять, когда прошло уже гораздо более двух часов, — допрос явно затянулся.

Его Величество был мрачен, взгляд огромных сияющих голубых глаз приобрел какую-то тяжесть.

— Поезжай, отвези его, — сказал мне Государь, — и тут же возвращайся. Ты мне еще нужен сегодня.

Водворив курьера на полагавшееся ему место и вернувшись, я застал Александра Павловича не столько мрачным, сколько грустно-задумчивым.

— Да, все, к величайшему сожалению, подтвердилось, — сказал Его Величество, растягивая слова и как бы пропитывая их печалью. — И знаешь, Санглен, сей Андре Мушотт не просто был французским курьером: он еще доносил генералу Фишеру обо всех, кого видел у Балашова, и какие разговоры слышал, а слышал он, видимо, немало. Ужас!

После минутного раздумья Его Величество продолжил:

— И надо же было Балашову так опростоволоситься! А тебе я чрезвычайно признателен за поимку сего курьера. Кто арестовал его?

— Квартальный надзиратель Шуленберх, — отвечал я.

— Непременно наградить денежным пособием в размере пяти тысячи рублей ассигнациями.

Я кивнул в знак согласия.

— А что там происходит в «Закрете» у Беннингсена? — продолжал Государь.

Я в целом обрисовал обстановку, рассказав, что Андре Мушотт передавал именно донесения тех агентов, что находятся в имении генерала Беннингсена.

— А мы не прозеваем их? — резонно осведомился Александр Павлович. — Кто следит за ними?

Я отвечал, что, кроме людей Балашова, в имении «Закрет» находится квартальный надзиратель Шуленберх.

— А, этому, кажется, стоит доверять, — сказал мне Государь и улыбнулся уже почти весело.

Его Величество попросил меня подробно и сразу информировать его обо всех, даже как будто малозначащих, событиях, что происходят в поместье Беннингсена. Я, естественно, обещал.

На этом, собственно, мы и расстались. Я побежал к себе — ко мне должен был прийти с докладом виленский полицмейстер Вейс.

Июня 6-го дня. Первый час ночи

Когда я пришел к себе, то меня уже ждало донесение отставного гусарского ротмистра Давида Савана из Варшавы.

Там сообщалось, что из Тракая к генералу Фишеру стал прибывать новый курьер (видимо, взамен выбывшего Андре Мушотта). Это — некто Игнатий Савушкин, виленский обыватель.

Новость сия меня страшно заинтриговала.

Да часом не сын ли это моего квартирного хозяина купца Савела Савушкина? Хороша же в таком случае новость — агент находится в одном со мною доме!

Я проверил: так и оказалось — сына моего квартирного хозяина зовут Игнатий, два года назад он закончил Виленскую гимназию, поступил в Сорбонну, теперь прибыл на вакации, а может, находится здесь по заданию французской разведки в ожидании предстоящей войны.

В любом случае приходится установить наблюдение за домом, в коем я сам проживаю, что я и сделал, как только ознакомился с донесением Савана.

И еще я приказал усилить наблюдение за корчмой Янкелевича в Тракае.

Полагаю, что меры эти неизбежно принесут свои плоды, и уже в самые ближайшие дни. Жаль, конечно, моего квартирного хозяина, он добрый и милый чело-

век и ко мне как будто расположен, но с сыном своим ему придется вскорости расстаться, тут уж ничего не поделаешь.

Ужинал я у графа Кутайсова.

Бывший там бригадный генерал Роберт Вильсон стал у меня расспрашивать всякого рода подробности о недавнем аресте курьера генерала Фишера и об содержании отобранных у него бумаг.

И откуда этот британец все выведал? Может, от самого Государя?

Я как мог отмалчивался, но, кажется, он и так уже все знает.

А ужин, надо сказать, был довольно скучный. Даже генерал-квартирмейстер Канкрин был не так забавен, как обычно. Вероятно, ощущение надвигающейся войны отнимает охоту к шуткам.

Июня 7-го дня. Одиннадцать часов утра

Оставшийся в Тракае за старшего помощник квартального надзирателя Шуленберха донес мне сегодня с раннего утра, что вчера поздним вечером в корчме Янкелевича был арестован студент Сорбонны Игнатий Савушкин.

Он уже забрал в подземелье корреспонденцию и, довольный собою, пил в корчме вино, собираясь в Варшаву, к генералу Фишеру.

К десяти утра привезли ко мне и арестованного Савушкина. Он сразу во всем повинился и признался, в частности, что был откомандирован в Вильну по заданию наполеоновского Генерального штаба.

Я отчески пожурил Игнашу, зывал к его чувству патриотизма, а потом пообещал отпустить, ежели он не расскажет ничего генералу Фишеру о случившемся, а именно о том, что он побывал у меня в кабинете.

Пока шел допрос (его записывал студент Виленского университета Петрусевиц, принятый недавно в мою канцелярию), губернский секретарь Протопопов и коллежский секретарь Валуа сняли копии с писем Алины Коссаковской и Сигизмунда Андриевича.

Я вернул Игнатию Савушкину все бумаги, и он, совершенно счастливый, отправился в Варшаву.

Ежели корчмарь Янкелевич не состоит вдруг на службе у генерала Фишера (а исключать такой возможности ведь нельзя), то все должно, кажется, сойти.

Как только Савушкин-младший ушел от меня, я тут же составил краткую, но весьма точную записку к Государю, приобщил все добытые бумаги и отправил все это в Виленский замок. Надеюсь, что Александр Павлович будет доволен.

Июня 7-го дня. Шестой час вечера

Уже к полудню у меня на столе лежала благодарственная записка от Александра Павловича.

Прислал свое первое донесение из «Закрета» Шуленберх.

Он сообщил, что графиня Беннингсен и горничная мадемазель Федерика почти не разлучаются. Нередко к ним присоединяется архитектор Шульц. Эта информация важна, конечно, но кардинально она ничего не меняет в сложившихся представлениях о происходящем.

Однако Шуленберху удалось узнать нечто совершенно новенькое.

Поздно ночью, когда рабочие разошлись, он стал осматривать со свечой в руке строящийся павильон, и вот, к изумлению своему, на что обратил внимание.

Оказывается, при возведении сего строения гвозди отнюдь не используются: шляпки от гвоздей, будто бы вбитых в стены, на самом деле искусно нарисованы малярами. Это новость, по сути своей, важнейшая. Она на очень многое открывает глаза и многое меняет.

Характер заговора, кажется, обрисовывается теперь со всей очевидностью. Да, это было замечательное решение: отозвать Розена и Ланга, уже прошляпивших Алину, и послать взамен их Шуленберха.

История с нарисованными гвоздями подталкивает к следующему выводу.

Танцевальный павильон в «Закрете» возводится так, дабы в определенный час рухнуть, погребя под своими сводами нашего императора.

Идея покушения на генерала Беннингсена — это, конечно, желание ввести нас в заблуждение, и не более того. Владелец «Закрета» для Бонапарта опасности не представляет. Известно, что император Франции с нескрываемым пренебрежением относится к военным дарованиям генерала. Несомненно, покушение готовится на нашего Государя.

Нет-нет, все гораздо страшнее. Павильон ведь, судя по всему, должен рухнуть во время бала, назначенного на двенадцатое июня, а на балу будет не только Государь и не только владелец «Закрета» генерал Беннингсен — будет весь генералитет Российской армии, в полном составе.

Несомненно, Бонапарт задумал не только лишить жизни Монарха, но и обезглавить армию и после этого уже вступить на наши территории.

Вот что вытекает из сообщения о нарисованных гвоздях.

И еще одно стало очевидным после получения записки Шуленберха: маляры, творцы мнимых гвоздей, вместе с мнимым архитектором Шульцем участвуют в заговоре. Получается, что имение «Закрет» просто наводнено агентами Бонапарта. Одной Алиной и Андриевичем дело, оказывается, не ограничилось.

Я тут же отправил Шуленберху письмо, в коем поблагодарил его за работу и попросил как можно внимательнее присмотреться к малярам.

И опрометью бросился в Виленский замок, к Государю.

Александр Павлович принял меня незамедлительно. Его Величество ясно понимал, что я не стал бы без особой на то причины просить внештатной аудиенции.

Выслушан я был самым внимательнейшим образом. Затем Император углубился в чтение записки Шуленберха.

История с нарисованными гвоздями, несомненно, произвела на него впечатление. Наконец он прервал явно затянувшуюся паузу и спросил, глядя куда-то в сторону:

— Что же будем делать, Санглен? Я жду твоих предложений.

— Ваше Величество, может быть, стоит отменить бал или хотя бы перенести его на другое число?

— Нет-нет, Бонапарт никак не должен догадаться о том, что мы уже догадались о его хитроумном плане. И в любом случае бал я отменять не собираюсь и даже не могу — это ведь было предложение моих генерал-адъютантов, и я принял его. Так что бал будет, но только ты со своими людьми должен всесторонне к нему подготовиться. Высшая воинская полиция должна показать, на что она способна.

Государь помолчал, а потом добавил, медленно, раздумчиво выводя каждое слово:

— Смотри только, Санглен, пожалуй, пока не рассказывай ничего Беннингсену — не дай Бог, проговорится жене своей, и тогда все пропало. Графиня уж точно доложит своему любовнику Шульцу, а заодно и горничной своей, а если и не скажет горничной, то об этом той поведает Шульц. Потом узнает обо всем генерал Фишер, а за ним уже — и сам Наполеон Бонапарт. И Барклаю, пожалуй, не стоит ничего рассказывать. Вообще, пусть это будет до поры до времени нашей с тобой тайной. Но главное, ты теперь не прозевай. Я ничего не боюсь, ибо полностью тебе доверяю.

Государь доверительно похлопал меня по плечу, и это, без всякого сомнения, было высшим поощрением.

Июня седьмого дня. Первый час ночи

Вечером по-соседски зашел ко мне Игнатий Савушкин. Он прибыл из Варшавы, напрямик от генерала Фишера.

Радостно поблескивая глазками, Савушкин-младший неторопливо снял картуз, аккуратно распорол подкладку, вытащил из-под нее сложенный вдвое листок тонкой, почти прозрачной бумаги и протянул его мне.

Как я и предполагал, это была записка от генерала Фишера. Она состояла всего из двух слов: двенадцатое июня. И внизу стоял широкий, лихой генеральский росчерк.

Все было ясно как Божий день.

Начальник Генерального штаба польской армии сообщал дату, на которую было запланировано покушение. Он давал указание, что стены и крыша танцевального павильона должны обрушиться не раньше и не позже, чем 12-го июня, а 12-го июня как раз и должен состояться в «Закрете» бал, который по подписке дают российскому императору генерал-адъютанты.

Я сложил листок и вернул его Игнатию, велел в точности передать записку генерала Фишера по назначению. Но тут сосед мой улыбнулся, вытащил из распоротой подкладки еще один листок и протянул его мне.

Я развернул листок и увидел, что это какой-то чертеж, испещренный обильными записями.

Как оказалось, то был план завершающих строительных работ павильона. На заднем обороте листка был маленький рисунок, изображавший, как стены павильона расходятся и крыша проваливается.

Я тут же кликнул губернского секретаря Протопопова, заведующего моей канцелярией, и коллежского секретаря Валуа, велел им немедленно снять копию. Через полчаса они вышли ко мне и вернули оригинал.

Я вернул заветный листок соседу, велел ему немедленно отправляться в «Закрет», но только не попадаться балашовцам, дабы они не устроили лишнего и опасного шума.

Как только Савушкин ушел, я тут же засел за послание к Его Величеству.

Прежде всего я подробнейшим образом изложил свой разговор с курьером, рассказал о записке, состоявшей из слов «двенадцатое июня», приобщил копию с чертежом и с рисунком, запечатал пакет и немедленно отправил его в Виленский замок, к Государю.

План Бонапарта теперь, после попавших в наши руки документов, стал вырисовываться просто с предельной отчетливостью.

Очередное свое донесение из Варшавы прислал мне сегодня Закс.

Он сообщает, что Бонапарт уже отправился в Литву, в местечко Вишьковышки.

Закс пишет также, что в варшавском дипломатическом мире все чаще поговаривают, что уже в самые ближайшие дни первые соединения «Великой армии» могут переправиться через Неман.

Я лично полагаю, что это произойдет как раз 12-го июня.

Бонапарт явно хочет приурочить уничтожение нашего монарха к началу боевых действий, усилив тем самым сокрушительность и бесповоротность первого удара. Так что намечающийся бал оказывается вписанным в самый высокий политический регистр.

Все эти дополнительные соображения я изложил в новом письме к Государю, присовокупив к нему последнюю записку Закса, которая, несомненно, заинтересует Его Величество, и это неудивительно. Вкупе с просмотренными бумагами генерала Фишера записка эта многое проясняет, многое ставит на свои места.

Беспокоюсь — что-то молчит Шуленберх. Боюсь, не учудила бы чего Алина: от нее можно ожидать любого подвоха, любой пакости.

Конечно, я понимаю, что не может же Шуленберх баловать меня донесениями каждый день, хотя, может быть, и стоило бы это делать.

Последние недели центра европейской политики, надо признать, переместился в «Закрет», в имение генерала Бенningсена. Мировая история отныне делается в «Закрете», только бы не допустить нам какой-нибудь страшной оплошности, ведь на кон поставлена жизнь нашего Государя, а не исключено, что и судьба всей Российской Империи.

Июня 8-го дня. Одиннадцать часов утра

Завтракала я у Барклая. Потом мы уединились в его кабинете.

Он сказал мне:

— Яков Иванович, хочу с вами посоветоваться. Видите ли, Государь предлагал Бенningсену командовать армией, но тот решительно отказался. Теперь Государь требует непременно, дабы я командовал войском. Как вы думаете?

— Мне кажется, — отвечал я, — Бенningсен поступил благоразумно. Командовать русскими войсками на отечественном языке и с иностранным именем — невыгодно. Бенningсен это испытал. Я полагаю, что и Вашему высокопревосходительству не худо последовать его примеру.

— Но Государь того требует, как отказаться? — обеспокоенно спросил меня Барклай.

— Бенningсен-то сделал, следовательно, и Вашему высокопревосходительству можно поступить так же; впрочем, это воля ваша, — отвечал я военному министру.

Не знаю, угодил ли я этою откровенностью; хотя Барклай, по-видимому, колебался, но все окружающие его «мудрецы», которые ожидают от него великих благ, поощряют его на этот подвиг.

Когда я шел назад, то вдруг увидел, что Вильна принимает вид все более воинственный: со всех сторон стекаются войска.

Июня 8-го дня. Четыре часа пополудни

Мой знакомец Зиновьев, камердинер Государя — Александр Павлович срочно призывал меня к себе.

Я тут же, не мешкая, отправился в Виленский замок, уже во второй раз за сегодняшний день.

Государь встретил меня в высшей степени приветливо и даже ласково, почти по-дружески.

Моими последними записками, посланными вчера, Александр Павлович остался весьма доволен. Он даже особо подчеркнул это.

Причем Его Величество, как и я, придерживается того мнения, что именно к балу в «Закрете» Бонапарт решил приурочить начало боевых действий, а первым залпом должна стать катастрофа в танцевальном павильоне.

При этом в лице Государя не было заметно и тени страха. Скорее в его огромных голубых глазах я увидел огоньки азарта, но в высшей степени спокойного, выверенного, отнюдь не выходящего из берегов.

И еще я ощущал безграничное доверие Александра Павловича ко мне, что весьма меня окрыляло.

Но все-таки я еще раз предложил Его Величеству отменить бал в «Закрете». Государь рассмеялся и сказал мне:

— Санглен, за меня не беспокойся. Подумай лучше-ка вот о чем. Бонапарт, говоря языком столь любимых тобою шахмат, задумал красивую, эффектную комбинацию. Во что бы то ни стало надо сделать так, чтобы она сорвалась. Ради этого я готов рисковать своей жизнью, а ты уж не подведи (только не рассказывай ничего генералу Аракчееву: он занят охраной моей особы и ради этого может забыть об интересах отечества). Имей в виду, что от тебя сейчас немало зависит. Нет, ничего отменять мы не будем, а вот проиграть мы не имеем права.

Я, естественно, обещал ничего не рассказывать Аракчееву.

В ответ же на слова Государя, что он дает мне самые широкие полномочия, попросил отозвать из «Закрета» людей Балашова, ибо они своими неумеренными подглядываниями могут вызвать подозрения у Алины Коссаковской и полковника Андриевича, что совершенно нежелательно для нас в нынешней ситуации.

Александр Павлович, ни минуты не раздумывая, обещал непременно учесть мою просьбу, и буквально в самое ближайшее время, чуть ли не сегодня. «Можешь не волноваться, Санглен: совсем скоро людей Балашова не будет в „Закрете“...» — заверил меня Его Величество.

На этом аудиенция и закончилась.

Прощаясь, Государь напомнил мне, чтобы я не забывал тотчас же по получении пересылать ему любые сведения — пусть даже самые как будто незначительные, — получаемые из «Закрета».

Июня восьмого дня. Первый час ночи

Пришло долгожданное и драгоценное донесение от Шуленберха из «Закрета» (посыльный принес его глубокой ночью: было уже гораздо более одиннадцати часов).

Я тут же списал текст донесения для себя (у меня теперь есть целая папка, на коей карандашом жирно выведено: «Закрет»), а оригинал отправил немедленно в Виленский замок, к Государю.

Шуленберх сообщает, что строительство танцевального павильона вступило в свою завершающую стадию — стены возведены и увиты целыми картинами из зелени (некоторые из них поистине прелестны), но что-то еще доделывается.

Во всяком случае, «архитектор» Шульц получил какой-то новый чертеж, а на оборотной стороне его есть рисунки, на коих, видимо, обозначены детали павильона. При малейшем приближении кого-либо, за исключением прелестной Алины, Шульц тут же прячет чертеж в карман сюртука.

Балашовцев сегодня неожиданно всех вдруг отозвали из имения, и это было сделано, кажется, к радости всех жителей «Закрета» и к громадному облегчению его, Шуленберха: эти неуклюжие согладатаи смертельно всем надоели — правда, теперь не над кем будет потешаться.

Сам Шуленберх, кстати, официально считается новым закретовским садовником, и его инкогнито до сих пор, к счастью, не раскрыто, что и неудивительно: это — ушлый полицейский служака, недаром его ценит и сам Государь. Но особо отлично Шуленберх показал себя именно в «Закрете».

И на фоне этих дуралеев — Ланга и Розена — он смотрится не просто героем, а еще и умницей. Но посмотрим, как виленский квартальный надзиратель и мой помощник проявит себя в эти дни, от коих столь многое зависит в судьбе Российской империи.

Да, и вот какую интересную деталь сообщил Шуленберх.

Все рабочие, участвующие в возведении павильона, — выходцы из герцогства Варшавского; причем «архитектор» Шульц со многими из них находится в довольно приятных и даже дружеских отношениях.

Я полагаю, что кандидатуры всех рабочих были утверждены лично генералом Фишером и полковником Андриевичем.

Да, «Закрет», принадлежащий начальнику Генерального штаба русской армии, буквально наводнен французскими шпионами. Теперь это совершенно очевидно.

И неизвестно еще, в каких отношениях с заговорщиками находится графиня Беннингсен, урожденная Бутовт-Андржейкович, польская аристократка. Но даже если она и верна нашему Государю, в любом случае весь «Закрет» обильно пропитан изменой.

Между тем, более всего меня пугают не польские солдаты, переодетые строителями, а графиня Алина Коссаковская, настолько же прелестная, насколько жестокая и коварная, агент Бонапарта в здешнем крае.

Июня девятого дня. Одиннадцать часов утра

С утра явились за распоряжениями Розен и Ланг — в их лицах я не приметил ни тени раскаяния. Испуг прошел, и тут же к ним вернулось ощущение собственной безнаказанности.

Я их отослал с глаз долой, в Ковно, к майору Бистрому, тем более, что в Ковно скопилось какое-то немалое количество французов и пришлых поляков (сам Бистром полагает, что все они переодетые офицеры). Думаю, что хоть на что-нибудь эта парочка там сгодится.

Потом пришел полицмейстер Вейс — докладывал об обстановке в Вильне. Но в эти дни Вейс уже мало что способен понять, чего он и не пробовал скрывать.

В городе царит полнейшая неразбериха: он буквально весь затоплен войсками, все прибывающими и прибывающими. Всюду полевые кухни, обозы со снаряжением, артиллерийские упряжки, скачущие ординарцы, какие-то тучи адъютантов и генералов. Отыскать тут французского лазутчика было бы делом не просто невозможным, но и бессмысленным.

Прислал донесение отставной ротмистр Давид Саван из герцогства Варшавского.

Два дня назад он был на ужине у генерала Фишера. Начальник Генерального штаба польской армии буквально светился радостью.

Торжествуя, он прямо сказал всем присутствовавшим на ужине, что дни злостного врага Польши, Российской империи, сочтены, что Александр I — последний российский царь и что буквально со дня на день надо ожидать, что земная жизнь его будет насильственно прекращена.

В ответ раздались изумленные вопросы и радостные восклицания гостей.

Генерал Фишер помолчал, а потом сказал, что не может до поры до времени разглашать имеющиеся у него сведения, но может лишь сообщить, что готовятся грандиозные события, и готовятся они не без участия поляков.

После сих слов в зале, где проходил ужин, раздались громкие аплодисменты и клики восторга.

Получив письмо Давида Савана, я тут же переслал его Государю.

Александр Павлович незамедлительно ответил мне краткой запиской: «Милостивый государь Яков Иванович! Они уверены в полной и скорой своей победе. Тем более осторожными и предусмотрительными мы должны быть в эти дни. Нужно принять все необходимые меры и даже сделать все сверх необходимости. Действуй!».

Июня девятого дня. Седьмой час вечера

Только что вернулся от Государя.

Кстати, Виленский замок, как и все последние три месяца, живет спокойно и размеренно — никаких следов паники я не заметил.

Александр Павлович был не один. За его спиной маячили аж целых три генеральские фигуры — Барклай, Беннингсен и Аракчеева. Буквально через пару минут после моего появления к ним присоединился четвертый — бригадный генерал Роберт Вильсон, шпион и проныра.

Государь обратился ко мне:

— Санглен, у нас тут идет совещанье, по ходу коего возник спор. Военный министр доказывает, что Бонапарт, перейдя границу, пойдет с основными силами напрямик на Вильну, а вот генерал Беннингсен придерживается иного мнения. Но вот в чем все мы единодушны: канцелярию Высшей воинской полиции надо, не медля, отправлять в Санкт-Петербург. Необходимо совершенно исключить возможность того, чтобы бумаги твоего ведомства попали в руки Бонапарта. Из штата канцелярии оставь при себе одного человека. На ком думаешь остановить свой выбор?

— На коллежском секретаре Валуа, — ответствовал я.

Государь кивнул в знак согласия и сказал:

— Все. Занимайся отправкой канцелярии, а мы продолжим наш спор.

Затем Его Величество наклонился ко мне и шепнул:

— Не забывай пересылать мне все донесения, касающиеся «Закрета».

Июня девятого дня. Первый час ночи

Около девяти часов вечера ко мне заявился сосед мой Игнатий Савушкин.

Сей милый юноша, кажется, вполне сможет в обозримом будущем заглядывать собственную измену Отечеству. Он помогает одурачивать генерала Фишера, Алину и Андриевича, а заодно и самого Бонапарта.

Савушкин-младший поведал мне, что ходил сегодня с утра в «Закрет» (так его проинструктировали в штабе генерала Фишера).

Когда он поравнялся с оградой, то прелестная Алина, подойдя поближе, кинула в его сторону бумажный шарик.

Рассказывая это, Игнатий вытаскил из-за пазухи тонкую полоску бумаги, на коей карандашом была начарапана всего одна фраза: «Все будет готово одиннадцатого к десяти часам утра. А.К.».

Эту записку Савушкин должен свезти в Варшаву, к генералу Фишеру. И отправился он сразу, прямо от меня.

Я тут же уведомил Государя о визите Игнатия Савушкина и об его весьма любопытном рассказе.

И весьма важно для меня донесение прислал из Варшавы Яшенька Закс.

Ему удалось свести знакомство с родителями Алины Коссаковской. И отец прелестной графини проболтался (что бы мы делали без говорливых старичков!), что она «гостит» в «Закрете» и покинет имение одиннадцатого в полдень.

Молодчина Закс! Одиннадцатого на рассвете я отправляюсь в «Закрет» за нашей драгоценной птвичкой. И никому об этом пока не буду сообщать, даже верному Шуленберху.

Донесение Закса я тут же переслал в Виленский замок, к Государю.

Июня девятого дня. Час ночи

Камердинер мой Трифон сразу же после ужина погрузился в знаменитый разбойничий роман Кристиана Августа Вульпиуса «Ринальдо Ринальдони». Эту книгу он читает уже несколько лет изо дня в день.

Я же, ответив на письма семейства моего — оно осталось в Санкт-Петербурге — перечитываю (и не в целях развлечения, а в ожидании грядущих великих событий) неоконченный роман «Духовидец», принадлежащий перу давнего любимчика моего Шиллера.

Там развертываются целые мириады тайн, так и не раскрытых. Леденящие душу преступления так и не объяснены. Многие загадки так и не разгаданы, что как раз и влечет меня к сему творению.

В свое время «Духовидец» наделал много шума. Он писан был в ту эпоху, в которую люди, уклоняясь от утешительной веры, предались поверьям самым грубым и суеверным. Всех тогда морочил мастерски Калиостро, выдавая себя за чело- века, имеющего сношения с нечистыми духами.

Шиллер представил в своем «Духовидце» сплетение чудеснейших происшествий. Он таинственным содержанием, пленительным слогом возбудил любопытство всех и сильно подействовал на воображение читателей. С величайшим нетерпением ожидали окончания, однако оное в печати так и не появилось.

Искусству разгадывания преступных тайн я учился во многом именно на «Духовидце».

Да, ежели бы не опыт многолетнего каждодневного прочитывания новинок изящной словесности (и особенно готических романов), вряд ли я бы справился с должностью начальника Высшей воинской полиции, ведомства вполне готического, хранящего не одну страшную тайну.

Вот выйду в отставку и, дабы не разглашать служебных секретов, примусь за романы тайн, потихоньку используя свои познания из жизни практической, из этой поры моей, когда я оказался прикомандирован к особе военного министра.

Июня десятого дня. Одиннадцатый час утра

Завтракал я с полицмейстером Вейсом в трактире Кришкевича. Трактир был весь набит солдатами и сильно смахивал на военный лагерь.

На прогулке в городском саду столкнулся (я был вместе с графом Поццо ди Борго и государственным секретарем Шишковым) с министром полиции Балашовым, шедшим под ручку с гражданским губернатором Виленского края Лавинским.

Завидев меня, Александр Дмитрич порывисто отбросил ручку Лавинского, сжал волосатые свои кулачки и кинулся в мою сторону, начав еще издали кричать.

Подбежав ко мне, Балашов остановился, скорчил гримаску и буквально прорычал мне в лицо:

— Да как вы только посмели!.. Это же из-за вас забрали сотрудников министерства полиции из «Закрета». Да по какому, собственно, праву?.. И чем ваши люди лучше моих?.. И как не стыдно было жаловаться на меня Государю? Вы забыли, что ли, что это я вас, уволенного отовсюду, взял в Министерство полиции? Да и в Московский университет вы попали по моей протекции. И это ваша благодарность?

Сначала бывшие рядом со мной граф Поццо ди Борго и Шишков вздрогнули от изумления, а потом вслух расхохотались. Проходившие мимо (среди них я заметил графа Кутайсова, графа Канкрин и полковника Закревского) останавливались, привлеченные криками министра полиции, и тоже начинали смеяться. Такая реакция несколько остудила пыл Балашова, и он ретировался назад к Лавинскому, своему близкому приятелю, но издали все-таки погрозил мне кулачком.

— Что это нашло на Александра Дмитрича? В своем ли он уме? — спросил у меня Шишков.

Я улыбнулся, но ничего не сказал, а про себя в тот момент подумал: «Конечно, Государь насплетничал Балашову, что это из-за меня его людей убрали из „Закрета“. Ну и пусть. Главное, что балашовцев убрали, а то бы они еще наломали дров».

Но объяснять все это государственному секретарю не имело смысла, тем более, что он должен был думать теперь не о министре полиции и его взаимоотношениях со мной и с Государем, а о составлении манифеста по случаю войны, которая начнется со дня на день.

В полдень у меня должна состояться встреча с Александром Павловичем. Непременно расскажу ему, как на меня в саду напал Балашов. Однако прежде чем идти в Виленский замок, я зайду к себе, дабы взглянуть почту (с утра я не успел это сделать).

Июня десятого дня. Шестой час вечера

Государь смеялся до слез, когда я рассказал ему о встрече с министром полиции Балашовым.

Затем мы обратились к тому, что происходит в «Закрете». Обсуждали также рассказ Игнатия Савушкина и донесение Закса.

Государь одобрил расторопность Закса, то, что он умудрился подружиться с отцом мнимой горничной графини Беннингсен, чрезвычайно хвалил Савушкина — записка, которую тот принес, весьма должна была облегчить работу Высшей воинской полиции.

Мою мысль, что завтра с утра надо ехать в «Закрет», Его Величество сразу и полностью одобрил.

— Внимательнейшим образом осмотри весь танцевальный павильон, — сказал мне Александр Павлович, — и постарайся непременно задержать мнимую горничную графини Беннингсен, коли та завтра собирается бежать из имения.

А потом Государь добавил:

— Сегодня еще хорошо бы дожидаться донесения от Шуленберха: оно бы многое позволило нам уточнить.

Когда я вернулся к себе, меня уже ждала записка из «Закрета» от моего верного Шуленберха. Вот что он сообщил мне.

Шуленберх подстригал в парке громадную роскошную ель, когда в аллее появилась графиня Беннингсен со своей горничной, то бишь с прелестной Алиной.

Когда они стали приближаться к нему, Шуленберх спрятался за не обстриженную еще ель. До него долетела фраза, сказанная Алиной:

— Марня, через два дня мир изменится. А Польша лишится своего главного притеснителя.

Дамы, конечно, говорили о готовящемся покушении на нашего Государя. Но крайне важно было еще вот что: хозяйка «Закрета» графиня Беннингсен прикосновенна к заговору; Алина с нею откровенна и пользуется ее поддержкой в осуществлении своих черных дел.

Как только я ознакомился с запиской, как тут же кинулся огиать в Виленский замок.

Государь принял меня незамедлительно.

То, что написал Шуленберх, произвело на Его Величество неизгладимое впечатление.

Государь не выдержал и в сердцах сказал:

— И тут измена! Немыслимо, совершенно немисливо: супруга начальника Генерального штаба российской армии причастна к заговору Бонапарта против меня! Поверить в это страшно тяжело и обидно, но, увы, приходится это делать.

Александр Павлович спрятал записку Шуленберха в папку, на коей было выведено: «Граф Леонтий Леонтьевич Беннингсен» и примолвил:

— Умница все-таки твой Шуленберх. Поблагодари его от моего имени.

Прощаясь, Государь обнял меня и шепнул, хотя поблизости никого не было:

— Удачи тебе завтра, Санглен, полной и бесповоротной удачи. Дай Бог, чтобы удалось перехитрить Бонапарта. Не хочу тебя смущать, но возникла ситуация, когда ты просто не имеешь права на поражение. Тысячу раз продумай каждый свой шаг.

Я заверил Александра Павловича, что все продумано буквально до мельчайших деталей, и в самом деле это было так.

Его Величество перекрестил меня. Его огромные, ясные голубые глаза на сей раз были увлажнены слезами, что делало их еще прекраснее.

Июня одиннадцатого дня. Полночь

В семь часов утра за мной заехал полицмейстер Вейс, а еще вызванные из Ковно коллежский ассессор Розен и капитан Ланг.

Я немедленно приказал оседлать лошадей, и все мы поскакали в «Закрет».

У подъезда дома встретил я Беннингсена, который, вероятно, полагал, что я послан Государем с каким-либо к нему приказанием, ибо спросил:

— Что вы мне привезли?

— Я приехал засвидетельствовать Вашему высокопревосходительству мое почтение и посмотреть на строящуюся залу.

— Пойдемте ко мне. Жена наливает чай; напьемся, а потом пойдем вместе.

Отказаться было неловко. Супруга его налила мне чаю.

Едва я взял чашку в руки, как тут же сказал:

— А где архитектор?

— Он недавно был здесь, — отвечала мне графиня.

— Немедленно отыскать его, — приказал я.

Через несколько времени посланные возвратились и принесли выловленные из воды фрак и шляпу мнимого архитектора.

— Видно утопился, — сказали нерешительно посланные.

— Вот и первый промах, — подумал я. — И конечно, полковник Андриевич не утопился, а бежал. Все подготовил и регировался в Варшаву. Или поджидает где-нибудь в условленном месте Алину. Дабы вместе явиться пред светлые очи генерала Фишера. Надобно теперь не упустить Алину.

Я ненадолго погрузился в раздумья, а потом сказал:

— Графиня, не могу вас утруждать. Нельзя ли, чтобы ганцевальный павильон показала мне ваша горничная мадемуазель Федерика? Говорят, она тут все знает.

Мадам Беннингсен ответила мне согласием. Кликнули горничную. Она тотчас явилась, и мы отправились осматривать павильон.

— Алина, я ужасно скучаю без вас, — заметил я, когда мы остались вдвоем.

При этих словах глаза графини Коссаковской полыхнули огнем бешенства, но я сделал вид, что ничего не замечаю.

Тем временем мы подошли к павильону.

— Графиношка, — сказал я как можно невиннее, — вы зайдите, осмотрите все, а потом уже и я.

При этих словах Алина смертельно побледнела и резко отрицательно качнула головой.

Однако я, не мешкая, втолкнул ее в павильон и запер дверь. Затем подошел к стене, увиной зеленью, и со всей силы качнул ее. И стена стала поддаваться. Раздался страшный треск, заглушавший крики Алины: павильон начал рушиться.

Все арки, обвитые зеленью, скоро лежали на полу. Мне удалось рассмотреть, что все арки между собою и к полу прикреплены были штукатурными гвоздями.

Я вскочил на лошадь и во весь галоп поскакал к Государю. Вейс, Розен и Ланг ринулись за мной.

— Что? — спросил Государь, как только завидел меня.

— Здание разрушено, — отвечал я. — Один пол остался.

Государь требовал подробностей.

Я рассказал, что по осмотре оказалось, что шпионка Бонапарта была к моменту катастрофы в здании павильона и погибла в момент разрушения, не став докладывать нашему человеколюбивому Государю, как Алина попала в павильон.

— Так это правда! Значит, покушение действительно готовилось? — сказал Государь и продолжал потом: — Поезжай-ка, Санглен, в «Закрет» и прикажи пол немедленно очистить и привести все там в порядок. Зачем нам крыша? Мы будем танцевать под открытым небом.

Я заехал к себе домой, приказал заложить коляску, чтобы ехать в «Закрет», к Беннингсену. На квартире меня ожидала эстафета из Ковно от полицмейстера майора Бистрома с извещением, что Бонапарт в районе Ковно начинает переправляться через Неман со своею армиею. Не успел я дочитать эстафету, как прибыл и сам майор Бистром. Рассказ его был сумбурен, но впечатляющ и неминуемо означал, что страшная война началась.

Я тут же воротился назад, в Виленский замок, прихватив с собой и майора Бистрома, и явился с докладом к Государю.

Александр Павлович принял меня незамедлительно.

Войдя в императорский кабинет, я тут же втащил за собой оробевшего майора Бистрома и подтолкнул его прямо к Государю.

Рассказ ковенского полицмейстера был выслушан со вниманием, но не более того, что меня даже удивило.

— Я этого ожидал, — спокойно отвечал Александр Павлович, совершенно не изменившись в лице. — Но бал все-таки будет, непременно будет. Я уже дал согласие своим генерал-адъютантам. И вообще: негоже показывать Бонапарту, что мы его боимся.

Июня двенадцатого дня. Десять часов утра

С раннего утра прогуливался в городском саду с коллежским секретарем Валуа — единственным оставшимся в Вильне чиновником моей канцелярии. Видел министра полиции Балашова: оба мы церемоннейшим образом раскланялись и молча разошлись.

Вернувшись к себе, читал бессмертные Шиллеровы творения — драму «Разбойники» и неоконченный роман «Духовидец». Наслаждался и восхищался, делал выписки, даже набросал перевод нескольких фрагментов из «Духовидца».

Затем принялся за дела.

Слава Богу, что, наконец, избавились мы от графини Коссаковской, особы чрезвычайно зловердной и опасной. Надеюсь, что она не воскреснет в самое ближайшее время. А вот то, что полковнику Андриевичу удалось бежать, — плохо, конечно. Надо бы его каким-то образом заполучить назад. Еще подумаю над этим. Необходимо что-то на этот счет придумать.

Но в целом все складывается замечательно. Гнусная затея злодея Бонапарта не удалась, слава Богу, — Государь наш остался целехонек.

Его Величество собирается представить к награде квартального надзирателя Шуленберха. Да, это было бы совершенно справедливо. Но я думаю, что за компанию наградят еще этих ротозеев и трусов — Розена и Ланга. Ну и ладно.

А мне лично достаточно того доверия, что неизменно оказывает мне наш Государь.

Интересно, расскажет ли в ближайшее время Александр Павлович генералу Беннингсену, что супруга его прикосновенна некоторым образом к тому жуткому покушению, что должно было состояться в «Закрете»? Или же наш император будет таить обиду и молчать, делая до поры до времени вид, что ничего не произошло?!

Я лично полагаю, что ничего сейчас Его Величество не расскажет, а побежит имеющиеся в его распоряжении бесценные сведения до того момента, когда позволит себе излить накопившиеся у него раздражение и гнев на своего заносчивого генерала.

Сейчас же, в канун тяжелейшей и опаснейшей войны, Александр Павлович и виду не подаст, что ему хоть что-то известно, — это ясно как Божий день. Тут не может быть никаких сомнений.

А мне, конечно, хотелось бы, чтобы Беннингсену устроили разнос прямо сегодня или в крайнем случае завтра, сразу после бала.

Генерал в последние недели столько зло принес Барклаю де Толли, столько гадостей про него наговорил, упорно пытаюсь поссорить с ним Государя! И было бы совершенно справедливо, ежели бы теперь досталось и интригану и злоке Беннингсену.

Но ничего не поделаешь — придется ждать! Что ж, буду учиться у нашего хитроумнейшего Александра Павловича, в совершенстве владеющего искусством ждать нужного момента. Вообще я не раз уже убеждался в том, что если кто и рожден быть шпионом, так это именно он.

Июня двенадцатого дня. Шестой час вечера

Час назад неожиданно явился ко мне отставной ротмистр Давид Саван. Прибыл он напрямик из Варшавы, и совершенно без предупреждения: как говорится, свалился, как снег на голову.

Ротмистр поведал мне, что два дня назад его неожиданно призвал к себе генерал Фишер и, не медля ни минуты, велел отправляться в Вильну, приказав обосноваться там и высматривать, как русские будут готовиться к бегству и кого из своих они оставят в городе.

Еще генерал Фишер рассказал Давиду Савану, что Бонапарт, перейдя Неман, двинется со своими силами прямо на Вильну, и что нужно пресечь возможность каких-либо покушений на жизнь императора Франции. Генерал добавил потом, что и с этой целью отставной ротмистр ныне посылается в Вильну: Саван должен будет следить, дабы не было никаких посягательств на личность Бонапарта.

— Что ж, оставайтесь в здешнем крае, ротмистр, — отвечал я. — Для подмоги я оставлю вам еще пару людей. Ваши донесения из Вильны нам пригодятся не менее, чем Ваши же донесения из Варшавы, а может, даже и более. Имейте в виду, что уже в самое ближайшее время нам понадобятся известия и рапорты о передвижениях корпусов французской армии. Постарайтесь попасть в штаб к Бонапарту, хотя бы в качестве переводчика. Это, конечно, не просто, но чем черт не шутит — вдруг получится.

В ответ ротмистр рассказал мне, что генерал Фишер обещал ему лично представить его императору Франции, когда тот войдет в Вильну. Так что, возможно, Бонапарт и в самом деле оставит Савана при своем штабе — это было бы просто замечательно.

Будем надеяться, что генерал Фишер не подведет и не забудет о своем питомце и нашем великолепном агенте — урожденном французе и российском подданном Давиде Саване.

Мы договорились, что завтра с утра пораньше Давид Саван явится ко мне и я тогда дам ему список поручений.

Кстати, отставной ротмистр рассказал еще, что вернувшийся из «Закрета» полковник Андриевич по распоряжению генерала Фишера уволен от звания адъютанта, разжалован в рядовые и отправлен в действующую армию. Несомненно, с полковником Андриевичем так поступили потому, что наш Государь остался целехонек, что готовившийся обвал потолка танцевального павильона в «Закрете» состоялся не вовремя, ранее намечавшегося Бонапартом срока.

Когда Давид Саван ушел, я вызвал к себе коллежского секретаря Валуа и нескольких чиновников Высшей воинской полиции.

Я сообщил им всем о принятом мною, совместно с военным министром, решении посылать наших людей на фланги и в тыл противника.

Валуа писал командировочные предписания (перо его буквально летало над бумагой). Я же расписывался и ставил печать, услужливо подаваемую моим верным камердинером Трифоном.

Коллежский ассессор Розен и майор Бистром¹⁹ уже в самые ближайшие дни должны направиться в район Динабург — Рига.

Таможенный чиновник Бартц поедет в Белосток. Ротмистру Винценту Ривофиналли, бойкому, хваткому и настырному, держать путь в Москву: он должен будет как можно полнее выявить французскую агентуру, которая весьма обильно гнездится давно уже в первопрестольной столице нашей.

А подполковник Кемпен получил назначение в Мозырь для развертывания агентурной работы в Могилевской губернии.

Капитану же Лангу, оставляемому в Виленской губернии, будут приданы несколько казаков для захвата «языков».

Кроме этого, в Вильне я оставляю под началом квартального надзирателя Шуленберха целый отряд высшей воинской полиции (Шуленберх о новом задании узнает от меня завтра, как вернется из «Закрета»).

Получив командировочные предписания, все чиновники тут же разошлись по домам — готовиться к отъезду. Особенно спешил ротмистр Ривофиналли — он рвался в Москву, искать шпионов.

В кабинете остались только я, коллежский секретарь де Валуа да камердинер Трифон, неизменный и неопенимый мой друг и помощник.

Я и де Валуа выпили вкуснейшего липового чаю, поданного нам Трифоном, отведали баранок (дар купца Савушкина), обсудили новейшие политические события.

Де Валуа — заклятый враг Бонапарта.

Он говорил о том, что если Россия сейчас не остановит этого лютого зверя, жестокого и коварного, то человечество окажется на самом краю бездны. Валуа прибавил в запале, что готов во благо рода людского заколоть Бонапарта.

Я, улыбнувшись, отвечал коллежскому секретарю, что он в значительней мере приблизит победу, если дела канцелярии Высшей воинской полиции будут находиться в порядке.

Потом к нам присоединился Игнатий Савушкин, сын купца и моего домовладельца, студент Сорбонны и с недавних пор наш агент, оказавшийся весьма полезным. Правда, он был на службе у Бонапарта, а теперь вот верой и правдой трудится для нашего Государя.

Игнатий рассказал нам, что он прибыл по поручению генерала Фишера, дабы остаться в Вильне, вплоть до особых распоряжений.

Валуа записал слова Игнатия, я составил сопроводительную записку, запечатал все это в конверт и отправил Государю.

Завтра познакомлю Савушкина-младшего с отставным ротмистром Давидом Саваном.

Полагаю, они пригодятся друг другу, а заодно и мне, а заодно и нашему страждущему отечеству.

Июня двенадцатого дня. Полночь

Бал в «Закрете» в полном разгаре (для охраны там оставлены полицмейстер Вейс, квартальный надзиратель Шуленберх, не считая переодетых в крестьян и в лакеев рядовых полицейских), а я вот сижу у себя, читаю донесения.

Коллежский секретарь де Валуа, представляющий собою в эти дни всю мою канцелярию, сосредоточенно возится с бумагами: советуясь со мной, ненужные и не очень нужные бросает в камин, пылающий неудержимо, а те, что имеют особую ценность, он отправляет на дно объемистого портфеля, в коем в итоге уместилась все делопроизводство за апрель — июнь сего года.

Коллежскому секретарю самоотверженно помогает мой камердинер Трифон, весь измазанный сажей и даже как будто какой-то закопченный, словно вырвавшийся из преисподней.

Так что пока в «Закрете» веселятся, мы втроем трудимся весь этот вечер, не покладая рук.

Около десяти часов вечера наша работа — вернее, мое участие в ней — была на некоторое время прервана: принесли записку от Яшеньки Закса, совсем коротенькую, но чрезвычайно значительную и даже, можно сказать, историческую.

Сейчас же перешлю сей документ Государю.

Вернувшись с бала, Его Величество, я уверен, с удовольствием прочтет эту записку и останется доволен.

Собственно, записка по содержанию своему весьма грустна, но грустность эта нам уже известна. Однако в записке есть один весьма отрадный фактик, о котором Государь даже не догадывается. Между тем, знание этого фактика, надеюсь, будет для Александра Павловича весьма приятно.

Поразительно, но Закс, как явствует из его последней записки, уже находится не в Варшаве и даже не на территории герцогства, а фактически пребывает теперь в пределах Российской империи и, кстати, не так уж и далеко от Вильны, вернее, он обретается где-то между Ковно и Вильной. Новость сия явилась для меня полнейшей неожиданностью.

Закс сообщает мне следующее.

Бонапарт отдал приказ начать переправу через Неман, у Ковно. Об этом я уже узнал из эстафеты ковенского полицмейстера майора Бистрома, но вот что явилось внове.

Триста поляков 13-го полка — в их числе, по словам Яши Закса, находится и разжалованный в рядовые полковник Андриевич, еще совсем недавно хозяйничавший в «Закрете» у Беннингсена, — первые перебрались на ту сторону реки.

Сведения, присланные Заксом, абсолютно достоверны — сомневаться в их верности не приходится, ведь они подтверждаются сведениями, полученными мною из Ковно.

Вообще мальчишка молодец, конечно. Я всегда им гордился и ни минуты не жалею об этом. Не сомневаюсь, что он еще послужит Российской империи, и как послужит!

Но вот как Закс оказался в эти дни за пределами герцогства Варшавского — это история прелюбопытнейшая.

Все дело в том, что он по распоряжению генерала Фишера был направлен в 13-й польский полк переводчиком, — именно этому полку поручалось первым пересечь границу, переправившись через Неман!

Решение начальника польского Генерального штаба прикомандировать Якова Закса к 13-му полку является для нас просто неслыханной удачей и любопытнейшим сигналом, можно даже сказать, что данным сверху предзнаменованием.

Хорошее начало для военной кампании, ничего не скажешь!

Вот император Франции Бонапарт обрадовался бы, узнав, что в числе первых, переправившихся через Неман, находится российский шпион — виленский обыватель Лейба Закс, уже оказавший нам за последние месяцы множество совершенно бесценных услуг!

Да, наш пострел, как говорится, везде поспел! Еще бы в военной полиции парочка таких людей — и цены бы нам не было!

Я написал Заксу, дабы он любым способом доставил ко мне разжалованного в рядовые полковника Андриевича. И ведь доставит — не сомневаюсь.

А теперь сосну-ка я часок или даже чуть более — велю верному моему Трифону к двум ночи меня непременно добудиться.

Как бал в «Закрете» закончится, Государь обещал давеча, что тут же призовет меня к себе для конфиденциальной беседы: Его Величеству, Барклаю и мне надо будет срочно решить, как работать Высшей воинской полиции в условиях войны.

Пока у генерала Бенningсена все веселятся, мне необходимо набраться сил. К нынешнему рассвету голова моя должна быть свежей как никогда. Это, несомненно, будет утро ответственных решений, от коих слишком многое зависит в судьбе всей нашей Империи.

Великие, роковые события стоят уже перед нашими воротами.

Будем же готовы ко всему, примем удары судьбы и не станем терять веры в победу над этим проклятым корсиканцем, жестоким, вероломным и хитрым.

И возрадуемся, что Государь наш цел и невредим, что страшный умысел Бонапарта не удался, а ведь все могло сложиться и совершенно иначе: и грустнее, и страшнее.

Вражеские полчища наводняли бы наши земли, а Александр Павлович (о ужас!) лежал бы в это время недвижимый и обезображенный, не способный ничем ответить на насильничества узурпатора царских тронов.

Непоправимая трагедия сегодня — во время бала — могла запросто произойти, и Русь (невъносимо даже думать об этом) могла быть уже обезглавлена.

Бог нас спас! Бог и — недремлющее око Высшей воинской полиции. Конечно, нам не хватает дельных и расторопных сотрудников, но что-то все-таки нам удалось сделать в эти дни: отрицать сей факт уже невозможно — он неоспорим теперь, кажется, для всех.

Надо честно признать, что даже хитроумные козни министра Балашова не могли нам помешать: сам Государь признал, что Высшая воинская полиция оказалась в это тяжелое, смутное время подлинно на высоте.

Конечно, полковнику Андриевичу удалось бежать, что весьма прискорбно, но графиня Коссаковская, доверенное лицо Бонапарта в здешнем крае, наконец от нас не ускользнула, хоть я и опасаюсь, чтобы она опять как-нибудь не вывернулась — уж больно хитра и дерзка была девица.

Так что я до сих пор ожидаю от нее какой-нибудь каверзы, даже посмертной. Но что бы она ни выкинула теперь, наш Государь жив. Это — главное. И надеюсь, что в самое ближайшее время Александр Павлович отбудет в Санкт-Петербург — здесь становится совсем небезопасно. С Бонапартом шутки плохи.

Все. Перестаю писать, закрываю тетрадочку, кладу ее в заветную шкатулку, обшитую черным бархатом, запираю ее на ключ и укладываюсь, наконец: мой любимый диванчик уже готов раскрыть свои ласковые, теплые объятия. Необходимый и благодетельный сон призывает меня.

(продолжение следует)

^[1] Проф. Роман Оспоменчик является автором капитального труда «Ахматова и Тютчев (Спб., 2005).

^[2] Классик ошибся: бал состоялся 12-го июня 1812-го года. Примечание Н. Богомольникова.

^[3] Толстой Л.Н. Собр. соч. в 12-ти т. М., 1958, т. 6: 16.

^[4] Там же: 17.

^[5] См.: Записки Якова Ивановича де Санглена // Русская старина, 1883, март: 546.

^[6] Вацуро Вадим. Готический роман в России. М., 2002: 523-524.

^[7] Эти записи впоследствии вошли в публикацию: Я.И.С. Мысли и анекдоты // Москвитянин, 1845, часть пятая, номер десятый, октябрь, с.201-210. Примечание проф. Н. Богомольникова.

^[8] Майор погиб в Бородинском сражении. Позднейшее примечание Якова де Санглена.



Семён Талейсник

"ПАЦИЕНТЫ" НА КАРТИНАХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

Галерея картин русских художников отличается их реалистической направленностью, приближающей образы больных людей к истинному их состоянию.

Эти картины так же тщательно прорисованы, как и у пейзажистов русской школы, уделявших много внимания деталям фона, природы, ландшафта. Их авторы старались показать реальные черты больного человека с его страданиями и деталями облика, окружающей обстановки, предметами быта или атрибутами профессии. Бережное отношение к каждому изображаемому на полотне персонажу, желание показать его состояние, физическое и нравственное, подобно отношению внимательного врача к больному, обратившемуся за помощью. Следовательно, каждый нарисованный больной человек может рассматриваться художником, как его пациент. Это я и хотел отразить в названии своего описания выбранных картин.

Все картины расположены и рассматриваются в хронологическом порядке с редкими отступлениями.

Михаил Петрович Клодт

Перед нами две картины русского художника барона Михаила Петровича Клодта (Клодт фон Юргенсбург), (1835-1914). Их автор - живописец, акварелист, рисовальщик, писал жанровые и исторические сцены. Сын скульптора П.К. Клодта.

Обе его картины находятся в Государственной Третьяковской галерее.



«Больной музыкант». 1859. М.П. Клодт

Каких-либо явных атрибутов музыканта, бросающихся в глаза, на даже увеличенной репродукции мне обнаружить не удалось. Возможно, что некая фигурка на прикроватном столике принадлежит композитору или исполнителю.

Лицо больного, лежащего с закрытыми глазами бледное с землистым оттенком. Нельзя даже предположить в сознании ли он. Судя по пышной шевелюре чёрных волос без запысин и таким же чёрным усам и бородке, это человек ещё молодой, но сломленный тяжким недугом. Руки сложены на груди и у него нет сил изменить их положение, да и вообще совершать излишние движения. Сон ли его обуял, либо нездоровая дремота охватила всё его существо. Человек страдает.

Жена, возможно, на последних сроках беременности, безвольно опустив руки и, склонив голову, тревожно дремлет, просиживая часы у постели больного. Картина вызывает сочувствие, скорбь и печаль...



«Последняя весна», 1861. М.П. Клодт

В 1861 году за картину «Последняя весна» Михаил Клодт получил большую золотую медаль и право на заграничное пенсионерство.

Считают, что картина написана в эггическом ключе. На ней изображена тяжело и неизлечимо больная умирающая, по-видимому, от чахотки, нередко поражавшей молодых людей даже не бедного сословия, что видно по богато обставленной комнате.

Девушка полулежит в кресле с подложенной под спину и голову подушкой. Тело больной кажется настолько вялым и обмякшим, что повторяет форму ложа, как бы стелется по постели, будучи ватным и податливым. Больная не имеет сил двигаться, даже повернуться, изменить положение. Руки безвольно опущены вдоль её истощённого тела. Лицо бледное с желтушным оттенком. Взгляд грустный, обречённый.

Сестра больной печально смотрит в окно, думая о страдающей недугом, а мать беспомощно переживает трагедию любимой дочери, сидя в ногах больной... Картина навеивает грусть и обречённость.

Фёдор Андреевич Бронников



«Больной художник», 1861. Бронников Ф.А. (1827-1902).

Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева.

Больной художник нарисован собратом по искусству. На картине пожилая женщина (мать или сиделка) помогает больному то ли встать на ноги, то ли усадить в кресло с уже приготовленной подушкой под спину. Лицо и кисти рук резко бледны. Яремная ямка настолько запала, что выглядит чёрной дырой на фоне бледной кожи шеи и груди. Он страдает и его уже не столь беспокоит, что он не полностью одет, в исподнем, в тапочках на босу ногу и в жакетке.

Перед ним - натянутый на мольберте холст, возможно с неоконченной картиной, к которой обращён его взгляд, выражающий немощ и сожаление. Мне кажется, что на его бледном лице можно заметить ощущение обречённости и несправедливого ощущения своей вины перед незавершённым эскизом или картиной. Только сочувствующий и понимающий его страдания, коллега - художник, смог изобразить такую реальную правду о состоянии больного, не будучи врачом.

Василий Максимович Максимов

Крестьянский сын из деревни Лопино, что близ Новой Ладоги, Василий Максимович Максимов, вопреки воле отца становится художником, женится на генеральской дочери, награждается золотой и серебряной медалями, заслуживает звания классного художника и умирает в нищете... Не одна из его картин украшают Третьяковку...

Оставшееся тяжкое впечатление после незабываемой им трагической картины скоростной смерти его десятилетней племянницы было неизгладимым. Это произошло на его глазах во время летних каникул 1863 года и послужило поводом к написанию одной из своих первых картин - «Больное дитя». «За экспрессию» сюжета и его воплощение молодой художник был удостоен золотой медали Академии Художеств Санкт Петербурга.



«Больное Дитя», 1865. Максимов В.М.

Картина известна лишь по офорту. Масляный цветной этюд к картине мне найти не удалось. Если он вообще существует, так как ссылок на него тоже нет.

Интерьер избы, как и предметы крестьянского быта, а также лица крестьян написаны с натуры. Непокрытое светло-серое тельце умирающего ребёнка на сундуке либо на ящике. Черты лица условны и чётко не прописаны, либо он повёрнут к нам спиной. Другой ребёнок спит на постели, на полу. Перед больным ребёнком в горестной позе сидит мать со скорбным выражением от своей беспомощности, а позади неё стоит растерянный отец.

Очень тяжкое впечатление остаётся от всего изображённого на черно-белом офорте к не нарисованной, возможно, картине.

После изображения больного дитя художник ещё раз вернулся к этой теме и нарисовал картину «Больной муж».



«Больной муж», 1881. Максимов В.М. (1844-1911).
Государственная Третьяковская галерея.

Бородатый, большой, сломленный болезнью, мужик лежит на широкой деревянной скамье, застеленной соломой и тёмной ветхой тканью, накрытый двумя одеялами. Кожа лица с красноватым оттенком. Возможно, что его лихорадит от тя-

жёллой простуды, и он испытывает озноб. Черты лица заострены, на нём можно заметить признаки страдания. Глаза закрыты, возможно от светобоязни при высокой температуре, которую вряд ли измеряли, да и термометра, по-видимому, в избе нет. А врача или фельдшера, скорее всего, тоже... Да и где им взяться в том селе? Жена больного стоит на коленях перед иконами в убогой избе и молит Бога о помощи... Автор картины не погрешил против изображенной правды и беспомощности, царящих в крестьянской избе.

Василий Григорьевич Перов

Художник нарисовал три картины со слепыми персонажами: «Слепой музыкант», «Приезд институтки к слепому отцу» и «Слепой». Две первые - это жанровые сцены, где акцент поставлен не на болезненном состоянии слепых людей, а на изображённых ситуациях. (Поэтому я их выделил и отнёс к другому предстоящему описанию слепых музыкантов).

На представленном портрете слепого человека, как бы застывшего в разговоре или внимающая собеседнику с поднятой левой рукой и внимательным выражением лица с невидящим «взглядом» больных глаз, изображён пациент, нуждающийся в лечении.



"Слепой", 1878. В.Г. Перов (1833-1882).

Рязанский областной художественный музей им. И.П. Пожалостина.

Художник тщательно обрисовал нездоровый вид глазных яблок, поражённых патологическим процессом, как причиной слепоты, а не отсутствие зрения при здоровых глазных яблоках. Художник, возможно, писал портрет с натуры или после детального знакомства с прототипом, ибо на рисунок смог нанести анатомические признаки или симптомы поражения глазных яблок и век. Поэтому и не закрыты веками глаза. Выбор неярких красок в этом скромно окрашенном портрете

автор, по-видимому, тактично предпочёл, чтобы не поддаваться искушению натуралистического показа некоторых патологических симптомов болезни глаз. Что могло оттолкнуть зрителя, но не врача.

Реализм этой картины вызывает сочувствие больному и слабую надежду на возможное выздоровление или улучшения. Хотя и сомнительное, ибо человек слеп уже давно и вынужденно свыкся со своим недугом.

Алексей Аввакумович Наумов

За нижеследующие две картины — русский жанровый живописец, «благодаря интересности их содержания и добросовестности исполнения», был удостоен наград в виде малой серебряной медалью Императорской Академии художеств и премией Императорского Общества поощрения художников.



«Н.А. Некрасов и И.И. Панаев у больного В.Г. Белинского» или «Белинский перед смертью», 1881 год Художник А. Наумов (1840-1895). Подлинник находится в мемориальном музее-квартире Н.А. Некрасова (С.-Петербург).

Больной Белинский сидит в постели, одетый в запахнутый халат и покрытый одеялом до пояса с удивлённым выражением лица, по-видимому, в связи с приходом жандарма, разговаривающего с прислугой перед наполовину прикрытой дверью из другой комнаты. Жандарм явился с приглашением критика в 3-е Отделение, чём сообщила жена и вызвала внимание Некрасова и Панаева, также повернувшихся лицами к ней. Рядом играет четырёхлетняя дочь Ольга.

Некрасов, сидящий на стуле у ног Белинского, по привычке пощипывает правой рукой свою бородку, что было известно художнику по фотографиям.

Белинский был болен туберкулёзом. Чихотка быстро прогрессировала. Это дало основание к названию картины «Белинской перед смертью», что не вполне укладывается в изображённую на холсте сцену посещения. Визит его в жандармерию так и не состоялся в связи с быстро наступившей кончиной. За время болезни чиновники 3-го Отделения неоднократно навещали критика «справляясь об его состоянии»... Картина, по некоторым статьям того времени, была приговорена к гражданской смертной казни. (Сообщение С.А. Рейсера.)

Последняя (из 21) дуэль Пушкина с Дангесом состоялась 27 января (8 февраля) 1837 года в районе Чёрной речки, у Коломяжской дороги, недалеко от Комендантской дачи (С-Петербург).



"Последняя дуэль Пушкина", 1884. А.А. Наумов.

Пушкинский музей, ранее находившийся при Императорском Александровском лицее.

Сюжет дуэли поэта воспроизводился не раз разными художниками (А. Волков, Коверзнев, К. Чичагов, П. Соколов, В.А. Фёдоров и др.). А.А. Наумов стал одним из них и изобразил своё видение случившегося сразу же после окончания дуэли.

Раненый, бледный, со страданием на лице Пушкин смотрит вслед стоящему спиной Дантесу с укором и, возможно, жадной мести, сожалея о неточном выстреле. На картине А.А. Наумова Данзас и д'Аршиак (секундант Дантеса) подняли и, поддерживая раненого Пушкина, ведут его к саням.

Полотно было приобретено великим князем Николаем Михайловичем и подарено императорскому Александровскому лицее. Сейчас оно в доме-музее А.С. Пушкина.

Абрам Ефимович Архипов

Русскому художнику Абраму Ефимовичу Архипову в 1887 г. в Московском училище живописи и зодчества была вручена большая серебряная медаль и присуждено звание классного художника за картину «Посещение больной» или «Подруги».



«Посещение больной», («Подруги»), 1885. А.Е. Архипов (1862-1930).
Государственная Третьяковская галерея.

Если следовать второму названию картины, то автор показал посещение больной её подругой, соседкой из той же либо соседней деревни, примерно одного с ней возраста, причём в лице посетительницы моделью послужила мать художника.

Нерадостной была их встреча, ибо подруга пришла к больной. А это видно из облика и позы сидящей на бедной постели, где матрасом служил солома, а постельное бельё всё тёмное, не свежее, ветхое. Лицо больной нездорового, бледного, цвета, грустное, безрадостное. Взгляд потухший, обречённый. Плечи опущены, руками она тяжело опирается на колени босых ног, на которых видны подкожные венозные извитые сосуды - признак тяжёлой крестьянской работы.

Выражение лица посетительницы участливое, вопрошающее и сочувствующее подруге. Цвет лица естественный явно контрастирует с бледностью лица больной. Жест рук, прикоснувшейся к губам типичен для естественного чувства переживания простой женщины. Автор не постыжился показать безрадостную картину и отразить глубокую скорбь этой, возможно, их последней встречи...

Иван Николаевич Крамской



«Выздоровливающая», 1885.

Иван Николаевич Крамской.
Государственный Русский Музей, С-П.

На пороге дома или террасы стоит выходящая молодая женщина, поддерживаемая матерью. Пока ещё печальное лицо после длительной и мучительной болезни не выражает положительных эмоций. Первый шаг, первый глоток свежего воздуха — это ли не радость! Но её ещё беспокоит ощущение не вполне хорошего самочувствия. Слабость сдерживает её радость. Она ещё не верит в то, что здоровье вернулось и насколько оно будет надёжным и длительным. Ведь сколько сомнений, тревоги и страха приносит болезнь, вызывая тревожное смятение, неуверенность в благополучном выздоровлении...

И вот пора выздоровления на пороге. Хочется надеяться, что появившийся румянец и гордая, прямая стать здорового тела станут залогом полного выздоровления...

Наиболее известная картина И.Н. Крамского связана с болезнью поэта Н.А. Некрасова, протекавшей фактически на его глазах.

Немногие художники-живописцы посвящали свои полотна изображению больного или травмированного человека, пациента больницы или находящегося в домашней обстановке с его согласия. Становиться объектом природы вряд ли кто из нездоровых людей желает, а уж просить об этом как бы неловко, невежливо или некорректно. Правда, есть ещё возможность изобразить того или иного больного по его желанию, либо при беспомощности пациента, находящегося без сознания, написать портрет по просьбе родственников. Либо, наконец, со-

здать образ больного по памяти, вдохновению, представлению о нём, к чему чаще всего и прибегают художники.

Врач, оценивающий реальность изображения пациента на полотне художника, конечно, может распознать признаки болезни в красках, мимике, позе больного, приближающиеся к соответствующему медицинскому профессиональному взгляду либо пониманию врача. Но вряд ли это возможно досконально. Всё же остаётся какая-то условность, подобие, аналогия. Во-первых, сами пациенты при том или ином заболевании могут выглядеть по-разному в силу индивидуальных проявлений и реакции их организма. Даже при одном и том же заболевании. Во-вторых, сам художник рисует так, как понимает или видел, знал. И в-третьих, картина ведь не фотография, которая тоже может быть более или менее удачной...



«Н.А. Некрасов в период «последних песен», 1877-78. Крамской И.Н.

Государственная Третьяковская Галерея.

В 1977 году художник И.Н. Крамской по заказу П.М. Третьякова пишет портрет поэта «Н.А. Некрасов в период его "Последних песен"», примерно за год до его смерти в 1878 году. Причём портрет написан с ведома его друзей и согласия поэта, который уже был неизлечимо болен. Он решил изобразить не лежащего на кровати больного, а показать поэта в творческом состоянии, полусидя, за работой. На портрете видно, что пациент Некрасов тяжело болен, но его взгляд больше озабочен создаваемым им в эти минуты новым произведением. 3 марта 1877 года в стихотворении «Баюшки-баю», как бы на прощание, он писал:

*«Непобедимое страданье,
Неумолимая тоска ...
Влечет, как жертву на закланье,
Недуга черная рука.
Где ты, о муза! Пой, как прежде!
"Нет больше песен, мрак в очах;
Сказать: умрем! конец надежде!
Я прибрела на костылях!"*

*

*Не бойся горького забвенья:
Уж я держу в руке моей
Венец любви, венец прощенья,
Дар кроткой родины твоей ...
Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой,
Баю-баю-баю-баю!.."*

Художник не скрывал, что Некрасов тяжело болен. Черты его лица заострены. Слизистая оболочка губ бледна. Сухая бледная с желтушным оттенком кожа лица. Кисть и предплечье истончены из-за атрофии их мышц. Сквозь кожные покровы просматривается контур кости. Острое колено исхудалой ноги четко обрисовывается под простыней. Болезнь довела Некрасова почти до крайнего истощения физических, но, отнюдь, не духовных сил.

Но не эти признаки тяжкого недуга определяют то главное, что хотел донести до зрителя художник. Над физической немощью торжествуют несломленные смертельной болезнью духовные силы поэта, его творческое вдохновение...

В стихотворении поэта Всеволода Рождественского «Некрасов» есть такие два четверостишия:

*«Иссохшим в подушках под бременем муки,
Ты, муза, России его передашь.
Крамской нарисует прозрачные руки,
И плотно прижатый к губам карандаш.
А слава пошлет похоронные ленты,
Венки катафалка, неожиданный покой,
Да песню, которую хором студенты
Подхватят над Волгой в глуши костромской...»*

А.Н. Некрасову было всего 57 лет...

София Ивановна Юнкер-Крамская



И.Н. Крамской, пишущий портрет своей дочери, Софии Ивановны Крамской, в замужестве Юнкер. 1884.

Пусть вас, уважаемый читатель, не удивит это имя, если с ним вы мало знакомы, либо не знакомы вовсе. Хочу представить одну из картин талантливой дочери великого русского живописца Софии. Отец не раз её рисовал, да и она оставила после себя несколько весьма интересных полотен.

Судьба молодой художницы в советские времена оказалась трагичной. Софья Юнкер-Крамская была арестована 25 декабря 1930 года. Органами ОГПУ она обвинялась по статье 58-II УК РСФСР за контрреволюционную пропаганду. Ей вменялась и связь с императорским домом, и помощь потомкам бывшего дворянского сословия, разрушенного революцией. Она была репрессирована и осуждена, вплоть до угрозы расстрела. В тюрьмах и лагерях она тяжело заболела и от присоединившихся осложнений осталась парализованной. Только вмешательство жены А.М. Горького, Екатерины Павловны Пешковой, помогло её освобождению. Умерла от сепсиса в Ленинграде в 1933 г., а реабилитирована только в 1989...



«Визит», 1890-1900-е гг.

Софья Ивановна Юнкер-Крамская (1867-1933).

Перед нами картина «Визит», на которой богатая и модно одетая дама пришла проведать свою больную приятельницу или подругу, полусидящую в кресле-коляске. Болезненное выражение бледного лица слегка оживлено слабой улыбкой благодарности за визит. Возможно, больная парализована, как была художница. Тогда это может быть и автопортретом...

Николай Александрович Ярошенко

Тепло одетая молодая женщина с нездоровым румянцем на щеках принимает курс климатотерапии на Северном Кавказе. Это некая Анна Константиновна Дитерихс (в замужестве — Черткова) часто гостившая у Ярошенко в Кисловодске и, как он, болевшая туберкулезом. Она и послужила моделью для картины...

Красивая моложавая дама выглядит выздоравливающей со спокойным выражением лица, слегка подрумяненного свежим воздухом Крыма. Однако о её ещё не прошедшей слабости свидетельствуют подушки, поддерживающие неокрепший стан и создающие удобства, чтобы расслабиться и подремать.

Эту картину Крамской причислял ко всем картинам русских художников о больных. Он и сам исповедовал иной подход к вопросу о болезнях и провозглашал триумф выздоровления, чему и посвящено уже рассмотренное нами выше его полотно «Выздоровливающая». Как и картина о болезни Некрасова...



«В тёплых краях», 1890.

Николай Ярошенко (1864-1898).

Русский музей, С-П.

Василий Дмитриевич Polenov



«Больная», 1886. В.Д. Polenov (1844-1927).
Государственная Третьяковская галерея.

"Странные эти законы природы, — написал художник после окончания картины, — сделают они что-то такое живое, прелестное, радостное и так беспощадно сами же его уничтожат. К чему все это? Кому они так необходимы, эти страдания?"

Эти слова стали лейтмотивом картины, ставшей исключением в его творчестве, ибо после неё жанровых картин на современные сюжеты он уже не писал.

Эта картина имеет и другое название — «Элегия», по-видимому, в значении «грусть»... В ней нашло отражение настроение художника, его протест и разочарование в несправедливости жизненных ситуаций и явлений. И всему виной были последовательное сочетание наступавших одна за другой смертей двух любимых женщин (Елизаветы Богуславской, русской студентки в Риме, умершей от туберкулёза, а позднее и юной Маруси Оболенской, тоже умершей в Риме). Затем смерть сестры — близнеца Веры, и своего сына-первенца. Начиная с 1873 года, после каждой из смертей художник писал эскизы, которые вошли затем в рассматриваемую нами картину, законченную в 1886 году.

Не надо быть даже самым равнодушным или чёрствым человеком, чтобы не понять трагедию художника, его переживания с его непростой чувствительной натурой, выразившейся в создании этой мрачной в своей реальности картине больной или умирающей девочки. Даже свет от великолепно нарисованного натюр-морта не переходит на постель.

А в постели Василий Polenov изобразил само приближение смерти в лице, позе, во всём облике страдающей и уже вконец ослабшей девочке-подростке. Осунувшееся, бледное, измученное лицо с выразительными, беззащитно глядящими большими, молящими о помощи, наполненными мукой глазами. Ослабшее тело погружено в подушки, безжизненно свисает с постели кисть исхудавшей руки...

Трагизм сцены усугубляется слабо просматриваемым силуэтом скорбящей женщины, стоящей за изголовьем с опущенными в бессилии «подложить руки» чтобы помочь, а также коричневато-пепельным фоном всего холста. Считают, что именно на этой картине проявилось настоящее чувство и мироощущение художника.

Алексей Михайлович Корин



«Больной художник», 1892. А.М. Корин. (1865-1923).
Государственная Третьяковская галерея.

На картине, претендующей на некоторый драматический эффект, к несчастью она явилась неким предзнаменованием тяжёлой болезни самого автора, изображён больной человек. На холсте показана поза явно уставшего от болезни человека, сидящего в кресле с подоткнутой под спину подушкой. Бледное, осунувшееся лицо. Безвольно свисающая кисть с тонкими худыми пальцами, смятая в пальцах второй руки белая салфетка с кажушимися пятнышками крови. Возможно, художник страдал от чахотки.

Его взгляд с сожалением или отчуждённо смотрит на рядом лежащую палитру с подсыхающими на ней красками и думает с тоской о блекнувшей палитре его незавершённой картины. (Здесь нет тавтологии, а совпадение значений слова).

В соседней комнате из-за портьера можно увидеть женщину, сидящую за столом и поддерживающую голову рукой в горестных мыслях о болезни мужа ...

Николай Петрович Богданов-Бельский



«У больного учителя», 1897. Н.П. Богданов-Бельский (1886-1945).
Государственная Третьяковская галерея.

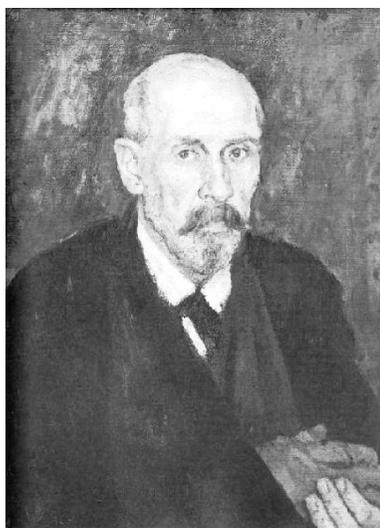
Старший мальчик смотрит с сочувствием на больного, бледного осунувшегося учителя, а младший отвлечён чем-то другим. Его болезненное лицо озарено хоть слабой, но всё же улыбкой. Глаза несколько запавшие и в них отражен лихорадочный блеск, как описывают врачи у пациентов с чахоткой.

Учителю это посещение приятно и он присел в постели, опираясь спиной на подложенную дополнительную подушку. Понимая, что визит непоседливых мальчиков продлится недолго, учитель заложил читаемую страницу толстой книги пальцем и беседует с посетителями. Неприятная реальная жанровая сцена. Ничто не ускользает от внимания художника.

Василий Иванович Суриков

Художник Василий Суриков, не слывший портретистом, написал, однако, ряд блестящих портретов, которые отличаются простотой композиции, лаконичностью изображения персонажей. Они все преимущественно темные по тону и наполнены внутренним драматизмом.

Таковым, для примера, и является следующий портрет:



"Человек с больной рукой"
или "Мужской портрет". 1913.
В.И. Суриков (1848-1916).
Третьяковская галерея.

Оба наименования этого портрета правомочны. На холсте суровый мужественный облик с несколько отрешённым взглядом умных глаз, пожившего и повидавшего на своём веку множество перипетий и невзгод мужчины солидного возраста. Если присмотреться повнимательней, что не бросается сразу в глаза, то можно заметить, что его большая левая рука в повязке, видимая из-под рукава, бережно поддерживаемая здоровой. Под повязкой мог быть зафиксированный перелом предплечья или вывих в лучезапястном суставе, а то и просто ранение или же проявление артроза. Возможно, что предположенная мною патология причиняет ему страдания, видимые в скрываемом им спокойном выражении лица.

Художник всё подметил на портрете нездорового человека и реально нарисовал.

Таков результат моих поисков, находок и экскурса глазами врача на живопись русских художников с изображением на их холстах больных людей, которых я позволил себе назвать "пациентами" живописцев.



Андрей Алексеев
СТРАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
Из записок социолога-рабочего

1. «В отношении Алексеева А.Н.» (справка УКГБ ЛО)

[Нижеследующий документ был отправлен из УКГБ ЛО в партийный комитет «Ленполиграфмаша» и в некоторые другие официальные адреса в марте 1984 г. — А. А.]

Справка. 12.03.84. № 5-3/493. Ленинград

В январе с.г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 г. “О применении органами государственной безопасности предостережения в качестве меры профилактического воздействия” Управление КГБ по Ленинградской области объявило официальное предостережение

Алексееву Андрею Николаевичу, 1934 г. рождения, русскому, члену КПСС с 1961 г., кандидату философских наук, работающему слесарем-наладчиком завода “Полиграфмаш”, проживающему по адресу: Ленинград, Наличная ул., дом 40, корп. 1, кв. 132, — в связи с тем, что он хранил и распространял среди своих знакомых произведения полигически вредного содержания, не издававшиеся в СССР и не подлежащие распространению на территории Советского Союза, а также распространял в своем окружении изготовленные им машинописные документы, содержащие полигически вредные и идеологически невыдержанные оценки отдельных сторон советской действительности.

Алексеев в 1956 г. окончил факультет журналистики ЛГУ им. А.А. Жданова (правильно: филологический факультет... — А. А.), член Союза журналистов СССР с 1961 г. В 1964-1965 гг. работал в редакции “Ленинградской правды” в должности заведующего промышленным отделом, в 1975-1981 гг. — старшим научным сотрудником в Институте социально-экономических проблем АН СССР.

В январе 1980 г. Алексеев приступил к проведению социологического исследования в рабочей среде по типу “включенного наблюдения” и перешел на работу в качестве слесаря-наладчика на завод “Полиграфмаш”, продолжая до декабря 1981 г. научную работу в ИСЭП АН СССР по совместительству.

Имеющиеся в Управлении КГБ СССР по Ленинградской области материалы свидетельствуют, что Алексеев хранил и в 1978-1982 гг. распространял среди своих знакомых копии изданных за границей клеветнических произведений “Зияющие высоты” и “Светлое будущее”, автором которых является бывший советский гражданин Зиновьев А.А., сотрудничающий с эмигрантскими антисоветскими организациями.

В 1980-1982 гг. в период работы на заводе “Полиграфмаш” на основании полученных им материалов в процессе т.н. “включенного наблюдения” Алексеев написал несколько статей политически вредного содержания, под названием “Письма любимым женщинам”, в которых он в иносказательной форме допускает измышления о генеральной линии партии, с клеветнических позиций оценивает советскую пропаганду, оскорбительно отзываясь о рабочем классе.

Кроме того установлено, что в 1979-1981 гг. Алексеев организовал и провел не-санкционированное партийными органами и администрацией ИСЭП АН СССР социологическое исследование “О состоянии и перспективах развития советского общества”. Вопросы анкеты “Ожидаете ли Вы перемен?” и методологический комментарий к ней носили тенденциозный характер и были построены таким образом, чтобы получить негативные ответы о состоянии и перспективах развития советского общества.

По месту жительства у Алексеева изъяты политически вредные произведения Дж. Оруэлла “1984” на английском языке, цитатник Мао-Цзэдуна, машинописные отрывки из книги Ф. Искандера “Сандро. Новые главы”, клеветнического содержания, и восемь документов с грифом “Для служебного пользования”. [9] Один из документов — доклад академика Т.И. Заславской “Социальный механизм развития экономики” — был размножен им и распространен в своем окружении. Такое обращение с документами “Для служебного пользования” является нарушением установленных правил работы с ними.

На беседе в Управлении КГБ СССР по Ленинградской области Алексеев А.Н. вел себя неискренне, от дачи правдивых объяснений по указанным выше фактам уклонился. Начальник подразделения УКГБ ЛО В.И. Полозюк

Ремарка: кому повезло — кому не повезло?..

Вообще говоря, Управлению КГБ в этом деле... не повезло. (Или повезло мне?) Обыск, прикрытый фиговым листком поиска валютных ценностей и т.п., был рассчитан на обнаружение запрещенной литературы. Скажем, изъяли бы те же «Зияющие высоты», или «Архипелаг ГУЛАГ»... И нет проблем для органов.

Можно было бы и судить (как минимум, по статье 190-1 УК), можно и раскалывать (под угрозой уголовного преследования). Формально все было бы «по закону»...

А тут, как на грех: ни «Посева», ни даже «Имки-пресс»! Оруэлл — и тот на английском языке... С Мао-Цзэ-дуном — и совсем смешно. Несколько машинописных листков с неопубликованными фрагментами романа Ф. Искандера «Сандро из Чегема» и с письмами М. Цветаевой... В общем, «нетянет» ни на какую статью!

А особенно не повезло сотрудникам госбезопасности — с материалами опроса «Ожидаете ли Вы перемен?»². Надежды заполучить при обыске записи и крамольных экспертных интервью не оправдались. (А уж там — хватило бы и на «коллективное» дело!)

Вот и пришлось, в обоснование последующих санкций, сосредоточиться на «Письмах Любимым женщинам», окрестив их «статьями». Ход вообще-то не самый сильный... По крайней мере, открывающий путь для самообороны и даже для контратаки. (Сентябрь 1999).

2. Протокол моего юбилея. 1984

Из «Записей для памяти» (июнь 1984)

<...> В июне 1984 г. я дважды работал в субботу: 16-го и 23-го. Первый раз это были обычные сверхурочные. Второй — всесоюзный комсомольский субботник (на который приглашались «комсомольцы всех поколений»). Работают по субботам — не как в будни (с 7-08 до 16-00, а приходят примерно в 8 и кончают работу в 12 час.

* * *

В первую из этих двух суббот я сообщил своему бывшему бригадирю Игорю В. [И.В. Виноградов. — А. А.], что «на днях» мне исполняется 50 лет, и предложил ему отметить это событие. Игорь в этот день домой не спешил, и согласился.

Для двоих бутылки водки, кажется, многовато. Игорь предложил пригласить третьим Ивана О. (члена его бригады). Мною эта кандидатура была отвергнута, поскольку тот голосовал за исключение меня из партии на собрании 16.04. (Сам И. В. тогда воздержался, и вообще был одним из немногих в цехе людей, проявлявших человеческий интерес к моим партийным делам). Третьим в нашей компании стал член той же бригады Саня Б. [Александр Брикач. — А. А.]: я предложил, Игорь — поддержал. Выбор между «бочкой» и моим домом в качестве места встречи был сделан в пользу первого варианта (поскольку Сане нужно было затем куда-то ехать).

Однако после первой бутылки, опорожненной «на бочке» (общепринятое место выпивки на пустыре у пивных ларьков, у моста через р. Карповку), показалось все же не лишним съездить ко мне домой, чтобы «продолжить», да заодно и посмотреть, «как я живу».

Такие не запланированные визиты обычно не приветствуются женами, но я сказал, что моя жена будет рада, хотя скорее всего ее сейчас нет дома. У меня была выпита вторая бутылка водки (уже не 0,5, а 0,8), а также несколько бутылок пива и еще — приобретенная («на всякий случай») уже не мною, а Игорем в универсаме — бутылка сухого вина. Неожиданно оказавшаяся дома Нелли приготовила нам купленные Игорем попутно, для собственного дома, голубцы.

Мы провели несколько часов в содержательной, хотя и несколько сумбурной застольной беседе, посвященной в основном юбилею, его производственной и научной деятельности за 50 прожитых лет (иногда отвлекаясь и на другие предметы разговора). Разъехались около 18 час. К этому времени подошел Ленья К. [Л.Е. Кельман. — А. А.], с которым еще раньше договорились о встрече, и некоторое время мы успели провести вятером, продолжая непринужденное общение. Игорь В. и Александр Б. (член КПСС и беспартийный, бригадир и член бригады, в составе которой я работал с мая по ноябрь 1983 г. и проходил там слесарную выучку) — оба люди, с которыми я все эти годы был тесно связан по работе и к которым испытываю уважение и симпатию, и пользуюсь у них взаимной расположенностью. Что и было лишним раз выражено нами друг другу в этот субботний день.

* * *

Неделю спустя, 23.06 я обратился с аналогичным предложением к Анатолию С. (А.В. Сыщевич. — А. А.), возглавляющему бригаду, в которой я работаю с декабря 1983 г. К сожалению, вопреки моим ожиданиям, на комсомольский субботник вышли не все члены бригады (даже — не все состоящие в ней комсомольцы). И это исключало возможность пригласить всех, как я предполагал вначале. Мое предложение пришло в некоторое противоречие с намерением компании комсомольцев и людей, не так давно вышедших из комсомольского возраста (к которым относится и бригадир А. С.), отправиться после субботника в Озерки, отдыхать. Оказывается, в бригаде и раньше знали о моем предстоящем 50-летию, однако собирались поздравить в июле (когда эта дата реально исполнится). Но не учли, что

на этот раз у меня в июле отпуск. Так что мое предложение «выставить» именно сегодня каждому комсомольцу бригады по стакану («А тем, которые постарше, можно и по полгора», — пошутил я), показалось не лишним смысла. Однако... это требовало увязки с первоначальной программой комсомольского пикника. После консультации с комсомольцами, бригадир предложил мне присоединиться к их поездке в Озерки, на что я с благодарностью согласился.

Около 10 час. Анатолий С. и Михаил К. (другой член нашей бригады околокомсомольского возраста) ушли с завода — для обеспечения «организационной подготовки». Все остальные предполагавшиеся участники проработали на субботнике до 12 час. Перед уходом Анатолия я передал ему свой 20-рублевый взнос в складчину, в которой как юбиляр претендовал на повышенное участие. (От более крупного вклада А. С. отказался.)

С завода, около 12 час., мы вышли всемером: комсогруппорг участка, член моей бригады слесарь Сергей С.; молодой коммунист, фрезеровщик В. Г.; комсомолец, токарь Б.; три девушки-комсомолки (двое токарей, одна гравер) Вера, Ира и Таня; и я — комсомолец 50-х гг. На станции метро «Удельная» встретились с ушедшими ранее Анатолием и Мишей. Туда же отдельно добирались комсорг цеха, слесарь Сергей Л. (он был на субботнике, а потом куда-то заезжал за гитарой) и слесарь С. (недавно поступивший в наш цех; на субботнике не был). Всего, таким образом, компания состояла из одиннадцати человек, включая меня. Почти все (исключая двоих) — с одного участка (того, на котором я работаю). Все — рабочие. Семейные (Анатолий С., Миша К. и Сергей Л.) — без жен. Из моей бригады — всего четверо (включая меня). Двое — члены КПСС: Анатолий С. и В. Г.; один — кандидат в члены КПСС (Сергей Л.). Пятеро — члены ВЛКСМ: три девушки, Сергей С. и Б. Один — беспартийный, уже вышедший из комсомольского возраста (впрочем, был ли в комсомоле — не знаю, Миша К.). Один — вероятно, исключенный из рядов ВЛКСМ (если был в комсомоле; это недавно вышедший из заключения, едва ли не самый молодой из всех, С.). И один — коммунист, недавно исключенный из партии (т.е. я). Я, понятно, старший по возрасту, Анатолию и Михаилу — за тридцать, остальным — от 22 до 28.

От станции метро «Удельная» на автобусе добрались до третьего озера. Анатолий и Михаил привезли три бутылки водки, кроме того наша компания располагала двумя порядочными флягами спирта, который пили, разбавляя водой из озера (для чего плавали с бутылками на середину) либо пепси-колой. Стол на траве украшался огурцами (для мужчин) и черешнями (для девушек), не считая прочей, заурядной закуски.

Обычно, выпивая, скажем, «на бочке», пользуются одним стаканом на троих (стаканом обеспечивает пенсионер или инвалид, подбирающий бутылки). Здесь на 11 чел. припасли один граненый стакан (для сока и пепси) и три фужерчика, поменьше стакана (для более крепких напитков).

...Жилось нам хорошо. Пили. Ели. Купались. Молодые люди боролись на траве. Слушали песни под гитару (в исполнении Сергея Л. и С.). Пели все. Танцевали под ту же гитару, на траве. Рассказывали приличные анекдоты. Сергей Л. и С., уже без гитары, исполняли запомнившиеся им номера из репертуара Райкина, Жванецкого и Хазанова. Девушки облагораживали мужскую компанию. (Например, Михаил, вместо более ему привычных связок между словами, старательно употреблял в нужных местах — «елки-палки».)

Мое, не по возрасту, участие в комсомольско-молодежном пикнике представлялось естественным для других, раз уж мое 50-летие почти совпало со всесоюзным комсомольским субботником. Кажется, единственным поразившим воображение комсомольцев поступком с моей стороны была нескромная демонстрация способности достаточно надежно удержаться в стойке на кистях после 300 граммовводки — свидетельство устойчивости не только моральной. Один из комсомольцев 80-х гг., чтобы не ударить в грязь лицом, сделал стойку на голове («на трех точках»).

Стойки «на четырех точках» (соответствующей более сильным стадиям опьянения) в этот день не демонстрировал никто. Единственным «запланированным» номером во всей этой стихийной молодежной программе было состоявшее не более чем из десятка слов поздравление меня с днем рождения, произнесенное бригадиром, и преподнесение мне «скромного подарка». Это — перед тем, как выпить по первому фужерчику... То есть получилось как бы так, что мы собрались ради этого (пусть повод и был привнесен). Но на общем ходе пикника данное обстоятельство никак не сказалось.

Подарком оказался эlegantный, киевского производства светильник фирмы «Прометей», с выгравированной на нем надписью: «Андрею — в день 50-летия — от коллектива, 22 июля 1984 г.». Стоимость этого симпатичного (и чуть ли не символического!) подарка — 12 руб. 50 коп. — мне стала известна благодаря тому, что на современных пластмассовых изделиях принято отливать цену. Как видно, приобретение этого подарка, наряду со всей снечдью, было предпринято Анатолием и Михаилом за те 2,5 час., что прошли с момента их ухода с субботника до нашей встречи на Удельной. Точную дату своего рождения я никому прежде не сообщал, и либо она была известна моим дарителям заранее, либо специально выяснена в этот промежуток времени. Других содержательных тостов на пикнике не было, если не считать моей шуточной поправки к поздравительному тосту бригадира (выпить... «за 35-летие со дня моего вступления в комсомол») и моего же, еще более краткого, «встречного» тоста перед вторым фужером — «за коллектив!».

Кажется, уже ближе к концу мероприятия, зашел у нас с Анатолием (не по моей инициативе!) приватный разговор о моих личных планах и перспективах. Анатолий С. — тот самый единственный на собрании 16.04 член партии, который не только воздержался, как и Игорь В., при голосовании вопроса об исключении из партии, но и выступил наперекор всему ходу собрания, заявив, между прочим, что я являюсь «образцом коммунистического отношения к труду»... (ни больше, ни меньше!). Надо сказать, что мы с Анатолием питаем друг к другу безусловное взаимное уважение. Он, благодаря моему переходу в его бригаду после увольнения из цеха моего бывшего ученика Сереги З-ва, по его собственному (Анатолия) выражению, «с ПКР забот не знает». (И это, пожалуй, действительно так!). Мне же импонирует его самоуверенность, деловитость и независимость. А. С. сочетает в бригаде функции формального и неформального лидера. (Члены бригады зовут его «Бугром», а я — «Капитаном».)

Это взаимное уважение было лишней раз заявлено в нашей беседе в тот день. Оказывается, бригадира продолжает заботить, что ему в декабре прошлого года не удалось добиться для меня обещанного им дневного производственного задания 9 руб., которое он считал бы справедливым. Со своей стороны, я заверил «Капитана» в своей нынешней заинтересованности оставаться в его бригаде. Если я когда-нибудь и вздумаю увольняться, то он, Анатолий, узнает об этом первым, и уж во всяком случае, месяца за три, пообещал я.

...Обратная дорога с озера мне помнится смутно, хоть наше возвращение и было вполне благопристойным. Не помню, по моей ли инициативе или по инициативе комсорга цеха Сергея Л., мы уже вечером оказались вдвоем у меня дома. (Скорее всего, он меня провожал, а я пригласил зайти.) Дома у меня только беседовали, спиртного не пили.

Сергей Л. — отчасти мой ученик на ПКР. (В отличие от Сереги 3-ва, который был учеником официально оформленным, я обучал другого Сергея явочным порядком, для выполнения ПКР-ных заказов Игоря В., в его бригаде.) Сейчас Сергей числится слесарем, а фактически является оператором на ПКР нового поколения, с программным управлением, задействованном в начале этого года. Ему — 23 года. Недавно принят кандидатом в члены КПСС. Считается (думаю, заслуженно) одним из лучших на заводе цеховых комсоров.

У Сергея сочетаются личная симпатия и уважение ко мне с идейным неприятием того моего образа, который был нарисован в ходе обсуждения персонального дела. Ему запомнилось мое выступление на партийном собрании 16.04, которое он считает очень убедительным. Вместе с тем он не может не верить справке УКГБ ЛО на мой счет. Он совершенно согласен с исключением меня из партии (даже поднял руку за это решение, хотя как кандидат и не имеет права решающего голоса). Но он с готовностью, и даже с радостью, воспримет и мою реабилитацию, если таковая официально состоится.

Позиция Сергея Л., по своему, целостна. Наши симпатии — взаимны. Я предложил ему еще раз вернуться к этому разговору через десять лет, когда ему будет 33, а мне (если я до тех пор доживу) — 60 лет. Он так и записал эту будущую дату (23 июня 1994 г.), вместе с моим домашним адресом, в своей записной книжке.

В первом часу ночи спохватились, что Сергей может не успеть на метро. Я проводил своего гостя до ст. Нарвская и далее, к дверям общежития, где им с женой выделена комната. (Свадьба состоялась не далее как в этом месяце, мы все подписывали приветственный адрес.) Забывав домой, Сергей вернулся с женой, чтобы теперь проводить уже меня. Но был второй час ночи и пришлось ловить такси. Деньги таксеру мой провожатый вручил сам (пока с ним договаривался). Хоть у меня были с собой и свои.

Машина успела проскочить на Васильевский остров по мосту лейтенанта Шмидта, уже готовому для разводки.

* * *

Так, в июне 1984 г. был, чуточку досрочно, отпразднован 50-летний юбилей социолога-наладчика, месяцем ранее исключенного из партии, — в кругу товарищей по работе, коммунистов, комсомольцев и беспартийных «Ленполиграфмаша». Другого «юбилея» мне, пожалуй, и не надо. <...> (Записано в конце июня 1984 г.)

Ремарка: он, мы, они...

Вообще, в отношениях социолога-испытателя с рабочим окружением, после его изобличения в качестве «антисоветчика» и т. п., изменений практически не произошло. Там — «политика», а тут — работа; там — «идейное лицо», а тут — личные отношения.

Для большинства товарищей по цеху «дело» социолога-рабочего — это «его» (мое) и «их» (начальства, «партийцев»), а не «наше» дело... (Ср. с комментарием Р. Ленчовского «о личных местоимениях», выше). Пройдут еще три года, прежде чем в это «дело» включится рабочий коллектив, как таковой. (Сентябрь 1999 — ноябрь 2000).

3. Бешеная халтура, красивая деталь...

Ремарка: образец моделирующей ситуации.

<...> Данный сюжет является, в известном смысле, «классическим» образцом моделирующей ситуации.

Интересно, однако, что субъект исследования эту ситуацию, строго говоря, не «моделировал», а она сложилась совершенно стихийно. Я же — только записал. (Сентябрь 1999).

Из «Записей для памяти» (1984-1985)

Старожил (экспозиция)

Уже пять лет работаю я на «Ленполиграфмаше», наладчиком-повременщиком, потом слесарем-сдельщиком. Оказывается, это очень много.

За эти пять лет я успел «пережить» двух начальников цеха, одного заместителя, одного старшего мастера, трех мастеров слесарного участка, четырех младших кладовщиков инструментальной кладовой, двух старших механиков, правда — только одного секретаря партбюро цеха.

На моей памяти успели вернуться из армии уходившие при мне служить; успели распасться браки, выросшие из взаимного ухаживания у меня на глазах. Умер мой первый наставник (слесарь-инструментальщик Федор Филиппович). Из троих моих прямых или косвенных учеников по координатно-револьверному прессу (ПКР) один ушел в другой цех, другого уволили за прогулы, третий перешел на освобожденную комсомольскую работу...

За пять лет я успел побывать на двух траурных митингах [смерть Л.И. Брежнева и смерть Ю.В. Андропова. — А. А.]. Сам успел стать «ударником коммунистического труда» и... «вредителем»; съездить в отпуск на Кубу и быть исключенным из партии. И, уже после этого, увидеть собственную физиономию на фотографии в многотиражной газете. Чего только не было!..

Все «течет и изменяется». Но есть и «величины постоянные». Например: генеральный директор завода А. Д.; мой бывший бригадир (отметивший за это время 35-летие своей работы на заводе) И. В.; мой нынешний бригадир А. С.; наконец — я сам, несмотря на все перипетии собственной судьбы. На заводе, в своем цехе, на своем участке, я уже старожил. И даже станок, запускавшийся мною в 1980 году как «новое оборудование», кто-то недавно назвал «старичком»...

В этом году мне стукнуло пятьдесят (бригада по этому случаю подарила мне электрический светильник фирмы «Прометей»). Но возраст, как и общий трудовой стаж, для работника — «второстепенная» социальная характеристика. Главное — давно ли ты здесь работаешь.

После пяти лет становишься старожилом. Пять или десять лет — уже невелика разница.

Начиная с декабря 1983 г. я вновь вернулся на координатно-револьверный пресс (ПКР), после полуторагодового перерыва, в течение которого на этом станке работал мой бывший ученик Серега З., да и не только он. Сам же я в это время трудился рядовым слесарем в бригаде Игоря В. Но вот Серега перевелся в другой цех (на сборку), и тогда Анатолий С. (бригадир той бригады, за которой закреплен ПКР) пригласил меня к себе в бригаду, на Серегино место.

«Все возвращается на круги своя» (впрочем, скорее все же — по спирали). Мой станок сейчас — как хорошо объезженный конь. Я знаю все его повадки. Он, похоже, ничего не может «выкинуть», а могу «выкинуть» только я, понадеявшись на авось или отвлекшись и забыв о какой-нибудь хорошо известной мне его особенности. Я вообще-то лентяй. Я целый год не регулировал подшипники траверзы, которые в 1981 году регулировал чуть не каждую неделю! Но это, скорее всего, потому, что я тогда их так усердно регулировал, мне и Сереге на три года той регулировки хватало.

Сейчас эта регулировка, строго говоря, не мое дело. Но лучше совсем не регулировать, чем это станут делать наши ремонтники. А самому — ни к чему, поскольку точности пробивки отверстий и так хватает. И я уже знаю, что после очередной регулировки может лучше не стать...

Еще год назад я снял со станка лишний кожух, что позволило мне устроить себе рабочую позу сидя. Я целый день не стою, а сижу на высоком, вращающемся слесарном стуле, воздвигнутом на перевернутой металлической коробке. Это — поза велосипедиста, склонившегося за рулем (роль которого здесь выполняет перемещаемый вручную пантограф).

Я так еще не один год могу просидеть... А по субботам и воскресеньям — писать эти заметки. Ну, пора заканчивать экспозицию.

Что такое «халтура»

В среду, 21.11.84 мой бригадир А. С. (Анатолий Сыщевич, он же — «Толик», он же — «Бугор») утром сказал мне: «Отдохни пока!» — «В каком смысле?» — «Физически». И предложил мне заняться наконец (он давно прицеливался!) деталью, под обозначением «РУ-...», штамповка которой на моем станке технологиями вовсе не предусмотрена.

Представьте себе стальной лист миллиметровой толщины габаритами примерно 180×350 мм. Это — развертка коробочки, которая получится, когда в этом листе будут вырублены углы, а потом лист загнут и углы сварены. После этого, согласно существующей технологии, в каждой из таких коробочек надо — в разных плоскостях — отцентровать, просверлить и рассверлить до полусотни отверстий, диаметрами (перечисляю): 2,4 мм; 3,4; 8,2; 12,5; 15; 25; 23; 22; да еще пазик 7.9 и большой паз 12.40.

Разумеется, расточник, которому все это предстоит, не станет по очереди с каждой коробочкой возиться. Он настроит расточной станок на одно отверстие — все 150 коробочек перекидает; потом — на другое, опять 150. И так пятьдесят раз (по количеству разных отверстий). (Для удобства восприятия, я несколько упрощаю!)

Нормировщик в такие «профессиональные тонкости» не вдается. В техпроцессе записана... одна производственная операция: расточить пятьдесят отверстий в коробочке. И эта операция «стоит» по трудозатратам чуть больше часа (64 мин.) рабочего времени расточника 5-го разряда, а по расценке — около рубля (96,512 коп.).

Но прежде чем растачивать, в детали нужно вырубить углы, загнуть... Что является делом слесарей. В общем, по «маршрутной карте» деталь сначала попала в нашу комплексную бригаду. И бригадир Толик резонно рассудил, что нечего «халтуру» из рук выпускать, если мы эти пазы и отверстия можем и до гибки сделать.

Для того и существует мой станок, координатно-револьверный пресс, в котором можно установить развертку (стальной лист) и, не вынимая из зажимов, а только поворачивая револьверную головку, пробить по шаблону за 3-5 минут все пятьдесят отверстий, нужного размера и в нужных местах.

Перемножьте эти 4 минуты на 150, сколько будет? От силы 10 часов, а не 150. То-то!

Ну, тут надо иметь надежного наладчика-штамповщика, который:

— все размеры из чертежа уже сложенной (загнутой) коробочки переведет, пересчитает в размеры (расстояния) от баз развертки, т.е. составит карту штамповки из разряда самых сложных (с которыми у технологов, готовивших техпроцессы для моего станка, не обходилось без пары ошибок в каждом, в 1980-1981 годах!);

— затем переведет этот самодельный эскиз развертки в металл шаблона (т.е. разметит 3-миллиметровый стальной лист и просверлит в нем пятьдесят одинаковых отверстий диаметром 6 мм, под искатель аннографа;

— подберет пробивной инструмент (для отверстий этой коробочки подходящие вырубные пакеты, по счастью, имеются; а вот для пазов — надо комбинировать удары, чтобы в итоге получилась нужная конфигурация);

— з агрузит револьверную головку этим инструментом, установит шаблон на координатном столе, подрегулирует, «пробьет» первую деталь, проверит, убедится, что после гибки получится та самая коробочка, которая показана на чертеже.

Сколько он провозится со всей этой подготовительной работой? Ну, смену. А потом, за другую смену, отштампует в развертке все пятьдесят отверстий и пазов во всех 150 коробочках. И за два дня, таким образом, заработает... 150 рублей! Ведь он тем самым «закроет» в маршрутной карте расточную операцию. А кому какое дело, как это сделано, если конечный продукт (коробочка на выходе) — в соответствии с чертежом...

Вот это и называется по-рабочему — «халтура»! Халтура — это вовсе не плохая (некачественная) работа, а, наоборот, хорошая работа, сделанная при минимуме трудозатрат. Работа эффективная, в смысле получения требуемого конечного результата «малым потом». Работа выгодная — и себе, и производству! Но когда за пару дней — 150 рублей (я — в бригаде, так что идет это в бригадный котел, а не «в мой карман», да и никто не дал бы мне одному за два дня 150 рублей заработать!), то это уже не просто халтура, а «халтура бешеная».

Для бригады эти 150 рублей — порядочные деньги. Ведь за месяц бригада из 12-13 чел. закрывает нарядов рублей на 1 600 (без учета премиальных). А тут один член бригады — за пару дней — десятую часть этой суммы!

Как обычно, в чем-то проиграешь, а в чем-то выиграешь. Важно, чтобы в конечном итоге выигрыш был больше проигрыша. А если выигрыш слишком сильно перевесит, то наряд на эти коробочки можно будет, договорившись с мастером, и не закрывать, а отложить до будущего месяца (когда, может быть, косяком повалит невыгодная работа). Такая вот «рабочая арифметика». (Впрочем, почему

только рабочая? Аналогично, на своем уровне и для своих дел, рассуждают и мастер, и начальник цеха, и генеральный директор!)

Рассчитывать карты штамповки мне не привыкать, еще с 1981 года. Как лучше делать поправку на гибку, при расчете размеров, меня научил бригадир Толик (раньше я делал это куда более сложным способом!). Но, как всякий нормальный рабочий, я теперь обхожусь без лишних бумаг, а сразу реализую эту карту штамповки в металле шаблона: всякий размер высчитываю в уме и, не записывая, откладываю на штангенрейсмусе, а затем — риску на металле. Таким образом, шаблон оказывается для меня своего рода «металлическим эскизом».

Ну, потом — по пересечениям рисок — накернить, просверлить сначала маленькие отверстия по «кернам», потом рассверлить, потом — проверить межцентровые расстояния, на случай расчетной ошибки, а если при кернении рука дрогнула, то подправить отверстия круглым надфилем. Наконец, развернуть отверстия до требуемых 6 мм. Шаблон готов!

Это — чисто слесарная работа. Даже скорее — слесаря-инструментальщика. Конечно, слесарь-инструментальщик сделал бы это качественнее. Но я в 0,1 мм отклонения укладываюсь, а больше мне и не надо.

Было время — я делал такие шаблоны непосредственно на станке, не размечал и сверлил, а «пробовал» шаблон, пользуясь координатной сеткой ПКР. Но с 1982 года микроскопы — не освещены, геометрическая система станка — все же не «в нулях» (в нулях — это моя «синяя птица» 1981 года!), такой точности не получишь. Мне — «себе дешевле» разметить и просверлить слесарным способом, благо я теперь сам слесарь, как и мой первый ученик на ПКР — Серега. А он поступал именно так.

Итак, к обеду 21.11 шаблон для «РУ-...» готов. Затем я загружаю десяток гнезд револьверной головки. Кое-что у меня в ней уже стоит (пакеты инструмента с «расхожими» диаметрами 2,5 или 3,6 мм). К концу дня и наладка станка для данной детали готова. За день я заработал... 00 руб. 00 коп.

Зато завтра...

Собираюсь уходить, но бригадир Толик просит сделать ему пробную деталь. Он сегодня остается в вечер — проверит (обычно он доверяет мне, но тут — «слишком крупная игра»; надо не промахнуться!).

Задерживаюсь на полчаса. Приношу ему первую из 150. Он говорит: «Отлично! Даже более чем отлично!». (Это — на глаз). Оставляю, ухожу.

Для пользы дела

Наутро 22.11 узнаю, что все межцентровые расстояния в порядке (а там и в самой детали есть размеры с допуском всего 0,1). Только от баз чуть подвинуть всю систему отверстий (но это я и сам предупредил: первая деталь — пробная, а подрегулировать — пустяк!). И еще «грат» надо в другую сторону, чтобы получился не снаружи, а внутри коробочки после гибки.

Грат — это те заусеницы, которые остаются после сверловки (на выходе сверла), после фрезеровки (по ходу движения фрезы), после штамповки (со стороны, противоположной удару). Снятие гратов напильником, шабером или посредством зенковки (неглубокое рассверливание с обратной стороны) — одна из самых расхожих слесарных операций.

Ситуация привычная: я штамую, бригада снимает грат (тут ума не надо, а только навык, которым я в свое время не вдруг овладел) и гнет мои развертки (вот

эта работа — из самых квалифицированных!). Но, как ни снимай заусеницы, это все же — не столь изящно выглядит, как та сторона, с которой удар пуансона, где края отверстия или паза получают естественное закругление внутрь. Вот почему бригадир попросил меня пробивать с другой стороны.

Правда, для этого я должен «перевернуть шаблон», т. е. пробивать отверстие от одной базы так, чтобы размеры выдерживались от противоположной. А это зависит уже не столько от моего искусства, сколько от того, насколько точно (или вернее — единообразно) выдержаны габариты заготовки (в каком-то из «писем любимым женщинам» я это подробно объяснял).

Пробивка с перевернутым шаблоном — одно из моих рационализаторских предложений 1981 года, которое было отклонено (долго сейчас рассказывать, почему). Но это — и нечто «само собой разумеющееся», скажем, для бригадира Толика. Ведь известно, насколько может отклониться фрезеровщик при «габаричивании» заготовки, а стало быть — можно на это сделать примерную поправку.

Вообще, «рабочая технология» — вся не по правилам, но, наверное, нужны правила, чтобы было чего нарушать для достижения конечного результата.

<...> Весь день 22.11 (четверг) я штамповал «РУ-...» и сделал 100 штук из 150. Эта «нелегальная» деталь была...красивая! Дело в том, что когда на малой площади размещено много всяких пазов и отверстий, расположенных не симметрично, к тому же — отверстия разного размера, то это особая эстетика. Эстетика — «непримитивности». Это — как морозный узор на оконном стекле.

Игорь С., работающий рядом (не бригадир, другой), сказал: «Красивая деталь!». Еще кто-то (независимо) — то же. В самом деле — красиво! Я старался не спешить, чтобы не ошибиться в ударах. Когда одиннадцать раз надо повернуть револьверную головку, искателем пантографа найги нужное фиксирующее отверстие в шаблоне и «ударить» в нужное место заготовки, шансы ошибиться возрастают. Но уже на 5-10-й детали вырабатывается достаточно надежный автоматизм (своего рода маршрут на шаблоне).

Ошибиться можно — пробив отверстие малого диаметра на месте крупного. Стоит потом поверх ударить крупным пуансоном, чтобы следов этой ошибки не осталось. А вот если наоборот — обидно! В общем-то брак. Но такой брак я умею исправлять. Ибо все слесари знакомы с аппаратом точечной сварки, который стоит рядом с моим станком.

Прорубив нечаянно нежелательную дырку, я беру подходящую «вырубку» (стальной кружок из ящика для отходов) и забиваю им эту дырку. Потом привариваю. Тот, кто будет снимать грат, заодно зачистит и сварку (а если ошибка слишком «неприличная», то я сам это сделаю). На согну деталей (5 тыс. ударов!) я пару раз ошибусь (если затороплюсь или задумаюсь). Мастерство — это не когда не делают ни единой ошибки, а когда умеют ошибку исправить.

А развертки-то мои (рублевые!) не залеживаются. Я еще и штамповать не кончил, а Николай Р. (по указанию бригадира) пристроился уже граты снимать. Он заметил пару разверток с пропущенными дырками (забыл я ударить разок из 50 раз!). Благо шаблон со станка не снят, настройка не менялась — добавить одно отверстие ничего не стоит.

В общем, заработал я в этот «звездный» день 100 рублей (разумеется, по нормам расточки и фрезеровки, а не штамповки). А оставшиеся 50 — на следующий день 23 ноября, до обеда). Разумеется, такая халтура — небывалая, потому и «бешеная».

Итак, все не по правилам! Штамую на ПКР деталь, которую положено обрабатывать на расточном станке... Занимаюсь расчетами карты штамповки вместо технологов... Изготавливаю шаблон, который положено делать инструментальщикам... Зарабатываю бригаде 150 рублей за 2,5 дня (включая изготовление шаблона). И т.д. И все — для пользы дела!

А когда в другой раз придет эта деталь (вряд ли технологи спохватятся к тому времени перевести ее на мой станок, а мы, разумеется, вылезать с таким предложением не будем!), у нас уже и шаблон готовый, и «мелких неприятностей», авось, не будет. Так я и за полтора дня или даже за день с этой работой справлюсь. И будет снова на входе — все не по правилам, а на выходе — «бешеная халтура, красивая деталь»!

Но, выиграв на ней, я (т.е. бригада) проиграет на чем-то другом (очень невыгодном!). И в итоге будет умеренное перевыполнение бригадного задания (процентов на 10, не больше; наша бригада, как написано в многотиражной газете, работает сейчас где-то на уровне марта-апреля 1985 г.).

Но не подумайте, что на этом история «красивой детали» окончена. Вернусь к ней позже.

(Записано в декабре 1984 г.)

Неожиданный финал

Отштампованные мною 145 штук «красивой детали» были уже загнуты и углы заварены (т.е. превратились из листов в коробочки), как вдруг наш «Бугор» в последних числах ноября обнаружил на своем верстаке папку с техпроцессом «РУ...», в которую оказался вклеен новый чертеж этой детали с конструктивным изменением (на месте девяти отверстий диаметром 8,2 мм — всего три таких отверстия, и добавлены: одно отверстие 15 и одно 2,5). А надо сказать, что мы «отрабатывали» эту деталь уже в счет 1985 года.

Между тем именно в запуске 1985 года предусматривалось это конструктивное изменение, просто в ноябре 1984-го его еще не успели в чертеж внести.

Выходит, вся «бешеная халтура» — в брак! Но наш бригадир не так прост — согласиться с тем, чтобы осталась не оплаченной работа, выполненная в соответствии с чертежом (аннулированным позднее).

Возникло что-то вроде производственного конфликта. Администрация искала случайно сохранившийся обрывок прежнего (вырванного из папки) чертежа, на котором рукой технолога (конструктора?) написано: «только на запуск 1984 г., в 1985 г. будет изменение в расточной операции» (той самой, которую я заместил штамповкой на своем ПКР). Запись датирована октябрём 1984 года, т.е. как будто уже существовала тогда, когда мы этим чертежом пользовались... Однако ни я, ни А. С. — в упор не помним, чтобы была тогда такая запись! А не обратить внимания, работая с чертежом, не могли. (Да и не принято в техпроцессах таких предупреждений делать. В первый раз такое!)

У нас возникло существенное подозрение, что эта запись появилась потом, т.е. как раз при аннулировании старого чертежа, от которого почему-то сохранился лишь единственный обрывок, и именно с этой надписью. Ну, проводить графологическую экспертизу не стали.

Администрация согласилась оплатить уже сделанную работу в полном объеме, а деталь придется-таки делать заново.

Заново — бесплатно?! Нет, с этим бригадир согласиться никак не может. Прежний наряд закрыт. А новый, если хотите, пишите! С другой стороны, ни для кого не секрет, что штамповкой на ПКР (вместо расточки) бригада заработала 200 рублей «малым потом» (я заместил расточку на 150 руб., да плюс обрубка, гибка и сварка, менее дорогостоящие). Не платить же бригаде опять 200 руб. (Да еще при готовом шаблоне, который мне исправить — пара пустяков!).

Сторговались на 100 руб. за повторную партию «РУ-...». Таким образом, бригада не в накладе (одна халтура — «бешеная», другая — «полубешеная»).

И ведь не рвачи вовсе! Своей партизанской деятельностью мы с А. С. действительно повысили производительность раз в шесть-восемь. Отштамповали заново 145 штук, с исправлением. Как уж там администрация исхитрилась, чтобы нам обе партии оплатить, на кого брак списали — не знаю... А 150 забракованных — еще два месяца валялись в цехе. И уже стали использоваться в качестве тары для не слишком мелких деталей (как-никак — коробочка, хоть и с дырками).

Вдруг в конце января прибегают со сборки — где у вас тот брак? — А зачем вам? Да у них, оказывается, десяток машин еще по образцу 1984 года идет. Вот и бракованные коробочки пригодились (правда, только десять штук из 150). Ну, а те, что штамповались заново в декабре, — в январе были загнуты, сварены, зачищены и т.д. Однако увезли их из нашего цеха только месяц спустя.

Технолог Алла П. явилась ко мне, чтобы «оприходовать» нашу скрытую рацию. Ну, поделиться с ней своей картой штамповки я никак не мог, поскольку на бумаге у меня этой карты просто не было. Так что придется ей самой поработать. И, боюсь, куда менее оперативно и надежно у нее это получится, чем у меня. (Кто-нибудь из технологов, хотя бы та же Алла, оформит это потом как свое рационализаторское предложение; все — в порядке вещей...)

Если бы не шум вокруг этого эпизода, мы бы еще пару лет свою «бешеную халтуру» имели неприкосновенной.

(Записано в феврале 1985 г.)

4-5. Несколько вступительных слов

Как читатель уже знает, на протяжении первых четырех лет своего пребывания на заводе (1980-1983) социолог-рабочий вел довольно регулярные записи, фиксируя все детали своего наблюдающего участия в конкретной социально-производственной ситуации (будь то в форме писем друзьям, коллегам, будь то в форме дневников, «производственных хроник» и т.п.). Потом события «дела» социолога-рабочего (начиная с сентября 1983 г.) и необходимая самооборона от идеологических и политических обвинений несколько пригормозили производственное бытописание. Пока автор не собрался с силами и не нашел время, чтобы его (бытописание) возобновить.

Стоит при этом отметить, что еще в 1982 году (т.е. до начала политического «дела») существенно изменилась сама производственная роль социолога-испытателя. Последний перестал быть наладчиком-повременщиком (производственное занятие — не из «массовых») и стал «рядовым» слесарем-сдельщиком, в составе бригады, работающей на единый наряд. Новый производственный статус дал пищу для наблюдений и анализа уже не инновационных процессов (освоение нового тех-

нического оборудования и т.п.), а процессов «рутинных» — повседневности, как таковой.

Итак, параллельно с протоколами наблюдающего участия в собственном партийном (и т.п.) «деле», писались также «Производственные дневники 1984-1986 гг.» (так был впоследствии озаглавлен этот авторский цикл). Из приводившихся ранее, к данному циклу принадлежит текст «Бешеная халтура, красивая деталь...». Ниже — другие извлечения из указанного цикла. Иногда это разовые дневниковые записи, иногда — тексты, сюжетно выстроенные, посвященные тем или иным аспектам заводской жизни. (Март 2001 — май 2003).

4. Апрельские заморочки

Из «Производственных дневников» (май 1985).

Я вышел из отпуска 22 марта 1985 г. (пятница). И почти сразу начались «заморочки», как их называет мой бригадир А. С. [А.В. Сычевич; в дальнейшем он же — Толик, он же — «Бугор». — А. А.], т. е. всякие производственные затруднения, задержки, неприятности, неувязки. В этих апрельских заморочках переплелись ту-гим узлом нити ныне действующего хозяйственного механизма (каким он видится и ощущается изнутри и снизу). Три сюжета, обозначенные ниже: «1,5 миллиметра», «0,2 копейки» и «11 марок и 24 гнезда» — относятся, соответственно, к проблемам состояния технологии, нормирования и оборудования. Однако сюжеты эти не автономны, а взаимопроникают друг друга (как и сами производственные проблемы, разумеется).

Апрельские заморочки на координатно-револьверном прессе (сокращенно — ПКР) в цехе № 3 ПО «Ленполиграфмаш» — живое свидетельство своего рода выморочности нашего хозяйственного механизма.

1,5 миллиметра

Технологией предусмотрена пробивка на ПКР отверстий разных размеров в листовых деталях. Отверстия должны быть большего диаметра, чем толщина материала, иначе пуансон сломается. Для меньших отверстий на моем станке предусмотрено кернение (своего рода наколка, разметка). Потом по этим кернам, отдельной производственной операцией, заготовку просверливают. Понятно, что было бы выгоднее сразу пробивать (прокалывать). Но не получается.

Для нас актуальной является проблема 1,5 мм отверстий в стальных листах толщиной 1,5 мм. Это очень распространенный случай. Ибо, скажем, в каждой лицевой панели для фотонаборного комплекса (один из основных видов номенклатуры на моем станке) — до полусотни и больше 1,5 мм отверстий под штырьки, которые навариваются потом для крепежа изнутри всяческой электронной начинки. А эти панели — как раз такой толщины. Поэтому здесь технологией предусматривается сначала кернение, потом сверление.

Пробивка на ПКР отверстий диаметром 1,5 мм не противопоказана для листовых деталей толщиной, скажем, 1 мм. Для этого в свое время были предусмотрены пакеты инструмента (пуансон, матрица) 1,5 мм. Но в нашей номенклатуре это случай редкий...

Еще года четыре назад, когда не столько технологи, сколько рабочие пытались выяснить, что можно выжать из нового станка, я попробовал пробивать 1,5 мм панели имеющимся в инструментальной кладовой 1,5 мм пуансоном. Оказалось —

возможно, если тщательно наладить. Все же «фирменные» пуансоны, рассчитанные на меньшую толщину пробивки (к тому же неразумно сконструированные в виде длинных «игловок» с затупленным концом), вскоре оказались переломаны. И тут заработала рабочая техническая мысль.

Первое, что пришло в голову — взять пуансон большего диаметра и на самом его кончике, ударной части, отцентровать на круглошлифовальном станке необходимый 1,5 мм диаметр небольшой высоты (ровно столько, сколько надо, чтобы пробить заготовку и чуть войти в матрицу). Короткая «иглочка» скорее уцелеет при ударе, чем длинная, тут — «и к бабке ходить не надо» (как говорит Толик).

Несколько «не ходовых» (имевшихся не в единственном экземпляре) пуансонов диаметром порядка 2,5-4 мм были переделаны в 1,5 мм. И я стал благополучно пробивать ими «толстые» панели. Выгода от этой придумки оказалась чрезвычайной. Ликвидировалась трудоемкая операция — сверление по кернам. Скажем, в панели 60 таких отверстий. Подлезь-ка ты под сверлильный шпиндель с заготовкой размером 600×700 мм! Да листов таких в «запуске» (в производственной партии) — сотня или больше!

Рабочая техническая инициатива всегда экономически обусловлена. Дело в том, что операция сверления, будучи снята [отменена. — А. А.] фактически, остается в техпроцессе и в маршрутной карте (наряде). Оплате подлежат — отдельно кернение и отдельно сверление. Заместителю и другое штамповкой на ПКР, рабочий (бригада) затрачивает гораздо меньше времени, а получает те же деньги. Иначе говоря, может сделать и заработать больше за то же время. В сущности, это есть задействованный резерв повышения производительности труда.

Рабочий предпочитает такие новации, которые, по тем или иным существующим технологическим или организационным нормативам (нередко — рутинным и косным!), не могут быть «узаконены». Эти, как принято говорить, «скрытые рации» позволяют рабочим компенсировать материальный проигрыш, который они терпят на производственных операциях, где норма времени заведомо занижена. Как мне уже не раз приходилось отмечать, на одном проигрывают, на другом выигрывают (в зароботке). От рабочей изобретательности зависит, чтобы выигрыш был не меньше, а побольше проигрыша.

Линейная администрация (мастера), конечно, знала об этом «нарушении технологического процесса» (как и о многих других подобного рода). Но не станет же она препятствовать тому, что способствует скорейшему выпуску продукции, не в ущерб качеству! На этой нашей самоделке выигрывали все, кроме, разве что, технологов (так ведь и те получают премию лишь при условии выполнения программы; а когда какое-нибудь нелегальное новшество укоренится, то запрети его — уже и план затрещит!).

После меня (1983 г.) «подпольно», хотя и у всех на глазах, пробивал 1,5 мм отверстия в панелях мой ученик С. З. (Сергея). Пуансончики иногда ломались. Тогда приходилось брать из кладовой другие «не ходовые» — для кустарной переделки. А это — уже в ущерб «инструментальному парку»... Тогда бригадир А. С. принял радикальное решение. Пуансон для моего прессы обычно изготовлен из цельного куска металла, т.е. основание пуансона (которым он крепится в пуансонодержателе) и собственно ударная часть — неразъемны. Если же сделать пуансон сборным, то основание будет служить вечно, а ударную часть (своего рода «боек») можно заменять, по мере ломки или изнашивания. В отличие от основания, боек изготовить нетрудно, это всегда можно с токарем да с заточником договориться.

Боек вставляется в основание, которое тоже недолго сварганить из любого полуманного цельнометаллического пуансона, и крепится в нем.

Эта идея потом была заимствована цеховой инструментальной службой, которая и в случае больших диаметров стала изготавливать не цельнометаллические, а сборные пуансоны.

Когда в декабре 1983 г. А. С. приглашал меня в свою бригаду для обслуживания ПКР, на смену ушедшему в другой цех моему бывшему ученику Сереге, он показал мне коробочку с сотней (!) заготовленных впрок самодельных 1,5 мм бойков. Ну, теперь живем! Не жалко лишний раз и сломать...

Но они не ломались! Боечки были изготовлены, не в пример «фирменным» пуансонам, с изящным двухступенчатым уступом, чем обеспечивалась еще большая надежность. Не догадались сразу сделать на них кольцевую выемку, для более прочного крепежа болтиками в основании. Но когда пару раз боек вырвало из держателя, я стал делать эту выемку сам, на абразиве.

На сотню панелей (несколько тысяч ударов!) одного бойка хватало. А если и ломались, то на замену бойка я тратил минуты, выигрывая бригаде, на всей этой затее, часы. Ведь, как уже сказано, трудоемкое сверление было исключено в реальном производственном процессе (хоть и оставалось в технологических и оплатных документах).

Эти 1,5 мм пуансоны были одним из главных обстоятельств, по которым мой станок был выгоден бригаде. Мы выигрывали на панелях, проигрывая на других деталях. И внутри процесса изготовления самих панелей — выигрывали на штамповке, проигрывая, скажем, на установке и приваривании штырьков в те самые 1,5 мм отверстия (производственная операция, где норматив заведомо занижен). Как рабочих, так и администрацию такое положение вполне устраивало.

Но вот где-то во второй половине 1984 г. наши боечки стали ломаться чаще прежнего. Иногда это зависело от материала (бывает, запустят не ту марку стали, какую положено). Но скорее всего дело было в растущем износе моего станка, для которого еще во втором квартале прошлого года был запланирован профилактический ремонт, да так и не сделан. Фиксация револьверной головки в гнездах, при ее повороте, ухудшилась, подрабоблгались пуансонодержатели, может еще что...

Впрочем, и сама наша скрытая рация, по мнению А. С., заслуживала модернизации. И следующую партию «нелегальных» бойков мы предполагали заделать уже с некоторыми дополнительными усовершенствованиями.

К концу 1984 г. частая поломка самодельных бойков стала тревожить и меня, и бригадира. С панелями мне, как оператору станка, приходилось уже мучиться. Мучения (частая смена бойка) все же окупались тем, что отверстия в панелях не надо было потом просверливать.

Технологические службы обычно довольно долго «терпят» скрытые рации рабочих (если, разумеется, те не оказываются в ущерб качеству продукции, т. е. не возникает претензий со сборки). Но ведь и технологам надо вносить какой-то вклад в снижение трудоемкости! Для моего станка здесь нормальным путем является постепенный официальный перевод на ПКР тех обозначений деталей, которые раньше полагалось сверлить, фрезеровать и т. п., но которые мы давно уже самолично штампуем (используя при этом самодельные шаблоны).

Под давлением цеховой технологической службы скрытые рации иногда превращаются в явные, т. е. оформляются как совместные рационализаторские предложения рабочего (обычно — бригадира) и технолога. Последний выписывает

на кальке ту карту штамповки, которую рабочий давно уже рассчитал в уме (или на клочке бумаги) и воплотил в металле своего кустарного «п/б» (так в обиходе называются приспособления).

С запуском нового координатно-револьверного прессы с программным управлением (1984 г.), некоторые обозначения, которые прежде нелегально штамповались на моем «старичке» (давно ли был «новой техникой!»), стали переводиться туда. Иные же адресовались мне, на ПКР КО-120, но уже с официально оформленной технологией. Так, например, произошло с «бешеной халтурой, красивой деталью»... Но это редкий случай оперативности технологов, отчасти вызванной известным скандалом вокруг выпуска этой детали в конце 1984 г. Чаше вынужденная (для рабочих) легализация скрытых раций затягивается на год-два.

Административных попыток «узаконить» нашу инициативу пробивки 1,5 мм отверстий в панелях, мы, признаться, никак не ждали. Ведь существует формальное ограничение на размеры пробиваемых отверстий, при данной толщине материала. Но это оказался тот случай, когда цеховая технологическая служба в лице Людмилы К. сочла возможным рискнуть (полагаясь на то, что у нас «как-то получается!»). А экономический эффект от рационализаторского предложения об исключении сверления панелей, за счет штамповки на ПКР, потянет на изрядную сумму... Рационализаторское предложение было подано от лица двоих — начальника тех. бюро цеха Людмилы К. и начальника инструментальной группы В. В. Причем так, что даже мой бригадир узнал об этом, уже как о свершившемся факте.

Вообще говоря, это было верхом бестактности со стороны «рационализаторов», тем более, что они использовали идею нашего двухступенчатого пуансона. Но при этом они не подумали о высоте бойка (которую задали значительно больше, чем нужно). К тому же они не знали об участившихся поломках наших собственных бойков.

Так или иначе, в последних числах марта 1985 г. я получил исправленный техпроцесс, в котором предусматривалась уже не кернение и сверление, а пробивка в стальных листах 1,5 мм толщины отверстий диаметром 1,5 миллиметра. Партия большая — 130 штук. Прощай, наша «халтура»!

Мы с бригадиром в соответствующих откровенных выражениях определили между собой сложившуюся ситуацию. После чего я отправился в инструментальную кладовую за новым пуансоном, согласно записанному в техпроцессе. Для начала, этого пуансона там не оказалось. Ну, коли оснастка еще не готова — делайте «по-старому», т.е. керните, потом сверлите, говорят нам. Понятно, что мы так делать не станем (три года уже не сверлим!). Налаживаю свой потаенный пуансончик...

Но тут наши бойки стали ломаться уже совсем катастрофически (одного хватало чуть ли не на одну панель!). Я взмок их заменять. Да и запаса из той сотни, что была полтора года назад, уже оставалось всего десятка полтора. Налаживал и так, и этак — ни в какую! За смену и десятка панелей не выпустил. «Прогорел!» Что будем делать, бригадир? А. С. предложил пробивать панели пока без этих 1,5 мм отверстий, а там посмотрим. Конечно, лучше бы все сразу, за одну установку, ведь 1,5-миллиметровые взаимосвязаны со всеми остальными. Но что поделаешь! Не сверлить же, в самом деле...

За пару дней я отштамповал все 130 штук, без этих маленьких отверстий. Лицевые панели нужны на сборке, уже скоро станет — «аварийно»... Откладывать дальше некуда, надо 1,5 мм прокалывать. <...> Когда еще через день безуспешных усилий доделать хотя бы одну панель, не сломав бойка на 40-м или 50-м ударе, я

окончательно встал в тупик и поставил перед этим тупиком и «Бугра», тот предложил последнюю авантюрную попытку: взять цельнометаллический пуансон большего диаметра и обточить кончик до диаметра 1,5 мм (как когда-то давно, в самом начале делали). А вдруг, у сборных пуансонов крепление бойка подводит... Ну, раньше-то не подводило! Но — попробуем. Порылся я по своим суесякам, нашел «не ходовой» пуансон, который не жалко для этой цели израсходовать. Установив его со всей тщательностью, и только что не перекрестясь, я... благополучно отштамповал около 80 панелей (порядка 5 000 ударов). Это было подарком судьбы! Но вот сломался, наконец, и он. Теперь уже оставалось только кернить, а потом сверлить.

Вот тут-то мне и принесли новые пуансоны образца Л.К. и В.В. (наших административных рационализаторов). Они (ихние пуансоны), кстати, не сборные, а цельнометаллические. Сколько же штук их имеется? Оказывается, два. Мы с Толиком улыбулись. Посмотрев на их несуразную, с высоты нашего опыта, конструкцию, мы улыбулись еще раз, и я пошел устанавливать один из них. Он сломался на пятом ударе. Явились «рационализаторы» (Л. К. и В. В.). В чем дело? Почему сломался? Мы с А. С. говорим: наши пуансоны на 3 миллиметра короче, и то ломаются! А чего же другого вы от своей рации ждали? Второй пуансончик пошли укорачивать (по нашей рекомендации). Когда укоротили, я настоял, чтобы кто-нибудь из администрации присутствовал при наладке. Налаживал сверхтщательно, впрочем, не надеясь на успех. На глазах у «авторов», их второй (и последний) пуансон сломался на десятом-пятнадцатом ударе.

Л. К. была раздосадована настолько, что едва не обвинила нас с А. С. в сознательном противодействии «научно-техническому прогрессу». «У вас-то не ломаются!» — сказала она с обидой. Кажется, я заметил тут, что ее рация подоспела как раз тогда, когда у нас свои боечки начали ломаться один за другим и осталась лишь парочка — «на развод». Говорят, Люся потом плакала... В самом деле, позор-то какой! Но нам с А. С. жаль ее не было. Да и не мы ее наказали, а она сама себя. Оставшиеся сорок лицевых панелей пришлось-таки кернить, потом сверлить. В общем, хлопот с ними хватало.

Что сразу полетели пуансоны образца Л. К. и В. В. — нам было не удивительно (кстати, изготовление цельнометаллического пуансона дело довольно дорогостоящее!). Но почему же так не везло нашим собственным бойкам? В чем дело? В станке? В инструменте? В наладке?! А может, материал — не тот?

Панели загнули, приварили боковые планки, наварили штырьки (для чего, собственно, и нужны 1,5 мм отверстия). И тут вдруг эти штырьки, на которых крепится вся начинка прибора, стали отлетать чуть не от щелчка пальцем! Час от часу не легче! Только тогда догадались отправить образец материала на анализ, в лабораторию. Оказалось... что вместо стали марки 15 были запущены заготовки из стали 40, намного более твердой. И вся партия (слава Богу, не по нашей вине!) — в брак. Мы с А. С. еще раньше предполагали, что материал не тот (Толик вроде «услышал» это по звуку ударов пресса). Но вряд ли кто стал бы нас слушать, если бы мотивировали это предположение поломкой своих нелегальных бойков. Но — «нет худа без добра!» Теперь и у административных «рационализаторов» есть утешение, что их рация сгорела лишь по этой причине... Впрочем, вряд ли они скоро решатся вновь настаивать на своем предложении.

А каков все-таки был тот кустарный пуансончик, который при твердом материале выдержал 5 000 ударов! Это вселяет надежду, что мы еще попробуем 1,5 мм отверстия в панелях на этом станке.

Возможность для такой проверки представится скоро. Дело в том, что из 130 лицевых панелей на сборку пошли только 10 (для чего пришлось аварийно заменять приваренные штырьки на винченные; а без этого заводу было бы не выполнить апрельской программы!). Остальные 120 ушли в окончательный брак. Нашей вины тут нет. Так что наряды бригаде были закрыты безоговорочно. И теперь предстоит 120 таких панелей делать заново. (А поскольку деталь все же выгодная, бригада — от брака не по своей вине — не только не проиграет, а даже парадоксально выиграет!).

Надо будет попробовать наш предпоследний, оставшийся боек. А если и он сломается — использовать самодельный пуансон нового образца, типа того, который выдержал 5 000 ударов на стали 40. Тут-то ведь будет нормальный материал (сталь 15).

Ну, и не пытаться пробивать эти отверстия после поворота револьверной головки. Она ведь сейчас плохо фиксируется в гнездах... А поступать так: спарить, как обычно, пуансон 1,5 мм с матрицей, затем закрепить револьверную головку намертво и пробивать только эти отверстия (используя револьверный пресс как однопозиционный). Наконец, делать всю эту работу вечером, не на глазах у начальства. А то, чего доброго, обвинят в «нарушении технологической дисциплины»... Или, того хуже, заново свое рационализаторское предложение оформят. А. С. спросил, согласен ли я «повечерить». Я согласился — когда пойдут панели, выходить на работу с обеда. Впрочем, вряд ли это останется не замеченным...

Такова наша первая апрельская заморочка.

0,2 копейки

Стандартный механизм пересмотра технических норм, говоря попросту, таков. Надо регулярно повышать показатель производительности труда. Для этого надо периодически ужесточать нормы времени на производственные операции. Соответственно, снижается расценка (пропорционально связанная с нормой времени тарифом). За ту же работу рабочий получает меньше. Предполагается, что он справится с нею быстрее. А стало быть, в конечном счете заработает столько же (или даже больше).

Пересмотру норм полагается быть обоснованным, т. е. опираться на реальное технологическое или организационное усовершенствование. На худой конец, этот пересмотр должен опираться на хронометраж рабочего времени. Но все это слишком хлопотно, да и вряд ли возможно, поскольку сами нормы все равно никакого отношения к реальному производственному процессу не имеют (особенно — в ситуации выпуска мелкой среднесерийной продукции, как у нас).

Выигрывая на одних операциях, рабочие проигрывают на других (известное разделение работ на выгодные и невыгодные; оно, кстати вовсе не устраняется, а только лучше «взаимопогашается» при бригадном методе).

Попыток добиться действительного соответствия между нормативом и фактическими затратами времени на производственную операцию рабочие не предпринимают. Ибо могут при этом вообще остаться без выгодных работ. Лучше мириться с примерным «балансом» невыгодных и выгодных (чем обеспечивается сложившийся уровень зарплаты).

Администрация же, в лице нормировочных служб, также идет по линии наименьшего сопротивления. Ежегодное 10-процентное «урезание» норм совершается более или менее пропорционально по всем производственным операциям

(иногда — по отдельным классам операций, иногда — по отдельным видам продукции). Рабочие к этому привыкли, приспособились. И компенсируют не дифференцированное ужесточение норм изысканием «нелегальных» резервов экономии рабочего времени, там, где это возможно (наглядный пример — сюжет с «1,5 мм»; см. выше).

<...> Однако иногда этот рутинный порядок нарушается. Это происходит, когда вдруг изысканный рабочим резерв оказывается слишком большим, и тогда рабочему «нечем заплатить» (за высокопроизводительный труд). Или, наоборот, когда произошло слишком резкое ужесточение норм на достаточно массовую категорию операций, и тогда рабочему «не выкрутиться» (чтобы сохранить свою зарплату).

Особенно часто такие сбои происходят на новом оборудовании, но не на начальной стадии его освоения, а тогда, когда оно уже загружено и идет поиск «нормативного оптимума» (не слишком выгодного, но и не слишком невыгодного для рабочего).

В этом плане очень характерен мой ПКР. Пока я работал на нем как наладчик-повременщик (до середины 1982 г.), мой интерес к проблеме нормирования был, вообще говоря, абстрактным. Сколько ни сделаю — заплатят по тарифу повременщика. А добиваться перевода на сдельщину — загрузки не хватит.

Однако партизанский перевод на ПКР ряда деталей, ранее обрабатывавшихся более трудоемким способом, предпринятый мною при поддержке бригадиров И. В. и А. С. и без участия технологов, начиная еще с 1981 г. продемонстрировал потенциальную выгоду этого станка для бригады сдельщиков. Поэтому А. С. довольно охотно согласился на прикрепление координатно-револьверного прессы к своей бригаде. И ни в период работы на нем моего бывшего ученика Сереги (с августа 1982 по декабрь 1983 г.), ни позднее, когда к станку — уже в качестве сдельщика — снова встал я, думаю, не имел оснований жалеть об этом. В 1984 г. я работал с дневным личным заданием 8,5 руб. (плюс 30% прогрессивки).

С 1985 г. мне установили — 9 руб. Как и любой рабочий на любой другой работе, я на невыгодных работах проигрывал, а на выгодных — выигрывал. А есть еще — и «сверхвыгодные» (вроде «бешеной халтуры, красивой детали», о которой уже приходилось подробно рассказывать). Так что все это время я, в экономическом смысле, вполне себя в бригаде оправдывал.

(Строгий подсчет, на какую же все-таки сумму закрыто нарядов моей персональной работой, здесь, вообще говоря, является бессмысленным. Ибо я мог выполнить этот объем только в условиях бригадного метода. Будь я индивидуальным сдельщиком, мои возможности «партизанщины» были бы существенно ограничены. Отсюда, установленная мне доля в общебригадном заработке соответствует вовсе не формальной стоимости выполненной мною работы, а общественно оцениваемой степени моей нужности бригаде — для того, чтобы «общепригодный котел» не скудел).

Но вернуться к нормированию на ПКР. Еще в период своей работы повременщиком я попытался выявить закономерность формирования норм на этом станке.

Рабочее время, как известно, делится на «подготовительное» (наладка) и «основное» (собственно выполнение операции). Особенностью ПКР является довольно трудоемкая наладка. Фактические затраты времени на нее существенно различаются, в зависимости от количества штампов, которые надо использовать для выпуска данной детали, и типов этих штампов (те, что загружаются в крупные, в

отличие от маленьких, гнезда револьверной головки, отнимают при наладке заметно больше времени). Однако норматив подготовительного времени для выпуска любой детали — один и тот же. А именно — 40 мин. (хоть один штамп установить, хоть десяток!).

Фактические затраты времени на «собственно штамповку» зависят от количества штампов, которые задействованы для изготовления данной детали, от количества ударов, которые надо произвести этими штампами, от размеров заготовки, а также от ряда других обстоятельств (перечислять которые здесь не буду).

Понятно, что нормативы на разные виды деталей — различны. Иногда различия довольно произвольны, но мне удалось установить прямую связь норматива только с одной из технологических характеристик. А именно — с количеством ударов! Остальное, оказывается, просто не берется в расчет. Будь то 100 ударов одним и тем же штампом или по 10 ударов десятью различными штампами, размещенными в разных гнездах револьверной головки (для чего надо еще эту головку 10 раз повернуть!); будь то заготовка 200×200 мм или 1 000×600 (в последнем случае существенно увеличиваются затраты времени на ее перемещение, чтобы подставить под удар) — норматив один и тот же.

Грубо (а тонкости тут и ни к чему!) можно сказать, что все нормативы на ПКР исходят из расчета 15 сек. на один удар. Что соответствует, по тарифу 4-го разряда (применяемого для ПКР), условной расценке 0,25 коп. (за один удар). Если в заготовке надо пробить 10 отверстий, то на это дается 2,5 мин. А если, скажем, 50, то — 12,5 мин. (Я условно отвлекаюсь от времени на закрепление и снятие заготовки со станка и проч.).

Еще раз повторю, что этот исходный норматив ни в каких известных мне справочниках не записан. Я его вычислил (извлек из всего разнообразия норм штамповки на проходящую через ПКР номенклатуру) как фактически действующую основу нормирования работ на моем станке. Уж не знаю, числятся ли нормы для ПКР по разряду так называемых «технически обоснованных» (почти наверняка — да!). Но противоречие используемых на моем станке критериев нормирования здравому смыслу — является несомненным. С этим противоречием жили и живем до сих пор.

Практически наладка занимает гораздо больше времени, чем предусмотрено нормативом. Когда, в конце 1982 г., станок прикрепили к бригаде А. С. и на нем стал постоянно работать мой бывший ученик Серега, они с бригадиром настояли на специальном хронометраже подготовительного времени. И норматив на него был, со скрипом, повышен до 70 мин. Но унифицированность норматива (хоть один штамп установить, хоть десять — все равно 70 мин., а в деньгах — 75 коп.) осталась. Что касается нормативов на собственно штамповку, то, кажется, тогда же они были ужесточены, из примерного расчета не 15, а 12 секунд на один удар. Что соответствует условной расценке 0,2 коп. за удар (5 ударов = 1 мин. = 1 коп.). С тех пор пересмотр норм не выходил за рамки «нормального» (процентов на 10 каждый год).

Конечно, при определенных условиях (при благоприятном стечении обстоятельств) я могу не 5, а все 10 и даже больше ударов за минуту сделать. На наладке проиграю — на штамповке выиграю, так обычно и бывает. А бывает, что и на штамповке проиграю, если заготовка больших габаритов, много штампов задействовано и т.д.

Здесь не о том даже речь, что норма завышена или занижена, а о том, что она не выполняет реальной «нормативной» функции. Ну, а когда сама техническая норма не имеет отношения к производственному процессу, то не стоит ожидать, что ее изменение будет соответствовать реальным изменениям производительности труда.

«Первый звонок» прозвенел еще где-то в начале 1984 г. Есть одна такая очень выгодная деталь, где на малой площади 200×200 мм надо пробить 100 одинаковых и, понятно, близко друг к другу расположенных пазиков (вентиляционная решетка). Но при этом она штампуются «с переворотом». А это значит — закрепить на станке, пробить 50 пазов, потом вынуть, закрепить в другом положении, и еще 50. Поскольку координаты тех и других пазов одинаковы, а меняется только база, то в карте штамповки обозначены 50 позиций, а потом написано: «повторить переходы, перевернув заготовку на 180 градусов по оси Y».

Всего-то получается 100 ударов, стало быть — порядка 10 мин. и, соответственно, 10 коп. за деталь. А тут нормировщик, похоже, не обратил внимания на приписку в техпроцессе и счел, что только 50 ударов. И норму установил, из этого ошибочного расчета, 5 минут (раньше-то было — 10!). Мы посоветовались с бригадиром и решили «не возникать». Деталь, в отличие от многих других, такая удобная для штамповки (удары пресса под моей рукой стучат как автоматная очередь), что если начать хронометрировать, то и впрямь увидят, что норму на нее можно круто пересмотреть. И тогда может создаться впечатление, что на ПКР большие резервы для ужесточения норм (чего на самом деле вовсе нет!).

Пусть эта случайная (будем надеяться!) ошибка нормировщика остается. Хоть партия и большая (несколько сот штук) и потеряем мы на ней пару червонцев, но — «себе дороже» обойдется добиваться справедливости. Так норма на это обозначение и осталась резко отличающейся от всех остальных. Я согласился с Толиком, но заметил, что прецедент — «опасный».

Каждый раз, когда рабочий обращает внимание на резкое изменение нормы, низовая администрация ссылается на то, что от нее это не зависит. А администрация повыше (скажем, начальник цеха, если дело до него дошло) указывает, что «вы только на заниженные нормы обращаете внимание, а о завышенных помалкиваете!». (Ну, в общем-то так и есть).

И вот, заглянув нынче в маршрутную карту на те самые лицевые панели, на которых разыгралась «заморочка» с отверстиями 1,5 мм, наш «Бугор» обнаружил, что штамповка на ПКР одной детали вместо 35 коп. стала оплачиваться... 21 коп.! Тут было от чего забить тревогу. Для штамповки этой панели, одной из самых крупногабаритных и одновременно сложных деталей, проходящих через мой станок, нужно установить 12 штампов. Сложная конфигурация штамповки, большое окно, вырубаемое комбинацией ударов по его периметру — всего без малого 180 ударов... Чему и соответствуют норматив на штамповку одной детали (свыше 30 мин.) и расценка (35 коп.; напоминая, 0,2 коп. = 1 удар).

Из каких же соображений норма именно на эти панели срезана почти вдвое? Уж не в качестве ли «компенсации» за тот выигрыш, что мы имеем на них, замещая штамповкой трудоемкое сверление 1,5 мм отверстий?! [См. выше. — А. А.]. Так или иначе, удар по бригадному бюджету очень чувствительный.

Такие нарушения рутинного порядка, состоящего в более или менее пропорциональном ужесточении всех норм (или определенных категорий норм), обычно приводят к производственным конфликтам. Что-то вроде конфликта возникло и здесь...

В самом деле. Никаких технических нововведений на ПКР, которые оправдывали бы такой пересмотр нормы, не было. Напротив, в силу ухудшившегося состояния станка, затраты времени на штамповку и наладку увеличились, а вовсе не сократились. Даже хронометража за последние два года не было... Так где же справедливость?!

Но «высшей справедливостью» признается общая плановая тенденция повышения показателя производительности труда, а стало быть — и пересмотра норм. А отдельные, частные ошибки, конечно, можно поправить «потом», когда-нибудь... А пока — работайте! Концов тут не найти, понимает и А. С. (на которого легла тяжесть всех переговоров с начальством). Понимаю это и я (которому пришлось бы самому конфликтовать, будь я не в бригаде, а индивидуальным сдельщиком). В процессе разбирательства выясняется, что нынче расценку срезали до 21 коп. вовсе не с 35, а с 24 коп. (так сказать «нормальное»). Выходит, в полтора раза резанули еще в прошлом году, а бригадир не обратил внимания. Конечно, это его «прокол»... Но теперь предмет спора отодвигается уже куда-то в далекое прошлое, а это — вообще непоправимо.

Станок в последнее время стал чаще барахлить (разумеется, состояние оборудования нормированием в расчет не берется, да и не должно браться, пожалуй). Наши «халтуры» (партизанщину) прямо из-под рук выхватывает и оформляет как «свои» рационализаторские предложения технологическая служба [см. выше. — А. А.]. Эдак не только отдельные работы, а работа на ПКР в целом станет невыгодной для бригады! «И то, скажите спасибо, что человек на этом станке работает, — говорит А. С. начальнику цеха. — А если уйдет, что делать будете?!».

(В самом деле, те недели, когда, в мое отсутствие, ПКР приходилось наладживать самому бригадиру, он, по его выражению, «прогорал». Я удобен для бригады как специалист по этому оборудованию, приносящий пока скорее «приварок» в бригадный котел, чем черпающий из него лишнее. Но эдак от приварка скоро ничего не останется...). Так или иначе, все наши протесты ушли в песок.

Но если так необоснованно урезана норма штамповки на лицевую панель, то что мешает сделать то же самое и для остальных весомых обозначений номенклатуры, проходящей через ПКР? А если даже и не для «весомых»? Тут важен прецедент нарушения прежнего, хотя и ложного, но устоявшегося принципа, согласно которому нормы, пусть неадекватные, ежегодно пропорционально урезаются на 10 процентов, и не более. Эту мою логику А. С. поначалу не вполне приемлет. Когда с 35 коп. режут до 24 или 21 коп. и в итоге (на 130 панелях) мы теряем 20 руб. — это «зарез»! А когда с 2 коп. до 1 коп., и в итоге (на 180 деталях другого обозначения) теряем «всего» 2 руб., — это вроде и не так страшно... Но потом бригадир соглашается со мной.

(Да откуда-то еще взялась норма на наладку — 40 мин., вместо 70; выходит, и это наше «социальное завоевание» под угрозой!)

Бригадир снова выясняет отношения с начальником цеха. Но все опять уходит в песок.

Пока я в бригаде и хорошо делаю свою работу, так что нет оснований снижать мне личное задание, у бригадира голова об этом должна болеть больше, чем у меня. Ему выкручиваться, чтобы свестиконцы с концами и выполнить бригадный план в рублях. Но повторяю, если бы я был индивидуальным сдельщиком, мне в пору было бы либо скандалить вразнос, либо тихо увольняться.

А. С. собирается еще побороться, что-то вспоминает и про «прессу», и про партийное собрание (где бы поднять этот вопрос). Но и без надежд.

Договариваемся с Толиком, чтобы впредь маршрутные карты проходили также и через меня. Ведь я скорее угляжу необоснованные изменения нормативов на своем станке. Прошу мастера Гошу С. дать мне список всех обозначений деталей, обрабатываемых на ПКР. С этим списком в руках можно запросить сведения о нормативах сразу по целой группе обозначений и сопоставить с имеющимися у меня записями о количестве ударов для каждого.

Правда, администрацию такой запрос явно раздражит... Но все же это лучше, чем возникать по каждому конкретному случаю, да когда уже и деталь на станке. Мастер Гоша, относящийся к нашей с А.С. заботе сочувственно, но и вынужденный соблюдать нейтралитет в беседах с вышестоящим начальством, частично мою просьбу уже выполнил. Вообще, этот «сюжет» на моем станке, как видно, находится еще только в начальной стадии... Такова наша вторая апрельская заморочка.

11 марок и 24 гнезда

Если рабочему нужна какая-то оснастка, обозначенная в техпроцессе, он идет в инструментальную кладовую и берет соответствующее приспособление, оставляя взамен металлический жетон (вроде гардеробного номерка), на котором вытиснен его рабочий номер. Этот жетон называется маркой. Оснастку берут — «на марку». Это своего рода «валюта» в обращении (между рабочим и инструментальной кладовой).

Пока я был обычным слесарем-сдельщиком, мне хватало пяти марок. С возвращением на ПКР в конце 1983 г., мне было выдано еще шесть, итого — 11. Дело в том, что некоторые из деталей, обрабатываемых на ПКР, требуют одновременно до 12 штампов (пакетов пробивного инструмента). А каждый штамп можно получить только за отдельную марку. Но надо сказать, что до самого последнего времени я пользовался этими марками не так уж часто...

Вообще, у всякого слесаря есть свой запас сверл, метчиков, разверток и прочего универсального инструмента в верстаке. Нет подходящего у тебя — можно взять у товарища. В кладовую обращаются в основном за кондукторами и т. п. необходимыми специально для выпуска данной детали приспособлениями. В конечном счете, главный источник приобретения того или иного инструмента в полное личное распоряжение — та же кладовая. А за десяток лет чего только можно у себя не накопить!

В первое время своей работы на ПКР Серега (1982 г.), пользовавшийся по инерции (после меня) доверием кладовщицы, сумел скопить свой подручный фонд, за который ни перед кем не надо отчитываться. В итоге, полки инструментальной кладовой несколько оскудели, зато в верстаке у Сереги всегда лежали расхожие (а иногда и не очень расхожие!) пакеты оснастки для ПКР. А иные, самые употребительные, — так даже из станка месяцами можно не вынимать.

Кое-что из этого запаса было переломано Серегой или его подручным (а еще раньше — и мною). Но, как правило, из 5-6 штампов, необходимых для какой-нибудь детали, в кладовой приходилось спрашивать от силы один-два. Этот потаенный склад оснастки достался мне от Сереги в наследство, когда я вновь приступил к работе на ПКР в декабре 1983 г. С таким «загашником» очень было удобно...

Зарубившийся или затупившийся пробивной инструмент надо периодически шлифовать. У меня давно сложились дружеские отношения с Володей З., который работает в инструментальной группе заточником, но владеет и плоской шли-

фовкой. И тот при необходимости, без задержки, шлифовал для меня матрицы и пуансоны (без всяких согласований со своим начальством). [В. З. — повременщик. — А. А.]. Так что ни у кого больше об этом голова не болела.

Кладовщица Фаина шуровать по своим полкам меня теперь уже, конечно, не пускала (Сергея в свое время подорвал кредит доверия). Так что пополнять по-тайной фонд я уже не мог. Зато пользовался тем, что в нем было. Я не спрашивал в кладовой того, чего там нет (а есть у меня!), или даже у меня нет (но нет и там; значит, надо искать выход из положения, без шума). Поэтому наш «склад» (о котором кладовщица, может, и подозревала) не вызывал нареканий, а, напротив, всех устраивал. Наиболее ходовые штампы (диаметры 3,6; 4,2; 6; 8; 10 мм) вынимались мною из станка только для того, чтобы их подточить. <...> Что существенно ускорило наладку.

<...> Были у такой практики и свои издержки. Еще Сергеем был заведен «порядок» (и я, каюсь, не стал от него отказываться) — не обращать внимания на то, для какой толщины материала предназначен инструмент. Один и тот же диаметр, скажем, 2,5 мм, должен иметь разный зазор вхождения пуансона в матрицу, в случае пробивки миллиметрового либо двухмиллиметрового листа, т.е. это — разные штампы! Разница не настолько велика, чтобы нельзя было брать любой или использовать тот, который уже загружен в станок. При пробивке «не своим» штампом будет «градок» побольше... Но это не беда: все равно шабрить! Да порой и не было выбора. Если вырубной пакет для толщины материала 1 мм сломац, то поневоле возьмешь похожий (скажем, для толщины 2 мм).

Так или иначе, в течение всего 1984 г. ни у мастера, ни у бригадира, ни у технолога, ни у кладовщицы не возникало проблем с ПКР. Наладчик-штамповщик (т.е. я) всегда находил выход из положения, если чего не хватало. И дело не стояло. Кое-что было «не по правилам», но дело шло. И, по общему мнению, весьма успешно. Пока вдруг в апреле 1985 г. не началась «заморочка» с поломкой инструмента, в которой надо было искать виноватых. Не могу сказать, что я такой уж аккуратист в работе на станке, но во всяком случае подкачать солидола в систему смазки не забуду... Не спарив пуансона с матрицей, я им не ударю... Если нужно заточить инструмент, схожу к Володе... «Аккуратистом» до фанатизма я был в период освоения ПКР в 1980-1981 гг.; координатную систему, с ее «генеральной линейкой», я, перед тем, как сдать станок Сергею, так отладил, что с тех пор ни разу регулировка не понадобилась!

Но тут вдруг большие пуансоны начали зарубаться так, словно не спарены с матрицей. А маленькие пуансоны — так и просто пошли ломаться (о диаметре 1,5 мм я уже говорил; но и другие тоже). Пока я мог хоть в какой-то степени упрекнуть в этих мелких авариях себя самого, я это терпел. Но в апреле ситуация вышла из-под моего контроля. И из потаенного фонда несколько ходовых штампов выведены из строя... И в кладовую, чтобы выручить свою марку, приходилось «для отчета» носить обломки пуансона.

Еще в начале этого года (если не раньше) я обратил внимание, что не все в порядке с механической частью станка. В частности, с фиксацией револьверной головки, и особенно ее нижнего диска. В револьверной головке — два диска, верхний и нижний, и в каждом — по 24 гнезда (под номерами). В каждую пару гнезд загружается свой комплект пробивного инструмента (в верхнем диске — пуансон, в нижнем — матрица). Понятно, что если диски револьверной головки плохо фиксируются в каком-либо из 24-х заданных положений, то пуансон при ударе попа-

даст не точно в отверстие матрицы, а может угодить по краю этого отверстия. А фиксация дисков зависит от двух металлических пальцев и 48 втулок, куда им (пальцам) положено заскакивать.

Пальцы истираются (но это не беда, можно их заменить!). Хуже то, что и втулки изнашиваются. Да к тому же — неравномерно: одним пришлось «потрудиться» больше, другим меньше. И вот возникает в этих фиксированных положениях люфт, да такой, что и наощупь, и на глаз видно.

Начиная с конца прошлого года приходилось время от времени вызывать цеховых ремонтников, которые заменяли то палец, то лопнувшую пружину (заталкивающую этот палец во втулки диска), а иногда... растачивали какую-нибудь из втулок (чтобы новый палец в нее влезал). Отчего, понятно, люфт в конечном счете не уменьшится, а скорее увеличится... Все эти лоскутные меры к добру не вели. В итоге сложилась ситуация, при которой в любую минуту можно ждать аварии.

(Эти неприятности можно устранить радикально, и известно — как, но станку уже два года как откладывают плановый ремонт.)

Еще слицевыми панелями (о которых шла речь выше) я отработал без чрезвычайных происшествий. А когда стал прорубать более толстые, двухмиллиметровые стальные листы, то один за другим «зарубил» два больших штампа (да не чуть-чуть, а так, что должно было бы полететь предохранительное кольцо ударного устройства станка, когда бы наши ремонтники его три года назад не заменили таким «жучком»), что прочнее самого по себе ударного устройства).

В общем состояние оборудования — заведомо «аварийное», опасное, нетерпимое. Я немедленно вызвал старшего мастера Н. Я., начальника инструментальной группы В. В., старшего механика Н. Ш. и предоставил им выяснять отношения между собой [Н. Ярош, В. Васильев, Н. Шахматов. — А. А.].

Старший мастер, увидев люфты revolverной головки, сказал, что дальше работать нельзя. Механик — что в паре гнезд ремонтники люфты уменьшат, а вообще работать можно (ему лишь бы все втулки не перебирать!). А нач. инструментальной группы, поколебавшись, на чей счет списать поломку инструмента, заявил, что пуансон зарубается потому, что плохо (мною!) спарен с матрицей, и вообще — якобы не отшлифован как положено.

Такие «консилиумы» у ПКР, по моему настоянию, собирались в течение апреля несколько раз.

Мой бригадир А. С. заметил, что, кстати, и пуансонодержатели в своих гнездах уже люфтят (это посерьезнее втулок!). Зам. нач. цеха Ю. М. [Ю. Малков. — А. А.], самолично занимавшийся освоением ПКР с программным управлением и лучше других разбирающийся в станках этого типа, заявил, что нужен срочный ремонт, и не профилактический, а капитальный! Но останавливать мой ПКР сейчас нельзя — цеховая программа затрептит!

Когда дело дошло до начальника цеха А. К. (он назначен в конце прошлого года, на смену А. Д.), тот безапелляционно заявил, что спаривать пуансоны с матрицами надо — через марлю, и тогда все будет в порядке. А. С. заметил: чепуха все это, ищут, как на рабочего свалить. Спаривать «через марлю» (чтобы пуансон фиксировался точно по центру матричного отверстия) — оно, конечно, неплохо... Но ведь не тогда же, когда сам диск revolverной головки вместе с матрицами гуляет, разболтанный.

С тех пор нач. цеха зачастил к моему станку, беспокоясь и за программу, и за оснастку. Он добивался от меня, как человека, «лучше всех знающего станок»,

чтобы я подсказал, что делать. Но раздражался от напоминаний о давно просроченном ремонте. В конце концов, на очередной его вопрос о причинах неполадок, я назвал уже не техническую, а организационную: что-де «много у нас в цехе бездельников», в том числе «отчасти, уж извините, и Вы сами!» Нач. цеха принял это замечание близко к сердцу. Перестал, было, «советоваться», но потом возобновил.

Был момент, когда зам. нач. цеха Ю. М. легкомысленно предложил мне самому перебрать станок (он-де ремонтникам не доверяет). Я ответил, что тоже доверия к ним не питаю, но для того, чтобы я этим занялся, нужно меня, как минимум на неделю, приказом перевести в ремонтники (и то — с моего согласия). Ю. М. тут же увял.

(А ремонтникам сейчас и без ПКР хватает работы. Вместо профилактического ремонта оборудования, они готовят очередную перепланировку участка: все токарные станки переносят на новое место, чтобы освободить пространство для «аквариума» — конторы участка посреди пролета, со стеклянными стенами. Борьба за цеховой дизайн!)

<...> В общем, к концу апреля административные страсти вокруг ПКР разгорелись почти как в августе 1982 г., в период моей «забастовки» и «штрейкбрехерства» Сереги. С той лишь разницей, что, будучи теперь сельщиком, я: служебных записок больше не пишу; от работы на не вполне исправном оборудовании не отказываюсь; и даже — демонстративно — стариваю пуансоны с матрицами «через марлю» (это в разболтанных-то дисках!).

Общий рисунок ситуации таков: выкручивайтесь как хотите, пренебрегая любимыми правилами эксплуатации оборудования; но если какое-нибудь ЧП, то за нарушение этих правил спросят с вас же... Пока можно рассчитывать на отсутствие ЧП, такая логика для рабочего приемлема.& Но тут уж и мой бригадир сказал: «Хватит, довыкручивались!».

Я предложил бригадиру А. С. следующие меры:

1) Вернуть в кладовую наш потаенный фонд инструмента. Он здорово выручал нас раньше, но теперь становится обузой. Раньше вся шлифовка пуансонов и матриц держалась на моих дружеских отношениях с Володей З. Но теперь, когда требуют, чтобы я чуть не через каждые сто ударов носил их шлифовать, это уже не проходит. Не говоря уж о том, что некоторые матрицы после периодической шлифовки настолько «понизились», а пуансоны — «укоротились», что мне их и с подкладками в станке не выставить.

Да и пользоваться вырубными пакетами, рассчитанными на одну толщину материала, для другой толщины, как мы делали до сих пор, становится все более рискованно. Того гляди, и в этом нас обвинят, лишь бы не возиться с люфтами револьверной головки.

Скрепя сердце, Толик согласился расстаться с нашим «загашником».

2) Станок, конечно, надо ремонтировать. Похоже, начало это все же осознано. Но без присмотра — ремонтники его совсем угробят. Как бы сделать так, чтобы меня к этому ремонту подключить, не в ущерб бригаде? «А освоение смежной специальности?» — заметил бригадир. — «Правильно, — сказал я. — Сереге был в свое время присвоен разряд штамповщика. А у меня, между прочим, этого разряда нет!». — «Вот и перевести тебя на 3 месяца в стажеры, с оплатой по среднему, я давно об этом думал», — сказал бригадир. — «Пожалуйста!».

(«Вот только кого же мне в учителя назначат, небось — тебя...» — усмехнулся я; а ведь и у него квалификации штамповщика нет!)

3) А пока суть да дело, раз пошла такая карусель, будем работать по правилам! Больше уже ничего не остается.

Пробивной инструмент — только согласно техпроцессу! Нет нужного в кладовой — ищите выход сами! Хотите, чтобы я взял тот, какой не положено по технологии — пишите на маршрутной карте «разрешение». Ни одного не отшлифованного пуансона из кладовой в работу не брать. Это вам ведь не сверло подточить... Есть на то инструментальная группа. Затупился пуансон — возвращаю в кладовую, хоть посреди партии. Давайте, поворачивайтесь, коли надо «аварийно!» Перспектива не из лучших. Работа «по правилам» чревата... Ею, кстати, можно вообще застопорить производство. Но иного выхода сейчас нет, согласился мой бригадир...

Ремарка: работа «по правилам» как форма забастовки.

Вообще говоря, работа «по правилам» — это одна из оригинальных, специфически «советских» форм рабочей забастовки. Ее целью обычно является — заставить администрацию, привыкшую переваливать ответственность за брак, поломки оборудования, невыполнение программы на рабочих, самой «пошевелиться», считаясь с конкретными требованиями исполнителей (будь то проведение необходимых оргтехмероприятий, улучшение условий труда, увеличение зарплаты и т.д.). <...>. (Май 2003).

...Так началась «новая жизнь». В инструментальной кладовой меня благодарили за пополнение их полок. Я благородно (хоть и в сердцах!) поставил шифр 03 («небрежность рабочего») на браковочной ведомости одного из поломанных, кажется, еще Серегой, пуансонов (пускай сделают начет, зато уж больше без акта ни одного сломанного со станка не сниму!).

Выручив из кладовой свои 11 марок, я затребовал по-новой то, что нужно для штамповки очередной детали. Чего не оказалось — заменил некондиционным, но — по указанию технолога. Взял пуансон размером 1,9 мм (согласно техпроцессу) и, спарив его через марлю, обнаружил на пятой детали, что он затупился. Отдал мастеру — давайте шлифуйте (раньше такой диаметр и сам шлифанул бы на точильном камне, но — не положено!).

Володе З., к которому мой пуансон попал теперь уже по официальным каналам, не повезло. «Иголочка» — тонкая, и сломалась у него под абразивом. Принесли замену («дубликат»), правда, уже не цельнометаллический, а сборный. (На эти 40 минут, чтобы не сидеть без дела, я подключился к слесарной работе в бригаде...).

Еще через пять деталей новый пуансон (спаренный опять же через марлю!) чуть зарубился. Мастер взвыл: может, сами отнесете на шлифовку? Да не мое это дело... Отдал пуансон в кладовую, спросил там: «Нет ли у вас запасного, пока этот подправляют? А то деталь — аварийная!». Увы, запасного нет. Ну, тогда обещайте шлифовку. Согласно «правилам», из кладовой переправили тому же Володе. Через полчаса он принес мне отшлифованный пуансон.

Еще пара сотен ударов, и снова надо шлифовать! Я чуть было не плюнул, сколько же можно простаивать... Но, к счастью, выдержал характер и снова отдал в инструментальную группу. «К счастью», потому что благополучно спаренный с матрицей, хорошо отшлифованный пуансон сломался на пятидесятом, примерно, ударе.

Я не стал вытаскивать обломок из заготовки, чтобы видно было: пуансон не успел зарубиться! Предупредив мастера, взял у А. С. слесарную работу, все ожидая, что у ПКР соберется «консилиум». Но что-то не спешат (стыдно им, что ли?). Производство застопорилось. Завтра, 4 мая — очередной субботник (в честь Победы). По-видимому, мой пресс на нем не вздрогнет. Разве что, предложат налаживать какое-нибудь другое срочное обозначение, т. е. «разрывать партию». Так иногда бывает в периоды штурмов. Затыкают маленькую дырку в производственной программе, но влезают в еще большую, стабильную дыру. Вот такова наша третья апрельская заморочка.

* * *

...И все-таки мы с «Бугром» (бригадиром) с надеждой смотрим в будущее. «Не бери в голову!» — говорит он мне. Да я и не беру: «Прорвемся»!

(Записано 2-3.05.1985)

(окончание следует)



Андрей Масевич
DE NATURA HUMANA...
Я ТОЖЕ ЗНАЛ КОНА

(окончание. Начало в №6/2014 и сл.)

Памяти Игоря Семеновича Кона

Часть VII. Политика и философия

Не подумайте, что хвалюсь, но ведь Кон был все-таки прав, статистика публикаций из нашей со Львом статьи действительно показывает отношения политики и сексологических исследований. Чем более жесток политический режим, чем меньше он смотрит на личность, тем, как мы видим, строже ограничения в сексуальном поведении, т.е. сексуальная цензура. Я думаю, число эротических образов в искусстве и публицистике есть в значительной мере индекс демократичности государства.

Боже мой, что я говорю! Счастье, что меня никто не будет читать, а если и будут, то не примут всерьёз, мало ли графоманов — но будь я серьёзным автором, то какую радость бы доставил националистам, государственным и клерикалам.

«Ага, — отреагировали бы они, — сами признаются, «щелкоперы, либералы проклятые!»

Вот извольте видеть, я скопировал текст из Интернета (автора не знаю):

Современные офисные шлюшонки слабоумно хихикают над женщиной, которой после интимной близости даже и с законным мужем хочется поплакать. А ведь на Руси невеста тоже плакала перед замужеством — оплакивала своё девичество! И в этой книге описаны чувства порядочной девушки, которая тоже оплакивает свою чистоту и целомудрие. Это было испокон веков, пока похабники из европейских университетских гадючников Фрейды, Маркузе, Райхи — сволочь мужского пола и далеко не юношеских лет — не растлили молодёжь гнусной сексуальной революции <!>. Превратить молодёжь в стадо молодых диких зверей — вот мечта нечисти всех времён и народов!

Но в наше время такая вот милая, невинная, целомудренная девушка, как девушка моей мечты не может встретиться не только в Америке, но и у нас. У нас, конечно, сексуальная революция началась позже и совпала с революцией политической — уничтожением ненавистного похабника СССР. Оплёвывание Сталина шло рука об руку с маленькими Верами и интеллигентками. Не зря мудрый Сталин запретил аборт, и смирение гнусной похоти было в те года государственной добродетелью. Наши девушки были целомудренны до брака и в браке были умеренны. Высшее же удовольствие находили в служении обществу, а не в наживе и сексе.

Не знаю, о какой книге здесь говорится. Автор высказывания, мне кажется, — мужчина, поскольку фигурирует «девушка моей мечты». Должно быть немолод,

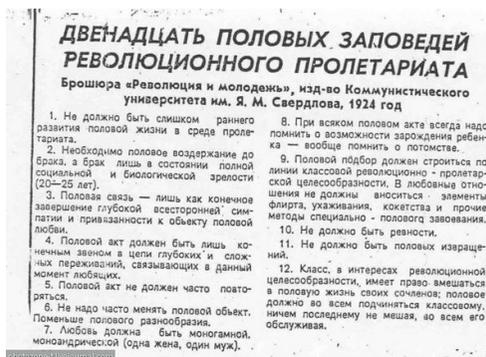
раз говорит о «наших девушках», которые «находили удовольствие в служении обществу». По его мнению, это имело место в отдаленном прошлом. Представления автора о западной философии двадцатого века весьма приблизительны — для него Фрейд, Райх и Маркузе не более чем «похабники» и «сволочь мужского пола» причем «далеко не юношеские лет».

В течение советских лет маятник норм сексуальности держали отведенным в одну сторону, но вдруг отпустили, и он качнулся в сторону противоположную. Кажется, теперь он, дойдя до крайней точки отклонения, пошел, как полагается маятнику, обратно.

Вот как пишет об эроте человек, к которому испытываю, не стану скрывать, сильную неприязнь. Это современный философ Александр Дугин. Имея определенного толка мировоззрение, он прославляет Сталина и пропагандирует войну. Так вот этот самый Дугин устанавливает параллель политическими и сексологическими представлениями.

В действительности, мы в данном случае имеем дело с идеологией "эротического материализма", который принимает низшие корпоральные формы сексуальности за вещь в себе, не требующую разъяснений, а затем редуцирует человеческую психологию до этого уровня. "Эротический материализм" как образ мышления идет рука об руку с либеральным мировоззрением. С такой же наглостью, как марксисты толковали высшие проявления духа и священное божественное Откровение как следствие материальных и экономических законов, сегодняшние либералы относят все, что не укладывается в рамки их скудоумного, банального видения, в разряд "половых отклонений, закомплексованности, извращения.

Я именно считаю себя либералом — из тех, кого философ клянет в своих произведениях и делает это, сами видите, темпераментно и с известной литературной сноровкой, хоть язык у него, пожалуй, местами... Ничего. Это как раз от темперамента. По мнению философа, он и его единовверцы обладают истиной, а скудоумные либералы и демократы.... Да что о них говорить... Ничтожества!



В конце двадцатых годов психоневролог Арон Залкинд, который сформулировал двенадцать половых заповедей революционного пролетариата, писал:

«Если то или иное половое проявление содействует обособлению человека от класса, уменьшает остроту его научной (т. е. материалистической) пытливости, лишает его части производственно-творческой работоспособности, необходимой классу, понижает его боевые качества, долой его.»

Допустима половая жизнь лишь в том ее содержании, которое способствует росту коллективистических чувств, классовой организованности, производственно-творческой, боевой активности, остроте познания (на этих принципах и построены половые нормы, данные автором в статье ниже) и т. д. и т. п.»

Этот текст сегодня читаешь с грустью и растерянностью. Автор отнюдь не был примитивным коммунистом. Он изучал Фрейда, Адлера.... В тридцать втором году его уволили с должности директора института, вскоре после чего он умер от инфаркта — в лагерь забрать не успели. Но он создал, все-таки, «теорию» полового социалистического воспитания, философские основы которой вполне соответствуют взглядам Дугина, только, пожалуй, там нет такой злобы и фанатизма.



А. Дугин

Вот еще цитата из Дугина (Это его статья о Сталине):

Философия социализма основана на основополагающем принципе — вторичности индивидуума относительно некоей органичной, целостной, коллективной реальности. Индивидуум — лишь отлитая деталь. Матрица — общество. Индивидуум — серийная штампованная продукция. (Выразительно! — А.М.) Причем в социалистической перспективе само общество не складывается из индивидуумов, но, будучи первичным, создает индивидуумы, учреждает их как свое продолжение, как нечто вторичное (Ох, до чего выразительно! — А.М.).

Буржуазная философия, напротив, ставит во главу угла индивидуума. И все коллективные формы считает продуктом агломерации атомарных индивидуальных особей. Отсюда идея контрактной, искусственной, договорной, вторичной основы любых объединений — нации, государства, класса и т.д.

Не признавая первичности индивидуума, социализм совершенно иначе видит саму природу террора. Террор — неотъемлемая прерогатива общественного целого по отношению к каждому отдельному его фрагменту, коль скоро этот фрагмент отказывается признавать себя инобытием це-

лого и заявляет (словом, делом или намеком) о своей самости. Иными словами, социалистический террор направлен сущностно против «автономного индивидуума», против особой философски-бытийственной установки человека (Вот это — да! — А.М.).

Ничего не скажешь, политические взгляды выражены предельно четко.

А вот и сексологические представления: И абстиненция, и страсть, и аскеза, и мораль, и любовное безумие одинаково считаются либералами аномалиями, чреватými опасными (для либералов) политическими последствиями. Страсть порождает героические типы, что может привести к диктатуре и фашизму. Жесткая мораль несет в себе угрозу теократии и поправки "прав человека". Абстиненция способствует интеллектуальной сублимации, что вредит беспроблемному функционированию "рынка". В мондиалистском [1] обществе секс однозначно вписан в общую систему потребления, он является одним из товаров, одной из услуг, одной из сфер социально-экономических отношений.

Я бы этим рассуждениям противопоставил Гуманистический Манифест 2000 года. Его одобрили и подписали самые умные люди современности, в их числе 10 нобелевских лауреатов.

«...главной ценностью, — говорится в этом Манифесте, — является достоинство и независимость личности. Гуманистическая этика направлена на максимизацию свободы выбора: это свобода слова и совести, право на личное мнение и независимое исследование, право каждой личности на собственный образ жизни, простирающееся настолько далеко, насколько это не наносит ущерба другим. Это легче всего достижимо в демократических обществах, в которых могут существовать множество различных систем ценностей. Таким образом, гуманисты одобряют разнообразие моральных взглядов и человеческих ценностей».

Гуманистический Манифест не говорит напрямую об эротике, но в нем есть пункты, касающиеся семьи, брака, равенства полов.

Дугин, напротив, утверждает, что «даже по логике отрицания враждебного нам, антилибералам, подхода к сфере эротики, можно сразу сформулировать основные пункты нашей эротики, нашей сексуальной идеологии». Вот эти пункты:

Эротика — это не нечто само собой разумеющееся, но великая загадка и глубокая тайна, разгадка которой — задача каждого.

Так и о жизни вообще можно сказать. Каждый разгадывает загадку жизни, и никто до конца ее не отгадал.

Но с другой стороны — живем же и не одну тысячу лет живем с неразгаданными до конца загадками жизни.

И какая же эротика тайна? Что в ней таинственного? Не тайна это, а секрет Полишинеля!

Есть, тем не менее, системы образования, которые, как могут, готовят нас к тому, чтобы по мере силенок хоть что-нибудь в жизни понять. Им Манифест уделяет много внимания. В частности там говорится: «...с раннего возраста должна быть доступна возможность соответствующего сексуального просвещения, касающегося вопросов ответственного сексуального поведения, планирования семьи и методов контрацепции».

Ещё пункт из декларации Дугина: *«Эротика, в первую очередь, интеллектуальна, во вторую — психологична, и лишь в третью — телесна»*. Если эротика в первую очередь интеллектуальна, то она и должна быть она уделом интеллектуалов, вроде Дугина. Так ведь нет, она во всей своей прелести дана всем и каждому, интеллектуал ты или не интеллектуал. Другое дело, что как-то (не знаю точно как!) и интеллект влияет на человеческую сексуальность, а заодно и на другие стороны человеческой природы.

Что у Дугина означает «психологична» «во вторую очередь» — вообще непонятно. Всякая человеческая коммуникация «психологична» пригом без всякой очереди.

Есть, впрочем, одна интересная вещь, если уже говорить о психологии. Позвольте-ка одну историю.

У нас на курсе был один такой... имя, впрочем, не имеет значения. Он, бедный, принадлежал к тому типу мужчин, которые никак не нравятся женщинам. А ему женщины очень нравились. Так нравились, что он мимо пройти не мог, к каждой норовил пристать, дотронуться... ну и прочее. Но бедняге даже дружбы не предлагали, только смеялись...

Однажды Эдик (так его назовем) отправился в туристский поход. С ним была одна парочка, ну скажем, сексуальные партнеры в фазе перцепции. Поставили они палатку и улеглись на ночь. Наш Эдик не вытерпел, дотронулся до руки девушки и... О радость — она не отдернула руку! Эдик стал ее гладить, сжимать и застонал. И тут раздался хохот. Оказывается, партнер дамы заметил действия Эдика, и ловко подsunул ему свою руку. Бедняга стал ее страстно сжимать и гладить, ничего не замечая. Пара не выдержала — громко расхохоталась. Эту историю, захлебываясь смехом, рассказал мне тот самый шутник. Эдика мне стало жаль.

Представим себе эксперимент. Испытуемого, подобранного специально психологами, знакомят (но только, чтобы он не понимал сути эксперимента!) с красивой женщиной. Она его всячески соблазняет, наконец, увлекает в комнату, где гаснет свет. В темноте красавицу подменяет лицо, не являющееся столь желаемым сексуальным объектом. Вот и интересно, сколько времени надо, чтобы испытуемый понял, что его обманывают. А может кто-то вообще не поймет, пока не зажгут света? То есть можно прямо увидеть, что ощущения от прикосновений, которых влюбленный так жаждет, определяются на самом деле образами его воспаленного эротикой сознания.

«Проследив жизнь обычного человека от колыбели до смертного одра, можно убедиться, что большая часть его сексуальной жизни протекает в воображении...» — пишет доктор Гуггенбюль-Крейг.

И еще одно. Ведь в фазе концепции, когда оба партнера уже поднадоели друг дружке, и особенно если у одного из них началась фаза аттракции в новом цикле, те же прикосновения, которые прежде сводили с ума, теперь могут раздражать...

Вот, пожалуй, в чем она, эта самая «психологичность», только уже не знаю в которую очередь.

Неестественным, — говорится у Канта в «Метафизике нравов», — следует назвать наслаждение, которое вызывается не действительным предметом, а лишь создаваемым в себе воображением об этом предмете.... Ну и профессор из Кёнигсберга! Интересно, он и в самом деле прожил все свои восемьдесят лет девственником?

А телесность... да, эротика телесна — причем телесность, эмоциональность и интеллектуальность в ней настолько перемешаны, что если попытаться построить этих трех дам в очередь, то, пожалуй, каждая начнет толкать другую, восклицая «а вы, женщина, пришли позже меня!».

Но сколько бы религиозные философы не пытались оторвать эрос от тела, вне тела он может существовать только некоторое время и, как вынутая из воды рыба, все равно погибнет.... Телесность — это *condicio sine qua non* эроса, а вот так называемой духовности всякой и интеллекта, как раз, может и не быть.

Да ведь только что я сам сказал, что многое из секса происходит в нашем сознании, и сам Кант говорит о «создаваемом в себе воображении».

И что с того? Я же говорю все перемешано...

Недавно посмотрел в Интернет интервью Кона, одно, видимо, из последних. «Нет в человеке ничего социального, — говорит он, — что не имело бы биологических корней. И нет ничего биологического, на что как-либо не влияет социальное».

Следующий пункт декларации противника либералов: Эротика не знает эгалитаризма, в ней не существует "равенства полов"; она основана на жесткой иерархии, в которой мужчина занимает главенствующее, а женщина — подчиненное положение.

Манифест на эту тему высказывается так: Недопустима половая дискриминация. Женщины имеют право на одинаковое с мужчинами отношение со стороны общества. Не может быть оправдана никакая дискриминация в выборе работы, образования или сферы культурной деятельности. Общество не должно лишать равных с другими прав гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов.

С манифестом безоговорочно соглашаюсь, хоть этот его пункт вообще-то не касается собственно эротики. А в сфере эротической женщина по-настоящему и субъект, и объект (пафоса, в сотый раз повторяю, не терплю, а то бы сказал и царица, и рабыня). А мы, мужики, в этой сфере, пожалуй, больше субъекты, чем объекты, причем, прости меня Господи, те ещё субъекты.... Когда у вас, например, случается эротическое переживание, сами знаете, уже не до иерархии ...

Эротика должна носить ритуальный и символический характер; особенно это относится к браку, являющемуся одним из сакральных таинств — это, как вы уже сами догадались, Дугин.

Что мне, старому атеисту, до сакральных таинств? Кому есть до них дело — ради Бога — венчайтесь в церквах... Мне же понятнее текст Манифеста:

Женщины должны иметь право самим распоряжаться собственным телом. Это предполагает свободу иметь или не иметь детей, право на добровольную контрацепцию и прерывание беременности.

Супружеские пары должны располагать достаточной информацией в области планирования семьи, иметь возможность прибегнуть к искусственному оплодотворению или получить биогенетическую консультацию.

Совершеннолетним людям допускается вступать в брак с теми, с кем они пожелают, независимо от расовой, этнической, религиозной, классовой, кастовой или национальной принадлежности партнера. Супружеские пары одного пола должны обладать теми же правами, что и гетеросексуальные пары.

Дугин: Эротика связана с сакральными силами и энергиями, а, следовательно, она принципиально стоит вне экономических и потребительских отношений; она не может быть формой "рыночного товара".

Связана эротика с сакральными силами или не связана, товаром она является и являлась. Причем товаром в основном дорогостоящим. Другое дело, как нам оценивать этот факт. Что-то давно я Щеглова не поминал — он-то категорически против проституции.



Мадам Ксавьера в различных видах, книжки ею написанные.

— Я никогда, — заявил он в какой-то своей публикации, — не встречал счастливых проституток, они всегда несчастны.

Одна из книг Ксавьера Холландер именно так и называется — «Счастливая проститутка». Мадам в подробностях описывает свою жизнь, кстати говоря, далеко не легкую и не сладостную — трудности, унижения — все в ней было. Но мадам Ксавьера, ей теперь около семидесяти, не считает свою профессию хуже какой-либо другой — ведь по ее мнению она принесла много пользы людям.

— Что же, — спросила она у женщины, заставшей мужа с проституткой, — лучше, чтобы супруг ваш завел любовницу, тратил бы на неё время, деньги, а потом бы, возможно, и совсем ушел от вас к ней?

Мадам свободно изъясняется на нескольких языках, она, судя по книге, тонкий психолог, а широта ее эмпирических познаний в области секса такова, что сам доктор Щеглов позавидует.

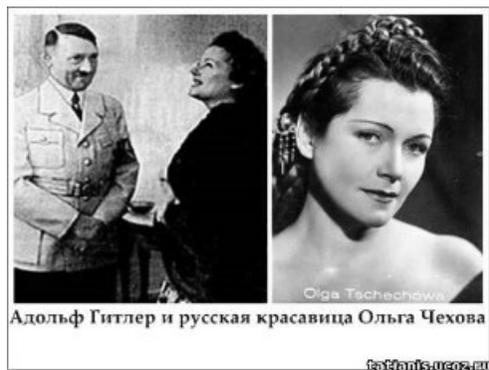
Я всегда думал, что проститутки лишены сексуальных радостей, а вот мадам Ксавьера пишет, что она получила за свою жизнь много удовольствия — причем и с мужчинами и с женщинами.

Не подумайте, что я пытаюсь пропагандировать проституцию. Это Владимир Жириновский собирался легализовать этот бизнес, когда станет президентом.

Но проституция — легально или нелегально — существовала при всех режимах. И неизвестно, как лучше. Легальная проституция — как открытая продажа алкоголя — поддается контролю и учету. Медицинские осмотры, разные ограничения — все в нашей власти. Правда, в этом случае она признается этически оправданной, что некоторые вполне приличные люди не считают допустимым.

А еще бывает и такое... Красивая женщина окончила, например, консерваторию. Некто, влиятельный в музыкальном мире предлагает ей аспирантуру по спе-

циальности в обмен на сексуальный контакт. Она соглашается, становится аспиранткой и обеспечивает свое будущее. Эта женщина использует свою сексуальную привлекательность как предмет обмена. Такое случается, не знаю, насколько часто, но несколько случаев мне известны.



Известны также случаи, когда генитальный контакт использовался для подкупа, в качестве подарка, благодарности, как приманка и прочее.

Да что там! А секс-шпионаж? В НКВД еще в тридцатые годы, при Сталине, которого г-н Дугин так высоко ценит, организовали специальную школу, где самых красивых женщин страны готовили в разведчицы. Государственная артистка рейха Ольга Чехова, правда, той школы не кончала, но стала любовницей самого Гитлера и, говорят, выведывала у него стратегические тайны для бывшего отечества.

Да, повторю, эротический контакт может быть товаром, и товаром весьма большой ценности. Так было и есть, и думаю, что будет, разве что г-н Дугин — не дай Господи! — станет президентом России и введет социалистический террор против тех, кто посмеет заявить о своей самости.

Счастливы проститутки или нет — не знаю. Я не был достаточно близко знаком ни с одной, а сколько, интересно, лично опросил доктор Щеглов?

Я вообще мало видел людей, считающих себя счастливыми. Позвольте уж заодно порассуждать о дамском счастье.

Священник Владимир Воробьев, которого я прежде уже цитировал, сказал в том же интервью (номер журнала я потерял, потому передаю смысл его слов):

Гедонизм, т.е. стремление к удовольствиям счастья не приносит, утверждает отец Владимир. Счастье в том, чтобы отдавать себя другим. Он, отец Владимир, знал многодетных матерей, которые трудились так, что у них не было времени даже присесть, и были счастливы. Это выглядит парадоксом. Нет! — уверяет нас священник, — мы же не удивляемся, когда художник или ученый добровольно обрекает себя на каторжный труд, день и ночь... А какой труд может быть достойней, чем ращение детей?

Позволю себе не согласиться с сопоставлениями отца Владимира. Успешное занятие науками или искусствами требует таланта. Талант — довольно редкое свойство личности. Потому те, кто достиг в этих делах каких-нибудь вершин, нам кажутся избранными, выигравшими в лотерею. И наше строгое общество балует

таких людей, дарит им цветочки, награждает премиями, дорого оплачивает их труд и прощает небольшие грешки.

Не знаю, такой ли уж каторжный у них труд, но он, порой, доставляет странное чувство удовольствия, напоминающего, кстати, сексуальное. Мне говорила одна певица, что когда ей удается чисто и выразительно спеть, она испытывает чувство, прямо похожее на оргазм.

Поэтому и нас, графоманов, так много. Художественная деятельность престижна. Не говорю уж об известных артистах, но даже способные любители вызывают в обществе интерес и, я сказал бы, зависть.

А домашний труд женщины в большой семье, хотя он куда как важен, ни у кого интереса не вызывает. Многодетным матерям скорее сочувствуют.

Тяжелый монотонный труд не очень-то хорошо влияет на женскую личность. Такие женщины быстро стареют, теряют привлекательность.... Да и на интеллектуальное развитие у них ведь тоже нет времени.

И все же. Это снова мой личный опыт. Мне, конечно, встречались женщины, жаловавшиеся на свою жизнь, тоскующие по поклонникам, театрам и прочему такому, что забрали у них домашние заботы и воспитание детей.

Но встречались и другие, которые осознанно предпочитали труд материнства всему остальному — вырастить хорошее живое существо — дело самое достойное и интересное. Поклонники? Ой, тьфу на них... кроме супруга не нужен никто! Что? Книжку читать некогда? Некогда расти духовно внутри себя? О чем вы говорите, смешно, ей богу!

Но встречал я ещё и таких женщин, которые совмещали и семейные труды, и профессиональную деятельность — и успевали приглом наставить рога мужу.

Повторю слова Манифеста:

Женщины должны иметь право самим распоряжаться собственным телом. Это предполагает свободу иметь или не иметь детей, право на добровольную контрацепцию и прерывание беременности.

Эротика — заявляет, наконец, Дугин, — может реализовываться и через аскетические формы, что является, в некоторых случаях, не только нормальным, но высшим путем эротической реализации.

Что такое аскетические формы эротики, я себе представить не могу. По моему так аскетизм и эротика друг друга исключают. Аскетизм — это всегда фанатизм, злость, насилие над собой, или просто болезненность и отсутствие желаний.... Однако же, коли считаете аскетизм «высшим путем эротической реализации» — прошу, реализуйтесь себе самым наивысшим образом. Других только не заставляйте.

Итак, если связывать политические режимы и сексуальное поведение, картина получается примерно такой. Четырём пятым всех индивидуумов, населяющих Землю, хочется сексуального комфорта и наслаждений. Либеральное общество предоставляет им это в максимально возможной степени. Упрощает процедуру развода, пропагандирует противозачаточные средства, открывает секшопы, легализует проституцию и однополые браки, организует сексуальное просвещение и еще много чего. Причем все это обосновывается наукой и философией.

Общество другого типа, его обычно обзывают тоталитарным, уверяет, что именно государство само по себе — высшая ценность. По всей вероятности, среди прочих важных дел оно должно заботиться о воспроизводстве населения, а значит

поддерживать семью, рождение и воспитание многих детей. Такое государство ограничивает, а то и вовсе запрещает эротические образы в искусстве, категорически не допускает сексуальные услуги и однополые браки, пропагандирует отказ от абортов, запрещает или ограничивает сексуальное просвещение и еще много чего. Причем все это обосновывается наукой и философией.

Если идеациональные ценности стремятся ограничить внебрачную сексуальную деятельность, то чувственные ценности направлены на ее освобождение и одобрение. На нынешней разрушительной стадии чувственные ценности стремятся утвердить потенциально неограниченную сексуальную свободу и рекомендуют наиболее полное, по возможности, удовлетворение половой любви во всех ее формах. Это существенное изменение психосоциальных факторов произошло в переоценке прежних норм современными американцами и европейцами. Половое влечение теперь объявлено самым главным мотивом человеческого поведения. От имени науки утверждается, что наиболее полное удовлетворение его является необходимым условием человеческого здоровья и счастья. Питирим Сорокин



Питирим Сорокин. 1889-1968



Депутат Е.Мизулина

Перечитав на ночь свой собственный текст, я увидел во сне депутата Елену Мизулину. «Знает, — усмехалась она, — кошка, чьё мясо съела! Из вашей писанины прямо следует, насколько оно гнилое, это общество либералов. Если пока не выходит уничтожить самую болезнь под названием либерализм, то вылечим хоть самый мерзкий её симптом — разврат!». Я проснулся в холодном поту.

«После октября сексуальная революция получила идеологическое признание (теория «стакана воды»), движение «долой стыд») и государственную поддержку в виде чрезвычайной свободы и легкости заключения браков и оформления разводов, легализации абортов. Это вызвало, как отмечает Питирим Сорокин, тяжелые последствия: «Через несколько лет орды диких бездомных детей стали реальной угрозой самому Советскому Союзу. Миллионы жизней, особенно жизней молодых девушек были загублены: резко возросло число разводов, абортов. Общий результат был настолько ужасен, что правительство было вынуждено пересмотреть свою поли-

тику. Разводы были затруднены, аборт запрещены. К настоящему времени цикл завершился. Сегодня Советская Россия имеет более многогранную, стабильную викторианскую семью и брачную жизнь, чем большинство западных стран». Речь идет о периоде 50-х годов».

Так цитирует профессор Яковец Питирима Сорокина. Но выдающийся социолог ничего не говорит о том, какими были эти меры. Теперь уже хорошо известно, какими. Повторять не хочу — ключевые слова: репрессии, лагеря, расстрелы — мы от этих слов устали. Понимаете, о чем речь, и понимаете, какой ценой получена более чем в западных странах «многогранная, стабильная викторианская семья и брачная жизнь». Рождаемость-то, может быть, и повышалась (впрочем, не знаю, статистики не видел), но гибель такого множества людей? Такого множества... Если скажете, повышенная рождаемость это компенсировала, знать вас не хочу.

Часть VIII. Третья реальность

Есть, говорят философы, две реальности. Одна реальность — всякое материальное, что вокруг нас. И еще реальность, которая внутри нашего сознания, туда много, правда, общество нам засунуло или, как говорят умные и образованные люди, ин-те-ри-о-ри-зи-ро-ва-ло.

В 1989 году Швейцарии в Европейском центре ядерных исследований, приглашенный британский программист Тим Бернерс Ли — потом, когда он прославится, королева Британии посвятит его в рыцари, и он станет сэром Тимоти — ломал голову, каким образом побыстрее получать информацию из филиалов и от партнеров центра. А результат работы оказался, какого не ожидал никто — придуманные им язык гипертекстовой разметки и протокол передачи гипертекста изменили... Да какое там изменили, — создали новый мир! Прямо не сэр Тимоти, а большой взрыв! Именно взрыв, а не сотворение. Создатель-демиург работает по плану: да будет свет, и стал свет, потом землю и воду, тоже по плану, чтобы человеку было, где жить, потом растения и животных, чтоб было что кушать, а потом уже и самих... А кто планировал, что из-за программ, придуманных каким-то умным инженером, появится новый мир? Мир — призрак, мир — отражение! Программки-то — ничего уж такого особенного...

Что, собственно говоря, отражает это отражение? То, что внутри нас, и то, что вокруг. В этом мире, как и в настоящем, сосуществуют симфонии классических композиторов и мужской стрипгиз (женский тоже, конечно), трактаты Аристотеля и Алла Пугачева, Лев Щеглов и Мао Цзэдун, объявления об всяких услугах и фильмы Феллини, произведения графоманов и... Да все, короче говоря, что есть в реальностях, в первой и во второй, все отразилось в том пространстве, которое и не пространство совсем, а тысячи километров проводов и горы каких-то деталей. Кстати, вы знаете, что в деталях компьютеров есть драгоценные металлы? Взять бы все компьютеры на свете, извлечь бы эти металлы и отдать их... Кому? Лучше всего мне, я бы мог до конца жизни, до которого, кстати, осталось уже не так долго, вполне прилично жить.

Размечтался. Да, так значит третья реальность — она материальнее, чем внутренняя реальность нашего сознания, но не так все-таки материальна, как окружающая нас материя...

Гомункулус у Гёте говорит:

*Das ist der Eigenschaft der Dinge:
Natürlichen genügt das Weltall kaum,
Was künstlich ist verlangt Geschloßnen Raum*

«Свойство есть у вещей: — так переводится этот стих — природному едва хватает Вселенной, а что искусственно, то хочет закрытого пространства». (Пастернак переводит: «Природному вселенная тесна, искусственному — замкнутость нужна».)

А созданный мир — хотя вообще-то искусственный, но при этом уж никак не замкнутый. Он бесконечен, все, что он в себе отражает человеческого, совокупное сознание людей, не поддается учету и измерению...

Ну а раз так, взглянем в это зеркало.

Напишем в поисковом окошке Google слово из четырех букв — секс. Сорок шесть миллионов ссылок. Не так уже и много, бывает больше. Откроем какую-нибудь.

"...Молодая жительница Польши решила во всеуслышание заявить о своей цели в жизни и даже создала ради этого специальную веб-страницу. А мечтает Аня Лисевска, которой 21 год, путешествовать по миру и... переспать с 100 000 мужчин".

«Я хочу мужчин из Польши, Европы, со всего мира, — заявляет Аня Лисевска. — Я люблю секс, веселье и мужчин. В Польше тема секса все еще является табу, и каждый, кто хочет претворить в жизнь свои сексуальные фантазии, считается инакомыслящим, шлюхой и психом».

Дама отвела на осуществление своей программы примерно 20 лет. Посчитаем, сколько мужчин у неё должно быть в день. Угу, получается, если на двадцать лет, то в день тринадцать и восемьдесят девять сотых. Не очень реально, но теоретически осуществимо. Допустим, по полчаса на каждого — примерно семь часов в день. Интересно, какова производительность среднестатистической проститутки? Что ж, пожелаем Ане Лисевской успеха в достижении цели, наполнившей смыслом её жизнь.

Кстати о проститутках, вот и они в Интернете. На запрос «проститутки» четыре миллиона четыреста тысяч ссылок, а если запрос ограничить регионом, например «проститутки Санкт-Петербурга», то ссылок получается один миллион триста тысяч девятьсот. Надо сказать, их объявления унифицированы, прямо как по государственному стандарту: фото, контактный телефон, антропометрические данные, ну и расценки — час, два часа, ночь. Смотрите сами.



Если воспользоваться кнопкой «Подробнее», то получите меню, так сказать, или репертуар нег, которыми можно насладиться за указанную цену. Каждое

наслаждение отдельной цены не имеет, по-видимому, в оплаченное время можно получить любое или даже несколько, что-то вроде шведского стола.



<p>СЕКС</p> <ul style="list-style-type: none"> - Классический × Анальный × Оральный × Губной ласки × Ласки - Минет в презервативе - Минет без презерватива × Минет в рот × Сведение в рот × Губной минет - Склонение на грудь - Кукилингус × Раскрытие-примыкание × Пиллинг-игры - Семейным парам × ССЗ, мультимедиа для семейной пары × Игрушки <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</p> <ul style="list-style-type: none"> × Сюрприз × Анонимно - Стриптиз × Пиллинг × Занятие массаж × Глазками × Делать доминирование × Сладкая 	<p>МАССАЖ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Расслабляющий - Зрительский массаж × Зрительский массаж × Тайский × Сета-камури × Сета-камури × Сладкий × Ласковый × Массаж профессиональный
--	---

Жизнь не стоит на месте. Бурное развитие информационных технологий предоставляет новые возможности. Скайп, например, сравнительно недавнее изобретение. Его быстро приспособили для сексуальных развлечений. Взгляните:

Александр: Хочу, хочу, общения.

Маргарита Юрьевна: Потверди, что тебе 18+ и занимайся Виргом БЕСПЛАТНО ПРЯМО В ВК.

Макс Макс: Приветик, секси. ОН у меня с пирсингом... интересно? мой скайп p33ritbull.

Ирина Тагирова: Привет мальчики! я очень люблю секс и виртуальный в том числе! Обожаю ваши бурные фантазии, а также: анальные и оральные ласки, фистинг киски и попки, обожаю получать множественные оргазмы и играть с игрушками! Мой скайп annaintim.

Мелькают цифры: 14303 записи, 3541 запись и другие, но не меньше четырехзначных.

Появилась новая разновидность проститутки: проститутка виртуальная:

Обратите внимание на комментарии. Например, на этот: «...красивая, все при ней:), желанья угадывает наперед:), рвеня — хоть отбавляй, хотя, на мой взгляд, слегка спешит:).» Оценка знатока!

Цены у виртуальных проституткок лишь немногим ниже, чем у обычных. Триста рублей десять минут, получается 1800 за час. А если Светик будет развлекать вас в паре с мужчиной, то час вам обойдется 2200 рублей, такая же средняя цена у классической проститутки.

А известно вам, кто такие свингеры? Если нет, объясню, это супружеские или любовные пары, которые меняются партнерами. А где одна такая пара найдет другую? В Интернете конечно. Прощу:

Макс Громов: Молодая семейная пара ищет пару или М, из Казани или близ лежащих городов для совместного время проведения Обмен фото, вирт не интересны. Халявщиков и лиц моложе 23 просьба не беспокоить.

Максим Игнатъев: Покажу фото жены)) возможна встреча.

Intra Teodoriwska: Ознакомлюсь с парой МЖ, где муж — cuckold ("рогоносец") и жена — сексвайф (18-40 лет). Особенно интересны пары, где муж "рогоносец" подвергается унижениям со стороны жены. Хочу стать любовником для чужой жены, с которой вместе будем наставлять рога мужу в его присутствии. Питер, 26 лет.

Сергей Скворцов: Пара МЖ ищет БИ актива. Только Питер! Из других городов, виртуалам, моложе 30 лет, а также неспособных обеспечить местом для встреч — НЕ писать!!!

Семейная Пара: Привет!!! Мы молодая пара. Нас интересует мжм и мжмж.))) Добавляйтесь пообщаемся! Кому не ответим — без обид.

Феликс Радов: Питер... Вкусный и дорого пахнущий мужчина, 39 лет... ухожен, умен, спортивен, опытен, с хорошей фигурой и здоровьем... познакомлюсь с девушкой, парой или... возможны варианты.

Monty Sas: Ищу секс без обязательств, встречу с парой, 25 лет гетеро Москва, спортивного телосложения, фото скину в лс.

Катя Светлая: Казань!! Следующая ***Новогодняя*** Свинг Вечеринка 21 декабря!!! Набираются также 10 пар!! и 4 парня!! С парня по 4 тыс.! Предоплата с парней 100%!!! Жесткий отбор на парней!! Возраст 25-35!!! Пары (М+Ж) — 2000 р. Оплата при входе!!!

А вот просьба о консультации:

Золотой дождь - отзывы и рекомендации!		Открыть тему в окнах
# 78827908 Анонимус	15.01.13 16:47	
		Добрый день! Мы с мужем решили попробовать золотой дождь, но у нас совсем никакого опыта. Вообще стоит или нет? Кто пробовал? Какие впечатления? Как и где? Только в ванной я так понимаю, или есть какие то методики? И не будет ли нам после этого неприятно друг с другом... Вообще жду ответов от тех, кто пробовал
# 78827974 Анонимус	15.01.13 16:49	Ответ на сообщение 78827908
		Ну посмотрите порнушку на эту тему и вперед, из всего проблему создают.. в душе он присел, вы ногу на край ванны поставили и на него полипали, вот и все дела
# 78828028 <u>Евгения (Rebi)</u> С.В. Написать автору Фотопальбом	15.01.13 16:52	
		* к вышеописанному (☺) варианту следующее: присесть на край ванны с его пальцами внутри, и вот таким образом поцеловать ему ручку(☺)) Женщина, которая сумела вызвать к себе любовь, ненависть и зависть живёт жизнь не зря!

Что тут комментировать? Когда я делал классификацию по сексологии, мне попался термин «уринофилия», то есть состояние, когда кому-то, женщине ли мужчине, хочется помочиться на партнера, или чтоб партнер на него или на неё. Сегодня этому ученому слову появился синоним «золотой дождь».

Но там же, в Интернете есть и другие примеры.

Прочтите, например, диалог анонимного пользователя сайта «спросить священника» и известного уже вам иеромонаха Макария.

Пользователь: «...Все время сижу в Интернете, часто вижу фотографии обнаженных женщин, глаза мозолятся и потом трудно... По сто раз в день захожу на страницу девушки от которой любовно зависим, но она не хочет со мной общаться. Как это преодолеть?»

Иеромонах Макарий: *"Если лишить меня воздуха, через несколько минут я задохнусь и умру — и это не зависит от моего отношения к кислороду, от моих желаний и предпочтений, от направления моей воли.*

Если лишить меня сна, то через несколько суток я сойду с ума — и это не зависит от моего отношения к сну, от моих желаний и предпочтений, от направления моей воли.

Если лишить меня половой жизни, со мной ничего не будет. Ровно ничего. Доказательство тому — бессчетное число людей обоего пола, ведущих безбрачную и свободную от разврата жизнь на пяти континентах Земли. Все переживания, страдания, терзания и т.п., связанные с половой функцией, зависят полностью от моего собственного отношения к ним: от моих фантазий и рассуждений, от картинок и видеоклипов, от бреда и треп в соц-сетях — от моих желаний и предпочтений, от направления моей воли. — А моя воля свободна.

Отсюда и вывод: меня никто не снимет с крючка сексуальной зависимости, кроме меня самого. Я буду трепыхаться на нем до тех пор, пока не отдам свою волю Христу и в ответ на позыв помечтать, прочитать, поглазеть, написать и т.д. не скажу:

*— Да, Господи, меня туда тянет, потому что я слаб и болен, — но я **люблю Тебя и исполняю Твою волю.** И делать этого не буду.*

И я свободен" (выделено автором — А.М.).

Молодой человек, обратим внимание, не употребляет выражения: «девушка, в которую я влюблен», как сказал бы, скажем, я в его возрасте. Он говорит о «девушке, от которой любовно зависим». Позволю себе по-стариковски покачать головой: эта деталька показывает, что в мое время сексуальные отношения романтизировались все-таки чуть больше. Но, вообще-то, что с того? Романтизировались и романтизировались...

А иеромонах, несмотря на полную уверенность в своей правоте, неправ совершенно. Если человека, особенно молодого, лишить половой жизни, у него наступит сильный психический дискомфорт. Его эротические мысли и фантазии станут навязчивыми, последует невроз, а возможно и еще более тяжелые психические расстройства. Отсутствие чего-либо такого, что человеку нужно, неизбежно приведет к смерти или сумасшествию. И без того есть много возможностей испортить жизнь, причем без всякой зависимости от направления его воли.

Что касается людей, ведущих «безбрачную и свободную от разврата жизнь», так вот что говорит об этом священник и при этом профессиональный психолог Игорь Поляков.

Большинство святых, прославленных церковью, совершали духовный подвиг — стяжали добродетели и боролись со страстями. Одним из важнейших достижений считалась победа над блудной страстью, то есть над собственной сексуальностью. О духовном назидании подопечных ему монахов преподобный Иоанн Лествичник (7 век) писал: «...я назначал [им] проходить безмолвное житие, как врачество, противодействующее блуду и смраду плотской нечистоты, чтобы им жалким образом не превратиться

из разумных тварей в бессловесных животных» («Лествица», 8-18). Это образец типичного монашеского отношения к сексуальности.

Из многочисленных — если не бесчисленных — жизнеописаний христианских подвижников мы знаем, что они десятилетиями или всю жизнь боролись с сексуальными желаниями далеко не каждый борец одерживал победу.

Чаще всего была ничья, то есть на какое-то время «блудная страсть» переставала беспокоить, а потом все начиналось сначала, и так всю жизнь.

Этому же сюжету подчинена, если так можно сказать, сексуальная жизнь очень многих современных православных верующих. Становясь церковным православным верующим, человек набрасывается на собственную сексуальность в стремлении её уничтожить. Сексуальное желание на какое-то время удаётся подавить, а потом оно вспыхивает с новой силой. И так может продолжаться всю жизнь. На эту борьбу тратится гигантское количество психической энергии — ведь борьба ведется с самой природой.

И если человек озабочен борьбой с собственной сексуальностью, то ни в коем случае нельзя сказать, что он свободен от сексуальности. Наоборот, он полностью вовлечен в сексуальные переживания, поглощен собственной сексуальностью, при этом её ненавидит и страдает от невозможности избавиться от её власти. Говоря языком аналитической психологии, он прожигает собственную сексуальность в форме отрицания.

Это не сексолог пишет, не психотерапевт, а православный священник, прослуживший, он сам говорит, двадцать лет в церкви.

Видно, и среди священнослужителей разные есть мнения на этот счет. Вряд ли отец Игорь посоветует прихожанам заводить любовниц или еще что-нибудь такое. Но этот человек видит и понимает реальность, и сможет, думаю, лучше помочь своим прихожанам в их проблемах, чем, например, отец Макарий.

А вот с чем женщина обращается к священнику:

«Батюшка благословите! Расскажу свою историю, хоть как мне не тяжело.

Я замужем 15 лет, у нас с мужем четверо детей, старшему 12 младшенькой пол года, 6 лет как я пришла в веру православную, мы с мужем обвенчались 5 лет назад. Однажды в Почаеве примерно 3 года назад при разговоре с монахом узнала, что оральные ласки это страшный грех и его надо исповедовать, что я и сделала, по приезду домой рассказала про это мужу, он тяжело это принял, но со временем смирился с этим. Уже 3 года как у меня есть наставник Батюшка, от него я тоже узнала что это садомский грех и что нельзя уподобляться скоту, также он мне поведал, что сексом надо заниматься только в одной позе — это был для меня шок — оказывается, я грешила с мужем в различных позах, кроме того мы занимались рукоблудием друг у друга, в чём я сожалею. Но мне очень тяжело не делать мужу приятно — что мне делать, не знаю!

Недавно муж совертил меня, и по его просьбе я возбудила его орально (он очень сильно просил меня), после этого было ещё несколько раз оральных ласк. Но две недели назад на исповеди перед причастием Батюшка прямо спросил у меня, не занималась ли я этим грехом с мужем, я была в шоке, как он узнал об этом, и я опять раскаялась перед господом в этом содеян-

ном грехе. После этого я запретила мужу даже намекать мне на оральный секс, также не позволяю делать подобное мне. После этого муж поменялся, я его стала меньше интересовать, а мне стало страшно ложиться с ним, вдруг он меня опять совершит, я не выдержу и опять прийму на душу грех. Помогите пожалуйста, как мне поступить, неужели оральный секс такой тяжкий садомский грех и осквернение уст. Спаси Господи!»

Борьба между желанием и запретом. Надо бы спросить у Щеглова — нет ли уже здесь признаков невроза? Я думаю, есть. У этой женщины страх совершить грех, а при этом, кажется мне, навязчивое желание сделать то, чего она так боится. Ответа священника я не нашел, хотя легко себе представить, каким мог бы быть.

Посмотрим теперь, какое место в третьей реальности занимает секс и все, что с ним связано.

Для этого будем набирать в окошке Google слова, связанные с сексом, и слова, не имеющие к нему отношения, а относящиеся к разным сферам: повседневный быт, литература, философия, политика, что-то из наук, я собрал 131 слово — почему именно столько, не знаю. Посмотрим, сколько ссылок получится на каждое слово.

Сделаем табличку. И выполним сортировку слов от наибольшего числа ссылок к наименьшему. Вот первые 16 слов.

Запрос (слово)	Число ссылок в Google 21 ноября 2013
информация	213 000 000
работа	155 000 000
здоровье	92 800 000
деньги	87 300 000
любовь	81 000 000
компьютер	61 600 000
семья	46 300 000
секс	44 000 000
авиабилеты	29 800 000
душа человека	29 700 000
Путин	21 700 000
Бог	19 700 000
театр	18 000 000
болезни	17 200 000
смерть	17 000 000
религия	16 000 000

Видите, на 21 ноября 2013 слово «секс» по числу ссылок на восьмом месте среди ста тридцати одного произвольно отобранного слова. Впереди — информация, работа, здоровье, деньги, любовь, компьютер, семья. Воздержимся, разумеется, от научных выводов. Число ссылок — неточный, но все же показатель степени интереса Интернет сообщества к вопросу, а интерес может быть и отрицательный. Я, например, интересуюсь фигурой Сталина. Но ни в коем случае это не значит, что я его люблю. Боже сохрани. Или иногда читаю религиозную литературу. Так я же при этом, слава Богу, совсем убежденный атеист. С интересом слушаю в Интернете лекции, скажем, профессора Осипова — есть такой известный теолог и религиозный публицист — но чем больше слушаю, тем убежденнее в своем атеизме укрепляюсь, хоть лектор он, надо сказать, блистательный. Так что необязательно все сорок четыре миллиона владельцев и авторов ресурсов, доступ к которым от-

крявается через запрос «секс», непременно сексоголики. Там ведь и священники есть, которые как иеромонах Макарий, специализируются на вопросах брака, там есть, наверное, и труды Щеглова, а уж Лев-то Моисеевич сексоголиком быть никак не может — он бы сразу себя сам вылечил.

И все же место слова в нашем списке, и его окружение кое о чем говорит. Восемнадцатое место занимает слово «эротика» — пятнадцать миллионов ссылок. Три слова перед ним «смерть», «религия», «государство». Три слова после — «интеллект», «труд», «анекдоты».

Следующее слово из этого семантического поля, верите ли, — «минет» — семь миллионов ссылок! Номер по списку тридцать четыре. Предшествуют «налоги», «билеты в театр», «симфонические концерты». А следом идут «рай» <sic!>, «рестораны Санкт-Петербурга», «продукты питания».

Сороковое место занимает «мастурбация» — четыре миллиона шестьсот сорок тысяч ссылок — впереди те же «продукты питания», «гурманы» и «православие». А на сорок втором «проститутки» четыре миллиона четыреста сорок тысяч ссылок. Между словами «мастурбация» и «проститутки» — «университеты России», а ближайšie слова после слова «проститутки» следующие: «Сталин», «Христос» и «водка». Опубликуй я этот текст, как раз и обвинят в неуважении к чувствам верующих, а если какой сталинист прочтет, так заклеймит такими проклятиями, каких вы в жизни не слышали. Одно спасение: религиозные люди и сталинисты давно бы бросили этот текст, при этом несколько раз плюнув.

Добавлю, однако, что перед словом «эксгибиционизм» (номер сто девятый, пятьсот пятьдесят семь тысяч ссылок) в моем списке стоит выражение «гражданское мужество» точно с таким же числом ссылок. Читали сказку Андерсена «О том, как бура перевесила вывески»?

Ну, так какой же сделаем ненаучный вывод?

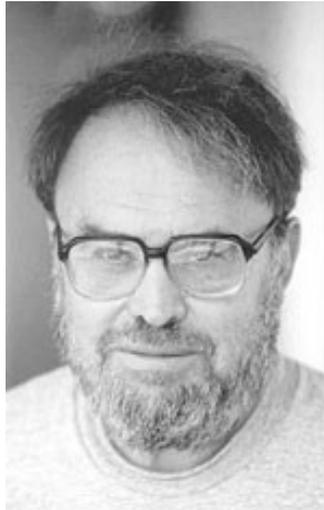
Когда я смотрел сайты ненаучность, объявления проституток и свингеров, мне показалось, что Интернет весь пронизан и пропитан сексом. Будь я депутатом Мизулиной или депутатом Милоновым, то поднял бы, как это у них принято, вой, и потребовал бы законодательно запретить... Да они и так все время требуют запретить. Что с ними поделаешь? Какие есть, такие есть.

Дело не в том. Стоило появиться возможности без надзора цензуры говорить, что хочешь — вот, пожалуйста, суммарное число ссылок из моей таблички на слова с сексуальной семантикой составляет примерно 80 миллионов. Прилично. Но если разобраться — не так уж много. Слово «информация» одно имеет 200 миллионов ссылок. И все-таки немало. Потом, объявления ведь не только в Интернете. «Познакомлюсь с мужчиной», «жена на час», «несерьезные знакомства» на каждом шагу на стенках, на столбах, видел даже на асфальте. Секс пронизывает и пропитывает нашу жизнь. Отравляет её при этом, добавит, вероятно, кто-нибудь из церковных людей. Может быть, некоторая интоксикация и имеет место. Но реальность такова.

Часть IX. Логика (слабая попытка)

Один советский эмигрант в США по имени Владимир Лефевр решил описать этические системы и отношения людей посредством булевой алгебры. Взял, то, что хорошо, обозначил единицей, а что дурно, — то нуликом. Применил логические операции, ну эти, знаете — конъюнкцию, дизъюнкцию, отрицание. Иссле-

давал всякие положения из жизни, описал их своими формулами — получилась книжка, называется «Алгебра совести».



Владимир Лефевр

Вот, например, что может из этого выйти:

Помните кино «Место встречи изменить нельзя»? Там есть эпизод — следователь подсовывает карманному вору кошелек. Вор-то этот кошелек действительно у какой-то женщины в трамвае выгащил, но заметил, что за ним наблюдают (очень был опытный и умелый профессионал!) и уронил на пол — все, с поличным его не возьмешь! Но следователь тоже не лыком шит — кошелек подобрал и незаметно засунул вору в карман, иначе говоря, фальсифицировал улику.

— Не брал, говоришь, кошелек? А это — что такое? Гражданка, ваш кошелек?

Если описать ситуацию методом Лефевра, получится так:

Ловить преступников, в том числе карманников — добро, т.е. единица.
Фальсифицировать улики — зло, т.е. ноль.

В данной ситуации присутствуют то и другое.

А вот какой между ними поставить логический оператор?

Если логическое умножение, т.е. конъюнкцию, то:

$1 * 0 = 0$ — ситуация представляет собой зло, этически неприемлема.

Если логическую сумму, т.е. дизъюнкцию, то:

$1 + 0 = 1$ — ситуация представляет собой добро, этически оправдана

А Лефевр вот что придумал. Похожее описание, но без логического оператора он раздал американцам и бывшим советским людям, эмигрантам из СССР и попросил поставить логический оператор. Достоверно большее число американцев выбрали в похожей ситуации конъюнкцию, а бывшие советские дизъюнкцию. Значит — большинство американцев считают недопустимым, чтобы делать добро дур-

ными средствами, а советские, хоть бывшие — наоборот, вполне допустимым. На этом Лефевр построил две этические системы — первую (как у американцев), и вторую — как у советских.

А можно ли логическими формулами описать сексуальное поведение? Нужна какая-нибудь дихотомия, бинарность — единица - ноль...

Разве что так — (А) допустимо (1) — недопустимо (0) (можно — нельзя, позволено — не позволено...)? Или так — (В) хочется (1) не хочется (0)? Или еще (D) практикуется (1) — не практикуется (0) Может быть, все три критерия? Пожалуй. Только в критерии А допустимо — кем? Обществом допустимо или самим субъектом? Вопрос. Пусть пока — субъектом.

Попробуем пример — модель поведения — внебрачный секс — можно представить несколькими формулами:

$A(0) \vee B(0) \rightarrow D(0)$ (недопустимо и не хочется) оператор не имеет значения, каким бы он не был — результат 0, то есть практика исключается

$A(1) \vee B(1) \rightarrow D(1)$ (допустимо и хочется) оператор не имеет значения, каким бы он не был — результат 1 или даже больше одного, то есть действие практикуется

$A(0) * B(1) = D(0)$ (недопустимо, но хочется) оператор — конъюнкция, т.е. секс не практикуется. Запрет сильнее желания — Случай Татьяны Лариной.

$A(0) + B(1) = D(1)$ (недопустимо, но хочется) оператор — дизъюнкция, секс практикуется. Желание сильнее запрета — Случай Анны Карениной.

$A(1) * B(0) = D(0)$ (допустимо, но не хочется) D(0) - конъюнкция, т.е. не практикуется. Логично — не хочу и не буду

$A(1) + B(0) = D(1)$ (допустимо, но не хочется) — дизъюнкция, т.е. практикуется. Абсурдно: не хочу, но буду. Смотри у Кона девять смыслов сексуальности. Например, надо соответствовать социальной среде, отработать деньги, отблагодарить за услугу.

В современной России внебрачный секс допускается. А что? Правовых норм на этот счет, кажется, нет. Этические? Пожалуй, да, современная этика порицает внебрачный секс. Но ведь в разных социальных группах это может быть по-разному.

Есть, например, хоть и не так уж много, строгие семьи, и в этих семьях бывают послушные дети.

Церковь утверждает, что секс вне брака — блуд, это у попов такое ругательное слово. Есть религиозные люди, которые следуют церковным запретам.

Но в целом не 19 век. Никому не придет в голову разрывать венок невесте или сыпать сечку на порог ее дома, если она не девственница [2].

Хотелось бы знать, сколько случаев формирования сексуального партнерства, в расчете на 100 тысяч населения, могут быть описаны каждой из формул?

У скольких людей аргумент функции В равен нулю? По утверждению доктора Адольфа Гуттенбуля — Крейга такие люди составляют примерно одну пятую человечества, т.е. 1.2 миллиарда (включая детей). Бог знает, откуда взял швейцарский психиатр такие цифры. Но даже если и так, у 4,8 миллиардов аргумент этой функции все-таки равен единице.

Подобным образом можно рассмотреть и любой другой феномен сексуальности, но, по-видимому, все это как-то поверхностно и непрофессионально. Я просто написал, что пришло в голову.

Часть X. Ненависть

*Лишь Ненависть была довольна. Надеюсь свое
влияние усилить и умножить число своих уродливых клиентов,
которые считают, что убийства
и осыпание пеплом сада жизни,
нужны, чтобы улучшить мир...*

Уинстон Хью Оден «Памяти Зигмунда Фрейда» (переводил я сам).

В романе «Нелицензированное программное обеспечение» у меня так описаны детские сексуальные переживания героя:

*«Кириллу было девять лет, когда некто Вовка Тонконогий, года на два его
моложе, рассказал ему, что «муж и жена, когда женятся, составляют
вместе письки».*

*«Вовка врет, — думал Кирилл, — Какой ненормальный будет делать та-
кое? И зачем? Это же противно...»*

С какого-то времени Кирилл стал, все же, внимательно смотреть на девочек своего возраста, и старше. Он не знал слов «эрос» и «танатос», но в фантазиях девятилетнего мальчика любовь виделась об руку со смертью. Каждый вечер перед сном ему являлась женщина в длинном белом платье, и они решали умереть вместе, обсуждали, как они это сделают. Эти мечтания никак не были связаны с Вовкиным враньем.

Однако при фантазиях о женщине в белом платье руки тянулись почему-то к органу, который от этих мыслей набухал и твердел. Картины становились яркими, как цветное кино. Ветер трепал ее белое платье, и, взявшись за руки, они с корабля бросались в море и превращались в морскую пену...

— Что ты делаешь, мерзкий мальчишка?!

В гневе и отвращении взрослых чувствовалась неподдельность. Поэтому этот гнев был страшнее, чем когда на него сердились, например, за плохую отметку в школе, там все же было что-то искусственно педагогическое».

Щеглов пишет в своей книжке, как родители одной школьницы выиграли судебный процесс против учителя, преподававшего сексологию. Этот учитель объяснял детям, что онанизм — физиологическое явление, а не болезнь, тем более не порок.

Обвинения истцов состояли в том, что детей учат разврату, а они, как христиане не могут с этим смириться. Лев Моисеевич выступил на процессе экспертом и поддержал учителя — мол, то, что он сказал детям, вполне соответствует точке зрения науки и не противоречит никакой морали.

В суде, однако, христиане-родители одержали победу. Сексуальное просвещение обошлось учителю в значительную сумму, которую он должен был выплатить добрым христианам за ущерб, нанесенный их морали и религиозному чувству.

Не буду больше говорить о родителях этой ученицы. Они люди настолько убежденные, что когда дочь невиннейшим образом рассказала о злосчастном уроке, мать залепила девочке пощечину.

Как-то в Германии я встретился с одним очень приятным мне человеком, по имени Клаус из Государственной библиотеки в Берлине. Моя приятельница Ирис с ужасом рассказала нам, что во Франкфурте-на-Майне убили четырех русских проституток. Они сняли какое-то жилье, чтобы принимать клиентов. Там их и убили, причем жестоко, сначала долго мучили... Разыскать убийц полиция так и не смогла.

— Так им и надо, — произнес обычно корректный и доброжелательный Клаус. — Проститутки — не люди. **От них столько...**



На средневековой латыни сладострастие именовалось «Lixigia» и изображалось в виде существа, сидящего верхом на дикой свинье, с венком из роз на голове и со щитом в руке, украшенным образом василиска. Но чаще всего символом сладострастия и похоти оказывался сам василиск. Он опасен, загадочен, непонятен, его нельзя отнести ни к какому известному виду животных.

На мой взгляд, такое существо идеально подходит для образного изображения сексуальности — **рассказывает доктор Гуггенбуль-Крейг.** — Неприятие сексуальности и стремление одолеть василиска насчитывают вековую историю. Христианство положило начало травле этого зверя, по крайней мере, в пределах Европы. Борьба велась очень энергично. Одним из ее методов было включение сладострастия в число семи смертных грехов, а именно гордыня, зависть, гнев, уныние, скупость, алчность и сладострастие, похоть. Один из отцов церкви, Гуго Св. Виктор, поставил Lixigia на первое место в этом списке. Если человек умрет, не исповедовавшись в семи смертных грехах, он попадет в ад.

— ...**столько вреда, что они не заслуживают сострадания.**
После этих его слов я более не испытываю к нему симпатии.

«Во всех фактах, которые мы привели, христианских и дохристианских, мы имеем в зерне дела какое-то органическое, неодолимое, врожденное, свое собственное и не внушенное, отвращение к **совокуплению**, т.е. соединению **своего детородного органа с дополняющим его детородным органом другого пола.** — Это текст Василия Васильевича Розанова из его книги «Третий пол». — «Не хочу! Не хочу!» как крик **самой природы**, вот что лежит в основе всех этих, казалось бы столь **противоприродных религиозных явлений**». (выделено В.В. Розановым)



В.В. Розанов

Самая некрасивая женщина из всех, которых я встречал в жизни, однажды оглянулась на улице на красавицу в обтягивающих красных брючках.

— Я бы сказала — **sexu**, — отметила презрительно моя знакомая, — задница обтянута...

Вспоминаю, — Боже мой, как давно, в 1969 году! — я ехал в электричке из Адлера в Гагры. В вагон вошел пожилой абхазец с маленьким попугайчиком на плече.

— Га-а-адает попугайчик! — нараспев произнес он.

Стоило гадание двадцать пять копеек. За эту сумму попугайчик вытаскивал из коробки скрученную бумажку с прогнозом вашей будущей жизни. Я уже собрался испытать судьбу, но вдруг владелец вещей пиццы побагровел.

— Я тэбя в рот еб...л! — заревел он таким страшным голосом, что все пассажиры от неожиданности вздрогнули. — Морду размалэвала, да?! Дети тэбя пугаются! Уезжай отсюда! Здесь биладэй нэ надо!! Штаны надэла такие как голая совсэм!! Уезжай на...уй в Россию!!!

Это крещендо адресовано было молодой женщине в шортах и с макияжем. Ничего в ней особенного не было, обыкновенная отдыхающая. Но некоторые туалеты приезжавших на отдых дам вызвали бешеный гнев абхазцев и грузин.

В 2002 году три профессора — юрист Кузнецов, филолог Троицкий и биолог Прозоров написали гневное заключение в адрес работ Кона. Начинают они так:

Главным «научным тезисом», на который опирается И.С. Кон во всех своих сексологических сочинениях, является утверждение, что сексуальность дана человеку не только для того, чтобы рожать детей. Эту простую мысль, которая всем известна и с которой никто не спорит, И.С. Кон выражает не простым русским языком, а заумным псевдонаучным «новоязом»:

«Хотя образованность сама по себе не избавляет людей от предрассудков и предубеждений, при прочих равных условиях, она облегчает их преодоление. Однако важна не только общая, но и сексуальная образованность, включающая в себя понимание множественности функций и смыслов сексуального поведения. До тех пор, пока человек считает сексуальность только аспектом репродуктивного поведения, любая нерепродуктивная эротика будет казаться ему сомнительной, даже если он сам ее практикует. Сексуальное образование — необходимая когнитивная, познавательная предпосылка сексуальной терпимости» (1, И.С. Кон «Взгляд в будущее»).

Что же тут заумного? По-моему, все ясно и убедительно, разве что чуть многословно.

Перед этим профессора сообщают, что «И.С. Кон являлся официальным пропагандистом коммунистической партии и именно на этом поприще сделал себе «научное имя».

Да, действительно, жизнь Кона, как и других людей его поколения по большей части прошла при коммунистическом режиме. И он, правда, занимался марксистской философией.

В разговоре с одним своим коллегой, доцентом кафедры информатики и математики я упомянул Кона.

— Вы говорите об Игоре Коне? — встрепенулся он, — я в университете слушал его лекции. Он их читал... не помню, на каком факультете, не важно, на его лекции ходил весь университет... Аудитория была переполнена, я сидел на ступеньке.... И я запомнил, как он рассказывал о конформизме.... «Была, — он рассказывал, — предзащита моей кандидатской диссертации...»

— А какой диссертации? — спросил я, — у него ведь было две кандидатских — по истории и по философии...

— Да? Не знал... Не знаю, какой. «В этой диссертации, — рассказывал дальше Кон, — я ссылался на работы одного философа...»

— Не помните, что за философ?

— Не помню. Этого философа где-то одобрил Ленин, и Кон считал, что авторитета Ленина достаточно, чтобы использовать в работе какие-то идеи этого философа. «При обсуждении один из присутствующих обратил внимание, — рассказывал дальше Кон, — что об этом же философе товарищ Сталин отозвался отрицательно, и поэтому нельзя говорить о нем так, как написано у диссертанта... Работу надо переделывать... Я долго мучительно думал, поверьте мне, не о том думал, что моя защита под угрозой, а о том, как могло случиться, что суждения двух непререкаемых авторитетов вдруг оказались противоположными. ...Наконец, я нашел такое объяснение — Ленин рассматривал идеи этого философа в ситуации революционной борьбы, и тогда они были прогрессивными, а Сталин — в ситуации победившего социализма, на тот момент они стали неприемлемыми. Все стало сразу на свое место, и я за несколько дней переделал диссертацию». Кон прокомментировал, что его мышление в том случае было типично конформистским, он не мог допустить, какой-либо из авторитетов может ошибаться. Показал нам конформизм на себе самом.

Коммунисты старались придать неизменность тому мировоззрению, которое они навязывали людям, любые изменения в нем были им нежелательны. И пока Кон писал что-то более или менее марксистско-ленинское, у него все с властью было в порядке. Когда же он обратился к сексологии, тут началось, ну, может быть, не преследование, во всяком случае, неодобрение. И ведь вот, власти, которая не одобряла, уже нет, а неодобрение все остается...

Профессора связывают сексологические работы Кона с коммунистической пропагандой. Воля их, но это чепуха. Коммунизм был, как раз, репрессивным по отношению к сексуальности. Именно в этом вопросе у коммунистов, какой бы там атеизм они не проповедовали, была абсолютная общность взгляда с православной церковью. Сексуальную мораль они будто прямо брали из Евангелия.

Утверждают иногда, что коммунизм хотел уничтожить институт семьи. Такие попытки делались, я уж говорил, сразу после революции, но они очень скоро прекратились. А государственная идеология, напротив, всегда поддерживала «советскую семью», основанную «на любви, уважении и равноправии членов», «ячейку общества, играющую важную роль в воспитании строителей коммунизма», и предпочитала не вспоминать о теории «стакана воды» и о сексуальной революции двадцатых годов.

А вот эротические проявления всячески преследовались. Товарищ Сталин, как известно, не выносил эротики.

Суждение «у нас нет секса» не столько, по-видимому, проявление внутреннего ханжества высказавшей его женщины, сколько результат государственного воспитания.

По крайней мере, двое из ученых критиков Кона имеют отношение к религии, филолог что-то там занимался этой, как ее, катехизацией, а юрист брюзжал по поводу ограничений в преподавании религии.

В советское время "научность" часто отождествлялась с идеологической "правильностью" — писал Кон в книге «Восемьдесят лет одиночества». Именно так я вижу и критику этих профессоров.

Выводы профессоров категоричны:

«В целом, публичную деятельность И.С. Кона, по существу, можно считать активно ведущейся информационно-психологической войной, преступной деятельностью, направленной против детей и молодежи, против традиционных духовных ценностей России, против общественной морали и важнейших социальных институтов в российском обществе. По целеустремленности и фактическому значению публичную деятельность И.С. Кона следует оценивать как публичное распространение асоциальных экстремистских взглядов, представляющих опасность для российского общества и государства, провоцирующих социальную и религиозную вражду».

Да где у Кона экстремистские взгляды? А про религию у него вообще ничего нет.

Зато вот вам параллель. Из автобиографии Кона: *«Когда в 1969 г. диссертация Голода (выше несколько раз я цитировал работы С.И. Голода, это профессор социолог Петербургского университета), которую он писал вдвоедольше положенного срока, была представлена к защите, последовал грозный звонок из обкома: кто посмел писать о таких вещах?! Защиту пришлось отменить. Мы переделали автореферат, убрали цитаты из Коллонтай и назначили защиту в Москве, в Институте конкретных социальных исследований (ИКСИ) Академии Наук, где я в это время заведовал отделом, и где атмосфера была лучше, чем в Ленинградском университете. На сей раз диссертацию затребовали в ЦК комсомола; первый секретарь ЦК Е.М. Тяжелыников заявил, что работа Голода — "идеологическая диверсия против советской молодежи", и если защиту не отменяют, он будет жаловаться в ЦК партии».* Обратите внимание — фраза Тяжелыникова словно бы взята из заключения, составленного благочестивыми профессорами.

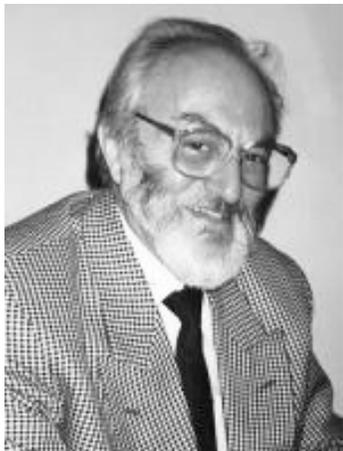


Сергей Голод, Валерий Голофаст и Игорь Кон, 1986.

«...Сказал иеромонах Василий: «Самый страшный грех для монаха — блуд. Другие грехи, по сравнению с ним, — это пыль, которую легко сдуть». Говорил он: «Я слышал от одного старца, жившего много лет на Афоне, что священник, который совершает блуд и при этом литургияет, еще до смерти находится в аду. Когда он возглашает: «Мир всем» и «Благословение Господне на вас», то Ангел алтаря говорит: «Благословение от Бога народу, а тебе — проклятие». Когда он причащается, то его душа становится черной, как сожженный уголь. Когда он кончает служить Литур-

гию, то диавол подходит к нему и целует в губы как своего друга». Архимандрит Рафаил (Карелин)

Зря религия и коммунизм враждовали! Их вражда напоминает мне вражду Сталина и Гитлера. Этим бы двум историческим персонажам сотрудничать... Мир бы могли завоевать. Не дай Бог, конечно! А то смотри, еще договорятся... Призраки-то того и другого до сих пор бродят не только по Европе.



Борис Камов

Когда скончался Игорь Семенович Кон, уже упомянутый мной раньше Борис Камов опубликовал в Интернете статью «Кем был «гений сексологии» Игорь Кон?». Статья началась так:

«Из жизни ушла одна из самых страшных фигур в истории России. Умер Игорь Кон» ...

«Примечательно и то обстоятельство, — говорится в этой же статье, — что гражданская панихида по случаю кончины Кона, «ученого с мировым именем», состоялась не в официальном учреждении, скажем, в той же Академии, а в траурном зале рядовой больницы, то есть в морге, куда могло втиснуться два-три десятка человек. Похороны были назначены (тоже случай небывалый!) на праздничный день, на 1 мая»

Похороны Кона, по мнению автора, организовали почти тайно, потому что организаторы боялись каких-то действий «образованного студенчества» у открытого гроба.

Мало того, известный исследователь творчества Аркадия Гайдара сравнивает Кона ни больше, ни меньше как с Трофимом Лысенко.

Между хамом, погубившим и исковеркавшим множество жизней, и интеллектуалом, мирно размышлявшим о сложнейшей области человеческого бытия, разница такая же, как между... ну не знаю... просто широчайшая пропасть. Пускай назовут мне хотя бы одного, кому бы этот «самый страшный» человек причинил малейший вред.

Особенно злобная нетерпимость и прямое издевательство над умершим прозвучали в речи православного священнослужителя, протоиерея Дмитрия Смирнова:

— Всё прогрессивное человечество понесло тяжёлую утрату, ибо перестало биться сердце великого проповедника гомосексуализма и педофилии в нашей стране, академика Академии пед., подчёркиваю, пед. наук Российской Федерации Игоря Семёновича Кона, — возвестил святой отец на следующий день после смерти Кона. — Он был первым провозвестником, можно сказать, денницей на небосклоне нашей необъятной родины, который принёс эту весть на нашу землю. Именно с него в нашей стране началась пропаганда Содомы и Гоморры.

...И вот сегодня, в этот пасхальный день, Господь освободил нас от того, чтобы быть согражданами этого человека. Поэтому, несмотря на то, что прогрессивное человечество и скорбит, но я думаю, все религиозные люди в нашей стране (и христиане, и мусульмане, и иудеи), восприняли эту весть с чувством глубокого, но ещё пока не полного удовлетворения.... Ибо Игорь Семёнович всего месяца не дожид до события, которое бы украсило всю его жизнь, — до первого гей-парада в городе Москве. В этом можно было бы ему посочувствовать. Но сейчас, когда он проходит страшные мытарства, я выражаю общую веру и уверенность в том, что ему сейчас не до этого.



Протоирей Д. Смирнов

Когда сообщили, что уничтожили террориста Бен Ладена, один православный священник благостно призвал чад церкви не радоваться человеческой смерти, кем бы ни был умерший. Мол, пусть его судит Бог.

Это относилось к человеку, убившему тысячи. Но, ладно. Ладно, убийца уничтожен... Пусть, если вам так угодно, дальше его судит Бог.

А что же отец-то Дмитрий так откровенно радуется смерти человека? От чего мытарства, которые по его просвещенному мнению должен пройти грешник Коц, вызывают у служителя христианской церкви чувство глубокого и даже еще и неполного удовлетворения?

В числе грехов, приписываемых Коцу, — этический релятивизм. Нельзя, мол, отрицать моральные константы. Есть такие вещи — действия, мысли, слова — которые непреложны в любом обществе, в любой культуре. Думаю, есть.

...И, скажем, Кант не случайно видел заслугу Руссо в том, что тот поставил этику выше всего на свете. В том смысле, что есть некоторые этические достоверности, которые не зависят от прогресса науки и знания. Но они возможны в силу устройства мира... Мераб Мамардашвили

Формула, по которой можно их определить, хорошо известна и проста: не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе...

Но какое, скажите мне, зло причинила женщина в шортах тому абхазцу с попугайчиком, что он заорал на нее благим матом, а вернее просто матом? Что сделали Клаусу замученные бандитами русские проститутки такого, что, по его мнению, их жизнь даже не должен защищать закон? Что за дело моей некрасивой знакомой до попки, обтянутой красными брючками? Или чего бурчал про ту хорошенькую из библиотеки мой приятель Дмитрий? Тоже, Маринетти нашелся...

Почему так фанатична ненависть трех профессоров? Почему, наконец, столь злой и язвительной была речь отца Дмитрия?

Почему, хочется понять, столько людей испытывают к сексуальности такое отвращение (правда, сомневаюсь, вполне ли искренне), и такое презрение, что готовы скорее простить убийство или воровство, чем ее проявления, особенно те, что

им по каким-то причинам кажутся «ненормальными». Ведь их не подвести под формулу «не делай другому, чего не желаешь себе»... А у мусульман отец может убить свою дочь, если она вступила во внебрачную связь, и такого отца уголовно не преследуют! Называется «убийство чести». Это покруче Дугина будет!

Ведь даже в уголовном мире самыми презируемыми считаются те, кто отбывает срок за сексуальные преступления...

Что такое противостественное употребление своих половых свойств (стало быть, злоупотребление ими) есть нарушение долга перед самим собой, и притом в высшей степени противоречащее нравственности, тотчас приходит на ум каждому, задумавшемуся над этим, причем мысль эта вызывает отвращение до такой степени, что считается безнравственным даже называть подобный порок его именем, — чего не бывает, когда речь идет о пороке самоубийства; показывать людям этот порок со всеми его ужасами (в некотором *species facti*) можно по крайней мере без всякого смущения — как если бы человек вообще стыдился быть способным на поведение, низводящее его до степени скота, так что даже допустимое (разумеется, само по себе чисто животное) общение между мужчиной и женщиной в браке обычно требует в цивилизованном обществе много тонкости для того, чтобы завуалировать его, когда приходится все же говорить о нем, — сурово вещает Иммануил Кант.

«О, злая мысль! откуда вторглась ты, чтобы покрыть землю коварством?» Иисус Сирахов (37, 3)

Да, Библия... Библейская история начинается именно с пробуждения сексуальности. И пробудил ее в человеке Дьявол. «В форме змеи», как сказал бы поэт Ляпис-Трубецкой из романа «Двенадцать стульев». И не добро, и не зло познала съевшая яблоко парочка — для познания добра им надо было бы съест этих яблок килограммов десять-двенадцать, для познания зла — пожалуй, поменьше, примерно, килограммов семь — а познала она сексуальную мотивацию — я правильно употребляю термин, Игорь Семенович? И вполне хватило по яблоку на нос. Помните, как у Пушкина в «Гавриилиаде» сам Дьявол излагает эту историю:

*Два яблока, вися на ветке дивной
(Счастливый знак, любви символ призывный),
Открыли ей неясную мечту,
Проснулося неясное желанье;
Она свою познала красоту,
И негу чувств, и сердца трепетанье,
И юного супруга наготу!*

И взбесился Господь, как тот абхазец с попугайчиком, и принял самые решительные меры. Ис тех пор... Как просто...

«...Люди не просто ослушались Бога, они, пусть опрометчиво, пусть не подумав, но избрали самый страшный путь, который только можно пред- ставить на этой земле — противления воле Божией. А что в этом мире может противиться воле Божией? Ничего: противление воле Божией невозможно! Противление воле Вседержителя, всемогущего Бога — это смерть. И вот на эту смерть обрекли себя родные нам люди, наши предки, прародители Адам и Ева» Архимандрит Тихон (Шевкунов).



Как просто все объясняет религия! Помните, простите за невольный каламбур, профессора Непомнящего?

Похороны Кона были скромными — это не означает, что тайными — потому, что об этом просил в завещании он сам. Он не хотел речей и поминок. Не хотел даже могилы. Просил, чтоб его прах развеяли...

«Печален Эрос — бог градостроитель, рыдает анархистка Афродита».
Оден. «Памяти Зигмунда Фрейда».

Часть XI. Пора, наверное, заканчивать...

Вот я о чем: биология человека, его жизненный цикл таковы, что он должен долго растить своих детей — самый минимум пятнадцать лет, а обычно много дольше. Чем сложнее наша жизнь (а она становится в любом смысле сложнее чуть не с каждым днем), тем больше требуется времени и сил, чтобы вырастить существо, способное играть в ней какую-то роль.

Можно сказать, труднее этого ничего нет — еще и потому что чего бы там ни написал Шекспир, мы с вами не просто актеры, которым в соответствии с нашими талантами и сценическим опытом поручают роли, мы сами еще хотим именно ту роль, а не эту, а таланты свои склонны преувеличивать.... Нет, в этом направлении теперь рассуждать не буду, и без того в тексте уже дошло до девяноста страниц, а один из моих будущих читателей предупредил, что если до ста дойдет, он читать не будет. У меня читателей не так много, чтобы позволить себе не учитывать их предупреждения.

Сделаю предположение, что в человеческом подсознании имеется какой-то механизм, внушающий враждебность явлениям, которые противоречат тому, что Шопенгауэр называет «мыслью рода».

Этот механизм — его, как утверждает Маркузе, общество встретило в наше сознание — вызывает острую отрицательную реакцию на известные проявления сексуальности, так же как заложенная в нас программа продолжения рода, наоборот, вызывает страстные сексуальные желания. Семья, желательно...

Мишель Фуко исторически рассматривает этот механизм:

Похоже, — рассуждает он, — первые века нашей эры отмечены известным усилением темы строгости во всех отраслях моральной рефлексии, занятой проблемой сексуальной деятельности и сопровождающих ее наслаждений. Врачи, озабоченные последствиями такого рода практики,

настойчиво рекомендуют воздержание и решительно отдают предпочтение ответственности перед использованием удовольствий. Философы осуждают любые проявления внебрачной связи и предписывают супругам строгое соблюдение верности, без каких-либо исключений. И наконец, некоторая теоретическая дисквалификация очевидно затронула и любовь к мальчикам. Стоит ли рассматривать данную схему как проект будущей морали, — той, которую мы находим в христианстве, где половой акт как таковой считается злом и дозволен лишь в пределах супружеских отношений, а любовь к мальчикам осуждена как противоестественная? Можно ли предположить, что в греко-римском мире кто-то уже предчувствовал ту модель сексуальной строгости, которая позднее, в христианском обществе, получит законное основание и институциональную оснастку? Продолжая в том же духе, мы встанем перед необходимостью допустить, что горстка неких суровых философов, весьма далеких от окружавшего их и не отличавшегося излишней строгостью мира, составила начальный чертеж морали, которой через века суждено будет обрести куда более принудительный характер и самую широкую сферу применения.



М. Фуко. 1926-1984

...Семья, желательна многодетная, нужна — и нужна не каким-нибудь там социальным классам, даже не государству, а прямо человеческому роду — чтобы устойчиво обеспечить его воспроизводство. Эротика в небольшой дозе необходима для воспроизводства, но в большом количестве становится причиной промискуитета и проституции, и мешает полностью реализовать генеративную функцию брака.

Вспомню давно забытую мной медицину, и предложу вам представить себе некоторый физиологический процесс в организме. Для его нормального хода нужен определенный фермент. По каким-то причинам (ну, скажем, слишком сильная стимуляция выработки этого фермента) организм начинает продуцировать его с избытком, и избыток плохо влияет на его же, организма состояние. Это типичная патогенетическая схема болезней.

Избыток в организме общества фермента-катализатора продолжения рода, т.е. эротики, вызывает те самые явления, о которых уже сказал выше.

Источник жизни в этом мире в корне испорчен, он является источником рабства человека, — скорбит философ Николай Бердяев.

Когда в организме образуется нежелательный избыток чего-нибудь, то медики это обычно корректируют лекарством. Может быть надо, чтобы химики нашли или синтезировали какое-нибудь вещество, фармакологи и клиницисты провели под руководством профессора Л.М. Щеглова клинические испытания, а мы бы с вами по рецепту покупали бы в аптеках лекарство от любви?

R-pe: Remedia amoris DS По одной таблетке три раза в день...

Принимать это лекарство надо будет строго по предписаниям, а то, избави Бог, получится передозировка! Тогда вместо гиперсексуальности может развиться асексуальность, а для воспроизводства человечества это тоже плохо...

Можно и такое себе вообразить и даже написать фантастический роман.

Но замечали ли вы, что самые яркие, талантливые личности, как правило, не принадлежат к пятой части человечества, которая к эротике равнодушна? И примени вы к таким людям это ваше лекарственное средство, — оно должно называться антиафродизиак — то, возможно, что подавите вместе с эротикой художественные и интеллектуальные способности.

...на духовном пути часто встречается именно такая ошибка: чтобы освободиться от чуждого и наносного, человек ломает не только грех, но и себя, уничтожает данную ему от Бога неповторимость своей личности, то есть лицо своей души. Архимандрит Рафаил (Карелин)... Что скажете? Ловко я использовал слова сурового архимандрита!

Для творчества, извините, нужна энергия, а получают ее как раз из эротических желаний. Можете, если угодно, назвать меня доморощенным фрейдистом. Сексуальным маньяком уже называли.

Тогда обойдемся, может быть, без лекарств? Назначим вместо них диету. Я однажды переводил на международной научной конференции по диетологии... Из докладов я понял, что здоровое питание — это такое питание, из которого изъято все пикантное, привлекательное — тертые овощи, без соли, вот что надо потреблять! Не рекомендуется категорически острое, жареное, маринованное, даже фрукты чем безвкуснее, тем полезней. Сладкое тоже нехорошо. Об алкоголе и речи нет. Иначе говоря, стимулы, возбуждающие аппетит — вредны.

Значит, по аналогии. Избыток эротики в обществе потому возникает, что в нашей среде обитания слишком много стимулов, вызывающих нежелательные желания. Из-за этого семья рушатся, из-за этого... да говорил ведь уже, повторяюсь... из-за этого — что еще?... да вот, прочтите цитату:

И вот, если... мы подумаем о той важной роли, которую половая любовь во всех своих степенях и оттенках играет не только в пьесах и романах, но и в действительности, где она после любви к жизни является самой могучей и деятельной из всех пружин бытия, где она беспрерывно поглощает половину сил и мыслей молодого человечества, составляет почти конечную цель почти каждого человеческого стремления, оказывает вредное влияние на самые важные дела и события, ежечасно прерывает самые серьезные занятия, иногда ненадолго смущает самые великие умы, не стесняется непрошенной гостьей проникать со своим хламом в совещания государственных мужей и в исследования ученых, ловко забирается со своими записочками и локонами даже в министерские портфели и философские манускрипты, ежедневно поощряет на самые рискованные и дурные дела, разрушает самые дорогие и близкие отношения, разрывает самые прочные узы, требует себе в жертву то жизнь и здоровье, то богатство, общественное положение и счастье, отнимает совесть у честного, делает предаellem верного и в общем выступает как некий враждебный демон, который старается все перевернуть, запутать, ниспровергнуть, то невольно захочется нам воскликнуть: к чему весь этот шум? К чему вся суэта и волнения, все эти страхи и горести? Разве не о том лишь идет речь, чтобы всякий Иван нашел свою Марию? (Я не смею называть здесь вещи

своими именами, пусть же благосклонный читатель сам переведет эту фразу на аристофановский язык.) Снова Шопенгауэр, все та же «Метафизика половой любви».

Возможно, что эротика — источник творческой энергии и вдохновения. Но если даже и так, для обычной человеческой жизни — каждодневной работы, выращивания детей, ведения домашнего хозяйства — требуется терпеливость, а не вдохновение. А ну как каждый гражданин талантливым будет или даже гениальным? Кто ж тогда повседневными-то вещами займётся?

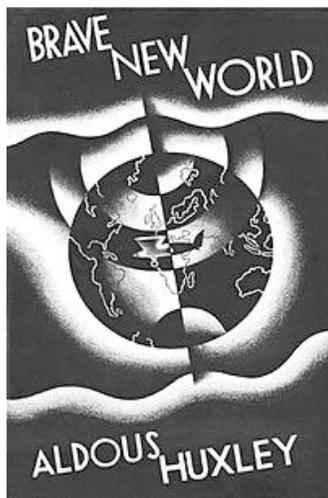
Постарайтесь, выходит, свести к минимуму, а лучше удалить совсем из нашей жизни все эротические стимулы, подвергнем жестокой нравственной цензуре искусство, будем штрафовать за короткие юбки и за обширные декольте. И никаких чтоб реклам колготок в метро!

Фигурально говоря, введём обязательную для всех диету из тертых сырых овощей и кислого молока. Уменьшим выработку эротического фермента в организме общества и тем поправим ему, обществу, здоровье. Так?

Было уже. К этому не раз прибегали, да и теперь, кажется, решили прибегнуть. Результат, как правило, бывает противоположным ожидаемому. Посидите недельку на сырой свёкле и морковке, как еще вам захочется шашлычка или копченой рыбки, или, может быть, пирожного!

Опыт отвержения всякого сладострастия, как греховного, был уже сделан человечеством, — частично соглашается со мной Бердяев, — этот опыт дорого стоил, он загрязнил источники любви, а не очистил их. Мы до сих пор отравлены этим ощущением греховности и нечистоты всякого сладострастия любви и грязним этим ощущением тех, кого любим.

Надо что-нибудь другое...



Видимо, проблема в противоречии между двумя функциями сексуальности — прокреативной (репродуктивной) и рекреативной. Рекреативная сексуальность, получая, получила в наши времена избыточную автономность, и давит теперь прокреативную, и это плохо сказывается на воспроизводстве человечества.

В романе Хаксли «Дивный новый мир» человечество нашло способ воспроизводиться без генитальных контактов. Детей растят в кондиционном центре, где в них закладывается принадлежность к какой-нибудь категории от «альфа» (высшая категория) до «иpsilon» (низшая категория). Правительство мира решает, сколько нужно произвести интеллектуалов — причем разного уровня — а сколько рабочей силы. Парадоксальным образом получается почти как у Александра Дугина, помните:

Индивидуум — серийная штампованная продукция. общество не складывается из индивидуумов, но, будучи первичным, создает индивидуумы, учреждает их как свое продолжение, как нечто вторичное.

При такой жизни исчезли понятия «семья» и «родители». Поскольку эротика больше никак не связана с рождением детей, сняты все ограничения в сексе, за исключением одного — контакты должны осуществляться в пределах категории. Если вы «бета», так на женщин «альфа» не смотрите. Никакого дискомфорта низшие категории не испытывают — они «кондиционированы» так, что счастливы именно тем, что они те, кто есть. А в остальном общество прекрасного нового мира поощряет эротические контакты, даже приучает к ним детей.

Читателю все это кажется жутким. Но живущие такой жизнью никакой жути ощущают и совершенно счастливы.

Фантастический роман может, конечно, что-то моделировать, что-то подчеркнуть, на что-то обратить наше внимание, или попробовать объяснить нам что-то.... Но роман — это всего лишь роман, а фантастика — это не более чем фантастика.

Вот! Где там моя мысль, которую я сначала прогонял, а затем все откладывал? Дай-ка разверну Сейчас, сейчас, мы все...

...Мы все сейчас, все приведем в систему, и я скажу вам, наконец, такое, чего не сказал даже Игорь Семенович Кон.

Ой! Здесь на самом деле нет ничего, только какие-то несвязанные одно с другим слова... Гениальная мысль испарилась... А может быть, ее и не было? Знаете глупую шутку: в конфетный фангик заворачивают пустышку, чтобы выглядело как конфета, и угощают кого-нибудь. Тот разворачивает, а там — ха-ха-ха! Ой, умора!

Так поступил со мной Дьявол (в Бога не верю, а вот Дьявол существует точно!). Он, гад, завернул, чтобы поиздеваться, пустышку в красивый фангик. Не дал он мне, как, боюсь, и вам, если попытаетесь, не даст и никому не даст хоть бы в идее построить совершенно-гармоническую систему, каковой, как хотелось бы, чтобы была жизнь человека и человечества...

А я думал, что у меня-то получится....

Все дело в том, что мир, — успокаивает меня Мераб Мамардашвили, — меняется с большей скоростью, чем мы реактивно занимаем свои точки в пространстве мира. Он всегда успевает принять такую конфигурацию, которая по сравнению с созданным нами образом уже...

Невежливо прерывать великого философа, но и слушать больше не могу...
Конеч. Пойду куда-нибудь выпить...



Эпилог

Когда я начинал писать этот текст, позвонил Щеглову, чтобы кое-что уточнить и сверить.

— Опять одолела графомания, — признался я.

Щеглов снисходительно засмеялся.

— Видишь ли, хочу писать о Коне...

— Что ты можешь о нем написать? У тебя с ним были две мимолетные встречи. То же самое, как если бы инженер Пупкин (тут он, чтобы быть поироничнее, задержал второе «п» — Пуп-п-пкин) написал о Горбачеве или об академике Гинзбурге.... Получится нелепость. Но дело, конечно, твое.

Что ж, смейся, Щеглов, над дьявольской дрокой!

Примечания

[1] Что означает прилагательное «мондиалистский», точно не знаю, возможно, от французского «monde» — свет, мир, общество и т.д.

[2] См. Гете «Фауст» «Ей наши парни разорвут венки, а мы насыплем сечки на порог...» говорит молодая горожанка о своей подруге, потерявшей девственность до замужества.



Ирина Чайковская

ОПЫТ "ДЛИННОЙ ЖИЗНИ"

МУСИКА КАГАНОВА, УЧЁНОГО, КОММУНИСТА, ЕВРЕЯ

Зачем нужна «длинная жизнь»? Не затем ли, чтобы хорошенько подумать, для чего вообще дана жизнь человеку? Лермонтов, умерший совсем молодым, вкладывает в сознание двадцатипятилетнего Григория Печорина, своего alter ego, сверлящее, но безответное: «Зачем я жил? Для какой цели я родился?» Задумался человек — ан, жизнь как раз и кончилась. У тех, чей век не короток, кто пересекает черту 90-летия, есть шанс не только задаться вопросом, но и — в меру возможностей — на него ответить, хотя бы на основе ощущения «удачи» или «неудачи» долгого жизненного плаванья. Все же, согласитесь, «подведение итогов» в старости каким-то образом может заменить «обретение смысла». Потому мемуары тех, кто прожил «длинную жизнь, могут быть весьма поучительны.

Правда, от этой конкретной книги ^[1] я долго открепивалась. Открепивалась еще не зная, что в ней около 700 страниц — просто автор был мне не известен, времени как всегда было мало, да и понимала, что написан сей мемуар не профессионалом-литератором, а ученым-физиком, специалистом в области теории твердых тел... Зачем мне это? Но друг автора стоял на своем: «Прочтите Мусика! Он замечательный. Он встречался со многими знаменитыми людьми своего поколения. Он долгие годы прожил в Москве, хотя родился в Харькове.

— В Харькове? — тут я насторожилась — оба мои умерших родителя были родом из Харькова. — Да, да, в Харькове, — видно, друг Мусика уловил что-то в моей интонации, — он родился в Харькове в 1921 году». Мои мама и папа родились годом позже, точнее в 1922-м и в начале 1923-го. Я решила, что должна прочитать книгу, написанную харьковчанином из поколения моих родителей. Должна прочитать, чтобы что-то понять и о них тоже. И — принялась за чтение.

Был этот процесс трудным и долгим, автор составил свою книгу из отдельных очерков, написанных в разное время; кое-что повторялось, кое-что описывалось чрезвычайно подробно, что-то казалось вообще ненужным. Чувствовалось, что автору, привыкшему писать научные статьи, неудобно на почве беллетристики. Некоторые вещи он привнес в нее из своего прошлого научного опыта. Так например, добиваясь точности своих воспоминаний, он возвращается к некоторым эпизодам по несколько раз, приводя комментарии, интерпретации и письма своих родственников и знакомых, уточняя первоначальную картину.

Так же многожды на протяжении текста он обращается к теме ценности и нужности своей жизни. Печоринский вопрос, «зачем я жил», звучит порой не напрямую, но достаточно ощутимо.

Но чтобы яснее услышать ответ, нужно было книгу одолеть, пройти через ее части, посвященные семье, войне, стране, своей национальности...

Итак, семья. Родоначальники по отцовской линии — из Лубен. Большая семейная фотография начала 20-го века. Большая в том смысле, что семья какие были

в то время в России, — с прадедами, дедами, отцами, тетями и малолетними правнуками-внуками. Мусик тогда еще не замыслился — его родители встретятся во время империалистической войны 1914 года: оба, Изя и Дина, она из Белоруссии, он с Украины, будут добираться до Харькова. Так в дороге и познакомятся. На фотографии нет «прапрадеда», о наличии которого мы узнаем не сразу. Прапрадед — семейная гордость — раввин Спектор (Исаак-Элханан Спектор), умерший в Ковно (Каунас) в 1896 году. Если бы Мусик был религиозным евреем, возможно, он сконцентрировал свое повествование о семье вокруг знаменитого ребе. Но Мусик атеист, о прадеде-раввине узнал уже в позднем возрасте. С гордостью рассказывает, что жена коллеги из Америки, иудаистка, услышав, какого он корня, попросила разрешения до него дотронуться...



Моисей Каганов

Да. Думаю о своих предках — увы, ничего о них не знаю. Недавно, после смерти мамы, сестра нашла у нее в столе старую семейную фотографию конца 19-го начала 20-го века, узнала на ней совсем юную бабушку, мамину маму, в центре же восседал какой-то необыкновенно величавый седобородый старец в кипе. Сестра подумала, что это наверняка раввин, но точно мы ничего не знаем. Папа уже в поздние годы начал составлять генеалогическое дерево рода Чайковских, выяснил, что был среди его предков даже цадик, но мы с сестрой никаких рассказов о нашей фамилии никогда от него не слышали. Не был этот вопрос популярен, раввины и цадик были так же нежелательны в биографии, как и попы, знание родословной и гордость ею нас, увы, миновали.

Безусловно потомки Мусика будут знать о предках больше, чем мы о своих, но ненамного.

Что до потомков, то автор просто богат: пятеро внуков, шестеро правнуков — возлюбил Господь эту семью, даровав ей плодovitость. Нет в книге горечи по поводу отсутствия сына — наследника фамилии, у Моисея Каганова две любимых дочери. Как кажется, не было и у наших родителей такой горечи. Но фамилия Кагановых — по линии Мусика — прерывается, как и фамилия Чайковских. Факт этот почему-то кажется мне грустным, жаль красивой фамилии.

Тема семьи естественно связана с еврейством. В 20-м веке евреи прошли через Холокост, в годы сталинщины — через «37 год», кампанию против «безродных космополитов», «дело врачей-вредителей». И Холокост, и две последние кампании, развязанные в послевоенные годы в нашей стране, непосредственно косну-

лись семьи Кагановых. Родственники его жены, киевляне, не успевшие покинуть город, погибли, как и прочие «жиды города Киева», — в Бабьем яру.

Могу сказать, что в нашей семье на оккупированной территории погибли почти все папины родственники. Живы остались лишь вернувшиеся с войны. Папина семья — родители с младшим братом — эвакуировались из Харькова в Среднюю Азию, во Фрунзе (ныне Бешкек). А папа остался в городе ждать призыва. До того он и еще двое его друзей-одноклассников (трое молодых харьковчан именовали себя «мушкетерами») пришли в военкомат — записываться на фронт добровольцами, но их отправили по домам — ждать повестки. Знаю, что в июне 1941-го кончивший школу восемнадцатилетний папа работал в горячем цеху Харьковского тракторного, там же и спал... Гитлеровцы стремительно приближались. Несдобровать бы ему, если бы не двоюродный брат, директор завода, сумевший вывезти нашего папу из Харькова вместе со своим эвакуирующимся предприятием. Родители и сестра Моисея Каганова тоже лишь чудом сумели уехать из Харькова — в последнюю минуту кто-то из друзей дал им билеты в отъезжающий состав...

Никогда не задумывалась, хорошо или плохо была организована эвакуация населения в годы войны. А ведь для евреев остаться на оккупированной территории, где действовали специальные «расовые» законы против них, означало гибель. Родное государство оставляло людей на произвол судьбы.

В период послевоенных кампаний пострадали сразу оба родителя Мусика — и не мудрено: его отец читал лекции по зарубежной филологии в Харьковском университете, конечно же, он был обвинен в «космополитизме» и в «преклонении перед Западом». Мать Мусика, детский врач, много слез пролила в то время: харьковчане отказывались приводить своих детей к «еврейке»-«вредителю».

И это чистая правда. Знаю от своих родителей, уволенных с работы в те же годы. Нашу маму, молодого врача-микробиолога, уволили по статье «несоответствие занимаемой должности», а за неделю до этого ее наградили почетной грамотой «за доблестный труд». Анекдотично звучит и то, что проделали с Исааком Кагановым, отцом Мусика. Уволив из Харьковского университета как космополита, его взяли в Библиотечный институт в целях повышения квалификации его работников. Смех и грех!!!

Мусик родился в 1921-м году, поэтому призвали его до войны, в 1939-м. Служил он в военно-морских войсках, под Туапсе, правда, на берегу. В эти годы начал заочную учебу на физмате Харьковского университета и как раз перед самой войной прибыл в родной город — формально для сдачи экзаменов, на самом деле, — чтобы повидаться с родителями и с любимой девушкой, Полиной. И вот тут-то — ровно через неделю — и подоспела война. И Мусик отправился «по месту дислокации», не успев ни побыть с родными, ни наглядеться на любимую. Больше они не встретились. В эвакуации в Кызыл-Орде Полина заболела сыпным тифом — и умерт.

Мне вспомнилось, что сыпным тифом на фронте болел и наш папа. Его отправили в прифронтовой госпиталь, где каким-то фантастическим образом его отыскала и вышла любимая тетка — со стороны матери — Аня. Она с мужем военврачом тоже находилась на фронте.

Сохранившиеся письма близких Мусика из Кызыл-Орды говорят о тяжелой жизни эвакуированных.

И опять я задумываюсь о своих. Ни разу не слышала от мамы, что во Фрунзе (их семья тоже оказалась в этом городе) было тяжело, голодно, одиноко. Наоборот — годы эвакуации вспоминала она добрым словом. Но объяснить это легко: мама

во Фрунзе училась — без экзаменов как медалистка поступила в эвакуированный туда Медицинский институт (помнится, Первый Медицинский из Москвы, но могу ошибиться) и была на седьмом небе от счастья, не замечая ни тягот быта, ни неприглядности климата.

Но вот война победоносно окончилась — и Моисей Каганов, фронтовик, вернулся в город, «знакомый до слез». На 1950-1980-е годы пришлось наиболее продуктивное его время — как в работе, так и в частной жизни. Он выучился, женился, появились дочери, его исследовательская работа была настолько успешной, что из харьковского УФТИ, вслед за своим учителем академиком Ильей Михайловичем Лифшицем, он перебрался в московский Институт физических проблем, к тому же получил половину профессорской ставки в МГУ.

Однако заданная вопросом, легко ли было «классическому» еврею, Моисею Исааковичу Каганову, встроиться в советскую систему, быть в ней успешным, получать от нее «бенефиты»?

На этот вопрос отвечает часть книги, озаглавленная Система.

Нет, Мусик не обольщался. Он видел фальшь этой Системы, имитацию общественной деятельности, преследование инакомыслия (а Юлий Даниэль и Лариса Богораз были его близкими друзьями), бесчеловечность и откровенный антисемитизм.

Но что греха таить? — Мусик к этой Системе приспособился. Он научился жить при ней, стараясь сохранить свой человеческий облик и свое человеческое достоинство. Во-первых, еще со времен войны был он коммунистом, что, в общем, — хочешь не хочешь — делало его опорой этой Системы.

Ну да, подлостей он не совершал, только один раз на партсобрании в Харькове проголосовал за исключение Льва Лифшица, коллеги и друга. Потом мучился из-за этого всю жизнь. Сам Лева его простил, сказал: «Ты же не самоубийца», но Мусик несколько раз возвращается в своей книге к этому тяжелому эпизоду, рассматривает его так и эдак. Все правильно, он не был самоубийцей, понимал, что Лева уже намечен в жертвы Молоху.

Так же, как в 1968-м году понимал, услышав о вводе советских войск в Чехословакию, что сделать с этим ничего не может. Среди его ближайших друзей был Гошка Якобсон, они общались, выпивали, но Мусик, как кажется, был далек от правозащитной деятельности Анатолия. Он ничего о ней не пишет, скорей всего, он и не знал, что Якобсон участвовал в выпуске «Хроники текущих событий», что он по чистой случайности не оказался на Красной площади вместе с семеркой смельчаков, выступивших «за свободу» как чехов и словаков, так и советских людей.

Все это говорю я не в укор.

Мои родители тоже были партийными. Мама вступила в партию, так как иначе ей, Сарре Михайловне, не дали бы заведовать лабораторией в Институте антибиотиков. Отец, Исаак Абрамович, был бессменным секретарем парторганизации, единственным штатским в своей военно-строительной конторе, — юриконсулт, которого «уважал» и к которому тянулся за бесплатным советом рабочий люд пролетарского Перова нашего детства. Да, родители были коммунистами. Они, как и Мусик, не могли не ощущать ложь и лицемерие Системы, но страшно боялись, когда мы с сестрой вслух начинали ее критиковать. Они — приспособились, и в сущности жили неплохо. Отец гордился тем, что государство по мере роста семьи два раза «улучшало» его жилплощадь, как ветеран войны он получал достойную пенсию, а до того у нас была мамина «профессорская» зарплата — 500

рублей, нет, мы не роскошествовали, но и не бедствовали. В Америку папа отказался ехать наотрез. В принципе и Мусик оказался в Америке «по стечению обстоятельств» — сюда уехала его младшая дочь. И Советский Союз, в котором прошла большая часть его жизни, он отнюдь не клянет. Да и почему бы его клясть?

В его жизни была любовь, были замечательная жена Эллочка и две дочери, он занимался любимой работой — теоретической физикой, имел учеников, преклонялся перед учителями — Ильей Лифшицем, Михаилом Леонтовичем, Юлием Харитоном, Львом Ландау. Работая в системе Академии наук, в крупном физическом институте, где велись ядерные исследования, он находился на самом вершине советской науки. объездил весь Союз, приплыл аж в Туруханск на Енисее на пароходе с участниками научной конференции на борту. До Америки побывал во множестве научных командировок в нескольких соцстранах, а затем и в Голландии. Был дружен с академической элитой, но тянулся и к искусству — близко сошелся с Булатом Окуджавой, с Давидом Самойловым, которого стал по-приятельски звать Дэйзик...

Ну да, были и сбои: например ректор МГУ Логунов тайно ликвидировал кафедру квантовой теории, в которой трудились Мусик и его учитель, Илья Михайлович Лифшиц. Но место им в университете все же нашлось, да и поведение Логунова, не сообщившего академику Лифшицу о своих планах, негласно осуждалось. И здесь мы снова выходим на проблему антисемитизма. Мусик, как и почти все советские евреи, не знал ни еврейской культуры, ни языка, был воспитан на русской литературе, его дочери, возвращенные православной няней, бывшей монашкой, приняли православие. Ничего еврейского в нем вроде бы не осталось, кроме имени, хотя были, были моменты...

Например, однажды во время веселой поездки в Голландию он встретил молодую пару — мужчина в кипе, женщина в платке — и замер, так как узнал в них «своих», то ли предков, то ли родственников. Так узнаются «свои» в портретах стариков и старушек у Рембрандта^[2]. Но повторю, по большому счету, в Мусике мало что осталось от еврея. И, если в выражении «он, между прочим, еврей» члены Мусикиной семьи вкладывали в это «между прочим» — в зависимости от характеристики человека — то похвалу, а то и порицание, то государство для всех евреев имело одну негативную интонацию.

Начиная с послевоенного времени евреев не брали на работу, они не могли учиться в престижных учебных заведениях. И хотя сам Мусик от «государственного антисемитизма» не слишком пострадал, он был свидетелем такого на примере своих друзей и дочек. Старшую, блестяще окончившую Харьковский университет, первоначально распределили в школу. Младшую при поступлении на физмат МГУ пытались завалить на «спецэкзамене», устроенном для поступающих евреев.

Мы с сестрой проходили через подобное при поступлении на филфак, вначале в МГУ (куда, как выяснилось позже, евреев не брали вообще), а потом в Московский педагогический, куда зачисляли по процентной норме. Разница состояла в том, что, будучи физиком и имея доступ «к телам» тех, кто руководил распределением и экзаменами, Мусик мог своим дочерям помочь. Нам с сестрой помочь было некому, год пришлось пропустить, и был он для нас, серебряных медалисток, психологически тяжел.

Но довольно о грустном. В книге Моисея Каганова, кстати говоря, много анекдотов, один из которых будет сейчас очень уместен:

Один заведующий кадрами спрашивает у другого:

— Ты евреев на работу берешь?

— Конечно.

— А где ты их берешь?

Большая часть семьи Кагановых живет ныне в Америке. Приехав в Бостон в 73 года, Мусик не перестал интересоваться людьми, заводить знакомства, задаваться бесконечными вопросами. Но и прошлое, то, что осталось в покинутой им стране, его тоже не отпускало. «Длинная жизнь», как кажется, — явилась плодом этих непростых раздумий. Так какой же все-таки итог у этой долгой жизни? Прочитав все эти 700 страниц, не будучи лично знакомой с Моисеем Кагановым, могу сказать: Всевышний благоволил этому человеку. Он избавил его от тяжких недугов и ранней смерти, он дал ему прекрасное и многочисленное потомство. Вышел Мусик из той редкой породы довоенных «мальчиков», к которой принадлежал и мой отец. Удивительная была порода — мужественные, красивые, честные, любили джаз, умели хорошо выпить, празднично и стильно одеться, крутили романы с девушками, отвечали за свое дело... Без громких фраз любили родину. Какая несправедливость, что именно это — золотое поколение — «повыбило железом».

Мусик Каганов и здесь оказался «счастливчиком» — целым и невредимым вернулся с войны. Однако следует кое-что добавить. На одной из последних страниц книги приводится история ребе Шими Бигалайзера. В страшный день 11 сентября 2001-го года, оказавшись внутри одной из башен-близнецов и осознав свою неминуемую гибель, он позвонил какому-то нью-йоркскому раввину и попросил срочно развести его с женой. Дело в том, что ребе боялся, что его тело не сумеют опознать — тогда, по еврейским законам, его вдова не сможет снова выйти замуж.

История при всей своей трагичности чуть-чуть смешная, как все у евреев. Вот эту черточку, эту малую песчинку следует добавить в конце моего эссе о «длинной жизни» Мусика Каганова. Все же свои дни доживает он один, без любимой Элочки, и в этом есть обидное несоответствие, диссонанс в такой, на первый взгляд, счастливо прожитой жизни.

[1] М.И. Каганов. Длинная жизнь. Издание автора. Waltham, MA, USA, 2013. (Главы из книги публиковались в журнале "Семь искусств": в №№ 2, 3, 4 за 2013 год — ред.)

[2] Интересно, что в одном из стихотворений Давида Шраера-Петрова есть мотив «обратного узнавания»: итальянский еврей, бредущий из флорентийской синагоги, останавливается перед поэтом и начинает вглядываться в его лицо, словно кого-то узнавая... Поэт предполагает, что он узнал в нем "мессию". См. мою статью «По направлению к женщине. О стихах Давида Шраера-Петрова». Кругозор, февраль 2010.



Семён Резник
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
АКАДЕМИК УХТОМСКИЙ
И ЕГО БИОГРАФ

Документальная сага с мемуарным уклоном

(продолжение. Предыдущие главы см. в №6/2014 и сл.)

Глава шестнадцатая. Школа Павлова: Сперанский

1.

Исключительное положение, какое занял Павлов по милости большевистской власти, не могло не сказаться на особенностях его быстро расширявшейся научной школы. Как писал мне В.Л. Меркулов, «в школе И.П. Павлова была разнообразная публика, до 1917 года были и честолюбцы, сметливые и озорные, вроде Глеба Васильев[ича] Анрепа ^[1], но не они делали погоду в школе. После революции И.П. Павлов занял привилегированное положение, ему прощали и разные заявления о жеребце Калигулы и т.п. К нему хлынуло много честолюбивых ученых, которые знали, что термин “павловский ученик” звучал солиднее, чем ученик Н.А. Миславского, В.Я. Данилевского и т.п. Анохин и Сперанский бесспорно яркие талантливые люди, но не ученые натуралисты, страстно влюбленные до самозабвения в Природу и любящие Ее и Людей. Оба они любили только себя и науку понимали как тропу к личной славе. Оба были падкими на лесть» ^[2].

Справедливо ли эта характеристика двух виднейших ученых? Нет ли в ней элемента завистливого брюзжания человека, чья жизнь сложилась куда менее удачно? Чтобы ответить на этот вопрос попытаемся поближе познакомиться с колоритной фигурой Алексея Дмитриевича Сперанского.

2.

Он родился 31 декабря 1887 г. (12 января 1888 г), в маленьком городке Уржуме Вятской губернии в семье чиновника судебного ведомства. В 1906 году окончил гимназию в Казани, а в 1911-м — медицинский факультет Казанского университета.

Когда началась Первая мировая война, Сперанский, как большинство дипломированных врачей его поколения, был призван в армию, работал хирургом в военных госпиталях. В 1918 году вернулся в Казанский университет, а два года спустя он уже профессор оперативной хирургии Иркутского университета. Его

первые научные публикации — по анатомии и хирургии — не остались незамеченными. Казалось бы, круг его научных интересов определился.

Но не таков был этот уже не начинающий провинциал. Он был глубоко неудовлетворен общим состоянием медицины — не мог смириться с тем, что каждая болезнь изучается и лечится отдельно, без понимания и даже постановки вопроса об общей причине патологических процессов. Он видел, что ни врачу, ни анатому, такие задачи не под силу — для этого нужно быть физиологом.

Имея за плечами профессорскую кафедру и больше десяти лет практической работы врача и хирурга, он решает начать карьеру с чистого листа. В 1923 году он появляется в Петрограде и приходит к И.П. Павлову в его «башню молчания».

Почему именно к Павлову?

В.Л. Меркулов в двух больших письмах рассказал о так называемом казанском кружке, из коего сложилась значительная часть послереволюционного поколения учеников Павлова. Кружок образовался еще до Первой мировой войны. Душой и заводилой его Меркулов считал Б.И. Лаврентьева, ставшего видным ученым-гистологом. В кружок входили А.Д. Сперанский, И.П. Разенков, К.М. Быков, В.Л. Карасик, С.В. Аничков, причем Разенков «выступал в Казанском цирке — любителем борцом и боксером, а Сперанский — глотал шпаги!!!» [3]

Группа тесно общалась с заведующим кафедрой фармакологии Казанского университета В.Н. Болдыревым, учеником И.П. Павлова. В 1919 году Болдырев навсегда уехал из России, но не терял контактов со своим учителем. В научно-медицинском центре в Battle Creek Sanitarium, штат Мичиган, для него была создана «Павловская лаборатория». В 1923 году Иван Петрович после долгого перерыва выехал за границу — для участия в Международном конгрессе физиологов в Эдинбурге, оттуда поехал и в США, где навестил своего ученика. Жене он писал: «Болдырев с целой своей семьей живет здесь вполне хорошо, имея специально для него построенную лабораторию. Житье здесь прямо чудное» [4].

Так что В.Н. Болдырев вполне мог быть связующим звеном между «казанцами» и Павловым.

«К.М. Быков в январе 1914 г. работал у И.П. Павлова в ИЭМ и выполнил две работы по пищеварению совместно с Л. Орбели!?!», — писал мне Меркулов. Частокол восклицательно-вопросительных знаков служил напоминанием о том, как далеко разошлись соавторы этой работы, оказавшиеся во главе двух смертельно враждебных кланов наподобие Монтекки и Капулетти.

В Первую мировую войну большинство казанцев, как и Сперанский, работало в военных госпиталях, но «в 1919 г. Быков [снова] появляется в Петербурге [Петрограде] и зачисляется к Павлову».

Если вспомнить, в каком бедственном положении находилась тогда лаборатория Ивана Петровича, этот поступок молодого ученого следует признать отважным.

Как только, после декрета совнаркома «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика И.П. Павлова и его сотрудников», работа в лаборатории стала налаживаться, Быков «убеждает Разенкова бросить профессию в Томске и ехать к Павлову. Тот прибыл в конце 1921 г. Сперанский так же приехал сюда, и к Павлову» [5].

Крупным везением казанцев стало то, что Борис Иннокентьевич Лаврентьев оказался другом детства и однокашником В.М. Скрябина (Молотова) и сумел «катализировать», как выразился В.Л. Меркулов, эту дружбу. Возобновив в 1920 году

научную работу в Казанском университете, Лаврентьев вскоре получает высокие посты в наркомздраве Татарии, в 1924 году, благодаря поддержке Молотова, отправляется в научную командировку в Голландию, затем становится заведующим отделом в Московском институте питания (директор — профессор биохимии Б.И. Збарский, знаменитый тем, что бальзамировал тело Ленина). Позднее, когда Молотов сменил А. Рыкова на посту председателя совнаркома, Лаврентьев «стал его постоянным советником». Эта фраза в письме В.Л. Меркулова подчеркнута жирной чертой, в конце три восклицательных знака ^[6].



Борис Иннокентьевич
Лаврентьев

Дружба Б.И. Лаврентьев с Молотовым осеяла и других «казанцев». Мало кто сумел этим так хорошо воспользоваться, как А.Д. Сперанский — человек невероятной работоспособности, одаренности и еще больших амбиций.

Когда он пришел к И.П. Павлову, тот принял его в свою лабораторию сверхштатно, то есть на волонтерских началах. То ли не нашлось свободной вакансии, то ли Павлов хотел сперва присмотреться к новичку, а впрочем, таков был обычный порядок. Но Сперанскому было уже 35 лет, он был обременен семьей, содержать ее в полуголодном Петрограде было нелегко. Он работает в Военно-медицинской академии, по совместительству — в травматологическом институте профессора А.Л. Поленова, реорганизованного в институт нейрохирургии, и при этом проводит много часов

бок о бок с Иваном Петровичем, впитывая его идеи и методы. Опытный хирург, Сперанский быстро освоил технику оперирования подопытных собак и скоро попал в число «особых любимцев» Павлова, как вспоминала Рита Райт-Ковалева. «С виду незаметный и спокойный, он таил в себе огромное честолюбие, неистощимую энергию, уверенность и яркий исследовательский талант» ^[7].

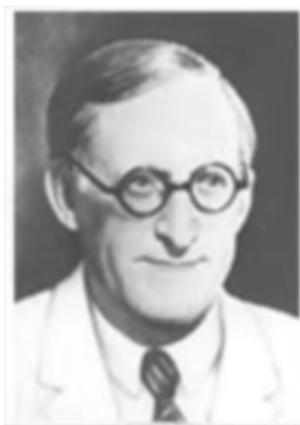
Благодаря поддержке Молотова, Сперанский в 1928 году получает научную командировку в Пастеровский институт. По возвращении становится заведующим отделом патологии ИЭМ, то есть административно отпочковывается от Павлова, но продолжает поддерживать с ним тесные контакты. Параллельно он «катализирует» дружбу с Львом Николаевичем Федоровым, которого знал по Иркутску.

Окончив перед Первой мировой войной медицинский факультет Томского университета, Федоров, как и казанцы, был призван в армию. В 1918 году вернулся в Томск, но вскоре снова был мобилизован — теперь уже в армию Колчака, где и служил до ее разгрома. Так что у него была сильно подмоченная биография: шутка сказать — колчаковец! Дабы смыть с себя это пятно или как-то его уравновесить, он вступил в партию большевиков и стал чуть ли ни единственным во всей Сибири партийцем с высшим медицинским образованием. Его тотчас делают военкомом Иркутского университета, он преподает на медицинском факультете и на факультете общественных наук. В 1923 году он получает командировку в Петроград и начинает работать у И.П. Павлова — почти одновременно со Сперанским. Однако ограничиваться только научной работой Федорову было либо не интересно, либо этого ему не позволяло партийное начальство. Его назначают замом зава Петроградского облздравотдела, затем ректором Института физкультуры имени П.Ф. Лесгафта.

В 1927 году директором ИЭМ избирают (тогда еще избирали!) крупного ученого-биохимика С.С. Салазкина, что никак не могло обрадовать партийное руководство. В 1917 году Салазкин был министром просвещения Временного правительства, вместе с другими министрами был арестован в Зимнем Дворце в ночь с 25 на 26 октября и препровожден в Петропавловскую крепость. После освобождения уехал в Крым, где стал ректором Крымского университета, созданного при Врангеле.



Сергей Сергеевич Салазкин



Л.Н. Фёдоров

Власти вынужденно смирились с избранием Салазкина директором ИЭМ, но приставили к нему надежного политкомиссара — в ранге заместителя директора. Им и стал Л.Н. Федоров.

В 1931 году Салазкин подал в отставку — формально по состоянию здоровья, фактически потому, что тяжело переживал политизацию ИЭМ. Противостоять этому процессу он не мог, а участвовать в нем не хотел. Директором Института стал Федоров, что еще больше укрепило положение его друга Сперанского.



Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) (Ленинград)

Сперанский заводит и успешно «катализирует» дружбу с большим кругом влиятельных лиц в Ленинграде и в Москве. Уверенный в себе, веселый, компанейский, любящий выпить (и крепко выпить!) в теплой компании, он близко сходитяся

с самыми разными и весьма видными людьми. Он часто бывает на кафедре Ухтомского, устанавливает короткие отношения с ним и с его учениками. В кругу его друзей — хирург Александр Васильевич Вишневский и его уже взрослый сын Шура, тоже хирург, Александр Александрович Вишневский; поэт Самуил Яковлевич Маршак, с которым он и породнится: дочь Маршака выйдет замуж за сына Сперанского; композитор и музыкальный руководитель Ленинградского детского театра Николай Михайлович Стрельников; знаменитый актер МХАТ Иван Михайлович Москвин; другой Иван Михайлович Москвин — крупный партийный деятель; бывший муж его жены Глеб Иванович Бокий — один из виднейших чекистов; юный зять Бокото Лев Эммануилович Разгон. Сперанский сближается с восходящей звездой биологической науки Трофимом Денисовичем Лысенко. И главное — с вернувшимся из-за границы в страну Советов Буревестником революции Алексеем Максимовичем Горьким.

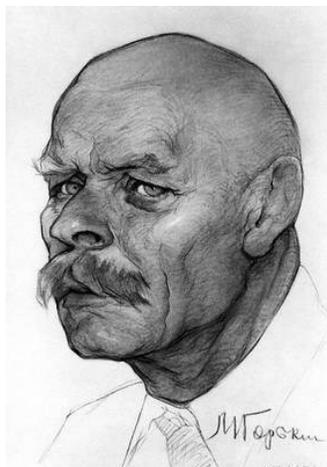


Самуил Яковлевич Маршак

3.

Приручение Буревестника для большевиков было еще более важной задачей, чем приручение академика Павлова, и справились они с ней куда более успешно. Горький отозвался на Октябрьский переворот «Несвоевременными мыслями», которые печатал в своей газете «Новая жизнь» до тех пор, пока Ильич ее не прихлопнул. Трудно указать на столь же яркие и беспощадные разоблачения кровавых бесчинств первого года революции. Разве что на «Окаянные дни» И.А. Бунина. Но Бунин опубликовал свою дневниковую книгу через много лет, в эмиграции, тогда как Горький печатал статьи в Петрограде, по горячим следам событий.

Горький был уверен, что не сегодня-завтра преступная ленинская авантюра провалится. Когда стало ясно, что большевики засели всерьез и надолго, он взял на себя трудную миссию: спасти хотя бы крохи гибнущей культуры. У него для этого было больше возможностей, чем у кого-либо другого, — благодаря громкому имени, репутации Буревестника революции и прямому доступу к ее вождю.



Максим Горький, 1921 г. Рис. Н.А. Андреева

«Для меня богатство страны, могущество народа измеряются количеством и качеством его интеллектуального потенциала. Революция имеет смысл только в том случае, если она способствует росту и развитию этого потенциала. С людьми науки надлежит обращаться с максимальной предупредительностью и уважением. Мы, напротив, спасая свою шкуру, рубим народу голову, уничтожаем его мозг», с возмущением писал он Ленину в 1919 году.

Ильич спасал власть своей клики, сметая всякое, даже только мысленное или воображаемое сопротивление «враждебных классов». Горький был нытиком, болтавшимся под ногами, но его нельзя было растоптать. Ильич ему отвечал:

«Неверно отождествлять интеллектуальные силы народа с “силами” буржуазной интеллигенции. <...> Интеллектуальные силы рабочего класса и крестьянства крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее приспешников — мелких интеллигентов, лакеев капитала, воображающих себя мозгом нации. На самом деле они не мозг, а говно» [8].

Но отказывать Буревестнику в ходатайствах об отдельных «интеллигентках», попадавших в чекистскую мясорубку, было не политично. Горькому иногда удавалось вырвать из пасти дракона одного-другого ученого, писателя, деятеля искусства, общественного деятеля. То были лишь отдельные светлые искры в кровавом мраке разнузданного террора. Расправы творились с такой быстротой, что ходатайства часто просто опаздывали или Ильич делал вид, что они опаздывали. Так, «опоздало» ходатайство Горького о Николае Гумилеве, расстрелянном Петроградской ЧК за участие в мифическом заговоре Таганцева. В конце концов, нытье заступника за интеллигентов Ильичу надоело, и он посоветовал Буревестнику революции убираться из революционной России подобру-поздорову.

Похоже, что последним толчком к отъезду Горького стала расправа над Помголом, в которой он оказался невольным соучастником.

Когда разразился невиданный голод в Поволжье — из-за страшной засухи, усугубленной трехлетием гражданской войны и военного коммунизма, а также конфронгацией большевистского режима со всем «буржуазным» миром, — видные

общественные деятели России, еще недобитые чекистами, образовали Комитет помощи голодающим (Помгол).

В него вошли бывшие министры Временного правительства, независимые писатели, публицисты меньшевистской, эсеровской, кадетской ориентации. Ленин поставил во главе Комитета своих ближайших соратников: председателем Л.Б. Каменева, его замом — А.И. Рыкова; в состав Комитета было введено около дюжины видных коммунистов. Но большинство принадлежало не им. Ленин считал, что Помгол недостаточно контролируется властью, и страшно боялся его растущего влияния. В записках соратникам он издевательски именует Комитет Прокукишем и просто Кукишем — по именам его ведущих деятелей: Прокоповича, Кусковой, Кишкина.

Наконец, приходит спасительная идея: пусть Максим Горький, всемирно известный писатель, обратится с призывом о помощи к мировой общественности. М. Горький публикует такое обращение, на призыв тотчас откликаются Герберт Гувер — глава АРА (Американской администрации помощи) и Фритьоф Нансен, организовавший сбор средств в Европе. Как только договор с АРА был подписан, виднейшие деятели Помгола были арестованы. Горький понимает, что его подставили. Размазывая слезы, он говорит, что впервые в жизни оказался в роли провокатора. Он уезжает из страны «по состоянию здоровья»; два года спустя напишет Ромену Роллану: «У меня нет ни малейшего желания возвращаться в Россию. Я бы не смог писать, если бы был вынужден тратить время на повторение старой песни "не убий!"»^[9].

Тем не менее, на смерть кровавого фараона Горький отозвался таким культовым панегириком, с которым могли сравниться разве что мумифицирование его мощей профессорами В. Воробьевым и Б. Збарским, да возведение фараоновой пирамиды на Красной площади архитектором А.В. Щусевым.

Кремль поставил перед собой боевую задачу — вернуть в страну Буревестника. Его книги переиздают массовыми тиражами, ему поют дифирамбы в советской прессе, засылают к нему эмиссаров, сулят золотые годы, с 1928 года организуют ему поездки по стране, дабы он собственными глазами мог видеть и восславлять великие свершения трудового народа под руководством ленинской партии. Горький ездит, смотрит, восславляет. Даже в Соловецком концлагере побывал и восхитился тем, как успешно «вырабатывается» новый человек «из материала капиталистической эпохи».

Наконец, Горький соглашается окончательно переселиться в Советскую Россию — со всеми своими чадами и домочадцами. Его встречают фанфарами, барабанным боем, всеобщим ликованием. В стране рабочих и крестьян, которых, по меткому замечанию М. Булгакова, «немного испортил жилищный вопрос», Буревестника поселяют в роскошном особняке купца Рябушинского, дарят дачу в Горках Ленинских и вторую дачу в Крыму. Его родной город Нижний Новгород переименован в Горький. Центральная улица Москвы становится улицей Максима Горького.

Его имя присваивают заводам, школам, театрам, пароходам. Он полон грандиозных планов, все они тотчас же воплощаются в жизнь. По мановению его пальца создаются газеты, журналы, книжные серии: «История фабрик и заводов», «История гражданской войны», «Библиотека поэта», «История молодого человека XIX столетия», «Жизнь замечательных людей». Начинается подготовка к Съезду писателей для создания единого Союза под его руководством. Но его амбиции простираются дальше литературы. Он всегда питал пристрастие к науке. Его мечтой было

создание Института человека — для оздоровления и обновления, для победы над немощью, старостью, вплоть до достижения — далеко и высоко смотрел Буревестник! — вплоть до достижения физического бессмертия!

И в этом партия и правительство тоже поспешили ему навстречу.

«Создается активная группа для ^[10] реализации мечты Горького — создать “Институт человека” (Л.Н. Федоров, А.Д. Сперанский, И.П. Разенков, К.М. Быков и [Б.И.] Лаврентьев), — писал мне В.Л. Меркулов. — Горшков лично мил Горькому. Осенью 1932 г. в Москве у Горького собираются ИЭМовцы из столицы и Питера. Прибыли Сталин, Молотов, Ворошилов. Решено создать грандиозный институт биологии человека ВИЭМ — дир. Л.Н. Федоров, зам по науке Б.И. Лаврентьев, выписывается из Москвы биолог, теоретик Э.С. Бауэр (друг Бела Куна, ум. 1937), автор митогенет[ических] лучей А.Г. Гурвич. Перевес биологов [над медиками] явный. И.П. Павлова на заседание к Горькому не пригласили (формально де он был в Риме на XIV конгрессе физиологов!). Горький в речи кольнул и Павлова: довольно ученым ИЭМа заниматься изучением собак и мышей — пора перейти к человеку» ^[11].

Проверяя эту информацию по доступным источникам, я выяснил, что упоминаемый в письме Горшков — это, скорее всего, крупный клиницист М.А. Горшков (кстати, один из лечащих врачей И.П. Павлова). Но свидетельств особой симпатии к нему А.М. Горького я не обнаружил. Зато есть множество свидетельств расположенности Буревестника к А.Д. Сперанскому. Если идея создания Института Человека принадлежала Горькому, то наполняли ее конкретным содержанием Федоров и Сперанский.

Институт человека, получивший официальное название Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ), создавался на базе Ленинградского ИЭМ — с последующим переводом головной части в Москву. Было начато строительство научного городка в Серебряном бору — лесистой местности на берегу Москвы-реки.

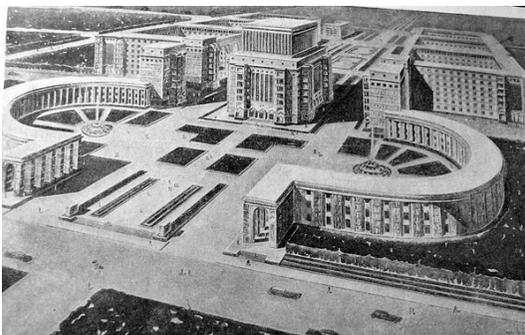
Планов громадьё захватывало дух. Ленинградский ИЭМ должен был стать одним из филиалов ВИЭМ, другие филиалы создавались в Сухуми, в Мурманске и, конечно, в родном городе Буревестника Нижнем Новгороде, то есть теперь уже в Горьком.

«Странное это было учреждение», — пишет в книге «Непридуманное» Лев Разгон и продолжает: «Насколько сейчас помню, было в идее этого института что-то лысенкоподобное. Его создатели и руководители полагали, что им очень скоро удастся найти в человеческом организме “что-то такое”, на что можно воздействовать и таким образом быстро побороть болезни, и среди них самую вредную — старость. Кроме того, что такая цель была крайне соблазнительна, она еще была и совершенно в духе времени: мало было “покорить пространство и время”, надо было покорить и подчинить себе все еще неизвестное и неуправляемое. <...> Организаторы ВИЭМа, конечно, не были жуликами. Но их научные идеи настолько соответствовали стремлениям и желаниям начальников, что могучая подъемная сила несла их стремительно вверх» ^[12].

О том, куда именно несла подъемная сила новый институт, лучше всех обрисовал сам автор идеи, великий пролетарский писатель Максим Горький:

«Близится время, когда наука обратится к так называемым нормальным людям с настойчивым вопросом: хотите, чтобы болезни, уродства, слабоумие и преждевременная гибель организма подверглись тщательному изучению? Такое изучение невозможно, если ограничиваться опытами на собаках, кроликах, морских

свинках. Необходимо экспериментировать над самим человеком, необходимо изучать на нем самом, как работает его организм, как протекает межклеточное питание, кроветворный процесс, химия нейронов и все остальное. Для этого потребуются *сотни человеческих единиц* (курсив мой — С.Р.). Это будет настоящая служба человечеству — несомненно, гораздо более важная и полезная, чем истребление десятков миллионов здоровых людей ради комфортабельной жизни одного жалкого класса, выродившегося физически и морально, класса хищников и паразитов» [13].



Проект научного городка ВИЭМ («Институт Человека»)

Впрочем, ВИЭМ для экспериментов на сотнях человеческих единиц не подходил — он был слишком на виду. Для этого существовало другое заведение — сверхсекретная лаборатория в рамках самого секретного ведомства [14]. В ней проводились опыты на приговоренных к смерти «врагах советской власти», — причем, задолго до того, как к таким опытам приступили нацисты в Освенциме и других лагерях уничтожения. Так что мечта Буревестника была-таки осуществлена в государстве рабочих и крестьян.

4.

Лев Разгон выразительно обрисовал облик А.Д. Сперанского:

«Когда я вспоминаю годы на Спиридоновке [один из домов для партийно-правительственной элиты, где жил Разгон со своей женой Оксаной], я понимаю, что никто из встреченных там людей (их было много, и почти все они были значительными) не пленял меня в такой степени, как Сперанский. Он был академиком [это неточно, Сперанский стал академиком позднее, в 1939 г.], и о нем уже писали как о полубоге в науке. Но не было в Алексее Дмитриевиче ничего того, что зовется “академическим”. Подчеркнуто простонародный, быстрый в движениях, с грубоватой, часто малоцензурной речью, любовью к бутылке ... Причем это в нем соединялось с глубоким пониманием и знанием музыки. Он был превосходный виолончелист и рассказывал, что в голодные годы прирабатывал тем, что играл в киношках [значит, не только глотал шпаги на цирковой арене!]. Но больше всего меня в нем поражало его знание поэзии. Он знал на память чуть ли не всю поэзию нашего века и после бутылки коньяка мог часами читать стихи. И не ка-

кие-то из хрестоматии, а Кузмина, Анненского, Соловьева, Блока, Гумилева ... Очень любил Маяковского и превосходно его читал. Но, конечно, не только этим привлекал Алексей Дмитриевич. Было в нем ощущение независимости. Независимости от начальства, от господствующих мнений в науке и политике. Он вел себя в обществе мало сказав независимо — грубо. Ему ничего не стоило оборвать речь какого-нибудь значительного собеседника и заявить, что тот порет чушь; он мог спросить хозяйку дома, вставившую слово в спор о науке: “А ты, дура, куда лезешь? Что ты понимаешь в этом?”; на одной из посиделок у Горького он сказал Молотову, что тот еще не научился государством управлять, а уже рассуждает о человеческом организме [этот факт не мог быть известен Разгону из первых рук, я считаю его совершенно неправдоподобным — С.Р.]... В том всеобщем конформизме, который уже пропитал всех и вся, эти качества притягивали к нему как магнитом. И Сперанский это понимал, больше того, из всего многочисленного спиридоновского общества он выделял меня — молодого, нечиновного. И не просто выделял, а установил со мной полудружеские отношения, в которых всячески подчеркивал равенство сторон. Алексей Дмитриевич мне казался идеалом ученого, человеком, чья независимость и дружба не зависят ни от каких преходящих обстоятельств. И меня сильно раздражало и просто злило, когда мой новый приятель — и тоже врач, только настоящий, а не визмовский, — Шура Вишневецкий мне говорил:

— Ни фигу ты в людях не согласишься. Я Алексея Дмитриевича знаю с детства, он ближайший друг нашей семьи. Так вот: при любом испытании он сорейфит больше любого. И тебя продаст со всеми потрохами. Удивительно, как вы все клюете на его театральные штучки-дрючки...

Происходил этот разговор в самом начале 37-го года, и никому из нас не приходило в голову, что скоро будут проверяться такие качества, как человеческое достоинство, независимость, мужество ... Прошло меньше полугода, и остались мы на Спиридоновке в двух комнатах; с опечатанной дверью, ведущей в большую часть квартиры; с одним городским телефоном из всех находившихся прежде. И этот телефон — молчал. Каждый, кто пережил то время, оставшись в полузапечатанной квартире, знает, что из многих наступивших душевных потрясений одним из самых главных был замолкнувший телефон. <...> В этом отвратительном, трусливом молчании для меня особенно горьким было молчание Алексея Дмитриевича Сперанского.

Ведь только что, какую-нибудь неделю-две назад он говорил мне, что считает меня другом, а Оксану чуть ли не дочерью ... Чего он боится, он, такой смелый, такой независимый? Многих людей в эти дни и месяцы я вычеркивал из своих близких друзей, просто знакомых. Но труднее всего мне было это сделать с Алексеем Дмитриевичем. Но — вычеркнул. И больше всего боялся, что придется с ним встретиться. Не за себя боялся, а за него — каково будет ему глянуть мне в глаза? А ведь — глянул».

Далее Разгон рассказывает, как буквально в день своего ареста оказался в квартире Сперанского, привезенный туда С.Я. Маршаком.

«А, Лева, здравствуй! — приветствовал он меня так, как будто мы вчера с ним виделись. Потом он поострил насчет “Узкого”, спросил меня, видел ли я только что вышедшую книгу Блока, и ушел. И в глаза мне посмотрел, и, как всегда, похохатывал и острил, и не было на его некрасивом и выразительном лице ни тени смущения» [15].



Лев Эммануилович Разгон.

Умение без тени смущения выходить из пиковых ситуаций, в которые то и дело загоняли людей зигзаги того турбулентного времени, вероятно, и служило ангелом-хранителем, оберегавшим Алексея Дмитриевича.



А.Д. Сперанский

О том, как высоко он котировался на олимпе советской власти, говорит тот факт, что в 1935 году, специально к XV международному конгрессу физиологов, была в пожарном порядке издана его книга «Элементы построения теории медицины», причем ее издали в переводе на английский язык и раздавали бесплатно всем участникам конгресса. Такая акция не могла быть предпринята без одобрения

Кремля, ибо это была не столько научная, сколько политическая акция с целью продемонстрировать всему миру, что мы де тоже не льком шиты. Книга была написана в боевом партийно-лысенковском духе, хотя по содержанию и отличалась от лысенковской лженауки.

Ухтомский отнесся к этому труду двойственно. Отдавая должное смелости и несомненной талантливости автора, он считал, что книга представляет собой серию едких претенциозных памфлетов, которые на Западе могут вызвать только недоумение. Позднее он писал Фаине Гинзбург: «Рядом с этими летописями патофизиологии классической науки Запада на полку норовит вскочить томик боевых памфлетов, занесенный из чужой атмосферы “трезвы и бури”! Понятен злостный отзыв британского рецензента в том духе, что “чрезмерная претензия, сказывающаяся еще в заглавии книги, не дает серьезно отнестись и к тем материалам, которые кое-где сообщаются в книжке!” <...> Уместный тон памфлета в условиях местной советской медицины совершенно неуместен и очень вреден для книги, когда она передается на Запад, в британские или американские условия! Обо всем этом я говорил А. Д-чу один на один» [16].

5.



М. Горький с сыном Максимом

В семье М. Горького ни одно серьезное медицинское решение не принималось без участия Сперанского. В 1934 году тяжело заболел сын Горького Максим Пешков. Ему было 36 лет. Он был своенравным, трудноуправляемым человеком, беспробудным пьяницей. Пил с кем придется, в том числе с личным секретарем Горького П.П. Крючковым. Однажды, в конце апреля, Крючков забыл пьяного Максима на скамейке на берегу реки, где тот проспал несколько часов и сильно продрог. По другой версии, Максима оставил спать на берегу другой собутыльник, а Крючков, напротив, разбудил его и привел в дом. Как бы то ни было, Максим сильно простудился, простуда перешла в крупозное воспаление легких, болезнь быстро прогрессировала и привела к летальному исходу. До эры антибиотиков смертность от пневмонии была очень высокой. Тогда входило в моду лечение

инъекциями новокаина, получившее название новокаиновая блокада. Сперанский был одним из энтузиастов этого метода, в справочной литературе он даже часто называется «Блокадой Сперанского».

В 1938 году состоялся театрализованный процесс над так называемым правотроцкистским блоком во главе с Н.И. Бухаринным. Наряду с другими злодеяниями, подсудимым вменялось убийство Горького и его сына Максима Пешкова. Подсудимый Крючков показал, будто намеренно простудил Максима, а врачи Виноградов, Плетнев и Левин, будучи в сговоре, довершили задуманное «вредительским» лечением, в частности, тем, что НЕ применили блокаду Сперанского.



М. Горький и П.П. Крючков

Санитарный врач НКВД Виноградов до суда не дожил — был забит в застенке умельцами Ежова; Левин и Плетнев показания Крючкова подтвердили. Понятно, что все это было вранье: оговоры и самооговоры были выбиты пытками. Но неизбежен вопрос, ни разу не заданный на суде грозным прокурором Вышинским: куда же смотрел Сперанский? Почему не настоял на применении своей блокады — ведь в дни болезни Максима он постоянно бывал у Горького, о чем выразительно написал сразу после смерти Буревестника:

«В семье Горького мне пришлось уже пережить одно тяжелое событие. Два года назад умер его сын — Максим Алексеевич Пешков, человек большого своеобразия, талантливая, искренняя, несколько отвлеченная натура, преданная делу своего отца, оставивший многие из подлинно своих начинаний, чтобы служить ему. Болезнь сразу приняла катастрофический характер. В последний день Алексей Максимович не ложился спать. Долго, до поздней ночи, сидел в столовой и вел беседу на посторонние темы — о войне, о фашизме, но главным образом о ходе работ института [ВИЭМ]. Временами мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия подготавливалась наверху. Однако Горький сидел, лицо его было полно внимания, реплики к месту, и только нервное постукивание пальцев лежащей на скатерти руки могло вызвать подозрение о том, что у него делается внутри. Когда через 2 часа после смерти сына к нему со словами сочувствия пришли старшие товарищи, он сделал усилие и перевел разговор на рельсы посторонних вопросов, сказав: “Это уже не тема”. Также Алексей Максимович умер и сам. Просто, как если бы исполнял настоятельную обязанность»^[17].

Павел Басинский, автор интересной книги о последних днях жизни А.М. Горького, в словах Сперанского «я знал, какая трагедия подготавливалась наверху» вычитал намек либо на сознательное умерщвление Максима, либо на непоправимую ошибку лечивших его врачей Плетнева и Левина. Думаю, что эти подозрения несомнательны. Трагедия наверху — это приближающаяся кончина Максима. Надежд на его выздоровление уже нет, врачи, не отходящие от больного, пытаются облегчить его страдания (не исключено, что инъекциями того же новокаина), тогда как Сперанский посторонними разговорами отвлекает от тяжелых мыслей отца.

Два года спустя, когда умирал — тоже от пневмонии — сам Буревестник, врачи боролись за его жизнь, сколько могли и как могли. В многочисленных консилиумах участвовал А.Д. Сперанский. У него были личные счёты с доктором Л.Г. Левиным, он даже «чуть не избил» Левина, когда тот проговорился Крючкову,

что Горькому решено сделать новокаиновую блокаду, — видимо, против воли пациента, который просил не мучить его инъекциями и «отпустить», то есть дать спокойно умереть. Сперанский подчеркивал: «В течение 12 ночей мне пришлось быть при нем неотлучно» [18]. Имеются в виду последние 12 ночей жизни писателя.



Совестные «водители» у постели больного М. Горького.
С картины художника В.П. Ефанова.

Подпись Сперанского стоит под медицинским заключением о его смерти — рядом с подписями Д.Д. Плетнева, Л.Г. Левина и других. Стало быть, он участвовал при принятии ключевых решений или, как минимум, должен был о них знать. И вот, Левин за «вредительское» лечение Горького расстрелян, полупарализованный Плетнев приговорен к 25 годам заключения (но тоже будет расстрелян — 11 сентября 1941 году в Медведевском лесу под Смоленском, накануне сдачи города войскам вермахта), а Сперанский?



Врачи Л.Г. Левин и Д.Д. Плетнев,
обвиненные в убийстве Максима Горького и его сына Максима Пешкова.

В одном из писем Василий Лаврентьевич мне написал, подчеркнув жирной чертой:

«Сперанский проявил стойкость в 1938 г., когда от него требовали заявить, что Д.Д. Плетнев действительно вредительски лечил Горького, — и отказался лжесвидетельствовать».

Откуда Василий Лаврентьевич почерпнул такие сведения, я не знаю, вероятно, от самого Сперанского. К сожалению, они ложны. Свое лжесвидетельство Сперанский опубликовал массовым тиражом, написав, не моргнув глазом, в газетной статье, что Горького «не убергли от шайки безжалостных злодеев»^[19]. Умолчал только о том, что если бы такая шайка и вправду существовала, то он сам бы в нее входил. Впрочем, неумолчание было бы равносильно самоубийству.



«Смерть изменникам родины»

В том же году Сперанский был номинирован, а затем избран академиком, чего вполне заслужил своими достижениями в области патофизиологии.

6.

В конце 1936 года Алексей Алексеевич Ухтомский, к тому времени уже заметно состарившийся и ставший тяжелым на подъем, побуждаемый павловцами К.М. Быковым и Л.Н. Федоровым, должен был бросить лекции и текущую работу, чтобы поехать в Москву на выручку Сперанского, на которого сыпались жалобы из-за его высокомерия и невыдержанности. «Против него был собран сильный кулак и дело грозило тяжелыми последствиями для его школы»^[20].

Характеризуя Сперанского, Алексей Алексеевич писал:

«Человек он хороший, с остро, быстро и дальновидно мыслящей головой! Кроме того, научно хорошо настроенный, честный, далекий от обыденного ученого профессионализма, шаманской кастовости! <...> Что касается нападений на него, то они во многом понятны и заслужены. Я не говорю о прямо злостных нападениях из принципиальной враждебности к лицу А.Д. Как сейчас увидите, дело идет о том, что А.Д. мог вызвать антагонизм и среди тех, кто готов вместе с ним искать новых перспектив и идей в медицине! <...> Он наплодил себе нетерпимых антагонистов из клинических врачей, на которых привык покрикивать и которым привык пред-

писывать по безапелляционным его указаниям. Как часто это бывает у очень захваченных своими мыслями людей, А.Д. почти не считался с людьми, с лицами тех врачей, которые давались ему в качестве руководимых! Приходилось слышать, что в урочные часы (дни), когда Сперанский ожидался на консультацию в клинику, врачи заранее начинали класать зубами, как в лихорадке, а потом, вдогонку, проклинали А.Д.-ча за его безапелляционную кригику и бесповоротные приказы!» [21]

О том, как «захваченность своими мыслями» нисколько не мешала Сперанскому ладить со многими людьми, которые от него НЕ зависели и могли быть ему полезными, Ухтомский, видимо, знал недостаточно. Или намеренно закрывал на это глаза, следуя своей философии Заслуженного Собеседника: видеть в людях лучшие их стороны и быть снисходительным к худшим. Он был доволен, что сумел выручить Алексея Дмитриевича, сгладив назревавший конфликт.

Высокомерие и грубость по отношению к подчиненным роковым образом сказались на научном наследии Сперанского. Как заметил однажды Эйнштейн, тирания привлекает к себе нравственно неполноценных. Это в равной мере справедливо для больших тиранов и для маленьких тиранчиков. Сперанский скончался в 1961 году. Вскоре после его смерти Меркулову довелось готовить работу о развитии советской физиологии после Павлова. Как и многие другие его работы, она не увидела света, но выступить с докладом ему удалось. В одном из писем он мне писал:

«Летом 1962-го я прочитал доклад, и ученики и последовательницы его мне устроили обструкцию, когда я указывал, что хотя Сперанский был очень талантлив, но вокруг него было много шантрапы, сделавшей все возможное, чтобы погубить его дело» [22].

В том же письме Меркулов вспоминал, что в 1950 году, придя к Сперанскому на правах старого знакомого, видел на стене над его рабочим столом два овалы барельефа, висевших рядышком: А.М. Горького и Т.Д. Лысенко.

«Дружба с Лысенко оказалась не случайной, особенно после трагической гибели Б.И. Лаврентьева в 1942 г. (инфаркт) [правильно — в 1944 г.]» [23].

Таков один из самых выдающихся «учеников Павлова», для которых имя великого естествоиспытателя служило фирменным знаком, обеспечивавшим быстрое удовлетворение карьерных амбиций.

Глава семнадцатая. Ухтомский: последние годы

1.

При военной выправке и богатырском телосложении Алексей Алексеевич Ухтомский не отличался богатырским здоровьем. В 1908 году он тяжело болел оспой, в 1917-18 несколько месяцев провалялся в Рыбинске, долго оправляясь от болезни и, будучи слабым, не решался ехать в Петроград в условиях разрухи на транспорте, когда поезда и места в поездах надо было брать с боем. В письмах его 20-х и особенно 30-х годов все чаще проскальзывают жалобы на недомогание, слабость, усталость, бессонницу.

15 июля 1930 года, он писал Фаине Гинзбург, что с ним «вышел скандал»: собираясь в университет на лекцию, он «грохнулся в обморок». Потом пролежал много дней с высокой температурой, доходивший до 40,2 градуса.

Незадолго перед тем в университете похоронили двух профессоров — зоолога В.Д. Заленского и генетика Ю.А. Филипченко, оба были моложе Алексея Алексеевича, так что его внезапная болезнь вызвала большой переполох. «Собственно, было бы наиболее остроумным и находчивым с моей стороны последовать за ними, и люди настроились на ожидание такого остроумия с моей стороны», — мрачно язвил Алексей Алексеевич. К счастью, «остроумия» не получилось, но неожиданная болезнь — рожистое воспаление правой ноги — оказалась привязчивой. Время от времени она обострялась и давала о себе знать до конца его жизни.

Он стал быстрее уставать, дома его тянуло в постель, и он часто работал над своими статьями и лекциями лежа в кровати, под видавшим виды полушубком. В таком положении нередко принимал своих многочисленных посетителей. На кровати, в ногах хозяина, «сибаритски развалясь, спал любимый кот Васька, полный сознания своей независимости от гостя и своего исключительного положения фаворита при хозяине дома»^[24].

О том, какое важное место в жизни Ухтомского занимал этот пушистый фаворит, говорит его письмо Фаине Гинзбург от 6 января 1928 года. В нем повествуется о переживаниях Алексея Алексеевича, вызванных исчезновением кота Васьки из-за нерадивости одной из тогдашних постоялиц Ухтомского, Клавдии Ветюковой, видимо, родственницы сотрудника кафедры Игоря Александровича Ветюкова.

Клавдия была нерадивой и туповатой девицей, 8 лет училась в университете, но не могла его окончить, и, в конце концов, ее отчислили за неуспеваемость. Алексей Алексеевич пристроил ее на работу в Петергофский естественнонаучный институт. В Петергофе она проводила 4 дня в неделю, а последние три дня жила у Алексея Алексеевича, так как жена ее брата Ивана Алексеевича Ветюкова ее не жаловала, попрекала куском хлеба. У Ухтомского Клавдия находила приют, Надежда Ивановна Бобровская ее подкармливала.

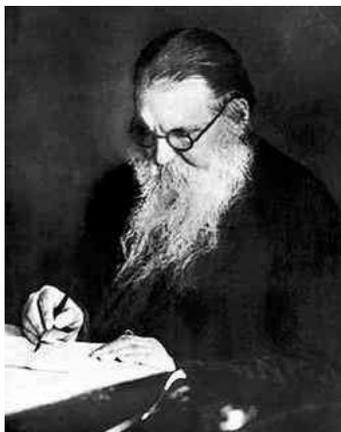
«Надо сказать, что еще сама Над[ежда] Ив[анов]на по глупости пускала Ваську на продуктовый ящик в кухонном окне, “чтобы он подышал воздухом”. Над. Ив. делала это все-таки днем и следила за Васей, оставляя форточку открытой, так что он мог возвращаться в комнату когда захочет. Клавдия же выставила Васю на ящик ночью, около 12 часов, форточку не только закрыла, но зачем-то еще и приперла кастрюлей! А затем просто забыла о Васе!»^[25].

Бедный Вася, изрядно продрогнув и не дождавшись, когда его пустят в дом, решил вернуться через соседнее окно, освещенное неярким светом керосиновой лампы. Но дососеднего окна он не допрыгнул, только зацепился передними лапами за железный край подоконника, который проржавел и под его тяжестью обломился. С жалобным криком Вася полетел вниз и шмякнулся о мостовую. Когда его хватились, Васи уже нигде не было: он забился в какую-то щель, как забиваются раненые или больные коты, чтобы их никто не видел.

«Вы понимаете, какое это было несчастье для меня! — изливал душу Алексей Алексеевич. — Обыкновенно люди мало понимают значение и неповторимость лица, и им кажется, что все легко заменимо. Это оттого, что они обыкновенно знают вокруг себя лишь вещи, в лучшем случае — процессы, но лица мало кому доступны. Сейчас окружающая нас “культура” исключительно знает вещи и процессы, но совершенно утратила понимание лиц. Для этого нужно многое, чего не хватает улице! Со своей стороны, я чувствовал, что брошу и лекции, и служебную канитель, если Васи не будет»^[26].

Серый кот Вася был для Ухтомского лицом! Остается непонятным, как же он в лаборатории ставил опыты на множестве таких же лиц, не дрогнувшей рукой обрекая их на страдания и сотнями отправляя на смерть!..

К счастью, Вася сам приполз дней через десять — грязный, больной, исклоченный, со сломанной задней ногой, — «мой бедный и милый друг». Можно только себе представить, сколько сил и старания приложил Алексей Алексеевич, чтобы выводить Васю и привести его в прежнее состояние...



А.А. Ухтомский за работой

2.

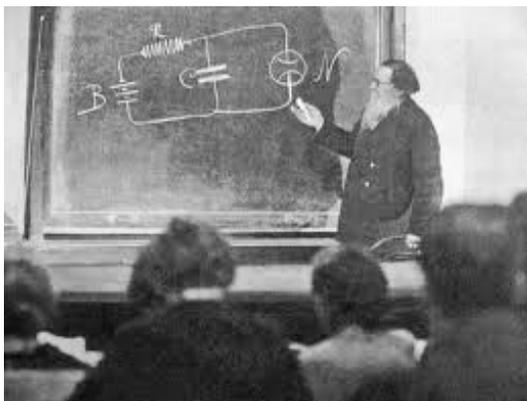
В 1935 году Ухтомскому исполнилось 60 лет. Он не преминул вспомнить, что уже на год пережил своего отца. Попутно напомнил себе, что отец, как и тетя Анна, умер от рака, что род Ухтомских вообще недолговечен, так что жить ему осталось немного, и он, скорее всего, тоже умрет от рака. Как-то сразу он почувствовал себя стариком. Тогда же написал Фаине Гинзбург: «О себе могу сказать, что вместе со своею квартирою быстро стареюсь»^[27].

Все чаще в его письмах появляются жалобы на болезни или усталость. Так, той же Фаине Гинзбург он писал в октябре 1936-го:

«Здоровье мое удовлетворительно, если не считать большую утомляемость и головокружения, посещающие меня изредка — то в аудитории, то дома, когда приходится хвататься за стол, чтобы не упасть.»^[28]

«Здоровье мое не очень важно, — писал он ей же 30 мая 1938 года. — Под влиянием “активов”, проходивших у нас в апреле, я так устал нравственно и нервно, что уже от небольшого добавочного дела сбиваюсь в состояние острого утомления. На днях мне надобно было быть в Москве. Попытка пройтись по улице привела к болезненному дрожанию ног, острой испарине и иногда к головокружению. Это уже настоящая слабость. Перед этим мне пришлось просидеть в непрерывном напряжении три дня “актива” в нашей лаборатории, а два дня “актива” же в Институте Орбели. Это очень тяжело и расточительно для нервной системы старого человека!

Между тем предстоят и еще «активы»! Пока мы их проводим, за граница ведет подлинные научные работы, так неузнаваемо перестраивающие нашу науку!»^[29]



А.А. Ухтомский читает лекцию

Нагрузки росли, а сил становилось все меньше. Алексей Алексеевич руководил несколькими научными учреждениями, под его началом работали сотни научных сотрудников. Он их нацеливал на дружную совместную работу, но по мере того, как число сотрудников росло, добиваться этого становилось все труднее. У каждого были свои амбиции, кто-то считал себя несправедливо обойденным, кто-то упорно тянул одеяло на себя, кто-то приходил с жалобами и наущничаниями на коллег. Алексей Алексеевич не мог смотреть на все это свысока, со снисходительным безразличием, тем более не мог и не хотел stalkивать людей лбами или устраивать публичные разборки. Ученики и сотрудники были для него родными, близкими людьми, каждый имел свое лицо. Это была его большая семья, всякое неблагополучие в семье отзывалось в нем острой болью.

«С людьми подчас бывает не справиться, поэтому в служебных делах не успеваю изглаживать в срок те злые глупости, которые производятся сотрудниками в их взаимоотношениях. Их глупые и злые взаимоотношения вредят делу, так или иначе отражаются на мне и приносят много боли», — жаловался Ухтомский своей рыбинской приятельнице А.И. Макаровой^[30], и продолжал:

«Здоровье мое и не выдержало. Был сердечный приступ, пролежал я на полу, как говорят, около часа. Но и при болезни покоя мне не давали, — хлынул на квартиру народ. У меня температура поднялась 40,2°, а тут толкаются в комнате люди — каждый человек что-то советует, каждый предлагает спасительные меры. В результате же я увидел мутнеющим сознанием, что надо спешно уходить из квартиры — в больницу ли, на полос, куда глаза глядят, — только необходимо поскорей ликвидировать бесконтрольное шатание по квартире чужих людей, все высматривающих, все вынохивающих и все разносящих по ветру... Вот отчего я согласился перебраться в Обуховскую больницу, где пробыл около двух недель. Я там отдохнул и физически, и нравственно. Однако надо было торопиться к началу экзаменов, и вот я уже третью неделю возобновил работу, экзаменуя студентов»^[31].

Приступ был вызван вновь обострившимся рожистым воспалением. Давали себя знать сердечные перебои, гипертония, частые бронхиты, плеврит и другие немощи. Он стал жаловаться на ослабление памяти.



Сатирический рисунок А.А. Ухтомского: Профессор-кролик читает лекцию подопытным животным, демонстрируя опыты на их мучителе.

«Я живу в последние месяцы разными предвидениями испытаний и перемен, от которых Господь пока отводит, но которые все-таки часто и твердо напоминают о себе. Очень много врагов, сознательных и несознательных, оказывается за последнее время. Здоровье мое тоже становится плохо, делаюсь я стар и беспямятен, работать на прежних моих дорогах делается мне все труднее», — жаловался он Марии и Варваре Платоновым в начале февраля 1940 года^[32].

Та же тема в июньском письме Фаине Гинзбургу:

«Я очень ослаб за последнее время и мне нелегко сосредоточиться, чтобы сесть за письмо. Стариковские немощи и довольно много неприятностей по работе не успевают компенсироваться, как это бывало в прежние годы, радостью преподавания и общения со студенчеством. И преподавание дается все с большим трудом»^[33].

И в октябрьском Елене Бронштейн-Шур:

«Я очень ослаб под влиянием сутолоки и множества неприятностей, наваливающих на меня в последнее время. Начинаю прихварывать типичным образом для моей семьи: начинает сдавать сердце»^[34].

3.

6 июня 1941 года внезапно скончалась Надежда Ивановна Бобровская. Для Алексея Алексеевича эта маленькая, сухонькая, необыкновенно живая старушка была не просто работницей и домоправительницей, ведшей его нехитрое хозяйство. Она была другом, наперсницей, с ней он делил свои радости и горести; она была в курсе всех его занятий и дел, знала жизненные обстоятельства его друзей и учеников, ко многим была привязана. Простая и словоохотливая, она бдительно

стояла на страже интересов Алексея Алексеевича, следила за тем, чтобы он не перегружался работой и чтобы посетители его не переутомляли. Она постоянно хлопотала по хозяйству: варила, мыла, чистила, выстаивала очереди в продуктовых магазинах, — пока доставало сил.

Увядала она постепенно — на протяжении многих лет. Еще летом 1935 года Ухтомский писал Фаине Гинзбург: «Надежда Ивановна этой зимой все прихварывала — стала настоящей старухой. Я уж ее не пускаю из квартиры, а она, такая деятельная и подвижная во всю жизнь, теперь очень много лежит и спит»^[35].

Надежда Ивановна была для него живой связью с прошлым, которым он всегда так дорожил. Ее внезапную смерть он воспринял очень тяжело, как сигнал, что и самому надо собираться в дальнюю дорогу...

6 июня была пятница — день, отведенный ему для работы дома. Он благодарил Бога, что несчастье случилось в его присутствии: много тяжелее было бы придти домой и найти ее безжизненное тело распростертым на полу.

В тот день, в 11 часов утра к нему пришла медсестра — делать перевязку больной ноги. Она сетовала на то, что у Алексея Алексеевича «плохие» отечные ноги, и с этим ничего нельзя сделать. Ухтомский заметил, что это сигнал: надо готовиться к смерти.

— Что это вы, папенька, негоже вам думать о смерти! — ворчливо вмешалась Надежда Ивановна.

После ухода медсестры пришла знакомая монахиня — сестра Зинаида. Они втроем сидели за самоваром, пили чай, мирно беседовали. Сестра Зинаида ушла около часу дня, и Надежда Ивановна стала прибираться в квартире.

«Она скончалась самым точным образом на текущей работе, вдруг упав на пол в моей комнате, — писал Алексей Алексеевич А.И. Макаровой. — Это было примерно в 2 часа дня. <...> Когда я ее поднял с пола и посадил на кровать, речь ее была уже парализованной. В 5 часов она испустила последний вздох»^[36].

Субботу и воскресенье обмытая и нарядно одетая Надежда Ивановна лежала на столе в его квартире, он всматривался в ее маленькую фигурку, в «спокойное хорошее лицо», предаваясь грустным воспоминаниям.

Надежду Ивановну он знал еще с тех пор, когда учился в Духовной академии. С ним тогда жила тетя Анна. Когда она заболела своей последней роковой болезнью, он, по ее поручению, ходил к Надежде Ивановне и просил ее поступить к тете Анне на службу за небольшое жалование, которое та могла платить. Надежда Ивановна ответила, что рада послужить Анне Николаевне за любую плату. «Вот так и завязалась эта многолетняя жизнь Надежды Ивановны в нашей семье! — писал Ухтомский Макаровой, и продолжал. — На ее руках скончались и тетя Анна, и сестра Лиза потом, муж Лизы Александр Петрович, крестница Аннушка из Софийского монастыря и другие. Бывало ведь, что ее звали к умирающему человеку или передавали ей просьбу умирающего человека — побыть с ним. И когда я сам в 1908 году тяжело болел оспой, и знакомые приходили только под окно, чтобы посмотреть на меня, Надежда Ивановна одна не отходила от меня ни на шаг, не опасаясь заразы. Когда в Михалева умирала горловою чахоткою сестра Лиза, все отказались от нее, не подходили к ней близко, закрывали от нее двери. Одна Надежда Ивановна, стоя на коленях при умирающей, приняла ее последний вздох, поддерживая в ее руке иерусалимскую свечу, которая так и горела в Лизиной руке до ее конца... Так вот старый наш друг в свою очередь отошла от нас в свой путь. Помяните ее, добрый друг, в час ее отхода!»^[37]

4.

22 июня 1941 года, «ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война».

23 июня командующий Ленинградского военного округа генерал-лейтенант М.М. Попов послал своего заместителя в район Луги для рекогносцировки местности на предмет устройства оборонительного рубежа на псковском направлении.

25 июня Финляндия намеревалась официально заявить о своем нейтралитете в войне Советского Союза и Германии, но кремлевские умники упредили это заявление массированными воздушными бомбардировками Хельсинки и других финских городов. Как вспоминал с гордостью командующий авиацией Ленинградского военного округа А.А. Новиков (впоследствии главный маршал авиации), «воздушная армада из 263 бомбардировщиков и 224 истребителей и штурмовиков устремилась на 18 наиболее важных аэродромов противника» [38].

О чем он не вспомнил, так это о том, что бомбардировке подверглись не только аэродромы. Не вспомнил он и о том, что Финляндия противником не была. После «зимней войны» 1939-40 года между СССР и Финляндией был заключен мирный договор, финские власти не намеревались его нарушать. Операция была столь масштабной, что 26 советских бомбардировщиков в тот день не вернулись на свои базы: были сбиты финскими зенитчиками. Финляндии ничего не оставалось, как вместо заявления о нейтралитете вступить в войну против СССР. Генерал Маннергейм согласился принять командование финской армией, поставив условие, что он не будет вести наступление на Ленинград. Он повел наступление, обходя Ленинград с севера, и оно оказалось успешным. Финские войска вышли к берегу Ладожского озера, отрезав город от Севера России.

Ну а с юга стремительно продвигались германские войска группы армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала фон Лееба. Спротивление они встречали слабое. 4 июля они форсировали реку Великая, преодолев укрепления «Линии Сталина». Они вступили в Ленинградскую область.

5-6 июля был взят Остров. 9 июля — Псков.

В Ленинград хлынули потоки беженцев, в город прибыло более 300 тысяч человек. Их надо было как-то разместить и чем-то кормить.

19-23 июля фон Лееб с боями рвется к Ленинграду. Его войска удаются остановиться в ста километрах от города.

27 июля в группу армий «Север» приезжает Гитлер. Он вне себя от ярости. Почему наступление застопорилось? Он требует от Лееба удесятить усилия. Ленинград надо взять! Это необходимо не только по военно-стратегическим соображениям. Тут замешена Большая Политика. Падение колыбели большевистской революции произведет фурор во всем мире и еще больше деморализует Красную армию. Гитлер требует возобновить наступление. Фон Лееб отдает приказ.

Части вермахта достигают ленинградских пригородов, они уже в 10 километрах от центра города. 4-8 сентября дальнобойная артиллерия начинает плановый обстрел: разрушаются промышленные предприятия, общественные здания, школы, жилые дома. 8 сентября германские войска выходят на побережье Ладожского озера. Лееб и его штаб перегруппировывают передовые части, готовя их к штурму. Взятие города — вопрос дней. Но вдруг приходит приказ Гитлера: часть войск, включая все танки, передать группе армий «Центр», рвущимся к Москве, наступление на Ленинград остановить.

Фон Лееб и его генералы в шоке. Но приказ есть приказ. Штурм города отменяется, начинается Ленинградская блокада.

11 сентября Сталин назначает Г.К. Жукова командующим Ленинградским фронтом — взамен провалившегося Клина Ворошилова.

12 сентября грандиозный пожар уничтожает Бадаевские склады, где сосредоточены почти все продовольственные запасы города.

14 сентября Жуков пребывает в Ленинград. Он начинает принимать экстренные меры к защите города от вторжения германских войск, не зная, что вторжение отменено Гитлером. «Героическая оборона» Ленинграда оказывается фикцией: противник остановил наступление, ограничившись тотальной блокадой.

Доставка продовольствия в город практически прекращена. По рабочим карточкам выдается 500 граммов очень плохого хлеба в день, служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 250 граммов. В следующие месяцы нормы выдачи хлеба снижаются пять раз, доводятся до 250 граммов хлеба рабочим и до 125 граммов служащим, иждивенцам и детям. В городе начинается тотальный голод. После 15 декабря, когда стала действовать «дорога жизни» по льду Ладожского озера, нормы выдачи хлеба несколько увеличились: 300 граммов хлеба рабочим и 200 всем остальным. Проблему голода это, конечно, решить не могло.

22 сентября Гитлер заявляет, что Германия не заинтересована в сохранении жизни мирного населения осажденного Ленинграда. 8 ноября он повторит в своей речи в Мюнхене: «Ленинград должен умереть голодной смертью».

И Ленинград умирает.

Экзальтированная Мария Капитоновна Петрова, бывшая возлюбленная И.П. Павлова и пламенная поклонница товарища Сталина, наотрез отказалась эвакуироваться из осажденного города. Она записала в дневнике:

«Я выбрала минутку, чтобы черкнуть несколько слов. Каким ужасным оказался январь 1942 года (и начало февраля)! Холод, непрерывные морозы доходили до 36°, голод, кошмарные бытовые условия: ни света, ни воды. Из-за отсутствия сломанных на дрова уборных страшные антисанитарные условия. Трупы людей, умерших на улицах от истощения, и в квартирах неделями не убираются. Ежедневные пожары, которые из-за отсутствия воды не тушатся, и дома горят иногда в течение недели. Благодаря ослаблению мозговой коры граждан, вследствие голодовки выступили самые низкие инстинкты. Бандитизм широко развит. У детей из рук вырывают полученный хлеб, то же и у женщин в темноте.

Рывание в квартиры и обирание всего ценного и съестных продуктов широко применяется. Наконец, людоедство. В больнице находят валяющимися отрезанные детские ручки и ножки, у нас во дворе труп студента с вырезанными ягодичными и щеками, на рынках продают студень из людского мяса и из конского навоза, обработанного под дуранду^[39], продают лепешки, вызывающие кровавые поносы после их употребления. Вот это я считаю ужасом!

Что артиллерийские обстрелы и бомбежки в сравнении с этим кошмарным состоянием нашего красавца — города Ленина, колыбели революции. Рассудок отказывается верить, что мы дошли до такого состояния. Москвичи почувствовали весь ужас положения Ленинграда и поделились своим пайком с ленинградцами. Об этом сообщал по радио Попков^[40], уговаривал граждан еще денечка 2 потерпеть — не умирать от голода, но упрямые граждане не внимают его уговорам, мрут, как мухи, и чем дальше, тем больше, так как эти 2 денечка растянулись уже на неделю. Говорят, около 2 миллионов граждан Ленинграда уже погибло от холода и голода.

Этого только, конечно, и надо было немцам. Сейчас в связи с этим среди народа идет ропот, некоторые, и их много, ждут избавителей немцев, но, конечно, это все говорят люди несознательные, доведенные до отчаяния» [41].



Ленинград. Блокада

Сознательная М.К. Петрова потеряла сперва 12, потом 22, потом 28 килограммов веса; она не раз была на грани смерти, но не отчаивалась. Она свято верила в мудрость любимого вождя, в то, что «Сталин добьется разгрома противника, это так и будет, и будет, как сказал он, то есть скоро. В течение лета и осени [1942 г.] война будет закончена» [42].

Эвакуация гражданского населения из Ленинграда, в особенности женщин и детей, началась сразу же после начала войны. Сталин был уверен, что Ленинграда не удержат. К началу блокады в окружённом городе оставалось 2 миллиона 887 тысяч жителей. За время блокады было уничтожено 3 200 жилых зданий, 9 тысяч деревянных домов сгорело или было разобрано на топливо, было разрушено 840 фабрик и заводов.

В феврале 1942 года более 600 человек осуждено за каннибализм. В марте — более тысячи.

Два миллиона погибших, названных М.К. Петровой, надо отнести на счет преувеличенных слухов, циркулировавших в городе. По современной оценке, число погибших от голода, болезней и обстрелов оценивается цифрами от 800 тысяч до 1,5 миллиона человек. (Впрочем, оценки эти очень приблизительны.)

Одним из погибших был академик Алексей Алексеевич Ухтомский.

5.

У Алексея Алексеевича было много возможностей уехать из блокадного города. По одной из версий, он и хотел эвакуироваться, о чем свидетельствует справка от 30 июля 1941 г. о бронировании его квартиры «на весь срок длительной командировки» [43].

Однако стремление закончить свои работы, в особенности над учебником, а также необходимость читать лекции в университете, где занятия продолжались весь первый семестр 1941-42 учебного года, перевесили. А потом он уже чувствовал себя слишком немощным, чтобы тронуться с места.

По мере того как обстановка в Ленинграде ухудшалась, к Ухтомскому все чаще обращались с настойчивыми просьбами и предложениями покинуть блокадный город. Всякий раз он отвечал вежливым, но решительным отказом. Он признавал, что ему осталось мало жить, и не хотел прерывать работу, продолжавшуюся в его университетской лаборатории и Физиологическом институте, хотя многие сотрудники и аспиранты были призваны в армию или в народное ополчение, другие эвакуировались или готовились к эвакуации.

С 7 июля 1941 года Ухтомский с сотрудниками начал исследования по травматическому шоку, стремясь найти наиболее эффективные средства для борьбы с этим бичом раненых воинов. опыты проводились на кошках. С 7 июля по 25 сентября в жертву этим исследованиям была принесена 41 кошка. В.Л. Меркулов обнаружил в архиве Ухтомского записи этих опытов и сделанные им выводы: «Факторы, устраняющие шок: сердечный массаж, искусственное дыхание, введение в кровь физиологического раствора с глюкозой и адреналином... В опытах Е.Н. Сперанской введение молочной кислоты в кровь кошки восстанавливало кровяное давление и дыхание в фазе гистаминового шока. И.А. Ветюков показал, что содовый раствор, примененный после небольшого кровопускания и раздражения чувствительного нерва кошки в состоянии шока, восстанавливает кровяное давление и дыхание»^[44].

Работы эти пришлось прекратить из-за отсутствия животных, а также эвакуации Голикова и других ведущих сотрудников, которые продолжили их в Саратове. В июне 1942 года уехал и Ветюков.

К частым артиллерийским обстрелам и бомбардировкам Алексей Алексеевич относился с поразительным хладнокровием. После кончины Ухтомского, выступая с докладом о нем в городе Кирове, Ветюков вспомнил эпизод, относившийся к ноябрю 1941 года. Во время совещания, которое Алексей Алексеевич проводил в своем университетском кабинете, раздался свист летящего снаряда, бабахнул взрыв. Следом разорвался второй снаряд, окна в кабинете задребезжали, присутствовавшие повскакали с мест и предложили Ухтомскому спуститься вниз, в более безопасное помещение. Он выдержал паузу и спокойно сказал: «Совещание продолжается...»^[45].

Дома его часто навещали ученики и друзья, однако из-за эвакуации круг посетителей постоянно сужался. Ежедневно приходила старшая лаборантка физиологической лаборатории Марья Митрофановна Шаркова^[46]. Она помогала по хозяйству, отчасти взяв на себя функции покойной Надежды Ивановны. С октября 1941 года Алексей Алексеевич стал ей жаловаться на боли в пищеводе, ему стало трудно глотать.

29 ноября он писал Фаине Гинзбург: «Что касается меня, я все прихварываю. Болят ноги вследствие эндоартериита, мышцы голени не успевают получать достаточно кислорода, оттого при работе легко впадают в контрактуры, сопровождающиеся сильными болями. Пройду два-три квартала, и уже должен останавливаться и садиться. Итак, анаэробная работа мышц неприятна и болезненна. Потом легко простужаюсь: сейчас сижу дома от бронхита и плеврита»^[47].

В конце 1941 года Ухтомский прошел медицинское обследование, ему была выдана справка, подписанная доктором медицинских наук Кустьяном: «А.А. Ухтомский болен гипертонией, кардиосклерозом, эндоартериитом и эмфиземой легких. Нужен покой, эвакуации не подлежит»^[48].

Обращает на себя внимание заключение врача о невозможности эвакуации. Вписано оно, скорее всего, по просьбе пациента, возможно, для того и пошедшего на это обследование. Видимо, он опасался, что его будут заставлять эвакуироваться, и счел нужным запастись такой справкой!

В университете Ухтомский часто заходил в лабораторию биохимии, ее сотрудница М.И. Прохорова была одной из тех, кто его навещал. Она спрашивала, почему он не уезжает, на что он отвечал, что хочет завершить свои работы. О необходимости вывезти академика Ухтомского Прохорова говорила ректору университета А.А. Вознесенскому. Тот ответил, что высоко ценит Алексея Алексеевича, но вывезти его из города против его воли не считает возможным.

Однажды к Ухтомскому пришел его ученик Н.П. Мовчан. Он служил в авиации и ненадолго прилетел в Ленинград. Он предложил учителю покинуть город на его личном самолете. Алексей Алексеевич ответил, что охотно бы это сделал, но для работы над учебником потребовалось бы взять с собой много книг, в военном самолете их не поместить.

По свидетельству многих людей, опрошенных В.Л. Меркуловым, Ухтомский, несмотря на болезнь, постоянно появлялся в университете, много времени проводил в своей лаборатории, навещался в другие лаборатории, даже оставался там ночевать: дома ему было одиноко и сиротливо.

В начале декабря ученый совет университета организовал два заседания, посвященные совершенно надуманной дате: 50-летию сдачи В.И. Ульяновым (Лениным) государственного экзамена на юридическом факультете. Ухтомскому предложили выступить, он, конечно, не мог отказаться. В.Л. Меркулов обнаружил в архиве тезисы этого выступления, из которых интересен последний, за номером 7:

«Великого Волгаря, пронесшего далеко и славно русское имя среди народов мира. Человека, которому выпало быть руководителем в момент, когда история приступила к рождению нового мира. Человек, который умел вносить *всевозможные смягчения и глубокую гуманность* в самые острые моменты рождающейся исторической стихии, — вот кого из своих прошлых питомцев вспоминает сейчас Ленинградский университет в текущий жестокий момент своей жизни и жизни родной страны (курсив мой — С.Р.)»^[49].

Так Алексей Алексеевич пытался «в текущий жестокий момент» сказать слово в защиту смягчений и гуманности.

6.

Силы его иссякали.

С середины декабря он стал реже появляться в лаборатории, которая к тому времени опустела: большинство сотрудников эвакуировалось, а оставшиеся, ослабленные голодом и тяжелыми условиями жизни, часто и подолгу болели. В лаборатории не было света, топлива, не было лабораторных животных. Дома Ухтомский большую часть времени полулежал под своим полупухом и упорно работал над учебником. Голод его мучил не столько из-за скудости блокадного пайка, сколько из-за болей в суженном пищеводе. Принимал он теперь только жидкую пищу, и то не каждый день. «Иногда я ем, и тогда несколько подкрепляюсь; а иногда ничего не могу съесть за день, тогда очень слабо»^[50]. Однако «тщательный просмотр тетрадей Алексея Алексеевича за 1941-1942 гг. не обнаружил в них записей о его здоровье. Он записывал замечания по поводу работы сотрудников, делал выписки из научной литературы, намечал планы на будущее, но заметок о его здоровье и быте нет»^[51].

В марте 1942 года Алексея Алексеевича навещил и осмотрел видный хирург В.И. Сазонгов. Он и диагностировал рак пищевода. Он готов был сразу же поместить ученого в больницу и сделать срочную операцию, но Алексей Алексеевич этого не захотел.

Большим усилием воли он заставлял себя не думать о болезни и заниматься подготовкой учебника.

Его старинный друг и коллега Н.Н. Малышев обратился к нему с просьбой — быть оппонентом его докторской диссертации. Алексей Алексеевич внимательно прочитал диссертацию, написал отзыв и вызвался лично присутствовать на защите, которая была назначена в Зоологическом институте Академии Наук. 25 июня он отправился на защиту, пройдя пешком большой путь — от 16-й линии Васильевского острова до Дворцового моста.

Защита прошла успешно, и он, должен был пройти обратный путь своими распухшими, пораженными гангреной ногами. Еле живого, его привел домой Н.Я. Кузнецов, давний друг, тоже бывший оппонентом на защите Малышева.

Придя в тот день, как всегда, к Ухтомскому, но, не застав его дома, М.М. Шаркова сильно встревожилась. Когда он, наконец, появился, она набросилась на него с попреками:

— Ну, зачем Вы пошли пешком, ведь могли бы отослать свой отзыв. Вы себя, Алексей Алексеевич, не жалете.

Он ответил:

— Нельзя было не присутствовать. Я обещал быть. Да не будем об этом говорить.

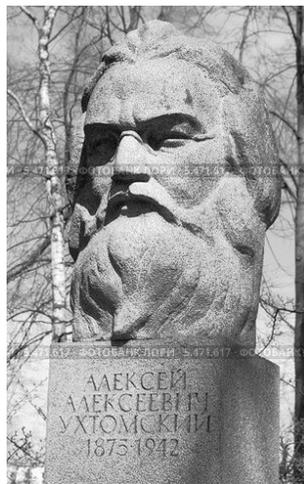
«С тех пор Алексей Алексеевич уже никуда не ходил, все лежал, и его здоровье стало сильно ухудшаться. Таял он на моих глазах, глотать пищу ему было больно. А сам он все писал полулежа и жалел, что времени и сил осталось мало», — вспоминала М.М. Шаркова [52].

Учебник Алексей Алексеевич успел закончить, но редакционно-издательская деятельность в университете прекратилась, и ему вернули рукопись. Издана она была уже после его смерти.

Частонавещавший его В.Е. Делов, заместитель директора Ленинградского ИЭМ, сообщил, что на 27 сентября назначено юбилейное заседание, посвященное 93-й годовщине со дня рождения И.П. Павлова. Он предложил Алексею Алексеевичу подготовить тезисы доклада.

Тезисы под названием «Система рефлексов в восходящем ряду» он подготовил и передал Делову, но выступить с докладом ему уже было не суждено.

31 августа 1942 года Ухтомского не стало.



Памятник на могиле А.А. Ухтомского на Волковском кладбище

(Конец второй части. Продолжение следует)

Примечания

[1] Анреп Глеб Васильевич (1889-1955). Видный физиолог, ученик И.П. Павлова. Участник Первой мировой и гражданской войны (на стороне белых, в армии Деникина). После эмиграции из России работал в Великобритании, с 1931 г. в Каире. «На протяжении всей своей жизни А. поддер-

живал самые тесные отношения с И.П. Павловым. Встречаясь на международных конгрессах за границей, А. оказывал И.П. Павлову помощь в переводе докладов на английский язык. Большое значение для пропаганды "павловского" учения за рубежом сыграло издание в 1927 г. Оксфордским университетом "Лекций о работе больших полушарий головного мозга" И.П. Павлова в переводе А., и переизданных в 1928 г.» (<http://www.ihst.ru/projects/emigrants/anrep.htm>)

- [2] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 3 января 1978 г.
- [3] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 25 декабря 1977 г.
- [4] Википедия, статья: Болдырев, Василий Николаевич.
- [5] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 25 декабря 1977 г.
- [6] Там же.
- [7] Цит. по: Сергей Евгеньев. В гостях у Сперанских. История одной фотографии. <http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=20798>
- [8] Цит. по: «Черная книга коммунизма», глава «Почему?» <http://blackrotbook.narod.ru/pages/33.htm>
- [9] Там же. Письмо от 23 апреля 1923 г.
- [10]
- [11] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова ко мне от 25 декабря 1077 г.
- [12] Л. Разгон. Непридуманное. http://lib.mn/blog/lev_razgon/189920.html
- [13] Arkadi Vaksberg, *Le Mystere Gorki*, Paris, Albin Michel, 1997, p. 312. Цит. по: «Черная книга коммунизма», глава «Почему?» <http://blackrotbook.narod.ru/pages/33.htm>
- [14] См.: Бирштейн В. Эксперименты на людях в стенах НКВД. «Человек», 1997, № 5, и другие работы того же автора. Подробнее в его книге: Vadim J. Birshtein. *The Perversion of Knowledge: The True Story of Soviet Science*.
- [15] Л. Разгон. Ук. соч., http://lib.mn/blog/lev_razgon/189920.html
- [16] А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 656. Письмо Фаине Гинзбург, 5 января 1937 г.
- [17] «Известия», 1936, 24 июня. Цит. по: П. Басинский. Страсти по Максиму. <http://lib.rus.ec/b/93381/read>
- [18] Там же.
- [19] «Известия». 1938. 28 марта. Цит. по: В.Д. Тополянский. Доктор Д.Д. Плетнев. <http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/os/305-318.pdf>
- [20] А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 655. Письмо к Ф.Г. Гинзбург от 5 января 1937 г.
- [21] Там же.
- [22] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 25 декабря 1977.
- [23] Там же.
- [24] <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=19> Воспоминания М.В. Кирзона.
- [25] Ухтомский. «Лицо другого человека», стр. 617. Письмо Ухтомского Фаине Гинзбург от 6 января 1928 г.
- [26] Там же.
- [27] А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 648. Письмо Фаине Гинзбург, 12 июня 1935 г.
- [28] Там же, стр. 653. Письмо Фаине Гинзбург, 21 октября 1936 г.
- [29] Там же, стр. 659-660. Письмо Фаине Гинзбург, 30 мая 1938 г.
- [30] <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=14> Письмо от 9 июня 1941 г.
- [31] Там же.

- [32] А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 492. Письмо от 11 февраля 1940 г.
- [33] А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 660-661. Письмо Фаине Гинзбург от 18 июня 1941 г.
- [34] Там же, стр. 599-600. Письмо Елене Бронштейн-Шур от 27 октября 1940 г.
- [35] А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 648. Письмо Фаине Гинзбург, 12 июня 1935 г.
- [36] <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=14> Письмо Е.А. Макаровой, 15 июня 1941 г.
- [37] Там же.
- [38] Новиков А.А. В небе Ленинграда (Записки командующего авиацией). — М.: Наука, 1970. Цитируется по интернет-версии: <http://militera.lib.ru/memo/russian/novikov1/02.html>
- [39] «Дуранда. Остатки семян масличных растений после извлечения масла, идущие на корм скоту; жмыхи». _ Словарь русского языка, т. I, М., «Русский язык», 1981, стр. 453.
- [40] Попков, Петр Сергеевич, председатель Ленгорсовета (1939-1946), затем 1-й секретарь Ленинградского горкома и обкома ВКП(б) (1946-1949). Один из главных фигурантов Ленинградского дела. Приговорен к расстрелу (1 октября 1950 г.). В 1954 г. посмертно реабилитирован.
- [41] http://www.infran.ru/vovenko/60years_ww2/petrova2.htm
- [42] Там же.
- [43] О.В. Иванова. Ухтомский Алексей Алексеевич, http://demetra.yar.ru/oblast/rybinskiy/persons/uhtomskiy_aa/
- [44] Цит. по: Меркулов, стр. 234.
- [45] Выступление И.А. Вепокова, посвященное памяти Ухтомского, с которым он выступил 22 сентября 1942 г. в г. Кирове, куда он эвакуировался, приведено в книге В.Л. Меркулова, стр. 237-238.
- [46] По версии О.В. Ивановой, Шаркова была бухгалтером Института физиологии.
- [47] А.А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 661. Письмо Фаине Гинзбург от 29 ноября 1941 г.
- [48] Меркулов, стр. 236. По другой версии справка подписана д.м.н. Д.М. Кустрей и имеет несколько иную редакцию: «Академик Алексей Алексеевич Ухтомский болен гипертонией 180-85, кардиосклерозом, эндоартеритом и фиброзом легких и поэтому нуждается в покое и не может эвакуироваться». (О.В. Иванова. Ухтомский Алексей Алексеевич. http://demetra.yar.ru/oblast/rybinskiy/persons/uhtomskiy_aa/)
- [49] Меркулов, стр. 245.
- [50] Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 500. Письмо Ухтомского В.А. Платоновой от 22 июля 1942 г.
- [51] Меркулов, стр. 237.
- [52] Меркулов, стр. 239.



Виктор Лихт

ЖАРКОЕ ЛЕТО 1972 ГОДА

То лето на европейской части территории СССР выдалось необычно знойным. Горели хлеба и торфяники. Истекали потом люди. А Саратовский театроперы и балета и автор этих строк в составе его оркестра гастролеровали в Ростове и Киве. И "гвоздем" гастролей обещало быть выступление Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской в опере Пуччини "Тоска".

Как я попал в оперный театр

История, как я попал в оперный театр, начинается с того, что я... не попал в оперный театр. Точнее в его оркестр.

Я всегда считал себя человеком филармоническим. В оркестре Саратовской филармонии, называвшейся тогда "областной", начал работать "на подхвате" еще будучи студентом музыкального училища. С 1962 года, одновременно с поступлением на вечернее отделение Саратовской консерватории, был принят в филармонический оркестр, о чем свидетельствует первая запись в моей трудовой книжке. Затем был перерыв, вызванный переходом на дневное отделение и службой в армии. Но и в эти годы, за исключением трех армейских, меня постоянно приглашали на разовые концерты, когда требовалось подкрепление. А с 1968 года я снова вернулся сюда на постоянную работу. Поэтому, оканчивая консерваторию в 1969 году, вроде бы мог не сомневаться, что буду распределен в филармонию.

Между тем, основания для сомнений и даже волнений появились. Именно в 1969-м руководство Саратовского оперного театра решило укрепить свой оркестр, пополнив его свежими силами. Работать туда никто не рвался, учитывая, что зарплата была примерно такая же, как в филармонии, если не меньше, а нагрузка значительно больше — репетиции и спектакли каждый день. Да и сама работа куда менее интересная. В отличие от филармонии, где репертуар постоянно обновлялся, в опере премьеры были редки. К тому же в филармонию регулярно приезжали приглашенные солисты, а порой и дирижеры, среди которых было немало музыкантов выдающихся. В оперном же театре рутинная репертуарная усугублялась рутинной работой с одними и теми же солистами и дирижерами. Гастролеры тут тогда были еще более редки, чем премьеры.

В этих условиях дирекция оперного театра прибегла к единственному доступному в СССР ресурсу — административному. В министерство культуры ушло письмо о бедственном положении театрального оркестра с предложением помочь делу, направив всех выпускников Саратовской консерватории текущего года именно в оперный театр. На что министерство с готовностью согласилось.

Слухи об этом дошли до консерватории. Я забеспокоился и сказал руководству филармонического оркестра, что недурно бы оформить на меня персональную заявку, а то неровен час заберут. Меня заверили, что все будет сделано как надо.

Настал день распределения. В кабинете ректора заседала специальная комиссия, в которую была включена представительница министерства. И хотя формально председателем комиссии был наш ректор Василий Сергеевич Кузнецов, решающее слово принадлежало именно этой даме.

Мне было предложено выбрать одно из двух направлений — преподавателем в какую-то Тьмутаракань (сейчас уже не помню, в какую именно) или в оркестр оперного театра. Я возразил, что на меня есть персональная заявка.

— Никаких исключений! — отчеканила министерская дама. — В оперном театре вы нужнее.

— Но ведь я уже работаю в филармоническом оркестре. Забирая меня отсюда, вы вынуждаете их искать скрипача мне на замену. Какой-то тришкин кафтан получается...

— Не умничайте, министерству виднее.

— Тогда я отказываюсь подписывать направление.

— В таком случае вы не получите диплом об окончании консерватории.

В этот момент в разговор вмешался Василий Сергеевич.

— Подписывай, — сказал он мне негромко. — Филармония с оперой сами между собой разберутся.

Я сдался.

Некоторое время пришлось понервничать, ожидая санкций за неявку на работу по распределению, но обошлось. Лишь в двух эпизодах мне напомнили об злополучной подписи. Перед оперно-концертным сезоном встретился на улице знакомый дирижер из оперы.

— Почему не приходите на работу?

— Я прихожу. В филармонию.

— Но вы распределены к нам!

— Я работал в филармонии и буду работать там.

— Придется нам жаловаться в министерство.

Видимо, пожаловались, о чем свидетельствовал небольшой инцидент в отделе кадров консерватории. Я пришел туда, чтобы оформить работу по совместительству — "иллюстратором". Дело в том, что число пианистов среди студентов консерватории всегда значительно превышало количество струнников. Поэтому для занятий в классе камерного ансамбля пианистам не хватало партнеров-соучеников. Чтобы восполнить эту недостачу и существовал институт "иллюстраторов", вольнонаемных струнников, которые играли с оставшимися одиночными студентами-пианистами. Подрабатывал этим и я.

— Боюсь, Василий Сергеевич не подпишет ваше заявление о приеме на работу, — огоршила меня "кадровщица". — Вы не явились на работу по распределению.

— Да он сам мне намекнул, что дело уладится.

— Ну, не знаю. Ему это вряд ли понравится, он уважает законы.

Уважал он или нет, однако заявление мое подписал.

Между тем, судьба готовила мне новую встречу с оперным театром, уже не гипотетическую.

Прослужив в филармонии два года после окончания консерватории, я стал задумываться. Меня всегда тяготило хождение строем, а всякий оркестр, даже самый замечательный, — это немножко армия, в которой тобой командуют и ты сам себе почти не принадлежишь. А я по складу своего характера индивидуалист, к тому же склонный к теоретизированию. Вот почему я решил немного поменять специальность и поступил на музыкальный факультет.

В тот год, о котором идет речь я закончил первый курс как теоретик, параллельно преподавая в музыкальной школе, по-прежнему "иллюстрируя" в консерватории и изредка участвуя в отдельных программах филармонического оркестра в

прежнем качестве. И тут случилось чрезвычайное событие в оперном театре. Его новый главный дирижер Владимир (Вольф) Михайлович Горелик (он работал после Саратова в Московской оперетте, а затем, до самой смерти в марте 2013 года — в столичном музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, или "Стасике", как называют его музыканты) очень активно взялся за обновление репертуара. Он поставил "Евгения Онегина" с молодежным составом солистов, которых активно вводил и в другие спектакли. А чтобы как следует расшевелить своих подопечных позвал спеть заглавную партию в "Тоске" Галину Павловну Вишневскую. Та согласилась, но поставила условие — дирижировать будет Мстислав Леопольдович Ростропович.

Ростропович

В Саратов Мстислав Леопольдович всегда приезжал с особым удовольствием, потому что там живет его двоюродная сестра-пианистка и ее потомство. А в начале 70-х годов, когда его лишили зарубежных гастролей в связи с тем, что он посмел приютить у себя на даче Солженицына, Саратов вообще остался одним из немногих городов, где народному артисту СССР и лауреату Ленинской премии давали не только выступать, но и общаться с коллегами, со студентами.



Не могу сказать, чтобы те, кому было положено бдеть в нашем городе, совсем уж не ловили мышей. В связи с Ростроповичем я сам ощутил это дважды, когда один раз от моего предложения написать рецензию на его концерт отказалась молодежная газета, до того печатавшая все, что я приносил, а в другой раз в главной городской газете "Коммунист" аккуратно вырезали кусок о нем в уже подготовленной к печати рецензии (увидев это безобразие в гранках, я решительно отказался выпускать статью в таком виде, после чего она была тихо отправлена в корзину для бумаг). Как Горелику удалось уговорить городское начальство — не знаю, видимо в ход пошли финансовые аргументы — опера отнюдь не процветала. Вишневская дала в театре сольный концерт с Ростроповичем за роялем, а также спела в "Тоске", и Ростропович дирижировал. Успех был грандиозным, сборы тоже.

Для такого случая Горелик расширил струнную группу оркестра за счет приглашенных музыкантов, в число которых попал и я. И после этого почти всех приглашенных решено было взять с собой на гастроли в Ростов и Киев. Для столицы Украины в гастрольном плане была заявлена и "Тоска" с Вишневской и Ростроповичем.

Без смычка

Гастроли на Дону начинались раньше, чем у меня кончалась экзаменационная сессия, не только студенческая, но и в качестве "иллюстратора". Поэтому я выговорил себе право присоединиться к театру позже. Поскольку дорог был каждый день, я пообещал выехать из Саратова дневным поездом, сразу после последнего госэкзамена по камерному ансамблю у пианистов.

Государственные, то есть выпускные экзамены, в отличие от переходных, сдавались не в классе, а на сцене Большого зала консерватории, в концертной обстановке, с публикой. Я играл в нескольких камерных составах, все время поглядывая на часы — успеваю? Закончив, влетел в артистическую, лихорадочно, как говорят музыканты, в темпе presto упаковал инструмент, схватил футляр и заранее подготовленный чемодан и устремился на вокзал. Пospел к самому отходу поезда.

В дороге с удовольствием отсыпался после длинной двойной экзаменационной сессии. В Ростов поезд прибыл незадолго до спектакля. В гостинице я успел только расположиться в номере, перекусить и переодеться в вечернюю форму. И тут же отправился в театр. Представьте мой ужас, когда, открыв там футляр, я обнаружил, что в нем нет... смычка! На удачу, у одного из коллег оказался запасной.

После спектакля пришлось звонить домой маме, объяснять ей, кто был в артистической и как их найти, чтобы выяснить судьбу смычка. К счастью, смычок нашелся, и мама с очередной театральной оказией передала мне его в Ростов.

Ростовские страдания

Спектакли проходили в здании местного драматического театра имени Максима Горького, шедевре советского конструктивизма, построенном в 1935 году в виде... трактора.



Энциклопедии утверждают, что в Лондонском музее истории архитектуры Россию представляют всего два макета: собор Василия Блаженного и здание ростовского драматического театра! Однако поскольку это не собор и не железный конь, с которым мы, как пелось в известной песне, "все поля обойдем, соберем и поседем, и вспашем" (у автора стихов было весьма своеобразное представление о порядке земледельческих работ!), то нам была важна не его индустриально-колхозная красота, а

пригодность для театральной работы. Когда-то его огромный зал вмещал 2200 человек, а на сцену во время одного из первых спектаклей, как пишут историки, был выведен целый конный отряд! Но в 1943 году здание взорвали отступающие фашисты. Восстановили его только в 1963 году, к 100-летию Ростовского театра. Зал при реконструкции уменьшили почти вдвое, да и сцена уменьшилась.

По идее, за счет этого должны были расшириться служебные помещения. Не знаю, как насчет примерок, но вот комната для оркестрантов оказалась тесной и неудобной. Оно и понятно — расчет на небольшой оркестр драматического театра, а не на полный симфонический. Столь же тесной и неудобной была и оркестровая яма. Разумеется, в ней не было кондиционера. Кондиционеры в ту пору вообще были редкостью, не знали их и в Саратовском оперном, поэтому, попав чуть позже в Киевскую оперу, где подобное чудо водилось, мы ощутили себя как в раю. Однако в Ростове в оркестровой яме, похоже, не было и обыкновенной вентиляции, и в течение нескольких часов, пока длился спектакль, мы умирали в ней не только от жары и обильного пота, но и от духоты.

Возвращение в гостиницу облегчения не сулило, там тоже прохлады не наблюдалось. Ночи стояли жаркие и душные. Днем асфальт плавился на солнце. А мы с завистью смотрели на местных мальчишек, в одних трусах купавшихся в фонтане. Впрочем, вода в нем, скорее всего, была горячей и облегчения не приносила. Удалось несколько раз сбегать на донской пляж, но и река напоминала суп, недавно снятый с огня и еще не успевший остыть.

В один из дней всех нас собрали на политинформацию. На ней выступил представитель саратовского обкома партии, рассказавший о ходе полевых работ в условиях небывалой жары и об идеологической важности гастролей артистов с Волги на Дону и на Днепре. Народ недоумевал, зачем нам все это выслушивать, пусть и не под палящим солнцем, но в душном и тесном помещении. И удивлялся, чему, дескать, обязаны и что бы все это значило. Некоторые предположения на сей счет у меня явились позже.

Театр Сатиры

В Киеве мы гастролитовали одновременно с московским Театром Сатиры. У меня с этим театром сложились особые отношения. В его оркестре работал ударником Лева Тертель, с которым мне довелось служить в армейском ансамбле. Правда, вместе мы прослужили недолго, я свой армейский срок только начинал, а он заканчивал, но наши дружеские отношения сохранились, и бывая в Москве, я его всегда навещал. К тому же судьба распорядилась так, что наши пути пересекались во время гастролей.

Первый раз это случилось в Челябинске в 1970 году, где я гастролитовал тогда еще с оркестром Саратовской филармонии. Поскольку у нас, в отличие от театра, вечера были заняты не все, я побывал с помощью Левы на нескольких спектаклях "сатириковцев". Артисты этого театра тогда были сверхпопулярны, ибо многие из них снимались в кино, а некоторые подвизались в качестве панов и паненок в "Кабачке 13 стульев". И хотя Лева иронизировал по этому поводу, уверяя, что судить о них по "Кабачку" — все равно, что судить о коньяке по запаху клопов, успех у них был бешеный.

Однако всегда ли челябинская публика была достойна того, что видит? Через полгода, во время гастролей филармонического оркестра в Москве, мне дове-

лось снова побывать на "Женитьбе Фигаро", которую я видел в уральском городе. И это был совершенно другой спектакль! Артисты играли те же, но зритель был другой, он с благодарностью откликался на нюансы, которые провинциальная публика, да простит она меня, оставляла без внимания. Центральный монолог Фигаро о продажности всего и вся звучал удивительно остро и современно, хотя Андрей Миронов не добавил в него ни слова. Просто публика тут понимала не только текст, но и подтекст, и любой намек на него — в жесте, в улыбке, в многозначительной паузе — воспринимался на ура. Артист это чувствовал и, казалось, общался с залом напрямую, как оратор-публицист, а не произносил заученные слова...

В Киеве я уже сам работал в театре, спектакли у нас тоже были каждый день. Поэтому довелось побывать всего на одном представлении москвичей. Но поскольку Лева на сей раз не достал контрамарки, он попросил меня прийти пораньше, чтобы провести через служебный вход. И я побывал на прогоночной репетиции, которая произвела на меня едва ли не большее впечатление, чем спектакль. Особенно поразила Татьяна Ивановна Пельцер, которая несмотря на довольно почтенный уже возраст носилась как молодая по конструктивистским декорациям (игрался "Темп-1929" по Погодину) и ловила каждое слово молодого тогда Марка Захарова, у которого и Ленком, и все фильмы были еще впереди. На фоне оперных артистов, даже молодых, уже за день до спектакля репетировавших вполголоса и вполноги, эта артистическая самоотдача за полчаса до поднятия занавеса казалась удивительной!



Киевская "Опера"

И снова Ростропович

Вернее, теперь уже без него. И без Вишневской. В ее книге "Галина" этот эпизод описан. Она отказалась приехать в Киев сама: нужно было отдохнуть, подготовиться к новому сезону. А Ростропович поехал. Ведь ему был дорог каждый жест внимания в условиях, когда его уже не только не пускали за рубеж, но и не подпускали к Большому театру, отменяли записи и хамски давали понять, что он никому не нужен. И еще он решил взять с собой дочек, чтобы показать им Киев, где они до того никогда не бывали.

"Слава согласился приехать, — пишет Вишневская, — и разработал генеральный план: возьмет с собой Ольгу и Лену, поедут на машине до самого Киева, не торопясь, останавливаясь по дороге в разных интересных местах... Выехали на

рассвете, набрав с собой разных туалетов, продуктов побольше, вооружившись картами. Первая ночевка в Брянске. А через день к вечеру вернулись в Жуковку с унылыми физиономиями... Оказывается, в Брянске, куда они добрались уже к ночи, их ждала телеграмма из Киева о том, что в связи с переменной программы гастролей спектакли "Тоски" отменяются. Потом нам рассказали, что киевские власти просто запретили появление в их городе Ростроповича, а публике объявили, что он уехал за границу и отказался дирижировать в Киеве".

Так писала Вишневская. Не знаю, что объявили публике, подозреваю, что ничего. Просто заменили имя на афишах без всяких объяснений. Да и нам официально просто сказали, что Ростроповича не будет. Слухи о том, что киевские партначальники не захотели видеть в своем городе друга Солженицына ходили лишь в кулуарах, а да оркестра они дошли потому, что на скрипке в нем играла молодая жена Горелика. Но и она знала не так уж много, потому что он предпочитал дергать язык за зубами.

У меня же тогда были лишь предположения. Позже их подтвердил сам Вольф Михайлович, когда буквально месяцдо смерти навестил родных в Израиле и позвонил мне по телефону, чтобы передать живой привет от моего внука, студента Московской консерватории, подрабатывающего в оркестре "Стасика".

Представитель саратовского партийного обкома появился у нас в Ростове отнюдь не потому, что кому-то пришло в голову, будто мы не проведем гастролей на должном уровне без сведений об уборочной страде в Саратовской области. Причина была в том, получив программу гастролей, киевские идеологические блостиители нажаловались саратовским. А те, после того как буквально несколько месяцев назад "прошпилили" Ростроповича, дирижировавшего в Саратове той же "Тоской", решили, что действовать напрямую — навредить самим себе. И послали спецпредставителя уговаривать Горелика отказаться от выступления Мстислава Леопольдовича по собственной инициативе. Однако посланец не преуспел, иначе Ростропович получил бы телеграмму раньше, еще из Ростова. Вольф Михайлович пообещал сам уговорить киевские власти. Но тут уж не преуспел он. И с горечью, которая слышна была в его голосе даже сорок с лишним лет спустя, сказал мне по телефону: "По-моему, Ростропович с Вишневской считали, что во всем виноват я". И сколько я не уверял его, что, судя по тому, как рассказан этот эпизод в ее книге, Галина Павловна так не думала, он печально повторил несколько раз: "Боюсь, что считала именно так..."

В Саратов после гастролей я возвращался через Москву. И был поражен тем, что столица вся пропахла гарью, а на улице Горького, глянув от Пушкинской площади вниз, в сторону Красной площади, можно было видеть какую-то странную сизую мглу. Газеты, радио и телевидение хранили об этом феномене гордое молчание. И только позже, когда я уже был дома, в "Литературке" просочились первые сведения о горящих торфяниках. Все же остальные по-прежнему докладывали, что несмотря на страшную жару уборочная страда идет успешно...



Александр Боровой

2003 И ДРУГИЕ ГОДЫ

(продолжение. Начало в №5/2014 и сл.)

Часть 2

1 сентября, понедельник.

Много событий прошло за июль и август. Два из них существенны для моей жизни — с 4-го августа началась работа по Контракту и с 12 по 18 июля мы с Точкой на теплоходе «Ильич» проплыли из Москвы в Петербург и назад.



Берег с борта нашего теплохода.

Весь август шла очень напряженная и, в основном, бесполезная работа по написанию отчетов по так называемому управлению Контрактом. Я уже писал о них. «Взаимодействие», «Управление рисками», «Программа качества» и другие. Только один из них был действительно полезен для дальнейшей работы. Это — «Детальный рабочий план». Тем не менее, мы старались, как могли, и все документы сдавали и сдаем во время и по требуемым канонам.

День уже кончается. Солнце ушло из окон квартирки на 5-ом этаже и надо зажигать люстру.

Такой важный в моей молодости день — первое сентября.

* * *

«Дети в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно,
Поскорее одевайтесь,
Смотрит солнышко в окно».

«Все в этой песенке неправда» — думаю я, проснувшись от Бабушкиного голоса. «Какие пегушки? Какое солнышко? Отвратительная песня!».

За окнами нашей комнаты на улице идет дождь. Темно. Над столом горит лампа, а Бабушка, аккуратно причесанная и одетая в неизменное темное платье ставит на стол тарелки и кладет салфетку.

Папы нет. За год до того, как я пошел в школу он уехал на Украину, восстанавливать Днепрогэс. Перед отъездом у нас состоялся мужской разговор. Папа объяснял мне, что ему необходимо ехать, он сможет больше зарабатывать и посылать нам деньги на жизнь, а я упрямился и просил его не ехать или взять с собой меня и Бабушку.

Я просил, но в душе ясно понимал, что дело решенное. Бабушка не могла куда-то ехать из-за своей болезни, а я не мог ее оставить, так как в ней был сосредоточен весь мой мир. Все-таки я продолжал канючить до тех пор, пока Папе это не надоело и он не сказал: «Тусенька, ты все прекрасно понимаешь, не надо меня упрямить, мне расставаться с Вами тоже не легко, но мы же не очень надолго расстанемся. Время придет, Вы придете ко мне в гости».

В общем, все так и получилось.

Но жизнь наша за это не очень долгое время очень сильно изменилась.

Папа, работая на Днепрогэсе, познакомился, влюбился и в 1945 г. женился на Алле Васильевне Андреевской.

В 1945 г. летом мы с Бабушкой поехали к ним и прожили в Запорожье почти два месяца. Я ездил летом к Папе уже один, в 46 и 47 годах.

А в последний день марта 1946 г. родилась моя любимая сестра Наташа.



Мы с Наташенькой, уже подростком, в Москве.

Но вернемся к моей школе.

Утром выхожу с большим запасом времени. Я всегда, всю жизнь выхожу с запасом, боюсь куда-либо опоздать и, надо сказать, практически никогда не опаздываю. Зато всегда всех жду. Томочка шутит, что это влияние немецкой крови.

Дождь. Идти недалеко. Выйдя из дома, 22 — по Пречистенскому переулку, иду по Левшинскому и Денежному (раньше — улице Веснина) и в подворотню, мимо стен из красно-серого кирпича в свою 46 мужскую среднюю школу. Длинный дом отделяет ее от Садового кольца.

Если пройти дальше через двор и выйти сквозь арку длинного дома, то попадаешь на Смоленский бульвар, а правее — Смоленская площадь.

Уборщица в вестибюле моет пол, раздевалка еще закрыта. Ничего, можно опереться о стенку, подождать и подумать, а главное, помечтать.

* * *

И я, сегодняшней, внешне ничем не напоминающий тоненького мальчика, ждущего в вестибюле, старый толстый человек, перестаю нажимать на буквы клавиатуры и тоже отвлекаюсь и надолго задумываюсь.

* * *

Теперь, когда внуки выросли, старшие девочки окончили школы, младшие учатся, только Андрюша еще не охвачен нашим, ставшим весьма средним образованием, я иногда задаю им вопрос о том, любят ли они свою школу. И получаю почти стандартный ответ, что «да», любят, иногда даже (внучка Саша) «очень любят». Тогда я замолкаю и думаю, отчего же так получилось, что я могу ответить на этот вопрос скорее отрицательно.

По внешним признакам трудно было бы об этом догадаться. Казалось совсем наоборот. Я был круглый отличник. Учителя меня постоянно хвалили, да и я к большинству относился хорошо, а несколькими из них искренне и глубоко благодарен. С товарищами отношения были хорошие. Я окончил школу с золотой медалью.

Но вот школа, как учреждение...

Может быть, сыграл свою роль далеко не ласковый прием, довольно трудные первые месяцы ученья.

Когда я появился в школе, то очень быстро понял, что ученики делятся на две половины. К первой относились хозяева класса, переростки 10-12 лет, которые по разным причинам, связанным с войной, не смогли вовремя начать учение. Отсутствие начального школьного образования у них восполнялось образованием, полученным на улицах, во дворах и в подворотнях нашего района, который свято хранил традиции бывшего здесь раньше Смоленского рынка.

Другая половина — испуганные первоклашки вроде меня.

Жизнью в классе управляла не толстенькая пожилая учительница — Анна Ивановна Чебурашкина, а «авторитет» из первой половины класса.

Должность эта была отнюдь не пожизненная. Дважды в течение первого полугодия повторялась история, когда очередного «авторитета» вызывали в кабинет директора, откуда он больше не возвращался. Второй раз я, посланный в учительскую за мелом, имел возможность наблюдать, как идущий по коридору милиционер сопровождал нашего грустного вождя к выходу.

Вторая половина класса тоже была не совсем однородна. Так, один мальчик, при ближайшем знакомстве оказался сыном военного прокурора, и к нему практически не приставали. Вообще у тех, кого провожали и встречали родители или другие взрослые, жизнь была чуть получше.

Меня же первый раз в школу отвела Мая Терехова — дочь Екатерины Николаевны Тереховой (той, что рассказала о карточках с литером «Д»). Мая училась в МГУ и временно жила у нас в квартире, в маленькой комнатухе при кухне.

Она была добрая девушка, но очень занятая, так что постоянно провожать, а тем более встречать меня не могла. Иногда Варюше удавалось выкроить время и довести меня до школы. Но до приезда Папы из Запорожья (а это 48 год) она работала и провожала меня не часто.

И на родительское собрание приходило было некому. Бабушка никуда не выходила, Варюша была почти неграмотная, всяких собраний и других мероприятий боялась, как огня.

И чтобы на переменах не мучили, затащив в угол, не капали тихонько во время урока чернила на голову, не втыкали булавки в лавку парты, не запирали в шкаф со щетками и тряпками, надо было находить какую-то особую линию поведения.

Не простую, не похожую на ту ясную и прямую линию, по которой я двигался по жизни до тех пор. Трудно все это давалось.

Конечно, имея за своими плечами Бабушкину школу, я мог безо всякого труда аккуратно писать буквы и слова, рисовать картинки, решать любые арифметические примеры. Все это пригодилось и вот я уже тружусь во время перемены над чужими тетрадами, обеспечивая четверками и пятерками отстающих великовозрастных учеников.

Или стараюсь просто и понятно пересказать им интересные истории, почерпнутые из прочитанных книг. Много еще что приходилось делать. А кроме того, жизнь постоянно напоминала о том, что делать было нельзя. Прежде всего, категорически нельзя было жаловаться.

Один худой рыженький мальчик, начавший с осторожных сообщений — доносов Анне Ивановне и кончивший тем, что вынужден был сидеть на уроках рядом с учительницей на первой парте, а на переменах уходить с ней в учительскую, поплатился за «ябедничество» проломленной головой. Рыженького подстерегли на улице после уроков в тот день, когда родители немного опоздали его встретить. Подстерегли незнакомые ему парни — друзья очередного авторитета.

Он попал в больницу и больше в нашей школе не появлялся.

Ну, с жалобами вопрос для меня решался просто. Жаловаться было некому. Рассказывать Бабушке о школьных нравах я не стал ни тогда, ни после.

Правда, приходилось выкручиваться и пытаться объяснить почти необъяснимые факты. Например, почему с моего пальто оказались срезанными все пуговицы? Красивые пуговицы, хранившиеся раньше в бабушкиной деревянной шкапулке вместе с какими-то дореволюционными неприкосновенными запасами. Не говорить же, что они очень понравились одному старшему юноше и он, с помощью двух державших меня приятелей, избавил от пуговиц мое перешитое из папиного пиджака пальто.

Не помню точно, какую историю я придумал, но помню, что она поселила в Бабушке уверенность, что в школьной раздевалке дежурят не совсем нормальные люди.

Должен сказать, что мои попытки стать незаметным или полезным для представителей правящего класса приносили очень медленный успех.

Но постепенно избавление пришло само.

Я пришел в школу 1 сентября 1946 г. Первые полгода не помню, чтобы среди учителей я видел хотя бы одного мужчину (кроме директора). Однако, зимой ситуация начала меняться. В мужских школах становилось все больше учителей-мужчин. Было ли это сделано по какому-нибудь приказу или случилось у нас в школе просто по стечению обстоятельств — не знаю.

Многие приходили на уроки в гимнастерках, с ленточками орденов и медалей, с нашивками за ранения, иногда с палочкой, а случалось и с пустым рукавом.

Благодаря им царство улицы стало ограничиваться и подавляться.

У нас это очень ясно проявилось, когда на уроке один из авторитетов, сидевший на первой парте, ответил на гневное замечание Анны Ивановны длинной матерной тирадой. Смысл ее я не понял, но учительница страшно покраснела и выбежала в коридор.

Пока авторитет улыбался и, повернувшись спиной к двери, победно оглядывал класс, эта самая дверь отворилась и в нее, внешне совсем не торопясь, но на самом деле

как-то очень быстро вошел молодой человек. Он безошибочно подошел к триумфатору и, взяв его со спины одной рукой за пояс, а другой за воротник, без видимых усилий вытащил из-за парты и со словами: «Ты, значит, сюда пришел над учительницей измываться», — выкинул, как котенка, здорового 12-летнего парня в раскрытую дверь.

Никакими словами не описать действие этого педагогического приема...

Очень скоро главные мои мучители притихли, а потом и вообще постепенно исчезли в недрах системы ПТУ — производственно-технических (а проще — ремесленных) училищ.

А нелюбовь к школе осталась.

Теперь она питалась раздражением и скукой, которые я испытывал на многих уроках.

Большинство предметов давалось мне легко, очень многие были так интересны, что я не мог остановиться и читал одну за другой главы из учебника, забегая вперед и обгоняя программу. Рылся в дедушкиных книгах и находил в них интересные подробности. Бегал вокруг стола и рассказывал все это Бабушке, сидящей за своим вязанием.

Жизнь казалась такой замечательной.

А потом надо было идти в школу и часами слушать плохой, а часто и совсем неверный пересказ давно известных мне вещей томившимися у доски соучениками.

В первой части этих записок я писал: «Воспоминания детства чаще всего выглядят, как старый немой фильм. Черно-белое изображение, рвущаяся пленка, непонятные стертые кадры, потом пустое полотно. Но вдруг на каком-то месте возникает цвет, сцены наполняются звуком и смыслом».

Несмотря на глубокую благодарность, которую, как я уже говорил, испытываю к большинству моих учителей, воспоминания, которые касаются школы, чаще всего выглядят в моей памяти, как стертая серая лента.



Я учусь в 9 классе. Увлекаюсь фотографией и прошу Бабушку сфотографировать меня с нашей кошкой.

2 сентября, вторник.

Перечитал все, что написал о школе. Получилось мрачновато.

А было много веселого и светлого в начале жизни, в том числе, связанного с этой самой школой. Иногда я рассказываю какие-то эпизоды тех лет своим вну-

кам, и мы ужасно хохочем. Например, такой эпизод, который можно было бы назвать (да здравствует Гоголь!) «Страшная месьть».

Нашего преподавателя химии звали Александр Моисеевич. Раньше он преподавал в каком-то институте, но потом перешел в школу, вряд ли по собственному желанию, а скорее всего из-за не приглянувшегося начальству отчества и совершенно не арийской внешности.

Это было время борьбы с низкопоклонством перед западом и космополитами — «людьми без родинь», которая имела все признаки охоты на ведьм.

Александр Моисеевичу не повезло, а нам, я считаю, очень повезло. Сталкиваясь позже с химией во время учебы в МИФИ, на работе в «Курчатовском институте» и в Чернобыле, я постоянно использовал знания, полученные от А.М., и не раз мысленно его благодарил.

Очень скоро после своего прихода он организовал химический кружок и мы, с большим энтузиазмом, стали готовить эффектные опыты-демонстрации для приближающегося новогоднего вечера.

В частности я должен был поджигать смесь, состоящую из многих веществ, в том числе и магниевой стружки. Если ее удавалось поджечь, то над столом образовывалось грибообразное облачко. Оно переливалось всеми цветами от желтого до багрово-красного и фиолетового, долго не теряло своей формы и при некоторой фантазии напоминало тысячекратно уменьшенное облако ядерного взрыва.

Правда, по прошествии нескольких минут облачко все же расплывалось и создавало в кабинете химии отвратительный запах, так что, по общему мнению, эта демонстрация должна была завершать все выступления. Она, к тому же, позволяла окончить праздник в точно назначенное время, поскольку публика после нее безо всяких напоминаний стремилась покинуть помещение.

Роковую роль в этой истории сыграла магниевая стружка. Если кто не знает, то даже небольшое ее количество, вспыхнув, заливает все ослепительным светом. В далекие времена она использовалась фотографами для вспышек.

Поэтому в приготовляемой мною смеси для запала использовалась лишь маленькая щепотка магния.

На генеральной релетиции новогоднего вечера я очень переживал, что смесь никак не хочет разгораться и даже вышел в коридор, чтобы собраться с силами. В этот момент один из моих друзей успел сыпануть в нее не щепотку, а добрую горсть магниевой стружки.

Я вернулся и, ничего не подозревая, поднес спичку к фарфоровой чашке с порошком. Эффект превзошел все ожидания. Большинство участников химического кружка на несколько минут ослепли.

Я, по-видимому, в момент вспышки моргнул и этим спас себе глаза. Но лишился бровей, ресниц, части волос и получил (несильный) ожог лица.

Когда сквозь бегущие слезы удалось разглядеть окружающие предметы, то первое, что я увидел, был А.М., который так хохотал, что свалился за парту и дрыгал в воздухе ногами.

Через небольшой промежуток времени, в кабинет химии с криками влетели несколько учителей во главе с директором, и все химические демонстрации на вечер были запрещены.

А я затаил глубокую обиду на своего учителя и стал ожидать момента, когда можно будет отомстить.

3 сентября, среда.

Такая возможность представилась месяца через три. На большой перемене я узнал от ребят из параллельного класса, что нам на следующем уроке предстоит в химическом кабинете изучать водород и знакомиться с взрывом гремучего газа.

Демонстрация этого взрыва выглядела следующим образом. На большом столе около доски располагался аппарат Киппа. В нижний баллон была загружена цинковая стружка, а в верхний налига соляная кислота. Когда краник открывали, кислота стекала на стружку, а в средний баллон поступал образующийся в реакции водород: $Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2\uparrow$.

Этим водородом преподаватель через резиновую трубку наполнял перевернутую консервную баночку, затем подносил к низу баночки горящую лучину. Происходил взрыв гремучего газа — смеси водорода и кислорода воздуха. Баночка с негромким звуком подскакивала на столе, а А.М. рассказывал, какие ужасные последствия может вызвать полноценный взрыв.

И я сразу же решил максимально приблизить демонстрацию к реальности.

Пробраться в кабинет химии не представляло трудности. Вся аппаратура была уже собрана. Прежде всего, я выкинул маленькую (приблизительно стограммовую) баночку в форточку и заменил ее полноценной металлической банкой из под югославской ветчины (литра на два). Затем открыл кран и от души наполнил перевернутую банку водородом. Потом сел на последнюю парту и стал ждать пока придут остальные ученики.

Начался урок.

Александр Моисеевич важно прохаживался вдоль стола и, поглядывая на сидевшую на первой парте Наташу Шишкину, рассказывал о свойствах водорода.

Дойдя до гремучего газа, он привел несколько примеров страшных последствий его взрыва и обернулся к лабораторному столу. «Сейчас мы услышим и увидим такой взрыв, совсем слабый. Но, тем не менее, многие девочки его пугаются», — сказал преподаватель и с некоторым недоумением посмотрел на изделие югославской промышленности, к которой теперь шла резиновая трубка.

Потом он поискал взглядом прежнюю баночку, но не обнаружил и, решив не продолжать поиски, буквально на секунду открыл краник, закрыл и зажег лучинку.

А дальше — время для меня замедлилось и произошедшее до сих пор видится как отдельные кадры кино.

Вот А.М. подносит огонек к нижнему торцу банки.

Раздается оглушительный взрыв, который сметает все, что стояло на столе.

Химическая посуда оказывается на полу, струя кислоты, дымясь, ползет между осколками.

Банка с отвратительным визгом врезается в потолок и повисает, застряв в перекрытии.

От потолка отрываются пласты штукатурки и падают на пол, в кислоту.

Шипенье, пар, отвратительный запах.

Ученики пытаются забиться под парты.

А Александр Моисеевич почти нечеловеческим прыжком преодолевает расстояние до полуотворенной двери, выскакивает в коридор и, повернувшись, наблюдает сквозь щель за дальнейшим развитием эксперимента.

В этот момент раздается низкий голос Наташи: «Александр Моисеевич, но ведь и правда — страшно». Бедная девочка решила, что демонстрация так и задумывалась.

В первый раз я рассказал про свою месть лет через тридцать после произошедшего, полагая, что за давностью лет административной и уголовной ответственности уже не подлежу.

5 сентября, пятница.

Вчера вечером «кошка Федя» сильно меня удивил.

Началось все с того, что между ним и Кирой началась потасовка. О ней мы узнали по Кириным воплям и шипению. Потом она встrepанная вылетела из большой комнаты и, завывая от обиды, спряталась в гардеробной. Мы с Томиком бросились на защиту с воплями: «Федя, прекрати! Федя ФУ!!». А Федя в полной уверенности, что спасется от возмездия, взлетел как ракета под потолок на прадедушкин шкаф в спальне и там притаился.

Увы. Он не знал, что уже миллион лет назад предки человека — обезьяны освоили метательные орудия. Я сбросил с ноги тапок и неожиданно точно засветил Феде по толстой попке. Он прыгнул на пол и забился под нашу двуспальную кровать. Там его нашел второй тапочек. А я пошел на кухню.

Обычно даже после легких размолвок, Федя минут 10 сидит отвернувшись, часто в укромном месте, и только потом приходит на кухню посмотреть на свою миску, чтобы проверить, осознали ли мы наши ошибки и пытаемся ли их исправить.

А тут он явился сразу, начал тереться об меня, гудеть. Будто просил: «Давай больше так сильно не ссориться и не кидаться тапками. Я ведь очень испугался». Пришлось взять Федю на колени, он положил голову на мое плечо, всхлинул и еще верных десять минут гудел и ласкался.

* * *

Прадедушкин шкаф, на котором любит скрываться Федя, как все старые вещи, имеет свою историю.

Некоторое время назад мы отдали его на реставрацию. Толстые, потемневшие от времени дубовые доски, из которых он сделан, способны, наверное, еще долгие десятилетия не поддаваться разрушению. Но покрывавший их лак сильно пострадал в бесконечных переездах четырех поколений нашей семьи.

Когда с большим трудом тяжеленный шкаф затащили в квартиру, собрали и снова установили на свое место, Володя, проводивший реставрацию, неожиданно спросил меня:

«Александр Александрович, а Вы знаете, что в задней стенке шкафа застряли две боевые пули? Мы их извлекли, залили дырки клеем, зачистили и сверху покрыли лаком».

Мы с Томочкой, как ни старались, так и не вспомнили когда, где и кто мог развлекаться стрельбой по задней стенке шкафа, который стоял у нас задолго до моего рождения. И с подозрением стали опрашивать сыновей — Андрюшу и Вигалика, не приложили ли они в детстве рук, к этому феномену.

Сыновья это категорически отрицали.

Пули были найдены в самом конце столетия и тысячелетия. Кончался 1999 год. Папа был еще жив.

И вот, когда мы приехали к нему перед Новым годом и стали расспрашивать про шкаф, то он вспомнил, что во время революции их дом, стоявший на Смоленской-Сенной площади и называвшийся по имени хозяев домом Орловых, подвергался обстрелу. Кто стрелял, наступающие большевики, отходящие к Кремлю юнкера или просто веселый народ, который наконец вернулся с опустыленного фронта, осталось неизвестным.

Тогда взрослые закрыли окна в детской, выходящие на площадь, сдвинутой мебелью, а детей перевели в комнату с окнами, выходящими во двор. Когда съезжали с этой, неожиданно ставшей прифронтовой квартиры, загороженные окна оказались разбитыми. Вот, может быть, тогда...

6 сентября, суббота.

Бессонница. Мысли перескакивают с одного предмета на другой.

Сижу и опять думаю о школе, о близлежащих улицах и переулках. Вот я пересекаю школьный двор, иду под арку и выхожу к Смоленской площади моего детства.

Как я недавно прочел, то, что сейчас мы называем Смоленской площадью — это Смоленская-Сенная. А старая Смоленская площадь была на месте Садового кольца от Карманицкого переулка до Арбата. Именно здесь когда-то шумел, зазывал, толкался Смоленский рынок, один из самых больших и разнообразных рынков старой Москвы. Через несколько лет после того, как прадедушкин шкаф поучаствовал в боях, рынок был снесен. К 30-м годам по его территории прошло широкое Садовое кольцо.

А за несколько лет до революции на Смоленской-Сенной площади, в угловом доме Орловых поселились Бабушка с Дедушкой Сашей, с маленькой дочкой (моей тетей Ирой) в одной квартире и Бабушкины родители — Кнорре, в другой.



Евгений Карлович Кнорре

Прабабушка — Елена Константиновна Кнорре и Прадедушка — Евгений Карлович Кнорре. Бабушка часто рассказывала о них, будто торопилась передать мне все истончающиеся с годами, все выцветающие дорогие образы. Хотела, чтобы я взял эту эстафету и смог передать ее дальше.

Мне достаточно поднять глаза, чтобы увидеть Прадедушку. Вот он передо мной, на большом портрете в тяжелой позолоченной раме, висящем над столом.

Уже очень не молодой, с седой бородой и усами, одетый в отутюженный сюртук и белую рубашку.

К нему очень удачно подошло бы обращение — «Сеньор».

Кстати, как я узнал, во время одной из поездок в Америку, этим красивым словом называют там всех пожилых людей, пенсионеров.

Вышло это так. Пренебрегая Fast-Food, я в обеденный перерыв ходил в близлежащее кафе, в котором можно было выбрать блюда максимально приближающиеся, хотя бы по виду, к тем, что готовили у нас дома. И вот в первый же визит девочка, сидевшая за кассой, поинтересовалась, не «Сеньор» ли я. Я замешкался, поскольку для меня это слово подразумевало сословие, к которому вряд ли можно было отнести заведующего лабораторией. Однако стоявшая сзади, тоже далеко не молодая дама вздохнула и уверенно сказала: «Сеньор, конечно сеньор». И благодаря ее уверенности я заслужил 20-ти процентную скидку. И позавидовал, что это красивое слово не употребляется в России.

Что я знаю о Прадедущке?

Наташа в своих записках много и, с моей точки зрения, очень хорошо написала о нем. Моя же память сохранила только наиболее яркие эпизоды из Бабушкиных рассказов, боюсь, что сильно дополненные моими детскими фантазиями. Часто повторявшиеся воспоминания Бабушки о ее детстве были связаны с Сибирью.

В 1894 году ее отец, уже известный инженер Евгений Карлович Кнорре был приглашен возглавить строительство мостов на Средне-Сибирском участке железной дороги (почти 2000 км). Через год его семья поехала к месту его работы.

Бабушка рассказывала о роскошном «пультмановском» вагоне, целиком выделенным для них (по моим воспоминаниям, ехали пять членов семьи и три человека прислуги). Двухместные купе, мягкие диваны, столики, большие окна, туалет и душ. И за окнами огромная и почти не населенная страна.



Флигель дома Юдина, где в Красноярске жила моя Бабушка.

В Красноярске семья Кнорре жила в деревянном флигеле дома Юдина. Этот флигель сохранился до наших дней, и я нашел в интернете его фотографии.

Построенные 17 мостов прославили имя Е.К. и сделали его очень богатым человеком.

Наиболее известным был мост через Енисей у Красноярска. Этот мост был самым большим из мостов транссибирской железной дороги и вторым по протяженности в Европе. Он строился в тяжелейших условиях сибирской зимы и был

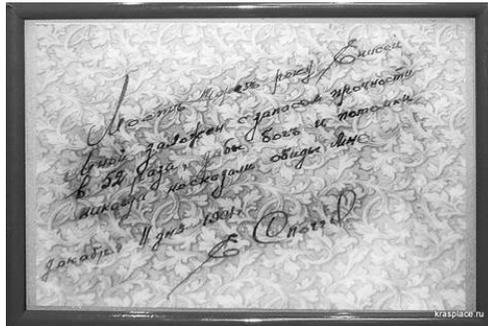
построен меньше чем за 3 года, а простоял 100 лет. При его строительстве были применены многие до тех пор не известные методы и использованы оригинальные материалы.

Стоил мост около 3 миллионов рублей, огромную по тем временам сумму.

Модель конструкции была выставлена на Всемирной выставке в Париже, в 1900 году, и мой прадед получила золотую медаль. Чуть раньше такую же медаль получил Эйфель за свою башню.



28 марта 1899 г. Мост через Енисей открыт.



Страница рукописи Е.К.Кнорре:

«Мост через реку Енисей мною заложен с запасом прочности в 52 раза, дабы Бог и потомки никогда не сказали обиды мне. Декабря 11 дня 1901 г.».

Наконец, Красноярский мост был назван ЮНЕСКО «вершиной человеческой инженерной мысли». Это сооружение упоминается в изданном в 1991 году «Атласе чудес света», где перечислены выдающиеся архитектурные памятники всех стран. В разделе Россия мост стоит наряду с Кремлем и Петродворцом.

Кроме устных рассказов сохранились вещи, старые вещи, которые помогают нам оживить в памяти своих владельцев. Так, как в «Синей птице» Метер-

линка, одного из самых любимых мною драматургов, просыпаются и оживают Бабушка и Дедушка, когда внуки — Тильтиль и Мигиль вспоминают о них.

У меня старых вещей, связанных с Евгением Карловичем, совсем мало. Кроме старого шкафа на полке в столовой хранятся осколки разбитой пивной кружки, подаренной мне Бабушкой после защиты диплома. Тогда она была еще цела и имела стеклянные стенки и толстое дно, а главное — серебряную крышку, на которой стоял лев и держал в лапах рыцарский щит. Эта кружка принадлежала Прадедущке. Сверху на крышке была надпись, которую я довольно приблизительно перевел бы так: «Члену нашего студенческого братства Е. Кнорре. Цюрих 1868 г.» А на обратной стороне крышки нацарапаны несколько фамилий, среди которых есть и такая — В. Рентген и в скобках его шутовское студенческое прозвище (перевести я не смог).



«Кружка Рентгена», поставлена так, чтобы не видно было разбитую часть.

Когда еще в детстве Бабушка давала мне подержать эту кружку, она с гордостью рассказывала, что ее отец учился в Высшей технической школе Цюриха, дружил и потом долгие годы переписывался с великим физиком.

А я никак не мог предугадать, что имя последнего, будет сопровождать меня всю взрослую жизнь.

* * *

Сначала Рентген помог мне на вступительном собеседовании в МИФИ.

Надо сказать, что конкурс в 1956 г. был огромный. Только медалистов — шесть человек на место. Отвечал я на собеседовании не слишком удачно, и в результате меня приняли, но не на факультет экспериментальной и теоретической физики, куда я подавал заявление, а на значительно менее престижный факультет вычислительной математики и электроники.

Правда, через полтора года я перешел туда, куда вначале хотел.

Так вот, в решающий момент собеседования, когда мои строгие экзаменаторы начали переглядываться, решая, кто именно объявит мне отрицательное решение, в этот момент и появился на сцене прадедушкин товарищ.

«Ну, а кто был первым лауреатом Нобелевской премии по физике», — спросил, как бы напоследок, один из преподавателей.

И я радостно выпалил: «Рентген, Вильям Конрад Рентген, профессор и ректор Вюрцбургского университета. В 1885 г. он открыл X-лучи, рентгеновские лучи». Экзаменаторы немного оживились. Возможно потому, что я без запинки вы-

говорил длинное название университета. И вот удивительно, точно что-то прорвалось во мне, и на все дальнейшие вопросы я давал может быть не исчерпывающие, но правильные ответы.

Об окончательном результате собеседования Вы знаете.

* * *

Через 5 лет, придя в «Курчатовский институт», я попал на обучение к Петру Ефимовичу Спиваку, о котором уже немного рассказывал и, дай Бог, расскажу еще.

Прекрасный экспериментатор, добрый и чрезвычайно порядочный человек, он любил пошуметь и напустить на себя строгость. Кроме того, он был удивительно подвижен. Уличив меня в ошибках и незнании, что случалось с удручающей частотой, Спивак начинал ругаться и одновременно чуть-чуть подпрыгивать.

Он требовал неукоснительного выполнения многих и многих правил, почти заповедей экспериментальной физики. Записывать все и записывать аккуратно, даже то, что сейчас кажется неважным. Оканчивать опыт тем же измерением, с которого начал, чтобы убедиться, что ничего не изменилось и не сломалось и т.д., и т.п.

А главное, продумывать и рассчитывать эксперимент до мелочей, никогда не облудаться зря, но и не паниковать, если попадешь в поля радиации.

Однажды я набрался нахальства и спросил, у кого он учился. Спивак долго объяснял мне, что надо знать историю физики и потом очень гордо сказал: «Я учился у академика Иоффе!»

Я, не подумав, задал следующий вопрос. Спросил: «А Иоффе у кого учился?»

Руководитель мой даже не стал прыгать, а просто прорычал: «Как это можно не знать! У Рентгена, у того самого Рентгена!!!»

«Тогда что Вы волнуетесь, Петр Ефимович? — пролепетал я. — Просто считайте, что на мне эта цепочка может и оборваться».

* * *

И еще прошло много лет, и настала моя черновобильская многолетняя эпопея. Сколько раз за эти дни слышал я знакомое имя. Сколько ночей снился мне хриплый голос дозиметриста, выкрикивающего сквозь респиратор: «Один Рентген, пять, осторожнее! Сорок Рентген! Стой! Дальше не идем!»

В условиях разрушенного блока никому, конечно, и в голову не могло придти говорить фразу полностью: «Мощность экспозиционной дозы — сорок Рентген в час». Времени для этого уже не оставалось.

* * *

А знаменитую кружку в наше отсутствие разбили мальчишки. Не дождавшись нас, сыновья от горя отправились спать, а на двери своей комнаты вывесили нечто вроде «дацзибао». В прикрепленной к косяку записке перечислялись наказания, которые они согласны были претерпеть за разбитую кружку. Значились в «дацзибао» — отсрочка покупки мяча, две недели без мороженого и еще много разных тяжелых лишений.

Вернувшись, мы прочли этот скорбный список и особо ругать их не стали.

10 сентября. Среда.

Продолжу рассказ о Е.К. Кнорре.

Что еще осталось от Бабушкиных рассказов?

Наташенька вспоминает: «Он был высокого роста (около 185 см), ширококостный, в молодости худой, с вьющимися каштаново-рыжими волосами и яркими карими глазами, белокожий. Веснушки летом выступали у него только на руках. После тридцати он заметно погрузнел, не утратив до старости подвижности и легкости движений, волосы потемнели и перестали виться, появилась небольшая борода. В Сибири он стал сесть и в старости был совсем седой. Славился он в семье огромной физической силой, так что его маленький сын Миша, после посещения Зоопарка, допытывался у мамы: «А кто сильнее, Папа или слон?»

...Богатство совершенно не изменило его. С возрастом он стал еще более добрым и прямо по-детски доверчивым, особенно в денежных вопросах...

Часто Елена Константиновна (его жена — моя Прабабушка) начинала отчитывать Е.К. за непрактичность: «Евгений, ты опять деньги займа давал? Ты хоть знаешь кому?» Он, послушав минуты две с виноватым видом, хватал ее в охапку, кружил по комнате, а затем сажал на высокий бельевой шкаф (кстати, тот самый, о котором выше шла речь), с которого она слезть не могла, пугалась и начинала кричать: «Евгений, сию же минуту сними меня!» На этом попытки ограничить дачу денег займа и заканчивались. Евгений Карлович действительно не всегда хорошо представлял, кому он одалживает деньги. Чаще всего их не возвращали, но это не уменьшало его веру в людей.

Я слушал Бабушку и ясно представлял себе его большую и сильную руку, протянутую через долгие годы к нам, голодающим в эвакуации.

Руку, держащую коробочку с бриллиантовыми серьгами.

И снова мысли перескакивают с одного события на другое. Серьги, подаренные Бабушке на рождение сына. Рождение в доме Орловых моего отца.

Наташа говорит в своих записках:

«Тут в квартире № 2 в комнате с эркером родился долгожданный внук и сын Александр (мой Отец). Первые три месяца мальчик очень болел и находился между жизнью и смертью. Это было так мучительно, что в один из критических моментов Александр Алексеевич (мой Дедушка) не выдержал, бросился на кровать и стал плакать, говоря: «Господи, пусть лучше умрет, не могу видеть, как он мучается!...»

...Мальчик выжил, хотя развитие его затянулось. Пошел он только в полтора года, а заговорил в два с половиной. Однако сразу же стал говорить длинными, довольно сложными фразами, правда, нецелесообразно коверкая слова».

Папа родился 26 мая 1912 г. В детстве он называл себя Туя. Может быть, поэтому и меня в детстве стали звать Туся, Тусик. Хотя маленьким внешне я совсем его не напоминал.

Понадобилось прожить шестьдесят пять лет, чтобы, увидев свое мелькнувшее в зеркале прихожей лицо, вздрогнуть, обнаружив несомненное семейное сходство.

И еще голос...

12 сентября, пятница.

Наташа пишет, что Папа в детстве долго не говорил, а надо признаться, что сама она тоже долго не говорила, а тихонько гудела. Знала много слов, но предпочитала гу-

деть, перебирая игрушки или перелистывая книги. Гудение иногда чуть затихало, обретало густоту и ласковость, иногда звук повышался, как бывает при спорах.

Где уж тут кошке Феде.

Но вот однажды, на даче, в Комаровке, забравшись под кровать, моя милая сестрица вдруг совершенно отчетливо произнесла: «Теперь я совсем плопала». Бабушка, тетя Ира и я тоже чуть не пропали от изумления. А Наталья вылезла, сделала округлый жест ручкой и сказала нараспев: «А вот олешки, кому олешки».

Уже наступала осень. Вечером мы сидели на ступеньках крыльца и обсуждали случившееся за день.

Я очень ясно представляю тот вечер, хотя он мало отличался от других вечеров в Комаровке, да и вообще от других дачных вечеров.

На дворе прохладно. Бабушка накинула на плечи свой старый шерстяной платок. Тетя Ира надела красную кофту. Прекрасно помню эту кофту и помню, как через много лет на ней, уже полностью пришедшей в негодность, спал любимый тетин кот Тигран. А я? Я был в куртке, перешитой Бабушкой из какого-то взрослого пиджака и ставшей мне уже маленькой — руки далеко торчали из рукавов. Как и всегда, в вещах, сшитых для меня Бабушкой, пуговицы отличались большим размером и дореволюционным великолепием. Сидеть спокойно я не мог, и все время вертелся, вскакивал и ходил вдоль крылечка.

Тетя Ира сказала: «Сначала я очень обрадовалась, когда Наташенька заговорила, а потом еще больше обрадовалась, что никого постороннего не было».

«Почему?» — спросила Бабушка.

«Иначе они бы подумали, что Шурик (Папа) не только в Министерстве электростанций работает, но еще и подторговывает на рынке орехами».

И обе они начали хохотать. Так это все и осталось в памяти, вечер, высокое крыльцо, с которого видна речка Клязьма, текущая среди кустов, любимые люди.

*Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера ...*

(Ф. Тютчев)

* * *

На даче в Комаровке ... Комаровка... Когда и как появилась там наша семья?

Была такая маленькая деревушка, стоящая на берегу реки Клязьмы, недалеко от станции Болшево. Сейчас все там застроено и называется это место город Королев.

А в моем детстве надо было сесть на электричку на Ярославском вокзале, доехать до Болшева и там пересесть на поезд, состоящий из дачных вагонов. Вез его маленький паровоз-паровичок, с ласковым названием «Кукушка». Он пыхтел, поезд раскачивался, а вагоны скрипели. Ездили на Кукушке подмосковные жители, огородники, отдыхающие из санаториев и дачники. Мы ездили в Комаровку в первое военное лето, и никаких воспоминаний у меня от поездки не сохранилось.

Но когда в 1944 г. меня повезли по такой длинной и интересной дороге, то почти все события казались значительными, и остались в памяти до сих пор.

Кассы, в которых продавались твердые прямоугольные картонки — билеты.

Контролер, пробивающий их компостером. Деревья, дома, люди за окнами. И одна цветная картина, грустная. Открылась дверь, и в вагон вкатился инвалид, без ног, прикрепленный ремнями к маленькой тележке. На груди, рядом с медалями, у него висела раскрытая сумка. Он ехал, отгалкиваясь от пола деревянными чурками, и хриплым голосом выкрикивал: «Граждане, товарищи, братья и сестры, друзья...».

Он стоит перед моими глазами, я снова слышу хриплый голос и вдруг сейчас с удивлением обнаруживаю, что слова инвалида почти дословно повторяют первые фразы речи Сталина. Самой известной в народе, произнесенной в первые дни войны: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

Инвалиду подавали деньги, иногда хлеб.

Один военный долго рылся по карманам, я все ждал, что же такое он вытащит, и инвалид ждал, а в результате военный ничего не нашел, кроме раскрытой пачки папирос. Вынул часть из них и положил в сумку.

Ехали мы с тетей Ирой, я у нее тихонько спросил, почему он не на протезах или не на костылях. А тетя прошептала в ответ, что ему высоко ампутировали ноги.

«Долго не проживет», — вздохнула она.

Сойдя с поезда, надо было еще пройти через редкий лесок, мимо дома отдыха, где потом я на кортах подавал упавшие мячики и потихоньку учился играть в теннис и перейти через бревенчатый, с проломами мост через речку Клязьму. Несколько домиков за мостом по обе стороны дороги, сады, огороды, колхозное поле — вот и вся Комаровка. Ничем не примечательная деревушка. Но мои впечатления о ней с годами как бы распространились на всю сельскую Россию. Когда кто-то рассказывал о деревенской жизни, я, типичный городской житель, невольно переносил действующих лиц в знакомые по детству декорации.



Лето 1950г. Мы гуляем в поле, недалеко от Комаровки. Мы, это: Наташенька (ей 4 года), Алла Васильевна (папина жена), тетя Оля (Бабушкина племянница, дочь ее брата Михаила Евгеньевича; в момент съемки она строила рожицы). Бабушка, тетя Ира. Я и дядя Коля.

Насколько я знаю, первым в Комаровке купил полдома с садом Бабушкин брат — Михаил Евгеньевич.

Потом его младшая дочь — Марьяна, вместе с мужем — художником Владимиром Козлинским купила часть старого двухэтажного дома, который раньше принадлежал семье купцов Алексеевых. Известной семье, больше всего известной из-за Константина Сергеевича Алексеева, которого все мы знаем по сценическому

псевдониму — Станиславский. Кроме четы Козлинских, которые занимали верхний этаж, на первом этаже жили два математика — академики Александров и Колмогоров с семьями. Может быть, в мои ранние приезды в Комаровку они еще и не были академиками, но называли их именно так.



«Дом академиков» в Комаровке. Семья Козлинских занимала его верхний этаж.

Летом 1944 г. мы с Бабушкой жили в доме ее брата. Тетя Ира, приезжавшая в Комаровку на время своего отпуска, останавливалась у Козлинских.

Потом, когда Папа вернулся из Запорожья стали снимать дачу на берегу Клязьмы.

Не только Наташенька в Комаровке произносила забавные фразы, о которых долго вспоминали в семье, но и Ваш покорный слуга — тоже. Конечно, сам я об этом знаю только из рассказа тети Иры.

В августе 1941 года начались систематические бомбежки Москвы. Спасаясь от них, Бабушка, Мама (она не работала) и я переехали в Комаровку, в дом к Михаилу Евгеньевичу.

На несколько дней к нам приезжала и тетя Ира.

Каждый вечер немецкие бомбардировщики пролетали над деревушкой в сторону столицы. А на обратном пути, те из них, которые не смогли отбомбиться из-за зенитного огня или наших истребителей, сбрасывали оставшиеся бомбы на Подмосковье.

Поэтому на маленьком огороде вырыли так называемую щель и покрыли ее досками и землей.

С первыми ударами метронома, которые слышались из репродуктора после слов «Внимание граждане! Воздушная тревога!», с первой волной далекого гула взрослые и дети бросали свои дела и прятались в щель.

После приезда, когда меня в первый раз внесли туда, со мной случился настоящий припадок. Я кричал, плакал, выворачивался из рук. Темнота и теснота вызывали панический ужас.

Тогда тетя Ира вынесла меня наверх. Как она потом рассказывала, «Я совершенно не верила в такую случайность, как падение бомбы на наш участок. Но уж если бы упала, неизвестно, что лучше — сразу погибнуть или перед смертью задыхаться под землей. Кто бы нас стал откапывать?»

На тетиных руках я успокоился, залез повыше и вдруг очень радостно закричал:

«Тетя, тетя! Огонечки горят! Пойдем посмотреть!»

Действительно, далеко в небе над Москвой вспыхивали разрывы зениток и металась лучи прожекторов.

На следующую ночь мы с Бабушкой и тетей Ирой остались спать дома.

Через короткое время наш вредный почин был подхвачен остальными родственниками и ночные сидения в щели прекратились.

Она осталась лишь в качестве отчетного материала перед сотрудниками милиции и самообороны, проверявших иногда нашу боеготовность.

А нас ожидала эвакуация.

15 сентября, понедельник.

Мой день рождения. 65 лет. По этому поводу рано проснулся, лежал и что-то вспоминал и вдруг вспомнил, что написал когда-то стихи на день рождения одного хорошего человека и моего товарища.

День рожденья, первый миг,
Первый вздох и первый крик.
Солнца свет и неба синь,
Дверь, распахнутая в жизнь.
Мир, нахлынувший волной,
Ангел белый за спиной.

* * *

Что ж такое день рожденья?
Черeda из поздравлений?
Блеск подарков и наград?
Обращенный к сердцу взгляд!
Как одной цепочки звенья
Дни бегут, бегут мгновенья
Тихо движутся года
И уходят навсегда.
Что же с нами остается?
Отчего вдруг сердце бьется?
Что в мельканье быстрых дней
Мы храним в душе своей?
Детство, запахи и звуки,
Мамино лицо и руки,
Счастье жизни и весны,
Тяжкий шаг большой войны.
Юность, встречи, ожиданья,
Поезда и расставанье,
Город, улицы, рассвет,
Глаз любимых теплый свет.
Если бы сказать могли мы —
«Стой!» той жизни торопливой,
Если бы вернуть на миг,

Лишь на слово, лишь на крик...
День рожденья, день рожденья,
И людей и дел круженье.
День прошел. Курантов бой.
Только ангел за спиной.

Федя, давно заметивший мое пробуждение и маявшийся в ожидании похода на кухню, не выдержал, вспрыгнул на кровать с моей стороны и сильно толкнул меня головой в щеку. Пора вставать.

18 сентября, четверг.

Получил много подарков, поздравительных факсов и даже стихотворных посланий.

Спасибо помнящим и любящим...

Самый милый подарок получил от внучки Анечки. Она нарисовала птиц, которые прилетают к ним на двор (в Кашире). Нарисовала очень хорошо, похоже, но, чтобы я ничего не напутал, около каждой птицы была еще и надпись. Все названия правильные и буквы очень аккуратные. Только одна птица ее немного подвела. Она называлась — «Авсянка». Как хорошо когда к тебе прилетают Авсянки!

1 октября, среда.

Двое из членов нашей большой семьи заболели.

Месяца три назад у Киры под лапкой появилась маленькая опухоль, которую сначала мы не приняли всерьез. А сегодня, при внимательном осмотре, Толик очень погрузтел и сказала, что опухоль сильно выросла, нужна операция, но она может и не помочь. Скорее всего — рак.

А Кира ни о чем не догадывается, очень подвижна, аппетит не потеряла, но постоянно лижет и пытается грызть свою болячку.

Не очень хочется об этом писать, но другим отличившимся стал я. Несколько лет назад обнаружили у меня довольно обычную штуку и обычными методами ее лечили. А в конце сентября на обследовании выяснилось, что она, как и у Киры, очень выросла. Специальный анализ крови практически не оставляет места для надежды на ее доброкачественность.

Чтобы не думать о грустном, вернемся к воспоминаниям.

14 октября, вторник.

Темнеть начинает все раньше. От электрического света и мерцания экрана быстро устают глаза. И я делаю себе перерывы, иногда просто сижу, зажмурившись, иногда включаю проигрыватель, затерявшийся среди десятков других программ моего компьютера.

Слушаю песни моей юности, романсы. К сожалению, оборудование ПК не приспособлено для передачи очень высоких и низких звуков, серьезную музыку слушать с его помощью нельзя.

Я рассказывало школе, а в этот осенний вечер вспоминаю институт.

* * *

Наше обучение проходило в двух зданиях.

Первое из них находилось на улице Кирова, теперь снова ставшей Мясницкой. Это был старинный особняк, с красивыми белыми колоннами, принадлежавший в свое время одному из московских генерал-губернаторов, по фамилии которого и назывался домом Юшкова. Строил его, скорее всего, Баженов.

Многих жильцов поменял этот особняк.

До революции в доме Юшкова помещалось Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В его коридорах можно было увидеть большинство не особенно любимых Тетей Таней передвижников.

А на смену им пришли Врубель, Левитан, Серов, Коровин, Нестеров, Корин. И еще много, много других известнейших художников, архитекторов, писателей.

В 1920 г. здесь открылись Высшие Художественно-технические мастерские, которые больше известны по своей аббревиатуре — ВХУТЕМАС. Это название можно встретить в книгах, посвященных Маяковскому, Есенину, Фальку, Шусеву. Даже Ленин и Крупская посетили мастерские в 1921 г., о чем было легко узнать по мемориальной доске.



Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Потом дом Юшкова переходил от одного ведомства к другому, пока не закрыли его парадный вход, а за дверью бокового входа не появился специальный турникет и вооруженная охрана. Так в нем обосновался Московский инженерно-физический институт (МИФИ).

Совсем другие лица стали появляться здесь. Лица, ставшие широко известными только в 60-х и 70-х годах, после того как завеса секретности, скрывавшая их работу, была немного приподнята.

Курчатов, Зельдович, Ландау, Померанчук, Будкер, Леонтович, Тамм и другие ученые.

Несмотря на усилия многих хозяев, каждый из которых перестраивал и перекраивал внутренние помещения дома Юшкова, им не удалось полностью уничтожить дух великого архитектора. И целый ряд аудиторий, комнат, коридоров сохранил легкость и своеобразное очарование, которое каким-то неуловимым, но благотворным образом действовало на нас. Особенно я это чувствовал в страдную пору зачетов и экзаменов.

Второе здание, в которое приходилось ездить на лекции и семинары, находилось за Павелецким вокзалом на Малой Пионерской улице. Мрачное, давно не ремонтировавшееся фабричное здание, с темными помещениями, выкрашенными унылой коричневой краской. Бесконечные и бессмысленные переходы, узкие лестницы, вечный запах кислой капусты, доносившийся из столовой на первом этаже. Даже воспоминания о событиях, происходивших в нем, чаще всего, не особенно приятны.

* * *

Пишу. С появлением персонального компьютера все реже использую ручку или карандаш и постепенно теряю навыки письма. А раньше писал очень быстро, хотя и не всегда понятно.

Разные воспоминания, разные кусочки институтской жизни теснятся в голове. Ну, например, такой эпизод, как раз связанный со скоростью письма и с унылым зданием за Павелецким вокзалом.

* * *

Надо сознаться, что когда я наконец попал в стены МИФИ, то успокоился и возгордился, не понимая до конца того, как сильно отличается учеба в одном из самых престижных институтов страны от учебы в обычной московской школе. Слушал и записывал лекции, решал задачи, иногда выступал на семинарах и, честно говоря, не особенно усердствовал. Пока не пришел черед сдавать первый коллоквиум по математике, который проходил в здании за Павелецким вокзалом.

Осень. За окнами темно и в аудитории горят лампы. Я сижу за первым столом, напротив меня наш лектор по математике — Валентина Ивановна Голякова и очередной отвечающий студент. Процедура приема коллоквиума пока до ужаса однообразна. Вопрос лектора и маленькая заминка студента перед ответом. Потом пропущенное слово в длинной формулировке. Доказательство теоремы и опять с небольшой неточностью. Вроде все. В школе оценка колебалась бы между 4 и 5. А здесь быстрый и неумолимый приговор — «Неудовлетворительно, не понимает смысла. Придете через неделю, если будете отвечать так же, то — комиссия и отчисление. Следующий!». При этом сама В.И. волнуется и краснеет.

И следующий так же. И еще один. Оглядываюсь назад. Вид у всех, сидящих сзади самый плачевный. Подтверждаются слухи, что после первого семестра отсеют половину учащихся и полем боя выбрана математика.

Вот на стул рядом с В.И. садится очень способный, с моей точки зрения, студент. Голякова пишет ему на бумаге три вопроса. Он думает, а я, чтобы совсем не впасть в панику, заставляю себя писать ответы на эти вопросы на лежащем передо мною листе. Пишу, напрягая память и стараясь не пропустить и не добавить ни одного слова, по сравнению с лекциями.

Студент начинает медленно, заикаясь отвечать. И после первой же фразы В.И. его прерывает. «Так. Путаетесь. Этот вопрос знаете слабо. Дальше». Через десять минут он покидает аудиторию. Взгляд лектора останавливается на мне. «Не пересаживайтесь. Будете отвечать со своего места».

В.И. берет с моего стола лист с написанными ответами, не смотрит на него, переворачивает и что-то пишет. Потом подвигает ко мне, а сама начинает нервно ходить между столами по аудитории.

Я читаю вопросы. Они полностью совпадают с теми, которые только что задавались. Я заставляю себя медленно прочесть каждое слово. Совпадают! И тогда мне остается только перевернуть свою бумагу и ждать, пока В.И. немного успокоится.

Но она не только не успокаивается, а начинает на меня кричать и становится совсем красной («Как переходившее переходящее красное знамя», — любил потом говорить Шубин).

«Предыдущий студент хоть что-то пытался отвечать, хоть как-то заикался. А Вы? Ведь на семинарах вроде бы успевали. Что же Вы молчите?»

«Я, Валентина Ивановна, все написал вот здесь, на Вашем же листочке».

В.И. села за стол, внимательно прочла мои записи и подняла на меня удивленные глаза:

«Хорошо, Боровой. Вы верно на все ответили. Выучили, молодец. Но как Вы технически могли все это успеть написать? Это какое-то чудо!»

«Нет, никакого не чудо. Я очень быстро пишу, почти со скоростью речи».

Коллоквиум я сдал. Вышел из аудитории, сел прямо на урну в коридоре с замыганными стенами и полом и несколько минут так сидел. Ребята подходили, что-то говорили, а я почти не отвечал.

Многому научил меня этот коллоквиум и не только на время пребывания в МИФИ, но и на всю будущую жизнь.

Я понял, КАК надо учиться в институте, и потом учился достаточно хорошо. Красный диплом не удалось получить лишь из-за тройки по черчению, но в том, что я получил эту невысокую отметку, сыграли свою роль причины, к черчению совсем не относящиеся.

Через полтора года, когда я переходил на факультет экспериментальной и теоретической физики, В.И. мне сказала:

«Вы знаете, Боровой, к математике у Вас способности есть, свою пятерку Вы заслужили. Но вот после первого коллоквиума я так надеялась, что у меня, наконец, появился необычный, очень талантливый ученик. Так надеялась. А Вы только способный...»

16 октября. Четверг.

Снова воспоминания об институте.

Самый первый день в МИФИ запомнился мне лекцией по истории партии. Пришел я на эту лекцию раньше всех, сел на первый ряд и аккуратно разложив перед собой тетрадь, ручку и «Краткий курс истории ВКП(б)», принялся слушать, о чем шумит постепенно заполняющаяся аудитория.

Шумела она на двух языках — сильно на русском, потише (но вполне различимо) — на китайском. В эти годы «дорогой Никита Сергеевич» еще не успел окончательно испортить отношения с Китаем. Это случилось позже, а вплоть до 1966 г. во многих вузах Москвы обучались присланные из Китая студенты. Как позже я узнал, они были постарше нас. После школы прошли строгий отбор и окончили специальные подготовительные курсы, на которых их учили физике, математике, а главное — русскому языку.

Позже выяснилось, что китайцы допускались не на все занятия, например, они не посещали лекции и семинары на военной кафедре. Как шутил Шубин, такое ограничение могло серьезно сказаться на боеспособности китайской армии, в особенности на овладении ею винтовкой Мосина образца 1891-1930 гг.

Прислушиваясь к их голосам, я различил постоянно произносимое русское слово: «Масина, масина, масина...». Популярность этого слова объяснялась просто — все ждали, что после лекции придет «масина» и ответит в общежитие и столовую.

Лектор появился минута в минуту, бодро поднялся на кафедру и начал говорить.

Говорил он очень быстро, пропуская буквы, путая рода существительных, местоимения и неправильно ставя ударения.

Кроме того, он ухитрялся обрывать фразы на половине и издавал при этом свист сквозь зубы.

«Линина говорила в своя параграфы первая ...» — неслось с трибуны.

Сидевший сзади китаец тихо потрогал меня за плечо и спросил:

«Какая эта языка?»

«Разве не китайский?» — удивился я.

«Китайская совсем дуругая».

Оглянувшись, я увидел, что лица всех китайцев выражали удивление и страх. Они, наверное, считали, что попали в такое же положение, как Паганель из романа «Дети капитана Гранта», который по рассеянности выучил португальский язык вместо испанского (может быть наоборот, я уже забыл).

Еще один отвлекающий момент в виде очень худого и очень носатого студента сидел через пустое место сбоку от меня. Он доброжелательно посматривал на взволнованных китайцев и напевал на мотив известной тогда песни:

«Над Китаем небо синее,
Меж трибун вожди косые,
Хоть похоже на Россию,
Только все же не Россия».

Так эта лекция и прошла, и осталась бы совершенно бесполезной, если бы мы не познакомились с худым студентом и потом не дружили бы с ним почти 50 лет. Звали его Саша Шубин.

После лекции делегация китайцев отправилась в деканат и поделилась своими сомнениями относительно того, на каком языке будет проходить обучение. Гостей успокоили и позже перевели на другой поток, оставив нам наслаждаться башкирским вариантом краткого курса ВКП(б).

Лекция имела свое продолжение на семинаре.

Здесь, не связанный большой и многонациональной аудиторией, наш преподаватель расслабился и кроме восторженной характеристики ленинского учения о революции, привел ряд положительных примеров кумысолечения.

Вообще семинар проходил почти по-домашнему.

На нем же впервые обнаружилась способность Шубина очень точно подражать чужим голосам. Во время перерыва он голосом преподавателя уговаривал нас пить кумыс и читать «Краткий курс».

Потекла студенческая жизнь и одними из ее самых веселых минут стали десять минут перерыва на семинарах по истории партии.

Шубин, как я подозреваю, заранее готовился и от имени преподавателя проносил его голосом короткие, но страстные монологи.

«Зинкевич!» — кричал он на Павлика Зенкевича, одного из наших общих друзей.

«Какой конспект даешь. Позор, стыд, стыд! Кабылка один листочек конспекта съел и три дня горький кумыс давал. Пришлось два «Кратких курса» скормить, пока хороший кумыс пошел!».

Слава Богу, никто из студентов группы про эти дивертисменты не проговорился.

(окончание следует)



Дмитрий Бобышев

Я В НЕТЯХ

ЧЕЛОВЕК ОТЕКСТ, КНИГА 3

(продолжение. Начало в № 12/2013 и сл.)

В городе Пивоваров и Милых Ок имелся на удивление приличный симфонический оркестр и прилагавшийся к нему вполне достойный театрально-концертный зал со сценой и машинерией. Разные труппы пользовались этой площадкой, но кто бы ни выступал, неизменно хороши были декоративные ткани, костюмы и спец-эффекты. Там же охотно принимали и гастролёров. В репертуаре нередко звучала русская музыка, по которой, впрочем, я не успел соскучиться, — ею напитало меня на годы вперёд советское радио. Но всё же, когда я вдруг случайно услышал на улице зазвучавший «Танец с саблями», я обрадовался Хачатуряну, как доброму знакомому, сам тому удивившись.

Из классиков здесь почитался Мусоргский (с ударением на втором слоге), а уж Чайковский был принят совсем за своего. Ни одно Рождество не обходилось без постановки «Щелкунчика», так что «Пиотр Илиич» включался в тот же радостный комплект для детей, что и подарки, и ёлка, да и сам Санта Клаус. Иногда исполняли запрещённую в СССР пушечно—колокольную увертюру «1812 год», и ни здешние демократы, ни даже республиканцы не бывали смущены темой «Боже, царя храни», звучащей в финале.

Что же касается модернистов, то из русских игрались и помнились только Рахманинов да Стравинский. Давнишнюю запись их парного интервью показали однажды на познавательной программе ТВ. Жаловались они на то, как долго и трудно входили в американскую жизнь.

— Ит тук йирс энд йирс... — говорили оба с жутким акцентом, и я их вдвойне за это жалея, хорошо понимал.

Но великие авторитеты бывали безжалостны. Вот на что сетовал, например, Артур Лурье в письме Ахматовой: «...здешние музыканты приняли все меры, чтобы я не мог утвердиться». Ссора со Стравинским, пренебрежительные отзывы Рахманинова погрузили блестящего Лурье в холодные воды забвенья. Подобным образом пытались игнорировать и Шостаковича. Конечно, и сам Дмитрий Дмитриевич подпортил на Западе свой имидж неуместно поздним политическим конфортизмом. В особенности шокировало современников его имя в «Правде» под открытым письмом «деятелей культуры» с осуждением академика Сахарова. Позднее вдова композитора утверждала, что он специально, чтобы этой подписи избежать, лёг в больницу, а за него подписались «кто надо». Но вся история невыгодно совпала с предстоящей поездкой Максима Шостаковича на гастроли за границу. Там были какие—то затруднения, а появилась подпись отца, и Максим уехал.

Как раз в то время я познакомился с одной француженкой, очень красивой блондинкой из Гренобля, приехавшей в Ленинград по научному обмену. Изучала она какие-то акустические явления. Нет, никакого романа у нас не произошло, но

она охотно сопровождала меня в визитах к той артистической богеме, которая вот-вот собиралась стать элитой. Так мы оказались у Бориса Тищенко.

Я спросил, не досаждают ли его сознанию подпись учителя под таким сомнительным документом. Молодой композитор, по лицу и облику которого уже был разлит лёгкий лоск благополучия, бурно вознегодовал:

— Да я бы таких, как Сахаров, вообще расстреливал!

— За что ж?

— Как за что? Дать таким бандитам, как наши правители, атомное оружие!

— Водородное...

— Тем более!

Приложил он не слабо, можно было бы назвать это по-французски «*touche*».

И Тищенко продолжил разговор наступательно:

— Вы уже видели новую книгу Бродского?

— «Остановку в пустыне»? Да, сильно. Но...

— Какое же «но»?

— Такое, что у него там, действительно, всё мертво, сухо, голо... Но разве вокруг — пустыня?

И я указал жестом на девушку, едва ли понимавшую, о чём идет спор.

— Это ярость гения, который всё вокруг сжигает, всё превращает в пустыню. Я сейчас сыграю вам клавиру моей симфонией. Называется — «Робуста», от слова «robust», что значит «здоровый» или даже «здоровенный».

И он сел за рояль. Ударил по клавишам и сразу же заиграл «форте». Рояль рычал, ревел, раскатывал букву «эр» по клавиатуре, а когда дошёл до «фор-р-ртиссимо», не выдержал, и струна лопнула, закрутившись опасным жгутом. Но Тищенко умело закончил симфониетту на неисправном инструменте.

Мне было странно, что он так экзотически завышенно ставил Бродского. Для меня безусловней был крупномасштабный дар Шостаковича, — вот кто был гений, несмотря на его «колеблемый треножник». Впоследствии я узнал, как он расплатился за свои унижения: очень по-своему, скоророшески, но с отчаянной дерзостью. Мини—опера «Антиформалистический раёк», не менее убийственно саркастическая, чем сатира Мандельштама, была написана в 1948 году, когда его мучители ещё наслаждались всесильной властью: Единичын (любитель лезгинки и «Сулико»), Двойкин (идеолог и любитель канканов с клубничкой) и Музыковед №3 (собирательный образ). Да, лев узнаётся по когтям!

В первые недели нью-йоркской жизни меня навестил музыкант и культуровед Соломон Волков. Тогда он был жгучий, чуть лысеющий брюнет с бородкой и мрачноватым таинственным взглядом — вылитый Свенгали (если кто помнит английский роман «Трильби»). Он пришёл к нам в Кью Гарденс с женой Марианной, блондинкой нордического типа, оказавшейся профессиональным фотографом (она тут же меня щёлкнула у рождественской ёлки). Пара была контрастной, и неудивительно: он еврей, она финка, — недаром космополитический Нью-Йорк оказался для них естественным домом.

Соломон стал тогда сенсацией сразу в трёх мирах: сначала — американском, а оттуда и эмигрантском, выпустив в «*Harper and Row*» мемуары Шостаковича в своей записи с названием «Свидетельство». Тут же он сделался мишенью для скандальных нападок в мире советском: мол, как же так, наш Шостакович, выдающийся борец за мир, и вдруг высказывается против руководящей роли КПСС.

Не может быть! Эта книга — фальшивка. В том же духе отозвались и вдова, и сын. В результате над книгой Волкова надолго повис компрометирующий вопрос.

До беглого чтения на английском языке мне было ещё далеко, и я спросил Соломона, нельзя ли мне познакомиться с русским вариантом книги.

— У меня его нет, — ответил он.

Как же так? Неужели он писал сразу по-английски? Это показалось мне сомнительным: ведь Шостакович-то говорил с ним по-русски! Но спорить с автором я не стал, посчитав, что, наоборот, это он мне не доверяет, потому и не открывает. Впоследствии Волков объяснил, что русский вариант всё-таки существовал, но спрятан был в банковском сейфе от лихих посягательств.

Вскоре всех удивил вполне выездной Шостакович-младший: вместе с сыном Митей, вундеркиндом, он сбежал на гастролях, попросив политического убежища в Мюнхене. Максим стал дирижировать, выступая по всему свету, и таким образом оказался у нас в Милуоках. Конечно, мы с Ольгой пошли на концерт, тем охотнее, что у Миши и Мифы Вайнеров, бывших соседей Шостаковичей по улице Огарёва, намечался позднее приём в честь знаменитого гастролёра.

За давностью лет я точно не помню, что исполнялось в концерте, но зато отлично помню тогдашние впечатления. Помогла бы афишка или программка, но я их не собираю, как это делает, например, Галя Руби. Вот, например, она побывала на первом исполнении «Ангиформалистического райка» и сохранила программку ценой в 8 копеек, по которой я могу установить, что состоялась эта выдающаяся антисоветская акция в четверг, 19 октября 1989 года в Ленинградской филармонии, то есть спустя восемь лет после милуокского концерта, память о котором я пытаюсь сейчас восстановить.

В первом отделении исполнялась симфоническая миниатюра одного из классиков XIX века, не помню кого именно. Помню только, что произведение было средней сложности, но играли его несколько скованно. Публика, поначалу горячо приветствовавшая смелого перебежчика, носителя славного имени, к концу отделения была на грани разочарования.

Но второе отделение было совсем иным: Шостакович исполнял Шостаковича, и это чувствовали все. Звучала Пятая, написанная под топором 37-го года, — симфония, которую Единицын и Двойкин сначала приветствовали, а потом запретили. Да, музыка двусмысленна по сути, исполнитель может надеть на неё любую из греческих масок. Максим, и только Максим знал доподлинно, что туда было вложено, и это знание он сейчас нам являл. Лирика звучала сатирой, а героика — трагедией. В том и заключалась сложная тайнопись его отца.

В квартире Вайнеров с великолепными видами на озеро (и чуть менее великолепными — на город) собрались избранные гости. Время было позднее, все истомилось ожиданием, которое затягивалось... Мифа нервничала, а Миша, который должен был привести знаменитость, всё не шёл и не шёл. Наконец, явились оба: Максим уже не во фраке, а в твидовом пиджачке, встрёпанный и оттого особенно похожий на отца, которого я, случалось, видал на премьерах в белоколонном зале Филармонии.

Переждав, пока дамы проциркулируют мимо «живого Шостаковича», я пошёл к Максиму и после первых же слов стал расспрашивать о книге Волкова:

— Я где-то прочёл, что вы не признаёте её правдивой... Или — аутентичной? Так неужели это фальшивка?

— Нет, нет, теперь я скажу, что там много верного...

Он выглядел рассеянным и озабоченным, думал о чём-то другом. Выяснилось, что его обокрали во время концерта, пришлось вызывать полицию, из-за этого они с Мишей и задержались. Пока он дирижировал, у него исчез бумажник с деньгами и кредитками. Неужели прямо из фрака, и ни он сам, ни целый зал ничего не заметил? Вот это ловкость рук!

— Нет, конечно, не из фрака, а из этого самого пиджака, который сейчас на мне. А он висел в артистической.

— Не запертой?..

— А чёрг её знает!

— Хотел бы извиниться перед вами за этот город, где мы живём, но меня и самого здесь ограбили. Даже дважды...

Что ваша Одесса-мама, где у пассажира пропадают чемоданы, едва он раскроет объятия для встречающих, что ваш Ростов-папа, где на ходу подметки режут? У нас в Милуоках чистят карманы дирижёра, едва он взмахнёт своей палочкой!

Я увидел его ещё однажды много лет спустя в Петербурге, на открытии памятной доски Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу в Доме композитора на Малой Морской. Он произнёс короткую речь об исторической справедливости — буквально два слова.

Там же был и Тищенко. О чём нам было вспоминать?

Мы «не узнали» друг друга.

Грибная фея

В какой бы точке Земшара ни оказался русский человек, примерно с середины лета и до глубокой осени он испытывает смутные требования души побродить где-нибудь среди заросших холмов и лощин, иначе говоря — отправиться на охоту! Разумеется, не на громкую с гиками и метаньем камней охоту на мамонга, даже не благородную пальбу из дробовиков по вальдшнепам (на просеках и в сумерках), а на тихое утреннее собирательство пригаившихся по лесным буеракам грибов. Особенно — после дождичка. Особенно — в четверг. А лучше всего на выходные.

Конечно, в брежневской Рашеньке на то были экономические причины: при отсутствии колбасы страна поневоле постилась и в грибные сезоны заполняла пригородные электрички корзинами, толково засунутыми в рюкзаки. Но и тогда гастрономическая составляющая таких лесных набегов была высока. Ещё бы! После жгучего опрокидона ничего более увлекательного не было, чем подцепить вилкой скользкого маринованного моховика—подлеца, убегающего от тебя по тарелке и отправить его в рот. Но и в рассеянии этому национальному виду спорта предаются многие, и не обязательно русские. В моей домашней библиотеке некоторое время находился двухтомник о грибной охоте на холмах Святой земли с картинками и кулинарными рецептами. Второй том был ещё более экзотичен, чем первый: там сообщалось, как из грибов готовить печенье и прочие сладкие блюда!

Но охота в чужих краях не всегда бывает удачна. Наш ежедневный «Милуокский часовой» напечатал заметку о польской (судя по фамилиям) парочке, которая прельстилась на бледную поганку (*Amanita virosa*), приняв её за съедобный *Agaricus*, в просторечии — шампиньон. Коварство этого ангела смерти заключается, во-первых, в том, что он очень хорош на вкус, а во-вторых, его симптомы,

действующие разрушительно на печень и почки, проявляются лишь на третий день, когда беспечного грибоеда спасти уже невозможно. Ту польскую парочку удалось откачать, трижды сделав им полное переливание крови. А всего-то пустяк нужен, чтобы распознать бледного убийцу: не срезать гриб, а вынуть его из земли. Если корень растёт из яйцеподобного основания, такой гриб смертелен. В моём случае другой ангел был сильнее, а именно — Ольга.

Возвращаясь как-то из университета домой вдоль парка, я заметил на краю лужка весёлую семейку лисичек, на секунду заколебался, но вдруг отбросил сомнения и набрал, едва удерживая в руках, кучку жёлто-оранжевых друзей желудка. В последнем определении усомнилась моя мать, тогда ещё гостившая у меня:

— Как-то они великоваты для лисичек...

— В Америке всё большое — дома, деревья! — воскликнул я несколько запальчиво.

Ольга наотрез отказалась жарить мои лисички. Я порывался их приготовить сам. С трудом она образумила меня, уговорив показать их специалистке, «грибной фее», как она её назвала. Мы поехали. Жила эта фея неподалёку и выглядела высокой хрупкой старушкой с руками в мелких морщинках и пигментных пятнах. Звали её на русский слух забавно: Тула. Тула Эрскин. Она оказалась художницей-полупрофессионалкой, — многие тут расписывают открытки цветами и кошечками. Её темой были грибы, «окабы табуретки», как их называют дети. Мои лисички она, конечно, забраковала как ложные и даже опасно ядовитые. Хорош бы я был, накормив ими семейство. Одна Маша осталась бы в живых, поскольку грибов она вообще не ела и наше русское увлечение не одобряла решительно:

— Якк!

Так здесь выражают предельное отвращение. Но у нас с Ольгой образовалось немало американских единомышленников, поскольку Тула, видя наш интерес, пригласила вступить в общество грибоведов и гриболюбов, официально именуемое Микологическим обществом штата Висконсин.

Интересное это было собрание людей! Одни, как мы с Ольгой или Джордж с женой (не помню их фамилии) интересовались предметом гастрономически, другие, как Тула, — чисто эстетически, фотографируя и зарисовывая находки. А третьи, внешне отмеченные некоторой хиповатостью, искали в грибах блаженного забвения или видений иных миров.

Кстати, несколько слов об американской физиогномике: мне потребовалось много месяцев, чтобы научиться читать здешние лица, и всё равно случались ошибки. Водопроводчиков я принимал за интеллектуалов, и наоборот. Разумеется, не в тех случаях, когда они проявлялись как чистые профессиональные типы — если мастеровой, так в кепке и со щёткой усов под носом, если трубочист, так весь в чёрном, с пыжом в руках и цилиндром на голове!

Наши наезды и набеги на висконсинские лесопарки происходили так: кортеж разномастных машин (вот как раз автомобили позволяли точнее всего судить о людях) направлялся в одно из живописных мест штата, и грибники рассыпались по лесу. В священный час ланча все собирались и завтракали за пикниковыми столами, кто — с пивом, а Джордж — с хорошим виски, а затем на столах же раскладывали найденные лесные сокровища. Шелестели страницы определителей, звучала латынь.

Каких только грибов здесь не было! Ловлю себя на слове: не было белых. Но зато мне стали известны десятки других, по виду — совсем необычных, а по

вкусу — не хуже отечественных боровиков и рыжиков. Вот, например, опята, по здешнему — «медовые грибы» и на картинке, и на сковородке. Или ярко-оранжевые «сульфуровые полки» с несколько адским запахом, улетающим при жарке, — изысканное кушанье, недаром их называют ещё «цыплята леса». А есть и «курица леса», не такая вкусная, но громадная, и впрямь напоминающая взъерошенную наседку. Вот «белый медведь» из породы коралловых с восхитительным запахом смороды. А это «гриб—лобстер» цвета и вида варёного омара, — по существу, паразитирующая ткань на теле другого гриба и передающая ему свои вкусовые свойства. С ним приходится быть осторожным: хорошо, если он оседлает съедобный гриб, а что если разрастётся на ядовитом? Но искушённые микологи приглаждают за любителями, последнее слово остаётся всё-таки за экспертами.

Недаром обычные американцы едят лишь то, что продаётся обёрнутым в целлофан, делая исключение лишь для весенних сморчков. На истинно тихую охоту за «морелами» отряжаются профессионалы в камуфляже, каждый из которых знает свои тайные грибницы и готов превратиться в куст или кочку, если поблизости увидит конкурента. Добычу они сдают за космическую цену прямо в рестораны.

А что сказать тем, кто без белых грибовое собирательство не признаёт, кто якобы приносит домой корзины «одних шляпок»? Таким скептикам можно ответить диалогом из Тургенева:

— И белые есть?

— Есть и белые.

Мы с Галей привезли их однажды целый багажник с юга нашей Иллинойщины. Росли они семьями в парке под соснами и дубами, даже меж пикниковых столов, и никто их не собирал. А Толя Каплан с Игорем Тюльпановым летали за боровиками в Колорадо. Наш грибоед и миллионер Джордж тоже летал туда с женой по грибы, но на собственном самолёте. А специально за белыми отправлялись они в тогдашнюю Чехословакию, но тут уж не на своём, а на коммерческом лайнере, хотя и в бизнес-классе. И — в Кигай за особо деликатесными грибами «шитаки»!

Джордж собирал не только грибы, но и, как положено богачу, золото. Однажды он устроил сбор актива нашего общества у себя в усадьбе. Домище стоял в лесу. Отдельно, соединяясь с домом лишь застеклённой галереей, находился зимний бассейн. По стенам зала, где мы заседали, располагались стеклянные стенды (как в музее, с сигнализацией), где блестели жёлтым металлом статуэтки инков и прочие древности. Оказалось, что он неоднократно летал в Мексику (опять же по грибы), и там сдружился с археологами на взаимовыгодной основе. Он помогал им с самолёта разведывать джунгли в поисках забытых и заросших деревьями пирамид, а они расплачивались найденным золотом.

С этим Джорджем связана у меня забавная история, которую можно было бы назвать «Как я катался на миллионере». В одну из поездок, когда грибники разбрелись в лесу по своим дорожкам, я, кружа по низам в своём секторе, случайно наткнулся на Джорджа. Тут же хотел отвернуть, но он меня позвал и показал куда-то вверх. Там на стволе дерева соблазнительно оранжевел большущий пучок.

— *Flammulina velutipes!* — сходу определил я латинское название, которое переводил для себя как «пламенные бархатноножки». Вкуснейшие, между прочим, грибы!

— Я знаю, — ответил опытный гриболуб. — Но как их достать?

Я попытался дотянуться палкой. У меня был надёжный посох, на который я спилил целый молоденький дубок (успокойтесь, зелёные! — оставив другой ду-

бок, росший плотную, без близнеца-конкурента), но длины посоха не хватило. Мы стояли под недостижимой приманкой, напоминая известную басню Эзопа. Пучки привлекательных грибов завораживали нас.

Наконец, Джордж предложил план:

— Дмитрий, ты, вроде, будешь полегче меня. Может быть, сделаем так: я присяду, ты встанешь мне на плечи, а потом я приподнимусь, и ты дотянешься?

Это был бы — цирк!

Я представил себя на плечах миллионера и, развеселившись, понял, что мне будет о чём рассказывать грядущим поколениям. И в то же время попирать ногами другого человека показалось негоже.

И я отказался.

Белый паспорт

Не доверяя одноразовому советскому документу, лишь продлённому на пять лет (но без обмена на постоянный заграничный), я решил уповать только на зелёную карту жителя США, да ожидать, когда повернутся колёса бюрократической машины и меня признают гражданином этой страны. Но колёса вращались медленно (теперь-то я понимаю, что в ту пору на это грех было жаловаться), и для первой поездки в Париж мне потребовался временный пропуск для заграницы, или так называемый «белый паспорт».

В «Русской Мысли» я был представлен пред очи главреда Иловойской-Альберти, а затем, когда интервью уже состоялось, но ещё не ушло в печать, Горбаневская с дружественным рвением стала задаваться вопросом, где бы нам опубликовать «Русские терцины» целиком. Да, собственно говоря, ответ напрашивался сам собой: конечно, в «Континенте», где Наталья числилась ответственным секретарём и решала практически всё. Всё, да не совсем. Большие публикации, так же как и деликатные вопросы журнальной политики требовали согласия «Самого». И она отвела меня к нему на квартиру. Кажется, где-то там же была и редакция.

Главным в «Континенте» прочно оставался его создатель Владимир Емельянович Максимов. Впрочем, ни его имя, ни фамилия, ни отчество не были подлинными, и об их непросом происхождении лучше всего справиться в Википедии. Но его репутация бунтующего писателя-официала, стихийный талант, непримиримое инакомыслие доказали свою подлинность ещё в Москве, где довелось мне его увидеть. Это было в начале 70-х, а именно 23 апреля, в один из моих наездов в Белокаменно-крупноблочную, когда я оказался на праздновании дня рождения Наймана в его новой квартире на Дмитровском шоссе. Гульба получилась весёлой, и в какой-то момент рюмки-закуски, шутки-байки артистичного именинника, здравицы гостей, радушие и красота хозяйки, весь этот славный шум пирушки слился в пёстрое чередование красок и звуков, из которых вдруг вычленилась общая пауза, когда примолкнувшее внимание обратилось к запоздалой фигуре, усаженной во главу стола: «Максимов! Владимир Максимов!». Серо-русые мятые волосы, землистое лицо то ли язвенника, то ли пьющего гегемона составляли резкий контраст импортному пиджаку из свежей розовой замши. Такие обычно носили вальжные мужчины, — киношники, театральные режиссёры, продвинутые в администрацию гуманитарии. Но прежде всего это была добротная красивая вещь, созданная надолго

и даже с трогательной заботой о владельце: сзади на ворот откидывался клапан, предохраняющий замшу от перхоти и сальных волос.

Самиздатские романы, за которые его сильно трепала охранка, действительно, так же контрастно шокировали и восхищали «кусками дымящейся правды», если использовать чью—то ходячую метафору. Именно «кусками» — из-за их выхваченности из жизни. Но при этом они имели крепко стоящую на ногах романную структуру. Их, я надеюсь, ещё прочтут. А если и нет, это не так существенно, — те, кому нужно, их уже прочли. Дело ведь не в читателе, а в том, что книги написаны, изданы и, следовательно, они потенциально продолжают быть.

В парижской очень даже приличной квартире Максимов, с утра одетый официально, выглядел столь же неулыбчивым, как и на той московской вечеринке. Лицо стало не таким землистым, но массивные очки и брезгливые морщины придавали ему законченно бюрократический вид. С Натальей он, впрочем, разговаривал нормальным товарищеским тоном, но то и дело срывался на монологи примерно такого установочного характера: «Континент», мол, должен выражать не только русский, но и восточноевропейский опыт сопротивления коммунизму. Та же риторика была и в его публицистике, — объединиться единым фронтом против розового либерализма, которым ещё не переболел Запад. Наиболее упорных леваков он называл «носорогами» (из пьесы Ионеско), сам, увы, слишком прямолинейно нападая на них нестрашным Китоврасом.

Может быть, такая активная критика понравилась ему в моём отзыве на книгу стихов «Имена мостов», — первую книгу Евгения Рейна, вышедшую тогда в Москве. Её откопировал и прислал мне из Лондона Славинский вместе с вырезкой из «Литературки», где Евтушенко снисходительно полупохвалил эту книгу. Критика и была направлена именно на кислосладкую реакцию Евтушенко: я отстаивал поэтическое преимущество Рейна перед знаменитым, но двусмысленным либералом.

— Вот как надо писать рецензии! — неожиданно заметил Максимов. — Я хочу пригласить вас на расширенный редакционный сбор.

— Уж не хотите ли вы ввести меня в состав редколлегии? — удивился я.

Максимов оценивающе взглянул на меня и ответил:

— Нет, я имею в виду другое. Пока ещё рано говорить, но я позднее поставлю вас в известность...

Прошло не менее полугода, и я забыл о столь туманном обещании. И вот — пришёл конверт из Парижа! В него было вложено официальное приглашение на эмигрантский форум «Континент культуры» в Милане. С оплаченными билетами и гостиницей! Спрыснутая адреналином тщеславия и надежды жизнь снова стремительно завертелась. Старые тревожки и возбуждения вытеснялись новыми. Отпустит ли «Астронавтика»? Успеет ли к сроку американский паспорт, — ведь я к тому времени натурализовался как гражданин. А вдруг не успеет? Тогда нужно возобновить белый паспорт с истекающим сроком действия. А ведь у меня ещё есть советский, но к нему понадобится итальянская виза...

Позвонил Славинский: он себе устроил командировку в Милан и мог бы «подарить мне Италию», если я останусь ещё на недельку. И вправду, он ведь там прожил год, прежде чем попасть на БиБиСи, исколесил всю страну и был бы мне идеальным «путеводителем».

Друзья мои, я люблю вас!

«Астронавтика» впечатлилась международной бумагой и отпустила на неделю (в счёт отпуска). Белый паспорт пришёл день в день с полноценно американским. Вернулся из итальянского консульства в Чикаго и мой советский с соответствующей визой. Теперь я стал обладателем трёх паспортов, словно какой-нибудь авантюрист или шпион, и решил взять их все с собой — просто так, сам не знаю зачем.

И вот опять огромный (или — огромная?) Боинг несёт меня через Атлантику. Не удивляйтесь словам, что в скобках: с некоторых пор, под возможным влиянием английского, я воспринимаю воздушный корабль как великаншу, женского рода. Она совершает ночной полёт, в иллюминаторах ничего не видно, и, хотя спать я от возбуждения не могу, какие-то сладко-бредовые ассоциации проплывают в воображении. Мы единимся в полёте с крылатой великаншей, но если считать себя единственным её избранником, тогда причём тут три сотни прочих пассажиров, среди которых я вижу знакомые, хотя и недружелюбные лица: вот Лосев, Алешковский, кой-кто из писателей? Я с ними, да и ни с кем другим бы не поделился своею ночной подругой, но вот охальник Алешковский как будто притязает... Писатели дремлют, освежая мозги перед выступлениями. Ничего, я уже учён и подготовил заранее текст, даже на всякий случай два.

Ранним утром мы прибываем в аэропорт Милано-Мальпенса. Сонную усталость как рукой сняло. В толпе встречающих стоит организаторша форума, собирая участников на автобус. Их довольно много, прибывших из Америки одним рейсом. Она держит высоко в руке последний выпуск «Континента». Это № 31, где целиком напечатаны «Русские терцины», а в центре обложки — мой портрет.

Дальнейшее складывается в череду радужных и несколько расплывчатых вспышек памяти, в которые попадают то стрельчатые окна и часть грандиозного фронтонного собора, то карабинеры с автоматами у дверей и на перекрёстках: в городе находится Папа Иоанн-Павел Второй, недавно оправившийся от покушения, и его усиленно охраняют. Импровизированная экскурсия заканчивается в центре Милана, где нас выгружают и располагают в Палаццо Стеллине.

Когда-то здесь был монастырь, затем католический колледж, обросший впоследствии шикарнейшей гостиницей. Старое и более скромное крыло с кельями и выходом на двор к галереям сдавалось для конференций вроде нашей. Не древность, но всё же старина вмиг смешалась со злободневностью: телевидение, пресса запечатлевали спонтанные встречи рассеявшихся по свету диссидентов. Я узнавал легендарные лица. Правда, ни Солженицына, ни Бродского опять же среди них не оказалось. Но зато — генерал Петро Григоренко, защитник крымских татар! Владимир Буковский, обмененный на чилийского Корвалана! Эдуард Кузнецов, приговорённый к смертной казни по «самолётному делу»! Герои, борцы и мученики, свалившие в конце концов советскую машину репрессий, но при этом сами они — создания могучих демонов информации...

А уж писателей, издателей, публицистов было хоть пруд пруди — весь цвет Сам- и Там-издата.

Мы крепко обнялись с Юрием Кублановским — впервые после прощания в Москве, когда он заклинал меня беглым анапестом:

*Вспомни же, Димитрий, когда океан
под тобою развернется вчужде,
как потел на снегу вожаденный стакан,
как затягивал певчие горло аркан
над озёрной ахматовской стужей.*

Ему лишь недавно удалось вырваться из той затягивающейся петли, и он теперь осваивал Запад, оставаясь целиком в русском мире: снискал расположение (разом — обоим!) Солженицына и Бродского, выпустил толстую книгу стихов в эфемерном издательстве «La Presse Libre», возникшем на типографской основе «Русской Мысли», и тут же закрывшемся. В цвету молодой мужественности Юра появился в окружении парижских дам — прекрасной Арины и счастливой Натальи. Я внутренне порадовался и погоревал за Наталью, предвидя скоротечность её счастья.

Друг Славинский прибыл из Лондона прямо к обеду и сразу подсел ко мне за столик, что затруднило церемонию объятий и приветствий. От избытка впечатлений я ушёл в ступор и едва ковырялся вилкой в «пасте», признавая, однако, «антипасту» съедобной. Сидящий напротив Александр Зиновьев совсем не притрагивался к еде, — отвечал на вопросы корреспондента газеты «Стампа»; своей очереди к нему ждал знаменитый и бесстрашный Савик Шустер, только что побывавший у муджахедов.

Параллельно культурной, в тех же стенах проходила и афганская акция, — ведь где—то далеко шла война, буквально по моим следам захлопнувшая дверь в эмиграцию, а отзывалось и здесь. Дряхлеющий Брежнев разворочил тогда гнездо шершней на беду и головную боль последующим генсекам, не говоря уж о солдатах, присылаемых матерям в цинковых гробах. Горбачёв едва унёс ноги оттуда, а шершни взяли и ужалили вовсе не Кремль, но самое неожиданное и болезненное место в мире — «квадратный двучлен», гордость Нью-Йорка, и война началась по—новой. Сейчас можно уже назвать её «Тридцатилетней», наподобие той, что была в средневековой Европе, и у неё есть шансы стать «Столетней».

Моё смятение и сочувствие вызывали как «наши» подневольные солдатики, которых погнали на бронетехнике и вертолётах в горы, так и те, неизвестные в войлочных шапках, на чьи головы «наши» свалились. Сочувствие (к тем и этим) таяло по мере сообщений о мародёрстве и злодеяниях, но было жалко мёртвых — молодых, старых и ещё не успевших пожить. Такая двойственность была естественна (при моих паспортах), хотя и ворошила душу... И наоборот, мне казались ходульными призывы эмигрантов к «своим» правительствам дать «Стингеры» в руки тех, кого они называли повстанцами, партизанами и кто стал впоследствии талибами, а затем террористами. Совсем, совсем другое дело было выручать русских ребят из афганского шена, то есть, конечно, выкупать их, а первой всего — убедить головорезов, что выгодней оставлять их в живых. Как я узнал позже, этими гуманными инициативами занимались Владимир Буковский и Михаил Шемякин.

Что же касается моего собственного «участия», то оно свелось к переводу из американского поэта Уильяма Питта Рута (William Pitt Root) поэмы «Неодолимый алмамент» с подзаголовком «Полночное письмо муджахиддину». Этот храбрый и талантливый парень действительно там побывал, поездил по стране, взбирался на вершину «Жар-горь» и как сам предмет, так и словесное искусство знал отменно. Испросив у автора согласия, я получил текст, изданный тонкой брошюрой и увлёкся, подыскивая русские слова для его мощных и дерзких образов. Когда я всё

закончил и закрыл книжку, на задней стороне обложки меня ждал сюрприз. Там среди отзывов на поэму был такой: «Исключительно сильное произведение, в котором эта страна истинно нуждается. Насколько мне известно, Вы единственный, кто достаточно знаком с темой (советская военная кампания в Афганистане), чтобы по праву к ней обратиться. Может быть, Ваши слова и не помогут несчастному народу, но я уверен, что ими Вы спасаете честь своей нации».

И подпись — Иосиф Бродский. Вот где мы пересеклись, — можно сказать, на афганской территории!

Перевод я опубликовал в 57-м номере «Континента». Привожу из него отрывок.

*Выдолбленные за годы и годы в камне,
выбитые копытами стад
ходы
хитро привлекают
новые стада теперь —
советские бронетранспортёры,
которых ваши разведчики
заманивают в ущелье,
а вы запечатываете валунами
вход и выход,
орудуя посохами
как рычагами.*

*В ловушке,
перепуганные,
они слишком поздно
разражаются шквалом пушек и пулемётов
против neodолжимой скалы,
где вы прячетесь в ожидании
когда всё смолкнет,
чтобы обрушить пыльную тучу
точно рассчитанного обвала и камнелома.*

«Континент культуры»

Это мероприятие переполнялось политикой, а между тем гости и насельники монастырского двора были окружены старинными улочками, театрами, галереями и лучшими в мире книгоиздательствами. Но за два дня споров и лихорадочных, хотя и радостных общений мало что из этого пришлось увидеть. Оказалось, что на той же улице в полутора кварталах находится церковь Санга Мария делле Грацие с «Тайной вечерей» Леонардо. Великая фреска — в очередной реставрации, доступ ограничен, но для участников форума сделано исключение. Пошли, конечно, пешком.

Внутри — полумрак, зелёные сетчатые завеси реставраторов. Освещение как раз такое, чтобы наполнить густотой блёклые осыпающиеся краски, которые, как это ни странно, единым махом через все века осовременивают картину: превра-

щают бурный психологизм евангельского эпизода и его итальянскую жестикуляцию в совсем близкий нам язык многозначительного спокойствия — ну, не символизм ли, не импрессионизм ли это? И ещё одна странность — линейная, вытянутая вдоль стены композиция, а за ней уходящая перспектива, которая эту линейность превращает в глубину, в даль, в бесконечность.... Даже сама техническая неудача фрески, в миллионный раз указуемая, лишь подтверждает присутствие тайны и даёт ещё большее, горькое величие, чем если бы она была совершенна.

После такой огромности и высоты духа весь наш «форум культуры» предстал мельтешением былых знаменитостей, ярмаркой треславия.

Но были и там моменты теплоты, внимания и приязни. Например — со стороны четы Григоренко, которых я увидел впервые (и единственный раз). Петро Григорьевич оглядел меня пронизательным взглядом — ну, как «отец солдатам» глядит на старательного новобранца — с надеждой и даже с кредитом гордости за него. И — одобрил! И Зинаида Михайловна тепло и ласково поговорила, пораспрашивала, за что и сама была названа мной «диссидентская мама».

Генерал Григоренко, мученик, герой и правдоискатель, был всё—таки военным человеком. Тем необычной оказался в нём сочувственный интерес к литературной полемике и выступлениям, среди которых звучали противоречивые и запальчивые утверждения о примате эстетики над этикой. И «Новое Русское Слово» предоставило ему рассказать о конференции. Из серии статей «Снова Европа» у меня сохранилась вторая, напечатанная 6 июля 1983 года. Приведу здесь некоторые отрывки оттуда, облегчая свою задачу.

Из очерка генерала Григоренко

«В Милане встретили нас по-деловому. Мы были доставлены в гостиницу и накормлены, получили все необходимые документы для работы по программе... Поэтому работа на следующий день началась вовремя и организованно. Очень приятно было попасть в эту среду. Много друзей, ещё больше знакомых... Фойе гудело, как улей: оклики, рукопожатия, возбуждённые разговоры... Этим эмоциям бесспорно надо было дать разрядиться. Тем более, что одновременно были розданы наушники — прекрасные, новейшие: синхронный перевод на четыре языка.

Организатор заседаний Серджио Рапетти... Милая улыбка Серджио создала атмосферу доверия, дружбы.

Максимов своим выступлением, открывая конференцию, поддержал эту атмосферу. Он говорил, что в таких встречах, как эта, бывает трудно избежать политических выступлений и личных амбиций:

— Но всё же мне хочется надеяться, что сегодня и завтра мы поговорим о литературе как таковой, ибо, хотим мы этого или не хотим, только в ней наше спасение от творческого осуждения и человеческой деградации.

Очень коротким было это выступление — минуты полторы, не более, но однако сразу создало настрой соответствующий. Выступавших было около полусотни.

Некоторые выступления были для меня особенно интересны. Например, высказывание В. Аксёнова об ироническом тоне литературы:

— Серьёзность — неперемнное свойство графоманов, отсутствие профессионализма, непомерные претензии. Советская литература — это край испуганных графоманов, и нет более серьёзных людей, чем советские писатели.

Впечатляющим для меня было выступление Александра Зиновьева.

— Цензура, — сказал он, — ни в какой мере не является помехой для многих тысяч бездарных литературных чиновников. Масса писателей выполняют эти функции сами и добровольно... Они не жертвы режима, а его слуги и хозяева. Лишь для немногих исключительных одиночек, отважившихся говорить правду о советском обществе и на самом деле являющихся новаторами, советское общество превращается в сущий ад... Одним словом, разрешая советским писателям эмигрировать на Запад, власти делали это не из гуманных соображений. Они прекрасно знали, что эмиграция есть всего лишь растянутая во времени пытка, в конечном счёте — казнь. Так проявим хотя бы минимальное — солидарность жертв.

Остановлюсь ещё на одном выступлении — поэта Дмитрия Бобышева. Он затронул старый спор сторонников общественной пользы со сторонниками чистого искусства, положив в основу своего разбора некрасовское: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

— Общественная польза — это нечто унижительно малое для искусства. Это всё равно, что делать из людей гвозди, как выразился когда-то поэт, впоследствии гражданин Николай Тихонов. Искусство — младшая сестра религии, — сказал Бобышев, — а сторонники общественной пользы — это те, кто составляют нынче литературную мафию.

Соглашаясь с Зиновьевым, поэт сказал, что литературно-издательские круги в СССР столько же служат идеологии, сколько используют её в своих целях. Кто принял эту игру, тот стал уже сейчас литературным начальством. Результатом являются бесцветные сборники, телевизионные выступления, перед которыми приходится заранее сражаться за привилегию сказать меньшую долю идеологического вранья, чем им предписано. А чистое искусство — это художественная правда. Бобышев процитировал Анну Ахматову:

*О Боже, за себя я всё могу простить,
Но лучше б ястребом ягнёнка мне когтить
Или змейёй уснувших жалить в поле,
Чем человеком быть и видеть поневоле,
Что люди делают, и сквозь тлетворный срам
Не сметь поднять глаза к высоким небесам.*

Затем сказал:

— Эти стихи оставляют после прочтения за собой такое поле, в котором нет места всяческому вранью и прочей скверне. В этом и есть спасающее влияние поэзии. Стихи написаны по-русски, но понятны и на каком-то высшем общечеловеческом языке. Это язык отчизны, к которой все мы принадлежим по Божественному замыслу.

Выступал на конференции и я (генерал Григоренко — Д. Б.). Я поднял два для меня главных вопроса: о мемуарной литературе, которая раскололась на огромную мемуаристику большой лжи и на небольшую по объёму, но великую своему историческому значению летопись страшного времени.

Затем я с большим запалом высказался о матерщине в литературе:

— О несчастный русский язык! До чего тебя довели! Ты стал столь бедным, что без помощи мата не можешь представить русского человека.

Конференция подняла многие важные вопросы, поэтому о ней много писали. Итальянская пресса широко её освещала. Все участники давали интервью (мы с женой дали пять интервью), выступали перед итальянской публикой.

Но вот деловая часть закончилась, и у нас осталось время, чтобы посмотреть Италию».

Венеция

В самом деле, было бы непростительно перелететь через океан и, просидев два дня на конференции, вернуться, так и не повидав страну. Славинский сверстал для нас такой план: два дня на Венецию, три дня на Рим, а затем оставшиеся полтора—два провести по моему выбору — во Флоренции или Неаполе. А я поделился с ним заветным вариантом: с помощью кредитки «American Express» и советского паспорта слетать хоть на денёк в Ленинград и обратно. Мои разноцветные документы и визы восхитили его, мы умственно поиграли в такую возможность, только вот слово «обратно» вызвало у обоих оправданные сомнения, и вся идея была отвергнута как «русская рулетка».

А подначь он меня, я бы, может быть, и сыграл.

— Я тут подсуетился, — сказал после этого Славинский, — и организовал нам взаимовыгодных попутчиков до Венеции.

— Кого же? И в чём выгода?

— Гальперина и Генделева знаешь? Бензин твой — идея моя, а машина их. Верней, Гальперина. Бээмвэ. Согласен?

— Что ж, ребята хорошие. Машина тоже.

С Мишей Генделевым я познакомился у Давида Яковлевича Дара, когда и тот, и другой готовились к отъезду, а я ещё и не помышлял. Я уже рассказывал в предыдущей книге этого «человекотекста» о запрещённом журнале «Евреи в СССР», к которому оба имели отношение, но добавлю недостающие детали. Несколько пухлых машинописных номеров лежали там же на столике. В одном из них была поэма Генделева «Менора», в которой симметричное расположение текста создавало графический образ семисвещника. Тогда это было адски трудно напечатать на машинке, а теперь на компьютере до смешного просто. Сам приём был известен: от каллиграмм Аполлинера и вглубь веков до фигурных стихов античности, а в русской поэзии, если следовать в обратном порядке — от Симеона Полоцкого до Брюсова и даже ближе — можно было изобразить симметричный объект, например, фонтан или бутылку. Но у Генделева, от кого бы он ни заимствовал этот приём, получилось уместно и красиво. Стиль соответствовал образу, библейская приподнятость тона сочеталась с неожиданными оборотами и сравнениями. Такие устремления были мне близки, — я писал тогда «Стигматы», используя сходную технику, и от души похвалил поэта. Остролицый, дёрганный, он отклонил комплимент.

— Не ожидал, что это вам понравится.

— Из-за тематики?

— Да.

Всё ясно: он, видимо, познакомился с моими «северными» стихами и принял меня за почвенника, из чего немедленно вывел националиста, а затем и антисемига, — такова была нервная логика отъезжающих в Израиль.

— Я не эмигрирую, — говаривал он, поверив буквально в этот затверженный лозунг. — Я возвращаюсь на родину.

Из Израиля он и приехал в Милан, привезя пук новых стихов, — уже не религиозно, а агрессивно националистических: «Стой, ты похож на сирийца! / Сириец внутри красен темен и сыр / потроха голубы — видно — кость бела / он был жив / пока наши не взяли Тир / и сириец стал мертв — / инш'алла».

Я его заклинал:

— Миша! Не покушайтесь на чужую жизнь — поэтам нельзя. Свою душу погубите, и дар свой тоже.

Но Миша служил военным врачом, и потому обязан был не губить, а лечить.

Его друг, красивый ладный брюнет Юрий Гальперин писал прозу и напечатал несколько рассказов на армейскую тему в «Континенте». Один из них начинался красочно: два солдата изнасиловали (там было другое слово) свинью, которая, к их тупому удивлению, «визжала, ну точно, как баба». Солдат наказали строго, но справедливо, а со свиньёй возникла незаурядная моральная проблема: можно ли её теперь, обесчещенную, есть? Гальперин отдавал «воинский долг» на Севере и казарменный быт, надо полагать, знал хорошо.

В Ленинграде его карьера складывалась небезуспешно, хотя и не сногшибательно (молодёжь тогда держали на привязи). Всё же были публикации в альманахах, да ТЮЗ поставил пьесу, написанную им под псевдонимом вместе с Евгением Белодубровским. «На театре», как и теперь по-прежнему выражаются актёры, наблюдалось творческое оживление, вызванное режиссёром Карагодским, помню, были оттуда какие-то приветы и в мою сторону, но подключаться мне показалось напрасной затеей. Однако Гальперин подключился, и с белобрысенькой Мариной Старых они выглядели великолепно парочкой. Марине по внешним данным было б играть лирических героинь, но пока ей давали роль «задних ног козы» и, по её словам, «даже доили на сцене». Начинаящая актриса напрасно рассчитывала на чувства молодого драматурга, — вскоре он встретился со студенткой из Берна и женился.

Не знаю, зачем я так подробно рассказываю о нём: может быть, из—за подсознательной связи между осквернённой свиньёй и доимой на сцене козой? Ведь я хотел просто описать попутчика на перегоне Милан-Венеция...

В морозящее дождём утро мы вчетвером рванули по туманной, но прямой автостраде через долину Ломбардии. Нас выпустили из гостиницы без завтрака, и потому здоровый аппетит довольно скоро дал о себе знать. Путники согласились дотерпеть до Вероны, отмеченной пылающими сердцами известных любовников, и съехали с дороги, остановившись у придорожного «Оазиса». У входа в ресторан (уже с утра) подпирала стенку группа итальянских парней. Я напрягся — будут кланчить или вязаться? — но они добродушно приветствовали нас.

— Спрашивают, кто мы, откуда и куда? — перевёл Славинский.

«Камо грядеши?» — был самый главный вопрос, головокружительно занимавший и меня, но не в значении эмигрантского «рассеяния» по всей Земле, а в свете обещанной для нас самим Достоевским «всемирности».

— Переведи им вот что — этот приехал из Швейцарии, ты сам — из Англии. Вон тот живёт в Израиле, а я — в Америке. Но все мы — из Ленинграда. Из России!

— Russo, russo. Vene, bene... — одобрили нас юные веронцы.

И вот — Венеция! Ну, не буду же я переписывать из путеводителей: «Город в северной Италии. Расположен на 118 островах Венецианской лагуны, раз-

делённых 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов (в том числе Рияльто и так называемый мост Вздохов, оба относятся к концу XVI века)...»

Нет, отбросим прочь печатные пособия с их датами и цифрами! По Венеции нужно только бродить, глазеть и влюбляться в неё, влюбляться, влюбляться, пока не переполнишься счастьем так, что оно брызнет из глаз радужными слезами, наподобие сувенирных стекляшек и мишуры, предлагаемых здесь для туристов гириандами. Она и сама роняла капли дождя из лёгких проносающихся облаков, перемежаемых лучами. Выражение «царевна плачет» как нельзя более подходило здесь к сочетанию золотых кружев, перлов влаги и солнечных брызг с пятнами облезлой штукатурки, с игрой водных зеркалец на заплесневелой стене и чуть накренившейся над своим отражением башней. Всплакнувшая сквозь улыбку принцесса была не первой молодости, но очень хороша.

Четверо чужеземцев, ошалевших от созерцания красот, встретились после отдельных прогулок вновь на набережной и решили, что пора, наконец, закусить. Купили хлеба, сыру, помидоров, две бутылки вина и, ополоснув руки в фонтане, устроили трапезу на каменных ступенях, спускающихся к причалу. От канала слегка тянуло дохлым крабиком, но более удобного места поблизости не нашлось.

Я спросил у Гальперина, публикует ли он свои солдатские байки в Швейцарии. Оказалось, что да, в переводе на немецкий. Это меня удивило:

— В нейтральной стране? Ведь у них даже нет армии!

— Есть, и будь здоров какая! Но также есть и полиция. Я как раз перед ним и выступал в Берне. Понравилось, особенно женщинам-полицейским. В газетах были заметки...

Я переключился на Генделева. Тот любовался и играл только что приобретённым ножом. Нож был самораскрывающийся, бандитский. Это действовало мне на нервы.

— Слушайте, Миша, вот вы говорите, что Израиль ваш дом. Ну и пишите стихи на иврите. Это ж так здорово: царь Давид, царь Соломон... Генделев... Каббала!

— Вы не представляете себе, какой это трудный язык, — продолжал он играть ножиком.

— Оставьте этот нож! Зачем вы купили его?

— Для самообороны. В Израиле такой не достанешь — запрещено для продажи.

Между тем, дождик продолжал накапывать. Задумчиво глядя на поверхность канала, Генделев произнёс:

— Похоже, как гвоздики забивают. Только не сверху, а снизу, из-под воды...

Первая половина метафоры мне показалась знакомой. Или — похожей на что-то знакомое... Где ж это было: «А ты идёшь себе... И только дождь / вгоняет в землю тоненькие клинья...»? Да это же — из моих ранних стихов, гулявших по Самиздату. А вот вторая, вычурная часть метафоры была его собственной. Была, да сплыла... Поздней я нечто подобное читал у Елены Шварц в «Игольчатом море»: «Как будто рой подводных швей / вбивает тысячи играющих иглол / с изнанки моря...» Она умела подхватить и присвоить то, что падало в руки. А спроси её напрямую — откуда? — ни за что б не призналась. Но теперь уж не спросишь.

Вот и Генделева нет. И не они обо мне, а я пишу о них, моих младших соревнующихся по «ленинградской школе».

Ночлег нам со Славинским предоставили местные «знакомые знакомых», чьи имена, увы, ни он, ни я не запомнили. Нет, вспомнил: Нино Бриамонте с супругой. Это была красивая, довольно молодая пара потомственных венецианцев, живущая в старинном доме прямо над мостом Риальто. Из окна их гостиной, где нам постелили к ночи на тюфяках, была видна часть мраморной галереи над Гранд-каналом и угол набережной. Там шла торговля всякой ерундой, дорогой и дешёвой, блёстками, а по существу — воздухом, светом и водными отражениями, всем тем, что из себя представляет Венеция. Мельтешение людей, неизбежный сор на плитках, незаметно исчезающие к утру, позволяли смотреть на это нарядное, праздничное место взглядом бытовым, обиходным, как на красоту, к которой уже привык и её не замечаешь, а глянешь и: ах! — чувство, уже изведанное мной по петербургской жизни.

Нино и его жена занимались искусствоведением: она что-то писала и преподавала, он что-то писал и увлекался политикой. В политический спор превратился наш диспут в той же гостиной. Нино пытался доказать необходимость коммунистической партии для здоровой общественной жизни! Английский у нашего оппонента был довольно слаб, он сбивался на итальянский, и его бурную апологетику переводил мне Славинский, частично отвлекаясь на возражения. Я и сам, подхватывая итальянские полуфразы, заканчивал их по-английски или просил моего друга перевести с русского. Из такого многоязычного сумбура мнений можно было всё-таки признать резонным одно: обществу необходима оппозиция, а в итальянском случае — даже самая свирепая. Из уверений Нино выходило, что американцы, создав после войны итальянскую демократию, не дали гарантии от сползания её вправо, к клерикализму и мафии. А коммунисты гарантию дают! Любопытно и, наверное, характерно в рассуждениях богатого левака и поэта (а теперь уже и профессора) было то, что в итальянских проблемах оказывались виноваты американцы.

Рим

Расставшись с венецианскими попутчиками и хозяевами, мы со Славинским направились в Город, куда, как известно, ведут все пути, в том числе и железнодорожные, которые на подъезде к нему скучны и неказисты, как и везде: штабеля шпал, кучи щебня, контейнеры, склады... Но вот необычное зрелище — беспорядочные трущобы, или попросту кривые конуры для жилья, сделанные кое-как из подручных материалов с косыми пролазами-проходами между ними, — такие же, как под Буэнос-Айресом (увиденные глазами киношника—документалиста) или под Усинском у Полярного круга, куда ездила Леночка Пудовкина к ссыльному мужу и прислала оттуда фотографию этого чуда градостроительства с такой запиской (от 28 авг. 1986 г.): «Кварталы «Фантазия» и «Нахаловка» — живописные йшие лабиринты, состоящие из вагончиков, цистерн, больших коробок и прочих предметов, приспособленных под жильё; всё это сплетено водопроводными и отопительными трубами, и подведено электричество. Первое впечатление, что жить нельзя, а потом понимаешь, что находишься на настоящем, крепком дне и глядеть оттуда на другую жизнь интересно, весело и спокойно».

А я глядел на подобное через вагонное окно. И вдруг на одной конуре увидел надпись крупными зелёными буквами: «Konstantinov № 8». Как он тут оказался? Привет соотечественнику! И поезд прибыл в Рим.

Мы решили передвигаться в городских прогулках только пешком, — как предложил Славинский, «мерным шагом легионеров», — и следовали этому уговору ненарушаемо. Из квартирки на Трастевере мы спускались с отрога Яникула к быстрому желтовато-мутному Тибру и, если путь лежал к Палатинскому холму, переходили реку по мосту ниже каскада, а если к Капитолийскому, то через два моста и остров выше. Вчерашний мусор, оставленный внуками Ромула и Рема, всё ещё валялся по укромным местам и ступенчатым спускам, и по нему легко можно было судить о характере ночной жизни: одноразовые шприцы, презервативы и мятые банки на каменных плитах... Но для меня здесь была б драгоценна и пыль. Мотороллеры и крохотные (на мой уже американский взгляд) автомобильчики запряживали набережные попеременно с величественными кораблями туристских автобусов. Те открытки с коротким текстом, которые присылал мне Славинский на Петроградскую сторону, внезапно ожили, панорамно раздвинулись, а текст зазвучал беседой друзей:

— Ну, как тебе Рим, чувачок?

— Обалденно!

— Ну, то-то...

Он дарил мне его охапками, развёрнутым ворохом архитектурных фасадов, видами того, как вольно и весело существуют люди среди древностей, среди стольких искусств, — как изяшных, так и монументальных, — дарил даже самым простым ощущением: я — здесь! А зрение между тем услаждалось игрой пропорций: после колосса-Коллизея уличная копия Римской волчицы удивляла скромными размерами, но и меньшей весомостью. А этой улочке хватило одной каменной стопы гиганта (кажется, Диоклетиана), чтобы состояться как искусство с формой, содержанием, идей, новизной и даже абсурдом. Принцип: в малом — огромное. Ради такого фокуса мы оказались на Авентинском холме у закрытых ворот приората рыцарей Мальтийского ордена. Здесь совсем не зазорно и даже, наоборот, поощрительно было заглянуть в замочную скважину: в перспективе густо-лиственной аллеи, в самой точке схода виднелся оминиаютуренный расстоянием собор святого Петра!

Но и не подглядывая, можно было найти там немало возвышенных мест с видом на вечность. Когда я смотрел на убитые мраморным гравием дорожки вдоль стриженных лавров и чёрно-зелёных кипарисов, я вдруг обнаружил, что у меня по лицу текут слёзы. Полный молитвенный мир на душе, а я плачу и сам не знаю, отчего: то ли от исполненности моих путей, то ли от жалости к тем, кому уже никогда не изведать подобного, то ли от стыда перед ними.

Мои прогулки по Риму, — одиночные или совместные со Славинским, с Анной Дони, на квартире которой мы остановились, были счастливым и жадным поглощением впечатлений, иногда чрезмерным. От их избытка я и буквально почти не ел, уверяя разочарованную хозяйку, что итальянская еда мне нравится только в американском исполнении, — не очень любезное объяснение, как я теперь погляжу. Но на привалах, когда ступни начинали гудеть, я научился заказывать *caffee corretto*, то есть крепкий кофе, подправленный граппой, и ноги несли дальше, хотя всё равно к вечеру хотелось их поскорей отвинтить и выбросить.

Мне кажется, мой друг испытывал скачки чувств, подобные моим, переживая заново своё недавнее прошлое и жёсткое по разным его обстоятельствам приземление в этом месте, может быть, лучшем из всех на Земле. Но была у нас постоянная оглядка на тот край, который мы оба покинули. И я снова вспомнил про все свои паспорта — белый, синий и красный... Теоретически можно было бы слетать на денёк из аэропорта Леонардо да Винчи в аэропорт Пулково-2. Туда по красному, обратно по белому и ещё успеть к рейсу через Атлантику до дому — по синему.

— Красивая схема, а, Славинский?

— Что ты, что ты, забудь — прямо в Пулково и заметут! Лучше давай вот что сделаем: как раз сегодня...

И он предложил мне совсем другое приключение: вечером прибывает в Рим ансамбль «Виртуозы Москвы».

(В моей голове тут же вспыхнуло отражённо — «Виртуозы Рима», приехавшие на гастроли в Москву и Ленинград в начале 70-х. «Времена года» Вивальди. Мы с Галей Руби вопим, как резанные, браво вместе со всем залом. Через день на абонементном концерте в Малом зале за два ряда от нас переводчик Иван Лихачёв, с шарфиком под пиджаком, шепчет, целуя ручку даме: «Простите, я потерял голос, крича браво на «Римских виртуозах!» А в проходе вдоль левой стены стоит Бродский, прошедший по входному билету. Голову его прикрывает рыжий паричок — деталь, прежде не замеченная биографами... Дарю!)

— Среди «Московских виртуозов», — продолжал Славинский, — есть близкий друг Наймана, скрипач Толя Шейнок. Он, как я понимаю, скоро свалит вообще. Но пока очень хочет увидиться, поговорить. Просит подхватить его из гостиницы.

— Ну что ж, подхватим... В чём вопрос?

— Надо незаметно оторваться от сопровождающих. Их понаехало не меньше, чем музыкантов.

Мы расположились, забившись в плюшевые кресла, в вестибюле одной из пригородных гостиниц.

Интерьер — более чем скромный, виртуозы сидели на валютной диете. Пока ничего не происходило, мы ждали, а скука и бездействие сами собой перерабатывались во внутреннюю тревогу.

— Сидим, как в ментовке, — заметил мой многоопытный друг.

Наконец, почти бесшумно подкатил огромный элегантный автобус с глазами-зеркальцами на отлёте, как у жука. С мягким пневматическим выдохом распахнул свои двери. Через вестибюль засновали деловитые фигуры, куда-то рассовывающие чемоданы, баулы, продолговатые сундуки, суетясь у грузового лифта. Эти — явно не виртуозы, потому что истинные музыканты, прижимая к груди драгоценные футляры, устремились к другому лифту.

— Ненавижу гэбэшников, — шипел сквозь зубы мой приятель.

— Не заводись, ты же теперь от них отвязан... — успокаивал я, а самому передавалась его нервозность.

В сутолоке к нам подошёл молодой, слегка лысеющий брюнет и вполголоса попросил подождать его на улице. Это и был Толя Шейнок.

Там уже смеркалось. Мы успели выкурить по сигарете под сгущающейся тенью акации, пока не появился Шейнок, и мы втроём зашагали прочь от гостиницы, вздохнув облегчённо, лишь когда завернули за угол и схватили такси...

Он действительно сбежал, но не тогда, а через год на гастролях во Франции.

Русские римляне

Славинский, будто помолодевший Фауст (отдаю ему временно эту роль), вернулся на 10 лет назад в своё прошлое и возобновил кое-какие итальянские знакомства. Мне пришлось мельком пообщаться с причудливыми соотечественниками, наподобие усмотренного из окна вагона «Константинова № 8», которые застряли вопреки (но и благодаря) здешнему законодательству на полпути своей эмиграции. Побывали мы и на толкучке «Американа» — по словам моего друга, это были жалкие остатки былого великолепия. Всё ж, с завидным упорством бывшие киевляне и житомирцы предлагали римлянам много нужных вещей: детские столики-стульчики из Хохломы, матрёшки, фотоаппараты «Зенит» и ручные часы «Командирские».

В эти же дни в Риме находился кинорежиссёр Андрей Тарковский со съёмками фильма «Ностальгия». Ему помогал один из таких «отставших от поезда» полулегальных эмигрантов, который предоставил мне возможность телефонно пообщаться со знаменитостью. Славинский был прав, считая, что я дал слабину, уступив этому соблазну.

Дело в том, что кино я в общем и целом презирал как коммерческое искусство, хотя и делал некоторые исключения: фильм Дрейера «Страсти Жанны д'Арк», например. Что, впрочем, не мешало мне развлекаться движущимися картинками и при этом не угрызаться совестью от собственного лицемерия. А ведь я присягал на верность поэзии! Но это и оправдывало мой искренний комплимент режиссёру, соединившему в одной картине оптическую иллюзию с красотой гармонического слова. Я имел в виду, конечно, голос и стихи его отца в «Зеркале». И, всё-таки, что я хотел ему сказать? Что-то хотел, но не сказал, потому что почувствовал — не надо. Видимо, режиссёр находился в колебаниях, звучал выжидающе и неуверенно, я был смущён его тоном, ожидая совсем другого. А он даже не знал, свидится ли с отцом.

Всё объяснилось, когда так странно Тарковский заявил свою судьбу: вырвался от ненавистных советских чиновников, приехал в Италию с целью снимать кино про... ностальгию по советской родине. И — решил остаться, чтобы поливать мёртвое дерево в ожидании цветов и листьев, — таков был стержневой, позвоночный символ его последнего фильма «Жертвоприношение». И — умер от рака.

Ватикан

Славинский предложил мне вместо туристских прогулок сходить на симпозиум по Вячеславу Иванову, происходивший в те дни в Риме. Ещё бы не пойги, не отдать должную почесть Вячеславу Великолепному! Ведь я вырос на Таврической улице, в тени его петербургской Башни, осенявшей мои первые попытки, так сказать, омузычить жизнь ритмами слов. У меня осталось навсегда более, чем земляческое — добрососедское и свойское отношение к башенному жителю и кругу его гостей. В моё время звезда Иванова и все его «звёзды» и «тернии» были намеренно затемнены и отодвинуты в забвение, — с одной стороны, акмеистами, «преодолевавшими символизм» и культуроборцами-будетлянами, а с другой — идеологическим литературоведением, вытаптывающем дорогу для пролетарской поэзии. Но

для меня его стихи, сколько ни упрекали их в учёности, книжности, сложности и прочих мнимых грехах, уголяли «духовную жажду», которой не я один томился. В них звучала одическая торжественность, а отважное (даже новаторское) корнесловие оживляло библейский словарь новым смыслом. Его стиль как нельзя более подходил к Городу, где он долго жил и умер.

Что же касается его теоретических работ, то по моему убеждению там до сих пор содержится столько ещё невыработанной энергии и художественных идей, что их хватило бы на 200 лет вперёд. Поэты! Это — для вас.

Симпозиум был устроен Римским университетом плюс Международное общество «Вячеслав Иванов — конквивимум», и высокопобого народища набралось немало. Славинский подсел к одной из слушательниц и стал настойчиво отвлекать её от докладов. Вид у неё был вполне академический, я бы сказал — аспирантский: чистое свежее лицо без излишней сексапильности, хорошая фигура в строгой одежде. Я приуныл — мой друг казался для меня потерян, по крайней мере, на сегодня. Доклады шли на итальянском, на французском, реже по-английски, — только не на русском. Заскучав, я двинулся к выходу. Но тут объявили перерыв, и толпа заклубилась в кулуарах. Из неё вычленился мой потерянный друг, но один, без той славистки. На мой вопросительный взгляд он ответил вопросом:

— Помнишь любовную драму Германцева?

— Это про то, как его бортанула прекрасная Габриэла? Как не помнить!

— Так вот, это — она. Я уговаривал её вернуться к бедному Герасиму.

— И что ж?

— Она и меня отшила...

— Вот и прекрасно.

В этот момент к нам подошёл Алексис Ранниг, он же Алексей Константинович Долгошев — высокий, седой, чернобровый, статный, полный достоинства и при этом доброжелательный. Эстонский поэт и совершенный образец всемирно русского человека.

Он сказал:

— Приходите сегодня после полудня на виа Альберти, 25. Это на Авентине. Там на доме Иванова будет открыта мемориальная доска. А в 5 часов всех участников отвезут в Ватикан, на специальную аудиенцию к Папе.

— Но я ведь не участник...

— Так я вас приглашаю.

— Я с другом, мне неловко без него. Кстати, разрешите представить...

— Приглашаю вас обоих. Только нужно быть в галстуках. И, конечно, не в джинсах...

Мы радостно помчались в наше пристанище на Яникулум переодеваться.

— Славинский! Ты мне даришь Италию, а я тебе — Папу!

— Папульку, папульку!

Кроме джинсов, ничего у Славинского не нашлось. Пришлось выдать брюки попроще из моих. Галстуков этот битник вообще не носил. Отправились в модный магазин за галстуком, и — сразу — на Авентин к открытию мемориальной доски. А затем на сверкающем красавце автобусе — в Ватикан.

Встреча с понтификом была чудом, удачей и праздником одновременно. Прежде всего, убеждала его неоспоримая и столь очевидная святость. Это чувство пришло мгновенно и утвердилось в душе как факт. Среди вселенских дел нашлась у него минута дать святое благословение Димитрию, нерадивому батраку Божьему,

и Ефиму, его другу—битнику, вследствие чего оба до сих пор живы и счастливо вспоминают этот момент.

Благословил он и агностиков Льва Копелева и Раису Орлову, там же находившихся. Орлова, жена Копелева, описала аудиенцию в книге «Почему я живу», и я думаю, что моё повествование выгадает от взгляда на то же событие другими глазами. Вот что ей заполнилось: «Папа вышел из боковой двери, лицо усталое, в первый момент даже показалось — больное. На нем — белая сутана, белая шапочка. Шел, чуть сутулясь, приветствовал нас по-французски (официальный язык Ватикана с XIX века — французский). Мы все встали. Прежде чем сесть, Папа нас благословил по-латыни: — Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Профессор Римского университета Колуччи (он читал доклад "Римские сонеты Вячеслава Иванова") вышел вперед и произнес краткую речь на хорошем французском языке. Папа слушал, облокотившись на левую руку, неподвижно, внимательно. Лицо у него широкое, почти без морщин. Лицо рабочего, или ремесленника, или сельского ксендза. Руки рабочие. Взгляд умный, временами хитрый, добрый. Такая же улыбка. Ощущение твердости. Большой лоб мыслителя.

Когда он начал свою речь: "Высокоцитимые профессора, дамы и господа! Я счастлив...", мне показалось, что он исполняет некий заранее заданный ритуал, что все давно отработано, повторялось тысячи раз. Но уже со второй фразы он включился, словно нечто зажглось, с каждым словом он все более и более оживлялся. И было ясно: пусть эту речь со многими цитатами из Вячеслава Иванова ему написал ватиканский референт по русской культуре, Папа знал, ЧТО именно он читает, и ему это было важно. (Сообщи, кстати, так как даже многие участники симпозиума не знали точно, что Иванов принял католичество в 1926 году. Он эмигрировал в 1924-м, советский паспорт был у него до смерти. Став католиком, он не перестал быть православным, сказал, что отныне принадлежит обеим церквям. И был он не библиотекарем, как часто говорили в Москве, а профессором кафедры русского и старославянского языка и литературы Восточного института при Ватикане).

Речь окончена, аплодисменты, все встают. Служитель начинает бойко выносить стулья, давая понять, что другие тоже ждут. Но никто не спешит уходить. Подходят поцеловать руку, подходят под благословение, среди участников много ревностных католиков, для них этот день совсем особый, как, впрочем, и для всех нас. Несколько слов подходящие говорят наедине.

Лев говорит по-польски:

— Святой отец, благодарю Вас за Ваши прекрасные слова, прошу Вас молиться о Сахарове и прошу Вас поднять свой голос в защиту друга человечества Андрея Сахарова...

— Спасибо, знаю, обещаю... — отвечает тоже по-польски, руку жмет обеими руками. В конце я тоже подошла и произнесла еще раз имя АД (Андрея Дмитриевича Сахарова — ДБ).

Потом все фотографировались вместе с Папой. Нам раздали подарки, иллюстрированные книги — поездки Папы. Все потрясены.

Бобышев — Льву:

— Лев Зиновьевич, Вы ощутили благодать?

— Я в таких категориях не разговариваю. Но нечто всех объединяющее мы и впрямь ощутили.

В Неаполе без Везувия

Кажется, вся поездка состояла из разного рода подъёмов и восхождений, и папское благословение было впечатляющим из них, но не последним. По узкому ходу под шкурой купола поднялся я на смотровую площадку собора св. Петра и оглядел «Город и Мир», вбирая в себя как можно больше открывшегося пространства и времени, а также подробностей или даже мелочей всего увиденного и переживаемого. Каких? А вот, например: лиловые пенони, вьющиеся по стенам по-сольских особняков и жёлто-лиловые разрезные буфы на плечах и бёдрах папских гвардейцев запомнились на всю жизнь. И — чувство воздушного парения...

Славинский, хоть и не ходил туда со мной (а пошла его Анна), придумал поездку в Тиволи на виллу императора Адриана. В ловком немецком автомобильчике с двумя итальянками мы прокатились к элегическим руинам и колоннадам, к пиниям и лаврам на охристой земле, и тут, следуя общему нашему подъёму, Славинский (довольно-таки варварски) выдрал из куста две ветки и, смастерив с помощью находчивых римлянок лавровый веноч, водрузил его мне на голову.

Надо знать именно этого человека, точнее сказать — чувака, ментора ленинградского поколения битников и последующих хиппи, чтобы оценить такую, казалось бы, игровую церемонию... От веселья и от грапы я тогда закуролесил, пожелал сесть за руль, а, получив отказ, рвал на себе в смиренном протесте рубашку, превращая её в карнавальные лохмотья, но веноч всё-таки привёз в Милые Оки и сдал его Ольге на кухню.

Оставалось унести в памяти ещё одну открытку — с неаполитанским видом. С погодой нам всё время везло: в Милане было прохладно, в Венеции сыро, в Риме тепло, но Неаполь встретил влажной жарой. Выйдя из вокзала и оглядевшись, мы не обнаружили ни Везувия, ни даже знаменитого залива. Туман. Чтобы приподняться над неподвижной влажной дымкой надо было выйти в город вверх по Гарибальди и затем влево по Витторио—Эммануэлю — с этих улиц в Италии не собьёшься. Впрочем, я не уверен, что именно таков был наш маршрут. Из-за жары мы поминутно останавливались, чашечка эспрессо поднимала тонус, и мы шли дальше и выше.

Надолго приняла нас в себя прохлада Археологического музея. Помпейские фрески и мозаики, представленные там в изобилии, плюс Карл Брюллов «в башке», памятный с детства, заменили нам поездку на знаменитые раскопки.

Жара усилилась, а мы поставили себе целью добраться до замка св. Эльма, который стал уже виднеться над городом. Залив внизу по—прежнему завешивала дымка, а здесь голову нечем было прикрыть от солнца. Архитектурные завитушки сменялись фасадами попроще с балконами и гирляндами развешанного белья, из которого сам собою выкраивался флаг Кампаньи — джинсы с футболкой.

На последнем этапе восхождения помог «подправленный» кофе, и ноги сами вознесли нас наверх, к стенам замка и монастыря. Здесь во времена оны свершилось немало трагедий и предательств, но за фактами и событиями не хотелось лазать в Историю, даже отечественную, связанную с этим местом. Нет, грубые камни, разогретые ароматы кипарисов и туй внушали сильнее: мы живы, мы здесь и сейчас!

В пустующей и недорогой гостинице нам был предоставлен просторный номер с душем. Откупорив бутылку палермского, мы вышли на обзорный балкон и ахнули: весь город и половина залива разворачивались перед глазами и были видны

роскошно, лакомо, как подарочный набор к празднику. Но дымка ещё не полностью рассеялась, скрывая горный и морской горизонт.

Мы не торопились, зная теперь, что находимся в правильном месте. И вот что-то изменилось в вечерющем воздухе. Нежно наметились очертания дальних скал. И неожиданно высоко и огромно явился в небе двугорбый профиль массивной конической горы. Открыточная сладость пейзажа вытеснилась грозным намёком...

Это был Везувий!

Издатели

Когда я уезжал из тогдашнего Советского Союза, я покидал прошлое, и не только своё, но и, как позднее оказалось, — общественное, историческое... Вот и с бумагами, накопившимися в моём архиве, поступил соответственно: то, что относилось к прошлому, — дневниковые заметки, записные книжки, письма — оставил доверенному лицу (о чём впоследствии пожалел). А то, что должно было пригодиться в будущем, переправил в Нью-Йорк по адресу, где вскоре мне предстояло жить.

К этому разряду относились прежде всего мои собственные рукописи, не вошедшие в книгу или написанные после неё, но было много и самиздата, переданного мне авторами, желавшими напечататься за границей. В этом мне даже хотелось видеть литературную миссию, как я её понимал.

Появиться в Тамиздате было по-прежнему рискованным делом, хотя к концу 70-х у горемык-неофициалов сформировалась надежда — скорей всего, ложная — на послабления по этой части. В самом деле, если вспомнить двадцатилетней давности громыхания над головой Пастернака («и его чаровницей из Чарской» — по подлому выражению сидящего в безопасности Набокова), то нашу ситуацию с этим было не сравнить. Или — с ещё худшей свистопляской по поводу «двурушников» Абрама Терца и Николая Аржака в середине 60-х, окончившейся мордовскими лагерями. Ещё один случай тех же времён — выхваченный из советского небытия Валерий Тарсис, автор «Сказания о синей мухе», залеченный в психбольнице и затем выброшенный в небытие заграничное...

А ведь свежа была (и всё продолжалась!) героическая эпопея Солженицына-драконоборца, эпопея со многими сюжетными кульминациями в его жизни — тогда это были арест и выдворение из страны.

Но для нас, мелкой литературной сошки на таком крупном фоне, стали удаваться и безнаказанные дерзости. В 76-м году я имел случай полюбоваться книжкой стихов Елены Игнатовой: издательство «Рифма», Париж, гляцевая обложка с симпатичным фотопортретом... И — насколько я помню — никаких серьёзных неприятностей для поэтессы не последовало. Да я и сам примерно тогда же увидел своё имя в ИМКА-вском сборнике «Памяти Ахматовой», где оказались напечатаны «Траурные октавы» вместе с «Прекрасной дамой» Наймана и «Сретеньем» Бродского, — за такую эlegantную публикацию я не прочь был и пострадать.

Между тем, до появления «Зияний» (а они вышли в январе 79-го), Наталья Горбаневская поместила в «Континенте» большую подборку из будущей книги и разослала стихи по другим зарубежным журналам. А ведь страна, где я жил, ещё называлась Советский Союз! Можно было лишь гадать о том, что власти порастрастили гнев на наших предшественников, взявших «огонь на себя»... При первом же

случае (на конференции в Лос-Анжелесе, описанной ранее), я публично поблагодарил Андрея Синявского, отсидевшего не только за свои, но, выходит, и за последующие вольные публикации иных авторов, в том числе мои, а мне «ничего не было».

Первым побуждением по приезде (и самым незрелым) было самому стать издателем. Идеализм новичка выразился даже в последовательности действий: вначале возникло название для «русско-английского литературного магазина», — лучшее, что я придумал в этом направлении. Мне казалось, что от такого словесного самородка дело сразу заработает. Но — не заработало! Пусть хоть сама находка не пропадёт, дарю подсказку, — заинтересованные читатели найдут её через пару страниц.

А вторым было редакторское вступление. Вот оно в кратком изложении:

Русско-английский литературный магазин

Когда выходит новое периодическое издание, естественно возникает вопрос: не достаточно ли уже существующих? Действительно, на Западе издаются десятки русскоязычных журналов, альманахов, газет и обзоров. И всё—таки значительные литературные силы остаются не у дел.

Это происходит потому, что многих издателей интересуют не столько произведения, сколько имена авторов. И — не столько их художественность, сколько злободневность, которая подчас становится «главным редактором». Но ведь литература, по нашему глубокому убеждению, — это не выражение злободневности, а её преодоление.

Есть ещё одна сторона у всех русскоязычных изданий за границей — это их «эмигрантскость». Очевидно, необходим выход к западному читателю, и он лежит через переводы. Такой путь может оказаться и более прямым контактом с отечественным читателем: ведь «там» очень прислушиваются к тому, что «здесь», и наоборот.

Русским писателям (а через них и читателям) есть что сказать англоязычному миру, но есть и чему поучиться... Равно и американским писателям будет небезразличен выход к русскому читательскому кругу. Ведь человеческие ценности у тех и других одинаковы, а способы овладения ими — разные.

Литературный магазин РУСЛИА открывает свои страницы для такого культурно—ценностного обмена.

Издатели (продолжение)

Затейливый ответ пришёл от некоего Романа Левина:

«Дима, не «сватаюсь» я: по издательским диким законам всем предлагаю услуги на вынос, и если круг замыкают, тем более видится странной участь певца-лотофага в среде листригонов... Помысли, мирмидоняне Нью-Йорка к поэзии глухи... С Парнаса может узрел, как я деньги просил у Шемякина Миши, но горько,

*что ни копейки на книгу твою не отмерил Шемякин... Иосиф,
твой антипод и политик высокого класса, на Пятой
авеню ручки лобзает влиятельным бабам, за это
пуцен к кормушке и, как Автолик, не слезает с Олимпа...
Если желаешь, на скромной бумаге издам твою книгу,
только я беден, поскольку весьма независим,
я запросил у тебя символически мало (за сервис
я добираю с клиентов ещё половину...) Подумай,
ибо не деньги, а время уходит вприпрыжку»...*

Не прост оказался Роман, а разыгрывал простачка, когда я познакомился с ним ещё в Ленинграде у Севостьяновых, о которых я уже упоминал в связи с Довлатовым: Саша-казак был прозаик (причём, станичный, донской, хоть бы и на невских берегах, а Мила — журналистка и немного поэтесса). Даже в их неприятельном, но всё-таки богемном быту лысоватый и широкогубый Рома смущённо улыбался и показывал своим поведением, что он польщён близостью с самиздатскими «знаменитостями». Те же Севостьяновы уговорили зайти меня к нему в дворницкую («Будет Чирсков, будет Довлатов»), расположенную в местах самых что ни на есть Достоевских — за Сенной площадью у канавы. Вот из такого подвала вымышленный Родион Романыч взял на время тоже воображаемый, но очень даже роковой топорик. И честно его вернул.

У Левина уже сидела вышеназванная небольшая компания (плюс Игорь Долиняк), и наши принесённые присоединились к уже откупоренным бутылкам на столе. Жена Люба в переднике, рыжеватых कुдельках и кухонных испарениях внесла дымящееся блюдо. Горячее варёное мясо с хрящами, жилами и костями оказалось великолепной закуской к «зелену вину», и бродячие литераторы счастливо размлели.

Рома задал всем вполне викторинный вопрос:

— Назовите одно самое большое желание.

— Хочу написать поэму, где ангелы разговаривали бы по-русски, — вырвалось у меня.

— Я всего лишь хотел бы стать писателем-профессионалом, — скромно объявил Довлатов.

Не помню, какие серьёзные или шуточные хотения заказали остальные, но хозяин дворницкой удивил меня своим незаурядным высказыванием, перешедшим в тост:

— А я бы хотел стать издателем, чтобы напечатать все ваши замечательные, блестящие, талантливые книжки. Так выпьем за это!

И вот — свершилось! — я получаю от него из Массачузетса бумагу с шапкой «New England Publishing Co». Название, пожалуй, посolidнее, чем мой «Русла». Но, во—первых, я со своего Парнаса ничего такого не видел, но предполагаю, что Шемякин отказал в деньгах не мне, а просто—напросто ненадёжному Левину, потому что позднее мы издали—создали с мастером и кудесником великолепный «Бестиарий» — за его счёт. Денежки же вылезли у Левина сами собой, после того как я отказался писать вступительное слово к первому печатному изданию Романа — стишкам его подростковой дочери Ники. Не желаешь отделаться комплиментом дочурке — гони монету!

Далее Роман с величественного гекзаметра перешёл на прозу:

«Дорогой Дима!

Всё это пока шуточки. Ты с некоторым упрёком напомнил мне, что в своё время, когда-то, в самом начале моих восторженных занятий издательским ремеслом, я предложил тебе делать книгу... А ты тогда смолчал. Неопределённочал. Увы! Я выпустил тогда Довлатова и тут же чуть не погорел, и даже очень огорчился, пока добрейшая Алла Кторова, поражённая моей неосведомленностью и наивностью пояснила, что все писатели на Западе (то ли она имела в виду только русских авторов?) издают книги за свой счёт. Есть, конечно, крупные фирмы: «Руссика», «Посев», «Ардис», ИМКА и т. д., которым под силу «поднимать» писателей, но, во-первых, они получают всякие отчисления от фондов, а во-вторых, издают только себя и своих каких-то родичей. Мне никакие фонды не грозят, никто не даст ни копейки, но я (по легкомыслию и весёлости нрава, скорее) существую и сосуществую, и даже позволяю себе иногда отказываться (редко, очень редко) от иных заказов... Дима, если ты отважишься издавать у меня книгу стихов — отзовись: вот тогда обсудим все нехитрые детали. Ещё хочу тебя предупредить, что издание стихов не всегда является выгодным предприятием, хотя хорошая поэзия — бессмертна. Поэтому — не расстаёмся...

Нет, с Левиным я так и не сговорился, и правильно сделал. Но он уговорил Юрия Павловича Иваска, живущего в Массачузетсе неподалёку, издать у него две книги стихов: «Завоевание Мексики», написанную раёшником, и замечательную итоговую книгу стихов, по существу — литературное завещание Иваска «Я — мещанин», которое, к сожалению, под контроль автора не попало и, скорее всего, рассеялось в Мире своими плохо склеенными листочками, — между прочим, ярко-зелёными, так как Рома сшибил где-то рулон цветной бумаги по большой дешёвке...

Обычно сухой до скрипучести Игорь Ефимов прислал тёплое письмо, напечатанное на фирменном бланке «Ардиса» с его лого — дилижансом:

«2/27/80. Здравствуй, Дима!

Поздравляю со всеми крупными событиями твоей жизни — с переездом, с выходом большой книжки, с женитьбой, — это все или есть другие? Конечно, ты большой молодец, что вывез рукописи друзей. Отвечаю про каждую в отдельности.

КУБЛАНОВСКИЙ. *Присылай немедленно вместе с биографией и фото... Он стоит в плане и сейчас как раз есть окно, чтобы за него взяться. Единственное сомнение: из—за финансовых трудностей вряд ли удастся издать сборник размером больше ста страниц. Думаю, что всё же лучше составить «Избранное» из всего, что у нас есть, чем ждать, может быть, много лет, чтобы выпустить полный и большой сборник...*

Лена ШВАРЦ. *Тожё присылай — приложу все силы, чтобы издать не позже 1981-го. В «Глаголе» № 3 идёт у неё очень хорошая подборка — стилизация под древнеримски темы, и её репутация в издательстве утвердилась прочно.*

НАЙМАН. *С ним труднее всего. Когда уезжал я, он дал мне такие сложные инструкции по поводу своих публикаций, обставленные такими противоречивыми и невыполнимыми условиями, что я ещё в Москве сказал ему: «Толяй, думаю, это невозможно». Каковы настроения теперь?.. «Статую командира» я читал, напечатать её будет просто.*

КАТЕРЛИ. *«Треугольник Барсукова» набран в «Глаголе» и вместе с прочими произведениями ждёт только свободных денег, чтобы отправиться в типографию. Я знаю, что его переводят (или уже перевели), но о двуязычном издании не слыхал, а Профферы сейчас в отъезде и спросить не у кого.*

Всего тебе доброго, Марина (жена Ефимова Марина Рачко — ДБ) кланяется, твой Игорь Ефимов».

Молодец—то я молодец, но никаких предложений по поводу меня самого он не сделал. О безобразно составленной книжке Юрия Кублановского я уже здесь упоминал. Уехав на Запад, Кублановский сам встал на ноги и утвердился своими последующими сборниками.

Блестящая книга «Нацнующий Давид» вышла без какого—либо моего участия, но о ней я написал рецензию «Жареные розы Елены Шварц» и напечатал её в «Континенте».

С Найманом, действительно, оказалось трудней всего. Он на неопределённое время полностью запретил печатать его за границей (и это было разумно — в Союзе наступила андроповщина). А с Перестройкой, вместо того, чтобы начать издаваться в России, стал выпускать книги стихов у Ефимова, а рассказы — в Англии, в русскоязычном «Overseas Publications».

Нина Катерли. С ней уже и так было всё в порядке, она использовала меня лишь как запасной вариант. Интересный «ход конём» сделал сам Игорь Ефимов. Поработав у Профферов и набравшись опыта и умений, он отпочковался, выделившись в конкурирующее издательство с неотразимым названием «Эрмитаж», хотя фирменный знак — кораблик — заимствовал у соседнего, не менее знаменитого строения Адмиралтейства. Карл Проффер вскользь пожаловался (в Милане), что список адресов постоянных покупателей «Ардиса», и немалый, Ефимов прихватил тоже.

Большое письмо, товарищески делясь деловой информацией, прислал из Парижа Владимир Марамзин, редактор литературного журнала «Эхо». Я ему за это благодарен и даже восхищён им: в Америке уже не раз приходилось убеждаться, что знание — это товар, имеющий ценность, им не любят делиться, как и давать взаймы, а он поделился. Зря я его прежде ругал, беру недоброжелательные слова назад. Вот отрывки из его щедрого и содержательного письма:

«6.02.80. Дорогой Дима!

...Ты спрашиваешь совета. Раз спрашиваешь, с удовольствием поделюсь моим опытом, который может оказаться совсем непригодным ни для тебя, ни для Америки. Прежде всего, за журнал я плачу из своего кармана. Я не нашёл никого, кто бы его финансировал — ни человека, ни организации... Вообще это получилось довольно случайно, из—за наплыва рукописей, которые негде было пристроить. То есть часть, разумеется, я пристраивал всегда, но всегда выпадал некоторый осадок и, на мой взгляд, не худших вещей, которые некуда было дать. Итак, я плачу за журнал сам. Что это значит? Первый год я сам печатал, то есть набирал его, следовательно, платил лишь за типографию, найдя наиболее дешёвый офсет за 300 км от Парижа. Набирал я на пишущей машинке ИБМ, которую должен был приобрести (за 8 тысяч франков), так как она нужна мне для переводов...

Типография стоит примерно 1300 франков за печатный лист (32 страницы), то есть при 160 страницах и 8 листах — 10 тысяч франков, при тираже 1000 экз.

...Следующий этап — постараться найти подписчиков и продать как можно больше, — оправдать целиком всё равно не удастся, а уже заработать не удастся ни одному русскому изданию. Надо связаться со всеми русскими магазинами, послать рекламу и, лучше, один номер при ней во все университеты мира, имеющие русские факультеты. Во все библиотеки. Всем славистам, имена которых узнать (я ещё не все из этого сделал). Послать рекламки во все русские газеты и журналы. Наверное, ты знаешь, что есть контора, покупающая некоторое количество книг для отсылки их в Россию. Это тоже имеет значение, пренебрегать этим нельзя. И наконец, надо написать всем друзьям и обязать их найти 3-4 подписчика. В конце концов каждый уже работающий русский должен перед теми, кто ещё живёт в России, поддержать разные русские культурные начинания, даже если они не вполне ему и нравятся. Иначе русской культуры тут не будет вообще.

Важно правильно установить цену, подписную плату и т. п.

И ещё не забывая, что всю рассылку тоже придётся делать самому... Слава Богу, что мы вдвоём с Хвостом (Алексей Хвостенко, редактор Марамзина — ДБ) — он, если он в Париже, что не всегда, садится вместе со мной, и мы делаем пакеты, возим тяжесть на почту и т. п. Кроме того, я совсем забыл — Хвост делает всё оформление и всю техредскую работу, что тоже немало...

Но всё это возможно у меня, пока есть переводческая работа. Иначе я бы тут же заглох. Я зарабатываю на жизнь только этим (ну, я дважды получил за книги, то есть за переводы <моих книг>, даже и неплохие суммы, но их мне хватило лишь на год жизни, купе)».

Далее Марамзин приписал от руки:

«Напиши, каковы твои планы. Чем могу — помогу. Кое-какие связи есть. «Эхо» ты будешь получать, если захочешь. Если не захочешь, напиши, а пока я тебе его буду всегда присылать. Если нужны ещё экз <емпляры> с твоей публикацией — напиши, я пришлю (я понимаю, что это не столь уж важно для тебя, но если нужно, пиши). Повесть Губина я не получил, а жаль. Где же она? Всего доброго. Твой Володя».

Это почти инструктивное письмо можно было бы озаглавить: «Как издавать русский журнал за границей». Оно имело одно очень важное последствие для моей жизни: я окончательно уяснил, что на такие затеи не способен.

Финансовые вопросы повисли в небе в виде лопающихся воздушных шаров, а тем временем авторы, взбудораженные моим призывом, начали присылать мне рукописи. Чиннов — подборку стихов, Иваск — целую поэму «Римские строфы». Сын Льва Наврозова Андрей прислал переводы из Эмили Дикинсон и заодно экземпляр своего глянцевого литературного журнала «The Yale Literary Magazine», который он, если верить легенде, выкупил из банкротства за 1 (один) доллар и тут же набрал подписку на много лет вперёд среди выпускников Йейля. Этот доллар своей единичей насмерть пригвоздил к земле мой проект. Прощайте, «Русла»!

Остаётся объяснить по поводу повести (а верней — абсурдистской сказки) Владимира Губина «Илларион и карлик». Я был уверен, что выслал этот шедевр Марамзину вместе с ворохом других рукописей. Возможно, он где-то задержался на почте, потому что эта вещь была напечатана в 13-м номере «Эха», —

на мой взгляд, одно из лучших произведений 60 — 70-х годов по свежести языка и дерзости сюжета, к тому же и названное так ритмически ладно и так интригующе.

Но, кажется, талант Губина почил на этом достижении. Путями необъяснимыми оказался я в Петрограде (как раз в промежутке между Ленинградом и Санкт-Петербургом) в литературном клубе у Биржи на выступлении Губина. Небольшая толпа гужевалась перед зданием на набережной Невки, где когда-то раньше была мастерская Куинджи. Несмотря на тектонические сдвиги истории, время здесь остановилось. Вот Серёжа Вольф, угощающий чем-то крепким из фляги (а сам не пьёт — бросил), вот Галя Нечаева (Елисеева) с телевидения, вот сам Володя Губин, с которым мы сдержанно обнимаемся. Стратановский передаёт мне несколько новых и мрачных стихов.

Наконец, начинается чтение. И что же? Всё тот же «Илларион и карлик»! Вольф задаёт каверзно-дотошные вопросы, слегка тряся головой и потряхивая браслеткой часов, молодёжь пупеет и молчит. Я недоумеваю: да я же этого «Карлика» вывез на Запад и уже давным-давно напечатал в «Эхе» у Марамзина! Губин недоволен:

— Нет, нет, это совсем другой «Карлик», заново переработанный, а тот и не был совсем напечатан.

— Да как же так? Был!

— Не был!

Я вспоминаю роман Альбера Камю «Чума». Там один персонаж, некий писатель Гран, шлифует первую фразу ещё не написанного шедевра: «Прекрасным утром мая элегантная амазонка на великолепном гнедом коне скакала по цветущим аллеям Булонского леса». Прошла эпидемия чумы (или в нашем случае — советской власти), город наполовину вымер (или — разъехался), а он по-прежнему перебирает слова этой фразы, так и не начав следующей... Это и есть Губин со своим «Карликом»!

Черешня и лимон

Континентовский смотр диссидентов в Милане был всё-таки несколько декоративен. Да, там были представлены яркие персонажи, — герои и жертвы, которыми мы когда-то восхищались заочно, слушая «голоса». И вот они воочию! А дальше-то что?

Но были и действительно плодотворные встречи: например, с немецким славистом Вольфгангом Козаком из Кёльнского университета. Светлоглазый внимательный человек с серыми короткими волосами провёл со мной часа два в вопросах, и не только на литературные темы. Попутно рассказал и о себе. Потом мы ещё переписывались. Несмотря на фамилию, ничего славянского в нём не было. Семнадцати лет прямо из школы попал на восточный фронт, оказался в плену, где выучил русский язык, и это определило его дальнейшую судьбу, профессию, всё...

В результате расспросов моё имя оказалось в его «Лексиконе русской литературы с 1917 года» — сначала в немецком издании, потом по-русски, а затем и по-английски. К сожалению только, скрупулёзный Козак долго возился с «Лексиконами», и английский, особенно важный для меня, вышел не так скоро, как хотелось и ожидалось. Но я уже мог определённо рассматривать это как признание, и более

того: как защиту. Теперь из родной словесности меня было не выдрать, как бы этого ни хотели мои «отрицатели».

Гораздо больший вес и значение (и как раз во—время) имела статья в большом справочном издании, по существу — в настольной книге для славистов. Этот in-folio энциклопедический словарь на английском языке, весьма обширный, в который включались не только персоналии, но и теоретические статьи, вышел в Йейле (1985 год, редактор — профессор Браунского университета Виктор Террас) и назывался «Handbook of Russian Literature».

Впоследствии мой босс Морис Фридберг за разговором поделился некоторыми закулисными деталями:

— Ну, как было разъяснить нашим деканам, кто вы такой? Я показал им справочник Терраса. Там — Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов. Об этих они по крайней мере слышали или должны были слышать. А среди них — Бобышев!

И прагматически добавил:

— Такие издания выходят редко, — может быть, раз в 25-30 лет, и все славы долго ими пользуются. Так что вам как раз хватит его на всю академическую карьеру.

А теперь, после этого знаменательного разговора, постараемся перелистнуть календарь хотя бы на годик назад, что в такого рода повествовании дело нетрудное. Я уже и тогда «подтверждал квалификацию» подборками стихов, статьями, интервью, которые постоянно выходили во многих эмигрантских изданиях и в разных точках Мира, чтобы пестрее раскрасить их топографию. А книги всё не было, хотя издательские дельцы (помимо тех, кого я уже называл) приветливо улыбались, намереваясь меня осчастливить всего за пару тысяч. Но я придерживался университетской этики (да и личной экономии), по которой публикации за свой счёт не рассматривались всерьёз. Такое баловство давалось на откуп богатеньким и тщеславным любителям.

Газеты и журналы, да даже и антологии, хотя и оседали в каких-нибудь библиотечных анналах, в читательской памяти долго не задерживались. Что же тогда сказать о двуязычных чтениях? Пусть они и вызывали отклики в местной печати, но запоминались ли? Можно предположить, что в лучшем случае — одному лишь участнику. Ан нет, не только...

Одно из них, наиболее памятное, состоялось в Иллинойском университете, чей главный кампус расположен не в самом Чикаго, а ещё в трёх часах езды к югу, в сдвоенном степном городке Урбана-Шампейн. А поскольку Милуоки, откуда мы отправлялись, находится ещё в полутора часах езды к северу от великого города, то в сумме получался довольно длинный автомобильный пробег.

Поехали туда со всеми «чадами и домочадцами», прихватив с собой и куму «Катюшу». Дело было после снежной зимы, когда пухлые сугробы сошли, обнажив на лужайках и пастбищах жёлтую, скукоженную от морозов траву. Холмы Висконсина с молочными фермами и силосными башнями сменились иллинойской равниной с кое-где торчащими элеваторами. Мне предоставили расслабиться в пуги и обдумывать предстоящее выступление, Ольга вела машину, Катюша с крестницей, хохоча, щекотали друг друга на заднем сиденье. Путь лежал через центр «города широких плеч», по выражению Карла Сэндберга, и скоростные тоннели чередовались головокружительно с воздушными разводками на колонных подпорках. В быстро сменяющихся ракурсах мелькали уходящие в небо высоты — то Хенкок, то Сирс, то иные безымянные многоэтажки. Но я смотрел на дорогу уже не пасса-

жирским, а водительским взглядом, иногда бессознательно нажимая ногой то на «газ», то на «тормоз», а на самом деле на коврик под сиденьем. Ольга вела спокойно, плавно, но как только увеличивала интервал, тут же перед ней вскакивал кто-нибудь из соседней полосы. Это раздражало, и я переключил внимание на рекламные щиты: ром «Баккарди», радиоволны рок-станции, а вот непривычные образы — черешня и лимон. Затем — реклама ближайшего Макдональдса, и вот опять: «Здесь вы приобретёте черешню, а не лимон».

Мои американцы не имели понятия, что это значит. И только потом я сообщил, что расхваливаются не фрукты-ягоды, а подержанные автомобили, — мол, у нас вы купите не какую-нибудь заезженную рухлядь (кислый лимон), а прекрасную качественную машину (сладкую черешню)! Нашу лимонно-золотую Голду обгоняли более молодые творения «Форда» и «Дженерал Моторс», а чаще — японские тойотки, хондочки и маздочки, но и мы оставляли позади прекрасные, картинно расписанные грузовики, неказистые фуры со скотом или целиком никелированные цистерны с горючим. Маша, развлекаясь, дёргала рукою вниз, как бы спускающая воду в бачке, — мол, погуди, дяденька! — и на этот жест водителя грузовиков охотно отзывались могучим рыком клаксонов.

После Чикаго дорога вытянулась в прямолинейную двухполосную ленту, отделённую травянистой канавой от такой же ленты, ведущей в противоположном направлении, и на заднем сиденье угомонились. Действительно, взгляд не на чем было остановиться, и он скользил к горизонту. По сторонам простиралась бывшая дикая прерия, ныне укрощённая поставленным на промышленную ногу фермерством — жирная земля, разделённая на участки: одни с прошлогодней стерней от кукурузы, другие, тучно чернеющие, — из-под соевых бобов.

— In the middle of nowhere, — вздохнула Ольга. — В середине нигде.

— Пуп земли, — то ли в поддержку, то ли в возражение добавил я.

Кампус впечатлил меня своей симметрией и красотой — поразил в самое сердце пристрастного наблюдателя — если не навывлет, так чуть ли не наповал... В середине находился прямоугольный луг, называемый «квад» (от «квадрата»), который зеленел травой, так и не пожухшей с прошлого года, и пестрел фигурами студентов, снующими по диагональным дорожкам. По периметру он был обсажен рослыми, ещё не проснувшимися деревьями и окружён учебными корпусами с куполом в одном конце квада и башней в другом. Лепные орнаменты и высокие каминные трубы придавали зданиям старинный вид. Впрочем, почему только «вид»? Университет был основан где-то в начале второй половины XIX века, так что григорианский стиль почти соответствовал возрасту.

Один лишь корпус Иньяза в углу квада выглядел дерзким модерном. Мне он показался ступенчатой египетской пирамидой, перевёрнутой основанием вверх! Правда, полированный кирпичик, из которого этот анти-мавзолей был сложен, примирал его с кирпичиками соседних корпусов, а деревья вокруг скрадывали архитектурную необычность. Здание удивляло не менее оригинальным холлом внутри — на всю высоту до крыши. Как и всё строение, он расширялся снизу вверх, соответственно наружным ступеням пирамиды. Аудитории находились внизу, а выше располагались преподаватели и администрация факультетов, где шла, как я узнал позднее, своя скрытая борьба: профессора и начальники захватывали кабинеты с видом на кампус и квад, а прочим доставались офисы, глядящие дико скошенными окнами внутрь, в этот холл.

Перед выступлением меня оставили на минуту одного. Я стоял на площадке третьего этажа перед лифтами с выходом на балкончик неясного назначения. «Чтобы удобней было мыть окно снаружи!» — догадался я только сейчас. А тогда я вообразил обитателя мавзолея, бросающего зажигательные лозунги с балкончика в толпу, заполнившую объёмистый холл. И действительно, там внизу наступил перерыв, и студенты высыпали из аудиторий. Некоторые из них в изнеможении от занятий ложились тут же на красный бобрик и засыпали с рюкзаками под головой.

— Куда ещё, Боже? Вот оно, лучшее место на земле! — жгуче подумалось мне.

Скрепя сердце и чуть ли не скривя зубами, я с трудом запретил себе грезить о несбыточном. Но, возможно, то была не мечта, а молитва.

Тут за мной пришли и препроводили в более подходящее помещение — ронять слова по-русски и по-английски.

После чтения приём состоялся в доме (из того же красного кирпичика) у Николая Ржевского, как оказалось — бывшего ольгиного одноклассника. В отличие от писателя Второй волны Леонида Ржевского, это была его настоящая фамилия, — причём, княжеская. И в самом деле, в его облике имелась какая-то прирождённая осанистость. Коля был молодой славист, ещё без постоянного места, но почему-то занимался совсем уж замшелой темой — соцреализмом. Он сам и его жена, тоже Ольга, как и моя, были вторым поколением Первой эмиграции, то есть родились уже за границей, но остались русскими. А из Второй волны присутствовала Темира Пахмусс, морщинистая жеманная блондинка и в одной из своих прошлых ипостасей баронесса, которую Иваск и Чиннов за глаза именовали «Пахмусенькой». Весь вечер Пахмусья бурно брталась с другой женщиной сложной судьбы — нашей «Катюшей». А Машенька нашла себе подругу в сверстнице, дочери Ржевских.

Что же касается «героя дня», то он наслаждался окружением тамошних аспиранток, среди которых даже нашлись две хорошеньких ленинградки. Где-то в поздних интервью Довлатов со стоном души признался, что его последней отрадой были чёрные девчонки. Нет, аспирантки — вот очаровательное племя амазонок, хотя и претенциозное, капризное и при этом зависимое от своих крепостников — руководителей. Они нежны и жертвенны: ради карьерных скитаний по университетам остаются без прочных связей, и потому делаются уязвимы перед ястребиным налётом заезжего литератора.

На следующее утро мы были уже в дороге, но Иллинойс так просто нас не отпустил. Дул сильный боковой ветер, Ольга опять вела старушку Голду, выбрав платную дорогу в объезд Чикаго. Вдруг она объявила:

— Мотор сдох!

— Как так? Съезжай на бровку!

Съехали. Попробовали вновь завести машину. Мертво и глухо. Надо вызывать аварийку. А где найдёшь телефон в степи? К счастью, мудрая Голда знала, где ей сломаться: мы стояли поблизости от очередной станции по сбору дорожных податей (Toll Station). Этот по сути дела пропускной пункт представлял из себя внезапное расширение дороги на дюжину бетонных проездов, перегороженных шлагбаумами. В каждом проезде слева имелся раструб, куда водители бросали мелочь. Как правило, они метали свои квотеры без промаха, и полосатые планки автоматически поднимались, открывая путь. А те, у кого не было мелочи, платили у будки с человеком, получающая сдачу с бумажки. Вот на эту живую душу мы и рассчитывали с Ольгой.

Оставив пассажиров, мы, держась за руки, побежали вперёд. Дикая ветер порывами пытался сбросить нас вбок — хорошо хоть, что не на дорогу, а в сторону.

Чтобы добраться до будки, нужно было миновать несколько проездов с автоматическими счётчиками. В паузах между машинами, когда полосатая планка опускалась, мы перебежали к следующей. В будке стояла толстая чернышка в униформе дорожной полиции. Нет, телефона у неё не было, он находился на противоположной стороне, во-о-он в том офисе. Пришлось нам скакать тем же небезопасным манером от счётчика к счётчику через две дороги — нашу и встречную, — пока не добрались до капёрки. Там, действительно, был телефон.

Приехал ладный крепыш-буксировщик, подхватил нас в кабину, ловко выехал на встречные полосы и остановился перед нашей бедняжкой с перепуганными пассажирками. Машу пересадили к матери в кабину эвакуатора, я уселся на её место, после чего Голде вздёрнули передние колёса, и в такой полуприличной позиции мы въехали в городок с символическим названием «Либертивилль».

Под тем же названием Джозеф Лэнгланд посвятил стихотворение Адлау Стивенсону, надежде либералов, «человеку из Либертивилля», который дважды проигрывал в президентской гонке Дуайту Эйзенхауэру и один раз Джону Кеннеди. Что ж, зато он был губернатором Иллинойса, а символами штата считались дуб, кардинал и фиалка.

«Свобода и заря!» — провозглашал вольнолюбивый поэт Джо Лэнгланд в моём переводе.

Местный механик поставил печальный диагноз: у нашей старушки полетел газораспределительный ремень, и, чтобы его заменить, потребуется дня два. Ни автобусы, ни поезда, ни даже такси в нашу сторону оттуда не ходили. Оставался единственный вариант — лимузин.

За нами прибыл целый корабль, плавно покотивший нас к дому, легко пре небрегая порывами ветра и дождя. Маша радовалась приключению, изображала кинозвезду, а я грустил, осознавая, как с каждой милей умаялся, пока совсем не растаял, мой иллинойский гонорар.

(продолжение следует)



Ольга Кольцова
"ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПЛОТИ
НЕ ТЯЖЕК ОБРОК"

Стихи

То ли уведено, то ли украдено...
Арк. Шейнберг

Светлому — тьмою колода цыганская,
карта крапленая, лунный аркан;
солнце погасшее, пляска шаманская,
ветра и века холодный чекан;
лживая времени разноголосица
битым стеклом оседает в крови,
имя заклятое не произносится,
не отзовется, зови не зови;
жирная гарь застит небо глубокое —
пеплом и дымом несбывшихся дней, —
многоочитое, павлиноокое —
страж ослепленный над царством теней;
над асфоделями выются стервятники,
над асфоделями сизый туман;
черные вороны, белые ратники
и уплывающий вдаль караван.
Белым по черному, черным по белому,
трижды по дереву, через плечо —
весть онемелому, знак пустотелому:
холодно, ближе, совсем горячо.

Сивцев вражек

Памяти М. Осоргина

Брат ли на брата — иль с глазу на глаз
(не говори, что не знаешь отличья),
кровью за кровь, за указом — приказ,
вот и соткалась судьбина опричья;

как этот град захлебнулся в крови,
кровью свернулись кремлевские стены;

звезды горят, что твои визави, —
пьяный от крови, не чуеть подмены;

пусть за кровавую держишься власть, —
но вы не кровники, не обольщайся;
смердным дыханьем пахнёт эта пасть, —
переступивши — не возвращайся;

гемофилия — тяжелый порок
царственной крови и крови холопей;
участью кровосмешенной истек
тот, кто единожды вышел из топей, —

тот, кто единожды храм на крови
в духе построил, а прочее — бредни;
кровников, перекрестясь, позови;
ты — не последний, ты — не последний.

Памяти М. Алданова

В Ульмской ночи говорят до рассвета
два собеседника-апологета
картезианских идей
а на дворе не зима и не лето
Л. вместе с А., избежавшие гетто,
А., или Л., иудей.

Маленький остров... Святая Елена...
Случай, случайность, жестокая пена
cogito ergo... Декарт.
Ищет Мыслитель среди пепла и тлена
праведников, но отверстая Вена
среди передернутых карт.

Карты кроются не по лекалам,
выжжена карта над спящим кварталом,
ибо картограф — огонь.
А. или Л., ныне дело за малым,
Л. или А., что там в сумраке алом,
крики агоний, погонь...

А., или Л., — Вы Алданов, Ландау?
Что так не нравится в слове Дахау?
Через полвека скажи.
Ужас в ночи — иль ночное зеркало
ожило, сгнуло, вновь замерцало;
плюмбум крепит витражи.

Что же, декартово вредное семя,
cogito sum — ergo знания бремя
ульмской поведай ночи:
клонет петух в звездочетово темя,
картезианское съезжится время
в дыме сгоревшей свечи.

Человеческой плоти не тяжек оброк,
ей предписано легкое бремя:
доиграть, отыгравши, исполнив урок,
ибо время проходит сквозь время,

словно капля сквозь каплю, прилив и отлив,
ливень над первозданной водою,
свет над тьмою, себя от нее отделив,
Божий дух над небесной грядюю.

Небеса розовеют на новой заре
и луна угасает, белеса.
Догорает свеча на твоём алтаре.
Раздирается в храме завеса.

Быть может, все совсем не так, бардак и кавардак.
Мартын Задека, Зодиак, летающий кабак.

Быть может, все сплошной подвох, сплошной помилуй-Бог,
горох моченый, скоморох, трава чертополох.

Быть может, все дурная пря в листках календаря,
все попусту и все зазря, и зря взошла зря.

Скрипач на крыше, на лесах, на солнечных часах,
трубач над Краковом парит в потухших небесах.

Наверно, все совсем не то, лото и шапито,
демисезонное пальто, Тортилла и Тото.

Наверно, кончился табак, и ухмыльнулся бес.
Из дома вышел человек и с той поры исчез.

я лечу над гнездом кукушки
психопаты и побирушки
тянут руки — мол, помоги
я кружу над гнездом кукушки
ни гроша за душой ни полушки
и в душе не видно ни зги

собирайся кукушкино племя
стиснув зубы подставь-ка темя
под кислотный осенний снег
не кручинься кукушкино племя
всех времен тягчайшее бремя
бег по кругу но все же бег

а кукушка кружит тоскует
не поможет не уврачует
вам подкидышам во плоти
а кукушка тоскует кружит
словно службу над вами служит
не пророчь не кукуй — лети

Над рекой Океан поднимается черный туман,
за рекой Океан рассыпается звездная пыль;
это строки звенят от мороза на стыке времен
и тяжелые ветры сметают и накипь, и гиль;

и ни марево майи, ни адов холодный огонь
не царят, не владывают за рекой Океан;
одиноким свободой глотни, только не проворонь
миг, когда этот мир за тобой — океан,

ибо все прибывает, все выше и выше вода,
над тобою зияющей тьмою застыл небосвод,
и река Океан низвергается на города,
и «Летучим голландцем» Ковчег над рекою встает.

инеем трава прибиита ломкая седая
процеди слова сквозь сито по траве гадая
свет и тьма тысячелистник стебли Achilléa
черепаха-клинописник дальняя аллея

небо сходится с землею иль с водою горы
нет защиты перед змеем кровью полны поры
вверх ли вниз ли между делом над чертой открытой
в мирозданье черно-белом солью живы житом
но изменчивое время правит гексаграммой
и смещает отраженье темной амальгамой
покорись ветрам стихиям самость усмиряя
годы темные лихие доведут до края
до краюхи до котомки трактом ли тропую
всё осколки да обломки над судьбой слепою

Точка, тире — не морзянка, — природа, погода;
точка, тире — письмена уходящего года.
Листья повсюду, крылатки кленовые, семя;
дань собирая, движется время сквозь время.

Память рисует пейзажи, — да нет, натюрморты.
Уголь, сангина, — но контуры смазаны, стерты;
падает свет из источника стылого света,
это ноябрь, вот из тыквы возникла карета.

В полночь лакеи крысятами вновь обернутся;
мертвые ждут, что живые их вспомнят, проснутся.
Тыква пойдет на пирог, в потемневших глазницах
Свечи сгорели, лишь темные тени на лицах

тех, кто шагнул за предел понарошку, играя,
тех, кто не ведает пламени ада, но края
все же коснулся, и в зеркале омота мутном
память свою приоткрыл наважденьям минутным.

В том лабиринте, как прежде, темно и опасно,
нить Ариаднина чарам твоим не подвластна;
ток ли пропущен, бикфордов ли шнур под рукою,
лишь мостовые дрожат над подземной рекою.

сложены крылья перо у виска
блеск антрацитовый круглое око
штрих ли неверен неточность мазка
с этой картиной такая морока

мертвые листья намокли в пруду
птицы уносятся вдаль вереницей

шагом осторожным за ними иду
путь ограничен воздушной границей

не заблудиться б в лесу вековом
ели — мертвы, а зверье многолапо
упадью падалью станешь стервом
сонная одурь темна и лукава

птица от стаи отбившись кружит
перья из раненых крыльев роняя
темное око до срока смежит
темные хлопья с небес подгоняя

В хождение по водам — дождем-водомеркой,
в скольжение по воздуху — ангелом птичьим, —
чей облик подернется рябью,
тревогою глянет в зрачки?
Реченьем немислимым речь исковеркай,
предстань перед миром инаким обличьем —
душою не рыбью, не рабью;
неровно ложатся стежки.

В кадрили пройдишь перед праздной толпою,
грифоном спляши с черепахою-квази,
от устриц заботы немного,
к тому же — готовый обед;
иль так, человече, побудь сам собою,
у моря дождишь поднебесных оказий,
пиши непредвзято и строго —
безумец не ведает бед;

но если ты алчешь незримого града
в надзвездном шатре на окраине сада,
чертя непонятные знаки
на волглом зернистом песке,
пусть горькою станет земная отрада,
тебя заметет круговерть листопада;
иные взойдут зодиаки
и город заплещет в руке.

если незримого взрыва осколки застыли
в душах во вспоротых венах в пучках сухожилий
что за дорога которой шагаешь во тьму

что за дорога тропа чуть заметная змейка
в ельнике старом где бродит судьба-лицедейка
тенью бросается под ноги в сизом дыму

что там поскребыш последыш забытых мелодий
пасынок ритмов и вечная тема пародий
черствый сухарь догрызи и водицей запей
«чортовым пальцем» черти на песке свое имя
чертов подменьш не названный чудище в гриме
чертополох ли татарник иль просто репей

так и бродить нетореными тропами века
где-то болото трясина а где-то засека
или нехоженный наледью режущий наст
впрочем былое настигнет и петлю затянет
так что ступай себе с миром грядущее грянет
и нищоброду на бедность полушку подаст

Под яблонькой, под вишнею...
И. Анненский

От Углича до Галича
давно истоптан тракт,
от Галича до Углича
не действие — антракт.
Молчат бояре грешные,
безмолвствует народ
и небеса кромешные
глядят разинув рот.

Борисову — Борисово,
наследнику — виват,
гуляет племя бисово
не в срок и невпопад;
звучит ежеминутное
помилуй да спаси,
жиреет семя смутное
от века на Руси.

От Галича до Углича
плутаем в трех соснах,
от Углича до Галича,
привстав на стременах, —
ах, с муромской дороженьки —
да по Смоленской вдаль,
колодники, острожники,
не шляхта и не шваль, —

под каждой кочкой мертвые
не други, не враги;
такие вышли пряники
такие пироги.

Солома горит и блины на столе
и подслеповата зима;
икорка, и водка дрожит в хрустале,
и полны пока закрома;
грибочки, наливочки, масляный шест,
кричит надрываясь петух;
гармоника вторит, присядка, присест
и плотно утопанный круг;
проводим — и встретим большую весну;
вдоль тайной звериной тропы
останутся в ряд — соляные столпы
навек отошедших ко сну;
прощенья просить — на юру, на ветру,
прощальный почувствовав взгляд,
звериной тропой пробежать поутру,
в последний уйти снегопад...

Поля побелели мучнистая пала роса
той мýки мукú которой полны небеса
мели Божья мельница вновь над карнизами тьма
от пуха слепого округа лишилась ума
и вновь спорынья и снова чернеющий снег
кружат одержимые пляской в Великий Четверг
над водами Стикса лишь памяти брезжущий свет
приветъ своих мертвых по знакам нетленных примет
и слейся с толпой одиночек блаженных больных
давно колобродит душа в измереньях иных
но соль четверговая вновь приведет на порог
презревших Гекатову тень над скрещеньем дорог.

Ну а если назад, за плечо, за крыло —
только взгляд, только пристальный взгляд;
но примета дурна, и воды утекло
под янтарные слезы сестер-Гелиад —
так, что снадобьем сделался яд.

Вот и кровь до виска добралась, горяча,
и не больно смотреть с высоты
на проделки шута, трюкача, рифмача;
то ли смех, то ли плач искажает черты,
и горят, не сгорая, мосты.

И терновник колючий, и розовый куст,
и садовник, и плащ огневой,
и карбункул, змеиных коснувшийся уст, —
всё твое над колеблемой ветром травой,
брат-тростник, — вековой, кочевой...



Александр Куликов
КАТРЕНЫ НА ПРИХОД ТАЙФУНА
БОЛАВЕН

I

Мы ехали, и всё окрест
готовилось к исходу света.
И лес на сопке был оркестр,
игравший шабаш из «Макбета».

II

Гудели трубами дубы,
осины струнами звенели.
Чертили графики судьбы
валторны и виолончели.

III

Вставали рощи, как полки
Макдуфа, мстящего за Банко,
и грозно щерила клыки
порогов бурная Волчанка.

IV

И галки поднимали гвалт,
и туча в солнечной короне,
взойдя на пыльный перевал,
царила в Шкотовском районе.

V

И все теряло смысл и вес,
выламывалось из тенёт и рамок.
Как будто шел Бирнамский лес
войной на Дунсианский замок.

VI

Шли Менгис, Кэтнес, Ангус, Росс,
поднявшие восстание лорды.
Как через Каменку обоз,
катились дробные аккорды.

VII

И окаянная луна
металась в кронах покаянно,
как сумасшедшая жена
убийцы бедного Дункана.

Иванов, Семенов, Борменталь

И вот поднимает он камень, удобный гольш
(какая с утра замечательно хрупкая тишь!),
и вот поднимает он камень с прохладной земли
(какая заря удивительно нежная рдеет вдали,
как девушка). Камень параболу чертит, свистя...
Не плачь, о, не плачь, об окошке разбитом, дитя.

На звон медсестрица испуганной пицей летит,
румянец чахоточный сходит мгновенно с ланит,
румянец чахоточный сходит мгновенно на нет —
бледна, словно смерть, как застигнутый музой поэт.
Зловещий осколок сосулькой сверкает в руке,
и вот уже крики и стоны слышны вдалеке.

С зажатою колото-резаной раной внизу живота
стеклянно глядит в потолок Иванов-лимига,
стеклянно глядит в потолок, расставаясь с душой,
минуту назад еще наглый, веселый, большой.
Как будто бежал и, споткнувшись, упал на бегу,
кошелку с брусничкой рассыпав на белом снегу.

Больничных березок рябые стволы за окном
листвой затрепещут, займутся зеленым огнем,
накупится дуб вековой, помолчит и вздохнет,
и слышно, как в небе, снижаясь, летит самолет,
где в первом салоне, над книгой зевая, как лев,
Семенов замрет, что-то в круглом окне разглядев.

Там снежной равниной без края лежат облака,
там всё еще тихо, там всё еще мирно пока,
но ангелы белые к ангелам черным гурьбой
уже подлетают, уже вызывают на бой.
И вот она, бигва! Сверкание сотен мечей.
А он в это время распластанный, голый, ничей.

Распластанный, голый, ничей, весь в наколках и швах.
Нишкните, глаголы! Здесь хватит наречия «швах».
А впрочем, а впрочем, забыв о наречии «жаль»,
«Живучий, ублюдок!» — промолвил хирург Борменталь.
Сказал, как отрезал ненужные метры кишки.
Спустился во двор, подбирая к ступенькам шажки.

Стоит, прислонившись к столетнему дубу спиной,
во рту папираса, в глазах — любованье весной,
зеленым пожаром, сиренью, похожей на дым,
вставляемым в раму салатным стеклом листовым
и первой, его обновившею каплей дождя,
которая кругло сползает, почти не следя.

Почти не следя за идущим на землю дождем,
стоит Борменталь, ловит кайф, растворяется в нем;
видения роем проносятся в сонном мозгу:
кентавры пасутся на белом стерильном снегу,
кентавры (от пояса конь, а вверху человек)
пасутся, роняя зеленые яблоки в снег.

Святая Варвара

1

В наказанье за красоту
Заточили в высокую башню,
Тень которой ложится на пашню.
Это Хронос подводит черту
Перед тем, как уйти в темноту,
Где Калиго и Хаос Эреба
Порождают. Теперь только небо
Составляет раздумий предмет,
Заключая вопрос и ответ —
Для чего. Пахнет брынзой и хлебом.

2

Илиополь во мрак погружен.
Лишь на площади факелы стражи,
Как листвою облетающей, сажей
Устилают подножья колонн
Храма. В отсветах кажется он
То ль Аидовой страшной пещерой,
То ль на скалы влетевшей галерой.
Илиопольцы спят, как сурки,
Распустив пояса и шнуры,
Одобряемы Зевсом и Герой.

3

Но едва только Эос постель
Покидает свою и на берег
Искупаться идет, всюду двери
Отворяются. В каждую щель
И лачуг, и дворцов, будто хмель,
Проникают лучи, оплетая
Все предметы. В кустах золотая
Сойка гимны Афине поет.
И стекается к рынку народ,
И галдит, будто галочья стая.

4

Те, торгуясь, монетой звенят;
Эти, черными каплями крови
Обагрят песок у жаровен,
Режут горла курчавых ягнят.
И тяжелый самшитовый чад
Не спеша поднимается в небо.
Ветерок. Пахнет бронзой и хлебом.
Поддень. Солнце в зените. Жара.
У реки мельтешиг детвора
С одобрения рыжего Феба.

5

Неизменный порядок вещей:
Только солнце покатится к роще,
Где порывистый ветер полощет
Кроны, будто подолы плащей,

В сей же час, как всегда, у дверей
Встанет Иезавель, златокудра,
На ланитах свинцовая пудра,
На устах густо-красный кармин.
К ней с дороги свернет то один,
То другой (а последний — под утро).

6

Так легко за оболом обол
Поясок наполняют приданым.
Ты же в башне своей окаянной
В одиночку садишься за стол.
Диоскор так же молча ушел,
Как пришел. Вот становится воздух
Темно-синим. Вот первые звезды,
Точно соль, проступают на нем.
Вот опять в темноте за окном
Этот мир удивительный создан.

7

Только кем? Кто решил, что луна
Убывает? И тут же обратно
Прибывает. И так многократно
Повторяется. Будто волна
Набегает. Откуда она,
Эта стройная музыка мира?
В чьих руках семиструнная лира
Порождает гармонию сфер?
Кто он, этот небесный Гомер,
Сочинитель земли и эфира?

8

Сочинитель морей и озер,
Гор и рек, что стекают в долины,
Через узкие горловины
Поначалу. Зеленый ковер
Расстеливши, цветочный узор
Кто наносит, а после дождями
Все смывает? Кто целыми днями
И ночами, кто из году в год,
Будто ворот, сей круговорот
Все вращает, без нас или с нами?

9

И зачем, для чего мы нужны:
Хвастуны, сластолюбцы, убийцы,
Казнокрады, глушцы, кровопийцы,
Лицемеры, обжоры, лгуны,
Лжебогам самозванным верны
И в любви, и когда убиваем?
Для чего мы на свете бываем?
Пусть Он скажет! Пусть даже не сам.
Будто льва по когтям, по словам
Мы любого пророка узнаем.

10

Пусть расскажет хотя бы пророк,
Для чего это брненное тело
Мне дано, если нету предела
У души? Даже если урок
Будет страшен, тяжел и жесток,
Знать хочу! Даже если на муки
Обрекусь и железные руки
Будут шлоть мою рвать без конца,
Даже если рукою отца...
Чу! Ключа поворотные звуки.

Почему я должен?

Почему я должен подчиняться дурацкой стрелке,
Которая ходит по кругу, словно конь с завязанными платком глазами,
Что приводит в движение колесо маслобойни?

Я, чья душа свободна, как птица,
Порхающая в синем небе над пыльным двором,
По которому ходит кругами конь с завязанными платком глазами.

Но приходится подчиняться дурацкой стрелке,
Раз уж ей подчиняется махина железный конь,
Точнее, махина железная гусеница.

Раз уж ей подчиняется уйма народа,
Бегущего наперегонки с выпученными глазами,
С которых как будто повязку только что сняли.

Бегут наперегонки, будто спешат продемонстрировать
Рвение, с которым они подчиняются дурацкой стрелке.
Лучшим в награду достаются места, откуда всё хорошо видно.

А я так хотел рассмотреть в мельчайших подробностях,
Как превращается город — мосластый измученный конь с завязанными платком глазами —
В пригород — пщцу, которая вырывается на свободу, плеща зелеными крыльями

Авраам и Сарра

1

«Рукой Авраама зарезан твой сын Исаак, —
Сатан, пастухом обернувшись, приносит известье. —
Ягненка заклать рано утром отправились вместе
В Морию они. Ну а вместо ягненка... Вот так».
И вскрикнула Сарра, бледнея. И, делая шаг,
На землю она оседает. И, будто бойницы
Разрушенной башни, наполнены мраком глазницы.
И видит луна, проплывая по синим холмам:
Из рощи масличной идет по тропе Авраам,
А с ним Исаак — и у них безмятежные лица.

2

«А правда, что Сарра, когда Исаака ждала,
Вдруг помолодела и даже красивее стала?»
«Конечно, она ведь добра совершила немало.
И тех, кто за ней с Авраамом пошел, несть числа».
А далее — далее речь про пастушью дела
Течет, как вода Иордана, неспешно и чинно.
И так же неспешно пред ними пустеет корзина.
...Приходит лиса, получает лепешки кусок,
И тут же в кусты. Промелькнула, как фиگیлек.
Вдали громыхнуло. Грозою запахла долина.

3

«Гроза разошлась не на шутку. И ливень стеной.
Входи. Как зовут тебя, гость?» — «Можно звать Михаилом». —
«Садись у огня. Обсушись. Обогрейся. Остыла
Похлебка. Сейчас подогрею. А ноги укрой».
Гость сел у огня, к Исааку горбатой спиной.
Беседа течет, как вода Иордана, неспешно.

О ценах на хлеб и на мясо. Как будто орешник,
В котором запутались, пламя трещит в очаге.
И даже с лежанки своей Исаак на щеке
Тепло ощущает, во мрак погружаясь кромешный.

4

«Вставай, Исаак», — голос гостя звучит из угла.
«А где Авраам? Где отец? Почему я не вижу?» —
«А ты поднимись, Исаак, поднимись и поближе
Ко мне подойди. Видишь, там, вдалеке, Махпела?»
Глядит Исаак: вдалеке, где чернеет скала,
Фигурка у входа в пещеру, где Сарры могила.
Вдруг все озаряется светом! Глаза Михаила,
Как будто гагаты, сверкают. И плавится мрак.
И видит, пока еще можно, сквозь жар Исаак:
На самом краю Авраамово тело застыло.

5

«Ты плачешь, Адам? Этих слез недостойны они —
Лгуны, хвастуны, сластолюбцы, обжоры, убийцы,
Глупцы, казнокрады, обманщики и кровопийцы,
Своим лжебогам самозванным верны искони». —
И тянется, будто листва по-над краем стерни,
Поток из людей бесконечный к широким воротам.
Вослед им глядит Авраам, понимающий, что там.
Енох им грехи поминает по книге в руках,
И Авель их судит. И Божий становится страх
Ужасною тучей над кровом содомского Лота.

6

«О, Лот! Погляди, что творится на небе сейчас!
Как будто архангелов стая парит, многокрыла:
Вон лик Сарриила, Иеремиила и Гавриила,
А вот Рафаила. Конец наступает для нас?»
И вмиг небосвод над Цоаром как будто погас,
Затянутый серым песком Иудейской пустыни,
Как будто и не было белого света в помине,
А если и был, для того только, чтобы пропасть,
Чтоб все поглотила дракона разверстая пасть,
Огонь изрыгая и смерчами воя в долине.

7

«О Сарра, смотри, как суров и неправ его суд!
Живым за грехи Авраам воздаст не по мере,
Как будто бы в их покаянье не только не верит,
Но знает, что им они души свои не спасут!»
И вот Адонай Михаила зовет — тут как тут
Архангел, который сразит мирового дракона.
Вернуть Авраама на пыльные стогны Хеврона
Велит Адонай. Пусть от Ктуры родится Зимран,
Потом Иокшан и Медан, и еще Мадян,
Ишбак и Шуах — палестинской смоковницы крона.

8

«Я замысел твой поняла, Адонай. Он велик!
Ты любишь людей просто так. И прощаешь заранее.
Ты любишь глядеть, как нисходит на них покаянье,
Как светел становится каждого грешника лик».
И слушая Сарру, меняет он облик. Старик,
Седой, с бородою всклокоченной, в рубище рваном,
Теперь перед нею. И слезы текут непрестанно,
И в каждой, как будто в зрачке, отражается тот,
Кто крест на Голгофу под солнцем палящим несет,
Пока, как Енох, что-то шепчут и шепчут барханы.

9

«Вставай, Исаак. Все закончилось. Выпей воды.
Дай жиром бараньим помажу тебе я ожоги». —
«Отец, я стоять не могу — отнимаются ноги.
Боюсь, не осилить мне спуска в долину с гряды».
И овод желудочный вьется вокруг бороды
Всклокоченной, метя в прореху разодранной ризы,
И дым от костра, будто клоч, отрывается, сизый,
И слезы в глазах Авраама, как пламя, дрожат,
И нож ханаанский в руке его крепко зажат,
И агнец дрожит, и костер занимается снизу.

10

«Так что за видение было тебе, Исаак?» —
«Я видел себя на холме, на себе багряницу.
Я видел толпу. А потом они шли вереницей.
И я между ними, осмеян, оплеван и наг».

И ветер поднялся, наполненный лаем собак
И запахом жирной похлебки над пастбищем горным,
И шорохом листьев оливы, чьи страшные корни,
Сплетаясь, нависли над краем пустынной скалы,
И гулом, с которым на дно покатались валы,
Тревожа овчарок, путая овец покорных.

Караваджо

Григорию Марговскому

1

Боже, что я делаю не так?
Может, в тех занюханных трактирах,
Где сижу я, и не пахнет миром
И молитв не слышно в шуме драк...
Ну, тогда подай мне только знак:
Стань, как Чезари, мол, благонравным,
Не ищи вакханок, да и Фавна
Среди тех, кто пьянствует с утра,
Кто убийцы, шлюхи, шулера,
Первые среди злодеев главных.

2

Будь, как Чезари, мол, чей Христос
Даже на кресте от смертной скуки
Задремал. Сложи смиренно руки
И служи, как подзаборный пес...
Но ответь мне только на вопрос:
Если не трактир и не таверна,
Где, скажи, найти для Олоферна
Перерезанный Юдифью крик,
Чтобы он высот твоих достиг,
Покидая гнойные каверны?

3

Где, скажи мне, ты еще найдешь
Взгляд отчаянья для Исаака,
Этот свет, крадущийся из мрака,
Эти колебание и дрожь,
Тронувшие ханаанский нож
И зрочки несчастного ягненка?

Этот свет, натянутый, как пленка,
Что вот-вот прорвется, как шева,
Под которой бьется голова
Самого несчастного ребенка.

4

Этот свет от лампы на стене,
От печи, где жарят тагилату,
От дукатов, брошенных в уплату
В фартук тавернейровой жене.
Или тот, мерцающий в вине,
Как рубин, и в гроздьях марцемино.
Или тот, в ломтях фокаччи с тмином,
Что преломлена его рукой.
Свет, в котором вечный непокой
Твоего неистового сына.

5

Свет из растворенного окна,
За которым ветер ходит, вея,
Луч и жест, призвавшие Матфея,
Черного душой, как Сатана.
Свет, встающий плотно, как стена,
На пути осенней непогоды.
Свет, пронзивший тучи, будто воды
Иордана павшая Полюнь.
Свет незамечаемых святых,
На которые щедрa природа.

6

Свет каштана в Борго, под горой,
Там, где осень по пути в Египет
Отдыхает, прислонившись к липе
С тронутой лишайником корой,
Наслаждаясь ангельской игрой
Керубино на ручной виоле
С шейкой завигую, как фасоли
Плодоножка. Свет от камыша
В пойме Тибра, легкий, как душа,
Облетающая Капитолий.

7

Свет погрязших в сумерках вершин,
Где светило медленно садится,
Делая задумчивее лица
Женщин и суровее — мужчин.
Свет почтенных старческих седин,
Локонов, струящихся по телу
Девы, скинувшей одежды смело,
Голубиных перьев на крыльце...
Свет, который видит на лице
Матери младенец в ризе белой.

8

Свет, проникший в ясли через щель
Между косяком и приоткрытой
Дверью (алтарем иоаннитов
Пергола в саду — ее туннель
Оплетает золотистый хмель).
Свет, проникший с трепетом к мадонне
(На холмах все ярче, все бездонней
Небеса, и кипарисов ряд
Трепетным сиянием объят,
Прижимая тесно крону к кроне).

9

Будто голубь, севший на окно,
Краткий гость темниц и кроткий — келий,
Свет дождя в лесу, в саду - камелий,
Чистое, как совесть, полотно,
Где, как первородный грех, пятно
И — внезапно, резко — вся натура
(Чем темнее камера-обскура,
Тем он ярче, яростней, острее;
Тем контрастней, резче суть вещей,
Каждой цветовой тесситурой).

10

Посох, наставляющий на путь,
Что ведет с подножия Синая
На Голгофу, где стоит, стена,
Ливень, серебристый, будто ртуть,

Обжигая руки, плечи, грудь,
Покрывая язвами нагое
Тело, не мое уже — другое,
В коем зависть, похоть, злоба, мрак...
Боже, что я делаю не так?
Дай мне знак! Или оставь в покое...

Вильонская баллада

Над площадью царил воздушный шар,
садился ветер на рябые лужи,
слоились тучи, как печной нагар,
и был опять я никому не нужен,
к тому же болен: кажется, простужен, —
вдобавок то, что мы зовем душой,
хотело с кашлем вырваться наружу.
«Я отовсюду изгнан, всем чужой», —

В мозгу свербело. Начинался жар.
Мне мой озноб казался легкой стужей.
За мятый рубль я сел в воздушный шар,
ремень страховочный перетянув потуже.
И был я слаб, как будто безоружен
в момент опасности, один перед толпой.
Свербела мысль как не бывает хуже:
«Я отовсюду изгнан, всем чужой».

В прозрачный купол устремился пар,
а город становился ниже, уже,
разбросанный по сопкам, был он стар,
и неухожен, и уныл к тому же.
И мой подъем, рывками, неуклюжий,
стал плавным, словно в шахте лифтовой,
с презреньем к миру вырвалось наружу:
— Я отовсюду изгнан, всем чужой!

И этим криком будто обнаружен
задравшей сверху головы толпой,
царил в пространстве, отраженном в лужах,
я, отовсюду изгнан, всем чужой.

Павел в Коринфе

1

Багровое солнце над Акрокоринфом
Мерцает всевидящим оком Творца.
В заливе у берега плещется нимфа,
Смеется и песни поет без конца.
Алкеста и Кор у постели отца,
А Яннис в дверях, на полу мозаичном.
Весь день сам с собой скорлупою яичной
В граммисмос играет. Так думает он.
Как сфинга, на ветке застыла синичка —
Деталь капители коринфских колонн.

2

И слышно отсюда, как волны залива
Бормочут Евмела забытого стих.
«Эой, — повторяют, — Эфоп». Словно слива,
Залив фиолетов. И ветер затих.
«Эой, — напоследок, — Эфоп». А других
Два имени так и не вспомнили. Ветер
Затих. С ложа слышится тихое: «Дети...»
«Мы здесь», — отвечает Алкеста, а Кор
К губам его чашу подносит, заметив
При этом, что кто-то заходит во двор.

3

До пят его плащ грубошерстный струится,
Как быстрый поток по мохнатым камням.
И крыльями жертву терзающей пшцы
Взметаются полы. «Гость, кажется, к нам?» —
Алкеста читает по серым губам,
Бескровным, почти не способным на шепот
И все-таки шепчущим: «Кто это? Кто там?»
И вот он заходит, не молод, не стар.
Не стар — ибо есть в нем от ангела что-то.
Не молод — поскольку с дороги устал.

4

И вот он садится, и ноги Алкеста
Ему обмывает холодной водой.

И Яннис у ног, и, не трогаясь с места,
Глядит на пчелу над его бородой,
Где капелька пота сверкает звездой.
И первые звезды восходят на небо.
И Кор, отломив ему черствого хлеба,
Подносит с водой. И сначала он пьет,
Пытаясь припомнить, как долго здесь не был.
И вьется пчела. И вода будто мед.

5

Он ест и глядит на тщедушное тело,
На впалую грудь и пустые глаза.
Вспорхнула синичка и прочь улетела.
«А ночью, наверное, будет гроза», —
Вздохнув, говорит он и видит — слеза
На бледной щеке у больного Ясона.
«Ты, знаешь, однажды я шел из Хеврона
В Иерусалим, — говорит он ему. —
И вдруг услышал над пустынею стоны.
Откуда? Гляжу, да никак не пойму.

6

И только когда подошел, стало ясно,
В чем дело: устав от ярма и жары,
Пал вол, и стервятники выели мясо,
А солнце, скатившись с высокой горы,
Очистило кости, как терн от коры,
От гнойных остатков. И в этой колоде
Рой пчел поселился с заботой о меде.
Гудение их я и принял за стон.
Как будто, тоскуя в ярме по свободе,
Вол громко стонал, прежде чем умер он.

7

А это гудели рабочие пчелы,
В свой дом возвращаясь от злачных полей...
Уньние — грех. В этот час невеселый,
Ясон, не печалься о плоти своей.
Рабочие пчелы давно уже в ней —
Любовь, милосердие, вера, терпенье.
А боль... Что же боль? Знак иного рожденья.
Рожденья безгрешной сыновней души.

Мария стонала от боли, колени
Разжав, на соломе, в пещере, в глуши.

8

Счастливец, своей убегающий плоти,
В которой грехи будто черви в плоде,
Ты стонешь, а дух пребывает в полете.
Ты стонешь, и так происходит везде,
Где Божье творенье спасается, где
В надежде на это спасение стонет».
И он замолчал, на колени ладони
Свои положив. И на ложе Ясон
Затих, как листва пред грозой на кроне,
Затих, погружаясь с улыбкою в сон.

9

...Савл шел по ночному Коринфу. Блудницы
Смеялись в объятьях плешивых пьянчуг,
И черные тени шарахались птицей,
Которая чует натянутый лук.
Орало, визжало, нагдело вокруг
Все непроходимое воинство мрака.
Какой-то старик крупноносый собакой
Залаял, завидев его, и, хитон
Здрав свой и ногу, распутника знаком
Пометил одну из коринфских колонн.

10

«Эй, Павел, ну где он, твой глупый мессия?!
Пусть явится! Здесь мы его и распнем!»
Крик этот до самого дома Гаия
Его провожал. Дело было не в нем.
А в том, что победная тьма за окном
И тьма в бедной комнате были едины
В тот миг, когда неба разверзлись глубины
И гром прогремел, как тогда, на пути
В Дамаск, когда, пав на осклизлую глину,
Он ползал, как червь, свет не в силах найти.

А где отец? Да на войне

— А где отец? — Да на войне.
— Тогда я подожду, пожалуй.
— Да я разогревать устала.
Садись, поешь немного. — Не.
И поглядел в окно. В окне —
заросший двор, и там, у тына,
о чем-то явор и калина
все время шепчутся. — Ты сам
стрелял сегодня? — По кустам.
Так что душа моя невинна.

Смеркается. На стол свечу
мать ставит, коробком грохочет.
— Да где ж он ходит?! Дело к ночи...
Поешь, сыночек. — Не хочу.
...А явор клонится к плечу
калины в брызгах спелых ягод.
Смеркается. Как будто флягу
трясуг, перевернув верх дном,
накрапывает за окном
чуть слышно. — Мама, я прилягу.

Чуть слышно явор слезы льет.
Доносится гусиный гогот.
Выходят гуси на дорогу,
проходят первый поворот,
а там встречает их осот,
встающий во поле полками,
стучащий в небо кулаками,
пока не грянет гром в ответ...
Он спит, устал и не раздет,
во сне играя желваками.

— Вставай, сынок! Вставай — беда.
... Огонь свечи дрожит во мраке,
откуда слышен вой собаки
и где стеной стоит вода,
сверкающая, как слюда,
как будто падает с плотины.
...В дверях стоят, сутуля спины,
и на пол капает с плащей.
— Там, на развилке, где ручей,
нашли его в кустах калины.



Лариса Миллер

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ИТАЛИИ

Апрель, 2014 г.

Выход в марте в издательстве CORPUS большой книги «А у нас во дворе» и удивительная поездка в апреле в Италию по приглашению итальянского слависта и переводчика Стефано Гардзонио — два радостных события моей жизни первой половины 2014 года, отраженные в предлагаемой вниманию читателей журнала «Семь искусств» стихотворной подборке: это стихи, написанные в Италии, и стихи из новой книги автобиографической прозы.

3 июля 2014 г.

* * *

Сидеть на весёлой скамейке облупленной
В весёлой одежке, по случаю кушленной,
И, слившись с текучей прозрачной средой,
Быть, как и она, молодой, молодой,
Быть, как и она, молодой, необученной,
Ещё не обстрелянной и не измученной.

* * *

Посвящается Стефано Гардзонио

Таковы обстоятельства места и времени,
Что ещё далеко до зимы и до темени,
До захода, ухода, упадка, конца,
И улыбка ещё не сбежала с лица,
И ещё все слова я рифмую попарно,
И ещё в двух шагах флорентийская Арно,
И ещё в двух шагах, а вернее, у ног
Зёрна счастья клюёт молодой голубок.

* * *

Я всегда на заре начинала предчувствовать вечер,
Не умела забыть, что чревато сияние тьмой,
Я всегда начинала бояться разлуки при встрече,
А из дома уйдя, не вернуться боялась домой.
А теперь, когда жизнь позади, мне легко удаётся
Свет увидеть во тьме. Ну а что мне ещё остаётся?

* * *

О Боже, Боже, всюду изразцы
И витражи, и всякие красоты,
Похожи дни на сладостные соты...
Вы преуспели, пришлых душ ловцы.
Забыто всё: и горести, и гнёт,
С дней италийских слизываю мёд.

Флоренция

* * *

Как прекрасно, когда просто так,
Просто так, безо всякой причины,
Из ночной выплывая пучины,
Мы куда-нибудь делаем шаг.
Как прекрасно шагнуть в пустоту
Просто так, без намеченной цели...
Вот и ангелы здесь пролетели,
Бросив пёрышко нам на лету.

Лисса

* * *

А Россия сама не своя,
Не своя, не твоя, не моя,
От России лишь рожки да ножки,
И любимые мною дорожки,
Что бегут сквозь глухие года
И давно не ведут никуда.

* * *

Муравьи и ромашки,
Ромашки, жуки, муравьи...
Ни единой промашки,
И губы — в клубничной крови,
Ни единой осечки,
Всё в яблочко, в точку и в бровь,
В ослепительной речке
Смываю клубничную кровь.

* * *

Я детей родила, чтоб с моими детьми поделиться
Тем, как птица поёт и цветёт по весне медуница.
Я детей родила и устроила им новоселье
Для счастливых затей и любви и тепла, и веселья.
Боже, воля твоя, но о добром прошу тебя деле:
Сделай так, чтоб они о поступке моём не жалели.

* * *

1.

Что не вигает в небесах, —
Стоит в строительных лесах.
Лесами всё обнесено,
Что в небо не унесено.
И я внизу не копошусь,
Я тоже в небо уношусь.
Ведь до него, коль напрямик,
Из этих мест — один лишь миг.

2.

Я так завидую всем пьящю,
Всем древним пьящю и палащю,
Всем, кто лесами обнесён
И от погибели спасён.
Я тоже, тоже, тоже, тоже
Хочу быть на себя похожей
И жду: придут средь бела дня —
Отреставрируют меня.

Флоренция

* * *

Да я ведь знаю, что не мне одной,
Флоренция, ты счастье обещала,
И не меня одну ты освещала
Лазурью, что сияет надо мной.
И хоть я знаю, что в природе нет
Того, что мне сулит твоё бель канго,
Я благодарна твоему таланту
Томить, сулить и лигь волшебный свет.

* * *

А утро поёт и свистит, и щебечет,
Ему всё равно — нынче чёт или нечет.
А утро щебечет — ему всё равно
Живу я недавно, живу я давно,
Недавно пришла или мир покидаю,
Беспечно смеюсь или горько рыдаю.

* * *

Идём ли по земле, витаем в облаках —
В конце нас всё равно оставят в дураках,
В конечном счёте мы всегда из проигравших:
Сегодня мы в живых, а завтра — среди павших,
Средь проигравших свой всегда неравный бой
С порядком всех вещей, со временем, с судьбой.

* * *

Ностальгия, тоска по чему-то, чего не бывало,
По таким адресам, по которым я не проживала,
По неведомой встрече, которая не состоялась,
По не знаю кому, но кого потерять я боялась,
По каким-то мирам, временам, по какому-то дому,
Где вовек не жила, по небывшему, непрожитому.

* * *

Венеция

1.

Здесь не поют, а отпевают,
Здесь не плывут, а отплывают
В глухую вечность прямиком.
Не надо спрашивать — по ком
Все эти звуки, эти звоны,
Воды глубокой всхлипы, стоны.

2.

Я знаю про конец пути,
Но мне так нравится идти,
Что я иду, иду, иду
У тяги сей на поводу.
И хоть во тьму ведут следы,
Но нынче путь мой — вдоль воды
Венецианской золотой,
Той, над которой Дух Святой.

3.

Здесь плеск воды и клёкот голубей,
И речи итальянской звук певчий,
И я хочу не упустить свой случай
Здесь прозвучать, хоть ничего глупей
Наверно, нет, чем петь решиться вдруг
Там, где давно уж спелись все вокруг.

* * *

А даль, слава Богу, пока ещё светлая,
Мечта, слава Богу, ещё голубая,
И даже имеется тайна заветная,
Любовь, как и в юные годы, слепая.
И, значит, мне жить до сих пор не наскучило,
И жизнь, хоть она и помучить любила,
Меня всё ещё до конца не замучила,
Ещё не замучила и не добила.

* * *

Люблю я то, на что нет спроса:
К примеру, дождь, летящий косо,
Дождём прибитую траву,
Страну, в которой я живу,
Страну, в которой до измота
Всё ждём мы светлого чего-то.

**Стихи из книги «А у нас во дворе»
(Изд. CORPUS, Москва, 2014)**

* * *

Да-да, конечно: время мчится шустро,
Но до сих пор загадочная люстра
В театре давнем гаснет не спеша,
И замирает детская душа.
Да-да, конечно: зыбкость, скоротечность.
Но занавес ползет по сцене вечность,
И я со сцены не спускаю глаз
Горящих. Я в театре в первый раз.
Героя звать Снежок. Он — негритьёнок.
А янки негров мучают с пелёнок.
Бинокля я не выпущу из рук.
Идет счастливой памяти настройка.
Ах, жизнь, ты ненадежная постройка:
То пропадает видимость, то звук.

* * *

Московское детство: Полянка, Ордынка,
Стакан варенца с Павелецкого рынка —
Стакан варенца с незабвенною пенкой,
Хронический кашель соседа за стенкой,
Подружка моя — белобрысая Галка.

Мне жалко тех улиц и города жалко,
Той полудеревни, домашней, давнишней:
Котельных ее, палисадников с вишней,
Сирени в саду, и трамвая-«букашки»,
И синих чернил, и простой промокашки,
И вздохов своих по соседскому Юрке,
И маминых бот, и ее чернобурки,
И муфты, и шляпы из тонкого фетра,
Что вечно слетала от сильного ветра.

* * *

И висело белье, полощась на ветру.
И висело белье, колыхаясь от ветра.
О, какое печальное сладкое ретро!
Как из памяти эту картинку сотру?
Синька, бак для белья, и доска, и крахмал,
У бабули в руках бельевые прищепки,
И белы облака удивительной лепки,
И ребенок, стоящий поблизости, мал.
И ребенок тот — я. И белей облаков
Простыня, и рубашка — небесного цвета.
И всему, что полощется, — многая лета,
Цепкой памяти детской, шадящих веков.

* * *

— Да ничего особенного там
И не было. Убожество и хлам
В твоей замоскворецкой коммуналке —
Клопиные следы и коврик жалкий,
И вата между рамами зимой.
— Да-да. Все так. Но я хочу домой
В свое гнездо, к тем окнам, к тем соседям,
К той детворе. Давай туда поедem.
Там во дворе — волшебная сирень.
Там у соседки — сильная мигрень.
Мигрень — какое сказочное слово
И как звучит загадочно и ново!
Там город мой, в котором я росла,
Который я, к несчастью, не спасла,
Там город мой, домашний и зеленый,
Людьми, которых нету, населенный,
Тот город, что моим когда-то был,
А стал чужим. И сам себя забыл.

* * *

А круг, на котором я плавала, быстро спустил.
Мне лет было мало. Я плавать совсем не умела,
А мама не видела, мама на солнышке млела,
А я все барахталась и выбивалась из сил,
Пока не нащупала пальчиком правой ноги
Спасительный камень в одежке из скользкого ила.
...Никак не пойму я, что в жизни случайностью было,
Что Божьим ответом на сдавленный крик: «Помоги!»

* * *

Не плачь! Ведь это понарошку.
Нам крутят старую киношку,
И в этом глупеньком кино
Живет какая-то Нино,
И кто-то любит эту крошку.
Решив убить себя всерьез,
Герой, едва из-под колес,
Вновь обретает голос сладкий...
Но ты дрожишь, как в лихорадке,
И задыхаешься от слез.

* * *

Кривоколенный, ты нетленный.
Кривоколенный, ты — душа
Моей истерзанной вселенной,
Где всем надеждам — два гроша.
Кривоколенный, что за имя,
Какой московский говорок,
Вот дом и дворик, а меж ними
Сиротской бедности порог.
Кривоколенный — все излучки
Судьбы в названии твоём,
Которое — какие звуки! —
Не произносим, а поем.

* * *

Я сказала себе, что я счастлива. Так и случилось:
Счастье, где б ни была я, меня находить научилось
Я сказала себе: все в порядке, все в полном порядке.
И любые невзгоды бегут от меня без оглядки.
Я сказала себе, что стихи прибегут ко мне сами,
И пришла ко мне Муза и смотрит большими глазами.
И осталось сказать себе: я с каждым годом моложе
И красивой. Надеюсь, и это получится тоже.

* * *

Нет ни унынья, ни тщеты.
Есть банты, шарики, цветы.
Жизнь — детский утреник, поверьте,
Весть долгожданная в конверте,
Мгновений пестрых конфетти.
Ну что ж, и я во сне кричу,
Но помнить сон свой не хочу.
Тьму напугав, включу фонарик.
А утром, взяв за нитку шарик,
Опять на праздник полечу.

* * *

Болела моя детская душа:
Я утонула в море гольша,
Случайно утонула в бурном море.
Насмарку лето. Ведь такое горе.
Купили паровозик заводной,
Но нужен был единственный, родной
Гольш — нелепый бантик на макушке.
А жизнь, как оказалось, не игрушки.

* * *

Я так ждала родительского дня
И чтобы мама забрала меня
Из группы. Мы в лесу гамак повесим.
Я буду петь. Я знаю много песен.
Читать стихи ей буду без конца.
Я маму жду. Я не уйду с крыльца.
Ей — с шишками еловыми корзинка,
Венок, букет и булки половинка.
Вон меж стволами золото волос.
Ах, мама, твой ребенок не подросток.
Так и бегу с подарком припасенным
Тебе навстречу в платьице казенном.

* * *

А мама собирается на бал.
И жемчуг бел, и цвет помады ал,
На стуле серебрится чернобурка —
Ее не любит мамина дочурка.
Берет не любит, что с распялки снят,
И платье из панбархата до пят.
Ведь, значит, мама из дому уходит
И дочкин праздник из дому уводит.
Не надо было маму отпускать.
Ведь где, скажи, теперь ее искать?

* * *

Я малолетка. Я в Клину.
Я у Чайковского в плену.
Я терблю промокший, мятый
Платочек. Плачу я над Пятой
Симфонией. Пластинку нам
Поставили. За дверью гам.
В музее людно. День воскресный.
А музыка с горы отвесной
Столкнула, снова вознесла.
Я плакала. Душа росла.

* * *

Ах, как ребенку взрослые мешают:
То спать велят, то сладкого лишают:
Мол, брось жевать — испортишь аппетит
И зубкам вред. А время-то летит.
Ах, бывшее дитя, кому есть дело
Сегодня до того, что ты надело,
Как выпалось, что ело на обед?
Ты счастливо, что взрослых больше нет?

* * *

Приходит Верочка-Верушка,
Чудная мамина подружка.
Она несет большой букет.
(Сегодня маме тридцать лет.)
Несет большой букет сирени,
А он подобен белой пене,
Такая пышная сирень.
Я с белым бантом набекрень
Бегу... Гори, гори, не гасни,
Тот миг... И розочку на масле
Пытаюсь сделать для гостей...
Из тех пределов нет вестей,
Из тех времен, где дед мой мудрый
Поет и сахарную пудру
Неспешно сыплет на пирог.
И сор цветочный на порог
Летит. И грудой белой пены
Сирень загородила стены.

* * *

А за окном твоей палаты
Случались дивные закаты,
Стояло дерево без кроны,
Летали галки и вороны.
Начало марта, хмарь, ненастье,
И ты мне говорила: «Счастье
Смотреть в окно на стаю эту».
Вот счастье есть, а мамы нету

* * *

Маме

Я не прощаюсь с тобой, не прощаюсь,
Я то и дело к тебе возвращаюсь
Утром и вечером, днем, среди ночи,
Выбрав дорогу, какая короче.
Я говорю тебе что-то про внуков,
Глажу твою исхудавшую руку.
Ты говоришь, что ждала и скучала...
Наш разговор без конца и начала.

* * *

О память — роскошь и мученье,
Мое исполни порученье:
Внезапный соверши набег
Туда, где прошлогодний снег
Еще идет; туда, где мама
Еще жива; где я упрямо
Не верю, что она умрет,
Где у ворот больничных лед
Еще лежит; где до капли,
До горя целых две недели.

* * *

Маме

Прости меня, что тает лед.
Прости меня, что солнце льет
На землю вешний свет, что пища
Поет. Прости, что время длится,
Что смех звучит, что вьется след
На той земле, где больше нет
Тебя. Что в середине мая
Все зацветет. Прости, родная.

* * *

Отцу

Письмо, послание, прошение
От потерпевшего крушение.
Письмо, послание, призыв
От гибнущего к тем, кто жив.
Из заточенья, из неволи
Сигнал смятения и боли,
Мольба, отчаяние, крик...
Я устремилась напрямик
На голос тот. Но вышли сроки,
Оставив выпцветшие строки
Про горе и малютку дочь...
Мне сорок пять. И чем помочь?

* * *

То облава, то потрава.
Выжил только третий справа.
Фотография стара.
А на ней юнцов орава.
Довоенная пора.
Что ни имя, что ни дата —
Тень войны и каземата,
Каземата и войны.
Время тяжко виновато,
Что карало без вины,
Приговаривая к нетям.
Хорошо быть справа третьим,
Пережившим этот бред.
Но и он так смят столетьем,
Что живого места нет.

* * *

Я встретила погибшего отца,
Но сон не досмотрела до конца.
Случайный шорох помешал свиданью.
Прервал на полуслове, и с гортанью
Творилось что-то... тих и близорук,
Он мне внимал растерянно... И вдруг
Проснулась я, вцепившись в одеяло:
Отца нашла. Нашла и потеряла.

* * *

А тогда, на начальном этапе,
Рисовала я солнце на папе,
А вернее, на снимке его.
Я не знала о нем ничего.
Лишь одно: его мина убила.
И так сильно я папу любила,
Рисовала на нем без конца.
Вышло солнышко вместо лица.

* * *

Если память жива, если память жива,
То на мамином платье светлы кружева,
И магнолия в рыжих ее волосах,
И минувшее время на хрупких часах.
Меж холмами и морем летят поезда,
В южном небе вечернем пылает звезда,
Возле пенистой кромки под самой звездой
Я стою рядом с мамой моей молодой.

* * *

А был ли мальчик? Девочка была ли?
Их небеса целинные пылали?
Им под ноги ложился ли ковыль?
И что же это было — небыль? быть?
И если быть, то что же с нею стало
Потом, когда грядущее настало?

* * *

В 1958-м

Вот если пройду по бордюру, с него не сойду,
То будет все так, как мечтаю, но чуть погода.
И он позвонит, даже может быть, через часок,
Лишь надо стараться, чтоб пятки касался носок.
Как трудно держать равновесие и не сойти
С бордюра ни вправо, ни влево, не сбиться с пути,
С пути, на котором я счастье хочу обрести,
Не ведая, что до него мне расти и расти.

* * *

У всех свои Сокольники
И свой осенний лес —
Тропинки в нем окольные,
Верхушки до небес.
С любовью угловатой,
С ее вихрами, косами
Бродили мы когда-то
В дождях и листьях осени.
Сокольники осенние,
Тропинки наугад.
Стал чьим-то откровением
И этот листопад.

* * *

Погляди-ка, мой болезный,
Колыбель висит над бездной,
И качают все ветра
Люльку с ночи до утра.
И зачем, живя над краем,
Со своей судьбой играем,
И добротный строим дом,
И рожаем в доме том.
И цветет над легкой зыбкой
Материнская улыбка.
Сполз с поверхности земной
Край пеленки кружевной.

* * *

Благие вести у меня,
Есть у меня благие вести:
Еще мы целы и на месте
К концу сбесившегося дня.
На тверди, где судьба лиха
И не падит ни уз, ни крова,
Еще искать способны слово,
Всего лишь слово для стиха.

* * *

А Россия уроков своих никогда не учила,
Да и ран своих толком она никогда не лечила,
И любая из них воспаляется, кровотоцит,
И обида грызет, и вина костью в горле торчит.
Новый век для России не стал ни эпохой, ни новью.
Матерится она, и ярится, и кашляет кровью.

* * *

Все в воздухе висит.
Фундамент — небылица.
Крылами машет птица,
И дождик моросит.
Все в воздухе: окно,
И лестница, и крыша,
И говорят, и дышат,
И спят, когда темно,
И вновь встают с зарей.
И на заре, босая,
Кружу и зависаю
Меж небом и землей.

* * *

Ничего из того, что зовется броней, —
Ни спасительных шор, ни надежного тыла...
Как и прежде, сегодня проснулась с зарей,
Оттого что мучительно сердце заныло,
То ль о будущем, то ли о прошлом скорбя...
А удачи и взлеты, что мной пережиты,
Ни на грош не прибавили веры в себя,
Но просеялись будто сквозь частое сито.
Так и жить, как в начале пути, налегке —
Неприкаянность эту с тобою поделим.
Тополиная ветка зажата в руке —
Вот и руки так горько запахли апрелем.

* * *

Устаревшее — «сквозь слез»,
Современное — «сквозь слезы» —
Лишь одна метаморфоза
Среди тьмы метаморфоз.
Все меняется, течет.
Что такое «штука», «стольник»
Разумеет каждый школьник
И детсадовец сечет.
Знают, что «тяжелый рок»
Это вовсе не судьбина,
А звучащая лавина,
Звуков бешеных поток.
От скрежещущих колес,
Вздутых цен и дутых акций, —
Обалдев от всех новаций,
Улыбаемся сквозь слез.

* * *

Хрустят ледком река лесная,
И снег от солнца разомлел...
А я опять, опять не знаю,
Как жить на обжитой земле.
Опять я где-то у истока
Размытых мартовских дорог,
Чтоб здесь, не подводя итога,
Начать сначала — вот итог.

* * *

Осенний дождик льет и льет —
Уже и ведра через край,
Не удержать — все утечет.
И не держи — свободу дай.
Пусть утекают воды все,
И ускользают все года —
Приснится в сушь трава в росе
И эта быстрая вода.
В промозглую пустую ночь
Приснится рук твоих тепло.
И этот миг уходит прочь,
И это лето истекло.
Ушла, позолотив листья,
И эта летняя пора,
Прибавив сердцу чистоты,
Печали, нежности, добра.

* * *

Люблю начало речи плавной,
Причуды буквицы заглавной,
С которой начинают сказ:
«Вот жили-были как-то раз...»
Гляжу на букву прописную,
Похожую на глушь лесную:
Она крупна и зелена,
Чудным зверьем заселена.
«Вот жили-были...» Запятая,
И снова медленно читаю:
«Вот жили...» И на слово «вот»
Опять гляжу, разинув рот.

* * *

Ригенуто, ригенуто,
Для блаженные минуты,
Не сбивайся, не спеши.
Слушай шорохи в тиши.
Дольче, дольче, нежно, нежно...
Ты увидишь, жизнь безбрежна
И такая сладость в ней...
Но плавней, плавней, плавней.

* * *

Еще холстов, холстов и красок,
Для цветowych, бесшумных плясок,
Еще холстов, еще холстов
Для расцветающих кустов
И осыпающихся снова,
Для неба черного, ночного,
К утру меняющего цвет...
Еще холстов, и сил, и лет.

* * *

Осыпающийся сад
И шмелиное гуденье.
Впереди, как сновиденье,
Дома белого фасад.
Сад, усадьба у пруда,
Звук рояля, шелест юбки...
Давней жизни абрис хрупкий,
Абрис зыбкий, как вода,
Лишь в душе запечатлен.
Я впитала с каплей млечной
Нежность к жизни быстротечной
Ускользящих времен...

* * *

Мой любимый рефрен: «Синь небес, синь небес».
В невесомое крен, синевы перевес
Над землей, над ее чернотой, маемой,
Я на той стороне, где летают. На той,
Где звучит и звучит мой любимый напев,
Где земля с небесами, сойгись не успею,
Разошлись, растекались, разбрелись — кто куда...
Ты со мною закинь в эту синь невода,
Чтобы выловить то, что нельзя уловить,
Удержать и умножить и миру явить.

* * *

Гуси-лебеди летят
И меня с собой уносят.
Коль над пропастью не сбросят,
То на землю возвратят.
Но отныне на века —
Жить на тверди, небу внемля,
И с тоской глядеть на землю,
Подымаясь в облака.

* * *

Муза. Оборотень. Чудо.
Я тебя искала всюду.
Я тебя искать бросалась —
Ты руки моей касалась.
Ты всегда была со мною —
Звуками и тишиною,
Талым снегом, почкой клейкой,
Ручейка лесного змейкой.
Без тебя ломала руки,
Ты ж была — мои разлуки,
Смех и слезы, звук привета,
Мрак ночной и столбик света,
Что в преддуренную пору
Проникает в дом сквозь штору.

* * *

Послушай, комарик, мы крови одной!
Пока я спала, своего ты добился!
Ты крови моей до отвала напился,
И ты мне теперь ну совсем как родной,
А значит, как я, на лету, в кураже
Ты кровью, насыщенной адреналином,
Напишешь стихи о жигье комарином.
Летаешь? Зудишь? Может, начал уже?

* * *

Легкий крест одиноких прогулок ...
О. Мандельштам

Пишу стихи, причем по-русски,
И не хочу другой нагрузки,
Другого дела не хочу.
Вернее, мне не по плечу
Занятие иного рода.

Меня волнует время года,
Мгновенье риска, час души...
На них точку карандаши.
Карандаши. Не нож, не зубы.
Поют серебряные трубы
В соседнем жиденьком лесу,
Где я привычный крест несу
Своих лирических прогулок.
И полон каждый закоулок
Души томлением, тоской
По женской рифме и мужской.

* * *

Никто ведь не должен тебе ничего.
Ты праздника хочешь? Придумай его.
По песне тоскуешь? Так песню сложи
И всех окружающих приворожи.
По свету скучаешь? Чтоб радовал свет,
Ты сам излучай его. Выхода нет.

* * *

Казалось бы, все мечено,
Опознано, открыто,
Сто раз лучом просвечено,
Сто раз дождем промыто.
И все же капля вешняя,
И луч, и лист случайный,
Как племена нездешние,
Владеют речью тайной.
И друг, всем сердцем преданный,
Давнишний и привычный, —
Планеты неизведанной
Жилец иноязычный.

* * *

О мир, твои прекрасны штампы:
То свет с небес, то свет от лампы,
То свет от белого листа ...
Прекрасны общие места.
Что за окошком? Там светает.
Что будет завтра? Снег растает.
О Божий мир, моей душе
Дари не ребусы — клише.

* * *

Этих дней белоснежная кипа.
В перспективе — цветущая липа.
Свет и ливень. Не диво ль, не диво,
Что жива на земле перспектива?
С каждым шагом становятся гуще
Чудо-заросли вишни цветущей,
Птичьи трели слышнее, слышнее,
А идти все страшнее, страшнее.
Ведь осталась любовь неземная
За пределами этого рая.

* * *

Сирень, именины, веселье, звонки,
Недуги, усталость, прощанье, венки...
Букеты вначале, букеты в конце...
Живем, постепенно меняясь в лице,
Меняясь настолько, что нас не узнать.
О вечная притча: "Время не трать", —
То самое время, которого нет —
Легчайшее бремя опущенных лет.

* * *

Музыка, музыка, музыка, мука —
Древняя тайна рождения звука,
Что существует, в пространстве кочуя,
Мучая душу и душу врачаю.
Музыка, музыка, форте, пиано —
Ты и бальзам, и открытая рана,
Промыслы Бога и происки черта ...
Музыка, музыка, пьяно и форте.

* * *

Не стоит жить иль все же стоит —
Неважно. Время яму роет,
Навяв тупого алкаша.
Летай, бессмертная душа,
Пока пропойца матом кроет
Лопату, глину, тяжкий труд
И самый факт, что люди мрут...
Летай, душа, какое дело
Тебе, во что оденут тело
И сколько алкашу дадут.
Летай, незримая, летай,
В полете вечность коротай,

В полете, в невесомом танце,
Прозрачайшая из субстанций,
Не тай, летучая, не тай.

* * *

Я говорю с пространством, с небом, с Богом,
А отвечают мне последним слогом.
Я вопрошаю: «Ждет меня беда?»,
А мне в ответ — раскатистое «Да».
«Какие годы лучшие на свете?» —
Я спрашиваю. Отвечают: «Эти».



Виктория Жукова

ДВА РАССКАЗА

Беспощадное лето

Москву засадили цветами. В основном это петунии, они свешиваются с крыш тоннаров, ими заполнены контейнеры около магазинов, они на клумбах и на разделительной полосе. Бульвары и скверы тоже переливаются всеми цветами радуги. Они пурпурные и фиолетовые, они белые, они пестрые — белые с синими прожилками, они розовые, они, хотела сказать желтые, но желтые — бархотки. Ими засажено оставшееся от петуний место.

Москва уже давно мертва, но люди не замечают этого. Они ходят по мертвым бульварам, живут в мертвых домах, работают на мертвых предприятиях, и когда на каком-либо месте особенно явно начинает выступать трупное разложение, туда немедленно бросаются лучшие силы и ну ремонтировать — ну, украшать.

Количество памятников и цветов приближает Москву к кладбищу. Стоит пример — тут подмажет, там подправит, глядишь, и будут довольны родственники, когда им предьявят тело усопшего.

Скоро, очень скоро город рухнет как Содом и Гоморра, и у меня Бог будет требовать, чтобы я назвала 100 праведников, а я буду говорить: «Боже, так ведь лето, все разъехались, москвичи на дачах и на гастролях, в городе одни приезжие, только вот я засиделась. Если ты сейчас разрушишь город, куда же вернуться те праведники? А если подумать, — их точно больше ста наберется. А если, Господи, точечными ударами? Господи. Ведь ты понимаешь, что у нас все богатство нажито несправедным путем? Может, тогда те покрутятся-покрутятся, да и уедут в свои границы? А мы тут уж как-нибудь тихонечко доживем».

Питерская команда уедет свой Питер достраивать, Нижегородская — к себе. А приехавшие поймут, что с нас фиг что возьмешь, и потянутся за, скажем, свердловчанами или за тюменцами или за норильцами. Москва опустеет, и начнет потихоньку оттаивать, сдирая с себя имидж имперской столицы, и опять сделается человеческим городом, где станет возможным жить.

Я даже готова опять стоять в Гуме, в очереди, за зимними сапогами и почитать за счастье носить чешскую обувь, я расчехлю машинку и сошью себе небесной красоты платье из бархата, потому что закроются эти огромные, грязные рынки, и откроются, наконец, маленькие магазинчики. И исчезнут бесконечные банки на Тверской, и телеграф заберет себе свои площади, которые он сейчас в упоении сдает. И опять там будет сумрачно и просторно, и опять мы будем греться или спасаться от жары, сидя на длинных деревянных скамейках и тыча по деловому перьевыми ручками в непроливайки, рисуя рожи на отпечатанных бланках переводов, а столы там будут чуть покаты и двусторонни, разделенные на шесть персон потемневшими от времени перегородками.

А если оголодаю, зайду в Диету и куплю самбуку или абрикосовое желе. А еще зайду в Елисей и куплю 200 граммов ветчины, окорока Тамбовского, который лежит уже расфасованный на пергаментных бумажках, и ты, умильно глядя про-

давщице в глаза, просишь выбрать не жирный кусочек. Потому что ты знаешь, что под соблазнительными ломтиками ветчины лежат грубо нарезанные куски жира. И, взяв в хлебном ржаную лепешку, подойдешь к сокам и попросишь томатного за 10 копеек, потому что ветчина уже куплена в лихом кутеже, и начинаешь экономить, понимая, что на яблочный за 14 коп. денег уже не хватит. Потом мокрой ложечкой размешиваешь насыпанную из стакана соль и пьешь, растягивая удовольствие, изредка откусывая большие куски от бутерброда из ржаной лепешки со шматком ветчины.

Затем, потяжелевшая и довольная, идешь на бульвар и сидишь там, в лучах заходящего солнца, дожидаясь перемен в судьбе от встречи с незнакомцем. А потом, не дождавшись, бредешь тихонько домой, на Гоголевский, чтобы, отдав жир дворовым котам, залечь с томиком Пушкина на диване, поставив в изголовье стакан со свежесваренным чаем и блюдо с двумя бутербродами со все той же ветчиной.

Полина Александровна, давно изгнанная с Гоголевского, отвела взгляд от висящих на тоннаре петуний, отчего-то вызвавших такую волну ассоциаций, поправила розовую шляпу из соломки, расправила цветок, который имел обыкновенные скручиваться, и, вздохнув, молча протянула вежливой девушке десятку. Девушка ее давно знала и так же молча положила на прилавок батон белого, нарезного, за 8.70. Получив сдачу и спрятав пахучий теплый хлеб в пакет, она подумала, что и здесь чувствуется обман мертвого города, так как уже завтра хлеб сделается клековым, и на нем выступят голубоватые пятна плесени.

Лето выдалось трудным. Безумная жара делала свое черное дело. Вокруг нее постоянно кто-нибудь умирал, так что когда звонил телефон, Полина очень неохотно брала трубку, справедливо полагая, что очередная неприятная весть может и подождать.

Полина села на лавочку у подъезда и удивилась, что никого нет, ни колясочниц, ни местных старух. Дул легкий ветерок, и сидеть в теньке было приятно. Она отщипнула кусочек теплого еще хлеба и с удовольствием принялась жевать. Машины неслись мимо, как угорелые, некоторые странно петляли, то и дело слышался визг тормозов. Вдруг она настороженно прислушалась. Из открытого окна на первом этаже орало радио: «... возможны грозы, облачность, местами туман. Температура по области 34-35 градусов, атмосферное давление 780 мм ртутного столба». Она замерла с непрожеванным куском во рту. Нет, этого не может быть, что они там все с ума сошли? Ведь при таком давлении не живут. Она быстро поднялась и почти побежала к подъезду. Консьержка сидела в своей стеклянной коробке, держась за сердце. Около нее с нитроглицерином стоял старичок с третьего и уговаривал взять таблетку.

В квартире она подбежала к шкафу и включила находящуюся там барокамеру... Когда расформировывали их институт, и все тащили оттуда что подвернется под руку, она, договорившись с заводделением и заплатив по тем временам большие деньги, вытащила барокамеру, поскольку была метеочувствительная и всегда отслеживала показания барометра. В последний раз она пользовалась ею в прошлом году. Но подруга прислала хорошее лекарство и с тех пор она спасалась только им. Сейчас голова не болела, чувствовала она себя прилично, но все-таки решила включить камеру. При этом пришлось вытащить в прихожую наставленные в шкафу ящики. Она как привезла их от очередной умершей родственницы год назад, так и не удосужилась разобрать. Ящики были ветхие, картонные, из-под грузинского вина, которое уже давно не появлялось в продаже. Сколько она себя пом-

нит, эти ящики всегда лежали у тетки на ангресолях, и когда Полина пыталась их, не глядя, выкинуть, старуха начинала кричать, что она их скоро непременно разберет, в это верилось с трудом, так как тетке к этому времени было уже за 90.

Но время шло, тетка умерла, и ящики перекочевали к Полине. Год они лежали не распакованные, и вот теперь, видно, настало время вскрыть коробки, несмотря на приближающийся конец света. Камера призывно гудела, а Полина сидела на полу и плакала. В ящике, под газетами 49 года обнаружился редкие книги. Там был Я.К. Грот — "Пушкин и его лицейские друзья", и Бартедьев — "Пушкин в Южной России", Анненков — "Пушкин в александровскую эпоху" и многое другое. Во втором ящике обнаружился Пушкин 49 года, некоторых томов, правда, не хватало, но оставшиеся были в хорошем состоянии.

Там ещё был старый-престарый альбом, весь исписанный стихами Пушкина, батюшки, да ведь это подлинная его рука, мне ли ее не знать, подумала испуганная Полина. Она покосилась на открытую барокамеру и начала листать альбом. Конечно, там попадались детские глупости, конечно, там писали всякую чушь квартирующие гусары, но главное, там было семь стихотворений Пушкина, неизвестных, написанных его рукой, с датой и с посвящением. Господи, как она правильно все угадала, этот интервал был не его болезнь, это был очередной любовный угар.

Он еще не жених прекрасной Карс. Если это 26 год, то с Олениной тоже ничего еще не было. Кто же она такая? Сейчас. Так, приехали. Мадемуазель Ушакова. Это же сестра моей прапрабабки. Сколько же ей интересно тут лет? Альбомы дарили в основном на дни рождения. Вот. Дорогой Катеньке — дальше не разобрать — от сестры в день рождения. Это ясно. Год, впрочем, не важно, что значит неважно, еще как важно, явно 25 год. Значит, это первый из двух альбомов, уничтоженных из-за дурацкой ревности Наумова в 36 году, когда Катенька выходила за него замуж. Значит БЫЛО, что уничтожить, остальные ведь не тронул... В 25-ом ей 16. Пушкин познакомится с Ушаковыми через Соболевского в 26 году. Катенька с 1809 года, Лиза младше, с 1811, это она хорошо знает. Сама сколько раз дерево перерисовывала.

Дерево получилось огромное, полстены занимает. На то он и род, чтобы ветвиться и колоситься. Хотя, судя по сегодняшнему давлению, всему приходит конец, и их роду тоже.

Какое все-таки хрупкое создание человек. Живет на острие иглы. Что значит для вечности и для планет такой незначительный интервал в 20 мм ртутного столба? А человек — уже не жилец. Или температура повысится на 20 градусов — природный катаклизм. Тают айсберги, затопляются континенты, все живое уничтожается, может, какие-нибудь тараканы и выживут, а про человека и думать нечего. И ведь какой крошечный интервал, туда чуть-чуть, сюда совсем немножко, и все. Цивилизацию отменили. Интересно, сколько их уже было отменено? И Пушкины наверняка у них были свои, и Гендели с Бахами и Веласкесы всякие... А может, и ну ее? Цивилизацию эту? Сколько крови пролито, сколько поколений перестрадало! Какие войны, какие кровавые правители, не может быть, чтобы так было при всех цивилизациях, жалко не доживу — подумала она совершенно спокойно.

Она сидела, откинувшись на стуле, и не сводила глаз с громадного рисунка во всю стену, на котором было изображено злополучное дерево маслом на холсте.

Катенька Ушакова была где-то посередине, и замыкала в правом нижнем углу Полинина маленькая фотография, приколотая к ветке, как будто говоря, вот и некому передать это эфемерное наследство, последняя она. Сестра — тоже бездетная, была расположена чуть выше.

С улицы уже раздавались крики, в коридоре хлопали двери и соседка, которую она сильно недолюбливала, вдруг пронзительно закричала на весь дом: «Помогите, кровь...» Надо лезть, хотя пока можно чуть повременить.

Она открыла второй ящик и стала вынимать из него книги. Одна из книг внезапно раскрылась и выпал конверт, «дореволюционный», почтительно рассматривая, подумала Полина. В нем были старые-престарые письма. Чернила почти выцвели, и только знакомый до боли наклон приковал ее взгляд. Недаром Полина всю жизнь рассматривала эти бегущие строки, она была одним из немногих Пушкинистов, которые могут про себя сказать, что благодаря их проницательности несколько белых пятен из биографии великого поэта исчезли.

Да какую специальность ей было еще иметь? Вся ее комната была полна портретами Ушаковых, Соболевского, и не менее знаменитых предков. Но самое главное место занимал, конечно, портрет Пушкина. Что-то у них с Катенькой произошло. Узнать бы. Прабабка Елизавета всю жизнь тащила каких-то Ушкиных, якобы крепостных сестры. Даже на портрете, правда, плохеньком, рядом с детьми стоят два кудрявых оболтуса. Родители говорили, что это нянькины дети. Вроде нянька пожертвовала собой, спасая дочку Елизавету, Анечку.

Так что там с письмами? Ну вот, я так и предполагала. Господи, да это же мировое открытие, что же теперь делать? Кому это показать? У нее внезапно заболела голова и из носа закапала кровь. На старом листке расплылось алое пятно.

Она обмотала голову полотенцем и, подсвечивая себе лампой, торопливо продолжала читать еле заметные строки. Ну, точно. Двое. Первый 26 год, второй 30 год. Да, в каждом домышке свои игрушки.

Подойдя с письмами к окну, она несколько слов прочитала на просвет.

Ее удивила дата, 1836 год, неужели он до этого времени переписывался с Катенькой? Ведь жил он неплохо, жену любил, детей тоже, правда Катенька в 36 году собралась замуж, видно не по душе ему был будущий Катенькин брак.

На улицу, с трудом, пошатываясь, выходили подростки. Ни одного взрослого не было видно. Машин тоже. Ребята утирали еще каплющую из носа кровь и испуганно озирались по сторонам. Телефон молчал, радио не работало, но электричество было. Она пролежала в барокамере сутки. За это время в мире изменилось практически все.

Полина равнодушно взглянула на валяющийся альбом и, перешагнув через него, побрела в кухню. Жадно съев бутерброд и запив его молоком из холодильника, она занялась приготовлением завтрака. Это привычное дело ее несколько успокоило. «Так все проблемы с пенсионным обеспечением будут решены», — усмехнулась она. «Взрослые умерли, это ясно, на детишек рассчитывать нечего. Как жить?» — она влезла в шкаф в прихожей, осмотрела жалкие запасы провианта и поняла, что из города надо бежать.

Полина впервые подумала, что смерть была бы лучшим исходом. На улице, постепенно приходящие в себя ребята, уже выволокли из стоящей машины неподвижного мужчину и умчались на бешеной скорости. «Теперь все это не имеет никакого значения, цивилизация сделала новый выток, скоро все документы истлеют, музеи и библиотеки разрушаться и если нас когда-нибудь откопают, то сле-

дов Пушкина уже не будет, а там, у них, будут новые кумиры, новые поэты, и язык будет другой и все другое».

Полина прошлась по комнате, поочередно вглядываясь в висевшие портреты и фотографии, поцеловала фотографию мамы, надела праздничный пыльник, розовую шляпку и привычно расправила скрученный цветок. «Теперь все пришло в равновесие. Был мертвый город, стал город мертвых». Она последний раз окинула взглядом все, что составляло смысл ее жизни, глубоко вздохнула и вышла, заперев за собой дверь.

До седьмого колена

Первая фраза после пробуждения, которая распечатывала сведенные губы Сергея Юрьевича, была: «Выходите на следующей?» Имелось в виду, выходит ли кто-нибудь из тесно спрессованной вагонной толпы на Павелецкой, где С.Ю. делал пересадку. До этого момента действия не требовали от него голосовых усилий.

Много лет после маминой смерти он жил в просторной однокомнатной квартире на Автозаводской, рядом с разрушенным монастырем. Нехитрый холостяцкий быт был ему не в тягость, готовить и всему остальному он научился, ухаживая за заболевшей матерью. Перед её смертью произошел один странный случай. Мать была уже в полубессознательном состоянии, когда вдруг раскрыла глаза и потребовала, чтобы Сергей ее приподнял. Он вытер руки о перекинутое через плечо полотенце и легко подхватил почти невесомое тело. Подсунув под спину подушку, он с надеждой заглянул ей в лицо. Ему, уже отчаявшемуся, вдруг показалось, что произошло чудо, о котором он так страстно молился бессонными ночами на своем кухонном жестком диванчике.

Но порыва хватило ненадолго. Мать протянула желтую восковую руку в сторону огромного дубового гардероба с резным разваливающимся портиком, и прошептала: «Вьнь коричневую сумку. Открой». У Сергея мелькнула сумасшедшая мысль, что там спрятано завещание, самые главные материнские мысли относительно его, Сергея, будущего. Сейчас мать научит, как ему прожить без неё оставшуюся жизнь, жениться ему или нет, что делать с квартирой, работой... Ведь не может же она просто так уйти и оставить его без своей опеки... Сергей кинулся к шкафу и скоро, разочарованный, перекладывал ветхие выпадающие листочки обшарпанной записной книжки, держа ее перед глазами враз уставшей матери.

Когда Сергей дошел до буквы «К», мать встрепенулась и загулила что-то невнятное, требуя остановиться. На эту букву было записано несколько незнакомых фамилий. Мать вдруг заплакала и, обессиленная, закрыла глаза. Сергей снял с кровати сумку, а книжку положил на тумбочку, да так неосторожно, что хрупкие листочки спорхнули на пол, как с осеннего дерева на землю под порывом ветра.

И впрямь осенний ветер вскоре разметал его маленькую семью. Про саму книжку он как-то позабыл под давлением горестных событий, и только нет-нет, да и возникнет из ниоткуда в опустевшей квартире выпавший листик, как напоминание о невысказанной материнской просьбе.

После похорон измученный и вконец растерявшийся С.Ю. пытался отыскать какие-нибудь записки, касающиеся его, Сергея дальнейшей жизни, но так и не нашел. Разочарование и обида на бросившую его мать были так сильны, что он просто запретил себе вспоминать её последние дни.

У С.Ю. за эти годы так и не поднялась рука выбросить мамины вещи, он окончательно перебрался в кухню, перетащил туда телевизор, вместо кухонного диванчика купил нормальную узкую тахту, а вместо стола поставил изящный журнальный столик. Гостей он к себе не приглашал, и коротал вечера, перечитывая огромную библиотеку, доставшуюся от отца и рассматривая старые семейные фотографии.

Но нельзя сказать, что после стольких лет С.Ю. опасался или ему было как-то уж чересчур тяжело заходить в мамину комнату, как он её называл. Несколько полок в гардеробе были его, на нескольких вешалках висели его костюмы и, в тщательно упакованных коробках, лежала его сезонная обувь, вымытая, начищенная, с заткнутыми старыми газетами носами.

С.Ю. был щеголем. Костюмы, хоть немного и залоснились за эти годы, были всегда безукоризненно отглажены, в карманах лежали свежие носовые платки, обувь блестела, а рубашки — накрахмалены в ближайшей прачечной. Так что, когда он приходил в ГЛАВК на совещания, секретарша директора, сама, интимно взяв его под ручку, провожала в кабинет. Этому имелось объяснение. При каждом визите С.Ю. преподносил ей розу. И всегда белую. Секретарша была женщиной с трудной судьбой и в душе надеялась на более близкое знакомство.

Да масса одиноких и не очень женщин надеялись на то же. Но самой решительной оказалась Вероника Вениаминовна, младший научный сотрудник из соседнего отдела. Она вообще сама организовывала их нехитрые свидания, покупая билеты в консерваторию. А после позднего провожания усиленно приглашала домой на чашечку кофе.

Но к чести С.Ю., тот всегда отдавал ей деньги за свой билет и в антракте приглашал в буфет выпить соку. А потом, виновато заглядывая в счастливые глаза Вероники Вениаминовны, стряхивал с лацканов её костюма крошки «наполеона», которое она предпочитала всем остальным пирожным.

Домой к ней он так ни разу не зашел, но в институте все же поползли неясные слухи об их дружбе. С.Ю. чувствовал, что виновницей этих слухов является сама В.В. Его отстраненная любезность постоянно подстегивала её совершать поступки, которые могли бы разрушить стену его несколько брезгливого безразличия.

Эту осень С.Ю. подумал было, что не переживет. Уж очень яростный грипп привязался в начале сентября, и в начале следующего месяца он уже лежал с осложнением, а участковый врач все норовила отправить его в больницу. Но С.Ю. категорически отказывался, памятуя как страдала там от невыносимых условий его мать. Тогда врачиха сдалась и прислала угрюмую медсестру, чтобы та ставила ему банки и делала назначенные уколы.

С.Ю., увидев впервые Симу, так звали девушку, расстроился. Он подумал, что эта патлатая особа в юбке, едва прикрывающей трусики, будет маячить перед ним теперь долго и в его интересах быстрее выздороветь, чтобы не травить себя зрелищем спадающей юбчонки и видом проколотых ноздрей и языка. Первую неделю он, открыв дверь, сразу ложился, отворачиваясь к стене. Сима ставила банки, мерила давление, смазывала чем-то едким горло и уходила, пренебрежительно прощаясь с ним кивком головы.

Продукты приносила после работы раздражающая его своей навязчивостью В.В. Каждый раз, расплачиваясь, С.Ю. мрачно благодарил и просил больше не беспокоиться. В.В. обижалась, но не сильно, она алчно и беззастенчиво разглядывала полуголого С.Ю. и все норовила дотронуться до его лба, якобы проверить нет ли

температуры. Больше из институтских его никто не навещал, да и было бы слишком утомительно созерцать надоевшие лица.

Накануне вечером ему стало совсем плохо, и утром он уже с нетерпением ждал прихода Симы, поскольку обычно после укулов ему становилось значительно легче. Но Сима запаздывала. СЮ мялся, бродил по квартире, ложился, опять вставал. Он выпил чаю, съел обязательное яйцо всмятку и тут вдруг понял, что не просто ждет Симу, приносящую ему избавление от боли, он ждет её как женщину, которая ему безумно нравится. Со всеми её ужимками, сверкающим во всех местах загорелым телом, падающими в самый неподходящий момент на глаза волосами, которые она, пофыркивая, отдувала, чтобы увидеть, куда ставить очередную банку.

С.Ю. испугался. Такого томления он никогда не испытывал. Да ещё к кому? К этой... он не мог даже подобрать подходящего определения... ужас какой! Он затряс головой, но наваждение не проходило. Его так тянуло к Симе, что казалось, войди она сейчас, он накинется на неё, и самые разнужданные ночные фантазии покажутся детскими комиксами. Симы все не было. Позвонив в поликлинику, выяснил, что и там она сегодня не появлялась. СЮ в отчаянии заполз обратно в постель и замер, притаившись. Так скорее придет спасительный сон, думалось ему. Он лежал, поджав ноги, и вспоминал всех своих немногочисленных подруг. Все эти отпуска, командировки, поезда СВ, все те нечаянные радости, которые дарили ему влюбленные женщины. К браку он никогда не стремился, домашний уют и заботу ему обеспечивала мама, да и любил, по большому счету он только её, понимая, что другую рядом с собой мать бы не потерпела.

Его размышления прервал громкий стук в дверь. Сердце в унисон тоже стукнуло так сильно, что в голове раздался звон. Он вскочил, и босиком побежал в прихожую. Сима ворвалась в квартиру и, швырнув куртку, побежала мыть руки. Ни тебе здрасте, ни извините. С.Ю. растерянно постоял около раскрытой двери, потом медленно и основательно закрыл и пошел к кровати. Он попытался вспомнить свои утренние мечты и удивился. Вся его страсть растаяла, как ночной кошмар. Тут Сима вошла на кухню и села у него в ногах, глядя в окно.

— Сергей Юрьевич, скажите, вы бы женились на мне? — неожиданно произнесла она.

С.Ю. растерялся. Он молчал, пристально вглядываясь в девушку. Но его душа опять пришла в волнение, и он уже готов был произнести «Да».

— Ладно, извините, — не дождалась ответа Сима, — это у меня сегодня настроение такое, бешеное.

Что-то привлекло его в Симином печальном лице, какая-то неправильность черт, и когда он пригляделся повнимательнее, с ужасом увидел старательно замазанный фингал и подозрительно распухший нос.

— Что это? Только не говорите, что о полку ударились...

— Какая полка, Бог с вами. Мне, наверное, нос сломали, так и буду теперь как Бельмондо какой-нибудь.

— Может, лед?

— А у вас есть?

— Посмотрите в холодильнике. А зачем вам за меня замуж-то понадобилось? Я же намного вас старше...

— Это и привлекает. Холостой, интересный, хорошая работа, машина, квартира, правда сильно запущенная... А что с этих бандюков-молокососов взять? Только и умеют пальцы топырить. Вот вы нормальный... не думайте, что я вам

навязываюсь, просто нужно было самооценку поднять. Я же вижу, как вы на меня смотрите... И потом — вы неплохой человек, не то что ваша мамаша...

— Господи, мама-то какое отношение к вам имела? Вы знали её, что ли?

— Хотите устроить день правды? — ухмыльнулась Сима. — Ладно, устраиваю. Теперь можно. Завтра у меня суд, и чего они там придумают — Бог весть. Вы хоть знаете мою фамилию? Кранк. Ничего она вам не говорит? А мамуле вашей очень бы даже сказала. Она ведь была общественница, вначале добровольно на всех стучала, потом её в штат взяли.

С.Ю. вскинулся от неожиданности и резко сел на постели. В голове опять зазвенело, а сердце, было утихнувшее, бешено забилося.

— Замолчите немедленно, да как вы смеете?! Да я на вас в суд подам...

— Во-во, — засмеялась Сима, — все так поначалу говорят, не перебивайте. Заодно она была судебным заседателем. Доложила куда надо, по долгу службы, что к нам певец этот, Галич постоянно приходил. Он с моим отцом дружил... Папу и взяли, поскольку он потом в тайной переписке с ним состоял. Правда, выпустили скоро, но почек он лишился. Я его и не помню совсем. Потом за маму мою взялась. Мама тогда пить начала, с ней просто было справиться... А меня в детский дом определили. Когда меня увозили, ваша мать стояла у подъезда и жалостливо так на меня смотрела, мы ведь в одном дворе жили... Вы тогда в институте учились, не помните меня... Слава Богу, добрые люди пропасть не дали, а я потом специально сюда устроилась, за старичками и старушками типа вашей мамашы ухаживать. Скажите спасибо — не дождала, а то бы я ей показала. Мне за одну услугу, — Сима скривилась, — дали посмотреть папочку, там все осведомители этого района записаны. И на каждом висят такие же судьбы, как у нашей семьи. Вот и хожу по вызовам, разбираюсь. Не до смерти, нет, не пугайтесь. Но их последние дни сильно скрашиваю. Народный мститель, ёшкин пень. — хмыкнула она.

С.Ю. похолодел. Он откинулся на подушки и зажмурил глаза. Что она несет, какой осведомитель... Правда, мама была убежденным партийцем, действительно, боролась с недостатками, но не до такой же степени... Он и сам считает, что вождь был абсолютно прав, жесток, зато страну поднял, войну выиграл... он вполне с мамой согласен — это сейчас народ разболтался, разленился... Но то, что она на маму клеветает... да он с ней такое сделает, детдомовка несчастная, он её по судам затаскает...

— Так это вас клиенты побили? — насмешливо спросил он.

Сима все поняла. Она устало поднялась, отбросила лед и вынула из сумочки одноразовый шприц.

— Ладно, давайте укольчик, и я побегу. Дел много.

С.Ю. вдруг испугался. После всего, что она здесь наговорила, ей совершенно не резон оставлять его в живых. Вколет черте что, и доказывай потом, что не сам умер.

— Не надо мне вашего укольчика, убирайтесь, и больше не смейте здесь появляться. А я встану и еще разберусь с вами.

Сима издевательски хохотнула, каким-то разнузданным жестом мазнула ободряюще его по плечу, крутанула юбочкой и, подхватив куртку, выскочила на лестничную площадку.

С.Ю. возбужденно полез в шкафчик, вытащил заветную бутылочку с виски и высосал её до дна. Закружилась голова, но он встал и отправился в мамину комнату. Поворошив в гардеробе одежду, вытащил коричневую сумку. Там по-прежнему лежала ветхая книжечка, но листочка с буквой «К» в ней не было. Но ведь он

помнит, как выглядел этот листик, и фамилия там такая была. Уж очень необычной она ему показалась. Что же все-таки хотела сказать ему перед смертью мама? Может, хотела предостеречь? А может наоборот? Страдала, чувствовала себя виноватой, что испоганила девочке жизнь? Покаяться хотела? Выходит — права девочка?

Нет, не может быть. Ведь у нас и дед, и его брат были репрессированы. Мать все твердила, что это ошибка, что Сталин ничего не знал, недаром Ежова потом расстреляли. С.Ю. старался об этом не думать. Но мамини настроения отслеживал и ей сопереживал. Ему вспомнился эпизод, когда однажды в детстве в их квартиру ворвалась какая-то сумасшедшая, она проклинала, махала кулаками и кричала, что Бог отомстит им всем за её погибшего мужа, но это была точно не Симиная мать.

Тогда С.Ю. было лет пять, и Симы ещё даже в проекте не было. Мать снизошла до объяснений, она сказала, что дядя баловался и пришлось вызвать милицию. Но вроде больше такого не повторялось, или мама стала осторожнее, или люди боязливее. А впрочем, если разобраться... и сам этот горлопан, (С.Ю. слушал его песни в разных кампаниях), доверия не вызывает, и папаша Симин, видимо, недалеко от него ушел, так что как ни крути, мамуля поступила по велению совести. Такие же вот горлопаны Россию развалили, Крым отдали... И живут ведь теперь припеваючи. Сталина на них нет. Он бы их всех... С.Ю. вспомнил прозрачные волны, запах водорослей, горячий песок, сверкающий перламутром, и застонал от невозможности что-то исправить.

Неожиданно раздавшийся звонок заставил его вздрогнуть. Ему показалось, что сейчас он снова увидит Симу. Он подумал: а вдруг все предыдущее ему приснилось, а если нет, то он готов ей все простить, только, чтобы она простила его мать. И еще подумал, что ведь возможно же наконец и в его жизни счастье: вдруг все уладится, и она согласится стать его женой — надежда обдала жаркой температурной волной лицо, и из-под густых еще волос заскользили струйки пота.

Но за дверью стояла совершенно ненужная Вероника и искательно улыбалась. Разочарование было настолько сильным, что, не помня себя от ярости, с мыслью, что теперь он свободен от каких бы то ни было обязательств, С.Ю. сгреб её и рывком втащил в прихожую. Вероника вначале растерялась, но, вдруг решив, что победила, быстро сбросила пальто и начала срывать с себя остальное. С.Ю., сопя, поволок Веронику в комнату и швырнул на мамину мемориальную кровать.

А потом, путаясь в колготках, начал грубо стягивать с неё остатки одежды. Но, увидев вялое, продавленное тело опомнился и понял, что ничего у него не получится. Он отвернулся от неё. Стыд холодом выжиг пустоту в его теле, он лежал и пытался подобрать слова, которыми попросит её уйги. А Вероника, торжествуя, лежала рядом. Она рассматривала грязный потолок и, уже чувствуя себя почти хозяйкой, прикидывала, во что им обойдется ремонт.



Владимир Фридкин

ТРИ НЕПРИДУМАННЫХ РАССКАЗА О ЛЮБВИ

В Амстердам, туда и обратно

Кирилл Федорович и Алла Петровна прилетели из Москвы и тут же сели в поезд, шедший в Амстердам. Кирилл Федорович приехал сюда на месяц в университет. С Аллой Петровной они были знакомы меньше года. Неожиданно для самого себя он предложил ей ехать вместе.

— И в каком же качестве я поеду? — кокетливо спросила Алла Петровна.

— В качестве переводчицы, — отшутился Кирилл Федорович.

Она когда-то окончила филологический факультет МГУ, но ни одного иностранного языка не знала. А он по-английски и по-французски говорил свободно.

— Если бы вы были моей женой, то в советское время нас вместе не выпустили. А теперь можно и не с женой.

Кириллу Федоровичу было за шестьдесят. Всю жизнь он проработал на кафедре математики одного из московских вузов. Год назад ушел на пенсию. На вузовскую зарплату прожить было нельзя, и он частенько ездил в Европу читать лекции по приглашению университетов. Года три как овдовел. С женой он прожил тихо и незаметно лет сорок. Детей у них не было. Домой он теперь не спешил. Приходил поздно, зажигал в передней свет и шел на кухню кипятить чай. Временами подолгу рылся в шкафу, отыскивая джемпер, шарф или носки. А когда натякался на женину сумочку, долго в рассеянности перебирал в ней высохшие флаконы, зеркальце, губную помаду и календарик за девяносто шестой год. И тогда забывал, зачем полез в шкаф...

В прошлом году приятель повез его на встречу двухтысячного года к своей знакомой. Это была Алла Петровна. Ей было лет пятьдесят. Но черное платье с бретельками и глубоким декольте молодило ее. На шее сидело ожерелье из дорогого японского жемчуга. Она жила одна на Новом Арбате в четырехкомнатной квартире. С ней жили три собаки: доберман пинчер, ирландский сеттер и спаниель. В тот вечер собралась компания новых русских. За столом Кирилл Федорович сидел тихо, не принимая участия в общем разговоре. И только раз, когда сотрудник президентской администрации и хозяин какого-то банка заспорили, можно ли считать двухтысячный год началом нового века и тысячелетия, Кирилл Федорович встрял в разговор и объяснил, почему новый век и тысячелетие наступят только год спустя...

Поезд подъезжал к Амстердаму. Была середина ноября, а казалось, что стоит лето. За окнами на чистых зеленых пастись тучные пятнистые коровы и овцы. Справа по ходу шел канал. Не доехав до вокзала, поезд остановился и долго стоял.

— Почему стоим? — спросила Алла Петровна.

— Да всякое бывает... — Кирилл Федорович был в хорошем настроении и решил пошутить. — Однажды ехал я поездом из Наймегена в Амстердам. Вдруг

поезд встал. Оказывается, поймали одного бауэра, по-нашему крестьянина, который отвинчивал гайки.

— Какие гайки?

— Те, что крепят рельсы к шпалам. Местные крестьяне делают из них грузила, чтобы ловить угрей. Отвели его в полицию, допросили. Объяснили, что это чревато крушением поезда. А он в ответ, ну не поверите! Дескать, мы же не все подряд гайки отвинчиваем, оставляем...

Алла Петровна с удивлением посмотрела на Кирилла Федоровича.

— Значит, у них тут в Голландии со свинцовыми грузилами напряженка?

Кирилл Федорович помолчал. “Господи, а ведь она Чехова не читала. Что мне с ней делать?”

— Да нет, в магазинах этого добра сколько угодно. Но голландцы причены к экономии. Особенно после войны за испанское наследство.

Он испугался, что Алла Петровна спросит про наследство, но она промолчала.

Тут поезд подошел к платформе. Они вышли из вокзала и сели в катер. Вдоль канала стояли узкие, похожие на пеналы коричневые дома с белыми переплетами окон, с фигурными мезонинами и крюками для поднятия тяжестей. Канал казался рыжим от опавших листьев и тени золотых платанов. Вдоль канала стояли велосипеды, цепями привязанные к железной ограде. День был солнечный, а воздух такой прозрачный, что канал смотрелся во всю длину, до самой церкви Вестеркерк. Туда они и пылили. Там, на углу Принсенграхт и Розенграхт им забронировали хорошо знакомую ему квартиру...

Жизнь у Аллы Петровны сложилась непросто. Отец ее занимал высокий пост в КГБ, и его расстреляли вскоре после смерти Сталина. Кажется, он вел дело врачей. Мать умерла еще раньше. Ее воспитала тетка. Она поздно вышла замуж за секретаря Союза писателей и родила сына. Мужу дали просторную квартиру на Новом Арбате и, казалось, для Аллы Петровны началась спокойная номенклатурная жизнь. Муж книг не писал, а время проводил на заседаниях и в поездках за границу.

Иногда брал с собой Аллу Петровну. Они часто ездили с сыном на море в Болгарию в международный дом журналистов. Там, в Золотых песках, муж неожиданно утонул у самого берега. Вскрытие показало инфаркт. И жизнь Аллы Петровны снова круто повернулась. Сын учился плохо, его перетягивали из класса в класс. Но тут случилась перестройка, потом пришел капитализм, и сын проявил недюжинные способности к бизнесу. Откуда у него завелась деньги, Алла Петровна толком не знала. Сын приватизировал несколько клубов, стал хозяином банка и открыл офис у Красных ворот. В деревне Подушкино под Одинцово построил дачу с высокой зубчатой башней, похожую на средневековый английский замок. Теперь он ездил в “мерседесе” с охранником. А потом опять случилось несчастье. Когда сын и охранник селись в машину, раздался взрыв. Это случилось у мраморных ступенек банка. Убийц не нашли. А Алла Петровна осталась одна и завела трех собак...

Они нашли дом, осмотрели квартиру (кухня и небольшая комната с двумя кроватями рядом с окном на канал). Было еще рано, и Алла Петровна предложила походить по городу. Рядом с их домом был музей Анны Франк.

— Зайдем? — предложил Кирилл Федорович.

Алла Петровна об этом музее не слышала, но охотно согласилась. Они поднимались по крутым лестницам старого дома, разглядывая фотографии Отто Франка, его жены и двух дочерей. Кирилл Федорович переводил ей объяснения.

Они были написаны по-английски. Наверху, в центре последней комнаты, под стеклом лежал рукописный дневник Анны Франк.

— Когда Анна умерла от тифа в фашистском лагере Берген-Бельзен, ей было 14 лет. Рукопись хранилась на чердаке этого дома у хозяйки квартиры. Отец спасся чудом и, вернувшись в этот дом, долго не мог не то что читать, — пригрозиться к этим страницам. А теперь этот дневник обошел весь мир. Вот говорят, что рукописи не горят. Но, оказывается, горят авторы этих рукописей.

— Как это рукописи не горят? — спросила Алла Петровна?

— Был такой писатель Булгаков. Он сказал это еще до войны.

И Кирилл Федорович снова затосковал. Подумать только, — целый месяц вместе. Как случилось, что он пригласил ее? И с ходу, почти совсем не зная. Зачем? От тоски, от одиночества? Раньше он думал, что от одиночества человек умнеет. Оказывается, глупеет.

Они перекусили в соседнем кафе. До вечера было еще далеко, и Кирилл Федорович предложил посмотреть дом Рембрандта. К эстампам Рембрандта Алла Петровна не проявила никакого интереса. Зато долго разглядывала постель художника, похожую на дубовый шкаф с занавесом.

— Как же они тут спали? И жена с ним тоже? Ведь дышать нечем.

— Да, — рассеянно отвечал Кирилл Федорович. — Время было такое. Позднее средневековье.

— Спали в шкафу... А куда же одежду вешали?

На этот вопрос Кирилл Федорович не ответил.

Дома Алла Петровна аккуратно, по-семейному разложила его и свои вещи в шкаф и ванной комнате, постелила на кухонном столе скатерть, вскипятила чай и поставила в вазу букетик тюльпанов, купленных по дороге из музея. Они поужинали припасами, захваченными ею из Москвы. И Кирилл Федорович подумал, что уже давно не ел на красивой глаженной скатерти, да еще с живыми цветами.

— Отвернитесь, — сказала она, раздеваясь.

Было уже темно, но в окно светил фонарь с набережной. Кирилл Федорович лег, но заснуть не мог. Еще перед отъездом, в Москве, он думал об этой первой ночи вдвоем. Видел, как они будут лежать рядом на двух кроватях, разделенных узким столиком с ночной лампой. Он мог бы, не вставая, дотянуться до нее рукой, поцеловать. Ну и потом... все остальное. И наверняка она сама думала об этом. Ведь он пригласил ее, и она согласилась. Два одиночества. Почему бы их не сложить? Но ни целовать ее, ни спать с ней ему не хотелось. Сейчас он и представить себе этого не мог. И он опять мучительно размышлял над тем, как и почему все это случилось.

А потом потекли будни. Утром Кирилл Федорович уходил в университет, а Алла Петровна шла за продуктами в супермаркет и готовила обед. Она объявила Кириллу Федоровичу, что все расходы, включая квартиру, они делят пополам. Сначала он возражал (ну кто же приглашает даму и берет с нее деньги?), но потом, в конце концов рассудивши, что дама богата и независима, согласился.

Продукты она покупала в центре, на торговой Ляйдсестраат или на площади Дам, потом вызывала такси и доставляла на квартиру ящики с провизией. Приходя домой, Кирилл Федорович с удивлением разглядывал в холодильнике тарелки с набором дорогих сыров, пакеты с ветчиной и копчеными угрями, рассматривал этикетки французских вин.

— Пуи, божоле... Когда-то меня угощали в Дижоне.

Потом, словно очнувшись:

— Но ведь это безумно дорого!

— Что вы! — возражала Алла Петровна. Вы бы посмотрели на цены в нашем Новоарбатском. Наоборот, здесь все очень дешево.

Кирилл Федорович не знал, что сказать. Тем более что в такие гастрономы, как Новоарбатский, не заходил никогда.

По вечерам они иногда гуляли вместе. Алла Петровна уводила его в район площади Лейдсеплейн. От нее веером расходились узкие торговые улочки, пересекаемые каналами с горбатыми мостиками. Она любила останавливаться у витрин дорогих ювелирных магазинов, горевших в темноте бриллиантовым пламенем. Кирилл Федорович топтался на месте или держал над ней зонг, а она подолгу рассматривала часы, золото и бриллианты. Как-то она сказала:

— В Москве сейчас модны только очень крупные бриллианты.

— То есть как модны?

— Мелкие уже никто не носит.

Кирилл Федорович удивился, но промолчал. В другой раз она заставила его долго ждать у входа в лавку, где она покупала ажурные колготки. Они были с рисунком рыбок.

— Нравится? — спросила она.

— В них вы будете как в аквариуме. И потом женщина не должна быть холодна как рыба.

Кирилл Федорович подумал, что удачно сострил.

— А мужчина? — язвительно спросила Алла Петровна.

Он с досадой промолчал. И опять почувствовал всю нелепость положения, в котором оказался по собственной воле.

Однажды в воскресенье он затащил ее на выставку картин Франса Халса в Национальном музее. Алла Петровна идти не хотела и говорила, что живописи не понимает.

— А тут и понимать нечего, — сказал Кирилл Федорович. — Смотри, радуйся и наслаждайся. А кроме того, там есть одна особенная картина. Прямо детективная история, а не картина. Ведь вы любите детективы?

Алла Петровна детективы, видимо, любила. В дорогу она захватила книжку Марининой, но за месяц так и не одолела ее. На выставке она равнодушно прогуливалась мимо портретов голландцев семнадцатого века, мужчин с бородами клинышком и короткими кошачьими усами в широких шляпах и с кружевным воротником и женщин в чепцах с широким белым жабо на шее, похожем на китайский фонарь. Наконец, Кирилл Федорович подвел ее к картине, которая называлась “Свадьба Исаака Абрахама Масса”. Картина изображала двух счастливых людей, богатого кушца Исаака Масса и его молодую жену Беатрикс фон дер Лаен, дочь бургомистра Харлема, сидящих в саду под деревом, обвитым виноградной лозой.

— Герой этой картины, Исаак Масса, был послан в 1600 году амстердамскими кушцами в Москву ко двору Бориса Годунова налаживать торговые связи. Ему было тогда меньше 15 лет, — начал свой рассказ Кирилл Федорович. — Он прожил в Москве 8 лет, свободно говорил по-русски, общался с Борисом Годуновым и дружил с его сыном Федором. Он собрал свидетельства о том, что Борис Годунов подослал в Углич своих людей убить царевича Димитрия. Видел смерть Бориса Годунова, захват Москвы Лжедмитрием и труп Лжедмитрия, выставленный на Красной площади для всеобщего обозрения. А теперь самое важное. Масса

написал историю этих событий, которые позже назвали Смутой. Он подарил рукопись голландскому принцу Морису Нассау, в архиве которого она пролежала два с половиной века. Ее случайно нашли у амстердамского антиквара и опубликовали только в 1866 году. Не забыли пушкинского “Бориса Годунова”?

— Проходила когда-то в школе.

— Тогда вспомните Пимена, который в келье Чудова монастыря тайно под покровом ночи пишет для потомков православных ужасный донос на Годунова. Но ведь Пимена Пушкин придумал. А на этой картине вы видите известного человека, писавшего об этом открыто, посреди бела дня и в самой Москве. Правда, он был иностранец и писал по-голландски.

— А что, за иностранцами тогда не следили? — спросила Алла Петровна.

— По-моему, нет. Даже опричники Грозного казнили только своих.

Кирилл Федорович вдруг вспомнил об отце Аллы Петровны и подумал, что сказал лишнее.

— Но где же тут детективная история?

— Об этом Исааке Масса можно рассказывать долго. Вам нужен детектив? Извольте. Известно, что Пушкин писал своего “Бориса” по прочтении “Истории” Карамзина. Рукопись голландца ему не могла быть известна. И представьте, у Пушкина мы находим подробности, которых нет у Карамзина, но о которых пишет Масса. Примеры? Пожалуйста... Вот хотя бы сцена в царских палатах. Борис Годунов спрашивает у сына, чем он занят. И Федор отвечает, что чертит карты земли московской и Сибири. Исаак Масса, он был старше своего венценосного друга на три года, как раз и увлекался картографией. В своей рукописи он приводит план Москвы, карту Сибири. Карты Сибири, изготовленные голландцем, были опубликованы в Голландии еще при его жизни и стали первыми в 17 веке. В своей рукописи Масса пишет о том, как занимался картографией с царевичем Федором. Откуда Пушкин узнал об этих занятиях юного царевича? Между прочим этому эпизоду мы обязаны замечательными стихами Пушкина. Помните?

*“Учись мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни”.*

Или вот еще. Пушкин вводит в трагедию двух своих предков, Гаврилу и Афанасия Михайловича Пушкиных. Афанасий Михайлович у Карамзина не упомянут. Зато Масса был знаком с другим предком поэта — Никитой Михайловичем Пушкиным, вологодским воеводой. Возможно, что Никита Михайлович и Афанасий Михайлович — одно и то же лицо. Но где, в каком источнике Пушкин нашел это имя? Вот вам еще одна тайна... А главное — сама эта картина, портрет голландского Пимена. У Пушкина народ безмолвствует. Да, пока безмолвствует. Но мы смотрим на картину Халса и понимаем, что Пушкин был прав, утверждая, что ни одно преступление тирана не останется безнаказанным. Все тайное когда-нибудь становится явным.

Закончив лекцию, Кирилл Федорович взглянул на свою спутницу. Ему показалось, что она смотрит не на героя, а на его жену.

— А жена его? О ней что-нибудь известно? — спросила Алла Петровна.

— Она рано умерла. Оставила ему двух детей, сына и дочь.

— Наверное, ему пришлось нелегко, — сказала Алла Петровна. — Хоть и богатый, но одинокий, да еще с двумя детьми.

— Масса женился вторично на Марии ван Вассенбург. Она родила ему двух сыновей. Он умер очень богатым человеком в 1643 году. Вы правы, никакие богатства не красят одиночества.

И опять спохватился. Пожалел, что сказал лишнее.

— Откуда вы все это знаете? Ведь вы, кажется, математик? — спросила Алла Петровна.

На этот раз Кирилл Федорович промолчал.

В последний вечер, накануне отъезда в Москву, Алла Петровна долго хлопотала, стирала в машине белье, гладила рубашки Кирилла Федоровича. Потом собрала чемоданы. Было уже поздно, когда, лежа в постели, Кирилл Федорович услышал, что она плачет. Он повернулся к ней лицом и погладил ее плечо. Она не отодвинулась. Он лег к ней и обхватил ее. Почувствовал под собой большое теплое упругое тело и подумал, что это тело хочет его. Прежде чем взять ее всю, он стал целовать ее. Это ему не удавалось. Она отворачивалась, и он тыкался губами в ее соленые от слез щеки. Тогда он встал, перелез на свою кровать, ушел с головой под одеяло и притворился спящим.

Утром они перелетели из осени в зиму. В Шереметьево их встретил знакомый Кирилла Федоровича, промышлявший извозом на старом рафике. В машине они сидели рядом и молчали. Она смотрела на ветровое стекло, по которому дворник размазывал мокрый снег, а он, отвернувшись, смотрел налево, на занесенную снегом резиновую рошу. Во дворе ее дома к ней бросились все три собаки, которых прогуливала соседка. Кирилл Федорович постоял, посмотрел на прыгавших собак. Она не оглянулась. Приехав домой, он включил в прихожей свет, оставил у двери чемодан и пошел на кухню кипятить чай. Больше они не виделись и не перезванивались.

Первая любовь

Была ранняя весна. Огромные американские дубы стояли еще голые, похожие на вылепленных из пластилина мускулистых великанов. Но прогретая солнцем земля уже проросла зеленой травой, на которой лежали солнечные и синие джинсовые пятна. Гарвардские студенты, группами и поодиночке, лежали под деревьями и потягивали пепси из больших пластмассовых бутылок. К ним слетались попрошайки белки, какого—то пепельного цвета, и, стоя на задних лапах, брали пищу из рук. Гарвардский двор был огорожен высокой чугунной решеткой и зданиями темно-красного кирпича с ослепительно белыми оконными переплетами. А в центре двора перед таким же темно красным кирпичным домом сидел в каменном кресле бронзовой Джон Гарвард. За его спиной у входа было растянуто звездно-полосатое знамя.

Недалеко от памятника под деревом расположилась пара студентов. Он — худощавый длинноногий негр в выгоревших джинсах и светлой фуфайке и она — ярко—рыжая веснушчатая блондинка в отороченной белым мехом джинсовой куртке. Обнявшись, они полулежали, прислонившись к стволу, и смотрели вверх, в высокое бледное небо с редкими облачками. Из рюкзака, лежавшего у их ног, выглядывали книги и связка бананов.

Я сидел под таким же деревом, и от весеннего хмельного воздуха у меня кружилась голова. Наверно, я устал после долгой утренней работы в Гарвардской библиотеке Хутон. Там, в архиве Зинаиды Волконской, я разбирал сегодня пачку

писем императора Александра Первого, адресованных княгине. Это был полустершийся след ее первой любви, продолжавшейся до самой смерти Александра и, кто знает, может быть всю ее жизнь...

В октябре 1810 года, на балу у министра двора Петра Михайловича Волконского, семнадцатилетней Зинаиде представили молодого князя Никиту Григорьевича Волконского, брата будущего декабриста. Князь Никита не был хорош собой. К тому же был угрюм и болезненно застенчив. Иногда на него нападали приступы черной меланхолии, и он, по неделям небритый, в халате, валялся у себя в кабинете, не подпуская никого. Его мать, Александра Николаевна Репнина, советовалась с петербургскими врачами. Одни рекомендовали лечение на Баденских водах, другие советовали побыстрее женить князя.

Время шло, а в Петербурге между тем объявилась молодая княжна Зинаида, дочь покойного князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского. О ней только и слышно было в свете. Круглая сирота, к тому же богата и хороша собой. О ее пении говорили во всех петербургских гостиных. Поговаривали и об особом внимании царя Александра. Не проходило бала, чтобы царь не танцевал с Зинаидой. Татищевы и другая московская родня быстро ее сосватали. Лучшей пары, чем князь Никита, было не найти. И на следующий год, третьего февраля, сыграли свадьбу. В конце того же года княгиня Зинаида родила сына и назвала его Александром...

Кто бы мог подумать, что князь Никита окажется нежным и заботливым мужем? В войну двенадцатого года, назначенный штабным адъютантом и сопровождая царя в походе, он чуть ли не каждый день находил время увидеть жену или послать ей записку. Зинаида вместе с другими придворными дамами следовала за войском в обозе. К мужу она была холодна, и в этом боялась себе самой признаться. Она ждала других писем. Александр посылал их с фельдъегерем, а иногда и с князем Никитой. Это было жестоко, и думать об этом молодой княгине Волконской было тяжело. Царь не скрывал своих чувств, был нетерпелив. Князя Никиту он не любил и ревновал его к княгине. В письмах называл мужа Зинаиды не иначе как "Ваш человек" (*Votre homme*) и "нервный курьер" (*courier fievreux*).

В одном из писем Александр с сарказмом пишет, что князь Никита держится за женину юбку. Но ни муж, ни ревнивая опека сестры императора великой княгини Екатерины Павловны не могли помешать их встречам и письмам. Письма приходили к Зинаиде из Аустерлица, Парижа, Вены... И после войны, когда Зинаида надолго задержалась в Париже, эта переписка продолжалась. В письме Петерсвальдау 28 мая 1813 года Александр пишет: "С той поры, как я встретил Вас, охватившие меня чувства становились еще сильнее после того, как Вы позволили мне приблизиться к Вам (...) Вы не раз говорили мне, что Вы уверены в чистоте моих чувств к Вам, и это утешает меня до глубины сердца" (оригинал по-французски).

В декабре 1814 года во время Венского конгресса княгиня Зинаида родила сына. Вскоре мальчик умер. И примерно в это же время замирает переписка между княгиней и императором. Была ли связь между этими событиями? Последнее письмо Александр отсылает ей из Шаффхаузена в декабре 1813 года. Проходят три с половиной года. Зинаида пытается забыться, рассеяться, путешествуя по Европе. И только в мае 1816 года из Петербурга к ней приходит письмо Александра.

Царь торопил княгиню вернуться в Петербург. Уже в России, узнав о смерти Александра в Таганроге, Зинаида выехала навстречу. И эта их последняя встреча случилась в Коломенском. Княгиня просидела у гроба всю ночь. Позже распростра-

нился в народе слух, что гроб был пуст и что Александр не умер, а ушел от мирских дел и объявился в Сибири в образе умудренного жизнью старца Федора Кузьмича. Вот бы спросить об этом княгиню Зинаиду, ведь она наверняка знала правду. Но княгиня никогда и ни с кем об этом не говорила. Покинув через несколько лет Россию навсегда и поселившись в Риме, она поставила на своей римской вилле возле церкви Сан Джованни ин Латерано памятник Александру. Мрамор для памятника привезли с севера, из карьеров Массы и Каррары. Выбитая на нем надпись говорила, что он сделан из того же монолита, что и Александровская колонна перед Зимним дворцом в Петербурге.

Жизнь не обделила княгиню любовью. Венегинов, Мицкевич, Баратынский были у ее ног. Вот только Пушкин избежал этой участи. Может быть, княгиня была не в его вкусе, — слишком ярка, смела и темпераментна, отнюдь не застенчивая, таинственная мадонна, а может быть, причиной был граф Миниаго Риччи, которого московская молва при толках виста и бостона объявила любовником княгини.

Наверно, так оно и было на самом деле. Красивый итальянец покинул Россию чуть раньше Зинаиды и прожил в ее римском доме до самой смерти. Риччи знал об Александре, но никогда не расспрашивал о нем княгиню. Однажды в Венеции, когда они плыли в гондоле по Большому каналу, тень покойного императора промелькнула между ними. Стояли теплые дни поздней осени. В Венеции не видно времени года, кругом — вода и камень. Осень только выглядывала из воды в канале — темной, свинцовой. Пустые лодки и гондолы подпрыгивали на волне у деревянных шестов. Гондолеры, широкоплечие, в матросках и широких соломенных шляпах с лентами, облокотясь на перила, напрасно поджидали *viaggiatori*.

Был мертвый сезон. Зинаида, сидя на корме, смотрела в сторону скрытого туманом моря и вполголоса напевала баркаролу на слова Козлова. Потом, задумавшись, сказала, что Козлов не был в этих местах, не видел Бренты, да к тому же был слеп, но верно передал этот простор и движение. Помолчала и добавила, что такое же верное чувство было у покойного императора. Риччи стал было расспрашивать ее об Александре, но Зинаида отвернулась и стала смотреть в сторону моста Риальто, где под звуки мандолины шумная компания молодых людей вываливалась на набережную из трагтории...

Был ли Александр красив? На знакомых мне портретах он выглядел высоким, статным и лысоватым. Я вспомнил знакомого римского антиквара Саво Расковича. В старом американском фильме “Война и мир” по Толстому он играл роль Александра. Видимо, постановщики фильма нашли сходство во внешности серба, бежавшего из оккупированной немцами Югославии, и русского царя. Я познакомился с Саво в начале восьмидесятых в Риме, когда ему было уже за шестьдесят. Он был почти двухметрового роста, строен, с красивым орлиным носом и холодными стальными глазами. Слегка вьющиеся седеющие волосы кудрявились на затылке. Удивительны лабиринты судьбы. Уже снявшись в фильме, Саво-Александр встретился со своей Зинаидой. Было это так. В середине семидесятых на аукционе в Риме распродавались вещи, принадлежавшие Зинаиде Волконской, — картины, рисунки, посуда. Большая их часть принадлежала римскому коллекционеру, выходцу из России Василию Леммерману, купившему их у обедневших потомков княгини. Вот тогда Саво и приобрел на аукционе несколько картин, и среди них портрет Зинаиды, нарисованный ее другом художником Федором Бруни.

Эту картину я видел у него за ужином. Саво вынес ее откуда-то из глубины квартиры и поставил на пол лицом к стене. Потом неожиданно повернул, и я увидел

ослепительную красавицу, смотревшую с холста вполоборота. Тогда я подумал, что Зинаида и Александр встретились снова. Со временем Раскович с большой выгодой распродал эти картины, но с портретом Зинаиды Волконской расставаться не хотел. Помню, я уговаривал его подарить эту картину пушкинскому музею в Москве. Саво не отвечал, только посмеивался. Недавно, работая в лаборатории Фраскати, я снова встретился с ним в Риме. Картина была все еще у него.

Письма Александра... В библиотеке они лежали в конвертах, которые собственноручно надписывал царь, с осыпавшимися сургучными печатями, которые собственными руками разламывала княгиня. Я представил себе, как они дрожали у нее от волнения. Наверно, эти письма Зинаида хранила где-нибудь в секретере под замком. Они были ее тайной. Могла ли она представить себе, что когда-нибудь их прочтет посетитель университетской библиотеки в маленьком американском городке.

От солнца и воздуха меня разморило, и я очнулся, когда белка, соскочив с ветки, прошуршала у моего уха. Мои соседи, по-прежнему обнявшись, ели банан. Рыжая студентка держала его полуочищенным в руке, и они по очереди откусывали от него. Иногда их головы, рыжая коротко стриженная и черная курчавая, сталкивались, и они опрокидывались от смеха на траву. А мне неожиданно пришлось на память еще одно письмо, попавшееся на глаза тем же утром в библиотеке.

Оно было написано Иваном Сергеевичем Тургеневым и адресовано сыну Зинаиды Волконской вскоре после ее смерти. Тургенев хвалил статью Александра Никитича в “Вестнике Европы”... Почему я вспомнил об этом письме? Но разве разберешься в себе, когда сквозь ресничную радугу смотришь в весенний простор, и то ли грезы, то ли воспоминания плывут, как облако в небе. Письмо Тургенева из Бадена... За несколько лет до этого он написал “Первую любовь”.

Зинаида... Так звали героиню повести, тоже княжну. Нет, она не похожа на Зинаиду Волконскую. Да и любовь у тургеневской Зинаиды была хоть и первой, но несчастной. А бывает ли первая любовь счастливой? И герой повести, Владимир, был несчастен... Обе Зинаиды жили в одно время. Тургеневская Зинаида влюбляется в отца героя весной 1833 года. Владимир не подозревает об этом. Он читает Зинаиде “На холмах Грузии...”, пушкинские стихи, напечатанные всего за два года до их встречи. Пушкин в это время — в Петербурге, а Зинаида Волконская — в Риме и, видимо, уже переехала на виллу из своей зимней квартиры во дворце Поли. А герои Тургенева живут в Москве на даче напротив Нескучного, рядом с Донским монастырем. Подумать только, тогда это было дачное место... А сейчас там — памятник Гагарину, швейцарский магазин деликатесов, дом, который строил заключенный некто Солженицын. А впрочем, и в мои студенческие годы это была еще окраина, известная благодаря знаменитому “капишнику”, институту Капицы...

Мысли мои поплыли дальше, и я вспомнил свою Зинаиду. Она жила примерно там же, где тургеневская Зинаида снимала дачу, около Донского. Было это давно, в начале пятидесятых, в студенческие годы. Владимир (это я) и Зинаида были тогда студентами—физиками предпоследнего курса университета. Тургеневский Владимир только готовился в него поступать, а мы собирались навсегда расстаться со зданием на Моховой. До Зинаиды я с девушками не дружил. Жил анахоретом. Занимался, слушал музыку и не обращал внимания на свою внешность. На лекции приходил плохо выбритым, зимой в старом тулупе, летом в перешитом кургузом пиджачке. Да и время было трудное.

Мать работала врачом в районной больнице, и ее зарплаты не хватало. А когда началась история с “врачами-убийцами”, и осенью пятьдесят второго она по-

теряла работу, то и вовсе жили на мою стипендию. Я знал Зину с первого курса, но как бы не замечал. И вдруг увидел. Когда и как это случилось — точно не знаю. Наверно, сидел на лекции, смотрел на длинную черную доску с формулами, повернул зачем-то голову и увидел. У нее были огромные карие лучистые глаза, в которых как будто застыло любопытство и удивление. Мы сидели в разных концах огромной аудитории, черным амфитеатром поднимавшейся до самого потолка. И куда бы я ни смотрел, эти глаза преследовали меня, я боялся встретиться с ними взглядом. Девушки всегда взрослее ребят, своих одноклассников, и Зина сразу все поняла. Да и окружающие заметили во мне перемену.

Я стал смотреть на себя в зеркало, купил галстук и плащ какого-то дикого цвета, который тогда называли пыльником. Стал рассеян, плохо спал и вообще потерял голову. А от одного поступка я и сейчас краснею. Как-то она пригласила меня на день рождения. Нужно было купить подарок, а денег не было. Тогда я тайно от матери отнес в ломбард на Арбате бабушкины серебряные ложки. Да так и не выкупил их, когда получил стипендию. Мы стали заниматься за одним столом в Горьковской библиотеке. Я краем глаза следил за ней. Она сосредоточенно читала, перебирая рукой у виска темно-каштановые волосы, собранные сзади в пучок. А я делал вид, что читаю. Выходить вместе из библиотеки я стеснялся. Дорога шла мимо всем известного памятника Ломоносову, обращенного лицом к Манежной площади. Ломоносов в опущенной руке держал длинный свернутый в трубку манускрипт. Со стороны Манежной — памятник как памятник. А из дверей библиотеки, откуда Ломоносов смотрелся вполоборота, вид был совершенно похабный. Студенты физики называли это эффектом Ломоносова. Потом памятник “исправили”. То ли руку подняли, то ли манускрипт укоротили, но “эффект” исчез.

Мы часто ходили с ней в консерваторию. Она не была музыкальной, но по доброте уступала мне. Там же мы находили место побыть наедине. Мой друг, тоже студент-физик, жил во втором этаже флигеля, в комнате с окнами в консерваторский двор, где сейчас стоит памятник Чайковскому. Тогда памятника еще не было, и на его месте у разбитой клумбы рос огромный куст сирени, всегда живой от неутомимой воробьиной стаи. В том же флигеле жили знаменитый органист Александр Федорович Гедике с женой, воспитывавшие несметное количество кошек. В весенние дни Зина и я частенько сидели на подоконнике у раскрытого окна.

Гедиковский кот выходил из подъезда, попластунски, мягко выгибаясь, кралясь к сиреневому кусту и замирал у самой клумбы. Куст гудел как улей, и воробьи, казалось, не замечали опасности. Наконец, разжавшись как пружина, кот делал отчаянный прыжок, и воробьи разлетались по деревьям. От стыда кот широко зевал и, делая вид, что ничего не произошло, лениво отходил в сторону... После первых летних дождей в консерваторском дворе остро и свежо пахло липой и сиренью. Шли экзамены. Из открытых настежь классных окон вразнобой звучали голоса, фортепьяно, скрипки и гобой. На душе было тревожно и сладко — и казалось, что вот-вот придет настоящая радость и что все еще впереди.

Осенью и зимой пятьдесят второго мы редко виделись. Она училась на ядерном отделении и была где-то на практике. Меня “на ядро” не приняли из-за анкеты. В то время жизнь ядерного отделения была овеяна романтической тайной. Студентам-ядерщикам запрещалось в разговорах не только упоминать место практики, но даже называть фамилии своих преподавателей. Забавно сейчас вспоминать, как в дымной папиросной компании под звон посуды один говорил другому: “А ты слышал вчера, какую хохму в питомнике отмочил Лев?” И другой отвечал: “Да, но Се-

реженька ему тоже вставил”. И я не знал тогда, что Лев — это знаменитый Ландау, Сереженька — менее знаменитый Тябликов, а питомник — лаборатория в Физическом институте Академии наук.

Поговаривали, что нашим ядерщикам запрещено ходить в рестораны и даже дружить со студентами других отделений. Мало того, сами эти запрещения были строжайшим секретом. На этих вечеринках мы часто сидели рядом. Она принимала участие в общем разговоре, говоря на этом непонятном для меня условном языке. Иногда ее сосед шептал ей что-то на ухо, и она громко смеялась. А потом, увидев вопрос на моем лице, говорила: “Это об одном из нашей конторы. Так, ничего особенного...”. А я не мог понять, почему в веселой и бестолковой компании мне становилось тяжело на сердце.

В эти месяцы мы иногда встречались где-нибудь, и я провожал ее домой. Мы долго гуляли вдоль стен Донского монастыря, прокладывая дорожки в припорошенных снегом кленовых листьях, и замерзшие приходили к ее подъезду затемно. Потом мы стояли на площадке перед ее дверью и я, прощаясь, целовал ее. Это не приносило облегчения и затягивалось надолго. Она вздрагивала от каждого стука парадной двери, прислушиваясь к шагам на лестнице, и торопила меня.

Жила она в одной комнате с больной матерью. Мать была парализована и не вставала с постели уже несколько лет. За ней ухаживала женщина, то ли соседка, то ли родственница. Я часто бывал у них дома и, пока Зинаида собирала на стол, развлекал больную разговором. Но в эти поздние часы она меня не впускала и отсылала домой. И я шел ночью мимо Нескучного под снегом через всю Москву.

В декабре незнакомый голос по телефону сказал мне, что мать Зины чувствует себя плохо и просит меня приехать. Зина была на практике, ее не было дома уже несколько дней. Я приехал и застал мать в ее обычном виде в постели. Потом мы пили чай, говорили о каких-то пустяках, и я уже собирался уходить, так и не поняв, в чем дело, как она сказала:

— Я хотела поговорить с вами. Зина мне много рассказывала о вас; у нее нет от меня секретов, и я знаю о ваших отношениях. Видите ли, у нее такая специализация, что она не может выйти замуж за человека, у которого... как бы это сказать... ну, например, есть родственники за границей.

— Но у меня за границей родных нет.

— Но ведь вы по национальности...

— Да, я — еврей. Вы это хотели сказать?

— Не обижайтесь на меня. Ведь она моя единственная дочь. Если она выйдет за вас, то не сможет работать. Подумайте сами...

В январе пятьдесят третьего я получил диплом и свободное распределение. Прошел еще год. На исследовательскую работу меня не брали, и Зины я не видел с тех самых пор. Как-то утром она неожиданно позвонила и сказала, что придет ко мне. Я открыл ей парадную, мы прошли длинным темным коридором коммуналки и, как только дверь закрылась за нами, бросились друг к другу... Я проводил ее до Арбатской, и у дверей кафе “Прага” она на прощанье поцеловала меня.

Через несколько лет на юбилейном вечере курса, где-то в ресторане, она подошла с бокалом вина, чтобы поздравить меня с защитой докторской. Вечер догорал. Мы постояли среди танцующих у разграбленного банкетного стола с красными винными пятнами на скатерти. Больше мы не встречались. Я видел в журналах несколько ее статей по ядерной спектроскопии. Она подписывалась фамилией мужа. Рассказывали, что с мужем она развелась и снова вышла замуж. Недавно

второй муж умер. Ее единственная дочь, очень похожая на нее красивая девушка, уехала куда-то далеко, кажется, в Южную Африку...

Я оглянулся на соседей. Они собрались уходить. Юноша негр, забросив рюкзак на плечо, свободной рукой обнимал свою белую, а точнее, рыжую, подругу. Уж не Зинаидой ли ее зовут, подумал я. Да нет, если она из местных, то ее предки — какие-нибудь англичане или ирландцы, а у них таких имен не бывает. И пара, о чем-то весело болтая, направилась к воротам, выходящим на Harvard Square. Я подумал, что и мне пора. Пора возвращаться в библиотеку, где меня ждала княгиня Зинаида. Мой перерыв сильно затянулся.

Живи как Барон

В итальянской деревеньке Вела, где мы с женой жили в ту пору, на крутом склоне холма стояла старая вилла. От шоссе к ней вела широкая тропа между двух каменных оград, поросших самшитом и диким виноградом. Из-за кипарисов, окружавших виллу, окон видно не было. Перед виллой на лужайке стоял старый высохший фонтан, а вокруг фонтана — статуи из серого камня. Лица у статуй были стерты, а иные стояли и вовсе без голов. Если бы у статуй были глаза, они глядели бы вдоль склона вниз, на сельское кладбище, каменной стеной выходящее на шоссе. По склону шел виноградник. Скорее это была не вилла, а каменный трехэтажный деревенский дом с чердаком, служившим дровяным сараем. Так раньше строили дома в деревнях Трентино, на севере Италии.

Хозяином дома был барон Антонио Сальвати. Когда мы познакомились, барону шел девяностый год. Жена его давно умерла, детей не было, и старик одиноко жил в своем доме. Ему прислуживала женщина из нашей деревни. Каждое утро я встречал хозяина виллы на остановке автобуса у ограды кладбища. Я ехал в университет, а барон Антонио в банк, где служил многие годы. Если я приходил на автобусную остановку раньше времени, то видел, как низенький старичок мелкими частыми шажками семенит по каменистой тропе. Одет он был всегда тщательно: светлые выглаженные брюки, темный пиджак с белым платком в нагрудном кармане, белая рубашка и темно-синяя бабочка в белую крапинку. В руках портфель, а на голове — шляпа. Шляпу он носил всегда, даже в жаркую погоду. Пока не подошел автобус, мы здоровались и обменивались впечатлениями о погоде. Если же наши места были рядом, барон Антонио успевал рассказать о видах на урожай винограда и осудить христианских демократов.

Старик был бодр, держался прямо. Маленького роста, в шляпе, он напоминал гвоздь, крепко вколоченный до середины. Когда на меня находила хандра или я жаловался на нездоровье, жена говорила:

— Тебе не стыдно? Бери пример с барона. Живи как барон.

По соседству с нами жила Антонелла, молодая женщина лет тридцати, снимавшая комнату у хозяина большого многоквартирного дома. Антонелла подражала актрисе Софи Лорен. У нее были длинные стройные ноги, очень высокая грудь и большие подведенные краской черные глаза. Свои прелести она подчеркивала короткими открытыми платьями и туфлями на высоком каблуке. В профиль ее фигура напоминала знак доллара. На остановке автобуса Антонелла любила поболтать с бароном. Во время разговора шляпа барона почти касалась ее открытого бюста. Я стоял сзади, и шляпа не мешала мне видеть ее лицо и перекинуться с ней

парой слов. Пожилые синьоры стояли поодаль и, казалось, с осуждением смотрели на нашу группу.

Работала Антонелла в Тренто кассиршей в супермаркете “Товацци”. Раз в неделю мы приезжали туда делать покупки. Машины у нас не было, а “Товацци” доставлял продукты на дом. Мы набирали две полных тележки и подкатывали их к Антонелле. За кассой Антонелла сидела как в театре: в нарядном платье со смелым декольте, открывавшим ослепительные перспективы. Она быстро считала и укладывала покупки в ящики. Кончив, нагибалась и доставала из-под кассы подарок: бутылку красного трентийского вина или граппы. Говорила, что это не от нее, а от хозяина.

Она часто советовала жене купить мне какие-то особые духи.

— Signora, ti consiglio di comprare questo profumo per tuo marito. Ha uno specifico aroma di uomo.[1]

Жена благодарила и говорила, что специфический мужской запах не выносит.

За спиной Антонеллы сутился Франко, высокий молодой человек лет двадцати. На своей машине, похожей на инвалидную коляску, Франко развозил продукты по домам. Не поворачивая головы, Антонелла кидала ему:

— Subito, a Vela.[2]

Дома нас встречали полные ящики, стоявшие перед закрытой дверью.

Через год, когда мы вернулись в Тренто и поселились в Веле, нас ожидала новость. О ней судачили женщины на автобусной остановке. Барон Антонио и Антонелла поженились.

Барон уже не ездил в банк на автобусе. Теперь Антонелла отвозила и привозила мужа на недавно купленной “тойоте”. Иногда я видел их, когда “тойота”, съезжая с холма, поворачивала на шоссе. Барон улыбался, а Антонелла сидела за рулем и махала мне рукой. Вид у молодой баронессы был счастливый. Мы продолжали ходить в супермаркет “Товацци”, но за кассой сидела теперь незнакомая седая синьора. И Франко тоже не было видно. В Веле нам сказали, что Франко теперь работает на вилле барона и занимается виноградником. Вместо инвалидной коляски он ездит на тракторе с прицепом, собирает виноград. Стояла осень, и на вилле работало несколько сезонных рабочих, поляков. Для Велы с ее виноградниками и яблочными садами это было обычным делом.

А еще через два года умерла моя жена, и в декабре я приехал в Велу один. В деревне мне рассказали, что Антонелла овдовела. Барон скончался на девяносто третьем году. Ходили разговоры, что Антонелла сошлась с Франко, но он изменил ей с девчонкой из Пово, соседней деревни. Антонелла выгнала его, и он уехал на “тойоте”, которую она ему подарила. Мне показалось это сплетней. Антонеллу в деревне не любили.

Обедал я в университете, кое-как вел свое одинокое хозяйство и в “Товацци” не заглядывал. Но как-то, проходя мимо супермаркета, увидел в окне Антонеллу и зашел в магазин. Антонелла сидела на своем месте у кассы. Она не изменилась. Только одета была в темное закрытое платье с накинутаой на плечи кофточкой. Впрочем, подумал я, зимой открытых платьев не носят. Антонелла улыбнулась, протянула обе руки и на ее вопрос “Come va?”[3], я сказал о своем несчастье. А она спросила, знаю ли я о смерти ее мужа. И еще предложила посидеть в соседнем баре на углу улицы Манчи. Она кончала работу через десять минут.

В баре я ждал недолго. Антонелла присела и вынула из сумочки нарядную коробку.

— Con i migliori auguri di Buon Natale.[4]

Я понял, что это те самые духи. Со специфическим мужским запахом. И поблагодарил.

Антонелла спросила о моей жизни. Я сказал, что приехал ненадолго, и что живу в Веле, в том же доме напротив автобусной остановки. И тогда она неожиданно предложила мне переселиться к ней на виллу. Сказала, что мне будет удобно писать книги (так и сказала, — писать книги) на балконе с видом на снежные альпийские горы. И что такую лазанью, которую она приготовит для меня, едят только в Болонье. Я спросил Антонеллу, зачем ей нужен еще один старик. Понял, что задал бестактный вопрос, но было поздно. Антонелла, казалось, ничего не заметила.

— Lei non e vecchio. Gli uomini vivi devono vivere.[5]

Я проводил ее до стоянки машин. Она открыла дверцу новой “альфа ромео” и усадила меня рядом. В Велу нам было по пути. Я спросил, где ее прежняя “тойота”. Она ответила, что подарила ее Франко. Тогда я спросил о нем. И она ответила, не отрывая глаз от дороги:

— O, mamma mia! Questi giovani uomini...[6]

Я иногда приезжаю в Велу, но Антонеллы больше не встречаю. Говорят, что она все еще живет на вилле. Каждый раз, когда я смотрю на старый дом на высоком холме, я вспоминаю слова жены: “Живи как барон”. Я ведь тогда не догадался, что это завещание.

Примечания

[1] Синьора, советую купить для мужа эти духи. У них специфический мужской запах. (ит.)

[2] В Велу, сейчас же. (ит.)

[3] Как дела? (ит.)

[4] Поздравляю с Рождеством. (ит.)

[5] Вы совсем не старый. Живые должны жить. (ит.)

[6] Ах, эти молодые люди (ит.)



Марианна Гончарова

ЯНКЕЛЬ, ИНКЛОЦ ИН БАРАБАН

В нашем приграничном городке издавна в мире и понимании живут румыны и евреи, поляки и украинцы, и русские, и армяне, и татары. Все, кто сюда приезжает, остаются здесь навеки. Потому что здесь место такое райское. Не знаю, живут ли здесь ангелы, но то, что они здесь частенько прогуливаются, отдыхая от своих забот, — это точно! Люди же у нас — просто чудо! Работать — так работать. Отдыхать — так отдыхать. Свадьбы — всю осень. А то и зимой. И весной. Круглый год свадьбы. А детей! Садики не хватает! В школах тесно! Крови так перемешались, что никто уже точно и сказать не может, кто какой национальности.

А о политике как-то никто и не задумывается. Некогда. Тут один кореец приехал к нам. И затеял организовывать общину корейскую — мол, община нацменьшинств, — стал корейские права качать: мол, мы великий народ, корейцы! Сам себя председателем общины назначил, а в общине жена его Ли, специалист по тёртой морковке, и два сына — ой, умру сейчас! — Чук и Гек, симпатичные такие. Круглолицые. Как коряки. Кстати, у нас и коряки есть. Тут одна учительница говорит мамаше на родительском собрании: ваша дочь шурится всё время, ей надо бы зрение проверить, мамаша. А мамаша как возмутится: какое ещё там зрение?! — и с гордостью: «Коряки мы!» Вот так вот можно впросак у нас в городе попасть.

Ну — вышел наш кореец к мэрии. С флагом и плакатом: мол, дайте помещение для офиса общине корейского народа здесь, у вас, на границе с Румынией, Молдавией, Приднестровьем и прочими окнами в Европу. А на него никто и внимания не стал обращать, все заняты. Только Таджимуратов Таджимуратович, уважаемый наш единственный узбек, мудрый человек, пошли ему его аллах многих дней жизни, подошёл к нему и деликатно пристыдил: и как тебе не стыдно, уважаемый кореец? Люди вон работают все, а ты тут бездельничаешь, давай иди яблоки-семеренки собирай, вон они ветки обламывают своей тяжестью. Ну, кореец тот и не прижился у нас.

Уехал куда-то дальше мигинговать. А потом оказалось, что флаг-то у него вовсе и не корейский был. А Бангладеш. Мы все потом месяца задаченные ходили, — где он его взял, интересно.

Прошёл у нас тут как-то слух, что продают погранзаставу. У нас ведь всё продают: заводы, корабли, танки... Реверансы делают в сторону демократии, воздушные поцелуйчики посылают, а сами тихонько продают, продают, продают... Вот кто-то и сказал вечером в ресторанчике «Извораш» («Ручеёк») по-русски за пивом: а слышали — заставу продают? Народ у нас хозяйственный, предприимчивый, денежный — побежал интересоваться, а за сколько? С пограничниками или без? И продают ли с заставой кусочек границы? Коридорчик. Маленький такой, сантиметров двадцать, чтоб хватило сгонять в Румынию и назад. На цыпочках — топ-топ-топ легонько, туда и назад. Кусочек в виде бонуса к заставе, нет?

Начальник заставы кашиган Бережной как увидел толпу у ворот — заставу в ружьё, стал своему генералу звонить: мол, тут мигинг какой-то, революция, непонятно чего хотят... Когда выяснили, разогнали всех по домам. Народ разочарованный ушёл,

хотелось им не столько заставу, сколько тропиночку в Румынию прикупить. У многих это давняя была мечта — такую тропку иметь. А всё потому, что когда Молотов и Рибентропземли как яблочный пирог делили, о людях совсем не думали, семьюразделили так запросто. В Румынии мать осталась, в Украине — дети, или с одной стороны Прута один брат, с другой второй... Как, например, Янкель Козовский и его брат Матвей. Оба прекрасные потомственные музыканты. И отец их был аккордеонист знатный, и дед играл и на трубе, и на сопилке, на свирели, на окарине. А най у него звучал!.. Так сейчас и не играют вовсе. Сам король Румынии Штефан и супруга его приезжали слушать его най... А брат отца Янкеля и Матвея как-то в Ленинграде по случаю играл на саксофоне знаменитому саксофонисту, — знаете, такому бородатому, эффектному, модному тогда. И что? Тот такую мелодию не то что на саксофоне своим золотом, не то что языком, губами и дыханием — он пальцами на фортепиано сыграть не смог! Потому что техника у Козовских была фантастическая, и четверть тона могли! Вот как! Такую вот семью, такой вот семейный оркестр разделили границей и не задумались...

Сейчас-то Янкель совсем старый уже. А бывало — лет двадцать, двадцать пять назад — подъедет на велосипеде к самой границе, выйдет на берег Прута в условленное время, а с другой стороны реки — Матвей. Покричат друг другу:

— Эй! Как дела, Янкель?!

— Дела — хорошо! Как мама?!

— Мама скучает, тебя хочет видеть, Янкель, может, приедешь?! Я оплачу. Поиграть бы нам ещё вместе, а?! Янкель?!

— Эх, поиграть бы! Хорошо! Присылай вызов!

— Что?

— Вызов, говорю! Приглашение, говорю, присылай, говорю!

Ну и потом волокита: пока вызов придёт, пока Янкель все документы соберёт, характеристики подпишет, с этими бумагами в Киев или в Москву едет, чтоб визу открыть, паспорт получить. Потом через месяц опять к Пруту выходит.

— Матве-ей! Матвей! Отказали мне!

— Что?!

— Говорю, от-ка-за-ли мне! Приведи маму к реке на следующей неделе.

Маму видеть хочу!

— Что?!

— Маму! Маму приведи сюда!

И через неделю со всеми предосторожностями приводят под руки старенькую маму, Еву Наумовну, к Пруту. А мама плохо видит и плохо слышит уже. Ей одолжили у румынских пограничников бинокль. Она смотрит в бинокль, не понимает, как в него смотреть, видит на том берегу фигурку своего младшего сына, а ни лица рассмотреть не может, ни услышать, а уж обнять — и подавно!

— Янкель! Вот мама пришла! Вот мама!

— Мама! Как ты себя чувствуешь, мама?!

Матвей наклоняется к маме, кричит ей: вон Янкель, мама, спрашивает, как ты себя чувствуешь, мама! Мама что-то отвечает Матвею. Матвей кричит через реку:

— Ма-ма го-во-риг, что хо-ро-шо! Себя! Чувствует! Только по тебе скучает очень!!!

Янкель видит, что мама руками лицо закрыла.

— Матвей! Матвей! Что мама говорит?! Что она говорит?!

— Пла-ачет она! Мама пла-ачет! Тебя очень видеть хочет. А в бинокль не ви-и-идно! Не видит она в бино-о-окль! Говорит, хочет услышать, как мы с тобой играем! Напоследок услышать хочет!!!

Янкель огорчается, грустит и, конечно, выпивает. Не выпьешь тут... Первое лекарство от огорчения...

Да, наш небольшой многонациональный и вполне уважаемый городок издавна славился и своими пьяницами. Потому что, как вы уже видите, это не какие-нибудь обычные пропойцы, как в других городах. Ну что вы! Наши пьяницы — это очень талантливый народ: музыканты, художники, актёры, зодчие... Пьянство — как бы понятнее объяснить — это часть их одарённой мятущейся природы. Бывало, выпьет один такой утром — бац! — и проснулся в нём гений! Эх, сейчас бы за работу!

Но нет. Выпьет ещё разок — щёлк! — гений инкул и покинул мятущуюся душу. И художник тянет своё бесполезное, ни на что не годное тело в мастерскую при Калиновском рынке, где подвизается оформителем, пишет объявления типа «Карандаши от тараканов! Три на рубль!» Зодчий занимается на плиточно-мозаичные работы по отделке декоративного фонтана в местном санатории, актёр вместе с такими же изображает толпу зевак на заднем плане, музыкант собирает в чемодан гнилую аппаратуру и едет на халтуру в село Жабье Ивано-Франковской области играть на свадьбе дочери местного участкового.

Не то наш Янкель. Он, как и все его предки, играет практически на всех инструментах, независимо от количества выпитого. Но так, как он играет на барабанах, не играет никто! Никто! Гарантирую вам.

И каждую субботу, когда инструменты расставлены, и все они, музыканты, кое-как накормлены и — конечно! — напоены хозяевами, вот уж который год он слышит одну и ту же фразу от руководителя их группы, старого аккордеониста Миши Караниды (а говорят они, наши музыканты, на такой певучей смеси румынского, идиш и русского, что ни один лингвист не разберёт такой диалект):

— Янкель! Вставай из-за стола уже, Янкель! Пошли работать. Хай! Инклоц ин барабан ши оплякат! (Ударь в барабан и поехали!)

Янкель даёт мелкую рассыпчатую дробь на барабане, и оркестр начинает свой рабочий вечер, переходящий в ночь, а нередко — и в серое утро.

Как-то Янкель окончательно рассорился с женой, с мамой жены и с тётёй жены тоже рассорился. Причину ссоры стороны рассматривали по-разному. Жена, мама жены и тётя жены ссорились с Янкелем из-за его пьянства и нежелания подсушиться и ехать в Румынию к брату Матвею на постоянное жительство. Янкель же считал, что они, — все эти ведьмы, эти кобры, — что они попросту антисемитки. По линии тётки. Потому что по своей линии они всё же немножко Шустеры и немножко Цибермановские. А тётя у них — да! Онопенко Оксана! Хоть и по мужу Шустер.

— Антисемиты! Антисемиты вы! — кричал Янкель.

— Как ты такое можешь говорить?! Что ты за слова говоришь?! Мне! В моём возрасте! В моём доме! — возмущалась мама жены Янкеля. — Янкель, ты бессовестный, Янкель. Что это за такие слова?! Чтоб этого больше не было! Чтоб ноги этих слов в моём доме не было! И твоей ноги тоже! Чтоб!

— Очень надо мне. Очень надо мне мои ноги в вашу хату! Очень мне надо!!! — дразнился Янкель. — И вообще, ваша дочь Неля распущенная, как я не знаю! Она курит! Поняли вы, мама?

— Ну и что?! — парировала мама жены Янкеля. — Не знаю, не знаю! Курит... Я тебе отдавала приличную девочку. Двадцать лет. Шестьдесят килограмм. Выше

образование. Без вэ пэ. А что ты с ней сделал за эти годы? Её же не узнать! Вот — уже курит. Что ты сделал с моей девочкой, я тебя спрашиваю, что она уже курит?!

Тут вступала жена Янкеля Неля:

— Все нормальные люди давно куда-нибудь уехали. Я не прошу Америку, я не прошу Израиль, — я хочу к Матвею в Румынию. Что мы тут видим? Пустые прилавки? А в Румынии — кофточки. В Румынии — еда. В Румынии — обувь, в Румынии — всё! Ты столько зарабатываешь на своих халтурах, если бы ты всё не пропивал со своими подлыми друзьями, мы бы уже давно жили в Бухаресте!

Сколько Янкель ездил в Киев, покоряясь жене своей меркантильной, сколько собирал характеристики, справки, что он не иждивенец, что он работает учителем в музыкальной школе по классу духовых инструментов... Даже взял в колхозе справку, что работает руководителем хора-ланки. О! Хор-ланка. То есть хор-звено. Вот кошмар. Это такую моду придумали райкомы на местах, чтоб были хоры-ланки. Это вот как: есть, например, звено колхозниц, работает на огородной бригаде, работает очень тяжело, в любую погоду, пропалывает или собирает, например, свёклу или кукурузу. А надо ещё чтоб они в свободное время пели в вышитых сорочках и венках с лентами. В девичьих венках. В пятьдесят лет. С золотыми фиксами во рту. Наталки-полтавки... Но надо! Надо чтоб пели «Вербовую дощечку» или «Поле-поле край села...»

Нет, ну кому охота петь после такого тяжкого дня, когда ещё дома полно забот: дети, корова, свиньи, куры, сад, огород... Ну и набирали в такие хоры, чтоб угодить райкому, кого придётся, бывало и старшеклассники покрупнее габаритами в таких хорах пели. Однажды мы чуть от смеха не лопнули, когда Вигалий Уласюк в таком вот хоре по поручению комсомольской организации пел. Один мужчина на всю ланку. Наш Вигалий Уласюк, — кстати, впоследствии, через десяток лет после участия в хоре-ланке, он стал лауреатом государственной премии в области прикладной математики, — пел под видом слесаря тракторной бригады. Недавно встреча его класса была, хотели ему хор-ланку напомнить, так он телеграмму прислал загадочную «Мысленно вами симпозиуме Японии».

Да. Так вот Янкель и взял такую вот справку, как бы доказывая свою благонадёжность и лояльность по отношению к существующему строю. А его опять не выпускают. Совсем он закручинился. Просто запил, проще говоря. И на команду Миши Караниды «Янкель, инклоц ин барабан!» без энтузиазма реагировал. И даже играть стал хуже. Хотя играть мог в любом состоянии. А всё почему? К маме хотел. Хотел к маме. Понимаете? Вот вы понимаете, а почему же тогдашние власти не понимали? Не понимали, как взрослый, небритый, толстый грустный дядька остро скучает по маме. А тут опять Матвей заорал на берегу Прута: мол, маме совсем худо! Худо! Хочет, чтоб мы сыграли напоследок!

— Что?! Что?!

— Я ей наигрываю на скрипке, но она говорит: не то, не то... Хочет, чтоб с тобой!

— Ладно! — решил Янкель. — Ладно. В следующее воскресенье вывози маму к Пруту, лишь бы ветра не было.

— Что ты задумал, Янкель?! Не вздумай переплывать, Янкель! Тебя пограницы захапают, и мы не сможем выходить к тебе сюда на берег Прута, нас же не пропустят больше!

— Та не-ет! — досадливо отмахнулся Янкель. — Та не буду я плыть! Я — другое!

— Что?!

— Ничего! Короче, вывози маму! Всё!

Хорошие люди музыканты, правильные люди. Вот где была настоящая дружба народов, вот где была солидарность. Вот где был мир, труд и май! Все и так знали положение Янкеля, и его жену — антисемитку по тётке, и его тётку, и то, что не выпускают Янкеля к брату в Румынию, и то, что Ева Наумовна стало совсем худо. Уж кого они там, на погранзаставе, уговорили, кого подкупили — не знаю, но в следующее воскресенье на берегу Прута, прямо на границе, выстроился оркестр.

Там были чуть ли не все музыканты, зарегистрированные, чтоб их не считали тунеядцами, в ОМА (Объединении музыкальных ансамблей). Молдаване, евреи, цыгане, украинцы, русские, поляки, немцы... да кто там был ещё — всех не перечислишь. Многие из них, кстати, пожертвовали халтурами — воскресенье же — и потеряли при этом кучу денег. Но кто там считал! Главное, что Ева Наумовна хотела послушать музыку в исполнении своего сына Янкеля, а это важнее, чем какие-то там сто рублей.

Выставили аппаратуру, дорогущую по тем временам, не дешевле автомобиля, не пожалели, лучшую привезли — и установили на берегу Прута. К какой-то машине подключили. Где достали? Ну, словом, все помогли. Даже пограничник и с нашей стороны. И знаете — даже Бог постарался, вник: ветер дул как раз с нашей стороны Прута на румынскую.

Ждать пришлось недолго. Вот и машина к Пруту подъехала, аккуратно высадили Еву Наумовну, кресло ей поставили раскладное, а Матвей вытащил скрипку из футляра, помахал приветственно музыкантам на нашем берегу.

Ну разве смогу я описать привычными словами всё, что было потом? Разве можно словами описать музыку? Или настроение? Или состояние? Разве можно описать то счастье и радость по обе стороны Прута? Это надо было там присутствовать. Нет, это слушать надо было. Как Миша Каранида дал команду: «Янкель! Ну?! Хай! Инклоц ин барабан ши оплякат!!!» — и заиграл этот импровизированный оркестр для мамы Янкеля.

Как же они играли! И «Дойну», и «Фрейлак», и танец польских кавалеров «Краковяк», и «Рула-тирула», и «Мейделе, мейделе». Матвей, весело пританцовывая, подыгрывал из Румынии. А кто-то смотрел на ту сторону в бинокль и комментировал:

— Смеётся! Ева Наумовна смеётся!

— Ева Наумовна плачет, слёзы вытирает!

— Ева Наумовна руками! Руками танцует! Танцует руками и плечами, Янкель! И головой танцует, Янкель, под музыку! И смеётся! И плачет, Янкель!!!

А Янкель знай наяривал, лупил по барабанам и подпрыгивал под музыку, чтобы угодить своей маме, танцующей руками на той стороне, в Румынии...

Вот такая вот история. Давным-давно ушла мама Янкеля и Матвея в другой мир. Теперь Янкель спокойно может съездить к брату в Румынию, — по новым законам это очень легко и можно поехать в любое время. И Матвей сюда к нам приехал, с музыкантами встречался, играли вместе... Понравилось ему тут у нас. У нас ведь очень хорошо. Рай практически. Все люди, живущие здесь, уверены, что даже если ангелы тут и не живут, то, отдыхая от своих забот, частенько прогуливаются...



Давид Шраер-Петров

БЮСТ ЕСЕНИНА

Мастерская Евы находилась в полуподвальном помещении пятиэтажного дома поблизости от угла Кировского проспекта и речки Карповки в Ленинграде. Начинались шестидесятые. Культ Сталина был развенчан. Оттепель закончилась, проторив дорожку некоторой свободе творчества. Даже не оговоренное как дозволенное (без нападков на систему!) андеграундное искусство создавалось творческим человеком без ожидания последующего карающего наказания.

Илья Равин учился тогда на четвертом курсе медицинского института. Это был высокий худощавый молодой человек, еврейские черты лица которого смягчались улыбкой смущения, а серые глаза смотрели заинтересованно и доверчиво. Его друг — Борис Рябинкин, коренастый, светлоголовый и голубоглазый парень с неожиданно изогнутым по-еврейски носом, являл собой собирательный портрет наследника семитских и славянских генов. Он учился в автодорожном институте. Илья и Борис оказались в мастерской Евы случайно, если принять осмысленную (постфактум) случайность за один из результатов активности космической системы. До этого друзья допоздна засиделись в кафе «Снежинка», которое находилось в двух шагах от площади Льва Толстого. Памятная площадь в жизни Ильи. От площади было рукой подать до медицинского института. Всего одна трамвайная остановка.

В «Снежинке» было тепло и сыро от пригашенного и подтаявшего снега, смешавшегося с опилками. Пол подметали и протирали не чаще одного—двух раз в день. Зато мраморные столики вовремя вытирались улыбочивыми официантками. Сосиски и лимонад стоили недорого. А на то, что посетители приносили с собой водку в портфелях, чемоданчиках, и в карманах пальто или курток, а потом смешивали тайком с лимонадом, персонал «Снежинки» смотрел сквозь пальцы. Чаще всего официантки знали в лицо своих постоянных посетителей и не были к ним строги. За это они получали небольшие, но несомненные чаевые.

Илья с Борисом посещали «Снежинку», как правило, раз в месяц. В последнюю пятницу. Это был условный День Стипендии. То есть, каждый брал немного от полученной стипендии, и раз в месяц друзья выпивали и толковали о жизни. Остальные деньги Борис отдавал матери. У них обоих отцы ушли в другие семьи. Илья после смерти матери жил один. «Снежинка», кино, театры, книги и прочее составляли примерно четверть стипендии. К тому же, у каждого из них случались приработки. Илья, например, дежурил несколько раз неделю по—вечерам в травматологии, накладывая гипсы и зашивая раны, полученные чаще всего простым человеком в домашних сражениях. Иногда друзья ходили разгружать вагоны на железнодорожную станцию Кушелевка, от которой они жили неподалеку — на Выборгской стороне, в Лесном, напротив Лесотехнической академии, в коммунальных квартирах одного и того же двухэтажного дома, бывшей богадельни. Были и другие заработки. Летом они подражались грузчиками на рыбоконсервный завод. Но ежемесячные загулы в «Снежинке» на заначку от стипендии были священным мероприятием. За стаканом лимонада, смешанного тайком с водкой или коньяком, они обсуждали жизнь.

В тот запомнившийся вечер Илья с Борисом сидели в «Снежинке». Один из них заговорил о Сергее Есенине. У Ильи в доме стихи Есенина пользовались особенным почитанием. Мать Ильи украдкой и не без влияния Есенина сочиняла стихи. И хотя ни одно ее стихотворение не сохранилось (перед смертью она уничтожила написанное), до сих пор в памяти Ильи звучали ее строчки, которые она ему читала. Особенно во время войны. Она посылала стихи отцу на фронт. Доказательством особенного почитания Есенина был гипсовый бюст, которым она очень дорожила. Надо же было так случиться, что во время уборки она задела за бюст. Он упал и раскололся на мелкие куски. Ко времени событий, относящихся к нашему повествованию, Илья забыл о такой мелочи, как осколки гипсового бюста. Все это рассказал Илья — Борису во время последнего загула. И метафизически неслучайно.

Автор получает от своих героев, свидетелей прошлого, важные знания о времени, о котором пишет. И предчувствует будущее в прошлом и настоящем. Предчувствует даже то, к чему приведет очередной загул друзей в «Снежинке». Автор многое узнает и придумывает, ведомый воображением и фактами реальности. Но нельзя и отрицать мистическую связь Есенина с этим вечером, отдаленным от нынешнего времени на полвека. Странное дело: хотя события, о которых здесь повествуется, относятся к середине прошлого века, автор рассказывает, как будто они происходили вчера.

В тот вечер друзья засиделись в «Снежинке» допоздна, чуть не до девяти часов. За окнами валил липкий ноябрьский снег с дождем и ветром. До закрытия оставался час. Зал кафе опустел. Кроме Ильи с Борисом последними засиделись завсегдатаи—забудьды, допивавшие свои подпольные коктейли, да возлюбленная парочка с громадным пластмассовым чемоданом, охваченным металлическими обручами, как сундук. Наверно, влюбленным некуда было деваться: потеряли ключи, их не пускали домой или выгнали? Вернее всего, не было сил поехать на вокзал и окончательно проститься. Забудьды, бесприютная парочка да Илья с Борисом.

Вот и все посетители, оставшиеся от прошедшего дня. Друзья обсуждали традиционный для таких ежемесячных сборищ женский вопрос. То есть, пытались умозрительно решить: кто является инициатором обыкновенного любовного приключения или даже любовного увлечения: молодой человек или молодая женщина? Они не были активными сторонниками феминисток, но и не собирались ущемлять в правах представительниц прекрасного пола. В том числе, и в праве начать или прервать платонические или даже сексуальные отношения. Кажется, в те времена в Советской России нечасто над этим задумывались. Так что и сейчас, по прошествии пятидесяти лет, нужно отдать должное пытливому и гибкому уму Бориса, управляемому его горячим сердцем. Поскольку друзья не были сильны в классической философии за самыми поверхностными исключениями (Платон, Аристотель, Эпикур), а марксистский мусор, которым пытались набить их головы преподаватели на кафедрах общественных наук, в счет не может идти, предпочтение отдавалось не умозрительным рассуждениям, а случаям из жизни, как правило недавним. Борис начал рассказывать.

Он обладал способностью (и потребностью!) рассказывать о своих любовных приключениях самым откровенным способом, без утайки и настолько естественно, что даже первородный грех в его устах звучал безгрешно. Недаром Борис был крестьянским внуком. Опять отзвук Есенина. Каждую осень в конце августа или в начале сентября Борис уезжал в деревню к деду Ивану Петровичу и бабке

Любови Ивановне убирать картошку. В начале лета он сажал картошку в их огороде, а осенью выкапывал. Деревня Борщево, где стояла дедовская изба, была в нескольких километрах от железнодорожной станции Оредеж, Лужского района Ленинградской области. Случай, о котором рассказал Борис, был трехмесячной давности. Стоял конец августа. Борис, как обычно, приехал к деду копать картошку. Накануне Борис отправил телеграмму в деревню, и дед приехал встречать его на станции. Он был с лошадыю.

Пока обнялись/поцеловались, пока уложили городские подарки в телегу, наступил вечер. В эту пору сумасшедшие белые ночи уходят дальше на Север, сжимаются, как гармошка, прежде игравшая до рассвета. Временем начинает распоразаться близкая осень. Бабка напекла/наготовила всего, что умела или что подсказала ей память о том, как мать с отцом принимали гостей, когда приезжала родня. Словом, хорошо поужинав и выпив стопку—две привезенной «Столичной», Борис отправился спать на сеновал, прихватив старый дедовский тулуп. Сон как назло не шел! Борис уговаривал себя уснуть (наутро предстоит целый день копать картошку, надо выспаться), следя за хороводом звезд в щелях крыши или прислушиваясь то к шорохам мышей в сене, то ко вздохам коровы в хлеву. Вдруг скригнула дверь, и Борис услышал, что кто—то поднимается на сеновал по деревянной приставной лестнице, добирается до верхней перекладины и переваливается на сено.

«Кто это?» — спросил Борис. — «Это я Маша, — ответил девичий голос: — Я всего на минутку. Можно?» — «Можно, конечно! Чего ж спрашиваешь, коли пришла!» — смеясь, ответил Борис и протянул руку девушке, чтобы помочь ей перебраться поближе. — «Я недолго, Боря. Я тебя ждала с самой весны...» — «Подожди, подожди, Машенька! Ты зачем — ночью? Или что случилось?»

У Бориса была в натуре необыкновенная мягкость. Про таких говорят: «Он и мухи не обидит».

Илья сгорал от нетерпения узнать: что же вышло дальше? Илья с Борисом крепко дружили и ничего друг от друга не скрывали. Рассказ Бориса относится к августу, а последний загул в «Снежинке» к середине ноября. Так что когда Борис прервал рассказ на самой кульминации, Илья начал его тормозить: «Рассказывай дальше!» — «А что рассказывать? Дело нехитрое. Как ни крути, а выходит, что соблазнил девчонку. А ведь это грех!»

Илья принялся его успокаивать, как это ведется между пьяными друзьями. Они оба любили стихи Есенина. Илья начал Бориса убеждать: «Смотри, Есенин тоже был не промах. Не отказывался от девичьей ласки. Не терзался, когда ему в любви признавались». Борис только отмахнулся: «При чем тут Есенин! Маша ведь нецелованная до меня была», — «Терзаешься?» — спросил Илья. — «Места себе не нахожу!» — осушил стакан Борис. Илья промолчал. Но ведь каждый делает выбор по своему характеру. У Ильи получалась чаще всего какая—то невероятная смесь робости и безрассудства. Случалось, что он стеснялся пригласить девушку, которая сильно нравилась, погулять в Ботаническом саду, а было однажды, что влез по водосточной трубе на второй этаж — прямо в спальню своей тогдашней подружки.

Когда они вышли из «Снежинки», сыпал мелкий снежок. Стало подмораживать. Друзья решили пойти домой, то есть в сторону Черной речки и дальше в Лесное, где они жили. Такси пролетали, как торпеды, не останавливаясь. Друзья шли пошатываясь. Каждый норовил не поскользнуться. Они прошли над речкой Карповкой, скользя подошвами ботинок по едва заметному ледку. Илья все-таки

ступил неосмотрительно, зазевавшись на яркую лампочку, светившую из полуподвала. И упал. Вначале это вызвало смех Бориса. Но, видно, Илья не шутил.

Резкая боль ударила в левую лодыжку при всякой попытке подняться и идти с Борисом дальше. «Такси, поймай, такси!» — повторял Илья, сидя на тротуаре и пытаясь махать руками и шапкой проносившимся автомобилем. Но, как и раньше, ни одно такси не останавливалось. Борис ловил такси, отчаянно размахивая руками. В подобные минуты, которые так и называются минутами отчаяния, в голову приходят самые абсурдные мысли. Илья, как мог, приподнялся, опираясь за чугунную решетку, ограждавшую лесенку в несколько ступенек, спускающуюся в полуподвальную квартиру, окошко которой освещала сильная лампа.

Подчиняясь магнетизму света, он начал медленно спускаться к двери квартиры, а Борис, поняв отчаянный замысел друга и ни о чем не спрашивая, подпирал Илью, который дотянулся до дверного звонка и нажал на кнопку. Видно, что далось это так тяжело, что он, нажав, долго не отпускал звонок. «Да перестаньте же звонить! Что с вами?» — послышался рассерженный молодой женский голос из-за двери, приотворившейся на шажок охранной цепочки. В проеме Илья увидел сегмент головы, плеча и ноги молодой миловидной женщины в махровом халате оранжевых тонов. Наверно, лица друзей настолько не походило на хрестоматийный облик грабителей, что без колебаний хозяйка полуподвальной квартиры откинула цепочку и пригласила их войти. Оказалось, что квартира эта — вовсе не квартира в общепринятом смысле, а студия-мастерская.

Хозяйка студии, Ева Фогельсон, как друзья узнали при знакомстве, была скульптором. Она и жила здесь и работала. Удивленным взглядом ночные гости обежали глиняные заготовки, покрытые мокрыми простынями, гипсовые копии античных императоров, философов и красавиц, эскизы голов и торсов, выполненные углем или карандашом, и прочие атрибуты художника и его мастерской.

«Да вы заходите, не топчитесь у порога. Что это у вас с ногой?» — спросила Ева, увидев, что Илья приволакивает левую ступню. — «Да вот, остушился, повернул ногу. Теперь, вроде, полегче», — ответил Илья, рассматривая хозяйку мастерской Еву Фогельсон. Борис топтался у порога, стряхивая снег на резиновый коврик. Итоже рассматривал. Невозможно реконструировать по прошествии такой уймы лет, что думал каждый из друзей о Еве, но очевидно, что до тех пор ни одному из них не приходилось общаться с такими красавицами.

Невозможно было оторваться от ее матового лица, на котором сияли зеленые изумруды глазниц, от сумасшедшей гривы черных волос, перекинутых на спину и перетянутых зеленой лентой. Наверно, друзья таращились неприлично долго. Оба онемели от необычайного зрелища, как будто попали в музей, хозяйка которого одновременно и один из экспонатов.

«Снимайте пальто/ботинки и садитесь поближе к батарее, чтобы просохнуть. А я приготовлю чай. Покажите мне вашу ступню. Я ведь скульптор, а значит — анатом, что естественно тянется к хирургу. Так что я осмотрю вас, как средневековый хирург — анатом — цирюльник».

Друзья представились. Илья скинул ботинок и стащил носок с левой ноги. Ева протерла его ступню влажной салфеткой и ощупала лодыжку. «Поднимите стопу, Илья Муромец!» — сказала Ева. Илья поднял и повертел.

«Больно?» — спросила Ева. — «Не очень». — «Думаю, что перелома нет. Банальное растяжение связок, — улыбнулась Ева. — Можно, конечно, поймать такси и отвезти вас в больницу Эрисмана на травматологию, но спешить некуда!»

— «Тем более что завтра мое дежурство. Тогда и сделаю рентген!» — «Дежурство? Рентген? Нельзя ли пояснить: я ведь о вас ничего не знаю!» — воскликнула Ева. — «Ничего особенно! Учусь на четвертом курсе медицинского института. Увлекаюсь иммунологией», — рассказывал Илья. — «Будущий Мечников?» — «Если получится...» — «Наверняка получится!» — «Мечников был гений, так что, наверно, и замахиваться не стоит. А вот если удастся последний эксперимент, то кое-какие идеи Мечникова подтвердятся». — «Мы об этом поговорим, если вы, Илья, захотите. Когда-нибудь. А теперь давайте чаю попьем!» — «Вы, Ева, не против, если я вам по хозяйству помогу?» — предложил Борис, до этого не проронивший ни слова и смотривший как завороченный на Еву.

«Чайник закипел. Вот, пожалуйста, присаживайтесь!»

Гости и хозяйка уселись вокруг стола. Ева расставила кружки из желтой керамики. Принесла сахарницу, какие-то плюшки, сушки, варенье. И, конечно же, пузатый заварочный чайник, а к нему в пару — крупный зеленый пузан, в котором вскипела вода.

«А вы чем, Борис, занимаетесь? Ну, я понимаю — студент. А для души? Увлечение? Пристрастие к чему-то?» — «Смешно говорить, но я по-настоящему увлечен разработкой воздушной турбинки для велосипеда с моторчиком. Я вам подробно как-нибудь расскажу. А теперь неплохо бы выпить понемногу коньячка. У меня заначка осталась в кармане пальто». — «Кто же возражает против хорошего?» — воскликнула Ева: — Я рюмки поставлю».

Борис принес 350-миллилитровую стеклянную фляжку с весьма популярным в те годы армянским коньяком «Арагат». На этикетке фляжки сияла снежная вершина, вокруг которой хороводились три пятиконечных звездочки. Этот символ былого величия и нынешней зависимости Армении всегда вызывал у Автора сочувственную ностальгию по древней истории. Вот ведь, плыл Ноев ковчег по океану, затопившему землю, и причалил к горе. И все живое выбежало из ковчига и поселилось на склонах Арарата, не залитых мировым океаном. А потом всемирный потоп схлынул, и все семикжды семь пар живых тварей разбрелись по земле. Кроме армян. Или их предков. Они остались с Араратом, пока не пришли турки. И вот тогда, после кровавого потопа, армяне начали разбредаться по разным странам и жить, как евреи, среди других племен и народов, в диаспоре.

Гости и хозяйка выпили по рюмке коньяка. Шел круговой разговор, который образуется между случайными застольниками, готовыми симпатизировать друг другу. Заговорили о Есенине. Ева работала над его бюстом.

«Какое совпадение! — воскликнул Илья: — Мы только что в «Снежинке» вспоминали о бюсте Есенина, который находился когда-то в нашем доме», — «Где же этот бюст? Вдруг — это утраченный оригинал моего учителя С-кого? После увечья в лагере ГУЛАГа он занимается скульптурой только как консультант. Преподает рисование в какой-то школе в Лесном. Иногда консультирует чьи-то проекты». — «Подождите, подождите, Ева! Это не тот ли Иосиф Борисович — учитель рисования в младших классах нашей школы?» — воскликнул Борис, ища поддержку Ильи и одновременно изучая выражение лица Евы — как она отнесется к его словам? — «Ну да! Иосиф Борисович! — подтвердил Илья. — У него только левая рука работала». — «Я помню, кто-то рассказывал. Это в лагере случилось. На лесоповале. Спиленная сосна перебила ему правую руку. У него никого нет, кроме нескольких учеников». — «В их числе я, — сказала Ева. — Он иногда наведывается».

Эхом к ее словам раздался дверной звонок. Ева пошла открывать, как и прежде, без вопроса: кто там? Но под защитой дверной цепочки.

«Иосиф Борисович! Долго жить будете!» — заулыбалась Ева ночному гостю. Илья с Борисом тоже узнали учителя рисования. А Илье припомнилось что-то далекое. Какая-то переводная картинка из довоенного детства. Картинка, которая перенеслась из дальней дали в нынешний вечер. Прогулка с мамой в заснеженном парке Лесотехнической академии. Неизвестный, вышедший из-за ствола громадного дуба Петровских времен. Испуг и растерянность мамы, освободившей руки из печурки короткошерстой черной котиковой муфты: «Уходите! Уходите!» Кто — по имени — должен был уходить, не вспомнилось Илье.

С-кий, а это был он, учитель Евы, стянул с себя брезентовую куртку с пришитым изнутри солдатским ватником. Лицо у гостя было красноватое, небрежно выбритое, привыкшее к продолжительным прогулкам на пронизывающих ветрах, гоняющихся друг за другом по набережным Невы.

«А ведь мы могли вполне быть вашими учениками. Поторопились года на три-четыре. Мы были в шестом классе, а вы учили рисованию в начальных классах». — «Так вы живете в Лесном? Оба вместе?» — «Оба!» — ответили Илья с Борисом, чувствуя, что крученая ниточка вот-вот разделится на две. И какую потянет С-кий, никто не ведает. Чуткая душа Бориса подсказала ему оставить вдвоем старика-скульптора и Илью. Что-то образовывалось между ними.

Уловив маневр Бориса, Ева повела его осматривать мастерскую: «Вот над этим барельефом я работаю по предложению еврейского кладбища. Памятник жертвам фашизма. Старики, женщины, дети протягивают руки, пытаясь защитить себя от приближающегося пламени». Она водила Бориса по мастерской, словно отвлекая от немого диалога Ильи и С-кого, возможность которого она ощутила, как только увидела молодого человека рядом со стариком-учителем.

Ева была права: у Ильи со С-ким как раз и происходил затасанный разговор, которому легко было помешать. «Знаете, Илья, вы чем-то напоминаете мою давнюю знакомую», — С-кий осторожно подтолкнул камушек беседы с пригорка многозначного молчания, на который взобрались старый скульптор и его собеседник. Оба что-то выжидали. Диалог, если и происходил, то преимущественно глазами и мимикой лица и рук. Илья убеждался, что он видел когда-то это лицо, теперь изменившееся, резко изрезанное морщинами судьбы, гримирующими улыбку души. С-кий обнаруживал в лице Ильи черты молодой женщины, которую любил когда-то. И все же старый скульптор предпочел остаться наедине со своим опасным предположением, спросив осторожно: «А чем занимаются родители?»

Илья немедленно ответил, словно приоткрыл для собеседника дверь в прошлое и тотчас захлопнул: «Мама умерла. Отец живет с новой семьей», — «Простите, простите за бестактность!» — заторопился С-кий закончить разговор с Илей. Да и оборвать непреднамеренный визит: «Я пошел, Евочка!» — «Не забывайте, заглядывайте, Иосиф Борисович!» — «Куда же я денусь!» — поцеловал ее в щеку С-кий. — «Да, чуть не забыла: директор еврейского кладбища обещал подписать с нами договор. И вы утверждаетесь как консультант проекта», — «Очень кстати, Евочка. А то мыши в карманах дырки проели». — «Я вам напомню, когда в бухгалтерию за авансом идти».

Захлопнулась дверь мастерской за С-ким. Илья выразительно посмотрел на Бориса. Незаметно для Евы подал знак рукой: мол, пора уходить. Кому оставаться было ясно: Илье. Ева перехватила условную азбуку жестов: «Да, конечно,

с растяжением связок стоит подождать до утра», — «Боря, у тебя на такси деньги остались?» — спросил Илья. — «Неразменная десятка да еще горсть мелочи», — поспешил к выходу Борис. Как только дверь мастерской-полуподвала захлопнулась за Борисом, Ева заторопилась раскладывать тахту, стоявшую в дальнем углу мастерской.

Приближалась весна. Борис пропадал в институтской экспериментальной мастерской, где студенты — будущие инженеры—автомобилисты упражнялись в практическом применении своих теоретических познаний. Борис мечтал поскорее закончить ветряную турбинку, которая в дополнении к энергии ног и бензиновому моторчику, создаст ультрасовременное средство передвижения — велобензоветропед. На этом велобензоветропед Борис собирался отправиться в конце мая в деревню Борщево к бабке Любови Ивановне и деду Ивану Петровичу сажать картошку. Честнее же было сказать: прежде всего, навестить Машу. В недавнем письме бабка прямым текстом сообщала, что Маша часто заходит к ним с дедом и чуть ли не просит адреса Бориса. «Ты уж, Боренька, не подведи нас с дедом, если что между вами с Машей случилось, обереги девку от позора. Не бросай в беде». Так что восдино для Бориса сошлись три заботы: велобензоветропед, картошка и Маша.

Читатель вправе спросить: «А как же относилась ко всему, происходившему с Борисом его мать?» Она не вникала в мир души своего сына, сведя заботы о нем к приготовлению еды, обстирыванию и прочим повседневным обязанностям, которые в России ложатся на плечи женщины из рабочей, а прежде — крестьянской среды.

Мать Бориса — Любовь Ивановна (младшая) сама недавняя крестьянка, пришедшая в город на кондитерскую фабрику имени Микояна, выскочила замуж за непутевого еврейского юношу, разошлась с ним через полгода, родила и подняла на ноги (при участии круглосуточных яслей) сына Бореньку, а потом всю свою душевную и физическую энергию, оставшуюся после трудовых часов на фабрике и усилий по воспитанию сына, сосредоточила на любовной заботе о втором муже, Леопольде Леопольдовиче, выходец из обрусевших поляков, молчаливом технике при электронном микроскопе в лаборатории вирусологии одного из микробиологических институтов. Леопольда Леопольдовича она любовно называла Левочка, не подозревая, сколько в этом заключено иронии. Левочка был природным антисемитом.

Он ненавидел евреев безусловно. Без определенных причин. Просто ненавидел. И надо же было случиться, что его пасынок Борис окажется сыном еврея! Но Левочка твердо знал, что необходимо держать язык за зубами. Поэтому он никогда не участвовал в беседах с Любовью Ивановной или Борисом на опасные темы. А поскольку жизнь большого города неминуемо пронизана присутствием евреев, формой этой жизни для Левочки (Леопольда Леопольдовича) стало молчаливое сосуществование при минимальном контакте с внутренней средой комнаты (в коммунальной квартире), где, кроме Левочки, жили Любовь Ивановна и Борис. Леопольд Леопольдович приезжал на трамвае номер 21 к девяти утра в лабораторию, получал задания от научных сотрудников, выполнял большую часть работы, прерывался в полдень, чтобы съесть бутерброд, приготовленный Любовью Ивановной, дорабатывал положенное время и возвращался домой, чтобы проглотить ужин и наброситься на чтение очередного романа.

Левочка был ненасытным пожирателем романов, заменяя реальную жизнь — выдумками писателей. Он был всеяден, как акула, переваривая (пропуская через

кишечник мозга) всякую печатную продукцию, включая полчища томов Вальтера Скотта, Виктора Гюго, Оноре де Бальзака, Элизы Ожешко и Михаила Шолохова.

Портрет Левочки вполне соответствовал его характеру. Острый скалистый профиль с массивным мечеобразным носом. Рыба-меч. Парадоксально заметить (хотя это может разрушить представление о Левочке!), что отчим Бориса неизменно хорошо относился к Илье, подтверждая полную запутанность гипотезы биологического антисемитизма и отдавая пальму первенства антисемитизму иного рода. Скажем, антисемитизму социальному? Левочка не был верующим католиком. Тогда откуда у Левочки приязнь к Илье?

Борис написал Маше в деревню подробное письмо, в котором успокаивал девушку, уверяя в полной своей ответственности за произошедшее и убеждая закончить десятилетку и получить Аттестат зрелости, с которым она может подавать во всякий институт или техникум. Включая лобное мединадское училище. Больше всего Маша мечтала стать доктором или фельдшером. Самое же главное, Борис обещал приехать, как всегда, в начале июня. Для этого он собирается досрочно выполнить курсовое задание и сдать весеннюю сессию.

Иногда жизнь представляется сооружением дома из наштампованных пластмассовых или металлических деталей конструктора, купленного в «Детском мире». Хорошо строить дом на пару с возлюбленной (возлюбленным или надежным другом/подругой). Тогда фантазия строителя — напарника соединяется с твоей фантазией. Если фантазии не совпадают, игрушечный дом останется недостроенным. Или развалится, как замок на песке отпускного пляжа. Нередко семейные неурядицы приводят к краху построенного или почти законченного дома. Как в хрестоматийном рассказе Дж. Д. Сэлинджера “Великолепный день для банановой рыбки” рушится мир из-за того, что воображаемая любовь оказывается домом на песке.

В нашем повествовании все наоборот. Условному дому Бориса и Маши суждено было не рассыпаться на песчинки, которые служат аналогией мелких осколков, как когда-то бюст Есенина, нечаянно расколотый на мелкие кусочки, хранимые в доме Равиных, как святыня. Впрочем, святыней этот мешочек с осколками гипса был для матери Ильи. Но она умерла.

Илья забыл даже, где хранятся останки гипсового поэта. Все это важно помнить, потому что, провожая Бориса в деревню Борщево, Любовь Ивановна (младшая), с опаской глядела диковинный велобенозетропед, перевезенный Борисом из институтской лаборатории — мастерской в дровяной сарай, и как бы невзначай обронила: «Ты, Бориска, обожди, пока Маша получит Аттестат за десятилетку, да привези ее к нам. Поженитесь, ребеночек народится, а там и хлопотать о жишплощади начнете!» — «Ты что, мам, придумала, как меня от глаз Левочки отвести?» — «И это правда!» — «Тогда зачем на велобенозетропед ехать?» — заколебался Борис. — «Для эффекта! Соображай, Бориска!» — «Правильно, мама! Ты у меня самая умная на свете. На обратном пути разберу велобенозетропед и привезу в Питер вместе с Машей. Только жить где будем? У нас вчетвером да еще с ребеночком негде. А снимать комнату — очень дорого». — «А ты к Ильишке попросись. Чай, не откажет?» — «Конечно нет! Тем более что...» — «Что — тем более?» — «Да он почти что дома и не бывает».

Любовь Ивановна не ошибалась. Да и как тут было ошибиться, если коммунальная квартира, в которой ее (плюс Бориса, плюс Левочки) комната, находилась на той же лестничной площадке второго этажа, что и коммуналка Ильи с его двумя

комнатами, почти что пустующими вот уже четыре года после смерти матери. Са-рафанное радио соседущек-визави исправно докладывало Любови Ивановне, что Илья у себя в комнатах редкий гость. Правда, соседи из обеих квартир при всем своем воображении не могли придумать ничего толкового, чтобы объяснить, где пропадает Илья.

На их осторожные или даже прямолинейные вопросы Илья неизменно отвечал, что учебных занятий, сверхурочной работы на травматологии и научных исследований так много, что чаще всего приходится ночевать в институте. Для этих целей в медицинском институте, мол, существует специальная комната отдыха (ординаторская), где можно вздремнуть часок-другой, а потом продолжить работу. Соседи верили или притворялись, что верили. Существовало нечто вроде круговой поруки: в случае проверки паспортного режима (таковой еще не утратил силу даже в послесталинской Совдепии), было принято отвечать участковому милиционеру, что Илья Равин продолжает проживать на жилплощади двух своих комнат, в данной коммунальной квартире, а в настоящий момент находится на занятиях или клинической практике.

И в самом деле, Илья продолжал исправно посещать лекции и учебные занятия, как правило проходившие в аудиториях и лабораториях, прилегающих к различным клиникам: хирургической, терапевтической, акушерской, педиатрической и так далее. Он колебался: что же выбрать ему в дальнейшей врачебной деятельности? И склонялся к гематологии-онкологии. После занятий Илья мчался в лабораторию иммунологии, где колдовал над выращиванием культуры клеток лимфоцитов, выделенных из зародыша, полученного при прервавшейся ранней беременности, и переданного Илье из акушерской клиники. Рабочей гипотезой, вокруг которой накапливались эксперименты Ильи, было предположение, что можно заменить лимфоциты, погибшие при облучении, на донорские лимфоциты, выращенные в колбе.

В случае успеха, можно было думать о лечении лучевой болезни или осложнений, возникающих при рентгено- и радиотерапии рака. Конечно же, Илья должен был продолжать свои дежурства на травматологии, потому что со смертью матери одной стипендии на жизнь явно не хватало.

Все это соседи знали и готовы были в любое время дня и ночи встать на защиту Ильи, помня, что закон жесток и жесток: кто не проживает на данной жилплощади, теряет ее. Однако и эти преданные соседи (в том числе и мать Бориса — Любовь Ивановна) были в недоумении: если раньше Илья возвращался из института поздно, а 2-3 раза в неделю не приходил ночевать, дежуря на травматологии, то теперь он не показывался дома неделями. Откуда им было знать, что Илья практически переселился к Еве. Борис был единственным, кто знал, где почти постоянно живет Илья.

Борис хотел поехать на своем велобензоветропедке в деревню сажать картошку. Но передумал. Не ехать передумал, а передумал на велобензоветропедке. Главной целью этой поездки была Маша. Его — ее — их возможное будущее.

Илья оказался впервые в жизни в положении семейного человека, домашнего мира которого замкнулся на любимой женщине. Этой женщиной была Ева. Каждое утро, когда Илья просыпался, он видел рядом с собой Еву. Она спала, положив голову ему на грудь. Каждый раз ему трудно было отодвинуться от спящей возлюбленной. Она чувствовала, что он оставляет ее, пусть на мгновение, на час, на день, но отстраняется, покидает. Это было, как принудительная репетиция неизбежного окончательного ухода. Или разрыва. А может быть, всеобщей катастрофы,

которая разъединит их тоже. Каждый раз Ева чувствовала мгновение, когда Илья выскальзывал из постели, оставляя ее на целый день.

Один из углов мастерской—студии служил кухней. Тихонько, чтобы не разбудить Еву, он ставил чайник на газовую плиту, жарил яичницу, намазывал маслом ломоть ржаного хлеба и, убегая в институт, целовал спящую Еву. До медицинского института было рукой подать. Он пробегал это расстояние за десяток минут, распевая вольные горластые песни, улыбаясь встречным—поперечным, перепрыгивая через лужи, словно открываясь миру при помощи первоначального пароля жизни по имени Ева.

Ева несколько раз принималась за бюст Есенина. Она получила доступ в Пушкинский Дом к посмертным маскам поэта. Казалось, все было у нее в руках и воображении. Однако потерялся какой—то ключик, который (если бы его найти!) позволял вернуть холодной глине виновато—растерянную улыбку, невозможное, но ведь существовавшее, по свидетельствам очевидцев, сочетание нежности и хулиганства, застывшее на его губах. Несколько раз приходил старый скульптор С-кий, прокашливался после поднесенного стограммового граненого стаканчика водки и прохаживался перед влажной простыней, покрывающей глину. Ева откидывала простыню для его критического обзрения. Из глины выступали очертания шеи и ключиц Есенина.

С-кий покачивал головой и покрякивал, что не означало ни одобрения, ни отрицания. Еве нужно было безусловное одобрение. «Понимаешь, Евочка, как будто бы все есть в этом человекоподобном куске глины, но чего—то самого главного — пока еще не хватает. Нет эволюции от деревенской березовой лирики до горькой разухабистости Москвы кабацкой», — «Говорят, что в вашем бюсте Есенина соединялось все это. Правда?» — спросила Ева, как она спрашивала своего учителя не раз, начиная с того времени, когда он вернулся на свободу из лагерной больницы.

Да, он был снова свободен. Ему даже заказывали кое—какие оформительские работы. Вернее, не столько ему, сколько, зная о его искалеченной руке, заказывали мастерской С—кого, в которую он набрал горстку молодых скульпторов, знавших его барельефы и бюсты по фотографиям и скудным посещениям музейных запасников. Среди учеников С-кого была Ева, только-что закончившая Академию Художеств. Он ей покровительствовал с особенной страстью, накопленной во время заключения и нерастраченной в его тогдашние годы. Было несколько лет, когда они жили вместе. Но потом, к общему согласию, разошлись, да и вся мастерская старого скульптора распалась на самостоятельные студии. Так Ева получила свой полуподвал-мастерскую на Карповке.

Но дружба сохранилась, заменив редкие ослепления страсти, и слава Богу, оставив чуть ли не дочернюю нежность и благоговение ученицы к Мастеру. Как правило, С-кий захаживал в студию Евы раза два в неделю. Если шел дождь, был снегопад или мела желтая метель оборванных ветром листьев, они оставались для разговоров в студии. Если светило солнце или, по крайней мере, была сносная погода, С-кий вытаскивал Еву на прогулку.

И на этот раз (было начало июня) С-кий вытащил Еву из ее полуподвала. Она называла эти прогулки исповедальными. Прошло пять лет, как они перестали быть любовниками. Это придало их встречам и разговорам истинную независимость, которая для профессионала в любой области интеллектуальной деятельности, а в особенности — в искусстве — важнее нескольких минут эротического бла-

женства. Они шли Каменным островом вдоль набережной Малой Невки. По берегам реки буйно цвела черемуха. Черные суцья были обсыпаны белыми соцветиями.

С-кий пришел на этот раз после длительного перерыва. После того вечера, когда Илья и Борис оказались незваными гостями Евы, старый скульптор решил не мешать частыми визитами развитию событий, которые его интуитивное чутье угадывало как начало серьезного увлечения. Может быть романа. Что-то задевало его, что-то мешало относиться ко всем этому, как к случайной встрече, которая никуда не приведет. И все же память не отпускала. Он звонил Еве несколько раз. Звал побродить по весенним набережным, как в прежние времена. Она отказывала ему под благовидными предложениями. По голосу Евы было очевидно, что она переживает нечто сильное, не оставляющее времени даже для прогулок с учителем. Все—таки С-кий настоял, убедил. Бог знает, как назвать силу воздействия слов человека, которому необходимо разделить свое состояние с близкой душой. Ева была его единственным другом.

И вот они на Каменном острове.

«Ты знаешь, Евочка, один из твоих ноябрьских гостей до странности напомнил мне довоенное увлечение. Нет! Увлечение будет абсолютной неточностью. Это была настоящая любовь. Я встретился с изумительной девушкой. Она была студенткой Лесотехнической академии. Это был конец тридцатых. Все ждали худшего, и оно незамедлительно пришло: начались массовые аресты, приговоры и расстрелы. Только я и моя возлюбленная, как будто бы ничего не замечали. А можно было предположить, что чекисты доберутся и до моей мастерской. Я тогда работал над бюстом Есенина. Хотя поэт давно не было в живых, он вспоминался партийными идеологами как певец кулачества. Я на это не обращал внимания. Успел закончить его скульптурный портрет в глине и перенести в гипс. В последнюю нашу встречу моя возлюбленная сказала, что она собирается стать матерью. Я не знал, что ответить. В такое опасное время было немыслимо заводить ребенка. У меня не хватило сил (и слава Богу!), чтобы отговорить ее сохранить беременность. Словно чувствуя, что меня вот-вот арестуют, я привез к ней свою единственную драгоценность — только что законченный бюст Есенина и еще одну незавершенную работу. Мои предчувствия оправдались: той же ночью меня арестовали, бросили в тюремную камеру, допросили и вынесли приговор: отбывать наказание сроком на десять лет в одном из северных лагерей ГУЛАГа под Вологдой. Как ты знаешь, я пробыл бы в лагере десять лет или даже больше, да помогло несчастье: я изуродовал правую руку на лесоповале. После тюремного госпиталя меня сначала сослали в северный Казахстан до окончания срока, потом, как ты знаешь, отпустили на волю».

«А что с этой девушкой, вашей возлюбленной?» — «В общежитии Лесотехнической академии мне сказали, что она еще до войны выписалась, и нового адреса не оставила. В канцелярии сообщили, что она взяла академический отпуск тогда же, когда выписалась из общежития, и больше в Лесотехнической академии не появлялась». — «Вы начали было с того, Иосиф Борисович, что один из моих незваных гостей напомнил девушку из довоенных студенческих лет. Я не ошиблась?» — «Да, мне так показалось. Но ведь это больше похоже на аберрацию памяти, чем на реальность. Все эти годы я терзался мыслями: что с ней? С ребенком, которого она собиралась родить? Когда я думаю, что мой сын или моя дочь живут где-то и не подозревают, что их отец мучается подобными догадками, я начинаю сходить с ума». — «Но что же делать, Иосиф Борисович? Кто и как в силах вам помочь?» —

«Кроме меня — никак и никто! Я даже дошел до того, что стал бродить по Лесотехническому парку: вдруг на какой-нибудь аллее я встречу мою возлюбленную».

С-кий посмотрел на Еву с таким отчаянием, что она готова была отдать все, что у нее было, лишь бы избавить старого учителя от душевной тревоги. И все же практический еврейский ум молодой женщины не мог не усомниться: «А почему именно теперь старый скульптор начал терзаться угрызениями совести или чем — то еще, имеющим более точное название, не пришедшее ей сразу на ум? И какая связь этих терзаний с тем, что один из ее ночных гостей (Борис? Илья?) напомнил С-кому давнишнюю любовь?»

Ева и С-кий проходили мимо стоянки рыболова. В ведре плескались рыбки размером в ладонь. Классическая невская корюшка. Их было с дюжину, не больше. Так что даже неловко было задавать традиционный и ни к чему не обязывающий вопрос: «Как ловля?» И вдруг поплавок дернулся несколько раз, погрузился в воду, а потом вовсе исчез. Леска потянула удилище.

Рыболов едва его удерживал, подставляя под рыбину сачок и вскрикивая от восторга: «Какой красавец! Ну, не сорвись! Не сорвись, милый!»

Это был крупный судак. Рыбак снял его с крючка и опустил в ведро. Корюшки показались лилипутами по сравнению с гигантским судаком — Гулливером. «Поздравляем! Какая удача!» — заторопились выразить свой восторг С-кий и Ева. «Вот видишь, Евочка, мы оказались свидетелями достигнутого на глазах человеческого счастья!» Всегда немного скептически настроенная, чуть циничная Ева ответила: «Что нам до его случайного рыбацкого везения?!» — «Бывают, Евочка, знаки свыше!»

Ева не была склонна слушать откровения С-кого, тем более что она боялась разрушить случайными догадками свалившееся на нее счастье любви. Что-то настораживало и даже пугало ее в этой истории с довоенной возлюбленной С-кого. Еве было так хорошо с Ильей, что она не заглядывала вперед. Не загадывала большего, мечтая сохранить настоящее. Она даже перестала приглашать к себе С-кого, а если и приглашала на чашку чая, то когда Илья был занят в институте. Как ни пытался С-кий возобновить разговор о своей довоенной возлюбленной, Ева уходила от этой темы, убедив себя, что лучше избегать намеренных или случайных встреч С-кого с Ильей.

Случайности преследуют нас.

В последний момент Борис Рябинкин прислушался к доводам разума и отправился к Маше поездом. Слишком важные дела предстояло ему решить. Так что путешествовать на велобензоветропедке было риском. Вдруг турбинка или моторчик подведут? А Маша будет ждать понапрасну. В ее положении это очень волнительно и даже опасно. От волнений могут начаться преждевременные роды. Борис, конечно, рассказывало своих сомнениях закадычному другу. И все же, самой главной заботой было найти жилье для них с Машей и будущего ребеночка. Тем более, что Борис мыслил так же, как его мать Любовь Ивановна: «Когда — то надо становиться отцом. Девушка она хорошая, из сельской интеллигенции».

«Да ты не ответил, где вы жить-то будете?» — «Пока у нас. А потом что-нибудь образуется».

Маша ждала поезда на платформе станции Оредеж. Чуть поодаль стоял газик с потертой и местами залатанной брезентовой крышей. Шофер опирался на полуоткрытую дверцу машины, лениво покуривая папироску. Поезд остановился. Борис сошел из тамбура по железным ступенькам на платформу. Маша увидела Бо-

риса и засмеялась, захлопала в ладоши безудержно, как ребенок. Даром что носила внутри себя их ребенка — Бориса и Маши. Она похорошела, как это бывает с молоденькими будущими матерями.

«Боренька, родной, приехал! Радость-то какая!» — Борис не знал, что и делать с этой юной женщиной, матерью его будущего ребенка, который тоже его встречает тут же на платформе, опустевшей после ушедшего поезда. Словно читая его мысли, Маша прижалась к его щеке, пригнув могучие плечи этого доброго великана по имени Борис, Боря, Боренька, Борюшка. Обхватила, пригнула, чтобы поцеловать в губы.

«Я тебе, Машенька, подарки привез. Тебе и твоему отцу с матерью», — сказал Борис. — «А мы стол накрыли. Родители с утра хлопочут. Отец дюжину бутылок закупил. А ты правда на мне женишься, Борюшка», — «А ты правда за меня пойдешь, Машенька?» — «Пойду!» — «Я тебе кольцо привез».

Так они на платформе и поженились.

При полном согласии Ильи была проведена генеральная уборка комнат. Любовь Ивановна выполнила эту главную веху в своем гениальном плане поселения сына Бориса с Машей и новорожденной девочкой (в том, что девочка, они не сомневались!), которую в знак любви и преданности другу Илье и в память о его покойной матери собирались назвать Асенькой. Борис дважды наведывался в деревню Борчево не только ради посадки картошки, но и, главным образом, чтобы во—первых: расписаться с Машей в Оредежском ЗАГСе (отдел записей гражданского состояния) и во-вторых: присутствовать при вручении Маше — Аттестата об окончании школы-десятилетки.

К счастью, одно событие совпало с другим. Маша ходила на девятом месяце беременности. Вместе с другими выпускниками и, конечно же, Борисом и своими родителями, она сидела в физкультурном зале школы-десятилетки, который был превращен временно в актовый зал. Борис держал молодую жену за руку. Маша едва успела получить из рук директора школы Николаевича Веревкина — Аттестат, как почувствовала сильную боль в пояснице. Надо было спешить в Оредежскую больницу. Родилась девочка Ася. И вот Любовь Ивановна готовила комнаты Ильи к приезду сына с молодой женой и новорожденной внучкой.

Договорились, что Илья будет ночевать (в те дни, когда он не в мастерской Евы и не на дежурстве в отделении травматологии) в первой из двух комнат, которыми он владел в коммунальной квартире под номером десять, дома номер один, по Новосельцевской улице. Борис, Маша и Асенька поселятся в следующей — угловой комнате. Надо сказать, что Илья еще раз подтвердил, что он искренний настоящий друг, способный без промедления пойти на жертвы. Правда, после дежурств, научных исследований и посещения лекций и клинических занятий в медицинском институте у Ильи не было никакой устремленности, кроме как спать беспробудным сном.

Как это ни звучит цинично, мастерская Евы, расположенная в десяти минутах хода от медицинского института, очень подходила к сумасшедшему графику жизни Ильи.

Итак, Любовь Ивановна подготовила жилище для молодой пары с новорожденной внучкой: Бориса, Маши и Асеньки. То есть главным образом навела порядок в обеих комнатах, принадлежавших Илье Равину. Самым важным инструментом, как орган на сцене Филармонии (не берусь называть его частью мебели!), в этом оркестре домашних деревянных инструментов (столы, стулья и прочая утварь

и одежда) была круглая железная печь, вмурованная в стенку-перегородку между первой и второй комнатами.

В первой из них, кроме печки, стояла железная кровать, на которой Илья спал, начиная со школьных лет. К другой половине стенки-перегородки была приставлена кушетка. К ней примыкал буфет с посудой. Между кроватью и кушеткой громоздился стол, за которым Илья занимался в школьные и продолжал заниматься в студенческие годы. В другой комнате стояла большая кровать, диван, книжная этажерка и круглый стол для праздничных обедов с приглашенными гостями, чаще всего родственниками. Со смертью матери Ильи ничего подобного больше не происходило. У задней стены второй комнаты стоял шкаф, в котором хранилась одежда и лежали разные коробки с обувью или какими-то вещами, оставшимися от матери. Там же, чаще всего в беспорядке, валялись вещи Ильи.

Не будем тратить время на более подробное описание поистине гигантских усилий Любови Ивановны, которая потратила три дня в счет отпуска, чтобы вымести, вымыть, вытрясти и упорядочить верхнюю одежду, белье, посуду и прочее и прочее, пока в буфете, стоявшем в первой комнате, не обнаружила она парусиновый мешочек с пришитой на нем биркой, на которой тушью было написано: СОХРАНИТЬ! Крестьянским умом додумалась Любовь Ивановна, что это нечто важное. К тому же она наверняка узнала почерк Аси Равиной. Она помнила этот почерк.

В школьные годы сыновей Люба Рябинкина и Ася Равина отправляли Борю с Ильей вместе в пионерский лагерь. На рюкзачке Ильи было всегда каллиграфически четко написано тушью: Илья Равин. И передачи, которые они по очереди отвозили всегда полугодным детям, были подписаны тем же почерком. Она не стала заглядывать внутрь мешочка, а запрятала его в уголок нижней полки буфета — за обеденными тарелками. Между делом сказала Любовь Ивановна об этом мешочке сыну Борису. Ведь ему предстояло жить в комнатах Ильи, прежде — в комнатах покойной Аси Равиной. Предупредила, чтоб не выбрасывал, но и не мозолил глаза этим мешочком — Илье: «Зачем бередить затихшую рану?»

Как объяснить предательство предателю? Ведь предатель никогда не признается себе в том, что он совершил предательство. Чаще всего находится тысяча оправданий в том, что предательство (таковым предатель даже и назвать свой поступок не решится) совершено ради какой-то светлой идеи.

Прошло три месяца, как Борис, Маша и Асеня поселились у Ильи Равина. Он забегал иногда домой, даже ночевал время от времени в первой из своих двух комнат, но чувствовал себя все основательнее и естественней в мастерской Евы. В тот запомнившийся день, из которого обозначилось несколько важных ростков сюжета, Илья позволил себе подольше нежится на тахте.

Занятия начинались с 11 часов в онкологической клинике. Потом предстоял завершающий эксперимент на мышах. Животных облучали высокой дозой радиации и немедленно вводили внутривенно лимфоциты от здоровых мышей. Пересадка лимфоцитов должна была вернуть облученных мышей к жизни. Потом была лекция по госпитальной хирургии. В завершении всего нависало дежурство (до утра!) в травматологии. Ева давно попила кофе и «месила глину». Так Ева называла свою работу, предшествующую снятию копии в гипсе, а потом отливке в бронзу. Услышав, что Илья проснулся, она вымыла руки, скинула брезентовый фартук и, сбрасывая на ходу одежду, бросилась на тахту. Это была их общая привычка, уклад жизни, установившийся между Ильей и Евой, лежать рядом на тахте и неспеша, разговаривать о жизни, о предстоящих на день планах.

Это была психологическая подготовка, что ли, к начинающемуся дню, который всегда разлучает их до ночи. И в то утро они сидели за чашкой кофе и утренними бутербродами: ломоть хлеба, голландский сыр, докторская колбаса, и разговаривали.

Настроение у Евы было глухое, осеннее. «Ты спрашиваешь, Ильюша, что со мной? Тоска подступает, сама не знаю откуда и почему», — «Чего бы ты хотела больше всего на свете?» — «Ты знаешь, Ильюша (ей нравилось повторять его имя Ильюша), как ни странно, я все время вспоминаю о разговоре, в первый вечер нашего знакомства. Вы с Борисом вторглись ко мне. Ты еще тогда повредил ногу...» — «Ну конечно! В тот вечер я остушился, подвернул ногу, а заодно влюбился в тебя, Евочка!» — «Да, ты смешной! За это я люблю тебя, Ильюша. Ну, а если серьезно. Ты спрашиваешь, почему я загрустила? Наверно, немного устала. Да и с бюстом Есенина что—то не получается». — «А что говорит С-кий?» — нетерпеливо перебил ее Илья.

«Он видит, что я делаю неверно. Он прав. Я сверяю свою работу с сохранившимися фотографиями и не вижу внутреннего сходства. Сверяю с посмертными масками поэта, не вижу внешнего сходства. А где ошибаюсь — не знаю!»

Илья отхлебнул глоток кофе: «Может быть, на некоторое время тебе лучше отстраниться от старого учителя? Или что-то в этом роде. То есть, тебе, Евочка, надо уйти из зависимости от его нынешних идей и вернуться к развитию прежнего долагерного стиля?» — «Да, это был пик творчества С-кого! Кстати, помнишь тогда, в первый вечер, ты рассказывал о каком-то бюсте, который был нечаянно разбит?». — «Да, мама разбила бюст Есенина. Но осколки не выбросила. Почему-то хранила. Это я точно помню», — «А ты... не мог бы ты найти эти осколки?»

Илья был настолько влюблен в Еву, что готов был выполнить любое ее желание. Он прикинул, в какой из ближайших дней удастся ему сгонять в Лесное, в свой дом, в свои комнаты, чтобы найти осколки бюста, хранившиеся его матерью. Как будто бы она предчувствовала, что когда-нибудь осколки понадобятся сыну.

В ближайший свободный от экспериментов и дежурств вечер Илья отправился к себе домой в Лесное. Замечательной (в том смысле что исключительной) чертой времени тоталитарного социализма было почти поголовное отсутствие личных телефонов. Очень редки были даже телефоны коммунальные. Без телефонов жизнь была полна неожиданностей. Не было телефона ни у Бориса Рябинкина, ни у Ильи Равина, ни даже в коммунальной квартире, две комнаты которой принадлежали Илье Равину. Так что предупредить Бориса о своем предстоящем визите Илья не успел. Да и зачем было кого-то предупреждать? Ведь он ехал за осколками гипса к себе домой. Илья нащупал ключи. Он вошел с лестничной площадки в квартиру, прошел через кухню, поздоровался с соседками, варившими свои бесконечные щи да кашу, постучался в свою собственную дверь, приоткрыл ее и услышал тихий голос Маши, убаюкивавшей во второй комнате Асенюку.

Молодая мать настолько глубоко ушла в свое состояние, когда физиология и анатомия (форма и функция) матери и младенца сливаются друг с другом, что не заметила и не услышала прихода Ильи. Он тоже решил ее не тревожить. Илья знал, что и где искать. Ступая, как опытный детектив или грабитель, Илья пересек первую комнату, подошел к буфету и распахнул его дверцы. Теми же мягкими движениями рук, которые присущи сыщикам, экспериментаторам и взломщикам, Илья нашарил за большими фарфоровыми тарелками мешочек, содержавший некие уловатые кусочки.

Он вытащил мешочек и прочитал надпись, выполненную каллиграфическим почерком его матери, СОХРАНИТЬ! Если его замысел окажется верным, это было то, в чем так нуждалась Ева. А как же старый учитель С-кий? А как же воля матери сохранить осколок бюста Есенина как есть? Или существует нечто, о чем Илья не знал и даже не мог догадаться? И поэтому могли ли он ждать еще?! Это нечто руководило его решительными и мягкими движениями.

Читатель вправе усомниться, так ли невозможно было связаться по телефону? Конечно нет! Илья и Борис знали, что в случае крайней необходимости можно было позвонить (и они иногда звонили) Илье — в лабораторию иммунологии, а Борису — в экспериментальную мастерскую. Илья это сделал, вернувшись в студию Евы.

Он позвонил Борису, который (повезло!) оказался в экспериментальной мастерской доводя до ума свой велосипед с воздушной турбинкой. «Как там мой?» — с отцовской гордостью и дружеской наивностью выкрикнул Борис в трещащую металлическими скрежетами трубку. К своему стыду, Илья ничего толкового ответить не мог, послав по телефонным проводам банальное (даже в тогдашней России): «ОК! Не хотел их будить, — и добавил: — Я забрал один мешочек, принадлежавший моей маме». — На что Борис отозвался разменной монетой: «ОК!»

С этого дня Илья с Евой стали заговорщиками, что еще раз подтверждает весьма относительную разницу между оброном и злом в толковании человеческой морали. Полулегально забрав мешочек с осколками гипса, Илья, мягко говоря, преступил мораль. Но ведь поступал он так ради возлюбленной Евы, что оправдывало его действия. Все это относится в равной мере к Еве, которая преступала мораль ради искусства.

Через два-три дня, дождавшись возвращения Ильи из института и накормив его традиционным блюдом — сосисками с макаронами, а потом напоив компотом из сухофруктов, Ева несколько издалека повела разговор: «Ты прости, Ильюша, что я не даю тебе покоя с этими осколками предполагаемого бюста Есенина. Но ты взялся помочь мне, и я должна рассказывать, как идет дело с этим мешочком», — «Это не то, что тебе нужно?» — «Не сердись, Ильюшенька. Наверняка это единственное, что ты нашел, но...» — «У тебя какие-то сомнения, Евочка?» — спросил Илья, начиная злиться на самого себя, что ввязался в эту историю, которая чем-то царапала его представления о чести.

И хотя ко всему привыкаешь, преступать через свои собственные представления о правилах социальной игры — самое неприятное занятие. Ева это мгновенно заметила. Она постепенно научалась следить за сменой эмоций возлюбленного и регулировать их своим изощренным умом и врожденной ласковостью.

«Ты видишь, Ильюша, я придумала использовать болванку вроде тех полуманекенов, что применяют, скажем, шляпники. Я подбираю кусочки гипса и прилаживаю один к другому на болванке. Но понимаешь, у меня впечатление, что в мешочке два рода осколков гипса», — «Что это значит — два рода осколков гипса, Евочка? Я что-то не ухватываю. Ну, это и понятно: я ведь медик, а не скульптор. Хотя постоянно имею дело с гипсом на травматологии». — «У меня впечатление, Ильюша, что в мешочке находятся осколки гипса по крайней мере двух бюстов, вылепленных в разное время», — «То есть...». — «То есть осколки надо разделить», — «Постой, постой, Евочка, а что если бы удалось?». — «Это бы сильно продвинуло мою работу. Но кто это сможет сделать?» — спросила Ева, и в ее вопросе слышались скорее разочарование и усталость, чем надежда на успех. — «Ни-

чего нет безнадежного, Евочка! А что если я попрошу помочь Левочку!?)» — «Кто этот Левочка?» — «Это Леопольд Леопольдович — отчим Бориса! Он специалист по электронной микроскопии!»

Едва дождавшись вечера и отодвинув на пару часов свои дежурства и эксперименты, Илья снова помчался в Лесное. Не заходя к себе, он направился сразу в квартиру напротив — там жила Любовь Ивановна с Леопольдом Леопольдовичем (Левочкой). Было то самое время, тот блаженный час, когда, отобедав, Леопольд Леопольдович забирался в покойное глубокое кресло под торшером и погружался в очередной роман из обширного собрания сочинений Вальтера Скотта. Кажется, это был «Айвенго».

Так что визит Ильи Равина пришлось на то удачное время, когда под впечатлением симпатии к еврейке Ребекке внутренний голос Левочки временно склонялся в сторону допущения, что евреи — это не столь ужасная часть человечества. А тем более Ильюша, к которому Левочка относился почти как к сыну, продолжая без колебаний воспринимать Бориса как нелюбимого пасынка. Любовь Ивановна принялась уговаривать Илью отобедать. Но ему не терпелось приступить к делу, ради которого он приехал к Левочке. Сообразительная Любовь Ивановна, кстати, спохватилась, что надо пойти в гастроном купить сыру/колбаски для завтрашних бутербродов драгоценному Левочке с собой на работу.

Едва закрылась дверь за Любовью Ивановной, Илья приступил к разговору с Левочкой, которого он почтительно называл Леопольд Леопольдович. Из корреспондентской сумки, с которой повсюду путешествовал Илья, извлечен был мешочек, затянутый тесемкой. Илья ослабил тесемку и высыпал на предварительно расстеленную газету кучку гипса. Левочка вытащил себя из глубокого кресла и склонился над содержимым мешочка. «Ильюша, — сказал Левочка в раздумье. — Что прикажешь делать с этим расколотым гипсом?» — «Правильно, Леопольд Леопольдович! Это гипс. А возможно ли определить, что этот гипс состоит, по крайней мере, из двух типов неоднородных по структуре кусочков?»

Левочка порылся в осколках гипса и снова сказал в раздумье: «Кажется, так», — «А разделить на однородные кусочки?» — «Разделить на однородные кусочки можно только при помощи электронной микроскопии», — «Леопольд Леопольдович, можете вы это сделать?»

Илья хотел добавить, что от этого зависит судьба его возлюбленной, а значит — и его судьба. Он был до того возбужден, что готов был рассказать Левочке о хранившемся в их семье бюсте Есенина, о том, как дорожила им покойная мама, как горевала она, нечаянно разбив бюст. Но все это не понадобилось. Более того, лишняя информация усложнила бы жизнь Левочки, которая и так была непростой, поскольку ему на роду было написано обитать среди чужих ему людей — русских и евреев. Поэтому он замахал руками, предупреждая Илью от последующих объяснений.

«Как мне вас найти?» — спросил Левочка и записал телефон иммунологической лаборатории, где чаще всего находился Илья.

Выдался на редкость яркий осенний день. Такие выпадают нечасто в нашем хмуром городе. Обычно это примета близких утренних заморозков с метелью желтых листьев, сорванных норд-остом. Ева по-настоящему захандрила. Как будто бы она впала в полную зависимость от результатов исследования, которые проделывал с гипсом Леопольд Леопольдович. А тот молчал, как будто забыл о просьбе Ильи.

Конечно же, была еще другая причина для волнений. На очередном осмотре Евы участковая докторша обратила внимание на увеличенный лимфатический узел в правой половине шеи, над ключицей. Еву направили в онкологический диспансер. Там наблюдения терапевта подтвердилось.

Врач-онколог назначила диагностическую пункцию увеличенного узла, от которой Ева решительно отказалась: «Вот закончу работу над бюстом, тогда пожалуйста — берите пробу!» Илья видел, что с его возлюбленной творится что-то неладное. Ничего не зная о посещениях Евой врачей, он сваливал все на тягостное ожидание ответа Левочки. Но торопить Леопольда Леопольдовича Илья не решался.

Может показаться странным, что ни одним намеком Илья не поделился со своим другом Борисом о контактах с Левочкой. Более того, даже Любовь Ивановна умолчала о визите Ильи и его делах с Леопольдом Леопольдовичем. Такое было время. На всякий случай люди привыкли держать язык за зубами, свято следуя пословице: «Держи язык за зубами, будешь есть пирог с грибами!» Точно также умолчал Илья, то есть не открылся Борису, о своем мимолетном видении, промелькнувшем как привет детства: заснеженный Лесотехнический парк, четырехлетний Илья, мама и человек, которого напомнил старик С-кий.

Наконец Леопольд Леопольдович позвонил. Это было как раз тогда, когда Илья заканчивал самый сложный эксперимент на мышах, половина которых была облучена (контроль), а другая половина животных, кроме облучения, получила внутривенно костный мозг здоровых мышей-доноров. Если мыши, которым ввели костный мозг необлученных животных, выживут — эксперимент удался. Можно переходить к лечению больных раком крови. Как раз после того как Илья закончил вводить костный мозг последней из подопытных мышей, позвонил Левочка: «Илья, приезжайте! У меня есть сюрприз для вас!» На этот раз Илья договорился, что заглянет к Левушке в лабораторию электронной микроскопии. Тем более что институт вирусологии с лабораторией, где работал Левочка, находился в двадцати минутах ходьбы про Кировскому проспекту.

В голубом лабораторном халате Леопольд Леопольдович выглядел, как крупный ученый-экспериментатор. И вправду, так сложилась его судьба, что из-за десятка самых противоречивых обстоятельств Левочка не получил никакого диплома. Это заставляло его горько усмехаться, когда он видел свою фамилию одной из последних в списке лиц, которым успешно защитившиеся кандидаты или даже доктора наук во время банкета, в приятном подпитии, откровенно признаются в том, кому они всем обязаны.

Это положение вечного прислужника далеко не блистательным господам-ученым, как термит дерево, точило Леопольда Леопольдовича. Поэтому так вдохновила его просьба Ильи. Поэтому, с рвением и энтузиазмом Левочка взялся за выполнение этой физико-химической задачи под контролем электронного микроскопа. А когда закончил, мог гордиться своим умом, умением и усердием. «Ильюша, вот две фракции гипса, на которые я смог разделить ваш материал», — сказал Левочка и передал две коробки с кусочками гипса.

В корреспондентской сумке перестукивались две коробки с кусочками гипса, разделенными Леопольдом Леопольдовичем. Илья спешил показать их Еве. Он почти добежал до мастерской—студии, когда чувство неосознанной тревоги задержало его бег. Ему было знакомо это чувство. Что-то предупреждало его об опасности. В определенной мере это чувство тревоги помогало ему выживать. Надо

было с кем-то близким посоветоваться. Мать умерла. У отца были свои заботы о новой семье, в которой, как догадывался Илья, было ему несладко.

Оставался Борис. Но, поскольку разгадка тайны гипса была связана с Левочкой, Илья не хотел беречь затаенные чувства Бориса и ставить Левочку в неловкое положение. Ведь он помогал другу нелюбимого пасынка. Что-то не позволяло Илье быть до конца откровенным с Евой. Он чувствовал, что в сфере, внутри которой он оказался, замкнуты трое: он сам, Ева и старый скульптор — С-кий. Было ясно, наверняка, что в одной из коробок лежат осколки бюста Есенина, которых так ждет Ева. А в другой? И какая из них которая? Как это бывает с людьми азартными, Илья решил положиться на случай.

Тем более что по невероятному совпадению (предначертанию судьбы?) в студии оказался старик С-кий. Обрывки разговора, начатого, не сию минуту, а гораздо раньше, убеждали Илью, что лучше бы ему опоздать или вообще ночевать в этот день в Лесном, в своей комнате. К тому же его мучила совесть, что он совсем забросил Бориса и его семью:

«Даже побрякушки не купил для маленькой Асеньки!» — упрекнул он себя.

И снова поймал себя на мысли, что лукавит сам с собой: избегает встреч с Борисом из-за своих тайных встреч с Леопольдом Леопольдовичем. «Почему я утаил это с самого начала от Бориса?» — ругал себя Илья. Да было поздно. Так же, как и теперь, когда он застал Еву и С-кого за чаепитием. «Садись с нами, Ильюша! Наливай себе чай, перекуси!» — сказала Ева.

Илья услышал в ее голосе печаль. «Что случилось, Евочка?» — спросил Илья, но как-то безразлично, потому что снова, как в ночь знакомства со С-ким, возникло видение. Илье припомнилось что-то далекое. Какая-то переводная картинка из довоенного детства перенеслась из дальней дали на загринтованный холст нынешнего вечера. Прогулка с мамой в заснеженном парке Лесотехнической академии.

Неизвестный мужчина, вышедший из-за ствола громадного дуба Петровских времен. Испуг и растерянность мамы, освободившей руки из печурки короткошерстой черной котиковой муфты: «Уходите! Уходите!» Кто — по имени — должен был уходить, не вспомнилось Илье. Теперь он понял: старик С-кий ассоциировался с давней картинкой: отдаленный во времени неизвестный мужчина, мама, совсем юная, и он — Ильюша малышоваго возраста. Чутьем художника, а С-кий был скульптор, ваяющий портреты, и значит — физиономист — старик уловил сумбурность мыслей и чувств, проявившихся на лице Ильи. Испугавшись этого знания, С-кий заторопился уходить, выкрикнув в спешке от полуоткрытой двери: «Звони мне, Евочка. Звони, когда все решится!»

Он ушел, а Илья бросился целовать Еву, умоляя ее раскрыть суть происходящего.

Об успехе Леопольда Леопольдовича Илья тут же рассказал, вытащив из корреспондентской сумки обе коробки с осколками. «Спасибо, родной мой мальчик!» — обняла она Илью. И все же не было никакой возможности больше утаивать. «Да, у меня лимфома. Ты — медик, знаешь, что это такое. Пожалуйста, не бойся. Форма у меня незапущенная. Поддается комбинации химиотерапии с облучением. Во всяком случае, у многих больных с такой же стадией», — «И когда начнется терапия?» — «Я упростила дать мне две недели. Ведь я должна закончить реставрацию бюста», — «С какой же из двух коробок ты начнешь, родная?» — «С вот этой! Нет, с той! Кажется, в ней побольше осколков гипса». — «Может быть дру-

гая коробка — просто заготовки?» — спросил Илья. — «Или еще один бюст — незаконченный? Я что-то припоминаю из разговора со С-ким. Нет! Забыла начисто!»

Словно испугавшись своей гипотезы, Ева начала с коробки, в которой было больше кусочков гипса. Она работала, как будто понимала, что надо закончить, пока она в силах. Действительно, на болванке-полуманекене начали проступать черты молодого мужчины. Лицо оживляла горестная усмешка, словно бюст давал понять, что упорная борьба с тоской не дала ничего: карты биты. И, несмотря на маску смерти, затягивавшую мягкие черты оригинала, это был Есенин.

Мозаика осколков сложилась в посмертный портрет поэта. Что было делать дальше? Она бросилась к телефону-автомату звонить С-кому. «Приезжайте!» — только и успела крикнуть в телефонную трубку Ева, как почувствовала, что силы оставляют ее.

Она открыла глаза в больничной палате. На койках сидели и лежали больные. В ногах Евы по одну сторону постели сидел Илья, по другую — С-кий. Он первым увидел, что Ева проснулась. Тронул Илью за руку, чтобы порадовать его.

«Евочка, как ты?» — «Я... я не знаю, что происходит? Вы оба здесь в больничной палате. Я помню, что хотела позвонить, обрадовать, что Есенин оживает. Потом ничего не помню», — «Да, это бюст Есенина, тот самый, который казался навеки утраченным», — сказал С-кий. — «Замечательно! Но как он попал в мой дом» — сказал Илья задумчиво.

Трудно было понять, обращается ли он к себе или допускает в круг своих размышлений Еву и С-кого. Ева спросила:

«Когда меня выпишывают? Вы помните, что есть и другая коробка с кусочками гипса. Вдруг она поможет найти ответ?» — Ева посмотрела на С-кого. Старик молчал.

«Евочка, послушай, — сказал Илья, осторожно отводя пряди ее волос с лица, чтобы наклониться к ней и поцеловать. — Ты получила курс радиотерапии и в дополнении к ней — внутривенно химиотерапевтические препараты. Завтра тебе пересадят костный мозг от здорового донора. Это сейчас главное», — «Постой, постой, Ильюша, ведь это так похоже на твои опыты, про которые ты мне недавно рассказывал?». — «Да, мне удалось убедить лечащих врачей, что пересадка необходима для твоего выздоровления, Евушка», — «Кто будет донором?». — «Так совпало, что у нас с тобой полная совместимость», — «А это не опасно для тебя?» — «Нет, несколько», — «Спасибо, любимый!»

В разговор вмешался старый скульптор: «Пока ты будешь выздоравливать, Евочка, я попробую решить ребус со второй коробкой. Как-нибудь справлюсь с подбором мозаики из загадочных гипсовых кусочков».

Шел второй день после трансплантации Еве костного мозга, взятого у Ильи. Раньше, чем через сутки, Илью не могли отпустить из клиники. Еве в лучшем случае обещали выписаться через неделю.

Старый скульптор работал вдохновенно. Так было когда, незадолго до войны, он начал ваять скульптурный портрет Аси — своей возлюбленной — студентки Лесотехнической академии. Тогда на прощанье он успел передать Асе бюст Есенина и ее незаконченный скульптурный портрет. Все эти годы С-кий был уверен, что обе работы утеряны.

И вот — клубок начал разматываться. Два чувства боролись в душе старого скульптора: радость, что его работу не уничтожило время, и страх перед сознанием, что он откроет Еве и Илье правду прошлого. Чем дольше подбирал старик осколки

гипса из второй коробки, тем яснее становилось, что под его пальцами оживает портрет возлюбленной Аси, который странным образом напоминал лицо Ильи.

Однажды, когда Ева еще лежала в больнице, старик спросил у забежавшего на минуту Ильи: «Как звали вашу покойную маму, Илья?» — «Ася. Ася Равина. А что?» — настороженно спросил Илья. У него были основания предполагать некую тайну, которую скрывал от него С-кий.

Еве оставалось два-три дня до выписки. Каждую свободную минуту Илья проводил у ее постели. Несколько раз заглядывал С-кий. Он работал в мастерской Евы, временно туда переселившись. К вечеру, когда возвращался Илья, С-кий закрывал реставрируемый бюст. Илья ни разу не попросил старого скульптора показать работу. Слово прятался от истины. Они жили вдвоем с Ильей в мастерской Евы.

«Как отец и сын», — подумал старик. Все чаще и чаще в облике воссоздаваемой молодой женщины проглядывали черты, поразительно напоминающие Асю из далеких довоенных лет и — одновременно — Илью.

«Что же делать?» — мучительно размышлял старый скульптор. Еще немного и откроется Илье, что человек, которого он всю жизнь называл отцом, вовсе ему не отец, а дублер, женившийся на беременной (от С-кого) Асе.

Начнется цепная реакция узнаваний. Илья обнаружит, что его настоящая фамилия — С-кий, а не Равин. И самое страшное: окажется, что Илья и С-кий (отец и сын) связаны Евой.

С-кий осторожно снял с болванки-манекена приклеенные раньше разноугольники гипса и положил их в полиэтиленовую сумку. Это были осколки гипса, в которых он разглядел черты лица Аси. В мастерской скульптора всегда можно найти куски разбитого гипса: разнообразные осколки неопределенной формы.

Если повезет — даже осколки гипса от неосуществленных работ, в том числе и скульптурных портретов. С-кий обошел мастерскую. Насобирав остатки гипса, расколотого на кусочки. И тоже положил в сумку вместе с кусочками Асиного портрета, снятыми с полуманекена. Одежда и вышел с этой сумкой на улицу.

Идти было недалеко. Он свернул с Кировского проспекта к набережной Карповки и пошел вдоль парапета. Заброшенные ступеньки привели его к воде. Он силой невероятного напряжения вспомнил прощальную еврейскую молитву, начинающуюся и заканчивающуюся именем Б-га, и включающую в себя имя Аси. И бросил сумку с останками гипса в темные воды речки Карповки.

Зима 2012—2013 гг.



Михаил Юдсон

ВБР

Глава из романа "Лестница на шкаф"

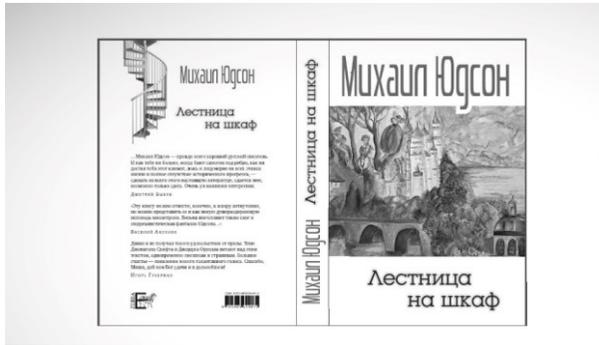
*"Собирались лодыри на урок,
А попали лодыри на каток". Самуил Маршак*

*"И сказал Господь Самуилу:
вот, Я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит,
у того зазвонит в обоих ушах". 1-я Книга Царств, 3:11*

"...и жид полезет на крепость". Гоголь, "Игроки"

I. Зима. Вред

*"Унылый дождь стоит в оконной раме,
Смывая с бытия за часом час".
Вивальди. "Времена года. Зима", пер. А. Бродского*



1

Зимний дождь заливал летное поле. Через мутный зарешеченный иллюминатор Илья видел вдали желтовато мерцающий купол аэровокзала — как перевернутая площадка со светящимся жиром. Поле окаймляли странные деревья с толстыми чешуйчатыми стволами и метелками наверху — сразу напомнившие детство при печке, скитания на санках в снежной пустыне, тихое собирательство в заплечный альбом, зубчатые квадратики давно исчезнувших диковинных стран...

Ровный механический голос возник с потолка: "Дорогие товы и временно допущенные посетители страны! Наш ледокрыл без орехов произвел посадку в аэропорту "Френкелево" столицы Ближне-Восточной Республики городе — веч-

ном герое Лазаря. ("Голос железный, а женский. Баба каркает", — догадался Илья.) Местное время — третья стража, первый обход. День от Бани второй, канун девятого поста. Погода за бортом — дождь. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки завода пружины и завершения предварительного осмотра. Присим всех положить руки на подлокотники ладонями вверх и не залупаться!"

Народ вокруг, улыбаясь — долетели, спасибо, не грохнулись икаркой, вспомнить только болтанку, когда в облаках прорубались, тянули до посадочных огней, — заоплодировал, завозился в креслах, освобождаясь от пут. Илья прикрыл глаза, дважды прочитал про себя, шевеля губами, "Слышь...", и — что ж, будь по-вашему, — отстегнул ремни и послушно положил руки ладонями вверх на истертые плюшевые подлокотники.

Из стен плавно и торжественно, вызывая щемящее ощущение сопричастности, единения, нежной надежды — эх, слезы да мурашки! — зазвучала старозаветная музыка: "Мы дивный новый мир построим — в колонну по пять Лазарь поведет..." Прибыли. Впрямь. Расступились воды небесные. Аэропорт! Страна Из. Ближний свет. Попал в молоко и мед. Точняк-медуяк, кудык вывел Изход...

Крепкий смуглый местный чиновник, Смотрящий, — уже двигался по проходу, позвякивая шпорами на "пархарях" гармошкой. Был он по-зимнему — в пятнистом комбинезоне, шерстяной берет-шестиклинка засунут под погон, тяжелый штурмовой "бергер" — раструбом вниз через плечо. На шее шарф с вышивкой "За взятие Храмовых высот".

Ого-го, ерусалимский кавалерист, значит, иго-го, из Дикой Пароконной, а сколько ж их уцелело, меченных, раз-два и обчелся, горстка отважных, душ семьдесят, мясорубка жуткая, историческая, в Садах Иссахаровых, на Шестом Форте, сами полегли и тем ни пяди, постойте, батюшки, но это когда было-то, сколько йот тому назад... отцовский башлык донашивает, должно быть... у них это так, чтят...

Смотрящий остановился возле Ильи, тряхнул рыжим чубом и устался на него пронзительно:

— Ну? Прискакал уже?

— Да, — кивнул Илья и добавил на местном: — Таки.

— Уже я вижу, хвала Лазарю, — процедил Смотрящий, бурвя Илью темным глазом. К прикладу "бергера" у него синей изолентой были примотаны два пластмассовых рожка-магазина, а сам стрелковый прибор еще недавно был, видимо, укутан тряпками для сохранности — попахивало.

— А чопа к нам — подхарчиться ночами? Продотрядовец?

— Да нет, на симпозиум я.

— А-а, на тот самый *симпозиум*, — внезапно ухмыльнулся, сверкнув железной фиксой, чиновник и выразительно прицелкнул себя по кадыку. — Вот что нас губит! Пришелец, стало быть, вы, выходит, в нашей обители. Временно допущенный, "вред"...

Он построил серьезную физиономию, канун поста все же, шаркнул сапогом со шпорою: — Рады приветствовать вас на святой земле Республики, родной и любимой! Желая хорошо погужеваться! Полную цалахат ацлаха вам, с верхом!

"Тарелку удачи", перевел себе Илья, подивившись — понимаю дикие эти звуки, не зря зубрил.

Тушечница болталась у Смотрящего на ремне, в планшете нашелся набор игл. Грубой толстой иглой, обмокнутой в красную тушь, он быстро и ловко — Илья и ахнуть не успел — выколлот на левом запястье Ильи слово "вред", и рядом

номер — пяток цифр (какая-то постоянная?). Подмигнул: "Держи пять!" и двинулся дальше, цокая подковками и цепко осматривая прилетевшую массу:

— Проверка на вшивость, *шмокодявки* недорезанные! Ваш мандат, пожалуйста. Благодарствую. А ты чего на нем вареный такой? И уши опущены... Ты кто таков будешь? Где там сбоку написано? А-а... Откуда? Всюду жизнь, в лаг, везде белок... О-о, там кого я вижу, посыпь меня пеплом — корову рыжу! — лейб-эскадронски окая, радостно заголосил Смотрящий, раскидывая руки. — С задания? Ну как, на ять, прописал ижицу? Ускребся? И то... Но стекло натолок? А консерву вздул? Ой, вечный герой! Ну все, лаг, сверли дырочку...

Механический голос, идущий отовсюду, молвил:

— Дорогие товы! Будьте добры, на выход! И, если не затруднит, — с вещами!

Воздухоплаватели стали выбираться из тесных кресел и скапливаться в узком проходе. Какие там вещи, всё в багажнике. Просто фигура речи — мол,возврата нет, ребята, приплыли в Сяксюда, как насвистывал, бывало, рядовой Ким в осажденной хлебобрезке.

— Помните о руках! — заботливо предупредил голос.

"Странность у них тут какая-то очевидная, долбанутость, — хмуро думал Илья, дисциплинированно выстроившись в затылок, руки держа как сказано — перед собой, ладонями вверх — и мелкими шажками продвигаясь к выходу. — Нумератора элементарного на батарейках не завели, ручную колют... Иголка, несомненно, ржавая, грязная. Рука теперь безусловно распухнет. Вот номер — я чуть не помер!" Он посмотрел на руку. И криво вдобавок. Не говоря о том, что считывать нечего — вульгарная цифирь, сразу в глаза кидается, как купола промеж лопаток. Это вот когда машиной по тебе выкальвают, с завитушками — поди распознай текст и масть! "Ла-адно, брат, — усмехнулся Илья. — Скажи еще спасибо, что знак "Г" на щеке не выжгли, как прежде наинизшим. Хуже другое — мобильник вздур как назло не пашет, разрядился, верно..."

Он, плонув на требования механической бабы, вольно опустил правую руку и потыкал в кнопки висящего на поясе аппарата — набрал номер своей кафедры, оставить условное сообщение коллеге Савельичу, что дух в ажуре, долетел нормально ("Свершилось!") — однако, увы, и к уху подносить не стоило, ничего путного — жужжание сплошное раздражающее, посторонние шумы кабыкали: "если", "еслить", "еслинно"... Стюард-баландер пихнул его сзади под колени своей гремящей металлической тележкой на колесиках с грудой вылизанных за полет мисок, рыкнул: "Нуте-с! Пошел!" Илья молча посторонился.

Рыжий конопатый Смотрящий, пригопыывая сапожками, стоял возле люка и для порядка выборочно оделял выходящих бедолаг тычками и шелбанами.

— Сачку, в лаг, за испуг! — хрипел он счастливо, и за версту несло от него чесночным вином. Илью тоже звезданул прикладом пониже спины: — Шевелись, вредятина! И грабки не распускай!

Вот непонятно было, как к эдакому отнестись — вежливо изумиться, отползти смиренно? Или же очечь взглядом, выкрикнуть местное проклятие: "Да будешь ты иметь бледный вид!?" Коллега Савельич, скажем, не стерпел бы урона чести (он горяч), пригрозил бы дуэлью а-ля Николай Соломоныч и Евгений Абрамыч... Ну, будем надеяться, что и так аукнется, боком выйдет... отольются ужо!

Через низкий люк в хвостовой части, пожимая плечами и почесывая собственную хвостовую часть, Илья спустился по шаткому наклонному трапу на землю, на мокрые бетонные плиты. Была ночь, третья стража, было в основном

темно, кое-где лишь виднелись слабые огни аэропортовых строений. Шел дождь, оказавшийся неожиданно теплым. Принесший их огромный четырехкрылый "ковчег" лежал брюхом в лужах. Потемневший мореный гофер корпуса, обледенелые тяжелые слюдяные крылья — Илья мимоходом потрогал — склеено с душой, на совесть. Народ кучковался вокруг, норвя забиться под крыло.

Илья подставил ладонь под кашли дождя. Попробовал их на вкус — солоноватые, немного ржавчиной отдающие — и немудрено, коли вдуматься — место то еще, с Крыши течет. Итак, я здесь. Донесло. Наступает привычный этап — сейчас встретят в аэропортовой зале с табличкой-плакатиком "Илья Борисович сякой-то", самому не перепутать бы, подхватят под руки, отвезут в отель, на постоянный двор со старинными окнами, всучат распечатанную программку выступлений плюс пластиковую карточку участника с моим запечатленным ликом в сбитом на ухо картузе — задумчиво грызу дужку очков перед грифельной доской, испещренной знаками (фотку с кафедрального сайта сняли), пожелают здравствовать, почтительно откланяются, и тут уже легко поздно отужинать — и спать... Да, да, в постель, под хруст простынь, на одр сна, храпака, а завтра поутру — в рутинную симпозиумную канитель, докладать... Кстати, добытые трудом данные коллеги Савельича не забыть бы зачитать во первых строках, не то осердится старче, возопит, хотя точность, право же, мало-мало неоптимальна, где-то так примерно — 235-238, экий разброс, да проследить, чтобы график на экране вышел как положено — вверх ногами, и потом сразу емелей цидулю скинуть на Кафедру за печку, чтоб поспели готовальню оттаранить на кузню... И главное, обязательно отлить в своем выступлении, так прямо и сказать им, охнарям несмышленным, что в том случае, когда сциллардий с харибдием, накопленные рачительно (так называемое "достаточное количество"), будучи содвинуты на заветное расстояние, подвергнутся одновременной фермической обработке — цепняк спонтанно ушкварится и наступят кранты. Все встанут, ахают и поют отходную...

В проеме люка мелькнула довольная рожа Смотрящего, и показался подталкиваемый, последний видимо, пассажир — мрачноватый старикан в черном бушлате, увешанном медалями непривычной формы — весь в нашивках за раненья и укусы. Разительно напоминающий "лесного брата" деда Филемона (лесной великан!), оберегателя Грибной Заимки, — только о двух ногах. Правда, при этом он сурово опирался подмышками на два сучковатых солдатских костыля. Да еще, сколько Илья мог разглядеть, был с железным носом. Старый опытнейший хрыч, повидавший! Ба-альшие батальоны... Неужто железный дубосек? А сколько ж их было, парилось там и тогда, в "огонь-воде"? Как на Кафедре учили запоминать: "Ежели из известного числа мучеников вычешь апостолов, то и получишь дубосек". Довольно малая величина. Но вот же один из них, вживе, "железный клюв" не ниже второго ранга, и шапка меховая на нем с положенными двадцатью восьмью хвостами. Ранняя встреча, надо полагать... Они о чем-то оживленно беседовали со Смотрящим, причем хищноносый хрыч норвил сунуть тому — под нос, обыкновенный, мясистый — свой жилистый кукиш и даже грозно замахивался костылем, пока Смотрящий не спихнул его ногой по трапу — и старичок, гремя костыльками, полетел вниз — прискорбное зрелище! Илья сунулся было — помочь подняться, отряхнуться, — но заслужил от дедушки смачный плевок на ворот куртки, а на закуску отдал острого костыля в живот: "Кыш, вредоносец! Ручищи прочь вовсю!" — и отпрянул.

Разделавшись с дедушкой по-свойски и убедившись, что все выведены, Смотрящий трижды поднял сжатый кулак — как бы выжимая гирю, — возгласив резким гортанным голосом: "Лаг всеблаг!", — после чего захлопнул, лягнув ногой, люк и, игнорируя трап, ухнул с верхотуры "солдатиком", треснулся коленом о бетонку, взвыл, но тут же сорвал с плеча "бергер" и с озверелым лицом заорал:

— Сели все! Руки перед собой ладонями вверх! Замерли, уродоналы!

Он водил дулом, крутя трещотку автомата, и ствол светился красным — интересно!

— Сесть, я кому сказал, *поцанва!* — окаяюще надрывался Смотрящий. — Всех, в лаг, покрошу!

Не желая, естественно, связываться с оглашенным тяжеловооруженным чиновником, все присели — кто, кряхтя, на корточки, а кто — подстелив плащишко — прямо на бетон: ноги калачиком, спина выпрямлена, руки ладонями вверх, глаза полузакрыты. Поза повиновения.

"С головой у них тут в Республике не все гладко, угу, — задумчиво размышлял Илья, наблюдая за хаотическими перемещениями зеленой автоматной мушки. — Самое правильное было бы зажмуриться крепко, посапывая слегка — в храпящих не паят, по слухам..."

Взбалмошный Смотрящий внезапно кротко вздохнул, устало прислонился к кормовому колесу "ковчег" и заговорил с каким-то бывалым человеком, сидевшим, свесив ноги, внутри колеса, на ржавой лопасти, спасаясь от дождя:

— Здорово, Глеб... Ох, досталось досыта... Заездили. Доконали...

Говорил Смотрящий теперь очень мягко, чуть печально, и старинное аристократическое оканье проклевывалось все больше. И штаны у него были разорваны при приземлении.

— Нешто страшное стряслось, Сол? Об чем печаль? — спросил бывалый человек Глеб, сочувственно похлопывая его по плечу клешневатой рукой (два пальца, средний и указательный, были умело отстрелены, что значило — "подчиняюсь непослушанью").

— Да Мудрейшие совсем офонарели! Конем грозят... Осваивать, рекут, надобно — причем зряче. Тиресно, глядь. Душой сойти...

— Вот братцы Солнца и Луны! Ярилы ярэховы, кочегары ковчегов! Мудрят... А ты?

— Ну, возможно, я не совсем врубаюсь... и несколько, в лаг, уретрирую, га-га, но ведь это — жестокая триада — скакать, колоть, рубить? — Сол страдальчески поморщился, потирая мокрое грязное колено. — Вынужденно придется взять пальцами длинную палку с острым зазубренным оконечником и ткнуть в бегущее навстречу теплое, поживающееся от ужаса (утверждается — вражье) тельце... Ведь он же вскрикнет!

Тут Смотрящий заметил поодаль какой-то беспорядок, лишние движения и дико заорал, заокал:

— Пошто?! А поджошника хотца?!

Глеб, на что бывалый человек, а чуть не свалился с насеста, замахал руками.

— Боюсь показаться праотцам хлюпиком, — продолжал Смотрящий невозмутимо, — однако ж вот рассеканье вдоль и поперек и неизбежно сопутствующие жуткие звуки — когда огромная отточенная бритва, лихой клинок, смачно чавкая — чик-чак — курочит!.. У меня уже заранее стреляет в ухе... И самому ведь порезаться можно!

Славный ерусалимский кавалерист-непротивленец застонал, раскачиваясь, царапая шпорами по бетонке, легонький звон, молоточек во воротах:

— А ведь при этом еще надо сидеть верхом, удерживая равновесие, на несчастном животном, бить его ногой в живот узким острым загнутым носком сапога, рвать ему губы специальным устройством — кажется, удилами... Применять плеть... О, трензеля Лазаревы, как это все отвратно!

— Ссы не ссы, — философски заметил собеседник, — а последняя капля Иссы.

Вокруг Ильи тихо переговаривались сидящие на корточках людишки:

— Снова-здорово... Сколько ж организму можно сиднем сидеть... Весь извелся...

— Руки затекли...

— Раньше, при Моше, их Арон и Ор держали, шерстяные...

— Седер был! Служение! По струнке!

— А-а, дно одно... Наказано строго — подвозку ждать. Или пехом погонят?

— Весело ребятам бегать на морозце! — крикнул кто-то.

Из морозящего тумана вдруг бесшумно выдвинулось тупорылое неуклюжее нечто — махина на колесах, чудовишный грузовоз с железной клеткой вместо кузова. Что за напасть?

— Кича...

— Кича... Подкралась... — прошелестело в рядах.

Эге, подумал Илья, вот она какая. С виду самодвижущийся сундук сундуком, а плоскости зализаны, да еще сплошь в "чешуе". И каплевидность высокая.

— Кича, дорогие товы, причапала! — забеспокоились многие. — Линяем по-быстрому...

— И увидел народ, и задвигались.

— Да не... Прокатимся просто, лаг благ, с ветерком! На крути своя...

— На раскат-губу...

Смотрящий повесил автомат на грудь, отхлебнул из согретой за пазухой баклажки, покругил головой и дал команду:

— Сигай со всеми!

Все кинулись как на abordаж — наваясь пузом, переваливались, перетекали через борт, сноровисто карабкались, подсаживая немощных, — лезли в клетку.

"Сарынь-абрамя на кичу", — раздраженно бормотал Илья, ему по ходу сшибли очки (сам потерял — теперь ищи), отдавили сапогом ладонь и сломали старательно отрощенный ноготь на мизинце.

— Легче, легче, ложкодыры! — прихлебывая из баклажки, командовал Смотрящий. — Потихоньку-полегоньку, лаг-лаг...

— Ишь вохрячит... — говорили в толпе.

— Боевой, порох, — бурчали одобрительно. — Веселый, потрох.

— Тут будешь... Тут как насмотришься за смену тех илииных — и смех, и грех.

— Тяжкий пост. Аразы, те самые, так и лезут извне в лето. Уйма! Как медом им намазано...

— Кто, простите, лезет? — заинтересовался Илья. Вылетело слово или ослышался?

— Ты — вред, что ли?

— Ну-у... видимо, да.

— Заметно. Понаехало на нашу нишу... Ты давай, вред, стой тесней, молча, не издавай звуков.

Водитель кичи в нелепом головном уборе — что-то вроде толстой теплой шапки с торчащимиверху ушами — высунулся из кабины:

— Набились?

Илья размышлял: "...на Кафедре в волшебном фонаре виды Республики когда всяко рассматривали — ушанка поражала несказанно. Чего она вдруг? Как на древних росписях во льду в Каменной Пади". А это не ушанка, это у него шлем такой, смекнул Илья вдохновенно, мыча под нос, — шлем, устройствами начиненный. От этого... от энкаскафандра... разреженность же на вышках... И на гравюрах Пу у него рога, а это не рога, а — антенны...

Смотрящий, подтянувшись на руках, залез в кабину, хлопнул дверцей. Кичман беззвучно дернулся, плавно развернулся — поехали. Набившийся в кузов охлос с каким-то мрачным удовлетворением выглядывал из-за решеток — вот и дома! С возвращеньцем! Железный дедок на костылях был тоже вознесен в стойло, где сейчас ворочался и пихался — вовсю! — советуя шелупони по-хорошему освободить ему заслуженное пространство, поскольку: "Да я три раза к аразам за зеленую загородку ходил, разорял их зимовье — один, без кумовья!"

Кича мягко покачивалась и, кажется, даже не разбрызгивала луж. По-над!.. Илья с опытной целью плывнул вниз — и то больший эффект — хотя бы лужа вздрогнула. "Тряска исключительно низка, — отметил он, держась за прутья в мокрой ржавчине, — едем, как на подушке. А вот на душе беспокойно. Дождь валит и закапывает в глаза. Как писал старинный пиит — и виждь... Да уж вижу, не зря в очках — чего-то у них тут как-то... Не все дома? Оторопь берет. А телефон, сотовик, ну-ка еще потыкаем, кажется, не разрядился, а просто сдох. Хотя и был вовремя накормлен. Затих навсегда. Вот тебе и "рады приветствовать, Глеб да Сол" — медоточивые речи! А сотовый сдох! Мобильно они, шустро... Важная деталь. Не-ет, в гостинице не сразу ужинать, а поначалу — в ванну, в горячую, и напустил пены хвойной, кедровой, и залезть по горло, и полежать, отмокая, поразмыслить. И шишку погрызть..."

Они долго крутили окольными путями, маневрируя между застывшими трубами летательных аппаратов. Видели серебристые сараи ангаров и людей в телогрейках, мокнувших у потухших сигнальных костров, вороша в них палками — клубней напекли заодно за баловством... Илье сначала даже показалось, что кича заблудилась, но вдали все ясней рисовались очертанья полусферы аэровокзала, она постепенно приближалась, росла, и, наконец, они остановились, уткнувшись в широкие каменные ступени. Сразу же Смотрящий-порох повыгонял всех из клетки (прыгали в дождь, толкаясь в спины), приказал немедля построиться в обязательную колонну по пять ("руки, сук-ки, перед собой ладонями вверх!"), бегал вдоль, страшал, бранился ("сукка будду!"), заставлял запевать в строю "Щи да куци", потчевал пинками и обещал линьков — напоследях устал, натешился и махнул десницей с автоматом — да ступайте куда хотите, в мандалу...

Побрели по ступеням к толстым стеклянным дверям. Внезапно Сол, словно что-то вспомнив, догнал Илью и вцепился ему в рукав.

— Простите, что задерживаю вас... отрываю... Лазарем и Семью Мудрейшими... хочу просить, — забормотал Смотрящий дрожащим голосом. — Вы, я гляжу, очкаст... знак высшего знания... сапер ведра... отмечены. Совета бы... зна-

меня какого... просто подмигните или ущипните даже — многое станет ясным... Вот, садитесь, да прямо на ступеньку... я оботру...

Он криво усмехнулся, жалко блеснув железной фиксой:

— Ради всех Семи, скажите не тая: что ж, мы действительно лишь мох на валуне, том, что парит над морем черной пустоты? Так как же можно с этим знанием жить?..

Обшлаг комбинезона у него задрался и была видна наколка на волосатой лапиче: "ПППФ", что могло означать только одно: "Пламенный Привет от Погранцов Френкелева!" Илья молча рванул рукав, высвобождаясь, и влился в плетущуюся толпу. Оглянувшись, он увидел, что Сол, Смотрящий и Мятущийся, тяжело опустился на грязные ступени и спрятал лицо в ладони. Толпа обтекала его, спотыкаясь.

Прозрачные створки аэропортовых дверей почему-то не разошлись сами в стороны при приближении Ильи. Замешкавшись, он стоял и ждал, пока его грубо не двинули сзади: "Рук нет?"



Владимир Гандельсман

УИНСТЕН ХЬЮ ОДЕН, ДЖЕЙМС МЕРИЛЛ и РИЧАРД УИЛБЕР

в переводах Владимира Гандельсмана

Уинстен Хью Оден

У. Х. Оден родился в Англии, в Йорке, в 1907 году. Учился в Оксфорде. Начиная писать под влиянием Томаса Харди и Роберта Фроста, равно как и Блэка, Дикинсона и Хопкинса, но уже в Оксфорде стал зрелым самостоятельным поэтом. Там же на всю жизнь подружился с писателями Стефаном Спендером и Кристофером Ишервудом. Первый сборник «Стихи» вышел в 1928-м году, а в 1930-м, с выходом второго сборника, Оден был признан лидером нового поэтического поколения.

С первых шагов его работа поражала виртуозной техникой, использованием всех возможных размеров и ритмов, извлечениями из поп-культуры, текущих событий и жаргона в сочетании с высоким интеллектуализмом, разнообразными литературными реминисценциями и знанием всех актуальных социально-политических и научно-технических теорий. Великолепно и умно Оден умел стилизовать поэтическую речь, используя тексты других авторов, будь то Йейтс, Элиот или Генри Джеймс. Зачастую произведения Одена описывают — буквально или метафорически — какие-то путешествия или поиски, всегда разнообразившие и обогащавшие его жизнь. Он бывал в Германии, Ирландии и Китае, участвовал в Гражданской войне в Испании, а в 1939 году переехал в Америку, где встретил любимого человека, Честера Каллмана, и получил американское гражданство. Его мировоззрение радикально изменилось: от юношеской пылкой веры в социализм, от поклонения Фрейдю и психоанализу — к христианству и теологии современного протестантизма.

Оден писал много, и не только стихи, — он также выступал как драматург, либреттист и эссеист. Общеизвестно, что Уинстен Хью Оден — крупнейший английский поэт 20-го века, оказавший огромное влияние на всю последующую поэзию по обе стороны Атлантики. Он возглавлял Академию американских поэтов с 1954 по 1973 годы и жил то в Америке, то в Австрии. Умер в 1973 году в Вене.

Эмили Дикинсон говорила, что узнаёт подлинность стихов по чувству, которое на сегодняшнем жаргоне называли бы «сносит крышу». По сути это буквальный перевод английского и не жаргонного выражения.

При чтении Одена, особенно позднего Одена, такого чувства не возникает. Скорее вы присутствуете на академическом семинаре. Оден был великий систематизатор и аналитик. Есть замечательный документ — одна страничка с его набросками для лекции, где перечислены все возможные источники и взаимосвязи западно-европейской мысли и литературы. Это Оден — в его самозванной роли Учителя, который в Гарварде 1946-го года наставляет вернувшихся с войны солдат: «Читайте «Нью-Йоркер», веруйте в Бога и не заглядывайте в будущее». И это Оден — в роли горделивого поэта, который перебрал в своих стихах все существующие

поэтические формы. Один из виднейших критиков даже упрекал его в том, что он превратился в риторическую мельницу, перемалывающую всё на пути в Ад (Оден немедленно диагностировал: «Джеррел просто в меня влюблен»).

Одна из черт, огорчавшая читателей Одена, — его прозаичность, «тьма низких истин». Дело не в дичинности или банальности мышления, — таков сознательный выбор. В конце концов, нам известны его несравненные высоты, вроде «Осени Рима» или «Песни», в которой птица-поэт, видящая своё отражение на поверхности озера, хочет «песней вернуть белизне первоначальность...» И можно предложить по крайней мере два взгляда на то, почему песня у Одена себя обрывает и отказывается от полёта (ср. финал «Песни»).

Во-первых — его отношение к языку, напоминающее отношение Данта, — и это не может быть случайным совпадением, поскольку Дант был одним из трёх поэтов, упомянутых в начале «Новогоднего письма», большой вещи Одена, написанной в 1940-м году (двое других — Блейк и Рембо, — два символа великих «отречений»). Одна из самых завораживающих картин у Данта — его борьба с искушением быть велеречивым, с суетным тщеславием прелестно-блуждающего (а лучше: блудящего) и фальшивого языка. («Поэт — издалека заводит речь. Поэта — далеко заводит речь»). Дант понимает, что напыщенная речь ведёт в тот же Ад, в котором мучаются грешники его Комедии. Кажется, что иногда он потворствует своему искушению, по крайней мере, в первой части Комедии, но борьба длится, и нечто похожее происходит с Оденем: аскетизм противоборствует распущенности. Он слишком хорошо знал, что такое лживо-убедительные речи, он был современником Нюрнберга 1934-го года и всех кошмарных последствий фашизма и сталинизма. Язык — сложная и опасная вещь. Оден работает с ним словно бы в асбестовых перчатках, оберегая себя и читателя от ожогов.

Другая причина «отказа от полёта» — в том, что Оден определял как «слёзы вещей, наша смертность, поражающая в самое сердце», и это более субъективная, что ли, причина. Когда читаешь Одена, и даже его поздние риторические стихи, всё равно невозможно не расслышать голос любви из его раннего стихотворения «Когда я вышел вечером пройтись по Бристол-стриг...», голос, возвещающий, что любовь будет длиться до тех пор, пока Китай не встретится с Африкой, река не перепрыгнет гору, а сёмга не запоёт, — то есть бесконечно. На что следует мрачное замечание городских часов: «Время тебе неподвластно».

И в ранней, и в поздней лирике Оден по сути вечный идеалист любви, знающий, что она смертна, как смертны все вещи в мире (его собственная любовь была невероятно трагична), что любовь — есть жесточайшая из экзистенциальных шуток. Джеймс Меррилл как-то сказал, что стихи Одена написаны на бумаге, сию секунду просохшей от слёз. Как говорила опять же Эмили Дикинсон, «боль проходит и обретает спокойную форму».

Осень Рима

Дождит. Волна о пристань бьёт.
На пустыре, отстав
от пассажиров, спит состав.
В пещерах — всякий сброд.

Вечерних одеяний сонм.
По сточным трубам вниз

бежит фискал, пугая крыс,
за злостным должником.

Магический обряд — и храм
продажных жриц уснул,
а в храме муз поэт к стихам
возвышенным прильнул.

Катон моралью послужить
готовится стране.
Но мускулистой матросне
охота жрать и пить.

Покуда цезарь пьян в любви,
на блёклом бланке клерк
выводит: «Службу не-на-ви...»
Жуть. Ум его померк.

У краснолапых пгичек, в их
заботах о птенцах, —
ни страсти, ни гроша, — в зрачках
знобь улиц городских.

А где-то там — оленей дых.
Огромных полчищ бег
по золотому мху вдоль рек
стремигелен и тих.

1947

Щит Ахиллеса

Взглянула: ветвь оливы
и мрамор городов?
морей упрямых гривы
и караван судов?
Нет: гибельно и пусто
под небом из свинца, —
хоть и была искусна
работа кузнеца.

Равнина выжженная, голая, все соки
из почвы выжаты, — ни остря осоки,
ни признаков жилья, ни крошки пищи,
как серые, без содержания, строки,
толпятся тыщи,
нет, миллионы портупей, сапог и глаз, —
и ждут в недвижности, когда пробьёт их час.

Безликий голос в воздухе висит
и гарантирует без выраженья
успех похода; лица, что гранит:
ни радости, ни возраженья;
колонна за колонной, пыль движенья,
под верой изнурясь, туда, где вскоре
лик смысла исказит гримаса горя.

Взглянула: ритуальный
плач? белые цветы
на агнце для закланья?
священные труды?
Нет: там, где свет алтарный
сиять бы мог, мерцал
палящий день кустарный,
закованный в металл.

Колочей проволокой обнесён пустырь,
сквозь дрёму гоготнуг над анекдотом
старшины, караульный-нетопырь
исходит потом
и несколько зевак глазают — кто там
ведёт троих? куда? не к тем ли трём столбам?
привязывает, вишь, и тычет по зубам...

Величие и низость, эта вся
жизнь, всящая столько, сколько весит, —
в чужих руках. Надеяться нельзя
на помощь. Да никто ведь и не грезит.
Враг будет издеваться сколько влезет.
Приняв всё худшее: бесчестье и позор, —
они до смерти превратятся в сор.

Взглянула: мощь атлетов,
изящество ли жён,
когда пыльцой букетов
их танец опущён?
Играй, танцуй на воле!..
Нет: ни души кругом,
ни звуков флейты. Поле
убито сорняком.

Оборванный какой-то бродит отрок
с рогаткой, экзекутор местных птах.
На каждую юницу — хищный окрик
и страшная работа впопыхах.
Сей отрок и не слышал о мирах,

где не насилуют или где плачут над
отчаявшимся, потому что — брат.
Умелец тонкогубый,
уковылял Гефест,
и, чуя, что безлюбый,
крушивший всё окрест,
Ахилл жестоковыйный
пойдёт опять крушить,
рыдает мать о сыне,
которому не жить.

1952

Песня

Так велико это утро, так пролито на
зелень округи, так плавно легла
ранняя на холмы тишина,
что не смущает её и стропивость крыла,
в озере подгоняющая двойника, —
и, зародившись у самой воды,
ветер возносит под облака
стаю непрекаемой красоты.

Песней, вернув белизне
первоначальность, бессмертие обрести...
Если бы! Свет над долиной горит
неодолимо, и слово на ветер летит,
и обрывается вовсе, и не
хочет, едва вознесённое, расцвести.

1956

Первое сентября 1939 года

В каком-нибудь шалмане
вечернею порой
на Пятьдесят Второй...
Исчезли миражи.
Что, умник, перед нами?
Десятилетье лжи.
И виснет над землёю —
дневной, ночной ли час —
смерди смерти. Как на плахе,
сентябрьской ночи страхи
изничтожают нас.

Учёный, глядя в линзу,
исследуй-ка людей
от Лютеровых дней
до наших — вёвшись в лица,
их исказило зло.
Всмотрись — увидишь: в Линце
оно собой вскормило
бредового кумира.
Куда нас занесло?
Вспоённый злобой мира
сам порождает зло.

Что ж, Фукидид-изгнанник
всё рассказал давно
о равноправье, о
гнилых речах тирана
на форуме могил
(молчанье — их удел),
о варварских стараньях
гнать просвещение прочь.
Европа, это ночь.
В котомках наших скарб
всё тот же: боль и скорбь.

В нейтралитет небесный
взлетевший небоскрёб
слепою мощью славит
всечеловечий лоб.
Вой языков — в напрасной
попытке оправдать
себя. Но лишь стихает
их вавилон, — в стекле
зеркальном видят массы
имперские гримасы
в междоусобном зле.

У повседневной стойки,
где сгрудился народ,
звучи, мотивчик бойкий,
пусть высшие чины,
взопрев, обставят крепость
для прений как шалман,
чтоб мы не знали, где мы,
безрадостные дети,
бредущие сквозь ночь.
В непроходимых дебрях
и страшно, и невмочь.

Запальчивый и глупый
визг Мировых Начальств
не так уж груб. Мы в наших
желаньях не нежней.
Что написал Нижинский
о Дягилеве? Был
безумец прав: любое
земное существо
влекомо не любовью
ко всем, но всех — к себе.
Вот твари естество.

Из мглы ненарушимой
на благонравный свет
выходит обыватель —
вновь верности обет
дать жёнушке, вновь в поте
лица хлеб добывать.
Беспомощный правитель
встаёт, чтобы начать
свою игру по новой.
Как больше не играть?
Кто скажет за негого?

Мне голос дан, чтоб сырых,
вот этих, — уличить
во лжи, и тех, кто в силе,
чьи небоскрёбы ввысь,
как вызов небу, взмыли!
Что Государство? Гиль.
Но человек, кто б ни был,
он сам себя согреть
не может, нас родили
любить друг друга или
бесславно умереть.

Не знающий, где правда,
в оцепененье мир...
Смеясь над нами, что ли,
сверкают огоньки,
перекликаясь и
резвясь себе на воле.
Да будет мне дано,
мне, порожденью праха,
спасть, восстав из страха
отчаянья, и в нём
путь высветить огнём.

Джеймс Меррилл

Джеймс Инграм Меррилл родился в Нью-Йорке в 1926 году. Сын Чарльза Меррилла, основателя знаменитой брокерской фирмы «Меррилл Линч», и его второй жены Елены Инграм. Писал стихи с 8-ми лет, печатался — с 16-ти. В знаменитом колледже в Амхерсте, где он учился, впервые встретился с Робертом Фростом. Служил в армии в 1944-45 годах. После армии защитил диссертацию по Марселю Прусту. Стал известен в 1951 году после выхода книги «Первые стихи» в издательстве Альфреда А. Кнопфа. В 1955 году переехал в небольшой городок Стонингтон, где жил со своим другом Давидом Джексоном. На деньги, доставшиеся ему по наследству, основал фонд, присуждавший гранты поэтам и художникам. Много времени проводил со своим другом в Афинах, где у него был дом. Лауреат многочисленных премий, автор 12-ти стихотворных сборников, несомненно один из лучших американских поэтов 20-го века. Умер от сердечного приступа в 1995 году в Аризоне.

Возница в Дельфах

Где кони солнца? Где их небосвод?
В зелёнобронзовой руке возницы лишь
обрывки от поводьев, мой малыш.
Возница ждёт.

Утишить распрю, воссоздать покой,
тот, за который мы коней с тобой
любили, я молил его, дитя,

по твоему велению. Складки платья.
Грудь в гордой патине. Стеклолития,
глаза не ведают занятия.

Они ни с нами, ни с последним, тем,
в ожогах, ковьялющим издалека
с известьем: всё горит и выдохлась река.

Никто не правит колесницей, ни
коней, несущих смерть, не держит. Тих
возница, в воздухе одни

глаза. Холодный отблеск их.
В незрячем взгляде — ты не перепутал! —
мы отражаемся, и в нём,

испугом детским загнанные в угол,
мы меньше кукол.
И всё вверх дном

в душе. Поводья из его руки
переливаются, как если бы, подобно
нам, перед ним дрожали кони.

Ты помнишь, мой малыш, как кроткий пони
с твоей ладошки сахар ест, подробно
её вылизывая? Вопреки

тому укору, что в вознице спит,
мы в сладкой вольности с тобой, в огне,
мы мечемся, и даже кротость не

смирена в нас, — клубится и горит.

Возвращение чувства

Как растрясти тебя? Не действует ни лесть,
ни ложь, ни холодность, ни пристальная страсть.
И все уловки, в сущности, пресечь
пора. Пора. Я на себя готов принять

вину. Кивает. Осени огромна весть.
Букета в вазе чуть дрожит сухая снасть.
Но лишь заговорю — прямая речь
любовью вдвинется в меня по рукоять.

Вид из окна

морозным утром тонкий лёд
стекла ребёнком в полусне
я вытаял глаза и рот
и лоб неведомого мне

и глядя отвлечённо сквозь
прозрачность линий видел сад
едва сосны темнела ось
в тяжелоснежном блеске лат

и так сияло на снегу
что радость выдохнул в стекло
и ангел отлетел его
я был ребёнком и светло

не знал что на тоску мою
мир не ответит что рука
оттает в ледяном краю
лицо ещё не раз пока

однажды не найду в чертах
твоих тех вытаянных глаз
и радость и любовь и страх
за миг до пропаданья нас

Бабочка

В один из летних дней
я затоскую, ах,
по меховой твоей
фигурке на ветвях.

Изящество сдаёт
позиции, вяжась
среди яблоневых нот,
и с миром гаснет связь.

Что ж, с миром! Сер ковчег
матери, но в нём
замкнувшись, ты разбег
(игра Творца с огнём!)

сияющий берёшь,
чтоб сбросить кокон, и
вдруг высвободить дрожь.
Как кратки дни твои!

Двоящийся дворец
с мозаикой вразброс.
Как я устал, Творец,
от всех метаморфоз!

От аллегорий, от
символик и вполне
двусмысленных красот
куда податься мне?

Когда твои в сачке
затеплились броски?
Тот лепет в кулачке
рассыпчатой тоски,

тот полдень, и цветы,
и вздоги-витражи,
когда, пленённый, ты,
без примеси души,

ты перстью стал самой,
монарх, — вот так и мы
сбегаем, пусть ценой
распада, из тюрьмы.

Последние слова

Твоих зелёных глаз
свет рядом, не погас.
Нет ничего, что я
не знаю, жизнь моя.
Я съеден солью слёз.
Рассвет или закат, —
я полусдохший пёс
в канаве Трои, впрядь
или века назад —
я без секунды смерть —
мушиный рой и лоб
ребёнка надо мной, —
и та секунда, чтоб
привстать над темнотой.

Разрушенный дом

1

В окне через дорогу вижу
родителей и их дитя.
Как ветвь фруктовую, их нежит
свет вечера, позолотив.

А ниже этажом — темно.
Горит свеча. На блюде воск
мраморно-тускл.
Гори, гори, театр теней.

А ты восславь,
строка, глядящая на шмаю
во все глаза, и эту явь,
и ветвь фруктовую над нами.

2

Отец летал всю Первую войну.
О, жизнь бы инвестировать и дальше
не в акции и не в жену —
в монетный двор ночных небес — летал же!

Но выигрыш чеканили внизу.
Отцу под сорок. Поздно. О, когда бы
он не запродал душу: бабки, бабы, —
им, родненьким, на голубом глазу.

Он что ни чёртовы тринадцать лет
менял жену. А умерев в подённых

трудах, оставил жён своих на тёмных
орбитах: кольца, серьги, перманент.
Он сделал бы очередной заход.
Но время — деньги. Не наоборот.

Типичный кадр тех лет: под колесо
чуть не попав, в вуали дама в теле —
пред ней не важно что — Сенат? отель? — и
кто — Смит? Хосе Мария? Клемансо? —

с подножки прыгивает и орёт:
«Торгаш войной! Свинья! Имею право!»
Убыстренная съёмка. Кто-то bravo
её оттаскивает. Так-то вот.

Что делал муж? Историю, конечно!
Жена? Она живёт для детворы,
он полагал. Естественно. И для

готовки. И старо, и вечно.
Отец наш — Время. Наша Мать — Земля.
Супружеская жизнь — Тартарары.

3

Ведомый сеттером, ему вослед
(был огнен и сатирибёдр Мишель) —
я перед дверью. Отворил. Постель
за шторой лет.

В сиянии зелёно-золотом
спальня, пульсирующая, как ушиб.
И женщина — под простыней изгиб,
в ребёнке отозвавшийся стыдом, —

которую искали. Чернь волос
разбросанных была той чернотой
гравюр старинных, жжённых кислотой.
К ним прикоснуться? К белой белизне?
Мертва? Взлетели два испуга глаз.
Рванулся пёс. Я выбежал вовне.

Родитель звал гулять её, я помню.
Стояла осень. Тыща девятьсот,
уж если точно, тридцать первый год.

Она: «Ах, Чарли, не хочу топ-топ».
Он: «Крошка, ты меня загонишь в гроб!»

Солдатик оловянный с ружьем
стоял на страже, серенький лицом.
И что-то зрело, что меня огромней.

Как плавилась сердца их! Как металл
в каком-нибудь романе пролетарском.
Боюсь, я перестукиваться с ними
до нынешнего дня не перестал.
Хоть и остужены загробным царством,
они по-прежнему неукротимы.

4

...Потому
я не охотник до газет страны, —
мне каменного гостя не нужны
шаги в дому.

Раскручивая ржавый механизм,
я знаю, что я времени дитя
не менее, чем Том и Джон, хотя
и не провёл на баррикадах жизнь.

В саду не окопался, нет. Мне надо
всего-то, чтоб в стакане корешки,
белея, прорастали авокадо,

чтоб глянули зелёные листки
и стали плотью. Пусть потом умрут.
Начну сначала, как земля, свой труд.

Дитя и рыжий пёс по коридорам
слоняются. Полуразрушен дом.
Роскошные торговцы праздным вздором
газет вдруг замирают под окном.
Обитель первых снов, прохлады летней!
Несёт бульон — сейчас позолочу
кухарке профиль — Эмма из передней,
чуть потный лоб. Бульона не хочу.

Дом превратили в школу. И сейчас
под поголком танцкласса веет ветер
свободы, и во весь окна запах
кому-то видно то, что и без нас
живёт себе, — там бродит рыжий сеттер,
потягиваясь в облаках.

Ричард Уилбер

Ричард Уилбер родился в 1921 году в Нью-Йорке. Как и Джеймс Меррилл, закончил колледж в Амхерсте, - вообще этот город в штате Массачусетс (который Бродский переименовывал в «масса чудес» с ударением на «у») мог бы именоваться поэтической столицей Америки, поскольку там родилась и провела почти безвыездно всю жизнь Эмили Дикинсон. Преподавал в Гарварде и других университетах. Мастер традиционных форм, живой классик. Помимо поэзии, занимался изданием Шекспира и Э. А. По, переводами с французского. Среди бесконечного количества премий – две Пулитцеровские. Звание поэта-лауреата Америки 1987 года.

Лес

Тень вековых дубов тяжеловесных,
молниеносную познавших славу
и торжество громов небесных,
скрывает разномастную ораву
деревьев, что помельче, всем наклоном
свет добывающих плодам зелёным.

Кизиловое деревце невзрачно,
но непреклонно: тянется, внимая
лучу, и осеняет так прозрачно
мальтийскими крестами воздух мая.
А позже, как раскаявшийся грешник,
вдруг расцветёт в зубах зимы орешник.

И хоть источник света без разбора
далёк от всех, кто в нём души не чаёт,
но и хрупчайший из лесного хора
в себе свой дух таит и приючает.
Всё тех же четырёх стихий участие
в творении, но нет единой масти.

Под деревом

Бог, настигающий нимфу, погоня и страх,
в землю ушедший корнями, повисший в ветвях

лавра, внезапное дерево, чьё вещество
силой не взять — недоступная прелесть его.

Это ли не превыше любви? —
Ветви, взрывное цветенье в древесной крови,

или согласный, бегущий блеснувшей листвой
шелест: порывистый ветер принять на постой,

новым цветением ответить на этот порыв
и приласкать его, к ласке ответной склонив.

Апрельская непогода

Бену

Всем выдохом зимы
(ещё всюю сильна!)
земля, как Карфаген,
насквозь просолена.

Но нынешний кружит
так неустанно снег,
что, мнится, в этот раз
останется навек.

Он ветвь не тяжелил
плакучей ивы, лишь
всем таяньем секунд
просеивает тишь,

или взлетает вверх
и так блеститверху,
как летняя листва, —
всем светом на слуху!

И, мнится, белизна
пребудет до поры,
покуда зелень трав
не юркнет во дворы

и буйные в полях не развернёт пиры.



Моисей Борода

ПЕРЕВОДЫ ИЗ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПРОЗЫ XX ВЕКА

Наталья Гинзбург: Мать ^[1]

Мать была маленькой и худой, с кривыми плечами; одета была всегда одинаково: голубая юбка, красная шерстяная блузка.

У неё были короткие вьющиеся волосы; она смазывала их оливковым маслом, чтобы не выдавались во все стороны; каждый день выщипывала себе брови, так что они становились похожими на крохотные, тянущиеся к вискам рыбки; pudрила лицо жёлтой пудрой.

Выглядела очень юной; сколько ей лет, мальчики не знали, но казалась намного моложе, чем матери их товарищей по школе; видя этих матерей, мальчики всегда удивлялись тому, какие же они толстые и старые.

Курила постоянно, пальцы у неё были в пятнах от табака; курила и по вечерам в постели, перед тем как заснуть.

Спали все вместе на огромной двуспальной кровати под жёлтым одеялом; мать на стороне двери; рядом на тумбочке стояла лампа с абажуром, прикреплённым к лампе обтерханной красной лентой: мать читала по ночам и курила.

Домой возвращалась подчас очень поздно, и мальчики просыпались и спрашивали, где она была. Отвечала почти всегда: "В кино", а иногда "У подруги". Существовала ли эта подруга на самом деле, они не знали: мать не навещала никакие подруги.

Раздеваясь, всегда говорила, чтобы мальчики отвернулись; они слышали только шелест снимаемой одежды и видели танцующие на стене тени. Мать ложилась рядом с мальчиками: худенькое тело в прохладной шёлковой рубашке; мальчики отодвигались от неё подальше, так как она всегда жаловалась, что они приклоняются к ней и толкают её во сне ногами.

Мать не была важной в их жизни. Важными были бабушка, дедушка, тётя Клементина, которая жила в деревне, часто приезжала и привозила каштаны и жёлтую муку; важной была Диомира, служанка, важным был чахоточный привратник Джованни, который делал стулья из соломы. Все эти люди были очень важными: на них можно было опереться, им можно было довериться, поскольку они были сильными, устойчивыми, постоянными — сильными, когда что-то разрешали и сильными когда запрещали. Они были умными и физически крепкими, знали толк во всём, что делали, во всём, что было вокруг — от погоды до защиты от воров.

Когда мальчики оставались дома одни с матерью, их охватывал страх — как если бы рядом с ними никого не было. Мать ни запрещала, ни разрешала; самое большее, что они от неё слышали, было произнесённое усталым, жалобным тоном: "Не шумите так, у меня болит голова". Если спрашивали у неё разрешения сделать то-то или то-то, говорила сразу: спросите бабушку — или говорила "нет", потом "да", потом опять "нет" — и не могла решиться ни на что; вся была сплошное смятение.

Оказавшись вместе с матерью вне дома, чувствовали себя неуверенно: она путала улицы и должна была справляться по дорожным указателям; когда заходила

в магазин что-то купить и обращалась к продавцам, вид и тон были у неё до смешного застенчивыми; в каждой лавке, куда заходили, постоянно что-то забывала — перчатки, сумочку, шарф, и приходилось возвращаться и искать, и мальчики стыдились её.

Все ящики у неё были в беспорядке, вещи лежали по самым разным местам, и Диомира, убирая по утрам комнату, ворчала по её адресу и звала бабушку посмотреть на этот беспорядок, а потом они вместе с бабушкой собирали чулки, одежду и подметали разбросанный по всей комнате пепел от сигарет.

По утрам мать шла за покупками: возвращалась, со стуком ставила на мраморный стол в кухне сетку с продуктами, спускалась к своему велосипеду, садилась и уезжала на работу в бюро, где была служащей.

Диомира осматривала продукты в сетке, ощупывала каждый апельсин, пробовала рукой мясо и ворчала, и звала бабушку, чтобы и она видела, какое плохое мясо мать купила.

Мать приезжала на перерыв в два часа, когда все уже победали, и ела в спешке, читая прислонённую к бокалу газету. Поев, садилась на свой велосипед и уезжала в бюро, и видели её только короткое время за ужином; после ужина сразу же ложилась спать.

Мальчики готовили уроки в спальне. В изголовье кровати висел большой портрет отца: квадратная чёрная борода, лысая голова, очки в черепаховой оправе. Другой — маленький — портрет стоял на столе.

Отец умер, когда они были совсем маленькими, они его не помнили — или, вернее, помнил только старший. В его памяти сохранилась тень от долго-долго тянувшегося дня, который они провели у тётки Клементины: отец катал его по двору на ручную, окрашенную в зелёный цвет, детской тачке; потом, уже взрослым мальчиком, он видел части от этой тачки — ручку и колесо — на чердаке дома тётки Клементины. Тогда, новая, она была так красива! — и он был счастлив, что у него есть такая красивая тачка; отец толкал тачку вперёд, и его борода подрагивала.

Об отце они ничего не знали, но думали, что он, наверное, принадлежал к тем, кто был сильным и мудрым в запрете и разрешении; бабушка, когда дедушка или Диомира возмущались матерью, говорила, что нужно иметь к ней сострадание, потому что она очень несчастна; и ещё она говорила, что был бы жив Эудженнио, отец мальчиков, мать была бы другой, но она имела несчастье потерять мужа, когда была ещё совсем юной.

Кроме бабушки со стороны матери, у них была ещё бабушка со стороны отца, но она жила во Франции, и разве что писала им письма и посылала подарки к Рождеству; потом она умерла: была уже очень старой.

В полдник ели каштаны или хлеб с оливковым маслом и уксусом; потом, если уроки были уже сделаны, мальчики шли к маленькой площади или к развалинам общественных бань; там становились перед воронкой от бомбы и прыгали в эту воронку, стараясь попасть в середину. На площади было много голубей, и мальчики брали с собой для них хлеб или пакетик отварного риса; рис выпрашивали у Диомиры.

На площади собирались все дети из их квартала — их товарищи по школе и другие, которые шли потом в воскресный рекреаториум ^[2], где играли в футбол с доном Вильяни. Он снимал свою чёрную сутану и бил по мячу не хуже других.

Иногда играли на площади в футбол или в полицейских и воров. Бабушка время от времени выходила на балкон и кричала, чтобы были осторожными. На площади было темно, и видеть оттуда освещённые окна их дома, бабушку на вто-

ром этаже, зная, что они могут туда вернуться, согреться у печки, защититься от наступившей ночи, доставляло мальчикам необыкновенную радость.

Бабушка и Диомира, сидя на кухне, штопали прохуdivшиеся простыни; дедушка стоял в берете в столовой и курил трубку.

Бабушка была очень полной, одевалась в чёрное, носила на груди медальон с портретом дяди Ореста, погибшего на войне; она замечательно готовила пищу и другие блюда.

Бабушка сажала их к себе на колени, даже и тогда, когда они подросли; у неё была большая мягкая грудь; в вырезе её чёрного платья была видна рубашка из белой шерсти на пуговках, которые она сама сделала.

Она сажала мальчиков к себе на колени и говорила им на своём диалекте нежные слова, с оттенком сострадания, жалости; потом доставала из волос длинную заколку и чистила им уши, а они визжали и хотели от этого улизнуть, и на этот визг в проёме двери появлялся дедушка с трубкой во рту.

Дедушка раньше преподавал в лицее греческий и латынь. Сейчас он был на пенсии и работал над книгой по греческой грамматике; его прежние студенты часто приходили его навестить, Диомира должна была тогда варить кофе. В туалете лежали стопками тетради с переводами из греческого и латыни — переводами, испещрёнными красными и синими дедушкиными правками.

Дедушка носил короткую белую бородку, лицом похожую на козью; шуметь при нём было нельзя: после многих лет работы в лицее у него были слабые нервы.

По утрам они с бабушкой часто спорили: дедушка был в постоянном испуге от ползущих вверх цен, и когда бабушка говорила ему, что ей нужно столько-то и столько-то денег, он удивлялся, почему так много, и между ними начинался спор. Он говорил, что Диомира, наверное, крадёт сахар и по секрету варит себе кофе, а Диомира, услышав это, врывается к ним и начинала орать; кричала, что кофе уходит на студентов, которые что ни день к ним приходят. Но это были мелкие ссоры, которые сразу же затухали, мальчики их не пугались; пугались они, когда ссорились дедушка с их матерью.

Случалось, что мать возвращалась домой поздно ночью, и тогда дедушка, босой, в накинутом на пижаму пальто выходил из своей комнаты, и начинались крики. Он кричал: я знаю, где ты была, я знаю, где ты была, я знаю, что ты такое есть — а мать отвечала: мне это всё равно, и говорила: вот, смотри, ты моих детей разбудил!, а он говорил: такой, как ты, дети не важны. Молчи! Я знаю, кто ты. Сука ты! Тебя носит по ночам куда-то, как ошалевшую, обезумевшую суку, какая ты и есть.

Бабушка и Диомира прибегали на эти крики и выгалкивали дедушку в его комнату, и говорили: "Тс-с-с", а мать шла в спальню, ложилась в постель, накрывалась с головой одеялом и плакала навзрыд, и её плач отдавался эхом от стенкомнаты, погружённой в темноту, а мальчики думали, что дедушка, наверное, прав, и что мать поступает плохо, ходя по вечерам в кино или оставаясь до поздней ночи у подруг.

Они чувствовали себя несчастными, испуганными и несчастными — и только свернувшись калачиком на огромной, глубокой, тёплой кровати, они освобождались от этого чувства. Старший, лежавший до прихода матери посредине кровати, старался, когда она ложилась, отжаться поближе к краю, чтобы её не касаться; рыдания матери казались ему чем-то отвратительным, пропитанная слезами мокрая подушка вызывала в нём омерзение; он думал: "Мальчик стыдится своей матери, когда видит её плачущей".

О ссорах матери с бабушкой мальчики не говорили между собой никогда, избегали их даже упоминать. Слыша как плачет мать, они крепко обнимали друг друга; утром чувствовали себя из-за этого друг перед другом неловко: им казалось, что они обнимались, защищаясь от чего-то, о чём им не хотелось говорить. Впрочем, они быстро забывали о том, какими несчастными чувствовали себя ночью: начинался день, надо было идти в школу, по дороге они встречали своих товарищей, играли с ними у школьных ворот перед началом занятий — и чувство, что они были несчастны, уходило.

Мать вставала на рассвете, поднимала, склонившись над раковиной, комбинацию, свёртывая её в рулон, намыливала шею и руки: всё это время старалась стать так, чтобы мальчики её не видели — но в зеркале были видны её смуглые худые плечи и маленькие груди с тёмными, сжавшимися от холода сосками; мать пудрила подмышки, волосы у неё там были густые, в завитках.

Одевшись, выщипывала перед зеркалом брови, при этом крепко сжимала губы; наносила на лицо крем, ярко-красной кисточкой из лебединых перьев быстро-быстро проводила по лицу, размазывая крем; пудрилась; напудренное, лицо её становилось жёлтого света.

Иногда по утрам бывала веселой, ей хотелось говорить с мальчиками; спрашивала о школе, об их товарищах, рассказывала о времени, когда училась в школе, о её классной руководительнице, молодящейся старой деве, которую все называли "синьорина Дирче".

Наведя макияж, одевала пальто, брала сетку для провизии, наклонясь, целовала мальчиков, и быстро исчезала из дома — обёрнутый вокруг шеи шарф, надушенное донельзя, напудренное жёлтой пудрой лицо.

Мальчикам казалось странным, что их родила эта женщина. Менее странным было бы думать, что их родила бабушка или Диомира — обе они были рослые, крепкие телом, от которого исходило тепло — телом, которое могло защитить от страха, от любой непогоды, от воров.

Им было странно думать, что их мать была той самой женщиной, в животе которой они какое-то время находились. С того времени, как они узнали, что дети, прежде чем родиться, находятся в животе матери, они всегда удивлялись тому, что когда-то были в этом маленьком животе, и немного стыдились этого.

Ещё более странным, невероятным казалось то, что эти маленькие груди кормили их молоком. Но сейчас у матери не было больше грудных детей, которых надо было кормить своим молоком и баюкать, и она, купив провизию, садилась на свой велосипед и уезжала — счастливая, что освободилась. Она не принадлежала им; они не могли на неё рассчитывать.

Они не могли её ни о чем просить. Других матерей, матерей их товарищей, можно было просить о чём угодно, и возвращаясь из школы домой, каждый из детей, идя рядом с матерью, мог попросить её о тысяче вещей. Мать могла высморкать ему нос, застегнуть пальто, он показывал ей, что было задано в школе, показывал дневник.

Матери их школьных товарищей были немолодыми, носили шляпки или вуалетки, воротники из меха; почти каждый день они приходили в школу, разговаривали о своих детях с учителем. Матери эти были чем-то похожи на их бабушку или на Диомиру: такие же крупные, их тело излучало теплоту, мягкость, и вместе с тем они были властными, из тех людей, которые не ошибаются, не теряют своих вещей, не оставляют ящики комода в беспорядке, не возвращаются домой поздно ночью.

А их мать, освободившись от покупок, сразу убегала, ускользала из дома. Продукты покупала неумело, позволяла продавцам мяса себя обманывать, часто они давали ей обрезки, которых уже никто не брал, и она, принеся это домой, исчезала так быстро, что за ней было не угнаться. Мальчики в глубине души были рады, когда она исчезала из дому. Что это за бюро, куда она ездила каждое утро, никто не знал; об этом бюро, о своей работе она никогда не говорила; знали только, что она печатает там на машинке и пишет письма на французском и английском — может быть это она делала хорошо.

Как-то мальчики отправились с доном Вильяни и детьми из рекреатория на прогулку, и на обратном пути, проходя мимо кафе на окраине города, увидели через окно мать; она сидела за столиком с каким-то мужчиной. У мужчины были каштанового цвета усы; был он в длинном светлом пальто. Знакомые им шотландский шарф и потрёпанная сумочка из крокодиловой кожи лежали на столе. Смеясь, мужчина что-то говорил матери. У неё было счастливое лицо, спокойное и счастливое — такое, какого у неё никогда не бывало дома.

Мать не видела их; она смотрела на мужчину, он и она держались за руки. Мальчики пошли со всеми дальше: дон Вильяни торопил их, чтобы успеть на трамвай. Когда пришёл трамвай, младший из мальчиков подошёл к брату и сказал: Видел маму? — но тот ответил: Нет, не видел. Младший тихо засмеялся и сказал: Конечно ты видел, это была именно она, мама, и с ней был какой-то господин. Старший отвернулся. Ему было уже тринадцать; слова брата неприятно раздражали его; он, сам не зная почему, испытывал чувство какой-то вины; думать о том, что он увидел, ему не хотелось; хотелось делать вид, что он ничего не видел.

Бабушке они ничего не рассказали. Но утром, когда мать, стоя к ним спиной, одевалась, младший сказал: Вчера, когда мы ходили гулять с доном Вильяни, мы тебя видели, с тобой был ещё какой-то господин. Мать мгновенно обернулась; лицо её было злым, её выщипанные брови, похожие на две маленькие рыбки, сошлись вместе.

Сказала: "Вам показалось. Это была не я. Знаете же сами, что остаюсь на работе до позднего вечера. Видите теперь, что ошиблись". Старший произнёс усталым, успокаивающим голосом: "Да, это была не ты. Была другая женщина, похожая на тебя". Оба мальчика поняли, что это воспоминание должно исчезнуть из их памяти, и как бы изгоняя его, оба глубоко вздохнули и с силой выдохнули.

Но мужчина в светлом пальто в один прекрасный день пришёл к ним домой. Был он не в пальто — стояло лето — а в костюме из льна; носил очки в оправе голубого цвета; когда сели за стол обедать, попросил разрешения снять пиджак. Бабушка с дедушкой были в это время в Милане — поехали туда повидать родственников, а Диомира уехала в свою деревню, так что мальчики остались одни с матерью, и вот тогда появился этот мужчина.

Обед был отличным. Почти всё мать купила в ростиссерии ^[3], в том числе и жареную курицу с картошкой фри, сама приготовила только спагетти — тоже удавшись, только соус немного подгорел.

Мать подала и вино. Была она возбуждённой, весёлой, ей хотелось говорить обо всём сразу: с мужчиной о мальчиках, с мальчиками о мужчине.

Мужчину звали Макс, жил он в Африке. За обедом он показывал свои африканские фотографии — у него была их целая куча. На одной из фотографий была снята его обезьяна, и мальчики спрашивали и спрашивали его об этой обезьяне. Макс сказал, что она была очень умной, любила его, и когда хотела получить

карамельку, делалась чрезвычайно забавной и милой. Но он должен был оставить её в Африке, так как она заболела и он боялся, что она во время путешествия на пароходе погибнет.

Мальчики сразу подружались с Максом. Он обещал взять их в кино. Они показывали Максу свои книги — было их немного; он спросил, читали ли они Необыкновенные путешествия Сатурнино Фарандола ^[4], они сказали — нет, и он обещал подарить им эту книгу, а ещё — замечательную книгу о приключениях Робинзона.

После обеда мать сказала им, чтобы они пошли в рекреаторий поиграть; хотела остаться с Максом наедине. Мальчики немного попротестовали, но и мать, и Макс сказали, что они должны пойти в рекреаторий. Когда они вернулись домой, Макса уже не было.

Мать наскоро приготовила ужин: кофе с молоком и салат из картошки; мальчики, самине понимая, почему, были в приподнятом настроении, им хотелось говорить с матерью об Африке, об обезьяне, да и мать была в хорошем настроении, казалась довольной, рассказывала детям о разных вещах, о том, как она как-то раз видела обезьяну, танцующую под музыку органчика.

Потом сказала, чтобы мальчики ложились спать, а ей нужно на короткое время выйти, они не должны ничего бояться, нет никакого повода бояться; наклонясь, поцеловала каждого, и сказала, что не надо говорить о Максе дедушке или бабушке, так как им не нравилось, когда она приглашала кого-нибудь к себе.

Несколько дней они оставались одни с матерью: у неё не было желания готовить, и они ели то, к чему не привыкли: ветчину, мармелад, жареное мясо из ротишерии; пили кофе с молоком. Потом мыли вместе посуду.

Когда вернулись дедушка с бабушкой, мальчики почувствовали облегчение: опять была на обеденном столе скатерть, бокалы и всё, что полагается; вновь, как и до этого, была у них бабушка, сидящая в кресле-качалке, вновь было её тело, излучающее мягкость, теплоту; бабушка куда-то не убежала, она была уже старая и толстая, было так хорошо иметь кого-то, кто остаётся дома, кто не может убежать, исчезнуть.

Бабушке мальчики не сказали о Максе ни слова. Втайне ждали, когда придёт от него книга о Сатурнино Фарандола и когда он поведёт их в кино и покажет другие фотографии его обезьяны. Несколько раз спрашивали мать, когда же Макс поведёт их в кино; она отвечала резко: господин Мах сейчас в отъезде. Младший из мальчиков спросил как-то: может быть он уехал в Африку? Мать ничего не ответила, и он подумал, что господин Макс и вправду уехал в Африку — уехал, чтобы привезти оттуда свою обезьяну. Он представлял себе, как в один прекрасный день господин Макс приедет и поведёт его в школу, а рядом будет идти негр, слуга господина Макса, и на шее у слуги будет сидеть обезьяна.

Начались после каникул занятия в школе. Приехала на несколько дней тётя Клементина, привезла мешок груш и мешок яблок, из них варили варенье с марсала ^[5] и сахаром.

Мать была постоянно в плохом настроении, всё время ссорилась с бабушкой. Возвращалась поздно ночью, не спала, курила. Сильно похудела, почти ничего не ела. Её маленькое, жёлтого цвета лицо изменилось: теперь она подкрашивала в чёрный цвет брови. Наносила на лицо пудру толстым слоем; когда бабушка хотела снять платочком лишнюю пудру, мать сразу отстранялась.

Она почти не разговаривала, а когда в редких случаях что-то говорила, было впечатление, что она делает над собой усилие, что ей это необыкновенно тяжело;

говорила слабым, еле слышным голосом. В один из таких дней пришла домой в шесть вечера — это было странно, обычно она приходила намного позже; придя, закрылась в спальне на ключ.

Младший из мальчиков стал стучать в дверь: ему нужна была тетрадь. Мать ответила злобным голосом, что хочет спать, хочет, чтобы её оставили в покое. Он, уже робко, повторил просьбу, и тогда она открыла и вышла из спальни. У неё было опухшее, мокрое от слёз лицо. Мальчик понял, что она плакала, обернулся к бабушке и сказал: Мама плачет — и бабушка и тётя Клементина заговорили между собой вполголоса; говорили о матери, но не было слышно, что они говорили.

Однажды ночью мать не пришла домой. Дедушка — босой, в накинутом на пижаму пальто — несколько раз выходил из своей комнаты посмотреть, пришла ли она уже; выходила посмотреть и бабушка. Мальчики спали беспокойно, слышали сквозь сон, как дедушка с бабушкой ходят по дому, как они открывают и закрывают окна. Мальчиков охватил страх.

Утром позвонили из полиции: мать нашли мёртвой в одной из гостиниц; она приняла яд, оставила предсмертное письмо. За ней пошли дедушка и тётя Клементина; бабушка кричала, мальчиков спустили к соседке на нижнем этаже, пожилой синьоре, которая всё повторяла: Бессердечная, оставить таких детей!

Мать принесли домой. Когда пришли мальчики, мать уже лежала на своей кровати. Диомира одела на неё красное шёлковое платье, в котором мать выходила замуж; на ноги одела лакированные туфли; в этом платье и туфлях мать казалась совсем маленькой. Маленькая мёртвая кукла.

Было странно видеть цветы и свечив в комнате, к виду которой они так привыкли. Диомира и тётя Клементина, стоя на коленях, молились; всем сказали, что мать приняла яд по ошибке: если бы стало известно, что она сделала это намеренно, ни один священник не пришёл бы, чтобы совершить над ней похоронный обряд. Диомира сказала мальчикам, что они должны поцеловать мать; они ужасно стыдились, потом, преодолевая стыд, подошли по очереди и поцеловали её в холодную щёку.

Потом были похороны, тянулось это долго; прошли через весь город, все чувствовали себя очень уставшими. На похоронах был дон Вильяни, многие из их товарищей по школе и из рекреатория. Было холодно, на кладбище дул сильный ветер.

Когда вернулись домой, бабушка при виде стоящего у подъезда велосипеда начала плакать и кричать — ей казалось, что она видит, как её дочь, выбегая из дома, садится на этот велосипед и уезжает, а её шарф развеивается на ветру. Дон Вильяни сказал, что она сейчас уже в раю — может быть потому, что он не знал, что мать отравилась намеренно — или знал и делал вид, что не знает. Но мальчики не знали, существует ли этот рай на самом деле: дедушка говорил, что нет, бабушка — что да, а мать как-то сказала им, что никакогорая с ангелочками и чудесной музыкой нету, но что умершие уходят туда, где нет ни хорошего, ни плохого, где нет места никаким желаниям, и поэтому там никто ничего не желает. Там находишь отдых, полный покой.

Мальчиков отправили на некоторое время в деревню к тёте Клементине. Все были добры к ним, целовали, ласкали, но им было от этих поцелуев и ласк почему-то очень стыдно.

Ни о матери, ни о Максе они друг с другом не говорили; на чердаке у тётки Клементины они нашли книгу о приключениях Сатурнино Фарандола, прочли её, и она им очень понравилась.

Но старший из мальчиков часто думал о матери — как он её тогда увидел в кафе с Максом, как мать и Макс держались за руки, какое спокойное, счастливое

лицо было у матери; он думал о том, что может быть мать приняла яд потому, что Макс вернулся к себе в Африку навсегда.

Мальчики играли с собакой тёти Клементины — красивой собакой, которую звали Буби; учились взбираться на деревья — раньше они этого не умели. Отправлялись к реке, купались, плавали. Было так приятно возвращаться вечером к тёте Клементине, решать с ней кроссворды. У тёти Клементины им было хорошо!

Потом наступила пора возвращаться домой к дедушке и бабушке. Мальчики были рады возвратиться в привычный им мир. Бабушка сидела, как и прежде, в своём кресле-качалке, и всё порывалась чистить им уши своей заколкой. По воскресеньям шли на кладбище. Диомира шла с ними. Покупали цветы, а на обратном пути заходили в бар выпить пунш.

На кладбище перед могилой бабушка молилась и плакала, но мальчикам было очень трудно связать могилы и кресты и кладбище с их матерью — той, которую обманывали мясники, той, которая садилась на велосипед и исчезала, той, которая постоянно курила, путала улицы и плакала по ночам.

Кровать была теперь для них очень просторной. У каждого была своя подушка. Они редко думали о матери: думать о ней было им тяжело и немного стыдно.

Время от времени каждый из них молча пробовал вспомнить, какой она была, но в этих воспоминаниях всплывали унылым, однообразным рядом короткие с завитками волосы, тёмные выщипанные, похожие на крохотных рыбок брови; вспоминалось то, как она густо пудрилась жёлтой пудрой. Это они помнили точно, но дальше всё было покрыто каким-то пятном — вспомнить, представить в своём воображении, какие у неё были щёки, какое лицо, они уже не могли.

Кроме всего, они теперь понимали, что мало любили её, и может быть, она тоже мало любила их; если бы она их любила, не приняла бы яд — это они слышали от Диомиры, от привратника у их подъезда, от соседки, жившей этажом ниже, и от многих других.

Мальчики росли, вокруг происходило много событий, и это лицо, лицо человека, которого они не очень любили, исчезло из их памяти навсегда.

Примечания

[1] Natalia Ginzburg. *La madre*. (Cinque romanzi brevi e altre racconti). Einaudi tascabili

[2] Рекреаториум: помещение, в котором школьники могут после уроков отдохнуть, заняться спортом или играми

[3] Ростиссерия: В зависимости от величины и класса — гриль-ресторан/фастфуд-заведение, в котором можно сидя [на табуретке], стоя за столиком поесть (акцент на жареном на гриле с соответствующими овощными добавками, но есть и холодные блюда — всё в том же фастфуд-жанре) или взять еду с собой. Слово "ресторан" здесь скорее некоторое преувеличение.

[4] Необыкновенные путешествия Сатурнино Фарандола (*Viaggi straordinarissimi di Satumino Farandola*). Книжка для детей младшего возраста; написанный в 1879 году французским писателем Альбером Робида (*Voyages très extraordinaires de Satumin Farandoul*) приключенческий роман о мальчике по имени Сатурнино.

[5] Крепкое десертное вино родом из Сицилии.



Борис Геллер
ПЕРЕВОДЫ
POETRY TRANSLATION

Шел Силверстейн (1930 - 1999)

Where the sidewalk ends

There is a place where the sidewalk ends
And before the street begins,
And there the grass grows soft and white,
And there the sun burns crimson bright,
And there the moon-bird rests from his flight
To cool in the peppermint wind.

Let us leave this place where the smoke blows black
And the dark street winds and bends.
Past the pits where the asphalt flowers grow
We shall walk with a walk that is measured and slow,
And watch where the chalk-white arrows go
To the place where the sidewalk ends.

Yes we'll walk with a walk that is measured and slow,
And we'll go where the chalk-white arrows go,
For the children, they mark, and the children, they know
The place where the sidewalk ends.

Там, где кончается тропинка

В этом месте тропинка кончается,
А улица еще не началась.
Здесь солнца малиновый диск
Висит над травой белесого цвета,
А ночью усталая птица на фоне луны
Охлаждается ветром,
Пропитанным мятой и летом.

Уйдем от извилистой улицы,
Темной и дымной, и от суеты,
Туда, где в асфальте пробилась цветы,
И пойдем себе медленным шагом,
Ни широким, ни мелким,
Вперед, по мелком нарисованным стрелкам,
Туда, где тропинки конец.

Итак, мы пойдем себе медленным шагом,
Ни широким, ни мелким,
Туда, где мелком обозначены стрелки.
Они для детей, чтобы те, без запинки,
Могли указать, где же кончается тропинка.

Стефен Винсент Бенет (1898 - 1943)

Nos Immortales

Perhaps we go with wind and cloud and sun,
Into the free companionship of air;
Perhaps with sunsets when the day is done,
All's one to me — I do not greatly care;
So long as there are brown hills — and a tree
Like a mad prophet in a land of dearth —
And I can lie and hear eternally
The vast monotonous breathing of the earth.

I have known hours, slow and golden-glowing,
Lovely with laughter and suffused with light,
O Lord, in such a time appoint my going,
When the hands clench, and the cold face grows white,
And the spark dies within the feeble brain,
Spilling its star-dust back to dust again.

Бессмертные

Быть может, уходим мы с облаком, солнцем и ветром,
И воздухом плотно окутано брненное тело,
А может, - с закатом, поэтом любовно воспетым,
По мне - все равно. И какое мне, собственно, дело?

Покуда кругом существуют холмы и пригорки, и деревья стоять,
Как пророк сумасшедший на службе Харона,
Мне ничто не помеха, и вечно готов я лежать,
Молча слушающая вздохи Земли, ее пульс монотонный.

Мне знакомы мгновенья, где счастье проникнуто светом.
И молю я, Господь, в час такой пусть предстану к ответу.
Когда руки немеют, и белым становится лик,
Когда искра угаснет, и мозгу уже не понятно,
Когда звездная пыль превратится в земную обратно.



Эфраим Кишон

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ^[1]

Авторизованный перевод Бориса Гасса

Из цикла «Русские идут»

Глоток свободы

Время от времени я мысленно возвращаюсь в прошлое и оживляю силой воображения события страшных лет войны.

Отчетливо помню первый день освобождения Будапешта. Избавление предстало мне тогда в образе украинского солдата. Ударом сапога он выбил дверь сарая, где я коротал дни, уповая на «охранную грамоту» — фальшивые документы.

Это был розовощекий детина с мелкими чертами циркульно круглого лица. Его одежда была явно интернациональной: выше пояса — истрепанная гимнастерка бойца советской армии, ниже — галифе и стопганные сапоги румынского кавалериста. Одной рукой он сжимал ручной пулемет с круглым диском, второй — тащил за собой маленькую тачку, наполненную доверху луком, колбасой, флаконами с одеколоном.

Увидев его, я разрыдался. Я ждал его шесть мучительных лет. И вот он появился. Да еще с куском вождельной колбасы, дружелюбно протянутой мне. Мы молча приступили к трапезе.

Время от времени солдат вставал, выглядывал в узкое оконце и смачно посыпал убегающих немцев куда подальше.

— Немецки капут, русски — Берлин, — видно, желая быть понятным, обратился он ко мне на тарабарском наречии.

Я приложил руку с зажатой в ней колбасой к груди и сказал:

— Коммунист.

— Я нет, я — бухгалтер, — сказал солдат и продемонстрировал отсутствие мозолей на руках. — Счет, понимаешь?

Я кивнул головой и признался:

— Еврей. Жид.

Часы, — увидел он на моей руке часики. — Давай.

Я снял часы, и солдат бросил их в мешочек с трофеями-сувенирами.

Вскоре он собрал остатки трапезы, деловито уложил их в тачку и повел меня куда-то за город. А там сдал с рук на руки русскому сержанту. Таким макарон я очутился в лагере для военнопленных.

«Это, конечно, ошибка, недоразумение», — утешал я себя, заглядывая в глаза солдату-освободителю и выпаливая спасительное:

^[1] Из книги «Израильяне смеются», изд. «Битан», Израиль, 1992 год. Иллюстрации Яакова (Зеева) Фаркаша.

— Я еврей, антифашист, коммунист, жид...

Сержант понимающе улыбнулся и спросил жестом, нет ли у меня часов. Я отрицательно покачал головой.

Хорошенько оглядевшись, я выяснил, что лагерь кишит коммунистами, евреями и антифашистами.

Оказывается, командующий фронтом (маршал Малиновский) в спешке доложил Генералиссимусу о пленении ста тысяч фашистских солдат и офицеров. А на поверку их оказалось всего двадцать тысяч. Тогда маршал распорядился схватить всех мужчин, высыпавших на улицы приветствовать освободителей, — ведь надо же было набрать еще восемьдесят тысяч голов.

Началась облава. В течение суток были отловлены все коммунисты, евреи, борцы антифашистского подполья. Город словно метлой вымело. Ареста избежали только пособники нацистов, так как они боялись выйти на улицу...

Нас погнали на север, в сторону России. По дороге кто-то сделал попытку отбиться от колонны, но его догнала пуля конвойного. Сержант самолично перебинтовал раненого и даже подарил ему яблоко и бинокль.

К вечеру группу, в которую входил и я, загнали в огромный разграбленный магазин. Но не прошло и двух часов, как раздалась команда строиться в колонны для нового перехода.

Все вышли, я же схоронился в подсобном помещении. Колонна мнимых военнопленных двинулась. Моего отсутствия никто не заметил...

Спустя много лет один из сопленников рассказал мне, что конвой спохватился только у границы и втокнул в строй первого встречного. Им оказался словак, крестьянин. Галочка была поставлена, поголовье восстановлено...

Я вернулся в разрушенный Будапешт. Уже в качестве свободного гражданина. И сатирика поневоле...

Вольный перевод

Позавчера утром меня разбудил истошный крик в подъезде. Я вскочил с постели и распахнул дверь. Смотрю — наш сосед Бен-Зоар, чертыхаясь, мечется по лестничной клетке и пыхтит, как кипящий самовар. А напротив него — невзрачный коротышка топчет ногами и тарасит глаза, точь-в-точь, как член Кнессета. И осыпают они друг друга такими проклятьями — хоть уши затыкай.

Коротышка — на чистом иврите, Бен-Зоар — на таком же чистом матерном. Не зря говорят, что в Израиле читают на английском, говорят на идиш, молятся на иврите, а ругаются на русском.

Бен-Зоар ухватился за меня, как утопающий за соломинку.

Ты только посмотри на этого наглеца. Я хотел купить у него десяток яиц, и одно упало, — показал он на растекшийся по ступенькам белок. — Само упало. А этот засранец требует, чтобы я за него уплатил. Шиш он получит на постном масле. Объясни ему на хорошем иврите — если будет настаивать, я из него котлету в чесночном соусе сделаю.

— Ладно, — сказал я и обратился к коротышке:

— Этот господин говорит, что он сожалеет о случившемся и, только щадя ваше самолюбие, не предлагает компенсации за нанесенный ущерб.

— Ишь какой деликатный, пусть лучше заплатит, — не унимается коротышка. — Скажите ему, что я уже отсидел один срок за убийство в припадке бешенства и готов схлопотать еще четвертак, если этот убудок не рассчитается за яйцо. Не уплатит — попатится жизнью!

— Минуточку, — успокоил я коротышку и сказал Бен-Зоару:

— Он говорит, что охотно примет твои извинения и, само собой разумеется, не настаивает на уплате, если это бьет тебя по карману.

— Вот это другой разговор, — явно подобрел мой сосед. — Я думал, он требует денег. Хотя и слепому видно, что с меня не причитается ни копейки.

— Добрый господин утверждает, — перевел я коротышке, — вы произвели на него прекрасное впечатление, и он от всей души желает, чтобы этот убыток был последним в вашей жизни.

— Чего уж тут мелочиться, — улыбнулся коротышка, — весь спор выеденного яйца не стоит. Дело в принципе. Мне показалось, он артачится, иначе не стал бы ссориться из-за такого пустяка.

И они протянули друг другу руки.

И обнялись.

И поцеловались.

И заплакали слезами светлой радости, словно братья, которые встретились после долгой разлуки.

Я смотрел на них и думал: вот, взяли бы меня переводчиком на переговоры глав великих держав — сто поколений жили бы в мире на нашей земле.



Из цикла «Портачия — любовь моя»

Страна Портачия

Нежась на солнце, привольно лежит в бассейне Средиземного маленькая Портачия — единственная в мире страна, которую построили на зарубежные жертвования.

Климат Портачии крайне субтропический, и этим обусловлены сверхвысокие налоги и влажность.

Портачия — страна с неограниченными границами. Населяет её племя особого рода: с восточной ментальностью и галицийскими замашками.

Характерные признаки среднего портача: он вечно спешит, без конца поглядывает на часы, не может усидеть на месте и к половине четвертого непременно должен попасть в Хайфу. А это значит, что ему некуда торопиться и совершенно нечего делать в Хайфе.

Если портач вам необходим по делу, ищите его там, где висят таблички «Вход строго воспрещен!» Когда портач попадает в незнакомое место, он считает себя просто обязанным все потрогать, пощупать, понюхать, облизать. Словом, удостовериться во всамделишности любой вещи. Увидит бутерброд — откусит, покажешь часы — покрутит, холодильник откроет, закроет.

Портач обожает рыться в ящиках, залезать в шкафы, ковырять в носу, хлопать себя по карманам.

Присущ портачам и еще один общий признак — бутылка в руках. Неважно, кока-кола ли это, апельсиновый сок или минеральная вода. В любом месте, будь то кинотеатр, концертный зал, библиотека, банк, служебный кабинет, он не расстается с бутылкой. И если в каком-то из этих мест раздастся вдруг грохот катящейся по полу бутылки, гадать не приходится — это портач.

Национальный признак портача — ключи. В кармане каждого жителя Портачии всегда позванивают двадцать два ключа, двенадцать из которых ему абсолютно не нужны, а один — от квартиры. Придя домой, портач пробует отпереть дверь по меньшей мере семью ключами, пока не найдет тот, который ему нужен. И так каждый день. Проходит вечность, прежде чем портач попадет в собственную квартиру. Но ему на это наплевать, ведь он — истинный портач. Впрочем, иногда избавление приходит само собой — портач просто-напросто теряет всю связку.

Страсть что-нибудь терять и путать приобретает у портачей характер мании. Один сотрудник органов безопасности Портачии полетел в Стамбул с документами особой важности. Когда этот Джеймс Бонд, явившись на тайную встречу, открыл свой дипломат, то обнаружил в нем косметичку своей жены. Вернувшись, он утверждал, что ему было приказано отвезти в Турцию именно косметичку. И задал начальству расхожий вопрос: «А что, собственно, произошло?» Его пришлось уволить с работы, выдав премиальные и выходное пособие. Теперь он устроился страховым агентом.

Характерно для портачей наплевательское отношение к разного рода инструкциям. Если на крышке ящика написано «Верх», портач обязательно поставит ящик надписью вниз. Если выведено красными буквами «Осторожно, стекло!», портач изо всех сил бросит ящик на пол, и, заткнув уши пальцами, отпрыгнет в сторону. Если указано «Хранить в сухом и прохладном месте», портач поставит его в ванной и примет душ.

Типичный портач — мастер на все руки. Он обожает красить и перекрашивать, накладывая при этом густой слой краски прямо на ржавчину. Заметит на машине царапину — перекрасит весь кузов. Портач питает неутолимую страсть к разного рода починкам. В этой области он — законченный профессионал. Там, где нужна сварка, он пользуется канцелярским клеем, ножки к столу он приклеивает пластилином, вместо болтов пользуется спичками. Если положение становится безвыходным (спички кончились), портач вкручивает вместо четырех винтов один. Будет держать, как миленький.



За всю историю страны не случалось такого, чтобы под рукой портача количество отверстий совпало с количеством болтов. Всякий уважающий себя портач винтит вместо трех болтов один, в худшем случае — два.

Рассказывают, что однажды на военный завод в Верхней Портачии проник, передевшись слесарем, шпион некой сверхдержавы. Этот горе-слесарь дал маху на сборке первого же самолета — затянул все три болта. И этим, конечно, тут же разоблачил себя.

Был и такой случай. Государственный контролер посетил в Нижней Портачии короля плотников и целый день следил за его работой. Под конец он спросил у мастера, почему тот экономит по одному шурупу на каждой дверной петле. «Он лишний, — ответил король плотников, — двух хватает с лихвой».

«Но на петле три отверстия, для чего?» — любопытствовал настырный контролер.

«Господин хороший, — ответил король плотников, — у нас работают, а не рассуждают».

Государственный контролер взял и собственноручно вкрутил третий шуруп.

Король плотников посоветовался со своими помощниками и вынес вердикт: у государственного контролера в голове не хватает одного винтика.

Средний портач громко чавкает при еде, громко стучит башмаками при ходьбе, громко кричит во время беседы с друзьями. И обязательно жалуется на шум.

Граждане Портачии все как один — заядлые любители радио. Если транзистор, не приведи Господь, начинает шуметь и трещать, через год портач вызовет техника. Но попробуй техник не явиться в тот же день — портач устроит скандал. Техник перевернет приемник вверх ногами, и тот заработает нормально. Портач вернет его в нормальное положение, подставив спичечный коробок. Вновь раздается треск. Портач шлепнет по приемнику ладонью. Чаще всего это помогает. Но случаются и осечки. Тогда портач принимается колотить по приемнику сверху, снизу, с боков. Колотит нещадно, от всей души.

Вообще, электроприборы портач бьет смертным боем. Особенно он любит истязать проигрыватель. Заело иглу — портач ждет день, два. Игла не сдвинулась с места — начинается экзекуция. В результате пластинка крутится, игла прыгает, проигрыватель ходит ходуном. Легковые машины портач любит пинать. Шины он накачивает велосипедным насосом. Если перегревается радиатор, он врежет по нему молотком.

Аналогично реагирует портач и на центральное отопление. Батарея не нагревается — надо ее перекрасить. Если это не помогает, портач принимается за

термостат — дает ему увесистую оплеуху. Затем спускается в подвал и наносит нокаутирующий удар всей системе отопления. И решает вызвать по телефону водопроводчика. Но тот в половине четвертого уехал в Хайфу. Портач идет в магазин и покупает в рассрочку шесть газовых обогревателей. Только два из них исправны (сделано в Портачии). С четырьмя бракованными он говорит позже — языком кулаков.

В пищевых продуктах, произведенных в Портачии, непременно обнаруживается что-либо необычное: в хлебе — гвоздь, в молоке — жвачка, в булке — жук, в консервах — часы.

Портачия — страна, которая учредила Союз писателей, но забыла создать Общество читателей, хотя население ее — сплошь книголюбы. В этом можно легко убедиться, взяв в руки любую книгу в доме портача. На обложке — следы столярного клея, на полях страниц — жирные отпечатки пальцев.

Больших успехов добились портачи и в искусстве перевода. Особенно когда переводят классику. Гамлет в одном спектакле заговорил таким языком, что у зрителей начали вянуть уши. А в антракте театралы потребовали, чтобы монологи сопровождались титрами, как в кино. Иначе-де непонятно, Шекспир это написал или кто-то другой. Им ответили, что науке доподлинно неизвестно, сам ли Шекспир создавал свои трагедии или кто-то писал за него. Предполагают, что их сочинял другой человек, которого, впрочем, тоже звали Шекспир. И, судя по новейшим переводам, пьесы Шекспира скорее всего писал Пикассо.

Если в доме у портача краны не протекают, значит, перекрыли воду. Электричество по всей стране отключается регулярно два раза в неделю — провода на столбах рвутся, как нитки. Столбы, разумеется, регулярно красят и перекрашивают.

В Портачии никто не уповает на чудо, но все считаются с ним. Поэтому потомственный портач верит, что была прошлая жизнь, и предстоит будущая. И очень надеется в следующем рождении воплотиться в банкира или строительного подрядчика.

Портач завинчивает винты пилкой для ногтей, ногти чистит тупым карандашом, письма пишет обгорелой спичкой. Номера телефонов он записывает на пустой пачке сигарет и тут же ее выбрасывает. Когда у портача шалют нервы, он звонит по телефону и, услышав прерывистые гудки, успокаивается. Но если на другом конце провода отвечают, он бросает трубку и бежит в банк брать ссуду.

Портачия — страна, где производят меньше, чем потребляют, однако еще никто в ней не умер с голоду. Ее граждан отличает приверженность к свободе, бутербродам и сочным отбивным. Религия здесь отделена от государства, оттого она и господствует.

Портачи не едят свинины, и поэтому создали целую индустрию по выращиванию свиней.

Большинство населения Портачии любит заворачивать рис, творог и сыр в утренние газеты. Так они выполняют правила гигиены.

Лексикон среднестатистического портача на редкость богат и точен. «Будет хорошо» — значит, стряслась беда. «Будем надеяться» означает, что это невозможно. «Сию минуту» — через два часа. «Через пару дней» — в будущем году. «После праздников» — никогда. «Терпение» — можешь ждать, сколько тебе угодно. «Звони» — ты мне смертельно надоел.

Есть у портачей и всеобщая страсть — перебрасываться при встрече на улице замечаниями вроде: «Зима холодная, ветер мерзкий, нервы шалют, банки наглеют, меня не пальцем делали, будет хорошо». И непременно: «Ну, а как во-

обще?» За этим вопросом следует новая обойма: «Тянем лямку, живем — хлеб жуем, что-что, а фразером я не умру, минус растет, главное — здоровье». И вновь: «Ну, а как вообще?»

Так стоят они на улице часами, крутят друг у друга на рубашках пуговицы и обмениваются впечатлениями. Как-то такая беседа привела даже к трагическому исходу. Под вечер один портач вдруг задышал, как сошедший с дистанции марафонец, и рухнул на тротуар. Когда же пришел в сознание, приподнялся на локте и спросил: «Ну, а как вообще?» Парламент Портачии даже закон принял — отвечать на вопросы всякого встречного только в письменном виде, по почте.

В Портачии каждый человек — солдат, а каждый солдат — человек. Войны они всегда выигрывают. Когда портач ведет танк, он ведет его задним ходом, при этом случайно сбивает с ног вражеского генерала, В разведку портач едет на грузовике. Портач-шофер запасается перед наступлением всем, кроме домкрата и гаечного ключа. Случится прокол — застрянет на самой линии огня. Обойдется без прокола — выигрывает сражение.

Портач с головы до ног — строитель. Хотя никто никогда не хочет работать, но если припрет, портач построит новый дом за три дня, а в остальные дни недели будет бить баклуши, принимать солнечные ванны, качаться в кресле-качалке, сидеть, задрав ноги, на стуле и попить воду из бутылки. Если стул сломается, портач привяжет ножку веревкой и вдобавок покрасит.

Жить портаческой жизнью — одно наслаждение. Вполне может быть, что Портачия — не самая идеальная страна на свете, но для юмориста она — находка. Удачи вам, портачи!

Шиворот-навыворот

Одному Богу известно, почему у нас в Портачии делают все наоборот. Си-дишь, скажем, в кинотеатре и вдруг приспичило сходить по малой нужде. Идешь в то самое место, куда царь пешком ходил, и видишь на стене крупную надпись: «Да здравствует правительство!»

Во всем просвещенном мире принято в таких местах писать три веселых буквы или такие шедевры фольклора, что уши вянут. Или, на худой конец: «Повесим на фонарях гадов-министров». У нас же ... Пробирается на цыпочках портач в туалет, оглядывается по сторонам и пишет дрожащей рукой слова приветствия правительству.

Вообще в Портачии много забавного. Все не как у людей.

Пошел я однажды на почту — звякнуть по телефону-автомату. Смотрю, дверь будки раскачивается, а на косяке висит табличка «Телефон не работает». Я было повернул оглобли, но тут вспомнил, что нахожусь-то в родной стране, и, опустив монетку, снял трубку. В ней отчетливо послышался гудок. Я набрал номер, а через мгновение услышал скрипучий голос почтового служащего: «Ты что, неграмотный? Протри глаза! Не видишь, что написано? Телефон испорчен». В ту же минуту я услышал голос с другого конца провода. Но поговорить с другом не смог. Почтарь, размахивая руками, так кричал, что перекрывал наши голоса не хуже глушителя. Мимикой и жестами я стал уговаривать его не встречать в наш разговор, но это только подлило масла в огонь. Распалившийся почтарь призвал на помощь еще двух сослуживцев. Теперь они в три горла мешали мне разговаривать по телефону. Я за-

крыл дверь будки, тогда они забарабанили ладонями по прозрачным стенкам. И повернули табличку лицом ко мне, мол, читай, недотепа: телефон не работает.

В тот день я так и не смог побеседовать с другом. А дело было важное...

Во всех цивилизованных странах принято, если на двери будки телефона-автомата присутствует табличка, значит, телефон испорчен. У нас же в Португалии наоборот — если табличка есть, значит, телефон исправен.

И так во всем. На каждом шагу. Я уже привык заходить в помещение с надписью на двери «Входа нет» громко говорить у таблички «Соблюдайте тишину», считать деньги в автобусе, сев на место, хотя на окошечке висит объявление «Проверяйте сдачу, не отходя от кассы». Но если мне недодали сдачу — возвращаюсь и устраиваю скандал. Разве я не плоть от плоти своего народа?!

Вот и тебе, читатель, советую — возьми пример с португальцев и делай все шиворот-навыворот. Такое облегчение почувствуешь, просто благодать...

Из цикла «Портреты углём»

Кто еврей?

Недавно узнал я из газет о терзаниях юристов. Ломают себе, оказывается, головы и никак не могут разобраться, кто же согласно закону является евреем. Спросили бы у говев, те наверняка знают, кто еврей, а кто нет. Сильно развито у них, видно, некое шестое чувство.

Помню, еще задолго до приезда в Израиль сидел я как-то в столовке и уплетал макароны. Венгрия в то время была под фашистами. Но мне удалось обзавестись фальшивыми документами, вот и ходил в христианах. Вдруг подходит ко мне немец и говорит: «Ты — еврей! Паadlo вонючее!»

Страшно мне стало — жуть!

«Ошибаетесь, господин, — ответил я, — да и как я могу быть евреем, если я курносый и блондин?»

Фриц брезгливо ткнул пальцем в мою тарелку: «Только жида посыпают макароны сахаром. Ты выдал себя с головой!» И был бы мне каюк, не придумай я сходу, что, дескать, в юности я общался с евреями, потому у меня и вкус дурной.

Что и говорить, аргумент фашиста о макаронах и сахаре увесистый. Однако я не уверен, что можно включить в свод законов такой пункт:

«Евреем является каждый, кто ест макароны с сахаром».

Существуют и другие характерные признаки, по которым легко распознать еврея. Если кто-нибудь на замечание «Жарко сегодня» ответит: «Да, не холодно», можешь засечь — еврей.

Или входяшь в лавку и спрашиваешь «Сыр есть?», а продавец отвечает «Сыру нет», ты же говоришь «Взвесь мне полкило», и он взвешивает, можешь не сомневаться: продавец — еврей (кстати, и покупатель — тоже).

Встретил я однажды на улице давнего своего друга.

— Послушай, — говорю, — как я могу узнать, еврей ты или нет?

— Послушай, — отвечает он, — а почему ты должен знать, еврей я или нет?

Тут и созрела у меня окончательная формулировка этого пункта конституции:

Евреем является каждый, кто уклоняется от прямого ответа и не задается вопросом, почему бы ему не быть евреем.

Диктатор и дети

Однажды я задумался: собственно говоря, кто они — диктаторы, и что это за феномен такой? И решил составить среднестатистический, так сказать, портрет диктатора.

Увы, как ни ломал я голову, сделать это не удавалось.

Говорят, например, что все диктаторы носили усы. Но у Муссолини их не было и в помине.

Утверждают, будто все диктаторы были низкорослыми. Но Перон был длиннющий, как каланча.

Существует мнение, что все диктаторы были грузными. Но Гитлер был худой, как жердь.

Запутавшись окончательно, я прилег почитать свежие газеты. И вдруг вспомнил фото в «Правде» — «вождь и учитель» (текстовка) принимает букет цветов из рук русоголовой школьницы. Добрые глаза Сталина излучают тепло и чело-веколюбие. В них столько ласки и света, что все вокруг умиленно улыбаются.

Тут-то меня и осенило: характерной особенностью диктаторов можно считать любовь к детям.

Вспомнилась страна моей юности. Школьный класс, увешанный портретами «друга детей» (из газет) — дуче. Глаза Муссолини лучатся добротой и любовью к детворе.

Воскресли в памяти и кадры кинохроники. Фюрер ласкает взглядом арийских детей, которые обнимают его сапоги. В глазах Гитлера «улыбка новой весны» (голос за кадром), они лучатся гуманизмом.

Сохранились в памяти и телевстречи «отца нации» (слова комментатора) с непоседливыми детьми. Добрейший Саддам Хусейн гладит их по головке. В его глазах нежность и забота о юных заложниках.

И я утвердился в своей догадке: общая для всех диктаторов примета — ласкающий детей взгляд.

Вот и решил я обратиться к вам, господа, с просьбой — случись вам встретить на улице кого-нибудь, поглядывающего добрыми глазами на детей, — убейте его на месте. Пока он не уничтожил всех нас...

Кто стучит в дверь?..

Резкий стук в дверь прервал сон супруги Лаврентия Павловича Берии.

— Лавруша, — зашептала она, теребя мужа за плечо, — кто-то стучит.

Берия сладко потянулся, близоруко посмотрел в сторону двери и пробурчал:

— Нашли время. В самый разгар ночи. Да ну их!

Он махнул рукой и натянул на голову одеяло. В это время раздался повторный стук. Уже более настойчивый и громкий.

— Даже поспать не дадут по-человечески, — сказал Берия, зевая, и повернулся лицом к жене. — Открой им, наверняка соседи снизу. Опять пришли за термометром. Вот жмоты, не могут купить? Кто виноват, что у них дети болеют. Ох, эти соседи. Что ты так смотришь на меня?

— Камень у меня на душе, Лавруша, дурной сон видела. Это за гобой пришли...

— За мной? — Берия ехидно улыбнулся и приподнялся в кровати на локте.
— Кто посмеет?! Да и за что меня брать? Я ведь никому не сделал ничего плохого.

— С ними всего не предусмотритишь, — горько вздохнула жена, — мало ли к чему могут придаться. Может, за врачей держат на тебя зуб? У меня сердце екнуло, когда на банкете в Большом этот из политбюро как бы в шутку проехался на твой счет. Уверена, ты вновь что-то сболтнул. Думаешь, в твоём кабинете у стеннет ушей?

В дверь уже не стучали, а барабанили.

— Сделай одолжение, открой, — попросил Берия жену.

— Нет, ты открой, мне страшно.

Лаврентий Павлович накинул на плечи просторный халат и побрел в темную прихожую. Супруга все же решила не оставлять Лаврушу одного.

Сунув ноги в шлепанцы и всхлипывая, она пошла за ним.

— Чего нюни распустила, перестань, — бросил ей Берия и снял цепочку.

Дверь открылась. На пороге стояли двое в штатском. Один мгновенно придержал дверь ногой, второй сунул руку в оттопыренный карман.

— Вы Лаврентий Берия?

— Да, я Лаврентий Павлович Берия.

— Вы арестованы. Собирайтесь. Пойдете с нами.

Берия сжал в ярости кулаки и произнес сдавленным голосом:

— Господи, неужели особый отдел?! МВД?!

Его супруга бессильно опустилась на колени и запричитала:

— Я чувствовала, что этим кончится. Сердце подсказывало. Ведь говорила ему, не раз говорила — Лавруша, прикончи, расстреляй этого толстого борова. А он тянул, откладывал. Не верил мне. Все умеют быть осторожными, только мой муж такой доверчивый. Цацкается с людьми. Мухи не обидит. Вот и доигрался...

Лаврентий Павлович поднял супругу с колен и попросил у незваных гостей ордер на арест.

— Уверен, ошибка произошла, — сказал он, внимательно разглядывая бумажку.

— Ну, почему? Все чин чинном, — заверил его штатский с оттопыренным карманом.

Берия покрутил в руках ордер и вдруг смертельно побледнел.

— С подлинным верно, — сказал он обреченно, — сомнений никаких. Уж я-то знаю свой почерк. Подпись моя.

Наставник

Как-то гостил я у Фукса в Иерусалиме.

Сидим себе на веранде, тыр-пыр, болтаем обо всем на свете. Заодно наслаждаемся прохладой. Смотрю, из особнячка напротив выходит мужчина в пижаме. А в руках у него корзина с бельем.

— Он что — того? — спрашиваю я у Фукса. — Не видиг, что вот-вот дождь пойдет?

— Непременно пойдет, — подтверждает хозяин. — И так всегда — не успеет он повесить белье — сразу начинает капать.

Мужчина в пижаме развешивает белье, самодовольно оглядывая полную постиранных вещей веревку.

— Сейчас оборвется, — говорит Фукс, — он вечно ее перегружает.

Мужчина в пижаме открывает кран оросительного фонтанчика, который разбрызгивает воду во все стороны. Мужчина бежит к укрытию, преследуемый брызгами.

— Это представление мы смотрим каждый день, — говорит Фукс. — Рекордный трюк: открыть кран в одном конце сада и бежать в другой.

Белье набухает, и веревка обрывается. Белье падает на землю. Мужчина в пижаме выскакивает из укрытия и бежит через двор, чтобы закрыть кран. Затем собирает бельё в огромную корзину. Гут начинает капать с неба.

— Какой-то недоумок, — говорю я. — Почему бы тебе не вправить ему мозги?

— Пробовал, — отвечает Фукс, — но он понимает только по-английски.

Мужчина в пижаме продолжает аккуратно складывать бельё в корзину.

— Завтра будет перестирывать, — смеется Фукс.

Мужчина в пижаме идет домой. Плотно закрывает окна и принимается бегать по комнате с полотенцем в руках. Охотится за комарами. Это длится не менее четверти часа.

Мы сидим на веранде и недоумеваем.

— Он что, не ведает о существовании аэрозоля? — спрашиваю я, наблюдая как истребитель комаров мечется по комнате и лупит полотенцем по стенам.

— У него свой способ. А английского я не знаю, — говорит Фукс.

— Диковинный экземпляр, — говорю. — Где его выкопали?

— Полгода назад приехал. По приглашению правительства, — вносит ясность Фукс. — Курсы менеджеров ведет, учит, как правильно управлять аппаратом.

— А, усек, — говорю...

С тех пор мне многое стало понятно в нашей жизни...



Виктор Фет

О, ТЕСНОТА ИСТОРИИ

Лев Бердников. Русский Галантный век в лицах и сюжетах. Accent Graphics Communications, Montreal, 2013. Кн. 1, 460 с., кн. 2, 320 с.

Хорошо изданный, увесистый двухтомник Льва Бердникова, известного в эмиграции историка России, архивиста и литератора, напоминает сундук с разнообразными сокровищами, коими так гордились при жизни многие из его знаменитых героев. Его исторические миниатюры-жизнеописания повествуют, в традиционном духе, о бурной придворной жизни российского престола “галантного” 18-го века, от “венценосного брадобрея” Петра до пруссофила Павла; очерки эти исключительно насыщены лицами и событиями. “О, теснота истории!” — так восклицает сам автор, спеша пересказать нам — непредвзято, с юмором, с подробностями и без особого пафоса — стремления и страсти своих персонажей, и общеизвестных, и полузабытых. Толпяся, переливаются и непрерывно переходят из истории в историю дворцовые фигуры, бурлит “невероятный омут придворных интриг”...

Первая книга включает 35 очерков-миниатюр. Лица, выведенные во многих историях, хорошо знакомы любителям-неспециалистам (к которым и я отношусь), но знакомы по пересказу таких пристрастных авторов, как Дмитрий Мережковский или Иван Лажечников, не говоря уже об Алексее Н. Толстом и современных имитаторах. Часть миниатюр Бердникова посвящена российским венценосцам 17-18 веков: здесь есть царевна Софья, Петр I, Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, Екатерина II, Павел I. Эрмитажная галерея эта, обозримая в пределах одного тома, создает масштаб столетия: читатель ощущает преемственность историческую, а в незаполненных клеточках пространственно-временной карты возникают и пропадают важные, а часто и эфемерные фигуры, неизбежно и во все времена сопровождавшие любую монархию.

Книга первая имеет подзаголовок “Фавориты, шеголи, вертопрахи”. Большое внимание автор уделяет человеческим, универсальным страстям своих персонажей, “материальной культуре эпохи”, прежде всего их костюму, законодательству и тирании моды, куртуазным манерам. Все эти элементы культуры, само собой, интенсивно заимствуются из разных стран Запада (начались заимствования еще до Петра), в чем подают пример цари и царицы, во многом следуя вековым традициям Габсбургов и Бурбонов, часто и перешеголяв Вену и Версаль — чего стоит одна “щедрая в любви” императрица Елизавета Петровна с ее пятнадцатью тысячами платьев!

Своим героям в старинном духе Бердников дает меткие характеристики в подзаголовках. Подробно описаны “звезды” куртуазного века, от “вечновлюбленного” шеголя Виллема Монса (младший брат фаворитки Петра I, окончивший свои дни на плахе), до “русского Помпадур” Ивана Шувалова и “демона интриги” Сергея Салтыкова. Здесь и такие знаменитости, как Александр Меншиков, Борис Шереметев, хитрый царедворец Петр Толстой, “неистовый ревнитель славы” фельд-маршал Миних (один из неудачливых завоевателей Крыма)... Целая галерея женских портретов, среди них не только монархини, но и “несостоявшаяся царица” Анна Монс, очаровательная авантюристка Мария Гамильтон, “соперница императрицы” Наталья Лопухина...

Множество карьерных, придворных, родственных и любовных связей между десятками героев Бердникова образуют ту “социальную сеть 18 века”, куда погружается читатель в надежде найти отвлечение от невеселых новостей века 21-го. Но читатель найдет все те же вечные страсти, что и в жизни нынешних знаменитостей: карьеризм, властолюбие, сребролюбие, любовный пыл (часто доходящий до раблезианских уровней), тщеславие, следование моде, безумное воровство, безумное же мотовство. И в то же время среди героев книги не только дамские угодники-“петиметры” и щеголи-вертопрахи, “сластолюбцы, ничтожества и пустельги” — параллельно мы видим независимость и гордость, ум и стремление к знаниям, воинскую доблесть, исправную и полезную службу. Сочувственно цитирует автор высказывание Д. Мордовцева (1878): Петр Великий “поворачивал старую Русь к Западу, да так круто, что Россия доселе остается немного кривошейкою”.

Отвлекаясь от галантных манер, куртуазности и воровства эпохи — возможны ли были альтернативы? Вопреки расхожей мудрости, история не только терпит, но постоянно пробует и испытывает сослагательное наклонение. Даже не забегая в такие поздние времена, как лето 1917 или 1991 — взглянем на самый первый очерк двухтомника — о князе Василии Голицыне (1643-1714). Фаворит царевны-регентши Софьи, способный дипломат, европейски образованный, тяготевший к польской модели государства, и даже, о ужас, непьющий — что было бы, если бы он и Софья сохранили власть в далеком 1689 году? Уже были заключены мирные договоры с Речью Посполитой и Китаем, выстроен Каменный мост через Москва-реку. Голицына, пишет автор, называли “Великим” еще за 35 лет до Петра...

Книга выгодно лишена рассуждений о пассионарности этносов или особой исторической роли России. Автор обычно беспристрастен — в этом достоинство Бердникова, и его преимущество перед многими историками и литераторами прошлого (да и настоящего), у которых прослеживается своя повестка дня — в России зачастую великодержавная. Официальная история пишется победителями, потому и трудно неумудренному читателю выделить реальные события из потоков поздних комментариев (pro- или contra-), которыми заполнены учебники разных времен. Бердников следует примеру жизнеописаний, ведущих традицию от Плутарха — он обучает, развлекает. В то же время он серьезен и не чурается резких, справедливых утверждений: Петр был Великим (в чем, через 300 лет, нет вроде бы у автора сомнения), но немалой ценою: он “положил в землю каждого пятого жителя” тогдашней России. Было ли само время настолько варварским? Решать читателю, но только читателю образованному, чему книги Бердникова и способствуют в большой степени.

Вторая книга двухтомника состоит из двух частей; в первой собраны истории о шутах и шутовстве, о своеобразной смеховой, карнавальная культуре, чрезвычайно архаической. (Казалось бы, придворные шуты вовсе ушли в прошлое — но и возродились в 20 веке прежде всего в кинокомедии, от Чаплина до Гайдая — а их остроги тысячелетние все живут в анекдотах.) Часто шуты вербовались из знатных семейств — среди них есть Голицыны, Волконские, Апраксины... Древняя царская потеха, опять же преломившись в России особо, вызвала к жизни страннейшие события. Здесь и “евгенические” проекты Петра I — свадьбы карликов-лилипотов, которым в те жестокие времена самою природой была уготовлена роль шутов и шутих. Здесь и петровский святотатственный (“недоброй памяти”, замечает автор) “Всешутейший, Всепянейший и Сумасброднейший Собор” — очередной аффронт православию. Алексей Н. Толстой описал питейные ор-

гии Петра как народную удаль своего рода, а по Мережковскому — это “антихристовая” линия. Здесь и другие потешные, но в то же время и просвещенческие деяния Анны Иоанновны (не забудем, тот Галантный век в Европе — все же Век Просвещения) — ее собиранье сведений о разных племенах Империи, этнографические экспедиции. Бердников трезво оценивает многие расхожие штампы: например, пресловутое транжирство Анны Иоанновны, якобы истощившее казну. Приводятся цифры: 83,5% бюджета за 1734 год (8 миллионов рублей) ушло на армию, и только 5,2% — на содержание двора. В то же время именно при Анне в России впервые складывается придворное общество с параметрами европейских монархий.

Бердников отдельно и много пишет об истории евреев в России, о необычной исторической роли многих представителей иудейского племени, в то время вынужденно переходивших в христианство. В двухтомнике, среди российских строителей империи, — Антон Дивьер (1682-1745), из португальских выкrestов-марранов, один из “тпенцов гнезда Петрова”, первый полицмейстер столицы еще при Петре, сосланный после смерти императора в Сибирь (нередкий путь взлета и падения для многих персонажей книги). На другом социальном полюсе в ту же эпоху — другой потомок марранов, Ян Лакоста (1665-1740), один из знаменитых придворных шутов. Кто только не перебивал в шутовском наряде при троне российских императоров! Именно Лакосту пожаловал Петр титулом “короля Самоедов”, т.е. нынешних немцев...

Отдельную часть второй книги (140 страниц) образует исследование автора о ранней истории русского сонета — одного из формальных стихотворных жанров, заимствованных в Европе современным русским стихом в том же 18-м веке. Эволюция и история сонета — тема специфическая, и иным читателям будет не так завлекательна, чем жизнеописания фаворитов обеих Екатерин. Мне, однако, как стихотворцу, изредка балующемуся и сонетом, старинные истории баталлий Сумарокова и Третьяковского не менее интересны, и я благодарен автору за его подробнейшие изыскания. “Суровый Дант не презирал сонета, в нем жар любви Петрарка изливал”, и шекспировский канон с легкой руки Маршак все еще переводят многие, — а ведь и Шекспиру уже 400 лет минуло. “Когда б вы знали, из какого сора...” — именно такая придворная, куртуазная, ритуальная, во многом игровая поэзия, приспособленная к новому языку, дала нам в 19-м веке великую, еще не вовсе погибшую традицию.

Двухтомник обильно иллюстрирован черно-белыми репродукциями портретов, дворцов, старинных гравюр, лубочных картинок. Список только “основной литературы” занимает 28 страниц. Оба тома предназначены для постоянного перечитывания, пересказывания, пересмотра с выявлением все новых черт “давно минувших дней, преданий старины глубокой”.

Хантингтон, Западная Виргиния



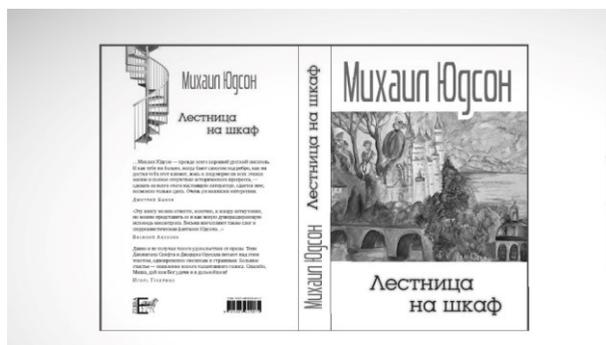
Михаил Сидоров

СТУПЕНИ СЛОВ

Михаил Юдсон. Лестница на шкаф. Сказка для эмигрантов в трех частях. — М.: Зebra E, 2013. — 560 с. ISBN 978-50905629-35-8.

Писать об этой книге «нормальным» языком — все равно что исполнять симфонию на губной гармошке или пересказывать стихи прозой. И все же, опираясь на стругающее «понять — значит упростить», попытаемся хотя бы поделиться впечатлениями от прочтения романа-сказки.

Несмотря на сугубую фантастичность книги М. Юдсона, в «Лестнице» обозначены два вполне реальных цивилизационных конфликта. Один — в первой части произведения, «Москва златоголовая»: «женидьба» постмодерна на православии в России (Москвалыми, Кольмоскве). Другой — в части третьей, «БВР»: жизнь в «ближневосточной республике» Израиль, находящейся между наковальной исламистского средневековья и молотом того же постмодерна (таким образом, жанр романа вполне соответствует нашей эпохе!). Посредине повествования композиционно оказался «Нюрнбергский дневничок»: в Германии происходит ретроспективная материализация призраков прошлого (трупы в холодильнике, в лифте, в озере)...



«Московский» раздел книги проникнут горькой ностальгией: герой — учитель математики, еврей Илья Борисович охвачен тоской-любовью — вопреки, назло неприязни и ненависти; последняя его постоянно преследует, вызывая временами инстинктивные выпышки в нем ответных «высоких» чувств — злости, презрения, жестокости, отчаяния. Как выяснится позже, из москвалымской церковно-приходской гимназии им. иеромонаха Илиодора Илью выгнали за то, что на открытом уроке православной тригонометрии он неліцеприятно отозвался о боге Одине («Эн Минус Один»), которого директор учебного заведения очень почитал; в тот же вечер соседи по «терему», где жил учитель, вышвырнули его с третьего этажа из собственной квартиры (по счастью, в сугроб под окном), обвинив в торговле снегом.

В подмосковной электричке раздается глас народа: «...Нужен переход Руси из жидообразного состояния ка ледяной твердыне — Великий покаянный канон! Всеконечное решение». Илья Борисович размышляет в ответ: «У вас нет другой

Руси? Я хочу Русь, но без этого всего. Она пьет и бьет — значит, любит». Любит странноватую любовью. Но не зря ведь имя главного героя ассоциируется не только с пророком Элиягу, но и с Ильей Муромцем, и с Илюшей Обломовым!..

И пока на Руси в эпоху после разрушения Второго храма Христа Спасителя мечтают о «всеконечном решении», «пархославный» герой «Лестницы», поддавшись «стадности», появляется в стране решения окончательного. «Или мир перевернулся? — удивляется один из персонажей романа. — Евреи бегут в Германию...» Оказывается, здесь уроки Холокоста не прошли даром, и старейшина еврейской общины фантастического баварского городка Азохенвейдена выговаривает Илье: «Не успели приехать — уже погром устроили... Немцы — нация культурная, музыкальная, с ними можно договориться, у нас столько точек пересечения... Нам надо показать, что мы уже не те оголтелые фанатики, что мы исправились. Что все эти безобразные массовые самосожжения и изуверское травление себя газом в самом центре цивилизованной Европы больше не повторяются-с!» (Что ж, в мире, где американский президент встает горой за египетского брата-мусульманина, Советский Союз приравнен к нацистской Германии, а ветеранам борьбы с фашизмом уже опасно появляться на улицах украинских городов, и такое возможно.)

К вечеру также выясняется, из кого колбасная смерть-фабрика делает свою качественную продукцию, и кто усердно трудится в цеху, и что ногти не должны попадаться в доброй немецкой колбасе, и почему она остается кошерной, и так далее. По воле автора, Илья очутился в Масаде, этом граде Китеже; только город этот, носящий имя древней крепости, последнего оплота восставших против римского рабства евреев — подземный, в нем народ всесожжения не только скрывается от страшных существ, зигфридрихардов, но и мстит им, как узники Варшавского гетто, организуя дерзкие вылазки на поверхность земли, — берет реванш за преступления против него, совершенные и совершаемые. В конце второй части сказки ее герой уничтожает при помощи тяжелого трехствольного поджига лабораторию, где «гансы» ставят свои опыты над детьми.

В этом подвиге Ильи легко увидеть реминисценцию прогрессорской деятельности Максима Каммерера из «Обитаемого острова» братьев Стругацких. А затем, оказавшись в БВР, герой «Лестницы» побывает в шкуре Вреда, отмучится Стражем, настрадается Стольником и закончит свою карьеру Мудрецом — ведь это так похоже на этапы большого пути Андрея Воронина из «Града обреченного»! Ну, а круглогодичная зима Колымосквы — аналог непрекращающегося дождя в «Гадких лебедях»...

Кстати, Борис Стругацкий отмечал и привечал Михаила Юдсона и только доброжелательно внушал ему, что читатель приходит в книгу, как в собес, и ему совсем не важно, какой там рисунок на обоях. То есть, сам текст несет благую весть, а не навязывает игру в бисер слов. Но ведь эта игра — и есть писательский метод Юдсона! «Мне хочется ставить эпитафию перед каждой своей фразой — столько окрест чудесного песпевшего чужого, тянет нарвать», — признается автор «Лестницы». И уж это свое желание он удовлетворяет сполна — срывает зрелые сочные плоды, лакомится ими сам и щедро делится с читателем.

Кажется, вся сколько-нибудь значимая беллетристика «передумана» и зашифрована М. Юдсоном в его книге. Здесь встретишь и следы любимого им «Улисса», узнаются и Свифт, и Чехов, и Борхес, и Кафка с его обличением абсурдности нашего мира и нашей жизни (у Юдсона «беглый беженец» из Баварии, от «немцовичей» — образец и предел абсурда). Мы находим тут и свою «Песнь Пес-

ней», и «Приглашение на казнь», и «Кондуит и Швамбранию»... И «Записки сумасшедшего» — тоже: автор «Лестницы» окидывает придуманный им (но вполне правдоподобный) мир еврейско-гоголевским взглядом; что может быть парадоксальнее, учитывая отношение Николая Васильевича к «бойкой жидовской натуре»! (К слову, такой же подход М. Юдсон применяет и в своей пьесе «Ревизор-с», прочесть которую я также настоятельно рекомендую.) Все уже написано до нас! — будто бы говорит нам Юдсон. — Надо только вспомнить соответствующие, подходящие произведения и изложить свой сюжет на языке мировой литературы.

Для этого и создан автором особый русский язык, структурные единицы которого — не просто слова (сами по себе непростые!), а скрытые и явные цитаты из художественных творений — известных и не очень.

Один из критериев «читабельности» произведения — это зримость повествования, когда при чтении возникают образы: антураж, персонажи, их движение. В этом смысле «Лестница» — как кино в голове, несмотря на замороченность сюжета, вычурность языка и нарочитую сложность повествования. Сон! Ну да, это сон, временами кошмарный — при бодрствовании и невероятно активной деятельности разума, игре фантазии автора и увлекаемого им читателя. Бывают ведь сны, в которых мы разговариваем умно и красиво, иногда даже с иностранцами в липовых аллеях — и без непонимания; а проснулся — и все рассеялось, оставив по себе неясное воспоминание.

А у Юдсона — не рассеивается; наоборот: ассоциируется, концентрируется, кристаллизуется, логически связывается (хотя кое-где логические цепочки событий и составлены из бубликов с маком: встречается, говоря словами самого автора, «логическое проскальзывание»; но это не портит общей картины, если читатель принял правила игры создателя «Лестницы»). Слишком непрост Юдсон, слишком изыскан для манихейского дуализма — его мысль развивается по законам многовалентной логики, диалектики в ее блестящем языковом проявлении.

Он расщепляет слова-атомы и синтезирует новый язык, который в зависимости от обстоятельств обретает форму то философского жаргона, то пресловутой фени. Тут не поток, а целое цунами сознания! Если бы не его игра словами, не многозначительные и многозначные аллюзии, эта одиссея или «ильиада», вся эта русско-еврейская, да и чуть ли не мировая, история (хотя и пошедшая по замыслу автора несколько иным путем) заняла бы не 550 страниц, а на порядок больше. Несмотря даже на такие перлы, как *«превысокомногоблагорассмотрительствующий Кагал»*.

Вот тебе и «тарабарщина хаммурапья»! Любовь к родному языку и прекрасное знание художественной литературы позволяют Юдсону в потоке каламбуров, анаграмм, палиндромов, акростихов и т.п. не сбиться в назойливое хохмачество и балагурство, избежать пошлостей. Из-за этого тонкого чувствования слова прощаешь автору и некоторые его «грехи», вроде нередко встречающейся обценной лексики («матсуржика»), или плеоназмов; правда, чаще всего они служат повышению эмоциональности и изложения и усилению образной характеристики персонажей.

Итак, третья часть «Лестницы на шкаф». Здесь, дополняя библейский Исход евреев из Египта, повествуется об «Изходе» пархов из Колымосквы в БВР. При этом, по ходу действия романа происходит «усекновение» имен: они «стираются». Илья Борисович («колымосковский арифмометр и механик», «русский мыслитель с чемоданом») становится Илом, а затем уж и вовсе — И. («за господином И. что-то никак не приходили»); евреи же — «пархи», «абрамосары» — укорачиваются до

«жи». «Смысл Колымосквы — онтологически — в том, чтобы исторгнуть нас. Она таки — matka», — говорит один из Семи Мудрейших. «Вся Москвалымь — это Колымлаг».

Фантастика Юдсона разворачивается из «лихих девяностых» по двум направлениям: не только в будущее, но и в прошлое. «Жи» ушли из Москвалыми через метро. И возглавил их «Исход» не кто-нибудь, а Лазарь... Моисеевич Каганович, в честь которого столица БВР (явно Тель-Авив!) названа Лазарией; такое вот мифотворчество. Ну, пришли, а свято-то место — не пусто! Заселено частично «аразами» (а/з — «каравийскими заключенными»). Думали: «парх и араз — кузены навек» (примерно, как русский и украинец!), а вышло — известно как. Вот и Илья стал Стражем-садовником, охраняющим Сад, по которому злой араз ползет с книжалом, сделанным из напильника. Тут вам и страна ПА — «Прекрасная Аразия — байда из грез бредовых...» Ну, это уж — не «Энигама», совсем легко догадаться, о чем пойдет речь: аразы «не мир нам несут, а меч...еть!» И получается, что «БВР — Постлаг, метагетто, пусть без желтых лат»...

На мой взгляд, «БВР» сюжетно убедительнее, прописана более детально, стилистически отшлифована и явно «перевешивает» две первые части — и не только по объему. Но целостность романа от этого не страдает; напряжение и динамика повествования остаются высокими от первой до последней страницы. Эрудиция и талант автора в сочетании с солидным жизненным опытом (служба в Советской Армии — в книге она «Могучая Рать», учительство в средней школе, скитания по Европе, жизнь в Израиле) помогли ему создать достоверные образы, оказывающиеся в самых невероятных ситуациях. И в третьей части постоянно возвращается одна из основных тем «Лестницы» — тоска по Руси («сокращенно — топор»), грусть по потерянному аду, неласковым, но родимым местам с их мрачноватыми, но отходчивыми жителями.

Среди семи мудрецов, обитающих в подземном (опять, и не случайно!) номерном «Ерусалиме-52» (он же — Космополис, стан беглых космополитов), у которых И. хочет найти истину, «семимудрость» и получить «утепленную бомбу» для растопления колымосковских льдов, согласья почти по любому вопросу — нет как нет. Один из них, Особняк, уверен, что «из Колымосквы не может быть ничего хорошего...» Другой, Интелигняк, иного мнения: «Колымосква слоица в памяти хорошим и плохим. Да, у ее ног разбитое корыто, но в нем — золотая рыбка». Нет консенсуса. И только в одном лишь!.. Скрепя сердце, со скрипом, из русской классики: «... Камлач заклинанье: «завизжали полозья посыпался иней с берез» — непонятно, но завораживает! — «пахнут смолоу еловые жерди забора».

За одни этакие звуки все финики [деньги] отдашь!» Язык «орусский», «милые ненужные слова»!.. Лет сорок тому назад, помнится мне, появилась гипотеза о том, что именно его язык помог русскому народу под гнетом монгольского ига сохранить свой индоевропейский облик. Не знаю, достаточно ли безумна эта идея, чтобы быть верной. Во всяком случае, герой «Лестницы» даже в БВР набоковски признается: «Бываюет ночи, только в койку — в Колымоскву плывет кровать!» И с тоскою сообщает, что когда звонит туда по мобильнику, «возникает из космоса замогильный голос с окаянным окающим акцентом: «Ящик захлопнут. Абонент недоступен навсегда».

И вообще оказывается, весь «мир, чтоб ты знал, — есть Лаг!» Хотя сам автор «Лестницы на шкафу» внушает нам, что мир — это прежде всего текст. А интересно было бы изобразить эту «малую вселенную» юдсоновского романа, с ее мно-

гослойным подпольем, подземными туннелями и замкнутым пространством «Калитки», куда можно попасть через «калитку», — наподобие той схемы «Улисса», которую составил Дж.Джойс!

Михаил Юдсон создал гротескный мир своего героя, остроумно и неподражаемо описал его литературными кодами и игриво предлагает читателю расшифровать описание — «вот и вся задачка!» Выдержать этот ребусный натиск автора, эту его интенсивнейшую, на пределе возможности понимания работу над словом сможет, да и просто захочет далеко не каждый — дело вкуса. Зато когда читающему удастся «раскусить» очередной орешек в тексте «Лестницы», возникнет ощущение маленькой победы, и в награду за нее — приобщения к миру великой, бессмертной литературы. Наверное, есть в юдсоновской прозе и что-то исцеляющее, просветляющее, облегчающее душу: автор, как один из его персонажей, пьет и «не держала слов» Ялла Бо, будто «заговаривает» нас; это какая-то психоаналитическая лигатура.

«Сказка для эмигрантов» предназначена, конечно же, для русскоязычного читателя. Было бы неплохо при этом, чтобы он хотя бы немного знал иврит. Только такой читатель и сможет в полной мере по достоинству оценить роман М. Юдсона, который, скорее всего, невозможно перевести на другой язык. С учетом сказанного, число хвалящих и ругающих «Лестницу» будет превышать количество прочитавших ее, но даже сумма тех и других останется не очень значительной. А жаль! Впрочем, если и не погружаться с головой в плотный и вязкий юдсоновский текст, а лишь скользить по его верхнему смысловому слою, — и тогда сказка захватывающе интересна. Книга эта, несомненно, — событие в русской литературе. «Лестница на шкаф» заканчивается не точкой, а вспорхнувшей запятой Юд', которая — словно ребенок, появившийся на свет из чрева матери. Значит, история еще не завершилась...



Журнал «Семь искусств» № 8-9 (55) /2014 — Ганновер:
Семь искусств. 2014. — 466 с., 29,1 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка: Марина Жукова



Семь искусств
Ганновер 2014

Семь свободных искусств - основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно.

Аристотель. "Политика"

